О. И. СЕНКОВСКИЙ
О. И. Сенковский
СОЧИНЕНИЯ
БАРОНА
БРАМБЕУСА

О. И. СЕНКОВСКИЙ

СОЧИНЕНИЯ БАРОНА БРАМБЕУСА

МОСКВА
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1989

Р1
С31

Составление, вступительная статья
и примечания
В. А. Кошелева, А. Е. Новикова

Художник
М. З. Шлосберг

С $\frac{4702010101-217}{М-105(03)89}$ 1989 № 84

ISBN 5-268-00084-5

«...ЗАКУСИВШАЯ УДИЛА НАСМЕШКА...»

19 февраля 1832 г. петербургский книгопродавец и книгоиздатель Александр Филиппович Смирдин праздновал новоселье. Его книжная лавка переехала из скромного помещения у Синего моста на Невский проспект, в трехэтажный флигель лютеранской церкви святого Петра. На пышном обеде, устроенном в честь этого новоселья, как рассказывает очевидец, «за огромным столом собралось все, чем тогда могла похвастаться наша литература!» Казалось, новоселье у Смирдина объединило всех ее знаменитостей: А. С. Пушкин — и Ф. В. Булгарин, Н. В. Гоголь — и Н. И. Греч, И. А. Крылов — и граф Д. И. Хвостов, В. А. Жуковский — и П. П. Свиньин... За тостами следовали экспромты, за экспромтами — важные начинания. «После обеда,— свидетельствует обозреватель,— гости, желая возблагодарить за радушное угощение и удовольствие, доставленное им приятною беседою, положили составить общими трудами альманах «Новоселье А. Ф. Смирдина». Каждый обязался сообщить для сего статью...»[1]

Первый том альманаха «Новоселье» вышел в начале 1833 г. и сразу же привлек к себе всеобщее внимание. Еще бы: здесь были напечатаны «Сказка о царе Берендее» Жуковского, «Домик в Коломне» Пушкина, новые басни Крылова, стихотворения Боратынского, Гнедича, Вяземского... Среди этих знаменитых имен блеснуло и имя писателя, не присутствовавшего на званом обеде,— имя, которое само по себе, кажется, ничего не говорило читателю. И очень странное имя: Барон Брамбеус.

Для публики и для литераторов 30-х годов это экзотическое имя сразу же стало одним из популярнейших, а известность его достигла небывалых размеров. О нем спорили, его хвалили и ругали, превозносили до небес и смешивали с грязью... Им интересовались даже дамы из уездного городка в гоголевском «Ревизоре».

«Х л е с т а к о в. ...У меня легкость необыкновенная в мыслях. Все это, что было под именем Барона Брамбеуса... все это я написал.

[1] Северная пчела.— 1832.— № 45 (26 февр.).

Анна Андреевна. Скажите, так это вы были Брамбеус?

Хлестаков. Как же, я им всем поправляю статьи. Мне Смирдин дает за это сорок тысяч».

Нынешний читатель знает Барона Брамбеуса разве что по этому многозначительному пассажу из третьего действия бессмертной комедии. Но подозревает, что все, «что было под именем Барона Брамбеуса», написал отнюдь не Хлестаков...

В альманахе «Новоселье» этим именем были подписаны два нашумевшие произведения — наполовину повести, наполовину фельетоны: «Большой выход у Сатаны» и «Незнакомка». За фантастическими, невероятными ситуациями этих повестей угадывался автор, склонный к насмешке, к злой и ироничной шутке, скептически относящийся к авторитетам — и весьма начитанный, образованный, понимающий вкусы и интересы читателей, тонко чувствующий литературную ситуацию времени...

Вскоре после «Новоселья» вышел большой том: «Фантастические путешествия барона Брамбеуса». Внешне — веселое остросюжетное повествование о немыслимых похождениях неунывающего барона (в чем-то похожего на барона Мюнхгаузена). Внутренне — серьезнейшая научная полемика с современными теориями египтолога Ф. Шампольона, палеонтолога Ж. Кювье, философа-шеллингианца Д. М. Велланского. И литературная пародия на образцы «кровавого» романтизма. И пессимистическая насмешка над бессмысленностью человеческого бытия...

Нет, это был не Хлестаков. «Писатель, известный под именем Барона Брамбеуса... обладал обширною начитанностью по всем отраслям знания, а по многим и основательными познаниями». Эта оценка высказана двадцать лет спустя после шумной славы Барона Брамбеуса и принадлежит перу Н. Г. Чернышевского.

И — ниже: «Сколько залогов плодотворной деятельности! Ученость, проницательный и живой ум, остроумие, уменье верно понять обстоятельства, подчинить их себе, приобресть огромные средства для действия на публику, трудолюбие, сознание собственного достоинства — все в высокой степени соединялось в этом писателе»[1].

У него было много псевдонимов, кроме основного: «доктор Карл фон Биттервассер» и «Тютюнджю-оглу Мустафа-ага», «Буки-Буки» и «Иван Иванов сын Хохотенко-Хлопотунов-Пустяковский, отставной подпоручик, помещик разных губерний и кавалер беспорочности», «Делюбардар» и «пограничный толмач Разумник Артамонов сын Байбаков» и т. д.

А звали его Осип Иванович Сенковский.

---

[1] Чернышевский Н. Г. Очерки гоголевского периода русской литературы.— М.: Худож. лит., 1984.— Ст. 2.— С. 75—113.

1

> Вот толстая тетрадь, в которой заключается полное описание моей жизни. Она вся написана карандашом; я так пишу все биографии великих людей, особенно моих приятелей, чтобы потомство, истерши локтем многие места, не могло разобрать всего, что было написано...
>
> *Барон Брамбеус*

Иосиф-Юлиан Сенковский родился 19 (31) марта 1800 г. в поместье Антоколон близ Вильно. По национальности он был поляк и принадлежал к старинному шляхетскому роду Сарбевских; один из его предков, Матвей-Казимир Сарбевский, живший в XVII в., снискал себе славу лучшего латинского лирика, удостоился венца в Риме и был прозван новым Горацием. К началу XIX в. этот род обеднел, но, несмотря на это, будущий Барон Брамбеус сумел получить блестящее домашнее воспитание.

Он рано обнаружил наклонности к филологии. Учась в Минском коллегиуме, Сенковский в совершенстве изучил классические языки древности. Затем он поступил в Виленский университет, где, под влиянием знаменитых профессоров Иоакима Лелевеля и Андрея Снядецкого, увлекся изучением Востока. В 18-летнем возрасте он перевел на польский язык (с арабского подлинника) басни Лукиана, а в 19 лет — составил обзор политического сборника Хафиза (с персидского подлинника). Эти переводы были изданы и сразу же получили признание: на юношу стали смотреть как на подающего надежды ориенталиста.

Начальный период его жизни напоминает биографию ученого.

Осенью 1819 г. Сенковский отправился в путешествие по мусульманскому Востоку. Это была его мечта, и осуществиться она могла только потому, что виленские ученые объявили подписку на денежное обеспечение этого путешествия. Объявление о подписке начиналось так: «Некий юноша, изучивший филологию, древние, а также и новейшие языки и несколько ознакомившийся с арабским, персидским и турецким, обладает необходимыми способностями для того, чтобы в короткое время достигнуть значительных успехов в этой науке...»[1]

Путешествие на Восток продолжалось два года: Турция, Сирия, Египет. За время странствий юноша в совершенстве изучил арабский и турецкий языки (на них он говорил и писал — «каллиграфически-щего-

---

[1] Цит. по: Каверин В. А. Барон Брамбеус: История Осипа Сенковского, журналиста, редактора «Библиотеки для чтения».— М.: Наука, 1966.— С. 9.

левато», как подчеркивал его ученик П. Савельев[1] — прозой и стихами), а кроме них — персидский, сирийский, итальянский, новогреческий, сербский. Впоследствии он овладел также китайским, монгольским, тибетским языками... Кроме того, он основательно изучил религию и литературу, традиции и нравы, предания и суеверия народов Ближнего Востока — и вернулся из путешествия уже знаменитым ориенталистом. Он привез в Петербург (куда приехал в 1821 г.) научные труды и древние арабские рукописи. В ученом рвении он чуть было не увез из Египта знаменитый дендерский зодиак — древнее астрономическое изваяние (зодиак был уже погружен на барку, но начавшаяся греческая революция не позволила доставить его в Россию).

Еще в Турции Сенковский получил предложение о сотрудничестве от русской дипломатической миссии и, прибыв в Петербург, был определен переводчиком Коллегии иностранных дел. Экзаменовавший его академик Х. Д. Френ, знаменитый ориенталист и нумизмат, написал в официальном заключении, что познания в арабском языке молодого ученого превосходят его, академика, познания...

29 июля 1822 г. двадцатидвухлетний ориенталист Сенковский был назначен профессором Санкт-Петербургского университета сразу по двум кафедрам: арабской и турецкой. За время своего преподавания (продолжавшегося до 1847 г.) он опубликовал несколько исследований по истории, филологии, этнографии мусульманского Востока, выпустил ряд переводов из арабской классической литературы. Надо сказать, что Сенковский стал фактическим основателем прославленной впоследствии школы русской ориенталистики: многие из его учеников (П. С. Савельев, М. Г. Волков, В. В. Григорьев, В. Г. Тизенгаузен и др.) внесли крупный вклад в развитие русского востоковедения...

А сам профессор... А сам он лет через десять фактически отошел от активной научной деятельности. С начала 30-х годов его биография стала биографией писателя.

Первые литературные опыты Сенковского относятся еще к студенческим годам. Учась в Вильно, он активно участвовал в польском юмористическом листке «Уличные ведомости», который издавался «товариществом шалунов» («шубравцев»). Потом печатался в других польских журналах и вполне овладел техникой литературно-журнального ремесла.

Еще в Вильно Сенковский познакомился с Фаддеем Булгариным, и в 1823 году Булгарин ввел молодого профессора в круг русских литераторов. Особенно сошелся Сенковский с декабристом А. А. Бестужевым (Марлинским): тот учился у него по-польски, а у Сенковского исправлял ошибки в первых литературных опытах на русском языке. По поводу

---

[1] Савельев П. О жизни и трудах О. И. Сенковского// Сенковский О. И. (Барон Брамбеус). Собр. соч.— Т. 1.— Спб., 1858.— С. XXXII.

этого первоначального содружества А. М. Ремизов заметил: «Сенковский учил польскому Марлинского, а Марлинский исправлял русское Сенковского, для которого легче было писать по-турецки, чем по-русски»[1].

Первым опытом Сенковского в русской литературе стал цикл «Восточных повестей», которые, в сущности, были наполовину переводами с восточных языков. В «Полярной звезде на 1823 год» появилась повесть «Бедуин»; в следующем выпуске декабристского альманаха — повесть «Витязь буланого коня», а в «Полярной звезде на 1825 год» были напечатаны сразу три «восточных» повести Сенковского: «Деревянная красавица», «Истинное великодушие» и «Урок неблагодарным». Позднее повести этого цикла печатались еще в «Северных цветах» А. А. Дельвига («Бедуинка», «Вор»), в «Альбоме северных муз» («Смерть Шанфария») и т. д. Это были едва ли не первые образцы оригинальных русских переводов с арабского, монгольского, персидского, татарского языков, созданные зрелым мастером-филологом и ставшие своеобразным сплавом литературы и ориенталистики. Не случайно «Витязь буланого коня», например, получил высокую оценку А. С. Пушкина, который в письме к Бестужеву заметил: «Арабская сказка прелесть; советую тебе держать за ворот этого Сенковского»[2].

Однако удержать молодого, увлекающегося, кипящего энергией Сенковского «за ворот» было не так-то просто...

2

> В некотором царстве, в некотором государстве жил-был шпанский король Барон Брамбеус...
>
> *«История о храбром рыцаре Францыле Венецияне...» (Лубочная повесть XVIII в.) Эпиграф к IV части «Фантастических путешествий Барона Брамбеуса»*

Барон Брамбеус явился случайно. Имя героя знаменитой лубочной повести Осип Сенковский, по свидетельствам современников, частенько повторял — ради шутки — в обращениях к своему лакею и на лекциях турецкого языка, где «Сказка о Францыле Венецияне и прекрасной королеве Ренцывене» перелагалась на оттоманское наречие.

Барон Брамбеус явился не случайно. Начало 30-х годов было временем, когда чрезвычайно распространились шутливые псевдонимы, этакие литературные «маски»: «Ириней Модестович Гомозейка» (В. Ф. Одоевский), «Казак Луганский» (В. И. Даль), «Никодим Аристархович Надоумко, студент из простых» (Н. И. Надеждин), «пасичник

---

[1] Ремизов А. Голубой цветок: Альманах библиофила, вып. 22.— М.: Книга, 1987. С. 259.

[2] Пушкин А. С. Полн. собр. соч.— Т. 13.— АН СССР, 1937.— С. 87.

Рудый Панько» (Н. В. Гоголь)... За каждой из таких «масок» скрывалась своя — фантастическая и обыденная — биография. И — биография времени...

Сенковский-литератор мог состояться только под «маской»: слишком утвердившейся была репутация знаменитого профессора, ученого-арабиста — она уже определяла восприятие публики, настраивала ее на утвердившийся стереотип «учености», которому публика не очень-то доверяла.

Барон Брамбеус возник как шутка в одном из фельетонов цикла «Петербургские нравы»: «Мой приятель, Барон Брамбеус, шел по Невскому проспекту и думал о рифме, которой давно уже искал. Первый стих его оканчивался словом *куропатки*: второго никак не мог он состряпать. Вдруг представляется ему рифма, и он, забывшись, произносит ее вслух: *куропатки?.. берет взятки!»*

Это — Барон Брамбеус со стороны, со взгляда «извне» некоего повествователя. Шутливо-литературное «говорящее» имя и титул — намек на внелитературную данность, к которой никак — даже в очень серьезном предмете — нельзя отнестись без снисходительной усмешки. Это — непременно литератор, живущий в мыслях о «рифме» и представляющий себе жизнь сквозь призму словесных ассоциаций. Это — непременно «барон»: лицо с «необязательным» титулом, «барин» неопределенного рода занятий, личность, свободная от дел и условностей. Это, наконец,— «Брамбеус», нечто непонятное, «барабанно» звучащее, нечто лубочное и привлекательное: уже в самом имени есть какая-то задиристость и необязательность, что-то вроде материализовавшегося каламбура...

Но уже в «Фантастических путешествиях...» Барон Брамбеус предстал, что называется, от первого лица: «Я посетил четыре части света, объехал вокруг всю землю, был в Швеции и Голконде, во Франции и Камчатке, в Царьграде и Вашингтоне; видел все, что только есть любопытного и достойного внимания в мире,— словом, китайцев, пирамиды и обезьян; видел голых людей и живых сельдей, кенгуру и английских миссионеров; даже видел, как растет кофе, чай, сахар и ром».

Барон-Брамбеусовское «Я» оказалось очень привлекательным для самых разных разрядов русских читателей. По наблюдению В. Э. Вацуро, «читатели могли, в зависимости от уровня культуры, видеть в нем либо «настоящего» барона, либо мистификацию, оценивать лубочность «Брамбеуса» или считать это «серьезным» псевдонимом и т. д. Булгарин «учил публику», не дифференцируя ее; Сенковский — скептик и релятивист — не рассчитывает на единое понимание, но пытается извлечь эффект из самой возможности разных пониманий»[1]. Барон Брамбеус, представляя читателю собственное «Я», добивался именно многослойности произведения, многоплановости его восприятия.

Вот «Фантастические путешествия...». Первый, внешний план —

---

[1] Русская повесть XIX века.— Л.: Наука, 1973.— С. 221.

авантюрные приключения Барона, который умеет путешествовать только «фантастически»; эти приключения занимательны сами по себе. За этим каскадом приключений угадываются некоторые детали действительных путешествий Сенковского на Востоке («грандиозный пожар» в Стамбуле, хорват-слуга и др.). Третий план — ученая (и очень остроумная!) полемика с современными теориями. Четвертый план — сатирический выпад против нравов современного общества (отношения с женой, ироническое изображение света «ногами вверх» и т. д.). Пятый план — намеки внутрилитературного характера... И так далее. Разные планы, разные восприятия сталкиваются, а повествователь имеет возможность иронизировать над всем сразу.

Барон Брамбеус — неунывающий путешественник и острослов, наивный скептик и большой умница, реальный авантюрист и литературный фантом — помогал Сенковскому выразить свое, непростое, отношение к миру.

Поэтому свои «фантастические» похождения Барон Брамбеус продолжил на страницах знаменитого журнала «Библиотека для чтения».

3

— Черт возьми! — сказал Пюблик-султан с досадою,— в самом деле, с тех пор, как при моем дворе явился Брамбеус, все, решительно, стали остроумны!

«Ночи Пюблик-султана-багатура» (Литературная летопись «Библиотеки для чтения»)

Книгоиздатель Смирдин был человек честный и бескорыстно преданный книжному делу. Но он был в то же время и купец (сын московского торговца полотном) и, вследствие своего купеческого разумения, не понимал (да и не хотел понимать) всех причин противоречий и разногласий, царивших в литературном мире 1830-х годов. Поэтому заветной мечтой Смирдина стала мысль об объединении всех крупных российских писателей под его книгоиздательской эгидою... Устраивая обед в честь новоселья, он надеялся, что положит этим начало ко всеобщему «примирению». Таким актом примирения стал и альманах «Новоселье».

Первый том альманаха украшала картинка обеда у Смирдина (рисованная А. Брюлловым и гравированная С. Галактионовым). На председательском месте изображен Крылов, справа от него сидят Хвостов и Пушкин. Греч стоя провозглашает тост, рядом с ним — цензор Семенов и Булгарин. За спиной Греча в пол-лица виден Вяземский. Посмотрев на эту картинку, Вяземский иронически отметил: «...я профилем, а Булгарин во всю харю...» Он же дал характеристику «Новоселью»: «...рядом

с Жуковским — Хвостов... где мед с дегтем, но и деготь с медом»[1].

Объединения у Смирдина не получалось: выходило какое-то странное смешение... Но, не теряя надежд, книгоиздатель, руководствуемый тою же «единящей» идеей, затеял вслед за альманахом «толстый» журнал.

«Библиотека для чтения. Журнал словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и мод, составляемый из литературных и ученых трудов...» И далее на заглавном листе журнала следовал длинный список лучших российских литераторов в алфавитном порядке (от К. И. Арсеньева до Г. М. Яценкова)... В этом списке значились два имени, отдельно друг от друга: Барон Брамбеус и О. И. Сенковский.

Сенковский же был выбран Смирдиным в качестве редактора нового журнала, и хотя в объявлениях его назывались иногда, по цензурным причинам, Греч или Крылов, но (как потом было указано в той же «Библиотеке...») «никто в свете, кроме г. Сенковского, не имел ни малейшего влияния на состав и содержание «Библиотеки для чтения». Все ее недостатки, равно как и все достоинства, если какие были, должны быть приписаны ему одному»[2].

«Библиотека для чтения» заняла особое место в истории русской журналистики. И в 1830-е годы, и позже у нее хватало и «ругателей», и «хвалителей», яростно бранивших журнал — и превозносивших его. Ругали за «коммерческий» дух издания, упоминая при этом, что Смирдин платил Сенковскому 15 тысяч рублей в год. Ругали за то, что журнал (как отметил пушкинский «Современник») «в своих критических суждениях не всегда соблюдает тон важности и беспристрастия»[3]. Ругали за то, что редактор, стремившийся сделать свой журнал максимально занимательным, по своему усмотрению бесцеремонно поправлял и переделывал почти все поступавшие к нему произведения. Ругали даже за непомерно большой тираж — до пяти тысяч подписчиков в год, который приносил Смирдину огромные прибыли. Во всем этом видели шарлатанство, самонадеянность, самолюбие новоиспеченного редактора, искали саморекламу, стремление угодить «низким» нравам и т. д.

Хвалили... А хвалили, в общем-то, за то же самое. При всех недостатках, «Библиотека...» была изданием новаторским. Это был первый в России журнал энциклопедического типа, охватывавший практически все стороны жизни образованного русского человека: не только «словесность» и «науки», но и «хозяйство», «промышленность», «новости», «моды»!.. Объем «Библиотеки...» доходил до 30 печатных листов — и при этом Сенковский, в противовес прежним дилетантским представлениям о журнале, стремился утвердить единый стиль, единый, цельный ан-

---

[1] Шубин В. Ф. Поэты Пушкинского Петербурга.— Л.: Лениздат, 1985.— С. 270.

[2] Гриц Т., Тренин В., Никитин М. Словесность и коммерция.— М.: Федерация, 1929.— С. 328.

[3] Пушкин А. С. Полн. собр. соч.— Т. 12.— С. 95.

самбль всего издания. Эпоха требовала осознания журнала как литературной формы: каждая статья в нем должна быть не статьей «вообще», а неким компонентом единого целого. Забота о журнальном «духе» диктовала требование жесткой редактуры, которая отнимала много сил Сенковского и из-за которой от «Библиотеки...» отшатнулись многие авторы...

Новым для русского читателя было и то, что «Библиотека...» всегда выходила точно в срок: каждое первое число месяца. В тот же день рассыльный доставлял авторам напечатанных в номере произведений гонорар. Точность доходила до анекдотов: рассыльные, боясь гнева Сенковского, переправлялись через Неву, с риском для жизни, даже во время ледохода...

А секрет большого тиража и необыкновенного успеха «Библиотеки...» был, в общем, несложен. Его раскрыл Белинский, охарактеризовавший в 1836 г. «Библиотеку...» как идеальный журнал для *массового* читателя: «Представьте себе семейство степного помещика, семейство, читающее все, что ему попадется, с обложки до обложки; еще не успело оно дочитаться до последней обложки, еще не успело перечесть, где принимается подписка, и оглавление статей, составляющих содержание номера, а уж к нему летит другая книжка, и такая же толстая, такая же жирная, такая же болтливая, словоохотливая, говорящая вдруг одним и несколькими языками. И в самом деле, какое разнообразие! — дочка читает стихи гг. Ершова, Гогниева, Струговщикова и повести гг. Загоскина, Ушакова, Панаева, Калашникова и Масальского; сынок, как член нового поколения, читает стихи г. Тимофеева и повести Барона Брамбеуса; батюшка читает статьи о двухпольной и трехпольной системах, о разных способах удобрения земли, а матушка о новом способе лечить чахотку и красить нитки; а там еще остается для желающих критика, литературная летопись, из которых можно черпать горстями и пригоршнями готовые (и часто умные и острые, хотя редко справедливые и добросовестные) суждения о современной литературе; остается пестрая разнообразная смесь, остаются статьи ученые и новости иностранных литератур. Не правда ли, что такой журнал — клад для провинции?..»[1]

Замысел Сенковского состоял в том, чтобы дать русскому читателю идеальный массовый, популярный орган,— и он добился этого. Первые годы существования «Библиотеки...» (журнал начал выходить с 1 января 1834 г.) представили образцы его блестящей профессиональной редакторской деятельности. Каждый номер журнала нес на себе отпечаток личности его создателя: он был наполнен духом иронии, сарказма, всесокрушающей насмешки...

Некоторые писатели — и прежде всего Гоголь — с самого начала не приняли этого журнального «духа». Уже через 10 дней после выхода

---

[1] Белинский В. Г. Полн. собр. соч.— Т. 1.— М.: Наука, 1953.— С. 145—146.

первого номера Гоголь заметил в одном из писем: «Сенковский очень похож на старого пьяницу и забулдыжника, которого долго не решался пускать в кабак даже сам целовальник. Но который, однако ж, ворвался и бьет, очертя голову спьяна, сулеи, штофы, чарки и весь благородный препарат... Сенковский уполномочил сам себя властью решить, вязать: марает, переделывает, отрезывает концы и пришивает другие к поступающим пьесам»[1].

С 1836 г. начал выходить пушкинский «Современник», воспринятый Сенковским как конкурент «Библиотеке...». Едва узнав о намерении Пушкина издавать журнал, Сенковский предложил ему (через Смирдина) 15 тысяч рублей отступного, а получив отказ, пошел в наступление. «Вообще нет ничего нового в политическом свете,— сообщала «Библиотека...» в апрельской книжке 1836 г., в разделе новостей.— Все народы живут в мире и согласии. Прочие известия — самые пустые. Африканский король Ашантиев, говорят, объявил войну Англии и уже открыл кампанию. Александр Сергеевич Пушкин в исходе весны тоже выступает на поле брани. Мы забыли сообщить нашим читателям об одном событии: Александр Сергеевич хочет умножить средства к наслаждению читающей публики родом бранно-периодического альманаха под заглавием «Современник»... Этот журнал или этот альманах учреждается нарочно против «Библиотеки для чтения» с явным и открытым намерением — при помощи божьей уничтожить ее во прах».

Сенковский намекал на появившуюся в первом номере «Современника» статью «О движении журнальной литературы», в которой «Библиотеке...» и ее редактору предъявлялись серьезные претензии. Статья была написана Гоголем — и она уже окончательно поссорила Гоголя и Сенковского. Сенковский не пропускал случая публично поиздеваться над каждым новым произведением Гоголя; Гоголь публично объявил, что «Библиотека для чтения» — это вторая «Северная пчела»...

Так родилось устойчивое представление о «журнальном триумвирате» 1830-х годов, выразившемся в привычном соотнесении трех имен: Булгарин — Греч — Сенковский. И хотя неоднократно приводились факты, доказывающие обратное,— то, что «Библиотека...» в отличие от «Северной пчелы» испытывала жесточайший цензурный гнет (и часто исправления Сенковского-редактора были вызваны именно цензурными соображениями); то, что «Северная пчела» после 1834 г. стала одним из яростных гонителей Сенковского, а Булгарин стал излюбленной мишенью иронических выпадов «Библиотеки...»; то, что критика Сенковского вызывала неодобрение властей; то, что Пушкин счел необходимым смягчить выступление Гоголя, поместив в «Современнике» специальное «Письмо к издателю»,— несмотря на эти факты, представление о «журнальном триумвирате» оказалось удивительно живучим.

Между тем уже Чернышевский, по-своему толкуя статью Гоголя,

[1] Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.— Т. 10.— М.: АН СССР, 1952.— С. 293—294.

протестовал против объединения Сенковского и Булгарина в одну политическую группу. Разбирая деятельность редактора «Библиотеки...», он счел необходимым отметить, «что уменье его поставить себя на это видное место было, хотя отрицательным образом, очень полезно для русской литературы: не займи он этого места, еще бог знает, кто захватил бы этот столь важный пост, и, по всей вероятности, захватил бы его тот или другой из людей, с которыми, как мы выразились, невозможно его смешивать». «Тот или другой из людей», в терминологии «намекающего» критика,— это Булгарин и Греч. И далее Чернышевский продолжает: «Он (Сенковский.— *В. К.* и *А. Н.*) не хотел делать ничего дурного, не сделал ничего вредного: некоторые другие на его месте хотели бы дурного и успели бы сделать много вредного»[1].

Еще более ярко политическое лицо Сенковского определил А. И. Герцен в работе «О развитии революционных идей в России» (1851): «Издеваясь над всем, что есть самого священного для человека, Сенковский, сам того не желая, подрывал монархизм. Проповедуя комфорт, чувственные удовольствия, он приводил людей к весьма простой мысли, что невозможно наслаждаться, постоянно думая о жандармах, о доносах и Сибири, что страх не комфортабелен и что нет человека, который мог бы хорошо обедать, не зная, где он будет спать»[2].

В создание журнала Сенковский вложил всю свою страстную увлеченность и огромную работоспособность. Он сам выполнял всю работу по сбору и подготовке материала и, кроме того, давал в каждый номер свои произведения: повести, переводы, фельетоны, научные и критические статьи, заметки, обзоры... Но — писатель Сенковский и Сенковский-редактор так и не представили в обликах своих некоей необходимой гармоничности. Если, например, для Некрасова журнал «Современник» был таким же *деянием*, как и его стихи, то Сенковский так и не воспринял работу в журнале как общественно значимое дело.

С чем бы он ни воевал, против чего ни выступал бы — ко всему применял он ключ неиссякаемого остроумия, не забывая при этом оглядываться на требования публики. Публике нравится экзотика восточных сказок — в фельетонах «Библиотеки...» появляется «турецкий» критик «Тютюнджу-оглу» (буквально: «сын табачника») или «Пюблик-султан-багатур», засыпающий при чтении плохих книг. Читатель жалует романтику «сказочного» — и в критических заметках редактора появляются черти и домовые, различные по рангам и родам занятий и становящиеся судьями современной литературы. Публика хочет отгородиться смехом и шуткой от противоречий николаевской действительности — «Библиотека...» дает полную возможность удовлетворить это желание, осмеивая всех и вся без разбору, рисуя людские нравы «ногами вверх»...

«Желчевая, закусившая удила насмешка Сенковского была месть,

---

[1] Чернышевский Н. Г. Очерки гоголевского периода...— С. 112.

[2] Герцен А. И. Полн. собр. соч. и писем.— Пб., 1919.— Т. VI.— С. 370.

была досада, отражение обстоятельств, отрицательное раскаяние в своей слабости, была маской,— но никогда не была убеждением...»[1] Так писал Герцен. Между тем эта «закусившая удила насмешка» превращалась в позицию журнала Сенковского, построенного по европейским образцам: «Библиотека...» свысока взирала на российскую действительность и подвергала огню убийственной иронии абсолютно все ее проявления.

В 1845 г. молодой московский критик-славянофил К. С. Аксаков так определил «лицо» этого журнала: «Библиотека для чтения» — первый увесистый журнал в России — имела огромный числительный успех и до сих пор держится твердо. Она поняла, где стоит множество народа — на гуляньях; чему раздается одобрительный хохот; она поняла это и осуществила на деле; и точно, около нее сбирается народ, которого тешит записной остряк, готовый на какие угодно шутки, чтоб только вынудить смех; и точно, невольно смеешься. Но что проповедует, что думает «Библиотека для чтения»? — ничего не думает; она скажет вам, что думать — вздор. Что чувствует? — ничего опять не чувствует: она скажет вам, что и чувство — вздор. Какое же ее убеждение, цель? Ведь вот, например, у г. Булгарина есть убеждение и цель. У г. Булгарина есть убеждение и цель, известные всей России, а у «Библиотеки для чтения» нет никакого. У нее есть цель посмешить, и, разумеется, она недаром проделывает свои штуки и насмешки»[2].

«Шутить! и век шутить! как вас на это станет!» Эти слова Грибоедова из любимой Сенковским комедии «Горе от ума» стали для «Библиотеки...» почти пророческими. Шутки и остроты, часто безадресные, хотя воистину остроумные, знаменовавшие успех Сенковского-редактора, к началу 40-х годов стали его бичом. И он постепенно начинает отходить от журнальной деятельности. А «Библиотека...», соответственно, постепенно теряет былую свою популярность.

Между тем именно первые годы «Библиотеки для чтения», когда редактор ее был невероятно загружен журнальными хлопотами, стали самыми плодотворными годами в литературной деятельности Барона Брамбеуса, явившегося в журнале во множестве обликов.

4

> ...автор какой-нибудь книги есть тот необыкновенный человек, который, один на всем земном шаре, прочитал ее трижды, не задремав ни разу.
>
> *Барон Брамбеус*

«Нет ничего легче, как разбирать беллетристику Сенковского по жанрам и, списав каждый из них отдельно, подвести столько же обшир-

[1] Герцен А. И.— Т. X.— С. 309.
[2] Аксаков К. С. Письмо из деревни. ЦГАЛИ, ф. № 10, оп. 5, ед. хр. 8.

ные, сколько сомнительные, итоги»[1]. Это замечание видного исследователя творчества Сенковского писателя В. А. Каверина, верное по существу, нуждается, однако, в некоторых уточнениях. Дело в том, что жанровую систему Сенковского-беллетриста не так-то просто оказывается определить и выявить.

То есть, с первого взгляда, конечно, просто: Сенковский писал восточные повести, фантастические повести, светские повести, бытописательные произведения, фельетоны, пародии... Но если обратиться к какому-либо конкретному созданию, то непременно становишься в тупик именно при определении жанра.

Что такое, например, «Фантастические путешествия...»? Фантастический роман? Роман-«путешествие»? Или — роман-пародия? Или — просто четыре фрагментарные повести с разными сюжетами, соединенные под одной обложкой? Ибо сам Барон Брамбеус называет их «отрывками моей глупости» и объясняет эту принципиальную отрывочность тем, что «сами вы умные люди и знаете, что мы живем в отрывочном веке»... «Мы думаем отрывками, существуем в отрывках и рассыплемся в отрывки». Но и «отрывок» в данном случае — обманчив. И восприятию целого не мешает даже то, что в начале повестей стоят ряды многоточий...

Или — «Вся женская жизнь в нескольких часах». По теме и по основным событиям это произведение несет на себе признаки традиционной «светской повести». Но уже подзаголовок — «Повесть, исполненная философии» — настораживает, тем более, что «философией» в повести и не пахнет, а печальная история короткой жизни Олиньки Р*** пересказана в совершенно фельетонных тонах. И читателю остается только удивляться, насколько естественно оказались здесь совмещены фельетон и откровенная мелодрама...

«Похождения одной ревижской души». Повесть имеет подзаголовок «Ярлык опасного знания» и построена как стилизация под монгольскую шастру. И чего только нет в этой мистицифированной истории о переселении душ: и литературная сатира, и проповедь материалистических представлений о человеке, и социальные мотивы (проявившиеся хотя бы в том, что в конце своих скитаний «ревижская душа» переселяется в русского мужика-беглеца), и попытка решения серьезных нравственных вопросов мироустройства...

«Потерянная для света повесть». Тоже своего рода мистификация, сюжет которой оказывается «псевдосюжетом». Компания чиновников отправляется на пикник в Парголово; один из них рассказывает некий «любопытный случай по провиантской части»; все последующее описание строится на комических попытках остальных чиновников припомнить содержание этого случая, оканчивающихся неудачей... Повесть

---

[1] Каверин В. А. Барон Брамбеус.— С. 138.

оказывается «потерянной для света», а содержание того, о чем повествует автор, сводится к комически-серьезному описанию обеда с подробным перечислением блюд и напитков, ко множеству несущественных мелких деталей... Конечно же, это пародия на «бытовые» повести 30-х годов (Н. А. Полевого, М. П. Погодина и др.). Но автор и тут умело прячется, используя для этой повести новый псевдоним, не похожий на экзотически звучавшие его псевдонимы. Повесть подписана «А. Белкин» — читатель явно отсылается к пушкинскому персонажу. Но пушкинского Белкина зовут Иваном Петровичем, а тут «А.»! Прием весьма изобретательный: Сенковский перемещает условно-литературное «Я» пушкинского героя в атмосферу, ему несколько чуждую, и следит, как будет себя вести «Белкин» среди «погодинских» и «гоголевских» персонажей. Жанровая конструкция получается, в целом, очень затейливой — и определить ее каким-то одним обозначением явно невозможно!

Но вот что удивительно: несмотря на эту затейливость и бесконечное разнообразие, несмотря на изначальную «литературность», произведения Сенковского «узнаются» сразу же, едва ли не с первого слова,— настолько они оказываются индивидуальны и самобытны!

На многих произведениях Сенковского лежит отпечаток поспешности, недоконченности — большинство повестей редактор «Библиотеки...» создавал в промежутках между текущей журнальной работой. Однако и в этих, суетливых и ненормальных для творчества условиях Сенковский сумел создать свое неповторимое лицо художника-повествователя, свою манеру, свой «слитный» литературный жанр «брамбеусианы».

Этот жанр построен на слиянии (может быть, не всегда органичном) внешне разнородных элементов художественного повествования. Именно это единение несоединимого, «странное сближение» разных качественных признаков присуще Сенковскому — и более никому.

Первый признак произведений Сенковского — экзотика, поиски причудливого, необычного, непривычного для рядового читательского опыта. Это и излюбленная профессором-ориенталистом восточная экзотика, при которой даже сам Барон Брамбеус превращается в «визиря Брамбеуса-Ага-Багадура», имеющего двух дочерей, «Критиказаду» и «Иронизаду». В какую бы повесть Сенковского мы ни заглянули, мы не минуем присутствия экзотического. В «Турецкой цыганке» — это развалины Сардиса, султанский дворец в Стамбуле, невольничий рынок... В «Похождениях одной ревижской души» — это ламаистское представление о божественном мире, с его Хормуздой, Маньджушри и тридцатью тремя тегри... В «Записках домового» — черти и влюбленные скелеты... А как экзотичны заглавия: «Вся женская жизнь в нескольких часах», «Висящий гость», «Превращения голов в книги и книг в головы».

С экзотикой связана занимательность, неожиданные сюжетные повороты. Действие в «Поэтическом путешествии по белу-свету» меняется «как пестрый фараон»: одесский карантин, гавань в Стамбуле (где мел-

кого российского чиновника принимают за важного государственного деятеля), любовь к кононице Дуду, встречающая на своем пути немыслимые препятствия. Наконец, пожар, чума...

Эта занимательность соединяется с неожиданностью, непредсказуемостью целого. Повествование о том, как герой провалился в кратер вулкана Этна, называется «сентиментальным путешествием» — и на поверку, в конце концов, действительно оказывается таковым... А саркастическое повествование в очерке «Петербургская барышня» никак не предвещает трагической развязки...

При всем том повествователь у Сенковского остается верен своему знаменитому жизненному и научному кредо: «У всякого барона своя фантазия». Вымысел автора часто приобретает черты нереального, чудесного мира, который при желании всегда можно спроецировать на мир действительных человеческих отношений. С молотка распродают белый свет (очерк «Аукцион»): всех мужчин покупают за восемь гривен и две копейки, за ум дают семь копеек, а за правосудие не жалеют двух миллионов... Некий маг и волшебник превращает книги в библиотеке Смирдина в говорящие головы — и, боже мой, сколько же пустых голов здесь оказывается!..

То и дело в произведениях Сенковского из-за спины доверчивого Барона Брамбеуса выглядывает серьезный ученый, острый полемист, яркий пародист. Он может написать пародию и на повести Погодина, и на новеллы В. Гюго, и на ученое сочинение Велланского, и на древнеегипетский папирус («Микерия — Нильская Лилия»). И сам мир, житейский и литературный, часто предстает для Сенковского-скептика не чем иным, как пародией...

Соединяя эти разнородные элементы под знаменем «закусившей удила насмешки», Сенковский шел от жанра фельетона, весьма распространенного в современной ему французской литературе. Он превращал обыденное повествование в ироническое, вкрапливая в него едкие намеки на реалии современной жизни. Развивается некий фантастический сюжет: описывается, например, «большой выход у Сатаны». По воле фантазии автора возникает Сатана на троне, перед которым чинно шествуют черти различных родов и рангов. И вдруг на этом фоне высвечивается деталь, знакомая читателю-современнику, которая тотчас преображает повествование. Получается своеобразная игра сюжета с тем, что в его рамки как будто не укладывается, а только касается его некоей (впрочем, выбранной самим автором) гранью. Подобная игра предполагает живость, непосредственность сиюминутного восприятия — как книги русских шеллингианцев, которыми Сатана предлагает заделать дыру в потолке...

Игра в сюжете рождает и другую игру: автор играет с читателем. Вернее, заставляет читателя играть... нет, не с Сенковским, а с Бароном Брамбеусом. «Маска» рассказчика становится, таким образом, основным конструктивным моментом повествования: именно она позволяет автору

выделывать самые немыслимые фигуры высшего фельетонного пилотажа.

Псевдоним Сенковского — Барон Брамбеус — связывался с определенным стилем, с установившимся миропониманием и был подкреплен, пусть фантастической, биографией. То есть был определен в пространстве и во времени. То есть преодолел функцию игры «для себя» и зажил отдельной от автора жизнью. Поэтому среди авторов «Библиотеки...» на обложке указывался не только О. И. Сенковский, но и Барон Брамбеус.

С этой точки зрения знаменитый Козьма Прутков — потомок Барона Брамбеуса по прямой линии.

А беда Сенковского-писателя состояла именно в том, что он изначально ограничил возможности самопроявления границами этой литературной «маски». Он не вышел за пределы мироощущения Барона Брамбеуса. Поэтому лучшие его произведения были созданы лишь в период некоего «взлета» — в 1833—1836 гг., а к 40-м годам Барон Брамбеус незаметно «ушел со сцены».

5

> Говорю вам — я еду в вечность; еду туда, где нет ни времени, ни пространства, ни тел, ни страстей, ни женщин, ни мужчин, ни словесности, ни читателей; где ничего нет — где есть все. Там только я буду счастлив.
>
> *Барон Брамбеус*

Редактор «Библиотеки для чтения» скоро стал знаменитым и очень богатым человеком. Он зажил на широкую ногу, начал изысканно одеваться, приобрел великолепный выезд и снял уютный дом на Почтамптской улице. При доме было два сада — цветочный и фруктовый...

С конца 30-х годов в доме на Почтамптской он стал устраивать музыкально-литературные вечера. Приглашались популярные музыканты, а среди слушателей бывали братья Брюлловы (Александр Брюллов и Сенковский были женаты на родных сестрах), известный художник Ф. П. Толстой, поэты Н. В. Кукольник и Э. И. Губер, композитор М. И. Глинка. В доме на Почтамптской составлялись и увесистые тома «Библиотеки...».

Так продолжалось лет десять, пока Сенковский не почувствовал, что здоровье его подорвано каторжной журнальной работой, его известность приобретает негативный оттенок, а силы — тают...

«Моя преждевременная смерть,— писал он в 1843 г. своей родственнице Е. Н. Ахматовой,— была бы очень выгодна для меня... я знаю это и чувствую также, что если проживу дольше, если дотяну до старости, все это изотрется, завянет, обесцветится, пропадет безвозвратно. Никто

не станет жалеть о старике, который не удовлетворил преувеличенных ожиданий, внушенных его молодостью воображению многих»[1].

Сенковский уходил и от литературы, и от журналистики: во второй половине 1840-х годов «Библиотека...» претерпевала немыслимые цензурные гонения. В 1848 г. Сенковский перенес тяжкое заболевание — холеру... И после этого совершенно оставил журнал.

Он прожил биографии ученого, литератора, журналиста. На старости лет он сделался изобретателем.

Сенковский в последние годы живет очень уединенно, берется за музыку, астрономию, химию, увлекается гальванопластикой, фотографией, сам обивает мебель, пытается выводить в своих садах новые культуры. Увлекшись музыкой, он занялся изобретением новых инструментов: придумал скрипку о пяти струнах, а с 1842 по 1849 г. строил свой «оркестрион» — инструмент, который мог бы заменить собою оркестр. Он нанял и поместил на своей квартире известного фортепианного мастера, его помощника и четырех рабочих — и после нескольких лет переделок и огромных издержек составился огромный (в два этажа) «синтетический» механизм, сочетавший духовые и струнные инструменты, со сложной клавиатурой, смычками и несколькими педалями. «Оркестрион» получился — но никто на нем не смог играть (кроме жены, исполнявшей две-три вещи). Потом изобретатель нашел в своем детище какие-то недостатки, хотел исправить, разобрал — и больше не стал собирать снова...

Эта история в характере Сенковского. То же самое фактически происходило со всеми другими его начинаниями.

К началу 1850-х гг. роскошная жизнь и неудачные финансовые обороты разорили Сенковского — и он, с неохотой, вновь вернулся к перу. Летом 1856 г., преодолевая болезни и отвращение к литературе, он начинает печатать в журнале «Сын Отечества» еженедельные фельетоны — «Листки Барона Брамбеуса», то есть возвращается к тому, с чего когда-то начал.

Эти «листки» имели оглушительный успех: тираж «Сына Отечества» увеличился сразу на несколько тысяч подписчиков. Эти «листки» (впоследствии изданные отдельно, в двух объемистых томах) стали последними произведениями Сенковского. Здесь он писал о самых разных проблемах жизни общественной, выступив уже по преимуществу в роли публициста: он описывал собственные фантастические изобретения и выпускал целые трактаты о развитии торговли, промышленности, о финансах; он писал о печах новой конструкции — и о славянофильских воззрениях; о гастрономии — и о Людовике XVI...

Сенковский умер в полдень 4 (16) марта 1858 г. За три дня до смерти он продиктовал последний «листок».

---

[1] Русская старина.— 1889.— № 5.— С. 308.

6

> ...надобно нам будет составить прокламацию, в которой были бы исчислены все великие преступления Барона Брамбеуса, общего врага нашего, который у нас отнимает хлеб и заслоняет нам солнце.
>
> *Барон Брамбеус*

Приведенная цитата взята из памфлета Сенковского «Обвинительные пункты против Барона Брамбеуса» (1839), в котором содержалось ироническое «исчисление» всех его «злодеяний». Эти же «злодеяния» частенько повторяются и до сих пор — но уже без иронии.

В «Записках домового» Барон Брамбеус создал образ «упавшей литературной репутации», которую необходимо было поднять: «Собралось человек тридцать ее приятелей, все из литераторов. Когда я пришел туда, они миром подымали ее с земли... Мы дружно напрягли все силы; пыхтели, охали, мучились и ничего не сделали. Мы подложили колья и кольями хотели поднять ее. Ни с места! Ну, любезнейший! Ты не можешь себе представить, что значит упавшая литературная репутация. В целой вселенной нет ничего тяжелее».

В этом образе почему-то хотят видеть намек на Пушкина (хотя никаких данных для этого нет). Но кого бы ни имел в виду Сенковский — в конечном счете он сам оказался носителем «упавшей» репутации.

В глазах современников он был прежде всего главой «Библиотеки для чтения», журнала хоть и читаемого, но носившего на себе печать «массового», «провинциального». Потом его несправедливо объявили участником реакционного «журнального триумвирата» и соратником Булгарина. И до сих пор в упрек ему ставят резкие суждения о Гоголе, возведение Н. В. Кукольника в «русского Гете», пресловутый знак равенства между Пушкиным и А. В. Тимофеевым, поставленный в одной из его статей... И за Сенковским прочно утвердилось клеймо талантливого, но беспринципного писателя.

Мы так стремимся иногда свести сложные проблемы и сложные личности к простым и тривиальным формулам и объяснениям, что подчас и сами не замечаем, как становимся очевидно несправедливы.

Что такое «беспринципность» Сенковского? А. И. Герцен, отнюдь не симпатизировавший «Библиотеке для чтения», вовсе не считал эту беспринципность личным качеством ее редактора. Он объяснял эту видимую «беспринципность» особенностями эпохи: «Сенковский, обруселый поляк, ориенталист и профессор, был очень остроумный писатель, большой труженик, но без всяких убеждений, если не называть убеждением полное презрение к людям и обстоятельствам, к убеждениям и теориям. Сенковский настоящий представитель того *склада*, какой общественное мнение приняло после 1825 года: блестящий, но холодный

лоск, улыбка презрения, часто скрывавшая угрызения совести, жажда наслаждений, подстрекаемая необеспеченностью, грозившей тогда судьбе каждого человека в России, насмешливый, но, тем не менее, печальный материализм, деланные шутки человека, чувствующего себя в тюрьме»[1].

Сенковский был человек блестящих задатков, которым не суждено было реализоваться. Способнейший ученый, он так и не стал выдающимся исследователем Востока. Одаренный писатель, он оказался интересен прежде всего своими несвершившимися возможностями и неисполненными «ожиданиями». Замечательный журналист, редактор — он и в журнале своем не сумел полностью реализовать себя... Блестящие, но нереализованные задатки — это признак «лишнего человека», человека «обломовского» типа.

Ведь, в сущности, Сенковский — это оборотная сторона Обломова. Личность без убеждений, человек без позиции — это ведь тоже позиция. Можно, как Обломов, лежать на диване и ничего не делать, а можно делать очень много и хвататься за все на свете — и не выйти из этого порочного «обломовского» круга.

Сенковский был человек своего времени. Он оказался едва ли не в центре литературно-общественной борьбы сложнейшей эпохи 30-х годов. И мог ли он быть в критических суждениях и в прогнозах своих всегда и до конца правым? И мог ли он (как и любой другой писатель) вполне выразиться в созданиях своих, запрятанных под маску наивного и шаловливого Барона Брамбеуса?..

Как-то И. А. Крылов, услышав спор об уме Сенковского-Брамбеуса, заметил: «Вот вы говорите, умный, умный! Да ум-то у него дурацкий».

Но почему же этот «дурацкий ум» оказывается так привлекателен? Почему даже такой ярый ниспровергатель авторитетов, как Д. И. Писарев, не мог отказать Сенковскому «ни в уме, ни в огромном таланте»[2]?

Когда-то, еще в 20-е годы нашего столетия, молодой писатель Вениамин Каверин задумал писать исследовательский этюд о Брамбеусе-Сенковском. Юрий Тынянов, его друг, изучавший тогда наследие В. К. Кюхельбекера, предоставил Каверину письмо Кюхельбекера к Н. Глинке от 9 июля 1835 г., где ссыльный декабрист заметил: «Я литератора Сенковского, литератора и ученого европейского, ни с кем из наших не сравниваю: он всех нас... (не исключая никого) далеко перевешивает ученостью и основательностью познаний. Русского же повествователя Сенковского ставлю непосредственно после Пушкина, Кукольника и Марлинского...»[3].

Книга Каверина «Барон Брамбеус» вышла в свет в 1929 г. Писателя обвинили в апологетическом отношении к реакционному литератору.

---

[1] Герцен А. И. Полн. собр. соч. и писем.— Т. 6.— С. 369.
[2] Писарев Д. И. Соч.— Т. 1.— М.: ГИХЛ, 1955.— С. 131.
[3] Цит. по: Каверин В. А. Барон Брамбеус.— С. 137.

Однако А. М. Горький в своем письме к Каверину нашел даже, что тот «несколько стиснул и принизил» фигуру Сенковского. «А исторически,— заметил Горький,— Брамбеус рисуется мне фигурой более широкой и высокой — более хаотической, расплывчатой. Думаю, что не совсем правильно трактовать его *только* как журналиста, ибо он обладал и дарованием беллетристическим, обладал чертами «художника». Умел не только критиковать, но и восхищаться, то есть — восхищать, возвышать себя — над действительностью»[1].

А за сто лет до этой оценки Горького, в самый разгар «журнальной» баталии между «Библиотекой для чтения» и «Современником», Пушкин счет нужным печатно заметить: «Признайтесь, что нападения ваши на г. Сенковского не весьма основательны. Многие из его статей, пропущенных вами без внимания, достойны были занять место в лучших из европейских журналов»[2].

В. А. Кошелев, А. Е. Новиков

---

[1] Переписка М. Горького: В 2 т.— М.: Худож. лит., 1986.— Т. 2.— С. 283.

[2] Пушкин А. С. Полн. собр. соч.— Т. 12.— С. 96.

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ БАРОНА БРАМБЕУСА

À chaque baron sa fantaisie.
(У всякого барона своя фантазия.)

Старая шутка

I

ОСЕННЯЯ СКУКА

Любезный доктор! я принимаю ваше лекарство, но оно не производит никакого действия. Я все страждy сплином, который при этой ужасной погоде еще усиливается. Нельзя ли прописать мне чего-нибудь другого, немножко покрепче? Мне кажется, что если б я прорезал себе горло перочинным ножичком, то дня через два был бы совершенно здоров и весел?..

Ваш преданный

Лорд Кастлри

Life and Corresp. of Mar. Londonderry*.

Темно! сыро!.. На дворе дождь. Посмотрите, что за воздух! Возможно ли человеку жить в таком тяжелом, грязном растворе мрака и болотной воды? Посмотрите на общество, отсыревшее от ненастного лета и осенних туманов, подернутое мглою дремоты, томное, бледное, унылое; исхудавшее от беспорочности по службе, от неурожая по деревням и от засухи, постоянно господствующей в словесности; ищущее для себя пищи по страницам вышедших в течение года книг и, ища, зевающее над страницами, и, зевая, раскрывающее рот так широко, что когда-нибудь на днях — увидите! — оно втянет в горло и проглотит не только тощую нашу за весь год словесность и почтенных словесников, но и великолепное объявление А. Ф. Смирдина о новом журнале, с полным списком наших литературных знаменитостей, с нашими самолюбиями и своими надеждами. Я весь дрожу при виде этого воздуха и этого опасного расположения общества к судорожному зеванию — дрожу и сам зеваю, по его примеру. И долго ли будем мы так зевать на свете?.. Не понимаю, кому еще охота добровольно душиться в

* Жизнь и переписка маркиза Лондондерри *(анг.)*.

такой убийственной атмосфере нравственной и физической скуки. Я по крайней мере не хочу быть долее свидетелем этой умственной распутицы, по которой понятия наши тащутся так медленно и с таким трудом, где они беспрестанно вязнут в черных, широких, 4-частных лужах безвкусия, где того и гляди, что их затопчет в грязь мимоездом первый тяжелый статье-писатель, скачущий на перекладных к литературной славе. Но и вы, храбрые читатели всего печатного, я думаю, тоже наскучили подобным существованием. Право, оно нестерпимо!.. Так знаете ли, что я вам скажу? Я уверен, что вы с восхищением примете мое предложение. Пойдем и бросимся в Неву!.. Бросимся скорее, пока она еще не замерзла!

В самом деле, зачем нам жить на свете? Погода ужасна, усы наши обвисли, газеты без новостей, черные галстухи угрожают падением и могут увлечь круглые бакенбарды в общую развалину, театры представляют одни только картины и фантазии, картины почти ничего не представляют, в словесности не знаешь куда деваться от предисловий, в гостиных от лотерейных билетов, у себя дома от безвременных гостей и исторических романов, на улице от успехов промышленности. Река целую неделю несет лед; проза круглый год несет вздор; у нас, на Руси, лучшие ее страницы засыпаны толстым слоем острых, шероховатых, засаленных местоимений *сей* и *оный*, которых, по прочтении, не смеете вы даже произнести в честной компании, которыми наперед израните себе до крови язык и руки, пока сквозь них доберетесь до изящного. Разве это жизнь?.. Лучше пойдем в Неву! Утонем все вместе, так, по крайней мере, будет конец этой скуке.

А ежели вы не хотите, я пойду один. Пойду!.. Глядите ж и удивляйтесь моей решимости. Когда меня не станет, скажите моим знакомцам, что я утонул с уныния, с отчаяния; потому что на свете и в словесности в нынешнем году было очень скучно, потому что русская изящная словесность XIX столетия не хотела говорить русским языком XIX века, что она тайно покупала у повытчиков в числе прочего казенные местоимения *сей* и *оный*, топила ими свои произведения как собственными дровами и безвкусно испещряла все свои строки, что она никак не соглашалась стряхнуть с себя пыль канцелярских форм, описывала даже любовь и ее прелести слогом думного дьяка Власа Афанасьева и заставляла меня, злополучного, думать на одном языке, на том, которым говорю я с порядочными людьми, а писать на другом, которым не

говорит никто на земном шаре. Скажите им чистосердечно — зачем скрывать истину? — что однажды, в глубокую осень, в сырую погоду, когда темный и печальный воздух обыкновенно наводит на людей меланхолию, я страдал сплином и как-то пожелал сделаться сочинителем; сел писать — не забудьте прибавить, в изящной прозе — задумал первую фразу, которая в моей мысли начиналась словами *«Этот дурак...»* и, быв принужден написать вопреки моей совести и моему слуху, *сей дурак* или *оный дурак,* побежал к Неве и кинулся в воду. Скажите им все это — и прощайте.

Прощайте навсегда!.. Через полчаса, не далее, я безвозвратно расстанусь с этим коварным и двуличным светом и переселюсь в лучший мир, туда, где пишут теми же словами, которыми говорят. Прощайте! Иду!..

Куда?.. Зачем?.. Не сумасшедший ли я? Лишать себя жизни из-за канцелярских местоимений!.. Я был бы настоящий *сей, оный, таковой* и даже *упомянутый дурак,* если б сгубил свою душу из-за такой ничтожной причины. Нужно иметь несколько философии. Я могу вооружиться ею и благородно, великодушно презреть подобные местоимения, как Александр Великий презрел наглость скифов. Да... конечно: я их презираю. Что они мне сделают? Буду назло им жить на свете; жить нарочно для того, чтоб огорчать их моею к ним холодностью, чтоб бесить их, чтоб их самих привести в отчаяние и заставить, подобно теснимой дымом саранче, сняться тучею с поля словесности и опрокинуться в Неву.

Как будто не найду я средства приятно провести дождливое время, не вдаваясь в изящную прозу и в авторство! Вместо того, чтоб бросаться в реку, я определюсь в судьи. Вы не можете себе представить, как привольно быть судьею в дурную погоду. Правда, что судить о людях и вещах весьма трудно: на то требуется много ума, познаний, опытности; но судить людей и вещи совсем другое дело — безделица! Стоит только сесть и судить. И как мне будет весело, когда сделаюсь я судьею! Сяду в кресла, за красный стол, перед зерцалом; сложу руки на груди, вытяну ноги, потуплю взоры и велю себе докладывать. Секретарь станет читать длинную записку; я стану спать. Он все будет читать, я все буду спать — спать сном сладким, длинным, предлинным, бесконечным, как записка; проснусь только на минуту, чтоб подписать определение, и опять усну. Шум плещущих капель дождя и однообразное, заунывное жужжание секретарского чтения доставят

мне роскошный, райский сон. Таким образом буду я неутомимо присутствовать, исправно очищать дела и беспристрастно решать споры моих сограждан до первой санной дороги. Какое счастие! какое положение!— спать и быть полезным отечеству!! Иду непременно в судьи.

Не то, если не захотят определить меня в члены хорошего суда, с хорошими, набитыми чесаною мочалкою креслами, я могу жениться. Оно почти то же: женитьба тем именно чрезвычайно похожа на судейский сан, что, как там, так и тут, для исправного течения дел надобно много спать. Я даже думаю, что сделаю гораздо лучше, если женюсь. Как вы советуете, господа женатые читатели всего печатного?.. Мне кажется, что, если б я приказал связать себя крепко-накрепко брачными узами и лежал на свете счастливым поленом, это было бы удобнее, чем быть съеденным щуками в Неве или почивать на лоне правосудия. Но о Неве я уже не думаю: итак, следует только взвесить со вниманием и сравнить беспристрастно выгоды судейства и супружества. Поставим с одной стороны мягкие казенные кресла красного дерева, Полное собрание законов, длинную записку о деле и благоухающего утренним пуншем секретаря — с другой, большое брачное ложе с шелковыми занавесами и роскошною постелью, целую библиотеку печатных правил и рассуждений о домашнем счастии, длинный список приданому и белую, розовую, молоденькую супругу с нежными голубыми глазами, с золотыми волосами, с прелестною ручкою и сердцем, горящим любовию ярче кенкета в прозрачной как хрусталь груди. Как вам угодно — я почитаю правосудие, но в этом случае, не дожидаясь даже вашего мнения, основанного на опыте, собственным своим умом отдаю полное преимущество женитьбе; и если ошибаюсь, то ответ за мною.

Следственно, на нынешнюю осень не хочу быть судьею, хочу быть супругом. И буду! Вот, пока дождь не перестанет, влюблюсь поскорее в прекрасную, добродетельную, скромную девицу и торжественно вступлю с нею в брак. Каким небесным счастием буду я наслаждаться в то время, как вы, не зная что делать от скуки, длинно и печально будете раскладывать пасианс! Увидите, какая будет у меня жена!— тихая, кроткая, послушная, как все новобрачные. Сверх того, она будет умна, чувствительна, весела, очаровательна. Маленький ее ротик, цветущий тонкими пурпуровыми устами, озаренный улыбкою, какой вы еще ввек не видали — какую я только видел однажды в моем воображении,— будет нарочно создан для поцелуя.

и изящной прозы; он прекрасно будет говорить по-русски и перескажет мне со вкусом те чувства, которые сердце ее с восторгом будет выработывать для моего благополучия; перескажет языком светлым, благозвучным, как майская песня соловья; ротик чистый, свежий, сахарный, которого никогда не оскверняли ни измена, ни подъяческие местоимения; из которого не услышу я ни *сей чепчик*, ни *оный поручик*; который скорее согласится говорить по-татарски, чем произнести отвратительные для него слова *сей* и *оный* — потому что, извольте знать, моя жена будет превосходно воспитана и взята из хорошего общества. Я буду с ней совершенно счастлив, несмотря на дурную погоду. Не забудьте, что вслед за свадьбою ожидает меня медовой месяц, который продолжается ровно четыре недели; месяц восхищений, клятв, вежливостей, неизъяснимого согласия и непоколебимой верности; месяц, в котором заключается краткое содержание всего, что только люди написали о любви и счастии с первого года от сотворения света по 1833 год включительно. На этом месяце я преимущественно основываю мои расчеты в рассуждении нынешней осени... Но барометр что-то стоит очень низко!.. А если медовой месяц кончится прежде дождя?.. Ежели ненастье и скука будут продолжаться пять, шесть, семь, десять недель сряду?.. И настанут обыкновенные дни супружества?.. И мы как-нибудь поссоримся друг с другом? И я взбешусь, схвачу шляпу и уйду на улицу? И дождь промочит меня всего? И я получу простуду? И мой сплин?..

Нет! Не хочу жениться! Это слишком опасно в таком изменническом климате, как петербургский.

Лучше куплю себе канарейку и буду забавляться с нею. Если увижу, что, для рассеяния скуки, господствующей в нынешнем году во всей Европе, одной канарейки мало, то куплю их десять, пятьдесят, сто. Достану себе еще попугая и сороку, которые бы хорошо умели говорить и смешили меня своим лепетаньем. А когда нужно, прибавлю к ним еще полдюжины собак разных пород, обезьяну, пару белых мышей и ручного медведя — и буду прелестно жить в их обществе. И сказать по совести, не в укоризну ни себе, ни моим приятелям, на свете нет другого чистого, верного, безопасного удовольствия, кроме общества безвредных скотов. Я испью до самого дна чашу этого удовольствия: запрусь в своей квартире, не велю пускать людей, даже и женщин, и буду исключительно обращаться, беседовать, гулять, рассуждать и жить с животными. Но-

вый мир создастся вокруг меня: я буду обложен зверскими чувствованиями и скотскими понятиями. Мои приятели, добрые, нелицемерные, безвредные приятели, будут медведь, обезьяна, собаки, попугай, мыши и канарейки. Дружба и приверженность, одетые в блистательные перья и косматые шкуры, будут летать по комнатам, будут беззаботно порхать по столам, печам, шкафам и карнизам, будут величаво разлегаться у дверей, на диванах и под диванами. Мы будем жить мирно, будем любить, защищать, тешить и понимать друг друга. Верность, преданность, искренность, признательность, великодушие — все главы и статьи нравственной философии соберутся в наличности в скромном моем жилище, воздух которого упитается и надушится ими от полу до потолка; одного только обмана, одной гордости и подлости тут не будет, потому что дверь с лестницы запру я замком и ключ спрячу в карман.

Вам никогда не случалось быть в обществе настоящих животных?.. О, так вы не знаете, сколько добродетели, сколько истинной нравственности и непринужденной веселости всегда бывает в подобных собраниях! Представьте себе только, для примера, то избранное, отлично воспитанное, благородное общество, которое буду я иметь честь угощать в эту осень в моем доме. Прелестные и ловкие мои канарейки составят главнейшее его украшение: они наперерыв будут щеголять своими перьями и своими песнями, будут напрягать звонкие свои горлышки, петь, звучать, щебетать — щебетать весь день, щебетать все вместе — и, несмотря на то, никого не оклевещут! В целом этом шуме не найдете вы ни одного слога злословия или насмешки. Мои собаки будут резвиться, прыгать, валять друг друга на землю; иной бы подумал, что они заняты только собою, но и в самом пылу забавы их мысль и сердце всегда подле хозяина, они мигом сбегутся к нему и разорвут в куски мерзавца, который осмелится посягнуть на его честь или достояние. Где видали вы таких добродушных гостей? Обезьяна будет бегать, кривляться, передразнивать всех, и даже меня, но без злобы, без колкостей, не по желанию выказать свое остроумие, а только потому, что она обезьяна. Покажите же мне таких добрых и откровенных обезьян в обществах человеческих!.. Мои мышки пустятся вальсировать в колесе и будут вальсировать скромно, невинно, без дурных мыслей, без тех опасных для нравов последствий, какие, по мнению философов, нераздельны с людским вальсом. Мой почтенный медведь вальсировать не станет: он только танцует полонез. Про-

танцевав, он будет участвовать в общих забавах в качестве наблюдателя нравов, но он не напишет на другой день статьи для журнала о личном нраве хозяина, не оцарапает меня своими наблюдательными когтями и не предаст посмеянию за то, что я был не одинакового с ним мнения о других медведях, его соперниках. Почтенный медведь!

На все эти чинные, благопристойные, отлично честные действия моих животных-гостей буду я смотреть с душевным умилением, с спокойною отрадою, сидя у камина в старом моем вольтере, в белом колпаке и красных туфлях, делая замечания, играя с собаками, гладя медведя за его кротость, улыбаясь, даже хохоча, и ощущая то благополучие, какое невольно рождается в нас при совершенном прекращении скрипучего, раздражительного трения души с жесткою поверхностью людских страстей. А когда наскучу смотрением и пожелаю развлечь себя дружескою беседою — как, по несчастию, у меня нет жены, нет верной подруги, которая, нежно прислонив голову к моему плечу, слушала бы мои рассуждения и мыслила со мною моей мыслию,— то я сяду у клетки и стану разговаривать с попугаем. Он взлетит на мое плечо, подерет клювом за платье и будет ожидать, пока я заговорю с ним. Я скажу ему несколько слов — он повторит их с величайшею точностию; я еще скажу — он повторит и это... Знаете ли, что мне пришло в голову? Я думаю, что, в рассуждении приятности беседы, с попугаем я даже выиграю более, нежели с верною подругою. По крайней мере, когда я скажу: да!— он в возврат не скажет мне: нет!..

Ах, зачем не могу я жениться на попугае! Я был бы беспредельно счастлив с этою птицею, созданною для истинной дружбы и вечного согласия!

Так, это решено. Иду тотчас покупать себе гостей, приятелей и собеседников из животных, из подлинных животных, записанных в оклад по зоологии в этом чине и гордящихся своим почетным званием. Это намерение кажется мне умнее всех прочих, которые сегодня родились в моей голове. Одно только неудобство, что когда канарейки начнут петь все вместе, попугаи кричать, обезьяна визжать, собаки лаять, медведь, не понимая дела, реветь в углу, как невежественная критика в забытом журнале... Господи, какой ад! какой шум! Ведь это хуже, чем в супружестве! А я именно потому не женюсь во второй раз, что боюсь шуму пуще смерти...

Не хочу, не хочу животных!

Не хочу ничего в свете! Мне ничто не удается!.. Быть может, дождь скоро пройдет, скоро кончится осень и наступит зима; небо, воздух, мой ум и общество несколько просохнут, разгуляются, станут повеселее... Посмотрим барометр. Как?.. он упал еще ниже!!. Сообразив все обстоятельства, вижу, что мне не остается другого средства, как повеситься от скуки по-английски или забавляться с самим собою. Надо решиться, не теряя дурного времени, и избрать то или другое. Повеситься было бы гораздо короче и яснее. Вот хороший крюк в потолке. Но чтобы удобно на нем повиснуть, нужно наперед снять с него люстру... Слишком много заботы! Нужно также купить прочную, надежную веревку — а я не подумал о том заранее, во время выставки произведений народной промышленности. Хороший товар за сходную цену можно купить только на выставке: это не секрет! Притом, висящий человек всегда кажется немножко смешным... Уж лучше забавляться с самим собою!

На что мне искать животных, когда я сам могу заступить для себя их место! И знаю, как сделаю: запрусь в кабинете, опущу шторы, заткну даже ключевую дирку в дверях, чтобы никто не мог подсмотреть меня, и буду играть с моим самолюбием, как с обученным пуделем: заставлю его прыгать через палку и лаять перед портретами моих соперников, особенно тех, которые умнее меня; велю ему сидеть передо мною на задних лапах и удивляться моему уму и моим добродетелям; сяду на софе и брошу в другой конец комнаты чью-нибудь славу, чье-нибудь бессмертие, и прикажу подать их мне, как платок или фуражку, положить у моих ног, повергнуть к моим стопам в виде должной мне дани. Мое самолюбие, я уверен, исполнит все это с величайшею точностью и радостью; почему хотите вы, чтобы оно не было так же ловко и услужливо, как другие самолюбия?.. В этой пасмурной и дождливой жизни нет товарища, нет спутника и зонтика вернее и приятнее своего самолюбия. Оно единственный и настоящий друг человеку, источник глупости и счастия, утешитель в неудачах, великодушный судья его слабостей и гонец его к потомству. Если всякий человек имеет своего ангела-хранителя — в чем я нисколько не сомневаюсь,— то его самолюбие есть штатный помощник этому благотворному духу, вице-ангел-хранитель.

Итак, эту осень, длинную, несносную осень я проведу в приятном обществе моего достопочтенного самолюбия. От этого намерения уже не откажусь ни под каким видом!

Советую и вам последовать моему примеру: увидите! — не приметите даже того, что на дворе слякоть и что в деревне нет хлеба на посев. Покойник Стерн, который отнюдь не был глуп, услаждал таким образом свое горе: под конец жизни он читал только собственные свои сочинения, чтоб иметь дело исключительно с одним своим самолюбием. Станемте и мы читать только собственные свои сочинения и будемте умны и счастливы, как Стерн!

Что касается до меня, то я сейчас сажусь читать свои сочинения. И чтобы вполне упоиться сладостью этого небесного занятия, начну с рукописных моих трудов, которых никто еще не знает, кроме меня и моего самолюбия. Вот толстая тетрадь, в которой заключается полное описание моей жизни. Она вся написана карандашом; я так пишу все биографии великих людей, особенно моих приятелей, чтобы потомство, истерши локтем многие места, не могло разобрать всего, что было написано, и имело лестное понятие о моих связях и нашем веке. Она разделена на восемь глав, соответственно восьми классам табели о рангах, пройденным мною в течение земного моего существования, которое все еще течет по капельке, и составляющим великие исторические его эпохи. В первой главе описываются происшествия, случившиеся со мною в то время, когда я числился в 14-м классе. Глава вторая посвящена деяниям моим в пределах 12-го класса; третья изображает похождения мои в 10-м классе; четвертая в 9-м, пятая в 8-м и так далее. Это самое простое, ясное, перстом самой природы указываемое разделение жизнеописания смертного, но чиновного человека. Удивительно, что доселе не сказано о том ни слова ни в одной нашей риторике!

Но это посторонний вопрос. Дело в том, что я беру в руки мое сочинение, буду читать его вдвоем с моим самолюбием и буду доволен собою. Кроме того, что оно плод собственного моего пера, мое дитя, моя радость, жизнеописание такого странного, как я, человека не чуждо занимательности и другого рода: я видел много глупостей и сам сделал их много...

Мы упомянули о глупостях: я полагаю, что мое сочинение было бы очень занимательно и для вас, моих любезных ближних. Один английский философ — я знаю, который именно, — опровергая мнение Платона, утверждавшего, что человек есть простое двуножное животное без перьев, доказывал, что в таком случае нет никакого различия между герцогом Дивонширом и ощипанною индей-

кою и что гораздо свойственнее определить человека тем, что он единственное в природе животное, которое стряпает свою пищу на огне. Но я не согласен с этим определением: следственно, островитяне Тихого океана, выучившиеся от европейцев высекать огонь и делать спички, с тех только пор начали быть людьми, как скушали первый ломтик бифстеку?.. Какое лжемудрие! У меня есть своя философия, гораздо прочнее английской, и я определяю человека со стороны его характеристической и одному ему принадлежащей страсти. Человек, говорю я, есть то особенное, единственное в природе животное, которого главная забава состоит в том, чтоб тешиться глупостями своего рода. Прошу теперь не делать никаких возражений на мой афоризм: вы будете опровергать его, как воротитесь домой из театра или когда кончите разговор о ваших приятелях. До того времени я буду почитать эту истину за доказанную и, убедив вас столь блистательным образом, что для существования в качестве настоящих людей глупости несравненно нужнее вам каши, бифстеку и всей кухни, смею льстить себя мыслию, что могу быть вам полезным моим жизнеописанием.

Я уже вижу, как в глазах ваших возжигается великолепный огонь радости при одном предложении уступить вам, для вашей забавы, богатый клад человеческих нелепостей; вижу, как вы бросаете карты, бумаги, бутылки, любовь, честолюбие, происки и все дорогое сердцу, чтоб расхватать поодиначке несообразности и причуды моей жизни, чтоб повеселиться, приятно потрясти свои губы, роскошно покачать нервы глупостями моими и еще нескольких бедных существ, имеющих честь вместе со мною принадлежать вашему роду. Потише! не торопитесь!.. Я тоже человек, тоже люблю глупости, особенно мои собственные и лично мною подобранные на свете. Мы можем дружески поделиться ими: это другое дело! — но лишить меня всего их сокровища, вырвать у меня все мое жизнеописание, весь ящик моих и приятельских глупостей, было бы с вашей стороны бесчеловечно.

И если даже соглашусь предоставить известную часть моего собрания глупостей в ваше распоряжение, то не отдам ее даром: вы должны прочитать за то мое предисловие. Я знаю, что вы не любите читать предисловий и всегда пропускаете их при чтении книг; потому я прибегнул к хитрости и решился запрятать его в эту статью. Сделайте милость, прочитайте его со вниманием. Без предисловия теперь никакая глупость не выходит в свет,

и добросовестный читатель непременно обязан пожертвовать частицей своего терпения в пользу этих литературных прокламаций: это единственный чистый доход авторского самолюбия.

Вот мое предисловие.

Величайшая глупость, какую сделал я в своей жизни, была отлучка моя из отечества, чтоб путешествовать в чужих краях. Первое путешествие предпринял я случайно: вы узнаете, по какому поводу; но, будучи однажды за границею, я уже не хотел возвращаться домой и странствовал бесконечно. Я посетил четыре части света, объехал вокруг всю землю, был в Швеции и Голконде, во Франции и Камчатке, в Царьграде и Вашингтоне; видел все, что только есть любопытного и достойного внимания в мире,— словом, китайцев, пирамиды и обезьян; видел голых людей и живых сельдей, кенгуру и английских миссионеров; даже видел, как растет кофе, чай, сахар и ром. Фивская Мемнонова статуя, некогда гордо возвышавшаяся среди пышной и многолюдной столицы, удивлявшая древних мудрецов и героев волшебными звуками, которые производил в ней первый луч восходящего солнца,— я видел ее торчащею уединенно в деревенском ячмене и смотрел на великого завоевателя, Мемнона, исправляющего полезную должность пугалы воробьев XIX века, как теперь смотрю на моих кредиторов — с равнодушным любопытством. Гелиопольский обелиск, который кто-то из наших знакомцев высокопарно назвал «могучим лучом солнца, зароненным в пустыню»,— я этот могучий луч солнца видел просто в картофеле! И подобных лучей видел я по крайней мере три десятка, хотя о том не говорю ни слова.

Зевая на природу и искусство, съедая с аппетитом жареных щенков и парадоксов, закусывая шаро́ и бананами, запивая мадерою, перевезенною восемь раз через экватор, какой не пивал и сам Гумбольдт, прусский камергер и всемирный ученый; варя щи вместо дров на мумиях министров и любовниц великого Фараона, я путешествовал фантастически — иначе путешествовать я не умею,— бродил кругом света, по свету и под светом; старался видеть все и наблюдал все, что видел; делал открытия, стряпал замечания, изучал людей, изучал мужчин и женщин и был уверен, что путешествую для образования своего ума и сердца. Подписав кучу векселей на всех возможных языках и наречиях, я, наконец, отправился домой, на родину, с утешительною мыслию, что теперь прекрасно знаю

людей и что мой ум и мое сердце образованы превосходно. Прибыв в Торопецкий уезд, я представил батюшке счет издержкам на изучение людей; он заметил мне со вздохом, что, сколько он знает, в людях нет ничего такого, что бы стоило и половины этих денег, и что, верно, они меня обманули. Относительно к уму, старая тетушка, которой пожал я руку сильно, по-английски, сказала, что я дурак, а в рассуждении сердца первая моя на Руси любовница, которой не купил я турецкой шали по неимению денег, объявила, что я жестокосердый. У нас всегда так судят о молодых людях с высшим образованием! Я поехал в Петербург.

Замечание доброго и умного родителя огорчало и мучило меня всю дорогу. В Боровичах, на станции, расплатившись с смотрителем, я посчитался с совестью, и когда подвел все итоги моего знания людей, вышло, что в самом деле они меня надули: вместо изучения людей, которые никак не даются проникнуть себя другим людям, я изучил только длинный список людским глупостям обоего пола!.. Право, незачем было ездить за границу.

Я решился не сказывать никому о том, что знаю человека.

Но путешествие совершено, глупость сделана — что, конечно, обрадует вас чрезвычайно,— и для общей нашей потехи я готов уделить вам три отрывка моей глупости. Я говорю — отрывка, потому что сами вы умные люди и знаете, что мы живем в отрывочном веке. Прошло время, когда человек жил восемьдесят лет сплошь одною жизнию и думал одною длинною мыслию сплошь восемнадцать томов. Теперь наши жизнь, ум и сердце составлены из мелких, пестрых, бессвязных отрывков — и оно гораздо лучше, разнообразнее, приятнее для глаз и даже дешевле. Мы думаем отрывками, существуем в отрывках и рассыплемся в отрывки. Потому и я не могу выпускать моего жизнеописания иначе, как в этом виде: в наше время даже и глупости выдаются свету, на его потребности, только отрывками, хотя иногда довольно значительными. Надо шествовать с веком!

Я сказал, что жертвую ими для общей вашей и моей потехи: это само собою разумеется. Даже, как хозяин моих глупостей, большую часть неразлучного с ними удовольствия я предоставляю себе. Вам только будет приятно знать, что я их наделал, но я!.. я буду в восхищении, в восторге, в исступлении от роскоши, счастия, блаженства: я буду читать несколько раз сряду мое сочинение! Я буду

читать его в первой корректуре, буду читать во второй и третьей; прочитаю три раза, даже четыре, и всегда с новым наслаждением. Если я великодушно решаюсь издать мое сочинение, то — будьте уверены — единственно для того, что оно поступит в печать, а печать доставит мне благовидный предлог к троекратному прочтению его, по обязанности сочинителя.

С какою радостью буду я исправлять погрешности набора, с каким благоговением восстановлять памятник моему самолюбию, поврежденный варварскою, святотатственною рукою наборщика! О, если б вы знали эту единственную в свете сладость — сладость читать корректуры своей книги,— никто из вас не вспомнил бы даже о том, что на улице грязь и в обществах скука! Она так велика, что одна в состоянии усладить все горечи нашей жизни.

Если вы несчастны в супружестве, посылайте сочинения ваши в типографию и читайте корректуры.

Если в Новый год не получите награды, читайте корректуры.

Если попадетесь под суд, читайте и тогда корректуры и, переменив кстати несколько букв в предмете вашего обвинения, не бойтесь правосудия и блаженствуйте под судом. Корректура есть то выспреннее, верховное удовольствие, в котором сосредоточиваются все блага европейского просвещения. Древние не знали корректур: вот почему они погибли и находятся нынче под судом у потомства!

Теперь вы знаете все, что нужно знать для чтения трех моих отрывков и для совершенного счастия в жизни, и я могу окончить мое предисловие. Есть на свете тяжелые, неподвижные, чугунные люди, называющие себя основательными, которые бы хотели, чтобы все удовольствия были из цельного длинного куска, как Александровская колонна, и не постигают поэзии отрывка. Они вообще большие покровители ябеднических местоимений *сей* и *оный* и, осердясь на меня за то, что я смел толкнуть в бок предмет их нежного покровительства, вероятно, вооружатся и против моей системы отрывков. Скажите же им, ради бога, что отрывок есть представитель нашей образованности, итог нашего терпения в полезных занятиях, царь новейшей словесности, верх изящного.

Они, как охотники важничать и спорить, быть может, спросят у вас, что такое понимаете вы под именем «изящного», и потребуют точного определения этого понятия. В ответ бросьте им высокопарную и темную фразу, какую

бы то ни было, первую, которая придет вам в голову, хоть бы и вовсе некстати — потому что все определения предмета, которого никто еще не понял со времени вымышления его названия, равно хороши и ясны; в крайнем случае сошлитесь на какого-нибудь знаменитого автора.

А если, придираясь ко всякому слову, они спросят, что есть автор,— скажите им, не запинаясь: автор какой-нибудь книги есть тот необыкновенный человек, который, один на всем земном шаре, прочитал ее трижды, не задремав ни разу.

II

ПОЭТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО БЕЛУ-СВЕТУ

Счастлив, кто с юношеских дней,
Живыми чувствами убогой,
Идет проселочной дорогой
К мете таинственной своей,
Кто рассудительной душою
Без горьких опытов узнал
Всю бедность жизни под луною
И ничему не доверял!

Н. Языков

. . . .
. . . .?

Когда я был коллежским секретарем, свет казался мне очень скучным; я негодовал на все — на свет и на чины, на ленты и на человечество. В самом деле, человечество десятого класса представляет не много занимательного: развлечения его слишком вялы, мысли как-то слишком низкопоклонны, даже глупости незаметны,— а самые лучшие надежды так далеки, туманны, серы, так упитаны крепким духом северных наших передних, что это ужас!.. Мои понятия всегда стояли без шляпы перед понятиями высших девяти рангов, всегда простуживались из почтения и всегда страдали насморком; кровь моя действовала так медленно и так слабо, как циркуляры, которые я переписывал; всякий день моей жизни был на рассвете помечен входящим нумером и немедленно подшит к проволоченному делу. Я чувствовал себя созданным для высших чинов и высших ощущений, но какая-то волшебная, невидимая сила тяжелою цепию приковывала мое существование к десятому классу; каза-

лось, что я никогда из него не вылезу, что когда весь род человеческий будет произведен в титулярные советники, я один на земном шаре останусь коллежским секретарем. Дожидаясь повышения целые пять лет, я уже был уверен — да и все гении десятого класса бывают в том уверены! — что человечество остановилось и стоит неподвижно; что его просвещение и образованность даже идут назад. С досады я сделался было ужасным вольнодумцем и смотрел на вещи и на моих ближних сквозь тусклое стекло сожаления. Теперь, как я уже статский советник и скоро надеюсь быть действительным, я думаю совсем иначе; теперь я возвращаю человечеству честь и славу и вижу, что оно подвигается к совершенству, которого неминуемо достигнет, как скоро сделаюсь я превосходительным.

Но, повторяю, когда я был коллежским секретарем, мне было очень скучно. Видя себя забытым и мои дарования пренебреженными, я перестал ходить в канцелярию и начал ходить к моей начальнице, чтоб обратить на себя внимание начальника. Но он и тут меня не приметил. Есть на свете люди, которые ничего не примечают!.. Я оставил начальницу и пошел искать сильных ощущений.

Моя душа уже не вмещалась в тесных пределах десятого класса; она бродила, кипела, вздувалась, выступала из берегов и потопляла собою все смежные низовые чины, всю нагую, бесцветную равнину взморья гражданской жизни. Я родился поэтом, романтиком, и душа моя непременно требовала сильных ощущений. Бледные, томные, спазмодические, слегка нарумяненные и гладко причесанные красоты классицизма проходили по ней, как тени по полотну, не оставляя ни малейшего впечатления. Я жадно прочитывал творения новой поэтической школы, мечтал днем и ночью о страшном, мрачном, отвратительном, ужасном и был в отчаянии, что ни на Невском проспекте, ни на Черной Речке не находил ничего подобного. Чтобы согреть душу новыми, неизвестными ей чувствами, чтобы произвести корчь в сердце, сведение в жилах, судороги в мозгу и упоиться выспреннею, недоступною для обыкновенных умов сладостью, я желал впасть в чахотку и начать харкать кровью; я воображал себе роскошь быть посаженным на кол; иногда мне хотелось скитаться по свету с отсеченным языком и руками и сочинять стихи в этом положении — или видеть себя заживо запертым в гробу и съеденным червями — или снизу до пояса замерзнуть

в Неве, а сверху от пояса до головы возгореться любовью и пылать пожаром страсти в виду всей Английской набережной — или, затворясь в больнице неизлечимых, быть схваченным вихрем кашля, стона, колик, горбов, ран, гноя, паралича, падучей болезни и антонова огня и кружиться до смерти в омуте человеческих страданий — или провалиться внутрь кладбища и лежать среди бесчисленных остовов на груде перебитых черепов и ребр, тогда как по мне плясали бы мертвецы, черти, ведьмы, вампиры, змеи, ящерицы, жабы и все, что составляет прелесть жизни, прекрасное и высокое в природе; не то из коллежских секретарей прямо попасть в коллежские советники — не то хоть быть поглощенным огнедышащею горою — не то, наконец, хоть самому проглотить огнедышащую гору!.. Тогда, по крайней мере, ощутил бы я что-нибудь сверхъестественное, был бы глубоко тронут, приятно измучен, растерзан и счастлив.

Но спрашиваю, где и как найти у нас такие ощущения — у нас под 60-м градусом широты — у нас, где точка замерзания воды есть в то же время точка теплоты всех чувствований, где они как стали на нуле, так и стоят зимою и летом?.. Я искал сильных ощущений везде, где только у нас их ни предполагают: искал я их в жирных щах, в убийственных кулебяках, в мертвецком пунше и в Летнем Саду в девять часов вечера,— и нигде не мог на них наткнуться. Они, видно, редко там попадаются, хотя мои товарищи уверяли меня в противном.

Все великие поэты играют в карты: борьба жадности с судьбою есть поэзия кармана. Я пустился играть в карты, и играл шибко, чтоб произвести в душе, коснеющей в одном и том же чине и лишенной движения, хоть какое-нибудь потрясение. И это потрясение действительно скоро случилось с нею; случилось оно во время жестокой драки, когда я, в пылу поэтического вдохновения, зашиб пятьдесят тысяч рубликов у двух молодых и неопытных коллежских регистраторов, недавно прибывших из деревни служить отечеству с хорошими деньгами.

Но после этого спасительного потрясения скука, истинно классическая, грозила истребить в моем сердце зародыши прекрасных страстей и превратить его в пустыню. Регистраторы непременно хотели подать на меня жалобу — я никогда не любил сырой и мрачной прозы тюрем, где сердце человеческое запирают тяжелою веригою из предосторожности от вторжения великих чувствований, где благороднейшее создание в мире сидит в бездействии

и уничижении, как ум, заключенный в железной клетке трех единств, молящий подаяния нескольких мыслей и куска славы сквозь толстую решетку риторики — и уехал из Петербурга, оставив своих противников без денег и в 14 классе.

Но куда ехать?.. Поеду в Москву.

Нет, в Москве скучно. Что я там увижу?.. Развалины старинной боярской гордости, по которым женихи-спекуланты томно пробираются в наемных каретах! Груды обломков имений, очистившихся от банкового залога, на которых сидят разодетые в пух невесты, вертя пальчиками от скуки и считая звезды на груди приезжающих из Петербурга!.. Там уже нет поэзии; она пропала вместе с древними окладистыми бородами, бобровыми шапками, ферязями, опалами, теремами и воеводствами; цирюльники соскребли ее с лица английскою сталию, европейская полиция подмела ее с улиц, площадей и нравов, кафедра пиитики вылущила ее из молодых понятий, французские корсеты выжали ее из женских сердец вместе с азиатскою любовию. Вист, это погребальное развлечение страждущей подагрою образованности, довершил разрушение поэтической Руси, разбив общество плотное, сильное, задорное, резкое, бурное, потешное — важное натощак, пляшущее вприсядку навеселе,— разбив его на мелкие кучки, о четырех лицах каждая, геометрически расположенные на земной поверхности и безмолвно соображающие умом отношения королей к тузам и судьбу тузов, дрожащих перед лицом козырной пятерки. В Москве мне нечего делать. Притом, регистраторы легко там меня отыщут. Лучше отправлюсь в Малороссию, посмотрю на отечество стряпчих и повытчиков: должно быть любопытно видеть канцелярские гении в пеленках, еще ползающие по грязному полу и младенческою ручкою рисующие на песке первые черты будущего чернильного крючка. Хочу упиться поэзиею подьячества. Еду в Малороссию.

Еду, еду — и все то же: равнина, лес, болото; болото, лес, равнина; на равнине лесок, за леском рожь; за рожью опять лесок, за леском опять рожь. Мой взор скользит уныло по этой клетчатой, симметрически разрисованной поверхности, и я воображаю себе, будто во всю дорогу читаю бесконечный роман покойной литературной школы, разделенный на равные главы, прорезанный межами правильных периодов, писанный слогом чистым, гладким, шлифованным пемзою и покрытым лаком, где злодеяния и добродетели размещены по циркулю, крестообразно,

в виде шахматной доски, нарочно устроенной для невинной игры в чувства с благосклонным читателем. Я зеваю и еду.

Приезжаю; никто меня не примечает, потому что я поэт 10-го класса. Я тоже ничего не примечаю, кроме арбузов, блох и клопов, которых можно найти и в Монастырке. Спрашиваю: откуда берутся стряпчие и повытчики? Хохлы мне отвечают: *А бог знае, пане!..* Ищу поэзии и повсюду встречаю приказную прозу, без правописания. Напрасно проехал я всю Россию: здесь никогда не бывало предметов сильных ощущений. Даже некого обыграть в карты!.. Прощай, отечественная Нормандия! Сажусь в длинную бричку, крытую белым полотном. Жид с огромною дубиною правит четверкою пегих, чахлых кобыл. Я еду далее.

Но я слишком опрометчиво произнес приговор мой о Малороссии. Дождь начинает идти, и картина переменяется: вся страна мгновенно превратилась в океан грязи. Мы плаваем по ней с бричкою и четырьмя пегими кобылами. Положение мое становится несколько занимательнее. Здесь есть поэзия!..

Буря, вьюга. Сильный ветер волнует грязные пучины. Изорванные поярковые шляпы, перебитые грибы, раздробленные дыни и подошвы от старых сапогов носятся с волнами по черной их поверхности. Я всякий час нахожусь в опасности претерпеть бричкокрушение. Страх и отчаяние кровавыми когтями рвут мою внутренность; легкое, голубое пламя надежды еще по временам мелькает в душе моего жида, озаряя грязь и мою судьбу бледным, зловещим, смертельным светом лампады, теплящейся над гробом лицемера; но я уже слышу за бричкою пронзительный, холодный, как лед, ужасный, как ночное эхо вертепа, хохот погибели, которая, уцепясь мощными руками за задние колеса, удерживает наше стремление изо всей силы... Я в первый раз в жизни испытываю над собою действие сильного ощущения: оно очаровательно!..

После двухнедельного грязеплавания бричка моя благополучно бросает якорь в вольной гавани Одессе. Это было ночью, посреди улицы. Мы благодарим небо за наше спасение. Мой кормчий, жид, радостно соскакивает с козел на землю; но — увы! — он тут же тонет в бездонной луже грязи, в которой мы впотьмах остановились. Я роняю горячую слезу в память несчастной его кончины и остаюсь в бричке до утра, держась обеими руками за сундук, заключающий в себе мои надежды в круглых металличе-

ских плитках и мою будущность в листочках. На другой день жители и будочники прибегают огромною толпою, ободряют меня кликами, приносят длинные доски, кладут их одним концом на краю брички, а другим на тротуаре и устроивают для меня безопасный спуск. Я сажусь на свой сундук, съезжаю на нем по доскам и выхожу на твердую землю в столовой какого-то трактира. Вот вся история поэтического путешествия моего из Малороссии чрез Новороссию, на край всея Руси, в Одессу. Теперь я постигаю поэзию грязи, которую малороссияне так страстно любят переносить в свои романы. Если когда-либо ворочусь в Петербург, то сочиню роман в стихах, то есть поэму, в которой напишу грязью величественную картину моего странствования и моих ощущений.

Я в Одессе. Город славный, каменный, торговый. Улицы шириною в четверть версты: можно удобно делать свои наблюдения. И что всего удобнее, можно их делать, не трогаясь с постели. Дома построены из мягкого ноздреватого камня, состоящего из песку и морских окаменелостей, склеенных как-нибудь местною природою. В этом камне такая же пропасть дыр, как в совести старого подьячего, в которую, как известно, иногда можно просунуть руку насквозь. Как домы большею частию оштукатурены только внутри, то окна считаются в них роскошью, и любопытнейшие из жителей, особенно дамы, скромные по своей природе, предпочитают смотреть на улицу сквозь стену, отбив кусок штукатурки где-нибудь в углу комнаты. Поэзии нет в Одессе; самыми сильными ощущениями называются появление саранчи и мороз в 24 градуса. Итак, чтоб найти себе занятие, я должен был обратиться философом и посвятить себя наблюдениям. Мигом смекнув всю пользу, какую северный философ 10-го класса может извлечь для своей умозрительной лени из этого качества материяла, я отваливаю штукатурку над своею кроватью, скважину немножко расчищаю пальцем и, нежась под одеялом, с длинною трубкою в зубах, в благовонном облаке дыма *тюмбеки*, ложусь на целые сутки бросать сквозь толстую каменную стену «высшие взгляды» на Одессу и выводить чрез дирку умозаключения мои об ее народонаселении, образованности, правах и торговле.

Вот мои замечания.

Народонаселение города чрезвычайно разнообразно; люди — русские, греки, итальянцы, поляки, жиды, и все

те же люди; женщины — русские, гречанки, итальянки, польки, жидовки, и все те же кокетки; разговоры — русские, греческие, итальянские, польские, жидовские, и все тот же вздор, в разных переводах.

Нравы — нравов не видно на улице. Надобно будет, когда встану, посмотреть их за ширмами.

Образованность — французский фрак, английский бифстек, кипрское вино, турецкая трубка, русский банкротский устав, + *(плюс)* итальянские актрисы, — *(минус)* вкус к чтению, = *(итого)* очень весело!

Право, я гожусь и в наблюдатели!..

Торговля — о! торговля весьма деятельна. Обозы тянутся беспрерывною цепью; поляки везут пшеницу и сало. Привезши, они продают товар купцам, пересчитывают полученные червонцы и тут же проигрывают их в карты. Проигравши, они купаются в Черном море, мужчины и женщины вместе; шумят, хохочут, одеваются на берегу и уезжают домой, легкие, чистые, здоровые, без пшеницы, без сала и без червонцев. Стой! полно наблюдать в бездействии!.. Кто там?.. Васька!.. Я чувствую в себе вдохновение политической экономии. Васька, разбойник!.. давай поскорее одеваться. Сапоги!.. брюки!.. скорее!.. Где моя шляпа?.. бегу содействовать успехам внутренней торговли. Вот два помещика, которые никак не могут проиграть своих червонцев, несмотря на все усилия. Надо помочь им скорее опорожнить карманы и уволить их из города в деревню, чтоб они могли опять усердно заняться выделкою пшеницы и сала, для отправления в гавань. Это поддерживает хлебопашество, поощряет дворянское трудолюбие... Иду, иду; погодите!.. Во всяком чине можно быть полезным общему благу... Надо непременно подцепить их по-петербургски.

Господа! я держу банк:

Король — двойка;
валет — тройка;
дама — дама;

Хорошо! половина моя.

Туз — пятерка;
валет — шестерка;
король...

Деньги мои!.. Господа, идите купаться.

Они шумят. Нужды нет!.. Ежели придется и подраться — это будет только новое потрясение для души: я путешествую по части сильных ощущений.

— Вы еще спорите?.. Как вы смеете утверждать, что

я спроворил вам короля?.. Знаете ли вы, с кем говорите?.. Я десятого класса, я коллежский секретарь!.. А вы кто таковы?.. какого вы чина?..

Помещики перепугались: они приехали в город с пшеницею и салом безо всякого чина!.. Я начинаю убеждаться в пользе чинов и важности десятого класса в особенности.

— На дуэль?.. Как? меня на дуэль?.. Кто смеет говорить о дуэли?.. знаете ли вы, что это строжайше запрещено законом!.. Вы и в Сибири не найдете места.

Они побледнели. Хорошо; это доказывает спасительное действие законов, когда они имеют таких строгих блюстителей, как я.

— Вы намекаете мне о полиции!.. Это другое дело. Извольте адресоваться туда законным порядком. Я люблю законный порядок.

Между тем кладу в карман три тысячи червонных и оставляю помещиков в отчаянии, на основании законного порядка. Однако ж с полицией шутить не надобно: а как поймают меня на улице?.. Лучше принять нужные меры предосторожности. Есть на свете места, исключительно посвященные поэзии и неприступные для полиции.

Бегу на квартиру, беру с собою деньги и бумаги, получаю билет и отправляюсь в карантин. Вхожу; осматриваю заведение с важным любопытством; разговариваю с греками, евреями, итальянцами и перотами, очищающимися от чумы и восточных грехов, чтоб чистыми руками и с легкою совестью начать грешить на Русской земле; стараюсь всячески скомпрометировать себя с ними, но никак не удается: караульный удерживает меня в почтительном от них расстоянии. Придется поневоле оставить карантин, не зачумившись!.. Решительно, у меня ни в чем нет счастия!

Но при выходе попадается мне у ворот греческий нищий, недавно приехавший из Царяграда, чтоб сделаться в России знаменитым изгнанником. Я пользуюсь неожиданною встречею и, в пылу человеколюбия, кладу ему в руку червонец. «Стой!..— кричит издали надзиратель солдату.— Не выпускай этого господина!» — «Что такое?.. за что?..» — «Вы, милостивый государь, коснулись этого человека».— «Так что ж?» — «Он еще не выдержал карантинного срока».— «А мне какое до этого дело?» — «Дело в том, что вы скомпрометированы и должны высидеть здесь с ним пятнадцать дней». Я обижаюсь. Надзиратели убеждают меня печатными правилами. Я спорю. Они настаивают. Я еще спорю, потом становлюсь уступчивее

и, наконец, соглашаюсь остаться в карантине. Я только этого и хотел.

Мне отвели комнатку. Буду сидеть здесь, пока мои помещики, не отыскав меня в городе, уедут в деревню. Карантин есть маленькое независимое государство, не признающее никаких законов, кроме аллопатических, никаких властей, кроме штаб-докторской. Это кусок планеты, завоеванный медициною у человека и управляемый страшным врачебным деспотизмом. Рецепт здесь то же, что фирман в Турции. За всем тем, говорят, можно жить безопасно и под медицинским правлением: только не надо жаловаться ни на какую боль в теле; не надо стонать, ни даже морщиться, потому что и там есть доносчики.

Я поселяюсь в моей комнатке. В одно мгновение ока огромные, тощие, алчные блохи, подобно угрызениям совести, нападают на меня черною тучею; кусают, щиплют мое тело, скачут по лицу и по рукам, проникают в сапоги и под платье, высасывают кровь из-под кожи, высасывают спокойствие из души, счастие из сердца, воображение из головы; я чешусь, прыгаю, потею, изнемогаю; отчаяние овладевает мною, и во второй раз в жизни испытываю я сильное ощущение, но ощущение истинно адское, истинно поэтическое. «Здесь есть высокая поэзия! — восклицаю я с восторгом.— Что малороссийская грязь!.. Настоящая поэзия находится только в одесском карантине». И чем короче узнаю я его, тем более открываю в нем поэзии. Это страна заколдованная, с заколдованным образом мыслей и временными, фантастическими нравами. Это одно из предместий Константинополя, сорванное бурею с берегов Босфора вместе с огромною полосою ума оттоманского и дрязгами господствующих в Пере мнений и выброшенное волнами на «Блошиную степь» Российской Империи. Смешанные звуки турецкого, греческого и итальянского языков клубятся в воздухе с облаком табачного дыму, поднимающегося из жерл бесчисленных стамбулок; чума, султан, Царьград и палки господствуют во всех разговорах; все понятия ходят в чалмах и желтых туфлях; все чувствования сидят на полу с поджатыми под себя ногами; а в углу заведения жирный и тяжелый турецкий патриотизм, нередко одетый в европейское платье, нежно разлегшись на мягких подушках, заранее опорочивает русские нравы, которых он еще и в глаза не видал, с жаром превозносит все оттоманское и доказывает с чувством глубокого убеждения, что чума не заразительна, что Махмуд величайший человек в мире и что карантины, полиция

и паспорты суть выдумка самая бесполезная и самая неблагородная.

Прибавьте к тому еще поэзию парадоксов, важно излагаемых путешественниками-наблюдателями, и вы согласитесь, что нет на свете ничего приятнее, как зачумиться и быть запертым в карантине. Английский баронет уверяет меня, что турки самый либеральный народ в мире. Мусье Жé, родом из Марсели, утверждает, что они вежливее и обходительнее старинных парижских маркизов, и хвалит в особенности влияние янычарской палки на честность и образованность народа. Некто Николаки Болванопуло, греческий дворянин из Фанара, производящий свой род от какого-то мясника, возведенного, по его словам, на престол византийских императоров вслед за каким-то менялою, который был преемником трубача, который царствовал после конопатчика, и так далее, и так далее, толкует мне с утра до вечера о великолепии пашей, о могуществе бостанджи-баши и о превосходстве восточного образа правления. Он говорит, что нет на свете правительства лучше оттоманского, и в доказательство своего мнения приводит и самое его название; оно по-турецки именуется *девлет*, то есть «благополучие»; так что ж нужно более?..

Мое воображение воспламеняется. После трехдневного пребывания в карантине я так уже упитан духом турецкого табаку и стамбульских понятий, что если б было возможно, в три прыжка перемахнул бы с Блошиной степи в Константинополь. *Девлет!..* Право, это не дурно!.. Спрашиваю, есть ли там сильные ощущения. Греческий дворянин Болванопуло, который дважды был выколочен палками по пятам могущественным бостанджи-баши, клянется мне честию, что Царьград весь из них составлен, что эта бесподобная столица построена из сильных ощущений, покрыта сильными ощущениями и выкрашена под сильные ощущения и что сам он нарочно приехал в Одессу, чтоб несколько отдохнуть от них в России. А если я пожелаю ощущений другого рода, мягких, теплых, плавящих душу и сердце, то он в особенности рекомендует мне тандур: это большой стол, с большою под низом жаровнею, обставленный отвсюду софами и покрытый огромным, толстым одеялом на вате; в холодное время дамы и мужчины садятся кругом на этих софах, кладут ноги под этот стол, прикрываются по шею этим одеялом и, расположенные в виде розы ветров, беседуют, краснеют от духу жаровни, пучатся, раздуваются и лопаются от счастия. «С тех пор, как люди зани-

маются механикою,— воскликнул Болванопуло,— нигде еще не изобретено машины для выделки сплетней, интриг, для нежных путей сообщения и теплых ощущений превосходнее тандура!» — «Так и быть! — воскликнул я,— еду в Константинополь; еду посмотреть, как люди живут под сению янычарской дубины «благополучия», хочу узнать поэзию палки и тандура».

Дело решено: я купил лист гербовой бумаги и подал прошение о выдаче паспорта в Константинополь. Дня через три принесли мне паспорт, писанный по-русски и по-итальянски. Я был обрадован, начал даже делать приготовления к отъезду. Но, рассматривая выданный мне вид, я открыл, что меня назвали в нем, по ошибке, вместо коллежского губернским секретарем, Segretario di governo. Моя радость вдруг исчезла; я чувствовал, глядя на эту бумагу, как собственное мое уважение к моему лицу понижалось, понижалось и остановилось двумя градусами ниже, как, напротив, вся природа постепенно возвышалась вокруг меня целым чином выше, оставляя меня в пропасти 12-го класса; я был в отчаянии. Единственное средство к восстановлению прежнего равновесия между моим саном и достоинством окружающих меня предметов было — просить о перемене паспорта с поправкою сделанной ошибки; но греческий дворянин Болванопуло отсоветовал мне эту меру. Основываясь на доказанных на Востоке истинах, он утверждал, что девять десятых хорошего делается на свете по ошибке, а потому нельзя угадать, не послужит ли эта ошибка еще в мою пользу; что восточные не знают никакого толку в секретарях, ибо секретари запрещены Алкораном вместе с взятками; что турки, когда хотят сделать что-нибудь умно, всегда делают наоборот принятому в других землях порядку, и дело выходит прекрасно. Например, они читают книги с конца, от последней страницы к первой, и находят в них более смысла, нежели мы, читая их с начала, от первой страницы к последней; дома строят они, начиная с крыши, а не с фундамента; решение произносят прежде, а доказательство ищут потом, и так далее. Поэтому легко может случиться, что и меня станут они уважать не с головы, а с того конца — что, впрочем, случается с великими людьми не на одном только Востоке. Заключения Болванопуло показались мне новыми, ясными, блистательными. Я перестал думать о перемене паспорта, выкурил еще одну трубку и уехал в Константинополь.

Когда говорю — я уехал,— само собою разумеется, что

я отплыл на шведском судне. Мы уже в открытом море. Вот прекрасный случай загнуть крючок человечеству и, придравшись к корабельной веревке или к лоскутку изорванного ветром паруса, разругать добродетель, наплевать в лицо честности, доказать, что в мире нет ничего ни умного, ни священного, и прославиться черноморским Евгением Сю. Я стою на палубе, на пути к бессмертию; я должен воспользоваться моим положением и тут же на месте состряпать морской роман, начинив его бурями и шквалами, раздув ветром на четыре тома, напустив туману во все главы и все его страницы нагрузив свирепыми страстями, смоченными в горькой воде, и сырыми, холодными преступлениями, так, чтоб наделить читателя насморком и, в заключение, отвалять его по боку канатом за то, что он еще смеет называться человеком. Где бумага?.. перо?.. чернила?.. Я побежал в каюту. Трепещи, человечество! — я сажусь писать морской роман. И схватив перо, в первом порыве вдохновения, я написал бурное заглавие: Куракакубарабурачья, *морской роман барона Брамбеуса*. Прекрасно!.. в одном этом заглавии есть довольно яду на четыре тома. Теперь положу перо за ухо и пойду опять на палубу, погляжу на игру неистовых страстей в неподвижных шведах, на коварство шкипера, на злодеяния матросов, напитаюсь поэзиею соленой воды и приступлю к содержанию. Я поспешно вылез из каюты и обошел все судно. Ветер дул попутный, шведы дремали на палубе. Шкипер пил хладнокровно горячий грог подле руля. Вся поэзия корабля заключалась в смешанном запахе затхлости, смолы и сельдей. Везде скучно; везде сыро. Я возвратился в каюту, лег, уснул и спал двое суток — спал так крепко, как после прочтения пяти морских романов, и проснулся не прежде, как в виду за́мков, защищающих вход в Царьградский пролив, когда шкипер пришел сказать мне, что турецкие таможенные чиновники приехали для осмотра судна.

Выхожу на палубу, чтоб полюбоваться на турецких чиновников. Странное дело! на них нет никакого отличительного знака усердия, хотя они давно служат и вероятно не раз были под судом. Болванопуло прав: Восток совсем не то, что Запад!..

Турецкие чиновники — их было двое — сидели на небольшом ковре, разостланном на палубе, и курили трубки. Перед ними сидел на пятках, как обезьяна, молодой грек в красной чалме, служивший им переводчиком. Увидев меня, они спросили у шкипера, кто я таков. Шкипер

предъявил им мой паспорт. Турецкие чиновники развернули его, посмотрели и отдали переводчику, чтоб он растолковал им этот неверный фирман. Грек долго разбирал бумагу и посматривал на меня исподлобья с большим любопытством. Наконец, сказал он им, что, судя по этому фирману, я должен быть великий человек. Турки тотчас поправили полы своего платья и закрыли ими ноги в знак почтения.

Грек продолжал:

— Он русский, то есть *Москов*, и называется Андрей Андреевич, то есть *Андрей Андрей-оглу.*

— Андарай-оглу!..— воскликнули с удивлением турецкие чиновники и пустили ртом и носом по длинной струе табачного дыма.— Андарай-оглу!!. Какое благополучное имя!..

— Что касается до чина,— сказал переводчик,— то он знаменитее баснословного Рустема и выше звезды, мерцающей в хвосте Малой Медведицы. Одним словом, он губернский секретарь, Segretario di governo.

— Аллах! Аллах!— вскричали турки.— Но что за мудрость скрывается в этом звании?

— Это, изволите видеть, очень высокое звание,— отвечал переводчик.— Segretario значит по-турецки *мехреми-сирр,* соучастник тайн, а Governo то же, что *девлет,* правительство или благополучие. Итак, он соучастник всех тайн русского благополучия.

— Нет силы, ни крепости, кроме как у Аллаха!— воскликнули турки еще громче.— Добро пожаловать, Андарай-оглу эфенди! Взоры наши прояснились от вашего лицезрения. Извольте присесть с нами на ковре гостеприимства. *Москов* наш друг; мы рабы вашего присутствия.

Толмач объяснил мне их приветствия. Я уселся с ними на ковре. Оба турецкие чиновника вынули из своих уст трубки и вбили их мне в рот, по правилам восточной учтивости. Как я не знал, что в подобном случае можно было довольствоваться одною, то принял обе и стал курить из двух трубок, пуская дым в две стороны, что внушило туркам еще высшее понятие о моем сане и о моих способностях. После этого они уже не сомневались, что я настоящий «соучастник тайн русского благополучия», и осыпали меня бесконечными вежливостями, чтоб доказать дружбу свою к России.

Спустя две трубки времени — время там считается на трубки табаку — они садятся в лодку и отплывают на

берег. Вдруг раздается пушечная пальба со стен замка и вторая лодка подплывает к нам с цветами. Находившийся в ней чиновник просит меня от имени всей Турции принять чистосердечный подарок, объявляя, что и эти выстрелы производятся в честь знаменитому гостю Блистательной Порты, господину губернскому секретарю, в итальянском переводе Segretario di governo, а в турецком соучастнику тайн русского благополучия. Я принимаю цветы и величаво благодарю Турцию от имени всех губернских секретарей. Мы плывем медленно по излучистому проливу; весть о прибытии из России такого сановника, какого никогда еще в Турции не видали и не слыхали, настоящего губернского секретаря, расходится по берегам Босфора, и изо всех замков приветствуют меня цветами и пушечною пальбою. Болванопуло говорил правду!.. Я убеждаюсь в пользе переводов и решаюсь вперед жить на свете только в переводе. Это тоже поэзия.

Наше судно бросает якорь в заливе, против арсенала. Я выхожу на берег, иду в Перу, где уже моя слава меня опередила, и поселяюсь в главном трактире. Вся Пера в недоумении. Европейские турки и турецкие европейцы стараются узнать, кто я таков, что *девлет*, благополучие принимает меня с таким отличием.— Как бы не так?.. я соучастник тайн благополучия! Девлет и губернские секретари понимают друг друга превосходно.— Но тонкие обитатели любопытного предместья, не постигая наших соотношений, все еще ломают себе головы догадками. Европейские посольства и миссии уверены, что я должен быть тайный дипломатический агент, приехавший к Порте с важными предложениями, и выпускают на меня стаю шпионов. Их драгоманы из туземцев, в длинном восточном платье, желтых туфлях и огромных, шарообразных колпаках из серой мерлушки, насаженных на выбритые головы в виде опрокинутых чугунных горшков, или пневматических колоколов, или гасильников здравого смысла, набив карманы дипломатическими секретами своих держав, кружат около меня, как тени, обтираются и кашляют; я откашливаюсь им отрицательно, даю разуметь, что не покупаю чужих тайн, и они удаляются с недовольным лицом. Старые пероты ищут проведать, не приехал ли я учиться по-турецки, с тем, чтоб устранить их семейства от наследственного ремесла переводчиков, и пугают меня ужасами турецких деепричастий и арабских склонений. Миссионеры умышляют обратить меня в католическую веру. Аптекари являются с предложением: не угодно ли прика-

зать отравить кого-нибудь? Коконы, сиречь дамы, составляют между собою адский черный заговор — женить меня на месте. Коконицы, или барышни, моются, причесываются, настраивают улыбки и поправляют свои кондогуни в ожидании моего появления. Все тандуры в волнении. Вторжение одного губернского секретаря в Оттоманскую империю потрясло Восток в его основаниях.

Я между тем сидел в трактире, запершись в своей комнате и приставив к дверям плечистого хорвата, принятого мною в лакеи и хорошо знающего город и местные уловки. Я поручил ему защищать меня от посяганий турецких европейцев, и мой хорват Лука, действуя по правилам славянской логики, порядком поколотил нескольких из них, показавшихся ему подозрительнее, и тем доставил мне в Пере еще более весу. Везде есть свое средство заслуживать уважение.

Наконец, начал я выходить из трактира. Как странно вдруг очутиться посреди народа, совершенно различного с нами языком, одеждою и нравами! Здесь все люди кажутся мне добрыми, честными и умными, хотя греческий дворянин Болванопуло предварил меня о противном,— и я долго не могу отличить добродетели от глупости, чувства от плутовства, красоты от корыстолюбия единственно потому, что эти понятия одеты в другое форменное платье, кланяются, кривляются и размахивают руками иначе, нежели у нас. Но полно рассуждать о понятиях; пора идти искать сильных ощущений, которых тоже я нигде не вижу. Неужто Болванопуло обманул меня?

Я знакомлюсь со многими семействами в Пере. С моим появлением в обществах все взоры с любопытством устремляются на таинственного незнакомца, у которого, как сказывают, есть большие деньги. Коконы вскакивают на софы, чтобы приветствовать меня колоссальным поклоном. Коконицы бросают на меня из-под тандурных одеял теплые, пареные взгляды, но такие вялые, так размягченные банным духом жаровни, что в них нет никакой упругости, ни силы. Их отцы и братья, желая быть любезными, рассуждают со мною о чуме и превосходстве ума турецкого перед европейским. Я принят с честию во всех порядочных тандурах, и дремлю в них вместе с хозяевами и гостьми. Все находят меня очень любезным.

Когда ж начнутся сильные ощущения?..

Вот они начинаются. Я случайно завел дружбу с синьором Петраки, благородным, богатым и толстым перотом, которого ум и тандур славились тогда в целом предместье.

Он почитался образцом хорошего тона: его чубуки были длиннее всех чубуков той части города, кончики его туфлей торчали острее и выше миллиона других кончиков и в его колпаке вмещалось воздуха вдвое против самых знаменитых колпаков в столице. Гордясь своим происхождением от одного из древнейших драгоманов в мире, он считал в своей родословной сорок человек переводчиков и около двухсот толмачей. Его род в продолжение трех с половиною столетий беспрерывно переводил с турецкого на языки разных европейских посольств, которые держал в своей драгоманской горсти; в его голове понятия лежали уже переведенные на четыре руки; для удобнейшего приискания он, еще в детских летах, расположил в своем сердце все чувства и патриотизмы по алфавитному порядку восточного словаря Менинского, и даже его дети получили от него турецкие души в подлиннике, с готовыми переводами их на французский, английский, итальянский, испанский, португальский, шведский и русский образы мыслей. Я с любопытством и удивлением наблюдал этот, почти непостижимый для тех, которые не бывали в Пере, нравственный феномен, когда синьор Петраки открыл мне свой дом и свое сердце. Я вошел в дом правильно, в большие двери, но внутри дома сбился с пути и, вместо сердца хозяина, забрался в сердце старшей его дочери, коконицы Дуду, в котором завяз по шею.

Любовь! любовь! начало изящного и поэзии, источник людей, обществ, законов, просвещения и политики, луч небесной теплоты, согревавшей мироздание, невзначай пронзивший вновь созданную природу и переломившийся в земной жизни человека!.. Любовь, радуга души, бьющая из светлой, алмазной капли дарованного ей бессмертия и красивою, огненною, волшебною лентою своей опоясывающая бурную атмосферу ума, воображение, яркая молния счастия, быстро, мгновенно прорезывающая мрачное облако нашего быта, но потрясающая сердце и жизнь исполинскою силою — скопленною в одну громовую электрическую искру огня всех страстей, надежд и опасений — слитых в одно волканическое пламя плоти, души, понятий, прошедшего, настоящего и будущности!.. Любовь! райское, очаровательное чувство! ты ниспослана в сию юдоль плача единственно для утешения нижних классов табели о рангах, лишенных права на кресты и ленты. Одни лишь регистраторы, секретари и титулярные советники настоящим образом наслаждаются твоими благодеяниями; им являешься ты во всей своей свежести и красе. Надворные

и беспорочные питаются уже твоими обломками; статским иногда еще бросаешь ты из милости кусок разогретой сладости, а превосходительные принуждены покупать тебя мерзлую, полуфунтиками и на чистые деньги, вместе с французским нюхательным табаком и фланелью. И чтоб в полной мере упоиться твоими прелестями, надобно взвалить свой бедный чин на плеча и, оставив холодную Чухонию, идти за тобою на берега Босфора. Я знаю это по опыту. Увидев божественную коконицу Дуду, я тотчас влюбился в нее со всею пылкостью 10-го класса; она тотчас влюбилась в меня со всею жарою, со всем зноем Востока — и мы были счастливы, как турецкий *девлет,* как благополучие.

Ах, если б могли вы видеть мою коконицу, нежащуюся в богатом тандуре! Это бессмертная нимфа, с полною белою грудью, ожидающая... Но нет! фразы классического слога не в состоянии выразить ее красоты и прелести. Одна только смелая, резкая кисть романтизма может дать об них понятие: это роза южных, горящих роскошью садов, цветущая под атласным одеялом на вате, это блистательный помысл поэта, мечтающего о прекрасном в зимнюю ночь, греющий ноги под столом у горячей, как его душа, жаровни; это чудо! чудо! чудо!..

Я провожу с нею бесподобные утра. Мое сердце растет, пучится, расширяется от любви и тандура, так, что могло бы вместить в себе все сладостные чувства Оттоманской империи.

Я возвращаюсь от нее домой в небесном восхищении, прыгая через кровавые, обезглавленные, посиневшие туловища казненных гяуров, лежащие по углам улиц на кучах навоза, и мое сердце корчится, трепещет, как ляжка лягушки, терзаемая действием галванического столба.

Мы отправляемся в легких и красивых лодках на рыбную ловлю, весело мчимся по Босфору и приказываем закинуть сеть на наше счастье. Мягкая ручка коконицы роскошно дрожит в моей, сильно, страстно дрожащей руке; мы горим, мы в упоении — но желаем еще гадать о будущем нашем блаженстве по обилию закупленной нами в воде добычи. Вдруг рыбаки вытаскивают, на наше счастие, одного окуня и две страшные, черные, ослизлые янычарские головы. Наше упоение, наше блаженство мгновенно превращается в судорожную рвоту.

В какой стране любовь доставляет столько и таких высоких, сильных поэтических ощущений?.. Мое сердце на-

ходится здесь в беспрерывном раздражении. Я здесь чувствую; я живу.

Лука!.. Лука!.. одеваться! Бегу, лечу к моей Дуду, к несравненной коконице с обворожительными глазами газели. Я застану ее одну в тандуре. Сегодня для меня самый великий день в жизни: она меня ожидает!..

Я оделся щегольски; зеркало отразило мое самолюбие в светлой, неприступной глубине своей с приветливою улыбкою, и я вышел на улицу. Любовь сообщала моим ногам быстроту ног кота, преследующего по крышам домов драгоценный предмет своих мечтаний и своей страсти. Я дышал любовью, счастьем и нетерпением и прыгал через ручьи, через лужи, через кучи сору. Пронесшись через множество кривых и тесных улиц, я уже был в виду дверей, за которыми сидели мои надежды, как в соседнем доме отворилось окно и кто-то нечаянно вылил на меня котел горячей помойной воды.

Испуг, негодование, печаль сперлись в моей груди с нежными чувствами и чуть не удушили меня в своей борьбе. Я не понимал, что такое случилось со мною. Какое-то новое, неведомое ощущение завладело моим телом, обонянием и моею душою. Наконец, увидел я, что утопаю в поэзии помоев. Представьте же себе мое положение!.. Моя любовь обдана кипятком!.. С моего самолюбия струится грязная, вонючая вода!.. Счастье мое засорено бараньими костями, куриными перьями, кусками мяса, луку, моркови, капусты!.. Прочитайте несколько глав неподражаемого романа «Церковь Парижской богоматери», ежели хотите получить ту высокую тошноту, какую ощутил я, углубляясь взором и мыслию в подробности романтического моего приключения. Я долго смотрел на себя, погруженный в отвлеченное созерцание мерзости. Но бешенство вдруг взрыло мою внутренность: я поворотил назад и помчался на квартиру, сопровождаемый презрительными взглядами оттоманских бородачей и наглым хохотом турчанок.

Прибегаю: дверь заперта; в доме ни живой души. Выскакиваю на улицу искать моего хорвата и нигде его не вижу. Но перед дворцом испанского посольства стоит огромная толпа народа, к которой пристают все прохожие. Я бегу туда, пробираюсь внутрь толпы и открываю, что два турка, под председательством третьего, по-видимому, чиновника, секут моего Луку палками по пятам. Любопытство видеть незнакомое мне действие, и сострадание, и гнев волнуют мое сердце. Я мечусь, кричу, ругаю, хочу

защищать своего служителя; но он протягивает ко мне руку и с ужасным, пыточным кривлянием лица и губ покорнейше просит меня не прерывать операции. Турецкий чиновник, с своей стороны, важно представляет мне, чтоб я не вмешивался в происходящее, потому что это дело благополучное, то есть касающееся благополучия, одним словом, государственное. Я принужден к прочим моим чувствам прибавить еще недоумение. К счастью, один знакомый грек, драгоман галатского воеводы, или полицеймейстера, попадается мне на глаза.

— Синьор Мавроплутато! — кричу я ему.— Объясните мне, ради бога, что это значит?

Мавроплутато отводит меня в сторону и шепчет на ухо, что это действительно «благополучное» дело: кто-то из черни обидел испанского посланника, который пожаловался дивану, требуя примерного наказания виновных. «Кто их отыщет!..— присовокупил синьор Мавроплутато с жаром и с чувством искреннего убеждения.— А правосудие вещь священная и должно быть соблюдено в отношении ко всякому; так ли?.. Поэтому мы наняли вашего хорвата, который за двести пиастров вызвался получить восемьдесят ударов по пятам перед дворцом посольства, для удовлетворения чести его превосходительства».

Я вырвал ключ из рук гнусного спекуланта и пошел переодеваться без его содействия. Ища платья, наряжаясь, суетясь, я попеременно сердился на Луку, смеялся над турецким правосудием и умильно ласкал в мысли белую ручку Дуду. Голова уже кружилась у меня от этого вихря чувств!.. Я оделся, как только мог, приличнее и скорее, и опять побежал в Галату. И опять приключение!.. Среди мечтаний и сладких надежд, на повороте одного темного переулка я неожиданно попался в собачье сражение. Собаки смежной улицы поссорились за выброшенную в окно кость с соплеменниками своими, живущими на мостовой переулка, ополчились на них поголовно и напали с намерением завоевать их отечество. Как жалко, что тут не было со мною г. Бальзака! Вот глава для философского романа!.. Здесь он нашел бы, немножко покопавшись в грязи, первоначальное понятие о собственности, отечестве и войне. Но между тем, как я сожалел об отсутствии великого наблюдателя в желтой обертке, обе враждующие стороны, оставив кость, накинулись на меня с неслыханным ожесточением. Я оборонялся всеми силами от четвероногих полчищ. Разъяренные животные рвали на мне платье, кусали мои ноги, тормошили меня, как старую

подошву. Я кричал, визжал, прыгал вверх на аршин и приходил в исступление. Что значит быть без рук и без языка!.. Вздор — мучения человека, приговоренного к смерти, в последний день его жизни!.. Что за мудреная уловка удавить свою жену для сильнейшего выражения угрызения совести или при всяком новом желании видеть кусок ослиной кожи уменьшающимся в его объеме и чахотку усиливающеюся в своей груди!.. Чтоб освежить душу и сердце истинно раздирающими чувствами, надо пылать любовию, мечтать о счастии и быть терзаемым сотнею собак. Уф!.. не выдержу более!.. спасите меня!.. Добрые люди разогнали собак, и я, поддерживая руками висящие полосы своих брюк, прижимая к себе лоскутья изорванных рукавов, стоня, хромой, искусанный, усталый, снова воротился на квартиру.

Мой Лука сидит спокойно на скамейке у дверей дома. Я, проходя мимо, приказываю ему идти со мною наверх. Он извиняется. Я повторяю приказание. Он отвечает, что не пойдет. Рассердясь на его дерзость, я хочу дать ему пощечину. Хорват, испугавшись, внезапно устраняет голову в сторону и с ужасным криком падает на землю. Кровь брызжет по его лицу. Он в обмороке. Я в отчаянии. На крик мой прибегают люди, берут его на руки и переносят в комнату. Тут объяснилась вся задача. Отсчитав ему по условию восемьдесят ударов, когда пришлось платить деньги, турецкий ага наперед потребовал у него квитанции во взносе харача, или подушного. Лука предъявил поддельный ярлык, купленный им накануне за полтора пиастра, и чиновник, на точном основании финансового устава, приказал приколотить его за ухо гвоздем к стене дома, положив на ухе тот самый ярлык, а следующие ему двести пиастров за восстановление дружеских сношений между Блистательною Портою и Испаниею разделил с синьором Мавроплутато. Они удалились. Мой слуга сидел в этом положении, когда я замахнулся на него рукою: страх заставил его сделать движение головою, и он разорвал себе ухо. Я проклинал свою вспыльчивость, плутовство турок, греков и славян и гордость испанцев. Раскаяние, боль от укушений, скорбь о страданиях слуги, беспокойство и негодование обуревали удрученные потрясениями душу и чувства мои — и, среди мрака этой бури, являлся моему воображению светлый образ возлюбленной коконицы Дуду, окруженной огненными, радужными лучами страсти — и взволнованные мысли немедленно усмирялись, выглаживали свою поверхность, облекались тишью

и рдели отраженным блеском волшебного образа, подобно лицу озера в безветренное утро, озаряемому солнцем, мелькнувшим из-за удаляющейся тучи,— и я опять мечтал о счастии, пока боль или воспоминания снова не повергли меня в волнение. В то же время я оттирал свои ноги камфорою, препоручал ухо Луки хозяйке дома, искал по комодам чистого платья, рылся, ворочал, раскидывал вещи и приводил наружность свою в порядок. Наконец, я был готов, но не в силах предпринять пешком нового странствования из Перы в Галату. Надобно было нанять турецкую колесницу с высокою крышею, вызолоченную, расписанную странными узорами, увешанную кистями и побрякушками и запряженную парою волов, и в этом классическом экипаже отправиться к любезной.

Я влез в уродливую повозку и поехал тихим шагом под прикрытием двух погонщиков, вооруженных дубинами, стиснув накрепко зубы, чтоб от ударов колес о мостовую душа не выскочила из тела. Пока притащились мы на место, я имел довольно времени для размышления о чрезвычайной занимательности приключений, сопровождающих самые простые любовные свидания в Царьграде. Тут, по крайней мере, есть поэзия!.. Какая разница с теми ничтожными, безвкусными событиями, которые наши романисты вводят в свои рассказы в подобных случаях!.. Я должен был отдать преимущество турецкой природе перед самым неистовым воображением европейской литературной области; но, получив жестокое колотье в боку от поездки на волах, признаюсь, так уже был измучен сильными ощущениями, что, если б пришлось вынести еще одно лишнее, я закричал бы: «Караул!»... Так мне тогда казалось: я не знал, что еду на новые, гораздо опаснейшие опыты!..

Коконица! коконица!.. посмотрите: она все еще ожидает меня в тандуре! Она сидит и скучает; сидит неподвижно, как образованность Востока!.. Милая коконица!.. Она плачет!.. Но слезы ее пресеклись, как скоро я уселся подле нее в тандуре, прикрылся одеялом, взял ее ручку и спаял мой взор с ее взором. Наши души, чувства, мысли вдруг соединились с такою же жадностью, с таким же кипением, брожением, шипением, как серная кислота с известью, и образовали одну плотную массу любви и счастия. Мы молчали, горели, были без памяти, не знали, живы ли мы или мертвы, и только чувствовали, что нам жарко и приятно. В этом очарованном состоянии мы забыли о целом свете и о жаровне и даже не приметили того, что одеяло,

софа, ковер и пол горели в другом углу, по нашему примеру. Мы спохватились, когда уже дым начал душить нас, и со страхом выскочили из тандура. Через минуту вся комната была объята пламенем. В доме поднялась тревога. Люди кинулись собирать дорогие вещи, господа спасались, не думая о вещах, ни о людях; я схватил мою любезную на руки и вынес на улицу. Дом синьора Петраки уже представлял вид пылающего костра. Огонь быстро сообщался смежным строениям и бежал молниею по крышам, вдоль улицы. Пожар распространяется по всему предместью. Мы с коконицею Дуду сожгли нашею любовию 9580 домов.

Крик, плач и отчаяние жителей, дым и треск пожара, горы пламени, взлетающие одни за другими на воздух с огненным градом горящих головней, гул общественного бедствия и тучи проклятий, изрыгаемых несчастными, поражают меня ужасом. Я смущаюсь, теряю присутствие духа, считаю себя виновником пожара, зажигателем, извергом, несчастнейшим и презреннейшим из людей. Мне суждено было еще испытать над собою адское действие угрызений совести!.. Колена дрожат подо мною; сердце бьется с болью; палящий, убийственный жар отчаяния кружит по всем моим жилам и пожирает последние силы...

А тут еще Дуду рыдает в моих объятиях! Я утешаю ее всеми мерами, сам упадая под бременем горя...

Сколько поэзии! Какие романтические ощущения!..

Семейство синьора Петраки перешло на временное жительство в слободу Сан-Деметрио, в дом одного знакомого грека. Я побежал на квартиру, взял с собою несколько сот червонных, закупил в городе разных вещей, в которых нуждались мои погорелые приятели, принял на себя попечение об них и доказательствами искренней дружбы старался вознаградить им потерю, причиненную искреннею моею любовию. Мало-помалу умы их привыкли к новому положению, и синьор Петраки, по кратком рассуждении о непостижимости судьбы, глупости рода человеческого и редком уме турок, приказал набить себе трубку и вышел на террасу наблюдать ход пожара и обдумывать план нового дома, который хотел он начать строить послезавтра. Я остался в комнате с его дочерью.

Она была бледна и сидела в углу софы, погруженная в глубокую думу. Напрасно истощал я свое красноречие, чтоб извлечь ее из летаргического усыпления понятий. Она молчала и смотрела на меня горящими удивительным огнем глазами, по выпуклости которых волновалась

светлая слеза, не решавшаяся расстаться с бархатными ее ресницами. Я перестал говорить. Она долго еще смотрела на меня неподвижно и вдруг бросилась мне на шею. Наши уста встретились в первый раз в жизни. Боже мой! кто в силах описать...? какой язык способен к тому, чтоб изобразить...? да и кто смеет подумать, чтоб звуками земного голоса можно было выразить небесную сладость первого любовного поцелуя?.. Она неизъяснима, но я назову ее электричеством души. Она чувствуется только однажды в жизни — и чувствуется сильно, выспренно, молниеобразно — и быстро исчезает,— и когда исчезнет, то же самое воображение, которое недавно упивалось ею, уже не в состоянии вторично ее себе представить. Я, по крайней мере, даже в самую минуту ощущения не умел выразить ее никакими словами, хотя она была разлита по всему моему телу, по всей душе, страстям и чувствам и сама, казалось, говорила через меня. Трепеща от радости, от восторга, от блаженства, от роскошного смятения и судорожно прижимая к сердцу любезную, я мог произнести одно только слово — слово, в котором было сосредоточено, сжато и заключено все мое существование — слово:

— Я счастлив!

— Я зачумлена!..— сказала она, дрожа и пряча за моим лицом свои пламенеющие ланиты.

— Как, друг мой?..— вскричал я, невольно вздрогнув от страху.

— Да, мой друг!.. я зачумлена. В этом доме есть язва. Я неосторожно коснулась ее рукою... Я чувствую ее в моей груди...

Она сказала это с такою ангельскою беспечностью, с такою невинностью, что я покраснел, стыдясь своего испуга. Я посмотрел ей в глаза и забыл об опасности. Ужасное впечатление, произведенное во мне именем чумы, уступило место горькой, глубокой, пронзительной печали. «Несчастное дитя!..— подумал я про себя, подпирая ее голову рукою,— ты была послана на землю, чтоб испытать сладость любви, осчастливить одного человека и с его сердцем воротиться на небо — и этот человек, на первом шагу, похищает у тебя спокойствие, ввергает тебя в пожар, а из пожара в язву!..»

— Ангел мой!— воскликнул я, плача, подобно ей,— наша судьба решена. Поцелуй меня еще раз: мы умрем вместе. Я воображаю себе всю прелесть умереть от чумы на твоих устах, испить смертельный яд из твоего дыхания.

Не станем, друг мой, сожалеть о жизни: она, быть может, приготовляла нам чашу уксусу и желчи. Подумай, какое счастие, какое неземное ощущение: мы еще живы и уже разлагаемся внутри наших тел!.. мы тут говорим с тобою о наших чувствах, обожаем, клянемся вечно обожать друг друга, и уже мертвы, уже гнием, и наши внутренности, наши сердца превращаются в смрадную гробовую материю!.. Поцелуй меня еще раз!.. еще раз!.. и еще!.. Теперь одного лишь остается желать — чтоб немногие предоставленные нам минуты жизни могли мы посвятить ласкам нашей страсти, а с последним поцелуем расплыться в гной, который люди подберут осторожно и выкинут с отвращением...— Ты страждешь, любезная Дуду?..

— Нет, я очень, очень счастлива!..— отвечала она с восхищением.

И все эти слова были прерываемы частыми, сильными, раскаленными сугубым огнем любви и чумы, поцелуями, а последние поцелуи были расторгнуты внезапным кружением голов и смертельною тошнотою.

Я упал на софу...

Далее не помню и не знаю, что со мною делалось.

Комната в нижнем ярусе. В комнате совершенно пусто. В углу вздутая зола сожженных бумаг, белья и платья. На середине комнаты дымящийся кусок буры. У стены на полу солома. На соломе я, весь вымазанный деревянным маслом.

Дверь отворилась, и чья-то рука просунула в комнату простой деревянный стул. Это знак скорого прибытия моего доктора, Скуколини, который теперь, вероятно, моется хлориною в сенях.

Вошел человек лет сорока, закутанный в плащ из вощанки, и сел у дверей на стуле, нюхая стклянку с уксусом четырех воров.

— Ну, что?..— спросил он.— Каков ваш паховик?

— Лопнул сегодня поутру,— отвечал я.

— Поздравляю вас от всего сердца. Теперь вы вне опасности. Только берегитесь!.. никаких сильных ощущений!

— Они уже мне надоели. Последнее отняло у меня всю охоту к ним. Ну, что, любезный доктор: узнали ли вы что-нибудь о семействе синьора Петраки?

— Вам теперь не следует о том думать,— возразил он хладнокровно.— Принимайте декокт, который я прописал вам. Когда вам будет получше, я приду потолковать с вами о физиологии.

Он ушел, и я облился слезами. Я прочитал в его глазах то, что он хотел скрыть от меня. Я плакал, плакал, плакал столько, что моя чума превратилась в горячку. Доктор на меня рассердился и с благородным гневом прописал слабительное.

Когда я стал выздоравливать, память моя так ослабела, что я с трудом узнавал прежних моих знакомцев. Мое воображение было лишено не только пылкости движений, но и воспоминаний. Томительная скука заняла в нем место прошедшего и настоящего; отсутствие страстей и желаний делало для меня будущность предметом бесполезной роскоши. Даже мои понятия были несколько туповаты.

Мой приятель, доктор Скуколини, навещал меня всякий день, и иногда проводили мы с ним по нескольку часов, беседуя о разных ученых предметах.

Он говорил со мною о политике и истории. У меня затмилось в голове.

Он перешел к теории изящного и старался заставить меня постигнуть красоту идеальную, красоту красивее самой природы. Я постигнул, но мой ум значительно притупился от такого напряжения.

Потом он начал излагать мне древности и медали, до которых сам был большой охотник. Я сделался совершенно тупым, скучным и в то же время почувствовал себя весьма ученым.

И чем пуще я глупел, тем больше становился ученым!.. Не правда ли, что это странно?

Я обратил мозг свой в амбар для складки разбитых, заржавелых, ветхих, выброшенных людьми из головы или вновь открытых ими в старом горшке сведений. И так пристрастился я было к новому своему ремеслу, что не понимал возможности другого удовольствия, как только — читать и ничего не чувствовать, читать единственно для наслаждения памяти. Я уже не думал, а только помнил, был весь составлен из выписок, примечаний и отметок, и все мои чувства выражал NB — нотабеною. Иногда мне казалось, будто я страница старинного текста и сижу на высокой выноске, нашпигованной цитатами и объяснениями. Это было очень смешно, но я уже не смеялся: я был ученый.

Кстати, если вы еще не спите, то я сообщу вам небольшой отрывок из моих ученых путешествий — отрывок небольшой, но такой скучный, такой тяжелый, что сами вы удивитесь моей учености.

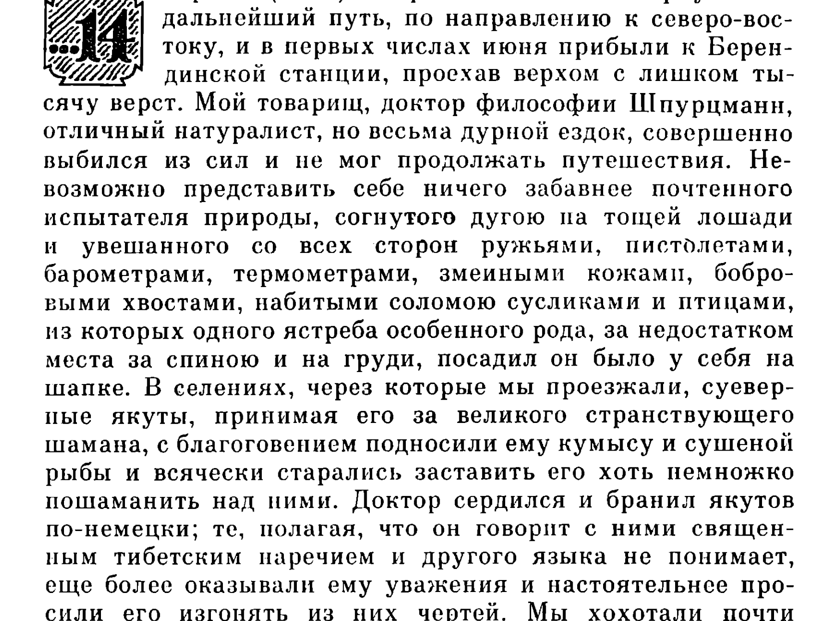
III

УЧЕНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА МЕДВЕЖИЙ ОСТРОВ

> Итак, я доказал, что люди, жившие до потопа, были гораздо умнее нынешних; как жалко, что они потонули!..
>
> *Барон Кювье*

> Какой вздор!..
>
> *Гомер* в своей «Илиаде»

. . . .



14 апреля (1828) отправились мы из Иркутска в дальнейший путь, по направлению к северо-востоку, и в первых числах июня прибыли к Берендинской станции, проехав верхом с лишком тысячу верст. Мой товарищ, доктор философии Шпурцманн, отличный натуралист, но весьма дурной ездок, совершенно выбился из сил и не мог продолжать путешествия. Невозможно представить себе ничего забавнее почтенного испытателя природы, согнутого дугою на тощей лошади и увешанного со всех сторон ружьями, пистолетами, барометрами, термометрами, змеиными кожами, бобровыми хвостами, набитыми соломою сусликами и птицами, из которых одного ястреба особенного рода, за недостатком места за спиною и на груди, посадил он было у себя на шапке. В селениях, через которые мы проезжали, суеверные якуты, принимая его за великого странствующего шамана, с благоговением подносили ему кумысу и сушеной рыбы и всячески старались заставить его хоть немножко пошаманить над ними. Доктор сердился и бранил якутов по-немецки; те, полагая, что он говорит с ними священным тибетским наречием и другого языка не понимает, еще более оказывали ему уважения и настоятельнее просили его изгонять из них чертей. Мы хохотали почти всю дорогу.

По мере приближения нашего к берегам Лены вид страны становился более и более занимательным. Кто не бывал в этой части Сибири, тот едва ли постигнет мыслию великолепие и разнообразие картин, которые здесь на всяком почти шагу прельщают взоры путешественника, возбуждая в душе его самые неожиданные и самые приятные ощущения. Все, что вселенная, по разным своим уделам, вмещает в себе прекрасного, богатого, пленительного, ужасного, дикого, живописного: съеженные хребты гор, веселые бархатные луга, мрачные пропасти, роскош-

ные долины, грозные утесы, озера с блещущею поверхностью, усеянною красивыми островами, леса, холмы, рощи, поля, потоки, величественные реки и шумные водопады — все собрано здесь в невероятном изобилии, наброcано со вкусом или установлено с непостижимым искусством. Кажется, будто природа с особенным тщанием отделала эту страну для человека, не забыв в ней ничего, что только может служить к его удобству, счастию, удовольствию, и, в ожидании прибытия хозяина, сохраняет ее во всей свежести, во всем лоске нового изделия. Это замечание неоднократно представлялось нашему уму, и мы почти не хотели верить, чтоб, употребив столько старания, истощив столько сокровищ на устройство и украшение этого участка планеты, та же природа добровольно преградила вход в него любимому своему питомцу жестоким и негостеприимным климатом. Но Шпурцманн, как личный приятель природы, получающий от короля ганноверского деньги на поддержание связей своих с нею, извинял ее в этом случае, утверждая положительно, что она была принуждена к тому внешнею силою, одним из великих и внезапных переворотов, превративших прежние теплые краи, где росли пальмы и бананы, где жили мамонты, слоны, мастодонты, в холодные страны, заваленные вечным льдом и снегом, в которых теперь ползают белые медведи и с трудом прозябают сосна и береза. В доказательство того, что северная часть Сибири была некогда жаркою полосою, он приводил кости и целые остовы животных, принадлежащих южным климатам, разбросанные во множестве по ее поверхности или, вместе с деревьями и плодами теплых стран света, погребенные в верхних слоях тучной ее почвы. Доктор был нарочно отправлен Геттингенским университетом для собирания этих костей и с восторгом показывал на слоновый зуб и винную ягоду, превращенные в камень, которые продал ему один якут близ берегов Алдана. Он не сомневался, что до этого переворота, которым мог быть всеобщий потоп или один из частных потопов, не упомянутых даже в священном писании, в окрестностях Лены вместо якутов и тунгусов обитали какие-нибудь предпотопные индийцы или итальянцы, которые ездили на этих окаменелых слонах и кушали эти окаменелые винные ягоды.

Ученые мечтания нашего товарища сначала возбуждали во мне улыбку; но теории прилипчивы, как гнилая горячка, и таково действие остроумных или благовидных учений на слабый ум человеческий, что те именно головы,

которые сперва хвастают недоверчивостью, мало-помалу напитавшись летучим их началом, делаются отчаянными их последователями и готовы защищать их с мусульманским фанатизмом. Я еще спорил и улыбался, как вдруг почувствовал, что окаянный немец, среди дружеского спора, привил мне свою теорию, что она вместе с кровью расходится по всему моему телу и скользит по всем жилам, что жар ее бьет мне в голову, что я болен теориею. На другой день я уже был в бреду: мне беспрестанно грезились великие перевороты земного шара и сравнительная анатомия с мамонтовыми челюстями, мастодонтовыми клыками, мегалосаурами, плезиосаурами, мегалотерионами, первобытными, вторичными и третичными почвами. Я горел жаждою излагать всем и каждому чудеса сравнительной анатомии. Быв нечаянно застигнут в степи припадком теории, за недостатком других слушателей, я объяснял бурятам, что они, скоты, не знают и не понимают того, что сначала на земле водились только устрицы и лопушник, которые были истреблены потопом, после которого жили на ней гидры, драконы и черепахи и росли огромные деревья, за которыми опять последовал потоп, от которого произошли мамонты и другие колоссальные животные, которых уничтожил новый потоп, и что теперь они, буряты, суть прямые потомки этих колоссальных животных. Потопы считал я уже такою безделицею — в одном Париже было их четыре! — такою, говорю, безделицею, что, для удобнейшего объяснения нашей теории тетушке или попросту в честь великому Кювье, казалось, я сам был бы в состоянии, при маленьком пособии со стороны природы, одним стаканом пуншу произвесть всеобщий потоп в Торопецком уезде.

Наводняя таким образом обширные земли, искореняя целые органические природы, чтоб на их месте водворить другие, переставляя горы и моря на земном шаре, как шашки на шахматной доске, утомленные спорами, соображениями и походом, прибыли мы на Берендинскую станцию, где светлая Лена, царица сибирских рек, явилась взорам нашим во всем своем величии. Мы приветствовали ее громогласным — ура! Доктор Шпурцманн снял с шапки своего ястреба, поставил в два ряда на земле все свои чучелы и окаменелости, повесил барометры на дереве и, улегшись на разостланном плаще, объявил решительно, что верхом не поедет более ни одного шагу. Я тоже чувствовал усталость от верховой езды и желал несколько отдохнуть в этом месте. Прочие наши товарищи охотно

согласились со мною. Один только достопочтенный наш предводитель, обербергпробирмейстер 7-го класса Иван Антонович Страбинских, следовавший в Якутск по делам службы, негодовал на нашу леность и понуждал нас к отъезду. Он не верил ни сравнительной анатомии, ни нашему изнеможению и все это называл пустою теориею. В целой Сибири не видал я ума холоднее: доказанной истины для него было не довольно; он еще желал знать, которой она пробы. Его сердце, составленное из негорючих ископаемых веществ, было совершенно неприступно воспламенению. И когда доктор клялся, что натер себе на седле оконечность позвоночной кости, он и это причислял к разряду пустых теорий, ни к чему не ведущих в практике и по службе, и хотел наперед удостовериться в истине его показания своей пробирною иглою. Иван Антонович Страбинских был поистине человек ужасный!

После долгих переговоров мы единогласно определили оставить лошадей и следовать в Якутск водою. Иван Антонович, как знающий местные средства, принял на себя приискать для нас барку, и 6-го июня пустились мы в путь по течению Лены. Берега этой прекрасной, благородной реки, одной из огромнейших и безопаснейших в мире, обставлены великолепными утесами и убраны беспрерывною цепью богатых и прелестных видов. Во многих местах утесы возвышаются отвесно и представляют взорам обманчивое подобие разрушенных башен, замков, храмов, чертогов. Очарование, производимое подобным зрелищем, еще более укрепило во мне понятия, почерпнутые из рассуждений доктора о прежней теплоте климата и цветущем некогда состоянии этой чудесной страны. Предаваясь влечению утешительной мечты, я видел в Лене древний сибирский Нил и в храмообразных ее утесах развалины предпотопной роскоши и образованности народов, населявших его берега. И всяк, кто только одарен чувством, взглянув на эту волшебную картину, увидел бы в ней то же. После каждого наблюдения мы с доктором восклицали, восторженные: «Быть не может, чтоб эта земля с самого начала всегда была Сибирью!» — На что Иван Антонович всякий раз возражал хладнокровно, что с тех пор, как он служит в офицерском чине, здесь никогда ничего, кроме Сибири, не бывало.

Но кстати о Ниле. Я долго путешествовал по Египту и, быв в Париже, имел честь принадлежать к числу усерднейших учеников Шампольона Младшего, прославившегося открытием ключа к иероглифам. В короткое время

я сделал удивительные успехи в чтении этих таинственных письмен: свободно читал надписи на обелисках и пирамидах, объяснял мумии, переводил папирусы, сочинял иероглифические каймы для салфеток, иероглифами писал чувствительные записки к француженкам и сам даже открыл половину одной египетской дотоле неизвестной буквы, за что покойный Шампольон обещал доставить мне бессмертие, упомянув обо мне в выноске к своему сочинению. Правда, г. Гульянов оспаривал основательность нашей системы и предлагал другой, им самим придуманный способ чтения иероглифов, по которому смысл данного текста выходит совершенно противный тому, какой получается, читая его по Шампольону; но это не должно никого приводить в сомнение, ибо спор, заведенный почтенным членом Российской Академии с великим французским египтологом, я могу решить одним словом: метода, предначертанная Шампольоном, так умна и замысловата, что ежели египетские жрецы в самом деле были так мудры, какими изображают их древние, они не могли и не должны были читать своих иероглифов иначе, как по нашей методе; изобретенная же г. Гульяновым иероглифическая азбука так нехитра, что если где и когда-либо была она в употреблении, то разве у египетских дьячков и пономарей, с которыми мы не хотим иметь и дела.

В проезд наш из Иркутска до Берендинской станции я неоднократно излагал Шпурцманну иероглифическую систему Шампольона Младшего; но верхом очень неловко говорить об иероглифах, и упрямый доктор никак не хотел верить в наши открытия, которые называл он филологическим мечтательством. Как теперь находились мы на барке, где удобно можно было чертить углем на досках всякие фигуры, я воспользовался этим случаем, чтоб убедить его в точности моих познаний. Сначала мой доктор усматривал во всем противоречия и недостатки; но по мере развития остроумных правил, приспособленных моим наставником к чтению неизвестных письмен почти неизвестного языка, недоверчивость его превращалась в восхищение, и он испытал над собою то же волшебное действие вновь постигаемой системы, какое недавно произвели во мне его сравнительная анатомия и четыре парижские потопа. Я растолковал ему, что, по нашей системе, всякий иероглиф есть или буква, или метафорическая фигура, изображающая известное понятие, или вместе буква и фигура, или ни буква, ни фигура, а только произвольное

украшение почерка. Итак, нет ничего легче, как читать иероглифы: где не выходит смысла по буквам, там должно толковать их метафорически; если нельзя подобрать метафоры, то позволяется совсем пропустить иероглиф и перейти к следующему, понятнейшему. Шпурцманн, которому и в голову никогда не приходило, чтобы таким образом можно было дознаваться тайн глубочайшей древности, почти не находил слов для выражения своего восторга. Он взял все, какие у меня были, брошюры разных ученых об этом предмете и сел читать их со вниманием. Прочитавши, он уже совершенно был убежден в основательности сообщенной мною теории и дал мне слово, что с будущей недели он начнет учиться чудесному искусству читать иероглифы; по возвращении же в Петербург пойдет прямо к Египетскому мосту, виденному им на Фонтанке, без сомнения, неправильно называемому извозчиками Бердовым и гораздо древнейшему известного К. И. Берда, и, не полагаясь на чужие толки, будет сам лично разбирать находящиеся на нем иероглифические надписи, чтоб узнать с достоверностью, в честь какому крокодилу и за сколько столетий до рождества Христова построен этот любопытный мост.

Наконец, увидели мы перед собою обширные луга, расстилающиеся на правом берегу Лены, на которых построен Якутск. Июня 10-го прибыли мы в этот небольшой, но весьма красивый город, изящным вкусом многих деревянных строений напоминающий Царскосельские улицы, и остановились по разным домам, к хозяевам которых имели мы рекомендательные письма из Иркутска. Осмотрев местные достопримечательности и отобедав поочередно у всех якутских хлебосолов, у которых нашли мы сердце гораздо лучше их «красного ротвейну», всякий из нас начал думать об отъезде в свою сторону. Я ехал из Каира в Торопец, и, признаюсь, сам не знал, каким образом и зачем забрался в Якутск; но как я находился в Якутске, то, по мнению опытных людей, ближайший путь в Торопец был — возвратиться в Иркутск и, уже не связываясь более ни с какими натуралистами и не провожая приятелей, следовать через Тобольск и Казань на запад, а не на восток. Доктор Шпурцманн ехал без определенной цели — туда, где, как ему скажут, есть много костей. Иван Антонович Страбинских отправлялся к устью Лены, имев поручение от начальства обозреть его в отношениях минералогическом и горного промысла. Мой натуралист тотчас возымел мысль обратить поездку обербергпробирмейстера

7-го класса на пользу сравнительной анатомии и вызвался сопутствовать ему под 70-й градус северной широты, где еще надеялся он найти средство проникнуть и далее, до Фадеевского острова и даже до Костяного пролива.

Утром курил я сигарку в своей комнате, наблюдая с ученым вниманием, как табачный дым рисуется в сибирском воздухе, когда Шпурцманн вбежал ко мне с известием, что завтра отправляется он с Иваном Антоновичем в дальнейший путь на север. Он был вне себя от радости и усердно приглашал меня ехать с ним туда, представляя выгоды этого путешествия в самом блистательном свете — занимательность наших ученых бесед — случай обозреть величественную Лену во всем ее течении и видеть ее устье, доселе не посещенное ни одним филологом, ни натуралистом — удовольствие плавать по Северному океану, среди ледяных гор и белых медведей, покойно спящих на волнуемых бурями льдинах — счастие побывать за 70-м градусом широты, в Новой Сибири и Костяном проливе, где найдем пропасть прекрасных костей разных предпотопных животных — наконец, приятность совокупить вместе наши разнородные познания, чтоб сделать какое-нибудь важное для науки открытие, которое прославило б нас навсегда в Европе, Азии и Америке. Чтоб подстрекнуть мое самолюбие, тонкий немец обещал доставить мне лестную известность во всех зоологических собраниях и кабинетах ископаемых редкостей, ибо, если в огромном числе разбросанных в тех странах остовов удастся ему открыть какое-нибудь неизвестное в ученом свете животное, то в память нашей дружбы он даст этому животному мою почтеннейшую фамилию, назвав его мегало-брамбеусотерион, велико-зверем Брамбеусом или как мне самому будет угодно, чтоб ловче передать мое имя отдаленным векам, бросив его вместе с этими костями голодному потомству. Хотя, сказать правду, и это весьма хороший путь к бессмертию, и многие не хуже меня достигли им громкой знаменитости, однако ж к принятию его предложения я скорее убедился бы следующим обстоятельством, чем надеждою быть дружески произведенным в предпотопные скоты. Доктор напомнил мне, что вне устья Лены находится известная пещера, которую в числе прочих Паллас и Гмелин старались описать по собранным от русских промышленников известиям, весьма сожалея, что им самим не случилось видеть ее собственными глазами. Наши рыбаки называют ее «Писанною Комнатою», имя,

из которого Паллас сделал свой Pisanoi Komnat* и которое Рейнеггс перевел по-немецки das geschriebene Zimmer**. Гмелин предлагал даже снарядить особую экспедицию для открытия и описания этой пещеры. Впрочем, о существовании ее было уже известно в средних веках. Арабские географы, слышавшие об ней от харасских купцов, именуют ее *Гар эль-Китабе,* то есть «Пещерою письмен», а остров, на котором она находится, *Ард эль-гар* или «Землею пещеры»***. Китайская Всеобщая география, приводимая ученым Клапротом, повествует об ней следующее: «Недалеко от устья реки *Ли-но* есть на высокой горе пещера с надписью на неизвестном языке, относимою к веку императора Яо. Мын-дзы полагает, что нельзя прочитать ее иначе, как при помощи травы *ши,* растущей на могиле Конфуция»****. Плано Карпини, путешествовавший в Сибири в XIII столетии, также упоминает о любопытной пещере, лежащей у последних пределов севера, in ultimo septentrioni, в окрестностях которой живут, по его словам, люди, имеющие только по одной ноге и одной руке: они ходить не могут и, когда хотят прогуляться, вертятся колесом, упираясь в землю попеременно ногою и рукою. О самой пещере суеверный посол папы присовокупляет только, что в ней находятся надписи на языке, которым говорили в раю.

Все эти сведения мне, как ученому путешественнику, кажется, давно были известны; но оно не мешало, чтобы доктор повторил их мне с надлежащею подробностью, для воспламенения моей ревности к подвигам на пользу науки. Я призадумался. В самом деле, стоило только отыскать эту прославленную пещеру, видеть ее, сделать список с надписи и привезти его в Европу, чтоб попасть в великие люди. Приятный трепет тщеславия пробежал по моему сердцу. Ехать ли мне или нет?.. Оно немножко в сторону от пути в Торопец!.. Но как оставить приятеля?.. Притом Шпурцманн не способен к подобным открытиям: он в состоянии не приметить надписи и скорее все испортит, чем сделает что-нибудь порядочное. Я, это другое дело!.. Я создан для снимания надписей; я видел их столько в разных странах света!

---

* Pallas, Reise, t. II, p. 108.

** Reineggs, Reise, p. 218.

*** Origines Russes, extraits de divers manuscripts orientaux, par Hammer, p. 56.— Memoriae populorum, pag. 317.

**** Klaproth, Abhandlungen über die Sprache und Schrift der Uiguren, p. 72. См. также Описание Джунгарии и Монголии, о. Иакинфа.

— Так и быть, любезный доктор! — вскричал я, обнимая предприимчивого натуралиста: — Еду провожать тебя в Костяной пролив.

На другой день поутру (15 июня) мы уже были на лодке и после обеда снялись с попутным ветром. Плавание наше по Лене продолжалось с лишком две недели, потому что Иван Антонович, который теперь совершенно располагал нами, принужден был часто останавливаться для осмотра гор, примыкающих во многих местах к самому руслу реки. Доктор прилежно сопровождал его во всех его официальных вылазках на берег; я оставался в лодке и курил сигарки. В продолжение этого путешествия имели мы случай узнать покороче нашего товарища и хозяина: он был не только человек добрый, честный, услужливый, но и весьма ученый по своей части, чего прежде, сквозь казенную его оболочку, мы вовсе не приметили. Мы полюбили его от всего сердца. Жаль только, что он терпеть не мог теорий и хотел пробовать все на своем оселке.

Время было ясное и жаркое. Лена и ее берега долго еще не переставали восхищать нас своею красотою: это настоящая панорама, составленная со вкусом из отличнейших видов вселенной. По мере удаления от Якутска деревья становятся реже и мельче; но за этот недостаток глаза с избытком вознаграждаются постепенно возрастающим величием безжизненной природы. Под 68-м градусом широты река уже уподобляется бесконечно длинному озеру и смежные горы принимают грозную альпийскую наружность.

Наконец, вступили мы в пустынное царство Севера. Зелени почти не видно. Гранит, вода и небо занимают все пространство. Природа кажется разоренною, взрытою, разграбленною недавно удалившимся врагом ее. Это поле сражения между планетою и ее атмосферою, в вечной борьбе которых лето составляет только мгновенное перемирие. В непрозрачном, тусклом воздухе, над полюсом, висят растворенные зима и бури, ожидая только удаления солнца, чтоб во мраке, с новым ожесточением, броситься на планету; и планета, скинув свое красивое растительное платье, нагою грудью сбирается встретить неистовые стихии, свирепость которых как будто хочет она устрашить видом острых, черных исполинских членов и железных ребр своих.

2 июля бросили мы якорь в небольшой бухте, у самого устья Лены, ширина которого простирается на несколько верст Итак, мы находились в устье этой могущественной

реки, под 70-м градусом широты; но ожидания наши были несколько обмануты: вместо пышного, необыкновенного вида мы здесь ничего не видали. Река и море в своем соединении представили нам одно плоское, синее, необозримое пространство вод, при котором великолепие берегов совершенно исчезло. Даже Ледовитый океан ничем не обрадовал нас после длинного и скучного путешествия: ни одной плавучей льдины, ни одного медведя!.. Я был очень недоволен устьем Лены и Ледовитым океаном.

Доктор остановил мое внимание на особенном устройстве этого устья, которое кажется как будто усеченным. Берега здесь не ниже тех, какие видели мы за сто и за двести верст вверх по реке; из обоих же углов устья выходит длинная аллея утесистых островов, конец которой теряется из виду на отдаленных водах океана. Нельзя сомневаться, что это продолжение берегов Лены, которая в глубокую древность долженствовала тянуться несравненно далее на север; но один из тех великих переворотов в природе, о которых мы с доктором беспрестанно толковали, по-видимому, сократил ее течение, передав значительную часть русла ее во владение моря. Шпурцманн очень хорошо объяснял весь порядок этого происшествия, но его объяснения нисколько меня не утешали.

— Если б я управлял этим переворотом, я бы перенес устье Лены еще ближе к Якутску,— сказал я.

— И вы бы были таким вандалом, портить такую прекрасную реку!— сказал доктор.

Мы нашли здесь несколько юрт тунгусов, занимающихся рыбною ловлею: они составляли все народонаселение здешнего края. Два большие судна, отправленные одним купцом из Якутска для ловли тюленей, стояли у островка, закрывающего вход в нашу бухту. По разным показаниям мы уже знали с достоверностью, что Писанная Комната находится на так называемом Медвежьем острову, лежащем между Фадеевским островом, Новою Сибирью и Костяным проливом. Как Иван Антонович намеревался пробыть здесь около десяти дней, то мы с доктором вступили в переговоры с прикащиком одного судна о перевезении нас на Медвежий остров. Смелые промышленники в полной мере подтвердили сведения, сообщенные нам в разных местах по Лене о предмете нашего путешествия, уверяя, что сами не раз бывали на этом острову и в Писанной Комнате. Заключив с ними условие, 4 июля простились мы с любезным нашим хозяином, который душевно сожалел, что должен был расстаться с нами, тогда как и сам

он очень желал бы посетить столь любопытную пещеру. Он обещал дожидаться нашего возвращения в устье Лены и, когда мы поднимали паруса, прислал еще сказать нам, что, быть может, увидится он с нами на Медвежьем острову, ежели мы долго пробудем в пещере и ему нечего здесь будет делать.

Миновав множество мелких островов, мы выплыли в открытое море. Безветрие удержало нас до вечера в виду берегов Сибири. Ночью поднялся довольно сильный северо-западный ветер, и на следующее утро мы уже неслись по Ледовитому океану. Несколько отдельно плавающих льдин служили единственною вывескою грозному его названию. После трехдневного плавания завидели мы, вправе, низкий остров, именуемый Малым; влеве высокие утесы, образующие южный край Фадеевского острова. Скоро проявились и нагруженные ледяными горами неприступные берега Новой Сибири, за юго-западным углом которой прикащик судна указал нам высокую, пирамидальную массу камня со многими уступами. Это был Медвежий остров.

Мы прибыли туда 8 июля, около полудня, и немедленно отправились на берег. Медвежий остров состоит из одной, почти круглой, гранитной горы, окруженной водою, и от Новой Сибири отделяется только небольшим проливом. Вершина его господствует над всеми высотами близлежащих островов, возвышаясь над поверхностью моря на 2260 футов, по барометрическому измерению доктора Шпурцманна. Пещера, известная под именем Писанной Комнаты, лежит в верхней его части, почти под самою крышею горы. Один из промышленников проводил нас туда по весьма крутой тропинке, протоптанной, по его мнению, белыми медведями, которые осенью и зимою во множестве посещают этот остров, отчего произошло и его название. Мы не раз принуждены были карабкаться на четвереньках, пока достигли небольшой площадки, где находится вход в пещеру, заваленный до половины камнями и обломками гранита.

Преодолев с большим трудом все препятствия, очутились мы наконец в знаменитой пещере. Она действительно имеет вид огромной комнаты. Сначала недостаток света не дозволил нам ничего видеть; но когда глаза наши привыкли к полумраку, какое было наше восхищение, какая для меня радость, какое счастие для доктора открыть вместе и черты письмен, и кучу окаменелых костей!.. Шпурцманн бросился на кости, как голодная гиена; я за-

светил карманный фонарик и стал разглядывать стены. Но тут именно и ожидало меня изумление. Я не верил своим взорам и протер глаза платком; я думал, что свет фонаря меня обманывает, и три раза снял со свечки.

— Доктор!

— Мм?

— Посмотри сюда, ради бога!

— Не могу, барон. Я занят здесь. Какие богатства!.. Какие сокровища!.. Вот хвост плезиосауров, которого недостает у геттингенского университета...

— Оставь его и поди скорее ко мне. Я покажу тебе нечто гораздо любопытнее всех твоих хвостов.

— Раз, два, три, четыре... Четыре ляжки разных предпотопных собак, canis antediluvianus... И все новых, неизвестных пород!.. Вот, барон, избирайте любую: которую породу хотите вы удостоить вашего имени?.. Эту, например, собаку наречем вашею фамилиею; эту моею; этой можно будет дать имя вашей почтеннейшей сестр...

Я не мог выдержать долее, побежал к Шпурцманну и, вытащив его насильно из груды костей, привел за руку к стене. Наведя свет фонаря на письмена, я спросил, узнает ли он их. Шпурцманн посмотрел на стену и на меня в остолбенении.

— Барон!.. это, кажется?..

— Что такое?.. Говорите ваше мнение.

— Да это иероглифы!..

Я бросился целовать доктора.

— Так, точно! — вскричал я с сердцем, трепещущим от радости. — Это они, это египетские иероглифы! Я не ошибаюсь!.. Я узнал их с первого взгляда; я могу узнать египетские иероглифы везде и во всякое время, как свой собственный почерк.

— Вы так же можете и читать их, барон?.. ведь вы ученик Шампольона? — важно присовокупил доктор.

— Я уже разобрал несколько строк.

— Этой надписи?

— Да. Она сочинена на диалекте, немножко различном от настоящего египетского, но довольно понятна и четка. Впрочем, вы знаете, что иероглифы можно читать на всех языках. Угадайте, любезный доктор, о чем в ней говорится?

— Ну, о чем?

— О потопе.

— О потопе!.. — воскликнул доктор, прыгнув в ученом восторге вверх на пол-аршина. — О потопе!!. — И, в свою очередь, он кинулся целовать меня, сильно прижимая

к груди, как самый редкий хвост плезиосауров.— О потопе!!! Какое открытие!.. Видите, барон, а вы не соглашались ехать сюда со мною и в устье Лены хотели наплевать на Ледовитый океан?.. Видите, сколько еще остается людям сделать важных для науки приобретений. Что вы там смотрите?..

— Читаю надпись. Судя по содержанию некоторых мест, это описание великого переворота в природе.

— Возможно ли?..

— Кажется, будто кто-то, спасшийся от потопа в этой пещере, вздумал описать на стенах ее свои приключения.

— Да это клад!.. Надпись единственная, бесценная!.. Мы, вероятно, узнаем из нее много любопытных вещей о предпотопных нравах и обычаях, о живших в то время великих животных... Как я завидую, барон, вашим обширным познаниям по части египетских древностей!.. Знаете ли, что за одну эту надпись вы будете членом всех наших немецких университетов и корреспондентом всех ученых обществ, подобно египетскому паше?..

— Очень рад, что тогда буду иметь честь именоваться вашим товарищем, любезный доктор. Благодаря вашей предприимчивости, вашему ученому инстинкту, мы с вами сделали истинно великое открытие; но меня приводит в сомнение одно обстоятельство, в котором никак не могу отдать себе отчета.

— Какое именно?

— То, каким непостижимым случаем египетские иероглифы забрались на Медвежий остров, посреди Ледовитого океана. Не белые ли медведи сочинили эту надпись?..— спросил я.

— Белые медведи?.. Нет, это невозможно!— отвечал пресериозно немецкий Gelehrter*. Я хорошо знаю зоологию и могу вас уверить, что белые медведи не в состоянии этого сделать. Но что же тут удивительного?.. Это только новое доказательство, что так называемые египетские иероглифы не суть египетские, а были переданы жрецам того края гораздо древнейшим народом, без сомнения, людьми, уцелевшими от последнего потопа. Итак, иероглифы суть очевидно письмена предпотопные, literae antediluvianae, первобытная грамота рода человеческого, и были в общем употреблении у народов, обитавших в теплой и прекрасной стране, теперь частию превращенной в Северную Сибирь, частию поглощенной Ледовитым морем, как

* Ученый *(нем.)*.

это достаточно доказывается и самым устройством устья Лены. Вот почему мы находим египетскую надпись на Медвежьем острову.

— Ваше замечание, любезный доктор, кажется мне весьма основательным.

— Оно, по крайней мере, естественно и само собою проистекает из прекрасной, бесподобной теории о четырех потопах, четырех почвах и четырех истребленных органических природах.

— Я совершенно согласен с вами. И мой покойный наставник и друг, Шампольон, потирая руки перед пирамидами, на которых тоже найдены иероглифические надписи, сказал однажды своим спутникам: «Эти здания не принадлежат египтянам: им с лишком 20 000 лет!»

— Видите, видите, барон!— воскликнул обрадованный Шпурцманн.— Я не египтолог, а сказал вам тотчас, что египетские иероглифы существовали еще до последнего потопа. Двадцать тысяч лет?... Ну, а потоп случился недавно!.. Итак, это доказано. Правда, я иногда шутил над иероглифами; но мы в Германии, в наших университетах, очень любим остроумие. В сердце я всегда питал особенное к ним почтение и могу вас уверить, что египетские иероглифы я уважаю наравне с мамонтовыми клыками. Как я сожалею, что, будучи в Париже, не учился иероглифам!..

Объяснив таким образом происхождение надписи и осмотрев с фонарем стены, плотно покрытые сверху донизу иероглифами, нам оставалось только решить, что с нею делать. Срисовать ее всю было невозможно: на это потребовалось бы с лишком двух месяцев, а с другой стороны, у нас не было столько бумаги. Как тут быть?.. По зрелом соображении мы положили, возвратясь в Петербург, убедить Академию Наук к приведению в действие Гмелинова проекта отправлением нарочной ученой экспедиции для снятия надписи в подлиннике сквозь вощеную бумагу, а между тем самим перевесть ее на месте и представить ученому свету в буквальном переводе. Но и это не так-то легко было бы исполнить. Стены имеют восемь аршин высоты и вверху сходятся неправильным сводом. Надпись, хотя и крупными иероглифами, начинается так высоко, что, стоя на полу, никак нельзя разглядеть верхних строк. Притом, строки очень не прямы, сбивчивы, даже перепутаны одни с другими, и должны быть разбираемы с большим вниманием, чтоб при чтении и в переводе не перемешать порядка иероглифов и со-

пряженных с ними понятий. Надобно было непременно наперед построить леса кругом всей пещеры и потом, при свете фонарей или факелов, одному читать и переводить, а другому писать по диктовке.

Рассудив это и измерив пещеру, мы возвратились на судно, где собрали все ненужные доски, бревна, багры и лестницы и приказали перенести в Писанную Комнату. Трудолюбивые русские мужички за небольшую плату охотно и весело исполнили наши наставления. К вечеру материал был уже на горе; но постройка лесов заняла весь следующий день, в течение которого Шпурцманн копался в костях, а я отыскивал начало надписи и порядок, по которому стены следуют одни за другими. На третий день поутру (10-го июля) мы взяли с собою столик, скамейку, чернила и бумагу и, прибыв в пещеру, немедленно приступили к делу.

Я взлез на леса с двумя промышленниками, долженствовавшими держать предо мною фонари; доктор уселся на скамейке за столиком; я закурил цигарку, он понюхал табаку, и мы начали работать. Зная, какой чрезмерной точности требует ученый народ от списывающих древние исторические памятники, мы условились переводить иероглифический текст по точным правилам Шампольоновой методы, от слова до слова, как он есть, без всяких украшений слога, и писать перевод каждой стены особо, не изобретая никакого нового разделения. В этом именно виде ученые мои читатели найдут его и здесь.

Но при первом слове вышел у нас с доктором жаркий спор о заглавии. Питомец запачканной чернилами Германии не хотел и писать без какого-нибудь загадочного или рогатого заглавия. Он предлагал назвать наш труд «Homo diluvii testis», «Человек был свидетелем потопа», потому, что это неприметным образом состояло бы в косвенной, тонкой, весьма далекой и весьма остроумной связи с системою Шейхцера, который, нашед в своем погребу кусок окаменелого человека, под этим заглавием написал книгу, доказывая, что этот человек видел из погреба потоп собственными глазами, в опровержение последователей учению Кювье, утверждающих, что до потопа не было на земле ни людей, ни даже погребов. Я предпочитал этому педантству ясное и простое заглавие: *«Записки последнего предпотопного человека»*. Мы потеряли полчаса дорогого времени и ни на что не согласились. Я вышел из терпения и объявил доктору, что оставлю его одного в пещере, если он будет долее

спорить со мною о таких пустяках. Шпурцманн образумился.

— Хорошо! — сказал он,— мы решим заглавие в Европе.

— Хорошо! — сказал я,— теперь извольте писать.

Стена I

«Подлейший раб солнца, луны и двенадцати звезд, управляющих судьбами, Шабахубосаар сын Бакубарооса, сына Махубелехова, всем читающим это желаем здравия и благополучия.

Цель этого писания есть следующая:

Мучимый голодом, страхом, отчаянием, лишенный всякой надежды на спасение, среди ужасов всеобщей смерти, на этом лоскутке земли, случайно уцелевшем от разрушения, решился я начертать картину страшного происшествия, которого был свидетелем.

Если еще кто-либо, кроме меня, остался в живых на земле; если случай, любопытство или погибель привлечет его или сынов его в эту пещеру; если когда-нибудь сделается она доступною потомкам человека, исторгнутого рукою судьбы из последнего истребления его рода, пусть прочитают они мою историю, пусть постигнут ее содержание и затрепещут.

Никто уже из них не увидит ни отечеств, ни величия, ни пышности их злосчастных предков. Наши прекрасные родины, наши чертоги, памятники и сказания покоятся на дне морском или под спудом новых, огромных гор. Здесь, где теперь простирается это бурное море, покрытое льдинами, еще недавно процветало сильное и богатое государство, блистали яркие крыши бесчисленных городов, среди зелени пальмовых рощ и бамбуковых плантаций...»

— Видите, барон, как подтверждается все, что я вам доказывал об удивительных исследованиях Кювье? — воскликнул в этом месте Шпурцманн.

— Вижу,— отвечал я и продолжал диктовать начатое.

«...двигались шумные толпы народа и паслись стада под светлым и благотворным небом. Этот воздух, испещ-

ренный гадкими хлопьями снега, замешанный мрачным и тяжелым туманом, еще недавно был напитан благоуханием цветов и звучал пением прелестных птичек, вместо которого слышны только унылое карканье ворон и пронзительный крик бакланов. В том месте, где сегодня, на бушующих волнах, носится эта отдаленная, высокая ледяная гора, беспрестанно увеличиваясь новыми глыбами снега и окаменелой воды — в том самом месте, в нескольких переездах отсюда, пять недель тому назад возвышался наш великолепный Хухурун, столица могущественной Барабии и краса вселенной, огромностью, роскошью и блеском превосходивший все города, как мамонт превосходит всех животных. И все это исчезло, как сон, как привидение!..

О Барабия! о мое отечество! где ты теперь?.. где мой прекрасный дом?.. моя семья?.. любезная мать, братья, сестры, товарищи и все, дорогие сердцу?.. Вы погибли в общем разрушении природы, погребены в пучинах нового океана или плаваете по его поверхности вместе с льдинами, которые трут ваши тела и разламывают ваши кости. Я один остался на свете, но и я скоро последую за вами!..

В горестном отчуждении от всего, что прежде существовало, одни лишь воспоминания еще составляют связь между мною и поглощенным светом. Но достанет ли у меня силы, чтоб возобновить память всего ужасного и смешного, сопровождавшего мучительную его кончину?.. Вода смыла с лица земли последний след глупостей и страданий нашего рода, и я не имею права нарушать тайны, которою сама природа, быть может, для нашей чести, покрыла его существование. Итак, я ограничусь здесь личными моими чувствованиями и приключениями: они принадлежат мне одному, и я, для собственного моего развлечения, опишу их подробно с самого начала постигшего нас бедствия.

В 10-й день второй луны сего 11 789 года в северо-восточной стороне неба появилась небольшая комета. Я тогда находился в Хухуруне. Вечер был бесподобный; несметное множество народа весело и беззаботно гуляло по мраморной набережной Лены, и лучшее общество столицы оживляло ее своим присутствием. Прекрасный пол... прекрасный пол...»

— Чем вы затрудняетесь, барон? — прервал Шпурцманн, приподнимая голову.— Переводите, ради бога: это очень любопытно.

— Затрудняюсь тем,— отвечал я,— что не знаю, как назвать разные роды древних женских нарядов, о которых здесь упоминается.

— Нужды нет: называйте их нынешними именами с присовокуплением общего прилагательного antediluvianus, «предпотопный». Мы в сравнительной анатомии так называем все то, что неизвестно, когда оно существовало. Это очень удобно.

— Хорошо. Итак, пишите.

«Предпотопный прекрасный пол, в богатых предпотопных клоках, с щегольскими предпотопными шляпками на голове и предпотопными турецкими шалями, искусно накинутыми на плеча, сообщал этому стечению вид столь же пестрый, как и заманчивый».

— Прекрасно! — воскликнул мой доктор, нюхая табак,— и коротко, и ясно.

— Но мне кажется,— примолвил я,— что было бы еще короче не прибавлять слова «предпотопный».

— Конечно! — отвечал он,— это будет еще короче.

— Не прерывайте же меня теперь,— сказал я,— а то мы никогда не кончим.

«Лучи заходящего солнца, изливаясь розовыми струями сквозь длинные и высокие колоннады дворцов, украшавших противоположный берег реки, и озаряя волшебным светом желтые и голубые крыши храмов, восхищали праздных зрителей, более занятых своими удовольствиями, чем кометою и даже новостями из армии. Барабия была тогда в войне с двумя сильными державами: к юго-западу (около Шпицбергена и Новой Земли*) мы вели кровопролитную войну с Мурзуджаном, повелителем обширного государства, населенного неграми, а на внутреннем море (что ныне Киргизская степь) наш флот сражался со славою против соединенных сил Пшармахии и Гарры. Наш царь Мархусахааб лично предводительствовал войсками против черного

---

* Предваряю однажды навсегда, что объяснения имен собственных, заключенные в скобках, прибавлены к моему переводу доктором Шпурцманном: они, без сомнения, весьма основательны, но я не диктовал их ему.

властелина, и прибывший накануне гонец привез радостное известие об одержанной нами незабвенной победе.

Я тоже гулял по набережной, но на меня не только комета и победа, но даже и величественная игра лучей солнца не производили впечатления. Я был рассеян и грустен. За час перед тем я был у моей Саяны, прелестнейшей из женщин, живших когда-либо на земном шаре,— у Саяны, с которою долженствовал я скоро соединиться неразрывными узами брака и семейного счастия,— и расстался с нею с сердцем, отравленным подозрениями и ревностью. Я был ревнив до крайности; она была до крайности ветрена. Несколько уже раз случалось мне быть в размолвке с нею и всегда оставаться виноватым; но теперь я имел ясное доказательство ее измены. Теперь я сам видел, как она пожала руку молодому (предпотопному) франту, Саабарабу. «Возможно ли, думал я, чтоб столько коварства, вероломства таилось в юной и неопытной девушке, и еще под такою обворожительною оболочкою красоты, невинности, нежности?.. Она так недавно клялась мне, что кроме меня никого в свете любить не может; что без меня скучает, чувствует себя несчастною; что мое присутствие для нее благополучие, мое прикосновение — жизнь!.. Но, может статься, я ошибаюсь: может быть, я не то видел, и она верна мне по-прежнему?.. В самом деле, я не думаю, чтобы она могла любить кого-нибудь другого, особенно такого вертопраха, каков Саабараб... Впрочем, он красавец, знатен и нагл: многие женщины от него без памяти... Да и что значила эта рука в его руке?.. Откуда такая холодность в обращении со мною?.. Она даже не спросила меня, когда мы опять увидимся!.. Я приведу все это в ясность. И если удостоверюсь, что она действительно презирает мою любовь, то клянусь солнцем и луною!..» — Тут мои рассуждения были вдруг остановлены: я упал на мостовую, разбил себе лоб и был оглушен пронзительным визгом придавленного мною человека, который кричал мне в самое ухо: «Ай!.. ай!.. Шабахубосаар!.. сумасшедший!.. что ты делаешь?.. ты меня убил!.. ты меня душишь!.. Господа!.. пособите!..»

Я вскочил на ноги, весь в пыли и изумлении, среди громкого смеха прохожих и плоских замечаний моих приятелей, и тогда только приметил, что, обуреваемый страстью, я так быстро мчался по набережной, что затоптал главного хухурунского астронома, горбатого

Шимшика, бывшего некогда моим учителем. Шимшик хотел воспользоваться появлением кометы на небе, чтоб на земле обратить общее внимание на себя. Став важно посреди гульбища, он вытянул шею и не сводил тусклых глаз своих с кометы, в том уповании, что гуляющие узнают по его лицу отношения его по должности к этому светилу; но в это время неосторожно был опрокинут мною на мостовую.

Прежде всего я пособил почтенному астроному привстать с земли. Мы уже были окружены толпою ротозеев. Тогда как он чистил и приводил в порядок свою бороду, я поправил на нем платье и подал ему свалившийся с головы его остроконечный колпак, извиняясь перед ним в моей опрометчивости. Но старик был чрезвычайно раздражен моим поступком и обременял меня упреками, что я не умею уважать его седин и глубоких познаний, что он давно предсказал появление этой кометы и что я, опрокинув его во время астрономических его наблюдений, разбил вдребезги прекрасную систему, которую создавал он о течении, свойстве и пользе комет. Я безмолвно выслушал его выговоры, ибо знал, что это громкое негодование имело более предметом дать знать народу, что он астроном и важное лицо в этом случае, чем огорчить или унизить меня перед посторонними. Веселость зрителей, возбужденная его приключением, вдруг превратилась в любопытство, как скоро узнали они, что это горбатый человек может растолковать им значение появившейся на небе метлы. Они осыпали его вопросами, и он в своих ответах умел сообщить себе столько важности, что многие подумали, будто он в самом деле управляет кометами и может разразить любое светило над головою всякого, кто не станет оказывать должного почтения ему и его науке.

Я знал наклонность нашего мудреца к шарлатанству и при первой возможности утащил его оттуда, хотя он неохотно оставлял поприще своего торжества. Когда мы очутились с глазу на глаз, я сказал ему:

— Любезный Шимшик, вы крепко настращали народ этою кометою.

— Нужды нет! — отвечал он равнодушно,— это возбуждает в невеждах уважение к наукам и ученым.

— Но вы сами мне говорили...

— Я всегда говорил вам, что придет комета. Я предсказывал это лет двадцать тому назад.

— Но вы говорили также, что комет нечего бояться,

что эти светила не имеют никакой связи ни с землею, ни с судьбами ее жителей.

— Да, я говорил это, но теперь я сочиняю другую, совсем новую систему мира, в которой хочу дать кометам занятие несколько важнее прежнего. Я имею убедительные к тому причины, которые объясню тебе после. Но ты, любезный Шабахубосаар! ты рыскаешь по гульбищам, как шальной палеотерион. Ты чуть не задавил своего старого учителя, внезапно обрушившись на него всем телом. Я уже думал, что комета упала с неба прямо на меня.

— Простите, почтенный Шимшик: я был рассеян, почти не свой...

— Я знаю причину твоей рассеянности. Ты все еще возишься с своею Саяною. Верно, она тебе изменила?

— Отнюдь не то. Я люблю ее, обожаю; она достойна моей любви, хотя, кажется, немножко... ветрена.

— Ведь я тебе предсказывал это восемь месяцев тому назад? Ты не хотел верить!

— Она... она кокетка.

— Я предсказал это, когда она еще была малюткою. Мои предсказания всегда сбываются. И эта комета...

— Я признаюсь вам, что я в отчаянии...

— Понапрасну, друг мой Шабахубосаар! Что же тут необыкновенного?.. Все наши женщины ужасные кокетки.

— Постойте, барон, одно слово! — вскричал опять мой приятель Шпурцманн.— Я думаю, вы не так переводите.

— С чего же вы это взяли? — возразил я.

— Вы уже во второй раз упоминаете о кокетках,— сказал он.— Я не думаю, чтоб кокетки были известны еще до потопа... Тогда водились мамонты, мегалосауры, плезиосауры, палеотерионы и разные драконы и гидры; но кокетки — это произведения новейших времен.

— Извините, любезный доктор,— отвечал я Шпурцманну.— Вот иероглиф: лисица без сердца; это по грамматике Шампольона Младшего должно означать кокетку. Я, кажется, знаю язык иероглифический и перевожу грамматически.

— Может статься! — примолвил он,— однако ж ни Кювье, ни Шейхцер, ни Гом, ни Букланд, ни Броньяр, ни Гумбольдт не говорят ни слова об окаменелых кокетках, и остова древней кокетки нет ни в парижском Музеуме, ни в петербургской Кунсткамере.

— Это уж не мое дело! — сказал я.— Я перевожу так, как здесь написано. Извольте писать.

«Все наши женщины ужасные кокетки...»

— Постойте, барон! — прервал еще раз доктор.— Воля ваша, а здесь необходимо к слову «женщины» прибавить «предпотопные или ископаемые». Боюсь, что нынешние дамы станут обижаться нашим переводом, и сама цензура не пропустит этого места, когда мы захотим его напечатать. Позвольте поставить это пояснение в скобках.

— Хорошо, хорошо! — отвечал я.— Пишите как вам угодно, только мне не мешайте.

— Уж более не скажу ни слова.

— Помните же, что это говорит астроном своему воспитаннику, Шабахубосаару.

«Все наши (предпотопные или ископаемые) женщины ужасные кокетки. Это естественное следствие той неограниченной свободы, которою они у нас пользуются. Многие наши мудрецы утверждают, что без этого наши общества никогда не достигли бы той степени образованности и просвещения, на которой они теперь находятся; но я никак не согласен с их мнением. Просвещенным можно сделаться и заперши свою жену замком в спальне — даже еще скорее; а что касается до высокой образованности, то спрашиваю: что такое называем мы этим именем? — утонченный разврат, и только! — разврат, приведенный в систему, подчиненный известным правилам, председательские кресла которого уступили мы женщинам. Зато они уж управляют им совершенно в свою пользу, распространяя свою власть и стесняя наши права всякий день более и более. Могущество их над обществом дошло в наше время до своей высочайшей точки: они завладели всем — нравами, разговорами, делами — и нас не хотят более иметь своими мужьями, а только любовниками и невольниками. При таком порядке вещей общества неминуемо должны погибнуть.

— Вы, почтенный астроном, принадлежите, как вижу, к партии супружеского абсолютизма.

— Я принадлежу к партии людей благонамеренных

и не люблю революций в спальнях, какие теперь происходят во многих государствах. Прежде этого не было. Пагубное учение о допущении женщин к участию в делах, о верховной их власти над обществом появилось только в наше время, и они при помощи молодых повес совершенно нас поработили. У нас в Барабии это еще хуже, чем в других местах. Наконец, и правительства убедились, что с подобными началами общества существовать не могут, и повсюду принимаются меры к прекращению этих нравственных бунтов. Посмотрите, какие благоразумные меры приняты в Гарре, Шандарухии и Хаахабуре для обуздания гидры женского своенравия! Говорят, что в Бамбурии власть мужа уже совершенно восстановлена, хотя в наших гостиных утверждают, что в тамошних супружествах еще происходят смятения и драки. Но и мы приближаемся к важному общественному перелому: надеюсь, что владычество юбок скоро кончится в нашей святой Барабии. Знаешь ли, Шабахубосаар, настоящую цель нашего похода против негров Шах-шух (Новой Земли)?

— Нет, не знаю.

— Так я тебе скажу. Это большая тайна, но я узнал ее через моего приятеля, великого жреца Солнца, который давно уговаривает царя принять действительные меры к ограничению чрезмерной свободы женского пола. Мы предприняли эту войну единственно для этой цели. Все обдумано, предусмотрено как нельзя лучше. Мы надеемся поработить полмиллиона арапов и составить из них грозную армию евнухов. Они будут приведены сюда в виде военнопленных и распределены по домам, под предлогом квартиры, по одному человеку на всякое супружество. При помощи их в назначенный день мы схватим наших жен, запрем их в спальнях и приставим к дверям надежных стражей. Тогда и я с великим жрецом, хоть старики, имеем в виду жениться на молодых девушках и будем вкушать настоящее супружеское счастие. Но заклинаю тебя, не говори о том никому в свете, ибо испортишь все дело. Ежели мы этого не сделаем, то — увидишь! — не только с нами, но и со всем родом человеческим, и с целою нашею планетою может случиться из-за женщин величайшее бедствие!..

— Вы шутите, любезный Шимшик!

— Не шучу, братец. Я убежден в этом: женщины нас погубят. Но мы предупредим несчастие: скоро будет конец их самовластию над нравами. Советую и тебе,

Шабахубосаар, отложить свою женитьбу до благополучного окончания войны с неграми.

Я смеялся до слез, слушая рассуждения главного астронома, и для большей потехи нарочно подстрекал его возражениями. Как ни странны были его мнения, как ни забавны сведения, сообщенные ему по секрету, но они, по несчастию, были не без основания. С некоторого времени все почти народы были поражены предчувствием какого-то ужасного бедствия; на земле провозглашались самые мрачные пророчества. Род человеческий, казалось, предвидел ожидающее его наказание за повсеместный разврат нравов, и как сильнейшие всегда сваливают вину на слабых, то все зло было естественно приписано людьми женскому их полу. Повсюду принимались меры против неограниченной свободы женщин, хотя мужчины не везде оставались победителями. Это было время гонения на юбки: все супружества в разбранке; в обществах господствовал хаос.

Шимшик расстался со мной очень поздно. Его причуды несколько рассеяли мою грусть. Как я был сердит на Саяну, то озлобление старого астронома против прекрасного пола отчасти заразило и мое сердце, и, ложась спать, я даже сотворил молитву к Луне об успехе нашего оружия против негров.

На другой день я застал город в тревоге. Все толковали о комете, Шимшике, его колпаке и его предсказаниях. Итак, маленькое небесное тело и маленький неуклюжий педант, о которых прежде никто и не думал, теперь сделались предметом общего внимания! И все это потому, что я этого педанта сшиб с ног на мостовой!!. О, люди! О умы!..

Я побежал к своей любезной с твердым намерением в душе наказать ее за вчерашнюю ветреность самым холодным с нею обращением. Сначала мы даже не смотрели друг на друга. Я завел разговор о комете. Она обнаружила нетерпение. Я стал рассказывать о моем приключении с Шимшиком и продолжал казаться равнодушным. Она начала сердиться. Я показал вид, будто этого не примечаю. Она бросилась мне на шею и сказала, что меня обожает. Ах, коварная!.. Но таковы были все наши (ископаемые*) женщины: слава Солнцу и Луне, что они потонули!..

Я был обезоружен и даже сам просил прощения. На-

* Прибавление Шпурцманна.

ступили объяснения, слезы, клятвы; оказалось, что вчера я не то видел, что у меня должен быть странный порок в глазах — и полная амнистия за прошедшее была объявлена с обеих сторон. Я был в восторге и решился принудить ее родителей и мою мать к скорейшему окончанию дела, тем более что женитьба во всяком случае почиталась у нас (т. е. до потопа*) вернейшим средством к прекращению любовных терзаний.

Хотя брак мой с прекрасною Саяной давно уже был условлен нашими родителями, но приведение его в действие с некоторого времени встречало разные препятствия. Отец моей любезной занимал при дворе значительное место: он был отчаянный церемониймейстер и гордился тем, что ни один из царедворцев не умел поклониться ниже его. Он непременно требовал, чтоб я наперед как-нибудь втерся в дворцовую переднюю и подвергнул себя испытанию, отвесив в его присутствии поклон хоть наместнику государства, когда тот будет проходить с бумагами: опытный церемониймейстер хотел заключить по углу наклонения моей спины к полу передней при первом моем поклоне, далеко ли пойдет зять его на поприще почестей. С другой стороны, моя мать была весьма недовольна будущею моею тещею: последняя считала себя не только знаменитее родом, но и моложе ее, тогда как матушка знала с достоверностью, что моя теща была старее ее шестьюдесятью годами — ей тогда было только двести пятьдесят пять лет, а той уже за триста!.. Они часто отпускали друг на друга презлые остроты, хотя в обществах казались душевными приятельницами. Матушка не советовала мне спешить свадьбою под предлогом, что, по дошедшим до нее сведениям, дела родителей Саяны находились в большом расстройстве. Мать моей невесты желала выдать ее за меня замуж, но более была занята собственными своими удовольствиями, чем судьбою дочери. Но главною преградою к скорому совершению брака был мой дядя Шашабаах. Он строил себе великолепный дом с несколькими сотнями огромных колонн и по своему богатству был чрезвычайно уважаем как отцом, так и матерью Саяны. Любя меня, как родного сына, он объявил, что никто, кроме его, не имеет права пещись о моем домашнем счастии, и решил своею властью, что нельзя и думать о моей свадьбе, пока не отделает он своей большой залы и не развесит своих

---

* Тоже пояснение Шпурцманна.

картин, ибо теперь у него негде дать бал на такой торжественный случай. Судя по упрямству дяди Шашабааха и по раболепному благоговению наших родных перед его причудами, это препятствие более всех прочих казалось непреодолимым. Я не знал, что делать. Я был влюблен и ревнив. Саяна меня обожала, но пока дядя развесил бы свои картины, самая добродетельная любовница успела бы раз десять изменить своему другу. Положение мое было самое затруднительное: я признал необходимым выйти из него во что бы то ни стало.

Я побежал к матушке, чтоб понудить ее к решению моей судьбы, и поссорился с нею ужасно. Потом пошел к отцу Саяны: тот вместо ответа прочитал мне сочиненную им программу церемонияла для приближающегося при дворе праздника и отослал меня к своей жене. Будущая моя теща, быв накануне оставлена своим любовником, встретила меня грозною выходкою против нашего пола, доказывая, что все мужчины негодяи и не стоят того, чтобы женщины их любили. Я обратился к дяде Шашабааху, но и тут не мог добиться толку: он заставил меня целый день укладывать с ним антики в новой великолепной его библиотеке; на все мои отзывы о Саяне, о любви, о необходимости положить конец моим мучениям отвечал длинными рассуждениями об искусстве обжигать горшки у древних и прогнал меня от себя палкою, когда я, потеряв терпение и присутствие духа, уронил из рук на землю и разбил в куски большой фаянсовый горшок особенного вида, древность которого, по его догадкам, восходила до двести пятнадцатого года от сотворения света. Я плакал, проклинал холодный эгоизм стариков, не постигающих пылкости юного сердца, но не унывал. После многократных просьб, отсрочек, споров и огорчений, наконец, успел я довести родных до согласия; но когда они сбирались объявить нам его в торжественном заседании за званым обедом, я вдруг рассорился с Саяною за то, что она слишком сладко улыбалась одному молодому человеку. Все рушилось; я опять был повергнут в отчаяние.

Я поклялся никогда не возвращаться к коварной и целых трое суток свято сдерживал свой обет. Чтоб никто не мешал мне сердиться, я ходил гулять в местах уединенных, где не было ни живой души, где даже не было изменниц. Однажды ночь застигла меня в такой прогулке. Нет сомнения, что размолвка с любезною есть удобнейшее время для астрономических наблюдений;

и сама астрономия была, как известно, изобретена в IV веке от сотворения света одним великим мудрецом, подравшимся ввечеру с женою и прогнанным сю из спальни. С досады я стал считать звезды на небе и увидел, что комета, которую, хлопоча о своей женитьбе, совсем выпустил из виду, с тех пор необыкновенно увеличилась в своем объеме. Голова ее уже не уступала величиною луне, а хвост бледно-желтого цвета, разбитый на две полосы, закрывал собою огромную часть небесного свода. Я удивился, каким образом такая перемена в наружном ее виде ускользнула от моего ведома и внимания. Пораженный странностью зрелища и наскучив одиночеством, я пошел к приятелю Шимшику потолковать об этом. Его не было дома, но мне сказали, что он на обсерватории, и я побежал туда. Астроном был в одной рубахе, без колпака и без чулок, и стоял, прикованный правым глазом к астролябии, завязав левый свой глаз скинутым с себя от жары исподним платьем. Он подал мне знак рукою, чтоб я не прерывал его занятия. Я простоял подле него несколько минут в безмолвии.

— Чем вы так заняты? — спросил я, когда он кончил свое дело и выпрямился передо мною, держась руками за спину.

— Я делал наблюдения над хвостом кометы,— отвечал он с важностью.— Знаете ли вы его величину?

— Буду знать, когда вы мне скажете.

— Он простирается на 45 миллионов миль: это более чем дважды расстояние Земли от Солнца.

— Но объясните мне, почтеннейший Шимшик, как это сделалось, что он так скоро увеличился. Помните ли, как он казался малым в тот вечер, когда я опрокинул вас на набережной?

— Где же вы бывали, что не знаете, как и когда он увеличился? Вы все заняты своею вздорною любовию и не видите, не слышите того, что происходит вокруг вас. Полно, любезнейший!.. при таком ослеплении вы и того не приметите, как ваша любезная поставит вам на лбу комету с двумя хвостами длиннее этих.

— Оставьте ее в покое, господин астроном. Лучше будем говорить о том, что у нас перед глазами.

— С удовольствием. Вот, изволите видеть: тогда как вы не сводили глаз с розового личика Саяны, эта комета совсем переменила свой вид. Прежде она казалась маленькою, бледно-голубого цвета; теперь, по мере приближения к солнцу, со дня на день представляется

значительнее и сделалась желтою с темными пятнами. Я измерил ее ядро и атмосферу: первое, по-видимому, довольно плотное, имеет в поперечнике только 189 миль; но ее атмосфера простирается на 7000 миль и образует из нее тело втрое больше земли. Она движется очень быстро, пролетая в час с лишком 50 000 миль. Судя по этому и по ее направлению, недели через три она будет находиться только в 200 000 милях от земли. Но все эти подробности давно известны из моего последнего сочинения.

— Я в первый раз об них слышу,— сказал я.

— И не удивительно! — воскликнул мудрец.— Куда вам и думать о телах небесных, завязши по шею в таком белом земном тельце! Когда я был молод, я тоже охотнее волочился за красотками, чем за хвостом кометы. Но вы, верно, и того не знаете, что постепенное увеличение этой кометы поразило здешних жителей ужасным страхом?..

— Я не боюсь комет и на чужой страх не обращал внимания.

— Что царский астроном, Бурубух, мой соперник и враг, для успокоения встревоженных умов издал преглупое сочинение, на которое я буду отвечать?

— Все это для меня новость.

— Да!.. он издал сочинение, которое удовлетворило многих, особенно таких дураков и трусов, как он сам. Но я обнаружу его невежество; я докажу ему, что он, просиживая по целым утрам в царской кухне, в состоянии понимать только теорию обращения жаркого на своей оси, а не обращение небесных светил. Он утверждает, что эта комета, хотя и подойдет довольно близко к земле, но не причинит ей никакого вреда, что, вступив в круг действия[1] притягательной ее силы, если ее хорошенько попросят, она может сделаться ее спутником, и мы будем иметь две луны, вместо одной, что, наконец, нет причины опасаться столкновения ее с земным шаром, ни того, чтоб она разбила его вдребезги, как старый горшок, потому что она жидка, как кисель, состоит из грязи и паров, и прочая, и прочая. Можете ли вы представить себе подобные глупости?..

— Но вы сами прежде были того мнения, и когда я учился у вас астрономии...

— Конечно!.. Прежде оно в самом деле так было, и мой соперник так думает об этом по сю пору; но теперь я переменил свой образ мыслей. Я же не могу быть

согласным в мнениях с таким невеждою, как Бурубух? Вы сами понимаете, что это было бы слишком для меня унизительно. Поэтому я сочиняю новую теорию мироздания и, при помощи солнца и луны, употреблю ее для уничтожения его. По моей теории кометы играли важную роль в образовании солнц и планет. Знаете ли, любезный Шабахубосаар, что было время, когда кометы валились на землю, как гнилые яблоки с яблони?

— В то время, я думаю, опасно было даже ходить по улицам,— сказал я с улыбкою.— Я ни за что не согласился бы жить в таком веке, когда, вынимая носовой платок из кармана, вдруг можно было выронить из него на мостовую комету, мимоходом упавшую туда с неба.

— Вы шутите! — возразил астроном,— однако ж это правда. И доказательство тому, что кометы не раз падали на землю, имеете вы в этих высоких хребтах гор, грозно торчащих на шару нашей планеты и загромождающих ее поверхность. Все это обрушившиеся кометы, тела, прилипшие к земле, помятые и переломленные в своем падении. Довольно взглянуть на устройство каменных гор, на беспорядок их слоев, чтоб убедиться в этой истине. Иначе поверхность нашей планеты была бы совершенно гладка: нельзя даже предположить, чтоб природа, образуя какой-нибудь шар, первоначально не произвела его совсем круглым и ровным и нарочно портила свое дело выпуклостями, шероховатостями...

— Поэтому, любезный мой Шимшик,— воскликнул я, смеясь громко,— и ваша голова первоначально, в детских летах, была совершенно круглым и гладким шаром, нос же, торчащий на ней, есть, вероятно, постороннее тело, род кометы, случайно на нее упавшей...

— Милостивый государь! — вскричал разгневанный астроном,— разве вы пришли сюда издеваться надо мною? Подите, шутите, с кем вам угодно. Я не люблю шуток над тем, что относится к кругу наук точных.

Я извинялся в моей непочтительной веселости, однако ж не переставал смеяться. Его учение казалось мне столь забавным, что даже расставшись с ним, я думал более об его носе, чем о вероломной Саяне. Проснувшись на следующее утро, прежде всего вспомнил я об его теории; я опять стал смеяться, смеялся от чистого сердца и кончил мыслию, что она в состоянии даже излечить меня от моей несчастной любви. Но в ту минуту отдали мне записку от... Кровь во мне закипела: я увидел почерк моей мучительницы. Она упрекала меня в непостоян-

стве, в жестокости!.. уверяла, что она меня любит, что она умрет, ежели я не отдам справедливости чистой, пламенной любви ее!.. Все мои обеты и теории Шимшика были в одно мгновение ока, подобно опрокинутой, по его учению, комете, смяты, переломаны, перепутаны в своих слоях и свалены в безобразную груду. Она права!.. я виноват, я непостоянен!.. Она так великодушна, что прощает меня за мою ветреность, мое жестокосердие!.. Через полчаса я уже был у ног добродетельной Саяны и спустя еще минуту — в ее объятиях.

Я опять был счастлив и с новым усердием начал хлопотать о своем деле. Надобно было снова сблизить и согласить родных, разгневанных на меня и при сей верной оказии перессорившихся между собою, вынести их упреки и выговоры, склонить матушку, выслушать все рассуждения дяди Шашабааха и польстить теще, которая столь же пламенно желала освободиться от присутствия дочери в доме, сколько и надоесть ее свекрови и помучить меня своими капризами. Прибавьте к тому приготовления к свадьбе, советы старушек, опасения ревнивой любви, мою нетерпеливость, легкомысленность Саяны и тучи сплетней, разразившихся над моею головою, как скоро моя женитьба сделалась известною в городе,— и вы будете иметь понятие об ужасах пути, по которому должен я был пробираться к домашнему счастию.

Этот ад продолжался две недели. К довершению моих страданий, события сердца беспрестанно сплетались у меня с хвостом кометы. Я должен был в одно и то же время отвечать на скучные комплименты знакомцев, ссориться с невестою за всякий пущенный мимо меня взгляд, за всякую зароненную в чужом сердце улыбку и рассуждать со всеми о небесной метле, которая беспрестанными своими изменениями ежедневно подавала повод к новым толкам. И когда уже гости созваны были на свадьбу, тот же хвост еще преградил мне путь в капище Духа Супружеской Верности, с нетерпением ожидавшего нашей присяги. Мой Шимшик, не довольствуясь изданием в свет сочинения, предсказывающего падение кометы на землю, еще уговорил своего приятеля, великого жреца Солнца, воспользоваться с ним пополам произведенною в народе тревогою, и в самый день моей свадьбы глашатаи известили жителей столицы, что для отвращения угрожающего бедствия колоссальный истукан небесного Рака будет вынесен из храма на площадь

и что по совершении жертвоприношения сам великий жрец будет заклинать его всенародно, чтобы он священными своими клещами поймал комету за хвост и удержал ее от падения. Расчет был весьма основателен, потому что, если комета пролетит мимо, это будет приписано народом святости великого жреца, если же обрушится, то Шимшик приобретет славу первого астронома в мире. Я смеялся в душе над шарлатанством того и другого, но мой тесть, церемониймейстер, узнав о затеваемом празднестве, совершенно потерял ум. Он забыл обо мне и своей дочери и побежал к великому жрецу обдумывать вместе с ним план церемонияла. Моя свадьба была отложена до окончания торжественного молебствия. Какое мучение жениться на дочери церемониймейстера во время появления кометы!..

Наконец, молебствие благополучно совершилось, великий жрец исполнил свое дело, не улыбнувшись ни одного разу, умы несколько поуспокоились, и наступил день моей свадьбы, день, незабвенный во всех отношениях. Мой дом, один из прекраснейших в Хухуруне, был убран и освещен великолепно. Толпы гостей наполняли палаты. Саяна в нарядном платье казалась царицею своего пола, и я, читая удивление во всех обращенных на нее взорах, чувствовал себя превыше человека. Я обладал ею!.. она теперь принадлежала мне одному!.. Ничто не могло сравниться с моим блаженством.

Однако ж и этот вечер, вечер счастия и восторга, не прошел для меня без некоторых неприятных впечатлений. Саяна, сияющая красотою и любовию, почти не оставляла моей руки: она часто пожимала ее с чувством, и всякое пожатие отражалось в моем сердце небесною сладостью. Но в глазах ее, в ее улыбке по временам примечал я тоску, досаду: она, очевидно, была опечалена тем, что брачный обряд положил преграду между ею и ее бесчисленными обожателями, что для одного мужчины отказалась она добровольно от владычества над тысячею раболепных прислужников. Эта мысль приводила меня в бешенство. Из приличия старался я быть веселым и любезным даже с прежними моими соперниками, но украдкою жалил острыми ревнивыми взглядами вертевшихся около нас франтов и в лучи моих зениц желал бы пролить яд птеродактиля, чтоб в одно мгновение ока поразить смертью всех врагов моего спокойствия, чтоб истребить весь мужской род и одному остаться мужчиною на свете, в котором живет Саяна...

Ночь была ясна и тиха. После ужина многие из гостей вышли на террасу подышать свежим воздухом. Шимшик, забытый всеми в покоях, выскочил из угла и стремглав побежал за ними. Саяна предложила мне последовать за ним, чтоб позабавиться его рассуждениями. Наши взоры устремились на комету. До тех пор была она предметом страха только для суеверной черни; люди порядочные — у нас почиталось хорошим тоном ни во что не верить, для различия с чернию — люди порядочные, напротив, тешились ею, как дети, гоняющие по воздуху красивый мыльный пузырь. Для нас комета, ее хвост, споры астрономов и мой приятель Шимшик представляли только источник острот, шуток и любезного злословия; но в тот вечер она ужаснула и нас. С вчерашней ночи величина ее почти утроилась, ее наружность заключала в себе что-то зловещее, невольно заставлявшее трепетать. Мы увидели огромный, непрозрачный, сжатый с обеих сторон шар темно-серебристого цвету, уподоблявшийся круглому озеру посреди небесного свода. Этот яйцеобразный шар составлял как бы ядро кометы и во многих местах был покрыт большими черными и серыми пятнами. Края его, очерченные весьма слабо, исчезали в туманной, грязной оболочке, просветлявшейся по мере удаления от плотной массы шара и, наконец, сливавшейся с чистою, прозрачною атмосферою кометы, озаренною прекрасным багровым светом и простиравшеюся вокруг ядра на весьма значительное расстояние: сквозь нее видно даже было мерцание звезд. Но и в этой прозрачной атмосфере, составленной по-видимому из воздухообразной жидкости, мелькали в разных местах темные пятна, похожие на облака и, вероятно, происходившие от сгущения газов. Хвост светила представлял вид еще грознейший: он уже не находился, как прежде, на стороне его, обращенной к востоку, но очевидно направлен был к земле, и мы, казалось, смотрели на комету в конец ее хвоста, как в трубу; ибо ядро и багровая атмосфера помещались в его центре, и лучи его, подобно солнечным, осеняли их со всех сторон. За всем тем, можно было приметить, что он еще висит косвенно к земле: восточные его лучи были гораздо длиннее западных. Эта часть хвоста, как более обращенная к недавно закатившемуся солнцу, пылала тоже багровым цветом, похожим на цвет крови, который постепенно бледнел на северных и южных лучах круга и в восточной его части переходил в желтый цвет с зелеными и белыми

полосами. Таким образом, комета с своим кругообразным хвостом занимала большую половину неба и, так сказать, всею массою своею тяготила на воздух нашей планеты. Светозарная материя, образующая хвост, казалась еще тоньше и прозрачнее самой атмосферы кометы: тысячи звезд, заслоненных этим разноцветным круглым опахалом, просвечиваясь сквозь его стены, не только не теряли своего блеску, но еще горели сильнее и ярче; даже наша бледная луна, вступив в круг его лучей, внезапно озарилась новым, прекрасным светом, довольно похожим на сияние зеркальной лампы.

Несмотря на страх и беспокойство, невольно овладевшие нами, мы не могли не восхищаться величественным зрелищем огромного небесного тела, повисшего почти над нашими головами и оправленного еще огромнейшим колесом багровых, розовых, желтых и зеленых лучей, распущенным вокруг него в виде пышного павлиньего хвоста, по которому бесчисленные звезды рдели, подобно обставленным разноцветными стеклами лампадам. Мы долго стояли на террасе в глубоком безмолвии. Саяна, погруженная в задумчивость, небрежно опиралась на мою руку, и я чувствовал, как ее сердце сильно билось в груди.

— Что с тобою, друг мой? — спросил я.

— Меня терзают мрачные предчувствия,— отвечала она, нежно прижимаясь ко мне.— Неужели эта комета должна разрушить надежды мои на счастие с тобою, на долгое, бесконечное обладание твоим сердцем?..

— Не страшись, мой друг, напрасно,— примолвил я с притворным спокойствием духа, тогда как меня самого угнетало уныние.— Она пролетит и исчезнет, как все прочие кометы, и еще мы с тобою...

В ту минуту раздался в ушах моих голос Шимшика, громко рассуждавшего на другом конце террасы, и я, не кончив фразы, потащил туда Саяну. Он стоял в кругу гостей, плотно осаждавших его со всех сторон и слушавших его рассказ с тем беспокойным любопытством, какое внушается чувством предстоящей опасности.

— Что такое, что такое говорите вы, любезный мой наставник?..— спросил я, остановясь позади его слушателей.

— Я объясняю этим господам настоящее положение кометы,— отвечал он, пробираясь ко мне поближе.— Она теперь находится в расстоянии только 160 000 миль от земли, которая уже плавает в ее хвосте. Завтра в седь-

мом часу утра последует у нас от нее полное затмение солнца. Это очень любопытно.

— Но что вы думаете насчет направления ее пути?

— Что же тут думать!.. Она прямехонько стремится к земле. Я давно предсказывал вам это, а вы не хотели верить!..

— Право, нечего было спешить с доверенностью к таким предсказаниям! Но скажите, ради Солнца и Луны, упадет ли она на землю или нет?

— Непременно упадет и наделает много шуму в ученом свете. Этот невежда Бурубух утверждал, что кометы состоят из паров и жидкостей, что они не плотны, мягки, как пареные сливы. Пусть же он, дурак, укусит ее зубами, ежели может. Вы теперь сами изволите видеть, как ядро ее темно, непрозрачно, тяжело: оно, очевидно, сделано из огромной массы гранита и только погружено в легкой прозрачной атмосфере, образуемой вокруг ее парами и газами, наподобие нашего воздуха.

— Следственно, падением своим она может произвести ужасные опустошения? — сказал я.

— Да!.. может! — отвечал Шимшик,— но нужды нет: пусть ее производит. Круг ее опустошений будет ограничен. Ядро этой кометы, как я уже имел честь излагать вам, в большом своем поперечнике простирается только на 189 миль. Итак, она своими развалинами едва может засыпать три или четыре области — положим, три или четыре царства; но зато какое счастие!.. мы с достоверностью узнаем, что такое кометы и как они устроены. Следственно, мы не только не должны страшиться ее падения, но еще пламенно желать подобного случая для расширения круга наших познаний.

— Как? — воскликнул я,— засыпать гранитом три или четыре царства для расширения круга познаний?.. Вы с ума сходите, любезный Шимшик!..

— Отнюдь нет,— возразил астроном хладнокровно; потом, взяв меня за руку и отведя в сторону от гостей, он примолвил с презабавным жаром: — Вы мне приятель! вы должны наравне со мною желать, чтоб она упала на землю! Как скоро это случится, я подам царю прошение, обнаружу невежество Бурубуха и буду просить о назначении меня на его место, царским астрономом, с оставлением и при настоящей должности. Надеюсь, что вы и ваш почтеннейший тесть поддержите меня при этом случае. Попросите и вашу почтенную супругу, чтоб она также похлопотала при дворе в мою пользу:

женщины — знаете! — когда захотят... Притом же и сам царь не прочь от такого хорошенького личика...

Я остолбенел.

— Как!.. вы хотите!.. чтоб Саяна!.. чтоб моя жена!..— вскричал я гневно и, вырывая от него мою руку с негодованием, толкнул его так, что горбатый проныра чуть не свалился с террасы. Прибежав к Саяне, я схватил ее в мои объятия и пламенно, страстно прижал ее к сердцу. Она и все гости желали узнать, что такое сказал мне астроном, полагая, наверное, что он сообщил мне важный секрет касательно предосторожностей, какие должно принимать во время падения комет; но я не хотел входить в объяснения и предложил всем воротиться в комнаты.

Тщетно некоторые из моих молодых приятелей старались восстановить в обществе веселость и расположение к забавам. Все мои гости были встревожены, расстроены, печальны. Столь внезапное увеличение кометы сообщало некоторую основательность пророчествам Шимшика и приводило их в ужасное беспокойство. Я желал, чтоб они скорее разъехались по домам, оставив меня одного с женою; но в общем волнении умов никто из них не думал об удовольствиях хозяина. Многочисленные группы мужчин и женщин стояли во всех покоях, рассуждая с большим жаром о предполагаемых следствиях столкновения двух небесных тел. Одни ожидали красного снега, другие — рыбного дождя, иные, наконец, читавшие сочинения знаменитого мудреца Бурбуруфона, доказывали, что комета разобьет землю на несколько частей, которые превратятся в небольшие шары и полетят всякий своим путем кружить около солнца. Некоторые уже прощались с своими друзьями на случай, ежели при раздроблении планеты они очутятся на отдельных с ними кусках ее; и эта теория в особенности нравилась многим из супругов, которые даже надеялись в минуту этого происшествия ловко перепрыгнуть с одного куска на другой, чтоб навсегда освободиться друг от друга и развестись без всяких хлопот, без шуму, сплетней и издержек. Каждый излагал свое мнение и свои надежды, и все беспрестанно выходили на террасу и возвращались оттуда в покои с кучею известий и наблюдений. Шимшик, сделавшийся душою их споров, бегал из одной комнаты в другую, опровергал все мнения, объяснял всякому свою теорию, чертил мелом на полу астрономические фигуры и казался полным хозяином кометы и моего дома. У меня уже недоставало терпения.

Я вздумал жаловаться на усталость и головную боль, намекая моим гостям, что скоро начнет светать; но и тут весьма немногие приметили мое неудовольствие и принялись искать колпаки. Наконец, несколько человек простились с нами и ушли. Мой тесть также приказал подвести своего мамонта, объявив торжественно, что пора оставить новобрачных. Слава Солнцу и Луне!.. Пока что случится с землею, а я сегодня женился и не могу первую ночь после брака посвятить одним теориям!..

Мы уже радовались этому началу, когда двое из гостей вдруг воротились назад с известием, что никак нельзя пробраться домой, ибо в городе ужасная суматоха, народ толпится на улицах, все в отчаянии и никто не помышляет о покое. Новая неприятность!.. Я послал людей узнать о причине тревоги и через несколько минут получил донесение, что в народе вспыхнул настоящий бунт. Бурубух объявил собравшейся на площади черни, что он лично был всегда врагом зловредности комет и даже подавал мнение в пользу того, чтобы эта метла пролетела мимо земли, не подходя к ней так близко и не пугая ее жителей; но что главный астроном Шимшик воспротивился тому формальным образом и своими сочинениями накликал ее на нашу столицу; и потому, если теперь произойдет какое-нибудь бедствие, то единственным виновником должно признать этого шарлатана, чародея, невежду, проныру, завистника и прочая и прочая. Народ, воспламененный речью Бурубуха, пришел в ожесточение, двинулся огромною толпою на обсерваторию, перебил инструменты, опустошил здание, разграбил квартиру Шимшика и его самого ищет повсюду, чтоб принести в жертву своей ярости. Невозможно представить себе впечатления, произведенного в нас подобным известием, ибо все мы предчувствовали, что бешенство черни не ограничится разрушением обсерватории; но надобно было видеть жалкое лицо Шимшика во время этого рассказа!.. Он побледнел, облился крупным потом, пробормотал несколько слов в защиту своей теории и скрылся, не дослушав конца донесения.

В печальном безмолвии ожидали мы развязки возникающей бури. Поминутно доходили до нас известия, что народ более и более предается неистовству, грабит жилища знатнейших лиц и убивает на улицах всякого, кого лишь кто-нибудь назовет астрономом. Скоро и великолепная набережная Лены, где лежал мой дом, начала наполняться сволочью. Мы с ужасом вглядыва-

лись в свирепые толпы, блуждающие во мраке и оглашавшие своим воем портики бесчисленных зданий, как вдруг град камней посыпался в мои окна. Гости попрятались за стеною и за колоннами, Саяна в слезах бросилась ко мне на шею, теща упала в обморок, дядя закричал, что ему ушибли ногу,— суматоха сделалась неимоверною. Услышав, что буйный народ считает бальное освещение моего дома оскорблением общественной печали, я тотчас приказал гасить лампы и запирать ставни. Мы остались почти впотьмах, но тем не менее принимали все возможные меры к защите в случае нападения. Вид шумной толпы служителей, лошадей, слонов и мамонтов, собранных на моем дворе и принадлежавших пирующим у меня вельможам, удержал мятежников от дальнейших покушений. Спустя некоторое время окрестности моего дома несколько очистились, но в других частях города беспорядки продолжались по-прежнему.

День уже брезжился. Не смея в подобных обстоятельствах никого выгонять на улицу, я предложил моим гостям ложиться спать где кто может — на софах, на диванах и даже в креслах. Все засуетились, и я, пользуясь общим движением ищущих средства пристроиться на покой, утащил Саяну в спальню, убранную со вкусом и почти с царскою роскошью. Она дрожала и краснела; я дрожал тоже, но ободрял ее поцелуями, ободрял нежными клятвами, горел пламенем, запирал двери и был счастлив. Все мятежи земного шара и все небесные метлы не в состоянии смутить блаженство двух молодых любовников, представших впервые с глазу на глаз перед брачным ложем. Мы были одни в комнате и одни на всей земле. Саяна в сладостном смущении опоясала меня белыми, как молоко, руками и, пряча пылающее стыдом, девственное, розовое лицо свое на моей груди, сильно прижалась ко мне — сильно, как дитя, прощающееся навеки с дражайшею матерью. Я между тем поспешно выпутывал из шелковых ее волос богатое свадебное покрывало, срывал с плеч легкий прозрачный платок, развязывал рукава и расстегивал платье сзади; и это последнее, скользя по стройному ее стану, быстро ссунулось на пол, обнаружив моим взорам ряд очаровательных прелестей. Я жадно прикрыл их горящими устами... Казалось, что никакая сила в природе не в состоянии расторгнуть пламенного судорожного объятия, в котором держали мы тогда друг друга. Слитые огнем любви в одно тело и одну душу, мы стояли несколько минут в этом

положении посредине комнаты, без дыхания, без чувств, без памяти... как вдруг кто-то чихнул позади нас. Никогда удар молнии, с треском обрушившись на наши головы, не мог бы внезапнее вывести нас из упоения и скорее приостановить в наших сердцах пылкие порывы страсти, чем это ничтожное действие страждущего насморком носа человеческого. Саяна вскрикнула и припала к земле; я отскочил несколько шагов назад и в изумлении оглянулся во все стороны. В спальне, однако ж, никого, кроме нас, не было!.. Я посмотрел во всех углах и, не нашед ни живой души, уверял жену, что это нам только так послышалось. Едва успел я успокоить ее несколько поцелуями, как опять в комнате раздалось чихание, и в этот раз уже в определенном месте — именно под нашею кроватью. Я заглянул туда и увидел две ноги в сапогах. В первом движении гнева я хотел убить на месте несчастного наглеца, осмелившегося нанести подобную обиду скромности юной супруги и святотатным своим присутствием поругаться над неприкосновенностью тайн законной любви: я схватил его за ногу и стал тащить из-под кровати, крича страшным голосом:

— Кто тут?.. Кто?.. Зачем?.. Убью мерзавца!..

— Я!.. я!.. Погоди, любезнейший!.. Пусти!.. Я сам вылезу! — отвечал мне незваный гость.

— Говори, кто ты таков?

— Да не сердись!.. это я. Я... твой приятель...

— Кто?.. какой приятель?..

— Я, твой друг!.. Шимшик.

У меня опали руки. Я догадался, что он, спасаясь от поиска мятежников, завернул под нашу кровать единственно со страху, и мое исступление превратилось в веселость. Несмотря на отчаяние стыдливой Саяны, я не мог утерпеть, чтоб не расхохотаться.

— Но что ты тут делал, негодяй?..— спросил я его с притворною суровостью.

— Я?.. я, брат, ничего худого не делал,— отвечал он, трепеща и карабкаясь под кроватью.— Я хотел наблюдать затмение солнца...

Моя суровость опять была обезоружена. Тогда как, помирая со смеху, я помогал трусливому астроному вылезти задом из этой небывалой обсерватории, Саяна, по моей просьбе накинув на себя ночное платье, выбежала в боковые двери, ведущие в комнаты моей матери. Она была чрезвычайно огорчена этим приключением и моим неуместным смехом и, выходя из спальни, кричала

гневно, пополам с плачем, что это ужас!.. что, видно, я не люблю ее, когда, вместо того чтоб поразить этого дурака кинжалом, хохочу с ним об ее посрамлении!.. что она никогда ко мне не возвратится!.. Вот откуда нагрянула беда!

Стена II

Я полетел вслед за Саянoю, желая усмирить ее сознанием своей вины, даже обещанием примерно наказать астронома, но у матушки было множество женщин, большею частию полураздетых: при моем появлении в дверях ее покоев они подняли такой крик, что я принужден был уйти назад в спальню. Возвращаясь, я побожился, что непременно убью Шимшика, но едва взглянул на его длинное, помертвелое со страху лицо, как опять стал смеяться!..

Я взял его за руку и безо всяких чинов вытолкал коленом в залу, где, к моему удивлению, никто не думал о сне. Все мои гости были на ногах и расхаживали по комнатам в страшном беспокойстве. Нестерпимая духота, внезапно разливавшаяся в воздухе, не дозволила никому из них сомкнуть глаз, а плачевные известия из города, опустошаемого бесчинствующею черныю, и вид кометы, сделавшийся еще грознее при первых лучах солнца, действительно могли взволновать и самого хладнокровного. Как скоро я появился, многие из них, окружив меня, почти насильно утащили на террасу, чтоб показать мне, что делается на небе и на земле. Я оледенел от ужаса. Комета уподоблялась большой круглой туче и занимала всю восточную страну неба: она потеряла свою богатую светлую оболочку и была бурого цвету, который всякую минуту темнел более и более. Солнце, недавно возникшее из-за небосклона, уже скрывало западный свой берег за краем этого исполинского шара. Под моими ногами город гремел глухим шумом, и во многих местах возвышались массы густого дыму, в котором пылало пожарное пламя; по улицам передвигались дикие шайки грабителей, обагренных кровию и, перед лицом опасности, увлекающей всю природу в пропасть гибели, еще с жадностью уносящих в общую могилу исторгнутое у своих сограждан имение.

Спустя четверть часа солнце совершенно скрылось за ядром кометы, которая явилась нашим взорам черною, как смоль, и в таком близком расстоянии от земли, что

можно было видеть на ней ямы, возвышения и другие неровности. В воздухе распространился почти ночной мрак, и мы ощутили приметный холод. Женщины начали рыдать; мужчины еще обнаруживали некоторую бодрость духа и даже старались любезничать с ними, хотя многие натянутыми улыбками глотали слезы, невольно сталкиваемые с ресниц скрытным отчаянием. Мне удалось проникнуть до Саяны. Она разделяла общее уныние и, сверх того, сердилась на меня. Я взял ее руку; она вырвала ее и не хотела говорить со мною. Я упал на колени, молил прощения, клялся в своей беспредельной любви, клялся в преданности, в послушании... Ничто не могло смягчить ее гнева. Она даже произнесла ужасное в супружестве слово — мщение!.. Холодная дрожь пробежала по моим членам, ибо я знал, чем у нас (перед потопом*) женщины мстили своим мужьям и любовникам. Эта угроза взбесила меня до крайности. Мы поссорились, и я, смущенный, бледный, с расстроенным лицом, с пылающими глазами, выбежал опрометью из ее комнаты.

К довершению моего смятения я неожиданно очутился среди моих гостей. Они уже не думали ни о комете, ни о бунте, ни о пожаре столицы. Я даже удивился их веселому и счастливому виду. Отгадайте же, чем были они так осчастливлены? — моим несчастием! Они уже сообщали друг другу на ухо о любопытном происшествии, случившемся ночью в моей спальне. Одни утверждали, что новобрачная ушла от меня с криком и плачем к своей маменьке, другие важно объясняли этот поступок разными нелепыми на мой счет догадками, иные, наконец, уверяли положительно, что Саяна вышла за меня замуж по принуждению, что она терпеть меня не может и что даже я застал ее в спальне с одним молодым и прекрасным мужчиною, ее любовником, который тотчас спрятался под кроватью. Насмешливые взгляды, намеки, остроты насчет супружеского быта и кривляния ложного соболезнования, посыпавшиеся на меня со всех диванов и кресел, ясно дали мне почувствовать, что мое семейное счастие уже растерзано зубами клеветы, что мои любезные друзья, столкнув честь юной моей супруги и мою собственную в пропасть своего злословия, поспешили завалить ее осколками своего остроумия и еще стряхнули с себя на них грязь своих пороков. Я измерил мыслию

---

* Пояснение доктора Шпурцманна.

эту пропасть и содрогнулся: мое прискорбие, мое негодование не знали предела. И несмотря на это, я был принужден из приличия показывать им веселое лицо, улыбаться и дружески пожимать руки у моих убийц. О люди!.. о мерзкие люди!.. Злоба у вас сильнее даже чувства страха; вы готовы следовать ее внушениям на краю самой погибели. Общество!.. горький состав тысячи ядовитых страстей!.. жестокая пытка для неразвращенного сердца!.. Ежели тебе суждено погибнуть теперь вместе с нами, то я душевно поздравляю себя с тем, что дал бал на твое погребение.

Не зная, куда деваться от людей и от самого себя, я опять вышел на террасу, сел в уединенном месте и в моем огорчении злобно любовался зрелищем многочисленных пожаров, которым мрак затмения сообщал великолепие отверстого ада. Между тем, утомленные разбоем и застигнутые среди светлого утра полночною темнотой, мятежники мало-помалу рассеялись, и мои дорогие гости начали разъезжаться. Я уснул под раскинутою на террасе палаткою, чтоб не прощаться и не видеться с ними.

Затмение продолжалось до второго часу пополудни. Около того времени небо несколько просветлело, и узкий край солнца мелькнул из-за обращенного к западу края кометы. Я проснулся, сошел вниз и уже никого не застал в покоях. Скоро солнце засияло полным своим блеском, но в его отсутствие окружность кометы удивительно расширилась. С одной стороны значительная часть грязного и шероховатого ее диска погружалась за восточною чертою горизонта, тогда как противоположный берег упирался в верх небесного свода. Такое увеличение ее наружности, при видимом удалении ее от наших глаз к востоку, ясно доказывало, что она летит на землю косвенно. В пятом часу пополудни она совсем закатилась.

Я застал Саяну и мою мать в слезах: не зная, что со мною сталось, они терзались печальными за меня опасениями — не вышел ли я из любопытства на улицу и не убит ли мятежною чернью за мои связи с Шимшиком. Мое появление исполнило их радости. Жена уже на меня не гневалась. Мы поцеловались с нею перед обедом; за обедом мы были очень нежны; после обеда еще нежнее...

Мы тогда были в спальне. Солнце уже клонилось к закату. Саяна сидела у меня на коленях, приклонив прелестную свою голову к моему плечу и оплетая мою

шею своими руками. Я держал ее в своих объятиях и с восторгом счастливого любовника повторял ей, что теперь уже ничто не разлучит нас, ничто не смутит нашего блаженства. Она скрепила мое предсказание приложением горящего девственным стыдом долгого, долгого поцелуя, и мы, сплоченные его магнитною силою, упивались чистейшею сладостью, дыша одною и тою же частицею воздуха, чувствуя и живя одною и тою же душою,— как вдруг уста наши были расторгнуты внезапным потрясением всей комнаты. Казалось, будто пол поколебался под нами. Вслед за этим вторичный удар подтвердил прежнее ощущение, и пронзительный вой собак, раздавшийся в ту самую минуту, решил все догадки. Я схватил Саяну за руку и быстро потащил к дверям, говоря: «Друг мой!.. землетрясение!.. Надо уходить из комнат».

Мы пробежали длинный ряд покоев, среди беспрерывных ударов потрясения, повторявшихся всякий раз чаще и сильнее. Лампы, подсвечники, статуи, картины, вазы, стулья и столики падали одни за другими кругом нас на землю; пол качался под нами, подобно палубе колеблемого волнами судна. Я кричал моим людям, чтоб они скорее спасались на двор, чтоб выводили из конюшен лошадей, мамонтов, мастодонтов, и сам, с трепещущею Саяною, стремглав бежал к лестнице, прыгая через опрокинутую утварь и уклоняясь от падающих со стен украшений. Едва достигли мы до сеней, как в большой зале с ужасным треском обрушился потолок, настланный из длинных и широких плит. На лестнице, где мы, слуги и невольники столпились все вместе, два новые подземные удара, поколебавшие землю в двух противоположных направлениях, свалили всех нас с ног, и мы целою громадою покатились вниз, один чрез другого, по лопающим под нами ступеням, из которых последние уже не существовали. Стон раненых, крик испугавшихся и придавленных оглушили меня совершенно, но любовь сохранила во мне присутствие духа: я не выпустил руки Саяны. Таким образом мы с нею удержались на груде свалившегося у подножия лестницы народа, не попав на торчащие обломки камней, о которые многие разразились.

Но вставание было опаснее падения, ибо одновременное всех усилие высвободиться из кучи произвели в ней страшное замешательство. Всякий толкал или старался скинуть с себя своего соседа. При помощи одного не-

вольника, который счастливо удержался на ступенях и схватил Саяну на руки, я успел вырваться из лежащей в беспорядке толпы, и мы втроем первые выскочили на двор. Вся остальная куча была в то же мгновение сплюснута, размозжена, смолота внезапно слетевшим на нее великолепным сводом сеней, и кровь, выжатая из нее, брызнула на все стороны сквозь камни, как вода от брошенного в нее бревна.

Мы были на дворе, но отнюдь не вне опасности. Мои мастодонты, мамонты, слоны, верблюды и лошади, ведомые верным инстинктом животных, при первых признаках землетрясения силою освободились из своих тюрем, разломали стойла и двери и выбежали на открытый воздух. Двор уже был наполнен ими, когда мы туда прибыли. Их беспокойство и трепет, сопровождаемые громовым ревом, умножали суматоху между спасшимися и спасающимися, которые также вопили, кричали и бегали. Положение наше было ужасно. С одной стороны, целые ряды колонн, целые стены моих великолепных чертогов валились вокруг нас на землю, как детские игрушки, тронутые потаенною пружиною, бросая нам под ноги большие глыбы камня и засыпая глаза пылью; с другой — разъяренный мамонт или мастодонт одним поворотом своих исполинских клыков, похожих на длинные и толстые костяные колоды, одним ударом своих огромных ног мог бы истребить и потоптать нас. Между тем ад бушевал под нашими стопами. Подземный гром с оглушительным треском и воем беспрерывно катился под самою почвою, которая с непостижимою упругостью то раздувалась и поднималась вверх, то вдруг опадала, образуя страшные углубления, подобно волнам океана. В то же самое время поверхность ее качалась с севера на юг, и вслед за тем черта движения переменялась и возникало перекрестное качание с востока на запад или обратно. Потом казалось, будто почва кружится под нами: мы, верблюды и лошади падали на землю, как опьяневшие; одни мамонты и мастодонты, расставив широко толстые свои ноги и вертя хоботами для сохранения равновесия, удерживались от падения. Изо всего семейства только я, Саяна и мой меньшой брат остались в живых; прочие, мать и сестры и большая половина нашей многолюдной дворни, не успели отыскать выхода и погибли в разных частях здания.

Уже наступала ночь. Землетрясение не уменьшалось, но для нас не было столь страшным. В два часа времени

мы так к нему привыкли, как будто оно было всегдашнее состояние попираемой нами почвы: всякий избрал себе самое удобное на волнующейся земле положение и в молчании ожидал конца бури. Опасение быть раздавленными падением стен и портиков не могло тревожить нас более, ибо дом был разрушен до основания и представлял одну плоскую, широкую груду развалин, заключавшую нас и весь двор в своем кругу. Брусья и колонны были перемешаны в дивном беспорядке; связь строения разорвана; каждый камень лежал особо под другим камнем или подле него: они казались одушевленными судорожною жизнию червей, сложенных в кучу,— при всяком ударе землетрясения, особенно когда почва выдувалась и опадала, они двигались, ворочались, становились прямо, падали и пересыпались целыми массами с одного места на другое, выбрасывая по временам из недр своих смолотые члены раздавленных ими жителей и опять поглощая их во внутренность разрушения.

Все было потеряно. Оставалось только подумать о том, как провести ночь на зыблющейся земле под открытым небом, на средине обширного круга движущихся развалин. Весьма немного платья и еще меньше жизненных припасов было спасено моими людьми в самом начале бедствия: мы разделили все это между собою по равным частям. Два маленькие хлеба и кусок оставшегося от обеда жареного аноплотериума составили превосходный ужин для Саяны и для меня с братом*. Я закутал мою невинную жену в плащ одного конюха, и мы решились просидеть до утра на том же месте.

Несмотря на внутренние терзания планеты, которая при всяком ударе должна бы, казалось, разбиться в мелкие куски, над ее поверхностью царствовала ночь, столь же прекрасная, светлая и тихая, как и вчерашняя. Луна белыми лучами сребрила печальную могилу нашей столицы. Небо пылало звездами; но, к удивлению, не было видно кометы. Мы полагали, что она взойдет позже, и не дождались ее появления. Неужто она исчезла?.. Неужели в самом деле где-нибудь обрушилась она на землю?.. Это землетрясение не есть ли следствие ее падения?.. Проклятый Шимшик! он уверял нас, что комета опустошит только то место, о которое сама она расшибет

* Аноплотериум, anoplotherium gracile, род предпотопной газели, из которого жаркое, с испанским соусом и солеными сибирскими бананами, по мнению ученого Шлотгейма, долженствовало быть очень вкусно.— *Примечание доктора Шпурцманна.*

свои бока!.. Но падение свершилось, и наш Шимшик прав: он умнее Бурубуха!.. «Впрочем, это только случай,— заметила Саяна.— Один из них предсказывал, что она упадет, другой — что она пройдет мимо: то или другое было неизбежно...»

Тогда как мы были заняты подобными рассуждениями, подземные удары становились гораздо слабее и реже. Гром, бушевавший в недрах шара, превратился в глухой гул, который иногда умолкал совершенно, и в этих промежутках мучений природы рыдание жен и матерей, стон раненых и умирающих, крик или, лучше сказать, вой отчаяния уцелевших от погибели, но лишенных приюта и пропитания, жестоко потрясали наш слух и наши сердца Нам довольно было взглянуть на самих себя, чтоб постигнуть горесть других.

Наконец настал день. Мы почти не узнали вчерашних развалин. Длинные брусья и большие камни были разбиты в мелкие части и как бы столчены в иготи; город представлял вид обширной насыпи обломков. Величественная Лена, протекавшая под моими окнами, оставила свое русло и, поворотясь к западу, проложила себе новый путь по опрокинутым башням, по разостланным на земле стенам прежних дворцов и храмов. Во многих местах груды развалин запрудили ее волны и заставили их расструиться по городу в разных направлениях. На площадях, на дворах больших строений и в углублениях почвы образовались бесчисленные лужи, и вся западная часть столицы представляла слепление множества озер различной величины, из которых там и сям торчали уединенные колонны и дымовые трубы, дивною игрою природы оставленные на своих основаниях, чтоб служить могильными памятниками погребенному у их подножия городу. Наводнение не коснулось восточного берега, на котором находился мой дом; но мы приметили, что подобные лужи уже начинали появляться и по сю сторону прежнего русла реки. Землетрясение едва было ощутительно, однако не прекращалось, и от времени до времени более или менее сильный удар грозил, казалось, возобновлением вчерашних ужасов. Итак, нечего было долее оставаться на месте. Все уцелевшее народонаселение столицы спасалось на возвышениях, окружавших Хухурун с востока: мы последовали общему примеру.

Строение, в котором помещались мои конюшни и где жили мои мамонты, мастодонты и некоторые слуги,

было деревянное, из прекрасного райского лесу. Мы раскидали переломанные бревна и вытащили из-под них все, что только нашли годного к употреблению. Нагрузив на одного мастодонта этот скудный остаток нашего богатства, я, Саяна, мой брат, два невольника и одна служанка сели на моего любимого рыжего мамонта; прочие служители взобрались на слонов и верблюдов или взялись вести в руках лошадей, и мы тронулись со двора, пробираясь через развалины дома. После долгих борений с преградами выехали мы на большую улицу, ведущую к восточной заставе, и слились с потоком народа, стремившегося в один и тот же путь с нами. Я не в силах передать впечатления, произведенного во мне зрелищем этого бесконечного погребального шествия, медленно и печально пробиравшегося узкою тропинкой между высокими валами обломков. Подобные нашей длинные цепи мертвецов, восставших поутру из могилы своей родины, тянулись и по другим улицам. Не только люди, но и животные чувствовали огромность случившегося несчастия: мамонты явно разделяли нашу горесть. Эти благородные создания, первые в природе после человека, даже превыше многих людей одаренные редким умом и превосходною чувствительностью, принимали трогательное, хотя безмолвное участие в общественной печали. Мой рыжий мамонт, свободно понимавший разговоры на трех языках, колотил себя хоботом по бокам и грустно вздыхал, проходя мимо разрушенных жилищ моих приятелей, которых почитал он своими. Увидев моего дядю, расхаживающего по развалинам нового своего дома, он остановился и не хотел идти далее, пока мы не скажем старику несколько утешительных слов.

— Мои картины!.. мои антики!..— восклицал дядя жалостным голосом.— Ах, если б я мог отыскать хоть мою сковороду второго века мира, за которую заплатил так дорого!..

— Возьмите вместо ее один кирпич из развалин вашего нового дома,— сказал я ему,— он с вчерашнего числа поступил в разряд драгоценных антиков.

— Ты ничего не смыслишь в древностях!..— отвечал дядя и опять стал рыться в развалинах. Он вытащил из них какую-то тряпку и начал с жаром излагать нам ее достоинства, но мой мамонт, видя, что дядя нимало не стал умнее от землетрясения, не хотел слушать вздору, и мы уехали.

Сожаление дяди о потере предмета столь пустой при-

хоти вынудило у меня улыбку, но она вдруг погасла, и я опять погрузился в мрачную думу, которая угнетала мою грудь с самого утра. Кроме скорби, возбуждаемой общим бедствием, моя любовь к Саяне была главным ее источником. Я принужден был страдать ревностью даже среди ужасов вспыхнувшего мятежа природы. Саяна плакала, не говорила со мною, отвергала мои утешения, и я, по несчастию, постигал причину ее горести: она грустила не о потере имения, не о погибели родных и отечества, не об истреблении нескольких сот тысяч сограждан, но о разрушении гостиных, о расстройстве общества — того избранного, шумного, блестящего общества, в котором царствовала она своею красотою; где она счастливила своими улыбками и приводила в отчаяние своими суровыми взглядами; где жили ее льстецы; где она затмевала и бесила своих соперниц. Спасение одного любовника, одного верного друга не могло вознаградить ей отсутствие толпы холодных обожателей, рассеянного внезапною бурею роя красивых мотыльков, с которыми играла она всю свою молодость. Я для нее был ничто или, лучше сказать, я был все — но один. Ей казалось, что нам вдвоем будет скучно!!. Я утверждал противное, доказывая, что без этих господ нам будет гораздо веселее. Легкий упрек в тщеславии, который позволил я себе сделать ей при этом случае, весьма ей не понравился. Она рассердилась, и мы поссорились верхом на мамонте. Мы оборотились друг к другу задом. Мой мамонт выпрямил свой хобот вверх, наподобие столба, и покачал им тихонько, в знак того, что нехорошо так ссориться в присутствии всего города!.. Я сказал мамонту, что он дурак.

«Итак, мои любовные мучения,— подумал я,— не прекратились ни супружеством, ни землетрясением!.. Это почти невероятно. Вот что значит модная женщина, воспитанная в вихре большого света!.. Надобно же, чтоб подобные женщины были прелестны собою и чтоб люди были обязаны влюбляться в них без памяти?..»

Мы уже выехали из города, уже поднимались на высоты — и все еще не говорили друг с другом ни слова. Почва, по которой мы проезжали, была истрескана в странные узоры, и на пути нередко попадались широкие трещины, через которые следовало перескакивать. Холмы были разрушены: одни осыпались и изгладились, другие лежали, разбитые на несколько частей. В иных местах разверстая планета изрыгнула из своего лона кучи огром-

ных утесов. Прежние озера иссякли, и вместо их появились другие. Но самый примечательный признак опустошения являли деревья: леса были всклочены; в рощах и на поле не оставалось двух дерев в перпендикулярном положении к земле: все стояли вкось под различными углами наклонения, и всякое в свою сторону. Многие дубы, теки, сикоморы и платаны были скручены, как липовые веточки, а некоторые расколоты так, что человек удобно мог бы пройти в них сквозь пень, как в двери. Мы долго искали цельного и не занятого другими куска земли, где бы могли временно поселиться, и, наконец, остановились в одной пальмовой роще. Мои люди мигом построили для нас шалаш из ветвей.

Сверх всякого чаяния, мы тут очутились в кругу наших знакомцев. Туча молодых франтов слетелась к нам изо всей рощи. Рассказы о вчерашних приключениях, шутки над минувшею опасностью, приветствия и остроты, лесть и злословие превратили наш приют в блистательную гостиную или в храм лицемерства. Саяна вдруг развеселилась. Она опять улыбалась, опять господствовала над всем мужеским полом и опять была счастлива. В общей и весьма искусной раздаче приветливых взглядов и я, покорнейший муж и слуга, удостоился от нее одного, в котором большими иероглифами начертано было милостивое прощение моей неуместной ревности и преступного желания, чтоб моя жена нравилась только одному мне. Я чуть не лопнул с досады.

Но вскоре убедились мы, что опасность еще не миновала. Не одна Лена переменила свое направление: все вообще реки и потоки оставили свои русла и, встретив преграды на вновь избранном пути, начали наводнять равнины. Вода показалась в небольшом расстоянии от нашего стана и поминутно поглощала большее и большее пространство. Некоторые утверждали, что она вытекает из-под земли, и здесь в первый раз произнесено было между нами ужасное слово — потоп! Все были того мнения, что надобно уходить в Сасахаарские горы, куда многие семейства отправились еще на заре.

Роща в одно мгновение ока оживилась повсеместным движением. Одни укладывали свои пожитки, другие седлали лошадей и слонов. Пока мои люди занимались подобными приготовлениями и моя жена заключала с вежливыми прислужниками трактат не оставлять друг друга в путешествии, я узнал случайно о спасении моей

матери. Она не погибла в развалинах дома; она выскочила в окно на набережную, когда мы уходили на двор; многие видели ее недалеко от рощи с одним знакомым нам семейством. Сердце мое сильно забилось от радости: я хотел тотчас бежать к возлюбленной родительнице, к одному истинному другу в этой горькой жизни. Но как тут быть?.. Оставить молодую, невинную супругу в кругу этих вертопрахов невозможно!.. Я предложил Саабарубу, тому самому идолу наших женщин, к которому ревновал Саяну, будучи еще женихом и который теперь отчаянно любезничал с нею, пособить мне отыскать матушку. Он извинился каким-то предлогом, которого я не понял, но который жена нашла крайне уважительным. Я обнаружил беспокойство. Они посмотрели друг на друга и на меня и улыбнулись. Я в ту минуту готов был убить на месте их обоих, но подумав, что женатому человеку неприлично сердиться на друзей своей супруги, даже и после землетрясения, предпочел покрыть молчанием эту обидную улыбку. Они очевидно издевались над моею ревностью!!. Итак, я вышел из шалаша; уходя, бросил на Саяну страшный взгляд, от которого она содрогнулась. Я взобрался на мамонта в совершенном расстройстве духа и, приказав людям дожидаться моего возвращения, с двумя невольниками отправился искать матушку.

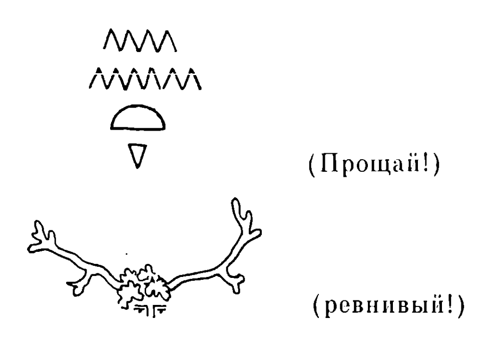
Ее уже не было в указанном месте. Я объехал все окрестности, расспросил повсюду и нигде не доискался следа ее. Эта неудача огорчила меня еще более. Около полудня воротился я в рощу, которая уже была оставлена всеми и отчасти потоплена водою. Брат и слуги находились в жестоком беспокойстве. Я рассеянно подал знак к отъезду, спрашивая, где Саяна. Мне отвечали хладнокровно, что она ушла в рощу и не возвращалась.

— Как?.. Саяна ушла?.. Она не возвращалась?..

И холодный пот выступил у меня на посиневшем челе, на дрожащих руках.

— Она не возвращалась!.. Моя бедная, моя дражайшая Саяна!..

Первая мысль моя была о том, что она утонула. Я хотел бежать искать ее по всей роще, но служанка, безмолвно протянув руку, отдала мне записку на свернутом лоскутке папируса. Я раскрыл ее... О горе!.. там были начертаны женским почерком и даже без правописания только два следующие иероглифа:



Гнев, негодование, отчаяние, ярость вспыхнули в душе моей со всею силою огорченной любви, со всею неукротимостью обиженной чести. Итак, Саяна изменила мне!.. Она предпочла услужливость, лицемерное рабство низкого обольстителя мне, моей любви, нашему счастию!.. Вероломная, коварная!.. уходить от своего мужа с любовником во время всеобщего потопа!.. Ах, он негодяй! Клянусь Солнцем и Луною, что этот кинжал!.. что в их преступной крови!..— И волны мести, хлынувшие из сердца, залили мне голос в горле. Я не мог произнести более ни слова: только махнул брату рукою, давая знать, что предоставляю ему людей и все имущество, и в ту же минуту поскакал за уезжающими отыскивать жену и Саабаруба. Я не сомневался, что она убежала с этим повесою.

Но как и где найти их в такой тьме народа, бегущего из городов и селений, заваливающего все переправы, покрывающего все дороги и сухие места частыми, непроницаемыми толпами?.. Я скакал взад, вперед и поперек, бросался наудачу в различные стороны, спрашивал, заглядывал, подстерегал: нигде ни следа их!.. Как будто нырнули в воду! Я хотел воротиться к брату — и его не отыскал. Пожираемый жгучею грустью, изнемогающий под бременем уныния, бесчестия, стыда, усталый, почти мертвый, наконец, потерял я всю надежду и решился спокойно ехать вместе с прочими в горы. Там судьба счастливым случаем скорее может поблагоприятствовать моему мщению, чем здесь нарочные поиски.

В четвертом часу пополудни прибыли мы к одной переправе, образованной широко разлившимся ручьем. Бредущие в нем пешеходы расступились, чтоб пропустить меня: один лишь крошечный, горбатый человечек,

стоявший по колены в воде и который, казалось, весь дрожал со страху при виде брода не по его росту, не примечал нашего натиска и, несмотря на наш крик, никак не хотел посторониться. Мой мамонт мчался быстро, и мы уже думали, что он затопчет его в грязи, как вдруг великодушный гигант животного царства, чтоб очистить себе дорогу без угнетения пешеходцев, схватил его на бегу концом исполинского своего хобота, поднял вверх выше головы и понес через воду, как сноп соломы, воткнутый на длинные вилы. Горбатый человечек визжал, вертелся, махал ногами и руками, не постигая, что с ним случилось; мои невольники помирали со смеху; я приказывал им остановить мамонта, боясь, чтобы честная скотина из человеколюбия не задушила его в своих объятиях, когда он, нечаянно поворотив к нам голову, увидел меня на седле и вскричал радостным голосом:

— Ах!.. вы здесь?.. Как я рад встретиться с вами в сем удобном мест...

— Шимшик!.. Шимшик!..— воскликнули мы единогласно, приветствуя его громким смехом.

— Спасите меня!..— кричал несчастный астроном.— Ай!.. он помял мне все кости!.. Ну, что комета?.. не говорил ли я вам?.. Ай, ай, ради Солнца!..

Пробежав брод, наш великан сам остановился и с удивительною ловкостью поставил бедного Шимшика на ноги. Мы бросили астроному веревочную лестницу, встащили его на седло и помчались далее. Шимшик рассказал мне свои приключения, я сообщил ему мои: он был сильно тронут моим несчастием. Он спас свои сочинения, свои открытия и теории, которыми сбирался изумить современников и потомство; все его карманы были набиты славою, и когда настигли мы его у переправы, он был в большом затруднении и не знал, что с собою делать, не смея отставать от бегущих и боясь замочить в ручье свое бессмертие. К счастию, добрый мамонт вывел его из этого неприятного положения и сохранил для науки и чести Барабии. Узнав от меня об измене Саяны, он воскликнул: «Ну, что?.. Не предсказывал ли я вам, что если бедствие случится с землею, то единственно из-за женщин?.. По несчастию, теперь нет и средства спасти ее: говорят, что негры Шах-шух (Новой Земли), сведав о нашем намерении оскопить все их царство, дрались, как мегалотерионы, и разбили наших, которые теперь бегут от них к столице. Вся надежда на получение

евнухов исчезла; а это было одно средство обуздать разврат женского пола и восстановить нравы!..»

Наконец, достигли мы гор, проскакав на мамонте в шесть часов девяносто географических миль. Мы находились на границе нашего прекрасного отечества, отделявшей его от двух больших государств, Хабара и Каско. Остановясь, мы приметили, что земля все еще шевелится под нами. В некоторых местах каменный хребет казался еще согретым от подземного огня, незадолго пред тем пролетавшего с громом в его внутренности. Разрушение природы представлялось здесь в самом величественном и ужасном виде: гранитные стены были исписаны трещинами, из которых многие походили на пропасти; ущелия были завалены обрушившимися вершинами, толстые слои камня — взорваны и взрыты, утесы вместе с росшими на них лесами — опрокинуты, смяты, растасканы. Сасахаарские горы после вчерашнего землетрясения уподоблялись постели двух юных любовников, только что оставленной ими поутру в живописном беспорядке развалины пылких страстей, еще дышущей волканическою теплотою их сердец среди холодных уже следов первого взрыва их любви.

Со времени поселения нашего в горах события и ужасы преследовали друг друга и нас с такою быстротою, что никакое воображение не в силах передать их другому, ни себе представить. Земля, небо, стихии, люди и их мятежные страсти были смешаны в один огромный хаос и вместе образовали мрачную, шумную, свирепую бурю.

Когда мы прибыли, горы уже были покрыты спасавшимся отвсюду народом. Противоположная их отлогость была усеяна каменьями различных цветов и видов, в числе которых многие удивляли нас своею красотою, прозрачностью и огненным блеском, а иные своим сходством с громовыми стрелями. Но с одной подоблачной вершины беглецы из тех окрестностей указали нам в северо-восточной стороне горизонта зрелище еще любопытнейшее — предлинный хребет гор, съеженный чрезвычайно высокими и острыми массами, которого прежде там не бывало. Это была одна только оконечность развалин вчера разразившейся о землю кометы, которая разостлалась по ней необозримою чертою с бесчисленными боковыми ветвями; которая потрясла ее в самом основании и, ядром своим загромоздив огромную полосу нашего шара, по сторонам наваленных ею исполинских громад гранитной материи, все пространство смежных

земель залила и засыпала дождем из грязи и песку и сильным каменным градом, шедшими несколько часов сряду во время и после ее падения. Следы этого града, коснувшегося самой подошвы Сасахаарских гор, видели мы в тех незнакомых нам разноцветных каменьях и блестящих голышах, а беглецы представили нам образцы красного и желтого песку, составлявшего, по-видимому, почву кометы и подобранного на примыкающей к горам равнине. Желтый песок красивою, лоснящеюся своей наружностью в особенности чаровал наши взоры и сердца; всякий из нас хотел иметь у себя хоть несколько его зернышек. Он, видно, считался на комете весьма дорогою вещью.

По их рассказам, падению ее предшествовал...

Стена III

...страшный гул с треском в возвышенных странах атмосферы, и вскоре совершенный мрак, прорезываемый яркими огнями, как бы выжатыми из воздуха, придавленного ее натиском, еще увеличил ужас роковой минуты. В то самое время пятьсот тысяч воинов Хабара и Каско стояли на поле сражения, защищая кровию и жизнию честолюбие своих предводителей, тщеславие своих сограждан и неприкосновенность небольшого куска земли, бесполезного их предводителям, согражданам и им самим. Военачальники воспламеняли их храбрость, толкуя грозное небесное явление в смысле благополучного для них предвещания и напоминая им о нетленной славе, долженствующей скоро увенчать их великие, бессмертные подвиги; города, села, деревни, крыши домов и холмы кипели народом, ожидавшим в беспокойстве следствия огненной борьбы стихий и кровавой борьбы своих ближних; поля и луга пестрели несметными стадами, которые, остолбенев со страху, забыв о корме, в общем предчувствии погибели соединяли печальное свое мычание с ревом львов, тигров и тапиров, трепещущих в лесах и вертепах; воздух гремел смешанным криком непостижимого множества птиц, летавших густыми стаями в поминутно усиливающемся мраке,— когда тяжелая масса воздушного камня с быстротою молнии хлынула на всю страну!.. Человечество и животное царство изрыгнули один внезапный хриплый стон, и вместе с этим стоном были размозжены слетевшими с неба горами, которые обрызганным их кровию основанием мигом

сплюснули, раздавили и погребли навсегда быт, надежды, гордость, славу и злобу бесчисленных миллионов существ. На необозримой могиле пятидесяти самолюбивых народов и пятисот развратных городов вдруг соорудился огромный, неприступный, гремящий смертельным эхом и скрывающий куполы свои за облаками гробовый памятник, на котором судьба вселенной разбросанными в беспорядке гранитными буквами начертала таинственную надпись: «Здесь покоится половина органической жизни этой тусклой зеленой планеты третьего разряда».

Мы стояли на утесе и в унылом безмолвии долго смотрели на валяющийся в углу нашего горизонта бледный, безобразный труп кометы, вчера еще столь яркой, блистательной, прекрасной, вчера еще двигавшейся собственною силою в пучинах пространства и как бы нарочно прилетевшей из отдаленных миров, от других солнц и других звезд, чтоб найти для себя возле нас, смертных, гроб на нашей планете и прах свой, перемешанный с нашим прахом, соединить с ее перстью.

Между тем другое явление, происходившее над нашими головами, проникло нас новым страхом. Уже прежде того мы приметили, что солнце слишком долго не клонится к закату: многие утверждали, что оно стоит неподвижно; другим казалось, будто оно шевелится вокруг одной и той же точки; иные, и сам Шимшик, доказывали, что оно, очевидно, сбилось с пути, не знает астрономии и забрело вовсе не туда, куда б ему следовало идти с календарем Академии в кармане. Мы объясняли это событие разными догадками, когда одним разом солнце тронулось с места и, подобно летучей звезде, быстро пробежав остальную часть пути, погрузилось за небосклоном. В одно мгновение ока зрелище переменилось: свет погас, небо зардело звездами, мы очутились в глубоком мраке, и крик отчаяния раздался кругом нас в горах. Мы полагали, что уже навсегда простились с благотворным светилом, что после истребления значительной части рода человеческого та же планета, на которой мы родились, назначена быть его остаткам темницею, где мы должны скоро ожидать смертного приговора. Невозможно изобразить горести, овладевшей нами при этой ужасной мысли. Мы провели несколько часов в этом положении; но тогда, как некоторые из нас уже обдумывали средства, как бы пристроить остаток своего быта в мрачном заключении на нашей несчастной планете, волны яркого света нечаянно залили наше зрение ослепитель-

ным блеском. Мы все повергнись на землю и долго не смели раскрыть глаз, опасаясь быть поражены его лучами. Наконец, мы удостоверились, что он происходит от солнца, которое непонятным образом взошло с той стороны, где незадолго пред тем совершился его внезапный закат. Достигнув известной высоты, оно вдруг покатилось на юг; потом, поворотясь назад, приняло направление к северо-востоку. Не доходя до земли, оно поколебалось и пошло скользить параллельно черте горизонта, пока опять не завалилось за него недалеко от южной точки. Таким образом, в течение пятнадцати часов оно восходило четырежды, всякий раз в ином месте; и всякий раз, исчертив его кривыми линиями запутанного пути своего, заходило на другом пункте и ввергало в ночной мрак изумленные и измученные наши взоры.

Несмотря на ужас, распространенный в нас подобным ниспровержением вечного порядка мира, нельзя было не догадаться, что не солнце так странно блуждает над нами, но что земной шар, обремененный непомерною тяжестью кометы, потерял свое равновесие, выбился из прежнего центра тяготения и судорожно шатается на своей оси, ища в своей огромной массе, увеличенной чуждым телом, нового для себя центра и новой оси для суточного своего обращения. В самом деле, мы видели, что при каждом появлении солнца точка его восхождения более и более приближалась к северу, хотя закат не всегда соответствовал новому востоку и падал попеременно по правую и по левую сторону южного полюса. Наконец, в пятый раз солнце засияло уже на самой точке севера и, пробежав зигзагом небесный свод в семь часов времени, закатилось почти правильно на юге. Потом наступила долгая ночь, и после одиннадцати часов темноты день опять начал брезжиться на севере. Солнце взошло по-прежнему, предшествуемое прекрасною зарею: мы приветствовали его радостным криком, льстя себя мыслию, что теперь скоро будет конец нашим страданиям, все придет в порядок, и мы возвратимся на равнины. Один только Шимшик не мог утолить своей горести после потери прежнего востока и прежнего запада. Он говорил, что не перенесет такого безбожного переворота в астрономии и географии: двести сорок пять лет своей жизни употребил он на составление таблиц долготы и широты трех тысяч известнейших городов и местечек, а теперь, при перемене полюсов, все его исчисления, вся его ученость, заслуги перед потомством и право на

полный пенсион от современников не стоили старой тряпки!..

Я постигал печаль Шимшика, но он, окаянный, не умел оценить моей. Увы!.. муж, от которого жена бежала с любовником во время падения кометы на землю, во сто раз несчастнее всех астрономов. Ему скажут, что они взяли направление к востоку; он побежит за ними на восток, руководствуясь течением солнца; вдруг полюсы переменят свое положение, и он очутится на севере, в девяноста географических градусах от своей сожительницы. Это слишком жестоко!.. Сообразив все дело, я убедился, что в настоящих отношениях земли к солнцу нечего мне напрасно и искать своей жены.

Вдруг погода переменилась. Воздух стал затмеваться некоторым родом прозрачного, похожего на горячий пар тумана, и крепкий запах серы поразил наше обоняние. Мы уже приобрели было некоторую привычку к необыкновенным явлениям и сначала мало заботились об этой перемене погоды, которая, впрочем, до тех пор удивляла нас своим постоянством. Скоро солнце сделалось тускло, кроваво, огромно, как во время зимнего заката, и в верхних слоях атмосферы начало мелькать пламя синего и красного цветов, напоминающее собою пыль зажженного спирта. Через полчаса пламя так усилилось, что мы были как бы покрыты движущимся огненным сводом.

— Воздух горит!..— воскликнули многие из моих соседей.

— Воздух горит!!. — раздалось по всему хребту: — Мы пропали!

Основательность этого замечания не подлежала сомнению: воздух был подожжен!.. И не трудно даже было предвидеть, какую смерть готовила нам ожесточенная природа: мы долженствовали сгореть живые, дышать пламенем, видеть заживо внутренности наши сожженными, превращающимися в уголь. Какое положение!.. Какая будущность!..

Пожар атмосферы принял страшное напряжение. Вместо прежних, мелких и частых клочков пламени, огонь пылал на небе огромными массами с оглушительным треском; и хотя вовсе не было облаков, дождь лился на нас крупными каплями. Но пламя удерживалось на известной высоте, отнюдь не понижаясь к земле. Дыхание сделалось трудным; все лица облеклись смертельною бледностью. У многих голова начала кру-

житься: они падали на землю и в ужасных корчах, сопровождаемых поносом и рвотою, испускали дух, не дождавшись конца представления. Смерть окружила нас своим волшебным жезлом. В течение нескольких часов большая половина спасшегося в горах народа сделалась ее жертвою, покрыв долины и утесы безобразными, отвратительными трупами. Те, которые выдержали первый ее приступ на последнее убежище скудных остатков нашего рода, были повержены в опьянение, не чуждое даже некоторой веселости. Я упал без чувств на камень.

Не знаю, как долго оставался я в этом положении, но, очнувшись, я почувствовал в себе все признаки сильного похмелья. Мои товарищи чувствовали то же, хотя из них только немногие были свидетелями моего пробуждения. Мы страдали головною болью, тошнотою и оцепенением членов и в то же время были расположены к резвости. Поселение, которому я принадлежал, состоявшее только из пятидесяти человек мужчин, женщин и детей, в одно это происшествие лишилось тридцати двух душ; и мы тотчас пустились обнаруживать нашу новую и для нас самих непонятную склонность к шалостям, бросая с неистовым хохотом трупы усопших наших товарищей с обитаемого нами утеса в пропасть, лежащую у его подножия. Разыгравшись, мы хотели было швырнуть туда же и нашим астрономом, Шимшиком, и простили его потому только, что он обещал кувыркнуться три раза перед нами, для нашей потехи. Но если б Саяна попалась мне тогда в руки, я бы с удовольствием перебросил ее чрез весь Сасахаарский хребет, так, что она очутилась бы на развалинах кометы.

Вместе с этою злобною веселостью в сердце ощущали мы еще во рту палящий, кислый вкус, очевидно, происходивший от воздуха, ибо, несмотря на все употребленные средства, никак не могли от него избавиться. Но гораздо изумительнейшее явление представлял самый воздух: во время нашего опьянения он очистился от туманного пара и от пылавшего в нем пламени, но совершенно переменил свой цвет и казался голубым, тогда как прежде природный цвет неба в хорошую погоду был светло-зеленый. Шимшик, у которого дело никогда не стало за причиною, объяснил нам эту перемену тем, что, кроме плотной каменной массы ядра, комета принесла с собою на землю свою атмосферу, составленную из паров и газов, большею частию чуждых нашему воздуху: в том числе, вероятно, был один газ особенного рода,

одаренный кислым и палящим началом, и он-то произвел этот пожар в воздухе, который от смешения с ним пережегся, окис и даже преобразовал свою наружность. Шимшик, может статься, рассуждал и правильно, хотя он много врал, бездельник!..

Как бы то ни было, мы скоро удостоверились, что наш прежний, сладкий, мягкий, благодетельный, целебный воздух уже не существует; что прилив новых летучих жидкостей совсем его испортил, превратив в состав безвкусный, вонючий, пьяный, едкий, разрушительный. И в этом убийственном вздухе назначено было отселе жить роду человеческому!.. Мы с трудом вдыхали его в наши груди и, вдохнув, с отвращением немедленно выдыхали вон. Мы чувствовали, как он жжет, грызет, съедает наши внутренности. В одни сутки все мы состарелись на двадцать лет. Женщины были в таком отчаянии, что рвали на себе волосы и хлипали без умолку. Мы с Шимшиком только вздохнули при мысли, что в этом воздухе жизнь человеческая должна значительно сократиться и что людям вперед не жить в нем по пяти сот и более лет*. Но эта мысль не долго могла огорчать нас: в два дня мы так привыкли к новому воздуху, что не примечали в нем разницы с прежним, а смерть уже стояла пред нами в новом и еще грознейшем виде.

В горах пронесся слух, что Внутреннее море (где ныне Киргизская и Монгольская степи**) выступило из своего ложа и переливается в другую землю; что оно уже наводнило все пространство между прежним своим берегом и нашими горами. Выходцы, занимавшие нижнюю полосу хребта, оставив свои поселения, двинулись толпами на наши, устроенные почти в половине его высоты внутри самой цепи. Они принесли нам плачевное известие, что подошва его уже кругом обложена морем, вытолкнутым из пропастей своих насильственным качанием земного шара, и что мы совершенно отделены водою

* Объяснение, данное сочинителю этой надписи касательно причины пожара в воздухе, весьма основательно. Изо всего явствует, что предпотопный воздух был составлен из газов, неизвестных в нынешнем воздухе, и что в нем не было кислотвора; или если и был кислотвор, то в другой пропорции. Я теперь знаю, из чего он был составлен, и издам о том диссертацию. Кстати, написать из Якутска в Геттингенский университет об ученых заслугах гофрата Шимшика, знаменитого предпотопного химика и астронома и предложить, чтоб его бюст был поставлен в университетской библиотеке.— *Приписка на поле рукою доктора Шпурцманна.*

** Пояснение доктора Шпурцманна.

от всего света. Тревога, беспорядок, отчаяние сделались всеобщими: можно сказать, что с той минуты началась наша мучительная кончина. Мы расстались с надеждою.

Свирепый ветер с обильным дождем и вьюгою разметал по воздуху и пропастям непрочные наши приюты и нас самих. Десять дней сряду нельзя было ни уснуть покойно, ни развести огня, чтоб согреться и сжарить кусок мяса. Все это время держались мы обеими руками за деревья, за кусты и скалы и нередко вместе с деревьями, кустами и скалами были опрокидываемы в бездны. Между тем вода не переставала подниматься, волны вторгались с шумом во все углубления и ущелья, и мы взбирались на крутые стены хребта всякий день выше и выше. Верхи утесов, уступы и площадки гор были завалены народом, сбившимся в плотные кучи, подобно роям пчел, висящим кистями на древесных ветвях. Все связи родства, дружбы, любви, знакомства были замыты: чтоб проложить себе путь или очистить уголок места, те, которые находились в середине толпы, без разбора сталкивали в пропасти стоявших по краям утесов. Оружие сверкало в руках у каждого, и сопротивление слабейшего немедленно омывалось его кровию. До тех пор мы питались мясом спасенных нами животных, особенно лошадиным, верблюжьим и лофиодонтовым; но теперь и этого у нас не стало. Ежели кто-нибудь случайно сохранил малейший запас живности, другие, напав на него шайкою, похищали у несчастного последний кусок, нередко вместе с жизнью, и потом резались между собою за исторгнутую из чужих уст пищу. Разбои, убийства, насилия, мщение ежечасно целыми тысячами уменьшали количество горного народонаселения, еще не истребленного ядом повальных болезней и неистовством стихий. Казалось, будто люди поклялись искоренить свой род собственными своими руками, предоставив всеобщей погибели природы только труд стереть с планеты следы их злобы.

Наконец, начали мы пожирать друг друга . . . .
. . . . *

Личные мои похождения не много отличались от общего рода жизни выходцев в те дни остервенения и горя. Спасаясь с одной горы на другую, я потерял своего мамонта и разлучился с прежними товарищами. С тех

* Строки, наполненные точками, означают те места надписи, которые время совсем почти изгладило и где никак нельзя было разобрать иероглифов.— *Примечание доктора Шпурцманна.*

пор блуждал я по разным толпам, к которым судьба меня присоединяла. Мы жили, как звери, вместе терзая зубами общий кусок добычи и без предварительного знакомства считая короткими знакомцами всех, принадлежащих нашему стаду, а не принадлежащих к нему — врагами, которых следовало кусать, душить и обращать себе на пищу. Но в одном из тех стад случилось со мною странное происшествие, которое дало моему быту несколько различное направление. У меня увидели десяток прекрасных, разноцветных голышей, заброшенных в наши горы каменным дождем кометы и скоро вошедших у нас в большую цену; и как я не хотел добровольно поделиться ими, то мои злосчастные ближние, удрученные несчастием, страхом и голодом, трепещущие перед лицом неизбежного рока, чуть не разорвали меня по кускам за эти милые, блестящие игрушки. Я бросил им голыши и ушел от них подальше.

Скитаясь по горам, я искал случая неприметно втереться в какую-нибудь толпу. На уступе одной горы видна была горстка народа. Она находилась в страшном замешательстве, и я поспешил пристать к ней, не обратив на себя внимания. Причиною ее тревоги было неожиданное нападение огромного тигра, который из среды ее похитил одного человека. Подобные приключения случались с нами поминутно. Львы, тигры, гиены, мегалосауры и другие колоссальные звери, вытесненные из лесов и пещер водою, поднимались на горы вместе с нами: с некоторого времени они производили в наших остатках неслыханные опустошения и уже не довольствовались нашими трупами, но искали живых людей и теплой крови. Пользуясь волнением внезапно напуганных умов, я проникнул внутрь толпы, где несколько человек, стоявших полукружием, с любопытством поглядывало на землю. На земле не было, однако, ничего особенного: женщина лежала в обмороке; подле женщины в обмороке стоял на коленях мужчина, который нежно держал ее в своих объятиях и освежал лицо ее водою. Я подошел поближе и, сложив руки назад, стал зевать на них наряду с прочими.

Как?.. возможно ли?.. Да, это она!..

— Саяна!.. Саяна!.. жена моя!!.— заревел я в исступлении среди изумленных незнакомцев и, подобно голодному тигру, прыгнул издали на занимательную чету с обнаженным кинжалом в руке. Схватив за волосы нежного обнимателя, я отвалил голову его назад и вонзил

в горло убийственное железо по самую рукоятку. Кровь брызнула из него ключом на коварную. Из свидетелей никто не сказал ни слова. Я, не дожидаясь объяснений, поднял Саяну на руки и помчался с нею по скату горы.

Я не сомневался, что умерщвленный мною мужчина был ее обольститель. Впоследствии оказалось противное. Настоящий друг Саяны был за несколько минут до моего прибытия похищен огромным тигром, а тот, кого принес я в жертву моей мести, не имел прежде никаких с нею сношений и только из учтивости к женщинам старался восстановить в ней чувство. Итак, я убил его понапрасну?.. Очень сожалею!.. Не обнимай чужой жены, если ты ей не любовник!

Я продолжал нести Саяну. Она раскрыла глаза, вздохнула с тяжелым стоном и опять их сомкнула, не узнав во мне законного своего обладателя. Спустя некоторое время она произнесла томным голосом чье-то незнакомое мне имя. В ответ на незнакомое имя я хотел было бросить ее в наполненную водою пропасть, по краю которой пробирался. Я уже хотел бросить, бросить со всей силы, с тяжестью вечного проклятия на шее — и вместо того сильно прижал ее к своему сердцу... Мне суждено быть несчастным!.. Я опять был влюблен и... опять ревнив!

Таща на плечах по острым, почти непроходимым скалам бремя своих обманутых надежд, своей страсти и своей обиды, я изнемогал, обливался кровавым потом, напрягал последние силы. Я спешил за гору, надеясь там найти уединенное место; но у самого поворота увидел всю площадку утеса, образовавшего бок горы, покрытую бурным собранием народа. Зрелище ужасное!.. Утес почти параллельно висел над ущелием, уже потопленным водою, и опасно потрясался от всякого удара волн, разражавшихся об его основание: на утесе люди в оглушительном шуме дрались, резались и терзали друг друга — за что ж? — за горстку уже бесполезной для них персти! Комета, при своем разрушении, навалила на это место слой желтого блестящего песку, о котором упомянул я выше, неизвестного на земле до ее падения; и эти безумцы, воспылав жадностью к дорогому дару, принесенному им из других миров, может быть, на погибель всему роду человеческому, кинулись на него толпами, стали копаться в нем, как дети в гряде или как гиены в людских могилах, исторгали его один у другого, ороша-

ли своею кровию, скользили в крови, падали на землю и, привставая, израненные и полураздавленные, еще с восторгом приподнимали вверх пригоршни замешанного их кровию металлического песку, которые удалось им захватить под ногами у других искателей. И я, уходя от людей, нечаянно очутился среди такого разъяренного алчностью и разбоем сборища!.. Я не знал, куда деваться. Опасаясь быть убитым как посягатель на сокровища, ниспосланные им судьбою, и не видя возможности иначе пробраться через площадку на ту сторону утеса, я стал карабкаться на гору повыше площадки, с кладом своим на руках; но едва пробежал шагов двести, как вдруг зыблющийся утес с людьми и с желтым блестящим песком обрушился в ущелие. Распрыснувшиеся с шумом пучины окропили меня и всю гору пеною. Камни, покрывающие горную стену, одним разом осунулись под моими стопами; я уронил Саяну из рук и полетел вниз, катясь по жестким обломкам гранита. Испуг и боль отняли у меня чувства . . . .

. . . .

Когда пришел я в себя, голова моя, вся заплесканная кровию, лежала на коленах у доброй моей Саяны. Она не оставила меня в опасности. Увидев, что, прокатясь значительное пространство, я уперся в низкую скалу на самом краю вновь образовавшегося провала, она благородно пожертвовала своим страхом для моего спасения, спустилась ко мне по крутому, оборванному скату, оттащила меня от пропасти и положила в удобнейшем месте. Я не помнил ни что со мною сделалось, ни где я нахожусь. Долго не смел я раскрыть глаз по причине жестокой боли от ушибов по всем членам; но мне грезилось, будто ощущаю на челе легкий, приятный щекот робких поцелуев. Вместе с дневным светом увидел я подле себя — внизу — неизмеримую бездну с гремящими волнами, по которым носилось множество человеческих трупов,— вверху, над моим лицом,— милое лицо Саяны. Я взглянул на него без любви, с простым, холодным чувством признательности, и в то самое время две крупные слезы, канувшие с ресниц преступницы, закипели на моих щеках. В жгучем их прикосновении я узнал огонь раскаяния, который плавит сердца и очищает их от обиды. Все было забыто: я опять любил в ней свою любовницу, невесту, жену... Но как она переменилась! Как состарелась в этом новом воздухе! Тому три недели она сияла всеми прелестями юности, красы, невинно-

сти, а теперь казалась она почти старушкою. Но нужды нет! она все еще нравилась мне чрезвычайно.

Как скоро усмирилась первая боль и я мог приподняться, мы опять стали карабкаться на гору и, пособляя друг другу, достигли до одного возвышенного уступа, где решились провести ночь. Усталость и открытый в сердцах наших остаток прежнего счастия ниспослали нам крепительный сон, который застиг и оставил нас в объятиях друг у друга на жесткой каменной почве. На следующее утро я совершенно был уверен в добродетели Саяны, в чистоте ее намерений и даже в том, что в течение целых трех недель нашей разлуки она никого в свете, кроме меня, не любила. Я никак не думал, чтобы подобная уверенность могла когда-нибудь забраться в мое сердце!!. Однако ж это случилось: с влюбленными мужьями, особенно во время великих переворотов в природе, иногда случаются совсем невероятные вещи.

Но пора было подумать о нашем положении. Мы были довольны нашими чувствованиями, но голодны желудком и лишены всякого сообщения с людьми. Ночью вода поднялась так высоко, что цепь Сасахаарских гор была, наконец, вполне расторгнута: все огромное их здание потонуло в бурных пучинах; по хребтам средних высот уже свободно катились волны, и только вершины высших гор еще не были поглощены странствующим в чужие земли океаном: они, посреди его, образовали множество утесистых островов, представлявших вид обширного архипелага или вид кладбища скончавшихся государств прежнего мира. Всякая вершина сделалась особою страною, и судьба, играющая нами, ведшая нас по взволнованной земле чрез отравленный воздух, чрез огонь, прямо в воду, как бы в насмешку над нашим политическим тщеславием, вздумала еще согнанные в кучу остатки нашего племени разделить на несколько десятков независимых народов, дав каждому из них в наймы на короткие сроки по куску гранита для устройства мгновенных отечеств. Мы удобно могли видеть все, что происходило на ближайших вершинах, в новых обществах, созданных этою жестокою игрою: мы видели людей слабых и людей дерзких; людей, искусно ползущих вверх на четвереньках, и людей прямых, неловких, стремглав катящихся в бездны; людей, трудящихся вотще, людей, беззаботно пользующихся чужим трудом, людей гордых, людей злых, людей несчастных и людей, истребляющих других людей. Мы видели все это собственными глазами;

и как теперь людей не стало, то можем засвидетельствовать, что они были людьми до последней минуты своего существования.

Гора, на которой находился я с Саяною, была высочайшая и самая неприступная во всем Сасахаарском хребте. Кроме птиц и нескольких заблудившихся животных, только мы вдвоем, и то случайно, остались ее жителями, когда она превратилась в остров. Одиночество не столько было нам страшно, сколько обеспокоивал нас совершенный недостаток пищи. Первые мучения голода утолили мы листьями мелкого кустарника, росшего в одной трещине, и опять были довольны собою, довольны друг другом — даже почти довольны нашею судьбою. Надежда последними своими лучами еще раз озарила наши сердца. В дарованном нам темном и пустынном уголку жизни мы с радостью увидели светлую частицу будущности, рдеющую бледным огнем древесной гнили, и при этом обманчивом свете пытались еще чертить обширные планы счастия — одного предоставленного нам счастия — умереть вместе!

Объев все листья найденного нами кустарника, мы отправились искать приюта в новом нашем отечестве и не замедлили познакомиться, по-видимому, с единственною нашею соотечественницею — гиеною. Дело само по себе было ясно: или она нас, или мы ее должны были пожрать непременно. Мой кинжал решил неравную борьбу в нашу пользу: я погрузил его в разинутую пасть гиены, когда она бросилась мне на грудь, и хищный зверь сделался нашею добычею. С каким удовольствием после кустарных листьев ели мы вязкое и вонючее его мясо! Мы кормились им восемь дней и находили, что с любовью в сердце сладка и сырая гиенина.

Отыскав почти у самой вершины горы большую удобную пещеру, ту самую, на стенах которой черчу теперь эти иероглифы, мы избрали ее нашим жилищем. Дожди с сильным ново-южным ветром продолжались без умолку, и вода все еще поднималась, всякий день поглощая по нескольку горных вершин, так, что на шестое утро из всего архипелага оставалось не более пяти островов, значительно уменьшенных в своем объеме. На седьмой день ветер переменился и подул с нового севера, прежнего запада нашего. Спустя несколько часов все море покрылось бесчисленным множеством волнуемых на поверхности воды странного вида предметов: темных, продолговатых, круглых, походивших издали на корот-

кие бревна черного дерева. Любопытство заставило нас выйти из пещеры, чтоб приглядеться к этой плавающей туче. К крайнему изумлению, в этих бревнах узнали мы нашу блистательную армию, ходившую войною на негров, и черную нагую рать нашего врага, обе заодно поднятые на волны, вероятно, во время сражения. Море выбросило на наш берег несколько длинных пик, бывших в употреблении у негров (Новой Земли). Я взял одну из них и притащил к себе прекрасный плоский ящик, плававший подле самой горы. Разломав его о скалу, мы нашли в нем только высокопарное слово, сочиненное накануне битвы для воспламенения храбрости воинов. Мы бросили высокопарное слово в море. Между тем ветер подул с другой стороны, и обе армии, переменив черту движения, понеслись на восток.

Наконец, последний остров потонул в море, и мы догрызали последнюю кость гиены. Одна лишь нами обитаемая вершина еще торчала из вздутых пучин. Итак, мы вдвоем остались последними жителями стран, завоеванных океаном у человека!.. Но берег моря уже был в пятидесяти саженях от нашей пещеры, и мы хладнокровно рассчитывали, сколько часов еще остается нам, законным наследникам прав нашего рода, господствовать над мятежною природою. Признаюсь . . . .
. . . .

Стена IV

1

ПО ПРАВУЮ СТОРОНУ ВХОДА

. . . .
. . . . . . потоп наскучил мне ужасно. Сидя голодные в пещере, от нечего делать мы начали ссориться. Я доказывал Саяне, что она меня не любит и никогда не любила; она упрекала меня в ревности, недоверчивости, грубости и многих других уголовных в супружестве преступлениях. Я молил Солнце и Луну, чтоб это скорей чем-нибудь да кончилось. . . . .
. . . .
. . . . . . увидели мы заглядывающую в отверстие пещеры длинную безобразную змеиную голову, вертящуюся на весьма высокой и прямой, как пень, шее. Она держала в пасти человеческий труп и с любопытством смотрела на нас большими, в пядень, глазами, в которых

сверкал страшный зеленый огонь. Мы вдруг перестали ссориться. Саяна спряталась в угол; я вскочил на ноги, схватил пику и приготовился к защите. Но голова скрылась за камнями, накопленными у входа в пещеру. Мы ободрились, подошли к отверстию и с ужасом открыли пробирающегося к нам огромного плезиосаура, длиною по крайней мере, шагов в тридцать, на четырех чрезвычайно высоких ногах, с коротким, но толстым хвостом и двумя большими кожаными крыльями, стоящими в виде двух трехугольных парусов на покрытой плотною чешуею спине. Грозное чудовище, без сомнения, выгнанное водой из своего жилища, находившегося где-нибудь на той же горе, уронив труп из пасти, карабкалось по шатким камням с очевидным намерением завладеть нашим убежищем и нас самих принести в жертву своей лютости. Я почувствовал невозможность сопротивляться ему оружием; но тяжелые неповоротливые его движения по съеженной набросанными скалами и почти отвесной поверхности внушили мне другое средство к отпору При пособии Саяны я обрушил на него большой камень лежавший весьма непрочно на пороге пещеры. Столкнутая с места глыба увлекла за собою множество других камней под ноги плезиосауру, и опрокинутый ими дракон скатился вместе с ними в море.

Мы нежно поцеловались с Саяною, поздравляя друг друга с избавлением от такой опасности, и снова были хорошими приятелями; мы даже произнесли торжественный обет никогда более не ссориться.

Освободясь от незваного гостя, мы подошли к трупу который он у нас оставил в память своего посещения. Представьте себе наше изумление: мы узнали в этом трупе почтеннейшего Шимшика! Он, видно, погиб очень недавно, ибо тело его было еще совершенно свежо. Сказав несколько сострадательных слов об его кончине мы решились голод рвал наши внутренности — мы решились его съесть. Я взял астронома за ногу и втащил его в пещеру.

Этот человек нарочно был создан для моего несчастия!.. Едва приступил я к осмотру худой его туши, чтоб избрать часть, годную на пищу, как вдруг мы вспомнили о приключении под кроватью, где он, наблюдая затмение, расстроил первые порывы нашего счастия, — и опять рассорились. Саяна воспользовалась этим предлогом чтоб поразить меня упреками. Ей нужен был только предлог, ибо она уже скучала со мною. Одиночество

всегда было для нее убийственно, и потоп казался бы ей очень-очень милым, очень веселым, если б могла она утонуть в хорошем обществе, в блистательном кругу угодников ее пола, которые вежливо подали б ей руку в желтой перчатке, чтоб ловче соскочить в бездну. Я проникал насквозь ее мысли и желания и насказал ей кучу жестких истин, от которых она упала в обморок. Какой характер!.. Мучить меня капризами даже во время потопа!.. Как будто не довольно перенес я от предпотопных капризов! А всему этому причиною этот проклятый Шимшик, который и по смерти не дает мне покоя!.. С досады, с гнева, бешенства, отчаяния я схватил крошечного астронома за ноги и швырнул им в море. Пропади ты, несчастный педант!.. Лучше умереть с голоду, чем портить себе желудок худою школярщиною, просяклою чернильными спорами.

Я пытался, однако ж, доставить моей подруге облегчение, но она отринула все мои услуги. Пришед в себя, она плакала и не говорила со мною. Я поклялся вперед не мешать ее горести. Мы поворотились друг к другу спиною и так провели двое суток. Приятный образ провождения времени в виду довершающегося потопа!.. Между тем голод повергал меня в исступление: я кусал самого себя.

— Саяна!..— вскричал я, срываясь с камня, на котором сидел, погруженный в печальной думе.— Саяна!.. посмотри! вода уже потопила вход в пещеру.

Она оборотилась к отверстию и смотрела бесчувственными, окаменелыми глазами.

— Видишь ли эту воду, Саяна?..— примолвил я, протягивая к ней руку,— то наш гроб!..

Она все еще смотрела страшно, неподвижно, молча и как будто ничего не видя.

— Ты не отвечаешь, Саяна?..

Она закричала сумасшедшим голосом, бросилась в мои объятия и сильно, сильно прижала меня к своей груди. Это судорожное пожатие продолжалось несколько минут и ослабело одним разом. Голова ее упала навзничь на мою руку; я с умилением погрузил взор свой в ее глаза и долго не сводил его с них. Я видел внутри ее томные движения некогда пылкой страсти самолюбия; видел сквозь сухое стекло глаз несчастной, как в душе ее, подобно волшебным теням на полотне, проходили туманные образы всех по порядку прежних ее обожателей. Вдруг мне показалось, будто в том числе промелькнул

и мой образ. Слезы прыснули у меня дождем: несколько из них упало на ее уста, и она с жадностью проглотила их, чтоб утолить свой голод. Бедная Саяна!.. Я спаял мои уста с ее устами искренним, сердечным поцелуем и несколько времени оставался без памяти в этом положении. Когда я их отторгнул, она была уже холодна, как мрамор... Она уже не существовала!

Я рыдал целый день над ее трупом. Несчастная Саяна!.. Кто препятствовал тебе умереть счастливою на лоне истинной любви?.. Ты не знала этой нежной, роскошной страсти!.. Нет, ты ее не знала и родилась женщиною только из тщеславия!..

Я, однако ж, и тогда еще обожал ее, как в то время, когда произносили мы первую клятву любить друг друга до гробовой доски. Я осыпал тело ее страстными поцелуями... Вдруг почувствовал я в себе жгучий припадок голода и в остервенении запустил алчные зубы в белое, мягкое тело, которое осыпал поцелуями... Но я опомнился и с ужасом отскочил к стене . . . .

2

ПО ЛЕВУЮ СТОРОНУ ВХОДА

Вода остановилась на одной точке и выше не поднимается. Я съел кокетку! . . . .
. . . .

15 числа шестой луны. Вода значительно упала. Несколько горных вершин опять появилось из моря в виде островков . . . .
. . . .

19 числа. Море при ново-северном ветре вчера покрылось частыми льдинами . . . .
. . . .

26 числа. Сегодня окончил я вырезывать кинжалом на стенах этой пещеры историю моих похождений.

28 числа. Кругом образуются ледяные горы . . .
. . . .

30 числа. Стужа усиливается . . .
. . . .

Постскрипт. Я мерзну, умира...»

Этими словами прекращается длинная иероглифическая надпись знаменитой пещеры, именуемой Писанною Комнатою, и мы тем кончили наш перевод. Мы трудились

над ним шесть дней с утра до вечера, израсходовали пуд свечей и две дести бумаги, выкурили и вынюхали пропасть табаку, измучились, устали, чуть не захворали; но, наконец, кончили. Я соскочил с лесов, доктор встал из-за столика, и мы сошлись на средине пещеры. Он держал в руках два окаменелые человеческие ребра и звонил в них в знак радости, говоря:

— Знаете ли, барон, что мы совершили великий, удивительный подвиг? Мы теперь бессмертны и можем умереть хоть сегодня. Вот и кости предпотопной четы... Эта кость женина: в том нет ни малейшего сомнения. Посмотрите, как она звонка, когда ударишь в нее мужниною костью!..

Почтенный Шпурцманн был в беспредельном восхищении от костей, от пещеры, от надписи и ее перевода. Я одушевлялся тем же чувством, соображая вообще необыкновенную важность открытий, которые судьба позволила нам сделать в самой отдаленной и весьма редко приступной стране Севера, но не совсем был доволен слогом перевода. Я намекнул о необходимости исправить его общими силами в Якутске по правилам риторики профессора Толмачева и подсыпать в него несколько пудов предпотопных местоимений *сей* и *оный*, без которых у нас нет ни счастия, ни крючка, ни изящной прозы.

— Сохрани бог! — воскликнул доктор,— не надобно переменять ни одной буквы. Это слог настоящий иероглифический, подлинно египетский.

— По крайней мере, позвольте прибавить десяток ископаемых окаменелых прилагательных: *вышеупомянутый*, *реченный* и так далее: они удивительно облагораживают рассказ и делают его достойным уст думного дьяка.

Шпурцманн и на то не согласился.

Я принужден был дать ему слово, что без его ведома не коснусь пером ни одной строки этого перевода.

— Но что вы думаете о самом содержании надписи? — спросил я.

— Я думаю,— отвечал он важно,— что оно драгоценно для наук и для всего просвещенного света. Оно объясняет и доказывает множество любопытных и поныне не решенных вопросов. Во-первых, имеете вы в нем верное, ясное, подлинное, доселе единственное наставление о том, что происходит в потоп, как должно производить его

и чего избегать в подобном случае. Теперь мы с вами знаем, что нет ничего опаснее...

— Как жениться перед самым потопом! — подхватил я.

— Нет! — сказал доктор,— как быть влюбленным в предпотопную или ископаемую жену, uxor fossilis, seu antediluviana. Это удивительный род женщин!.. Какие неслыханные кокетки!.. Признаюсь вам, что по возвращении в Германию я имел намерение жениться на одной молодой, прекрасной девице, которую давно люблю; но теперь — сохрани господи! — и думать о том не стану.

— Чего же вы боитесь? — возразил я.— Нынешние жены совсем непохожи на предпотопных.

— Как, чего я боюсь?..— вскричал он.— А если, женившись, я буду влюблен в свою жену, и вдруг комета упадет на землю, и произойдет потоп?.. Ведь тогда моя жена, как бы она добродетельна ни была, по необходимости сделается предпотопною?

— Правда! — сказал я, улыбаясь.— Моя проницательность не простиралась так далеко, и я вовсе не предусматривал подобного случая.

— А, любезный барон!..— примолвил мой товарищ,— ученый человек, то есть ученый муж, должен все предусматривать и всего бояться. Зная зоологию и сравнительную анатомию, я в полной мере постигаю несчастное положение сочинителя этой надписи. Известно, что до потопа все, что существовало на свете, было вдвое, втрое, вдесятеро огромнее нынешнего; на земле водились животные, именно мегатерионы, которых одно ребро было толще и длиннее мачты, что на нашем судне. Возьмите же мегатерионово ребро за основание и представьте себе все прочее в природе по этой пропорции: тогда увидите, какие страшные, колоссальные, исполинские долженствовали быть предпотопные капризы и предпотопные неверности и... и... и все предпотопное. Но возвратимся к надписи. Во-вторых, эта надпись подтверждает вполне и самым блистательным образом все ныне принятые теории о великих переворотах земного шара. В-третьих, она ясно доказывает, что египетская образованность есть самая древнейшая в мире и некогда распространялась по всей почти земле, в особенности же процветала в Сибири; что многие науки, как-то: астрономия, химия, физика и так далее,— уже тогда, то есть до потопа, находились в здешних странах в степени совершенства;

что предпотопные или ископаемые люди были очень умны и учены, но большие плуты и прочая, и прочая. Все это удивительно как объясняется содержанием этой надписи. Но я не утаю от вас, барон, одного сомнения, которое...

— Какого сомнения? — спросил я с беспокойством, полагая, что он сомневается в основательности моих иероглифических познаний.

— Того, что это не есть описание всеобщего потопа.

— О! в этом я совершенно согласен с вами.

— Это, по моему мнению, только история одного из частных потопов, которых, как известно, было несколько в разных частях света.

— И я так думаю.

— Словом, это история сибирского домашнего потопа.

— И я так думаю.

— За всем тем, это необыкновенная история!..

— И я так думаю.

Мы приказали промышленникам тотчас убирать лес и кости и готовиться к немедленному отплытию в море, ибо у нас все уже было объяснено, решено и кончено.

Чтоб не оставить Медвежьего острова без приятного в будущем времени воспоминания, я велел еще принести в пещеру две последние бутылки шампанского, купленного мною в Якутске, и мы распили их вдвоем в Писанной Комнате.

Первый тост был единогласно условлен нами в честь ученых путешествий, которым род человеческий обязан столь многими полезными открытиями. Затем пошли другие.

— Теперь выпьем за здоровье ученой, доброй и трудолюбивой Германии,— сказал я моему товарищу, наливая вторую рюмку.

— Ну, а теперь за здоровье великой, могущественной, гостеприимной России,— сказал мне вежливый товарищ, опять прибегая к бутылке.

— Да здравствуют потопы! — воскликнул я.

— Да здравствуют иероглифы! — воскликнул доктор.

— Да процветают сравнительная анатомия и все умные теории! — вскричал я.

— Да процветают все ученые исследователи, Медвежий остров и белые медведи! — вскричал доктор.

— Многая лета мегалосаурам, мегалониксам, мегалотерионам, всем мегало-скотам и мегало-животным!!.— возопил я при осьмой рюмке.

— Всем рыжим мамонтам, мастодонтам, переводчикам

и египтологам многая лета!!.— возопил полупьяный натуралист при девятой.

— Виват Шабахубосаар!!!— заревели мы оба вместе.

— Виват прекрасная Саяна!!!

— Ура предпотопные кокетки!!!!

— Ура Шимшик!.. Ископаемый философии доктор, ура!.. ура!!!!!

Мы поставили порожние бутылки и рюмки посреди пещеры и отправились на берег. Я сполз с горы кое-как без чужой помощи; Шпурцманна промышленники принесли вместе с шестами. Ученое путешествие совершилось по всем правилам.

Мы горели нетерпением как можно скорее прибыть в Европу с нашею надписью, чтоб наслаждаться изумлением ученого света и читать выспренние похвалы нам во всех журналах; но, по несчастию, сильный противный ветер препятствовал выйти из бухты, и мы пробыли в ней еще трое суток, скучая смертельно без дела и без шампанского. На четвертое утро увидели мы судно, плывущее к нам по направлению от Малого острова.

— Не Иван ли Антонович это? — воскликнули мы оба в один голос.— Уж, наверное, он! Какой он любезный!..

— Вот было бы приятно повидаться с ним в этом месте, на поприще наших бессмертных открытий. Не правда ли, доктор?

— Jawohl*! мы могли бы сообщить ему много полезных для него сведений.

Около полудня судно вошло в бухту. В самом деле, это был он — Иван Антонович Страбинских с своею пробирною иглою. Как хозяева острова в отсутствие белых медведей, мы встретили его завтраком на берегу. Выпив две предварительных рюмки водки и закусив хлебом, обмакнутым в самом источнике соли — солонке, он спросил нас, довольны ли мы нашей экспедициею на Медвежий остров?

— О! как нельзя более! — воскликнул мой товарищ Шпурцманн.— Мы собрали обильную жатву самых новых и важных для наук фактов. А вы, Иван Антонович, что хорошего сделали в устье Лены?

— Я исполнил мое поручение,— отвечал он скромно,— и надеюсь, что мое благосклонное начальство уважит мои труды. Я обозрел почти всю страну и нашел следы золотого песку...

* Точно так! *(нем.)*

— Я знал еще до прибытия вашего сюда, что вы нашли там золотоносный песок,— сказал доктор с торжественною улыбкой.

— Как же вы могли знать это? — спросил Иван Антонович.

— Уж это мне известно!— примолвил доктор.— Поищите-ка хорошенько, и вы найдете там еще алмазы, яхонты, изумруды и многие другие диковинки. Я не только знаю, что там есть эти камни и золотой песок, но даже могу сказать вам с достоверностью, кто их положил туда и в котором году.

— Ради бога, скажите мне это! — вскричал Иван Антонович с крайним любопытством.— Я сию минуту пошлю рапорт о том по команде.

— Извольте! Их навалила туда комета при своем обрушении,— важно объявил мой приятель.

— Комета-с?..— возразил изумленный обербергпробирмейстер 7-го класса.— Какая комета?

— Да, да! комета! — подтвердил он,— комета, упавшая на землю с своим ядром и атмосферою в 11 879 году, в 17-й день пятой луны, в пятом часу пополудни.

— В 11 879 году, изволите вы говорить?..— примолвил чиновник, выпучив огромные глаза.— Какой это эры; сиречь, по какому летосчислению?

— Это было еще до потопа,— сказал равнодушно доктор,— эры барабинской.

— Эры барабинской! — повторил Иван Антонович в совершенном смятении от такого града ученых фактов.— Да!.. знаю!.. Это у нас, в Сибири, называется Барабинскою степью.

Мы захохотали. Торжествующий немецкий Gelehrter, сжалясь над невежеством почтенного сибиряка, объяснил ему с благосклонною учтивостью, что нынешняя Барабинская степь, в которой живут буряты и тунгузы, есть, по всей вероятности, только остаток славной, богатой, просвещенной предпотопной империи, называвшейся Барабиею, где люди ездили на мамонтах и мастодонтах, кушали котлеты из аноплотерионов, сосиски из антракотерионов, жаркое из лофиодонтов с солеными бананами вместо огурцов и жили по пяти сот лет и более. Иван Антонович не мог отвечать на то ни слова и выпил еще раз водки.

— Знаете ли, любезный Иван Антонович,— присовокупил Шпурцманн, лукаво посматривая на меня,— что некогда в Якутской области по всем канцеляриям

писали египетскими иероглифами так же ловко и бойко, как теперь гражданскою грамотою? Вы ничего о том не слыхали?..

— Не случалось! — сказал чиновник.

— А мы нашли египетские иероглифы даже на этом острову,— продолжал он.— Все стены Писанной Комнаты покрыты ими сверху донизу. Вы не верите?..

— Верю.

— Не угодно ли вам пойти с нами в пещеру полюбоваться на наши прекрасные открытия?

— С удовольствием.

— Вы верно никогда не видали египетских иероглифов!..

— Как-то не приводилось их видеть.

— Ну так теперь приведется, и вы удостоверитесь собственными глазами в их существовании в северных странах Сибири.

Мы встали и начали сбираться в поход.

— Иван Антонович! — воскликнули мы еще, оба в одно слово, подтрунивая над его недоверчивостью,— не забудьте, ради бога, вашего оселка и пробирной иглы!..

— Они у меня всегда с собою, в кармане,— примолвил он спокойно. Мы пошли.

Прибыв в пещеру, мы вдвоем остановились на средине ее и пустили его одного осматривать стены. Он обошел всю комнату, придвинул нос к каждой стене, привздернул голову вверх и обозрел со вниманием свод и опять принялся за стены. Мы читали в его лице изумление, соединенное с какою-то минералогическою радостью, и толкали друг друга, с коварным удовольствием наслаждаясь его впечатлениями. Он поправил свечу в фонаре и еще раз обошел кругом комнаты. Мы все молчали.

— Да!.. Это очень любопытно!..— воскликнул, наконец, почтенный обербергпробирмейстер, колупая пальцем в стене.— Но где же иероглифы?..

— Как, где иероглифы?..— возразили мы с доктором,— неужели вы их не видите!.. Вот они!.. вот!.. и вот!.. Все стены исчерчены ими.

— Будто это иероглифы?..— сказал протяжным голосом удивленный Иван Антонович.— Это кристаллизация сталагмита, называемого у нас, по минералогии, «глифическим» или «живописным».

— Что?.. как?.. сталагмита?..— вскричали мы с жаром,— это невозможно!..

— Могу вас уверить,— примолвил он хладнокровно,— что это сталагмит, и сталагмит очень редкий. Он находится только в странах, приближенных к полюсу, и первоначально был открыт в одной пещере на острове Гренландии. Потом нашли его в пещерах Калифорнии. Действием сильного холода, обыкновенно сопровождающего его кристаллизацию, он рисуется по стенам пещер разными странными узорами, являющими подобие крестов, треугольников, полукружий, шаров, линий, звезд, зигзагов и других фантастических фигур, в числе которых, при небольшом пособии воображения, можно даже отличить довольно естественные представления многих предметов домашней утвари, цветов, растений, птиц и животных. В этом состоянии, по словам Гайленда, он действительно напоминает собою египетские иероглифы, и потому именно получил от минерологов прозвание «глифического» или «живописного». В Гренландии долго почитали его за рунические надписи, а в Калифорнии туземцы и теперь уверены, что в узорах этого минерала заключаются таинственные заветы их богов. Гилль, путешествовавший в Северной Америке, срисовал целую стену одной пещеры, покрытой узорчатою кристаллизациею сталагмита, чтоб дать читателям понятие об этой удивительной игре природы. Я покажу вам его сочинение, и вы сами убедитесь, что это не что иное, как сталагмит, особенный род капельника, замеченного путешественниками в известной пещере острова Пароса и в египетских гротах Самун. Кристаллизация полярных снегов представляет еще удивительнейшее явление в рассуждении разнообразности фигур и непостижимого искусства их рисунка...

Мы были разражены в прах этим нечаянным извержением каменной учености горного чиновника. Мой приятель Шпурцманн слушал его в настоящем остолбенении; и когда Иван Антонович кончил свою жестокую диссертацию, он только произнес длинное в пол-аршина: Ja!!! Я стал насвистывать мою любимую арию:

Чем тебя я огорчила?..

Обербергпробирмейстер 7-го класса немедленно вынул из кармана свои инструменты и начал ломать наши иероглифы, говоря, что ему очень приятно найти здесь этот негодный, изменнический, бессовестный минерал, ибо у нас в России, даже в Петербурге, доселе не было никаких образцов сталагмита живописного, за присылку

которых он несомненно получит по команде лестную благодарность. Во время этой работы мы с доктором философии Шпурцманном, оба разочарованные очень неприятным образом, стояли в двух противоположных концах пещеры и страшно смотрели в глаза друг другу, не смея взаимно сближаться, чтобы в первом порыве гнева, негодования, досады, по неосторожности, не проглотить один другого.

— Барон?..— сказал он.

— Что такое?..— сказал я.

— Как же вы переводили эти иероглифы?

— Я переводил их по Шампольону: всякой иероглиф есть или буква, или метафорическая фигура, или буква и фигура, или ни фигура, ни буква, а простое украшение почерка. Ежели смысл не выходит по буквам, то...

— И слушать не хочу такой теории чтения!..— воскликнул натуралист.— Это насмешка над здравым смыслом. Вы меня обманули!

— Милостивый государь! не говорите мне этого. Напротив, вы меня обманули. Кто из нас первый сказал, что это иероглифы?.. Кто состряпал теорию для объяснения того, каким образом египетские иероглифы зашли на Медвежий остров?.. По милости вашей, я даром просидел шесть дней на лесах, потерял время и труд, перевел с таким тщанием то, что не стоило даже внимания...

— Я сказал, что это иероглифы, потому, что вы вскружили мне голову своим Шампольоном,— возразил доктор.

— А я увидел в них полную историю потопа, потому что вы вскружили мне голову своими теориями о великих переворотах земного шара,— возразил я.

— Но желал бы я знать,— примолвил он,— каким образом вывели вы смысл, переводя простую игру природы!

На что естественным образом отвечал я доктору:

— Не моя же вина, ежели природа играет так, что из ее глупых шуток выходит, по грамматике Шампольона, очень порядочный смысл!

— Так и быть! — воскликнул доктор.— Но я скажу вам откровенно, что когда вы диктовали мне свой перевод, я не верил вам ни одного слова. Я тотчас приметил, что в вашей сказке кроется пропасть невероятностей, несообразностей...

— Однако ж вы восхищались ими, пока они подтверждали вашу теорию,— подхватил я.

— Я?..— вскричал доктор.— Отнюдь нет!

— А кто прибавил к тексту моего перевода разные пояснения и выноски?..— спросил я гневно.— Вы, милостивый государь мой, даже хотели предложить гофрата Шимшика в ископаемые почетные члены Геттингенского университета.

— Барон!.. не угодно ли табачку!

— Я табаку не нюхаю.

— По крайней мере, отдайте мне ваш перевод: он писан весь моею рукою.

— Не отдам. Я его напечатаю, и с вашими примечаниями.

— Фуй, барон!..— сказал Шпурцманн с неподражаемою важностью,— подобного рода шутки не водятся между такими известными, как мы, учеными.

На другой день мы оставили Медвежий остров и возвратились в устье Лены, а оттуда в Якутск. Плавание наше было самое несчастливое: мы претерпели сильную бурю и все время бились с льдинами, покрывавшими море и Лену. Я отморозил себе нос.

Отделавшись от Шпурцманна, я поклялся не предпринимать более ученых путешествий.

IV

СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ГОРУ ЭТНУ

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был шпанский король Барон Брамбеус...

«История о храбром рыцаре Францыле Венецияне и о прекрасной его супруге королеве Ренцывене»

С тех пор, как прибыл в Италию, я не видал ничего несноснее!.. Но полно рассуждать об антиквариях.

Итак, я приехал в Катану: то было в половине мая (1829). Я был очень рассеян и сам не знал наверное, зачем туда приехал. Надобно было справиться с моим дневником. Хорошо, что я исправно вел свои дневные записки: не то, в таком вихре приятных ощущений, забудешь о лучших своих намерениях. Я стал рассматривать записки моего путешествия по Италии.

«Венеция!.. Милан!..»

Это я знаю: Австрия в итальянском переводе.

«Парма. Я приехал сюда 15 октября и в тот же вечер влюбился в дочь моего трактирщика. Она прелестна, ловка, умна, чувствительна, добродетельнейшая из трактирщиц, и проч., и проч...»

Это старые дела. Я тогда ехал прямо из Якутска и еще не знал женского сердца. Посмотрим, что далее.

«Флоренция. Я обозрел все церкви и гульбища. Какое множество прекрасных женщин! Какие глаза!.. Я влюблен в половину города...»

Нет, и это слишком старо. Вот нечто новое.

«19 декабря. Я начинаю короче узнавать Италию. Я получил записку на розовой бумаге от моей прелестной Болоньезки: путешествие мое становится весьма занимательным...»

«20 декабря. Я счастлив!.. и проч.»

«21 декабря. Я ранен кинжалом в бок, и проч. ...»

«26 декабря. Я видел папу, и проч. ...»

«1 января. Я смеялся, как потомки Брута и Катона надували нашего графа*** ова поддельными антиками, и проч. ...»

«3 февраля. Я обожаю бесподобную синьору Челлини, и проч. ...»

«25 февраля. Я сам купил чудесную голову Нерона, и проч. ...»

«2 марта. Я женился, в двух станциях от Неаполя, на божественной синьоре Патапуччи...»

Черт побери!.. Русские всегда женятся, не доехав до последней станции. Как же это случилось,— спросил я самого себя,— что я забыл о своей женитьбе?.. Оно, однако ж, должно быть так, что я женился: я вел свои путевые записки с чрезвычайною аккуратностью!.. Только синьора Патапуччи названа здесь божественною?.. Это никак описка. Или она в то время казалась мне такою?.. В южных климатах глаза так часто бывают подвержены оптическим обманам!.. Ну, теперь знаю, зачем я приехал в Катану. Мне было очень жарко в Неаполе и в моем супружестве: я задыхался от зноя и от домашнего счастия и желал прохладиться на Этне. В южной Италии нет другого прохладного места, кроме этой огнедышащей горы: спросите у кого вам угодно!

Я немедленно вспомнил об всех моих действиях и планах. Моя жена, синьора баронесса Брамбеус, осталась в Мессине, где род жизни и общество весьма ей понравились, а я продолжал путешествие в окрестностях горы Этны. На пути я встретил такое множество нежных, очарователь-

ных, огненных глаз, что растерял свои мысли и забыл даже о жене и об Этне. По-настоящему, не следовало бы дозволять огненным глазам жить подле дороги, по которой проезжают женатые люди. Это большое злоупотребление, и беспорядок этого рода особенно примечателен в Сицилии. У нас он не существует.

Я не принуждал моей баронессы сопутствовать мне на Этну: гора такая высокая!.. а она такая упрямая!.. и такая ревнивая!.. Как я уже приобрел некоторую опытность, то вижу, что кто хочет путешествовать с пользою для своего ума и сердца, тот не должен ни связываться с немецкими учеными, ни брать с собою жену. Для ума я странствовал со Шпурцманном по Сибири, среди великолепнейшей в свете природы и достопримечательнейших костей в природе, и мы только наделали глупостей. Я был с женою в Неаполе, где столько находится предметов для всякого рода сердечных упражнений, и она, в бешенстве, дважды уколола меня булавкою до крови за то, что я восхищался прекрасным. То ли дело блуждать одному по роскошной Сицилии, у подошвы страшного волкана, среди живописных видов и смазливых сицильянок!.. Я здесь не отрываю мамонтовых клыков, ни мегатерионовых челюстей в четырнадцать аршин длиною, не наблюдаю верхом на хромой лошади любопытных нравов бурят и тунгузов; но зато еду в коляске по лаве, мчусь по плодородной почве, переложенной изящными скелетами прекраснейших женщин в мире, и обмениваюсь улыбками с розовыми ротиками, сладко скалящими жемчужные зубки, стоя на холодном прахе своих, некогда столь же пламенных и столь же розовых, прабабушек. Какой неисчерпаемый предмет размышлений!.. Вот где можно образовать свое сердце и потом возвратить его жене доведенным до совершенства.

И как теперь никто мне не мешает, никто не сбивает меня с толку теориями великих переворотов земного шара и не колет в бок булавкою за приветствия пригожим его обитательницам, то я опишу вам огнедышащую гору Этну, на которую восходил с одним шведом; но опишу с условием, что вы прочитаете меня до конца, хотя бы вам было и очень скучно, что будете крепко держать книгу, чтоб не проглотить ее, зевая, что будете спать и читать, храпеть и читать со вниманием. Это необходимо для успехов нашей словесности и для поощрения хороших писателей.

Я повстречался с моим северным приятелем, шведом, в Катане. Граф Б***, финляндский уроженец, был знаком

мне еще по Петербургу, где, помнится, однажды обыграл я его в карты. Одним словом, мы были с ним старые, испытанные друзья. Он ехал на Этну, чтоб немножко разогреть свое воображение; я — чтоб прохладить мое сердце: мы очевидно стремились к одной и той же цели и потому условились отправиться туда вместе. Граф путешествовал с какою-то премиленькою синьорою, которая не знала другого языка, кроме итальянского, и которую, однако ж, называл он своею сестрою. Это могло быть правда: финны обыкновенно бывают в близком родстве с итальянцами.

Мы наняли лошаков и 20 мая пустились в путь по дороге в Николози. Этна уподобляется колоссальному шатру, раскинутому на всей почти поверхности острова, и оканчивается высоким конусом, из которого восстают два острые рога, образующие две его вершины. Между этими рогами лежит пасть волкана, круглый глубокий бассейн, похожий на огромную яму, на дне которой находятся жерла, испускающие вечный дым и пламя. По несчастию, во время нашего посещения все жерла оставались в бездействии, и жители Катаны уже несколько недель сряду не примечали ни малейшего следа дыму, что у них почитается признаком скорого и сильного извержения. Мы очень сожалели, что не увидим, каким образом дым струится внутри пасти.

Этна, как известно, принадлежит к числу высочайших гор в Европе, имея прямой высоты над поверхностью моря около трех верст или 1500 сажен. Она разделяется на четыре полосы: плодородную, лесистую, бесплодную и огненную, или конус, составленный из пепла и скорий. Но и это все известно. Плодородная почва, на которой родятся апельсины, лимоны, виноград, винные ягоды и пламенные сердца, начинается в Катане: мы проехали ее в три часа, и около полудня прибыли в грязный, но живописный городок Николози, лежащий уже на ее рубеже.

Мой товарищ сделал в плодородной полосе пропасть любопытных наблюдений; я не приметил в ней ничего особенного, кроме прелестной ножки у нашей сопутницы. Ножка поистине была достойна примечания.

В Николози мы взяли в проводники известного Антонио, одного из опытнейших путеводителей на Этну. Граф Б***, запасшийся в Катане рекомендательным письмом к дону Джемелларо, немедленно отправился к знаменитому натуралисту. Он всячески хотел утащить меня с собою, но я произнес клятву в Якутске никогда более не иметь дела с натуралистами и предпочел остаться в трактире с мнимою

его сестрицею. Тогда как он рассуждал о жерле Этны с итальянским любителем природы, мы с синьорою рассуждали о женском сердце. Разговор коснулся различных родов любви, употребительных в сем свете: я приметил, что она обладает обширными познаниями!

Не многого мне стоило искусно осведомиться обо всем, касающемся до моей ученой и прекрасной собеседницы. Она была родом генуэзка, даже очень хорошей фамилии, и оставила мужа, чтоб иметь удовольствие путешествовать с моим белокурым приятелем. Итак, финны,— подумал я себе,— уже предпринимают сентиментальные путешествия на огнедышащие горы!.. Постой же, любезный! Финляндия навсегда соединена с Россиею тесными, неразрывными узами: все наши дела и чувства должны быть общи. Сердце, покоренное чухонским оружием, в известной части принадлежит и мне, как единственному представителю России на плодородной полосе волкана.

— Граф уверяет меня,— сказала Джюльетта, улыбаясь,— что Финляндия по своей красоте может быть названа второю Италиею!..

— Без сомнения! — воскликнул я серьезно.— Это настоящая ледовитая Италия. Там даже есть своя Этна, гораздо величественнее здешней, с огромным жерлом в виде кренделя, которое вместо огня и дыму извергает вечный столб снега.

Сеньора ужаснулась.

— Но вы, по крайней мере, согласитесь,— примолвила она,— что шведский язык очень мил и приятен для слуха?..

— И вы, сударыня, верите,— отвечал я с жаром,— что на свете есть шведский язык?.. Шведы чрезвычайно самолюбивы, боятся, чтобы в Европе не называли их чухонцами, и всеми мерами стараются дать уразуметь другим народам, будто они совсем другого происхождения и даже имеют особый язык. Но я, долго живя в Петербурге, убедился, что так называемый шведский язык есть только мистификация. В присутствии иностранца шведы нарочно произносят нараспев разные произвольные звуки, сопровождая их жестами, чтоб заставить его подумать, что они разговаривают между собою на своем отечественном языке, и признать, что их язык очень сладок и благозвучен; но, полепетав таким образом несколько времени, они принуждены удалиться от вас к окошку и там объяснить по-чухонски, что такое хотели сказать друг другу.

Синьора Джюльетта вскричала, что она никогда не ду-

мала, чтобы шведы были такие обманщики, и что после этого итальянки не должны верить им ни в одном слове. Я подтвердил справедливость ее заключения, наблюдая с удовольствием, как белокурый образ моего приятеля теснился в ее сердце, чтоб очистить уголок места для дорогого гостя. Мы долго смеялись и шутили. В заключении она объявила мне с улыбкою, что по соображении всех обстоятельств Финляндия — край скучный и несносный, и что в России должно быть гораздо теплее и веселее.

Граф Б*** возвратился. Синьора надулась.

Все путешествия на Этну, ученые и сентиментальные, совершаются ночью. Итак, мы оставили Николози по закате солнца, взяв с собою десять пар новых башмаков и тридцать бутылок старого вина. Проехав небольшое пространство, заросшее кактусом и можжевельником, мы вступили в лес, состоящий из дубов, платанов и каштановых деревьев непомерной высоты и толщины. Многие из них, без сомнения, современны рождению самой Этны. Почва, на которой они гордо прозябают, презирая бушующие над ними огненные бури, прорыта глубокими и опасными оврагами по всем направлениям; слетевшие сверху потоки пламенеющей лавы вылили на ней в разные веки из расплавленного камня множество странных, черных, искривленных, уродливых скал и утесов или внезапно застыли сами среди сожженных и опрокинутых дерев, удержав навсегда вид грозных, неподвижных волн. Луна, неразлучный карманный фонарь всех странников, издающих в свет описание путешествия своего на Этну, освещала бледным погребальным блеском эту таинственную картину вечной жизни и вечного разрушения, и мы, дремля на мулах, томно пробирающихся по краям пропастей, не раз со страхом считали себя окруженными толпою лютых чудовищ, готовых пожрать нас с бутылками и башмаками на половине пути до конуса. Синьора Джюльетта на всяком шагу примечала где-нибудь в лесу то черта, то дракона и, пронзительно вскрикивая от испуга, прислонялась к моему плечу — что весьма не нравилось общему нашему приятелю, шведу, который, как лютеранин, не верил ни в драконов, ни в чертей, ни в постоянство женского сердца.

В одиннадцать часов ночи достигли мы первого роздыха у так называемой Козьей пещеры, Grotta di capri. Сошед с мулов, мы уселись рядком на разостланных плащах под сенню величественного платана; но как скоро развели огонь в пещере, граф Б***, который уже дрожал

от холода, тотчас проник в низкое ее отверстие, приглашая Джюльетту и меня последовать его примеру. Нам очень хорошо было под деревом. Я сказал, что с некоторого времени терпеть не могу пещер и прошу его наперед осмотреть все стены и удостовериться, нет ли там иероглифов или сталагмитов, которых боюсь пуще смерти. Не понимая моей ненависти к священным письменам Египта, швед острился над моими причудами и звал к себе Джюльетту; но милая генуэзка отвечала ему с простодушием, способным обмануть всю Швецию и Норвегию, что она тоже страх боится иероглифов, которые, как слышно, водятся во множестве по здешним пещерам и укушение которых бывает весьма опасно. Я захохотал,— эти итальянки такие невежды!.. они знают одну только науку, любовь; а мой товарищ сморщил чело, как поток охолоделой лавы, и начал шевелиться в пещере. Он, по-видимому, нашел эту отговорку весьма подозрительною, ибо немедленно вылез из пещеры и сел между мною и Джюльеттою, чтобы своим ледовитым присутствием разграничить симпатическое наше отвращение к иероглифам. Я слышал, как Джюльетта горестно вздохнула по ту сторону финляндских снегов, и в ответ перекинул ей через шляпу нашего угрюмого соседа свой скомканный шариком вздох.

Мы недолго пробыли в этом месте. Поднимаясь выше и выше по крутой тропинке, мы скоро ощутили пронзительный холод бесплодной полосы волкана и не раз принуждены были прибегать к защите бутылки. Граф Б*** погонял пинками лошака Джюльетты, чтоб заставить его следовать непосредственно за Антонием, а меня старался задом своего мула отбросить в тыл избранной им оборонительной позиции у хвоста скотины своей подруги; но упрямые животные беспрестанно ломали его стратегическую линию, и не знаю, каким образом мой мул поминутно обтирался о мула нашей спутницы. Это весьма затрудняло поход. Швед бесился, Джюльетта смеялась, я сваливал всю вину на глупость итальянских скотов, а наш путеводитель Антонио усердно увещевал нас держаться одного и того же порядка шествия, если не желаем где-нибудь очутиться в пропасти.

В два часа пополуночи, утомленные и проникнутые холодом, остановились мы в известном английском домике, Casa Jnglese, где поужинали и несколько уснули. Выступив на заре в дальнейший путь, после небольшого, но затруднительного переезда по краю страшного

оврага, заваленного застылыми волнами лавы, мы благополучно достигли до конуса. Тут мы оставили лошаков, надели сицилийские шляпы с широкими полями, запаслись живностью и, взяв длинные шесты в руки, начали карабкаться по крутой покатости, покрытой толстым слоем пепла. Это была самая опасная и самая занимательная часть нашей прогулки. Страх овладел нами. Пепел беспрестанно осыпался под нашими ногами, увлекая с собою раздавленные скории, которые с грохотом катились в бездны. По причине крайней редкости воздуха дыхание в груди происходило с чувствительною болью, кровь волновалась, сердце билось сильно, как в горячке. Граф Б*** почувствовал тошноту и должен был прибегнуть к пособию Антонио, который повел его под руку, тогда как впереди синьора Джюльетта, подобно легкой газели, храбро взбиралась одна на конус, и я, следуя за нею, вежливо поддерживал рукою тонкие ее ножки, которые скользили по рыхлой золе и, при всяком оступлении, обнаруживали круглые, изящные, пленительные икры. Мой приятель, несмотря на тошноту и кружение головы, весьма проворно ронял конец своего шеста прямо на мою руку, всякий раз, как я подставлял ее под ножки Джюльетте, и, вероятно, читал по-шведски молитву, чтоб она у меня отсохла. Но мы смело поднимались вверх, а он принужден был остановиться, чтоб перевести дух и собраться с силами.

Наконец, ловкая итальянка и я за нею вскочили на узкий рубеж пасти. В Николози уверяли нас, что в этом месте почва конуса так жарка, что в четверть часа обувь сгорает совершенно; но, прибыв к жерлам, которые уже с лишком полтора месяца оставались в бездействии, мы нашли ее почти холодною и стояли на ней без всякого неудобства. Желая в полной мере насладиться плодом нашего терпения и отваги, мы приостановили все порывы восторга и ужаса, пока наш приятель до нас доползет, чтобы общими силами произнести восклицание, достойное нас и открывшегося перед нами зрелища. Между тем сильный порыв ветра чуть не сдул нас с зыбкого кряжа. Джюльетта ухватилась за меня обеими руками; я одною рукою обнял ее талию, а другою оперся на шест, глубоко завязший в пепле, и в этом романическом положении ожидали мы нашествия шведа, который был еще в тридцати шагах от нас. Но он тащился медленно, и Антонио кричал нам издали, чтоб мы не стояли на ветре, который может унести нас в жерло. Мы уселись.

Прежде всего, мы посмотрели друг другу в глаза —

я нашел этот вид очаровательным, и синьора Джюльетта была очень довольна моим мнением,— потом мы оглянулись кругом себя и остолбенели. Под нашими ногами, с одной стороны, лежало мрачное преддверие ада, черное, страшное, бездонное, в которое малейшая неосторожность могла ниспровергнуть нас безвозвратно; с другой, в неизмеримой глубине расстилалась земля с городами, селениями, горами, островами и огромным морем, облитая розовым светом возникающего из хрустальных вод солнца. Здесь нет ничего земного! Джюльетта заметила со вздохом, что мы уже сидим на небе, а не на земле, и что наша планета так точно должна быть видна из высокой обители блаженных. Я согласился с ее замечанием, но советовал еще немножко погодить с восхищением, чтобы всем троим вместе произвести один сильный, громовый залп высокопарных возгласов, который бы впоследствии времени изумил, потряс, разбил в пух наших читателей и дал им понятие о том, что такое значит побывать на Этне. Между тем я просил синьору Джюльетту позволить переменить ей башмаки, изорванные ходьбою по едкой золе конуса. Граф Б*** уже был довольно близко и отдыхал в пяти или шести шагах от кряжа пасти. Она сделала несколько положенных на подобный случай церемоний; потом, вынув пару новых башмаков из мешочка, отдала в мое распоряжение обувь и кончик своей ножки. Я требовал гораздо обширнейшего поля для моих действий. Наступили жаркие переговоры. Всякий дюйм прекрасной стопы был защищаем ею весьма искусно и оспариваем мною со всею силою будуарного красноречия, перед которым робкий рубчик гроденаплевой юбки отступал назад более и более, пока с общего согласия не определили мы ему нейтральной линии в половине высоты ножки. Наш приятель сердито бормотал какие-то протяжные слова по-шведски. Джюльетта вдруг расхохоталась при мысли, что он опять морочит ее шведским языком, тогда как теперь она знает с достоверностью, что это только комедия, сочиненная народною слабостью шведов, и я, снимая старую обувь, пустился хохотать заодно с нею. От вымышления Этны никогда двое сумасшедших не представляли на краю ужасной ее пасти такой веселой и забавной сцены.

Мы подлинно были в небе. Я держал на ладони нежную стопу обворожительной итальянки и, разглаживая пестрый шелковый чулок, сбирался надеть ей первый башмак, как кто-то бессовестно толкнул меня сзади, и я поехал

на куче пепла внутрь бассейна, с дамским башмаком в руке.

Джюльетта вскрикнула: «Ах!!!»

Швед произнес нараспев: «Из-ви-ни-те, лю-без-ный ба-рон!..»

Но это нисколько не удержало меня. Я катился лавиною по крутой стене роковой пропасти с сугробом пеплу и металлических накипей, хватаясь за скории, которые раздроблялись в горсти, и за торчащие глыбы серы, которые мгновенно обрывались. Наконец, уперся я грудью об одну неровность. Антонио, граф Б*** и Джюльетта были в отчаянии. Я слышал их крик, но уже не разбирал слов, ибо, нечаянно заглянув через неровность, увидел подле себя грозное жерло, дышущее на меня смрадною адскою тьмою. Объятый ужасом, я не смел более оглядываться кругом себя и лежал в оцепенении.

Скоро усиленный крик моих спутников исторг меня из этого опасного состояния. Я приподнял голову и увидел, что они бросают мне веревку. По несчастию, конец ее упал в нескольких аршинах над моею головою. Скрепясь духом, я тронулся с места и осторожно пополз вверх, погружая руки в золу по локоть, чтоб найти более опоры. Наконец, достиг я до веревки, которую мог уже достать рукою; но, хватая конец ее, я приподнялся; вся тяжесть тела, сосредоточенная прежде в груди, пролилась в ноги, худо укрепленные на шаткой поверхности; напертая ими зола вдруг осыпалась подо мною, и я опять полетел вниз. В этот раз не спасла меня и неровность, у которой я остановился было незадолго пред тем. Я обрушил, увлек ее с собою и, с облаком поднятой моим падением пепельной пыли, провалился в жерло. Прощай, земля!.. прощай, солнце!.. Вот что значит пускаться со шведами в сентиментальное путешествие на Этну.

Невозможно определить, как долго летел я в бездонном горле волкана: без чувств, без мысли, без памяти, я мчался вниз, подобно камню, с быстротою, увеличивающеюся в содержании квадратных чисел расстояния, как то всякому должно быть известно. Вдруг я очнулся каким-то образом. Чувствуя, что мое тело находится в странном, непонятном для меня положении, я стал рассуждать о том, что такое теперь делаю. Ощупью и соображением разных обстоятельств я скоро приобрел достоверность, что уже не лечу, а вишу горизонтально: полы моего сюртука задели за острый рог скалы, торчащей из стен жерла, и удержали дальнейшее мое падение. Судите

ж сами о чувствах, растерзавших мою душу в ту минуту!.. Я заплакал. «Итак, мне суждено было висеть горизонтально!..— подумал я, схватясь с отчаянием за волосы.— Я должен медленно душиться в этом жарком, мрачном, пресыщенном серою воздухе; задохнуться, прокоптиться в дымной трубе Этны, как окорок, высушиться, как треска, и при первом извержении быть сожженным и выдутым сквозь пасть вулкана на землю, как табачная зола из выкуренной трубки сквозь длинный турецкий чубук!.. И всем этим обязан я старому, испытанному другу! Эти шведы ревнивее самих турок!..»

При воспоминании о шведах негодование вспыхнуло в моей груди так сильно, что, как я полагаю, столб его брызнул с треском и молниями гнева выше самого жерла Этны, и мои спутники, оставшиеся на ее вершине, без сомнения, бегом ушли с конуса, побоявшись взрыва лавы и землетрясения. Я всплеснул руками и закричал горизонтально: «Ах, если б я скорее был выброшен отсюда, и мои кости посыпались градом на голову этому беловолосому обольстителю итальянок!.. Ах, если б каким-либо чудом мог я еще возвратиться живым на землю!.. Ей-ей, прямо с Этны я помчался бы на перекладных в Финляндию, разорил бы всю Мурманскую землю, переломал бы все крендели, произвел бы ужасное опустошение!.. и, утопив всех шведов в одном стакане воды, всех молодых шведок пригнал бы полоном в Петербург быть у меня ключницами и кухарками!.. Я возобновил бы там великие времена Новгородской республи...»

Едва произнес я три первые слога последнего слова, мечась в исступлении, как вдруг оборвался и опять полетел в бездну. Подземный воздух, потрясенный моим криком, ревел оглушительным эхом, которое, катясь в пустоте пещерных недр горы, подобно длинному грому, ломало хрупкие пристройки из перегорелой серы и среди грохота разрушения различными тонами повторяло последнюю мою фразу. В продолжение бесконечного моего падения ближайшие пещеры степенного итальянского вулкана с негодованием изрыгали на меня брошенные в них моим отчаянием легкомысленные звуки: «Республи!.. Респу!.. Республи!..» — и хриплые их отголоски, переливаясь в другие подземелья, распространяли тревогу по всему подземному зданию. Казалось, будто могучая Этна затрепетала гневом, услышав одно лишь начало этого неблагонамеренного слова; и полагая, что в нее как раз провалился беспокойный карбонари, который внутри ее

хочет заводить республики, ниспровергать вековые законы извержений, ограничивать бюджетом отпуск лавы и производить землетрясения по большинству закрытых баллов, решилась немедленно проглотить мятежника, сварить его в огненном своем желудке и выбросить горлом на землю. «Неужто кто-нибудь,— подумал я в испуге,— не расслышав моего монолога, сделал на меня ложный донос могучей Этне!..» Я ожидал для себя этой участи, однако мои опасения не сбылись. Я опять уцепился платьем за скалу. Повисев на ней несколько секунд, я упал задом на теплую золу, лежавшую тут же под нею.

Судьба, неожиданно ниспослав мне столь безвредное падение, не хотела довершить своего благодеяния и не дала даже опомниться. В то же мгновение я начал скользить с кучей золы по какой-то крутой покатости. Никакое усилие не могло остановить этого движения, которое, напротив, ускорялось по мере пройденного пути. Наконец, я помчался так быстро, что у меня занялось дыхание и голова начала кружиться. Можно полагать, что таким образом я проехал десять или двенадцать верст по тесному косвенному подземелью, свод которого часто обтирался о мою голову и засыпал мне глаза пылью присохшей серной пены, превращавшейся в порошок от малейшего прикосновения. По сторонам во многих местах тлел огонь, освещая бледным блеском огромные пещеры или выгоревшие в земле пустоты, которыми путь мой был окружен отовсюду. Внутренность Этны уподобляется лесам, воздвигнутым под куполом большого храма: она состоит из толстых кривых столбов и поперечных перегородок, образующих между ними уродливые аркады, своды, навесы и бесчисленные ярусы пещер, расположенных неправильно, набросанных одни на другие в адском беспорядке. Это кузница и плавильня вулкана. В этих исполинских очагах вырабатывается лава, когда внутренние терзания планеты намечут в них горы минеральной массы с серою и горючими газами через боковые проводы, нисходящие внутрь земли, подобно корням дерева, по всем направлениям и до неизмеримой глубины. Крутая покатость, по которой я спускался, по-видимому, принадлежала к числу этих боковых проводов.

Продолжая поездку мою задом в недрах огнедышащей горы, я нашел довольно времени для размышления о своей плачевной судьбе. «Неужели я так жестоко наказан за неверность жене?..» — спрашивал я самого себя — и моя совесть отвечала, что этого быть не может, ибо, во-первых, ни в каком Собрании Законов нет такого указа,

чтобы неверных мужей бросать в Этну, а во-вторых, намерения мои были чисты, добродетельны: я хотел только покорить сердце этой генуэзки и потом повернуть его к стопам моей супруги в знак преданности и уважения. Что же тут предосудительного?.. Все мое несчастие, что на свете есть ревнивые шведы, которые путешествуют с чужими женами!.. Ах, если б, по крайней мере, синьора Джюльетта провалилась в жерло вместе со мною?.. Как бы мы здесь весело ехали с нею по этой теплой золе.

Этот бесконечный спуск вдруг пресекся, и я, с кучею пепла, свалился в глубокую яму, дно которой в то же время раздробилось подо мною с треском, разославшим страшные отголоски по смежным пещерам. Я упал в другую яму, гораздо глубже первой, где уже совершенно лишился чувств. В этом полумертвом состоянии я, вероятно, пробил собою своды и многих других выдолбленных подземными пожарами пустот, которые большею частью разделены между собою тонкими перегородками из хрупкого, пережженного в уголья минерала; но уже не помню, что со мною делалось далее. В уме моем сохранилось одно только неясное, лихорадочное воспоминание, что после жестоких потрясений тела многократными падениями повергся я в летаргический сон, в котором, как теперь соображаю, пробыл очень долго.

Проснувшись, я ощущал мучительную тошноту. Голова трескалась от боли. Я ни о чем не думал. Мне только грезилось, как в горячем, удушливом сне, что я нахожусь где-то в земле. По временам мне приходило на мысль, что, вероятно, я умер и лежу в могиле. В самом деле, я лежал в какой-то узкой яме, как в мешке, и не мог даже поворотиться. Хотя уже я не думал о жизни, но в таком неудобном положении не согласился бы ночевать и в могиле. После многих усилий успел я привстать на ноги и прислонился к стене ямы. Воздух здесь казался сырым, и простое прикосновение удостоверило меня, что земля состоит из крупного песку. Тогда только я вспомнил, что прежде валялся в золе и дышал жарким воздухом. Вдруг навернулась мне на ум Этна; но я не мог отдать себе отчета, в каком соотношени была она с настоящим местом моего пребывания, и скорее стал думать о том, что мне хочется есть. В этом не сомневался я нимало. Невольное влечение, которым мудрая природа одарила наши руки лезть во всех затруднительных случаях в свои, а иногда и в чужие карманы, довело меня до неожиданного открытия: я нашел у себя пару жареных цыплят и большой кусок

палермского сыру. Не входя в разбирательства, откуда они происходят, я немедленно истребил голодными зубами половину своего запаса. Мне стало немножко легче.

По мере того, как желудок наполнялся пищею, мысли толпами стекались в мою голову. Мало-помалу я сообразил умом, огрызая вторую ножку цыпленка, что это быть не может, чтоб я был похоронен в этой яме законным образом, на точном основании правил врачебной управы. Я не помню, чтобы наперед высосали из меня половину крови пиявками и начинили меня зельями и порошками; около меня нет ни гроба, ни досок, а в моих карманах водятся сыр и жаркое. Яма, по-видимому, далеко простирается вверх надо мною. Чтоб узнать местоположение, я решился вылезти из нее и стал подниматься вверх, упираясь в стены спиною и коленами.

Я уже вскарабкался было довольно высоко, когда в одном месте песчаная стена подалась назад от сильного давления спины. Я уперся покрепче. Стена внезапно выломалась большим куском, и я, перекувыркнувшись вверх ногами в пробитом отверстии, упал всем телом в какое-то пустое пространство, смежное с моёю ямою. Песок засыпал меня почти всего с головою. Я ушиб ногу, однако ж бодро вылез из песку, с твердым намерением тогда лишь предаться в руки неумолимому року, когда съем второго цыпленка и последнюю крошку сыру. Я распростер обе руки: место казалось довольно обширным. Я прошелся несколько раз взад и вперед.— Слава богу!.. вот моя могила: по крайней мере, здесь просторно гнить по смерти.— Я пустился расхаживать по новому моему жилищу, ощупывая руками его пределы. В одном углу мне показалось, как будто наступил я на доски. Не веря своим подошвам, я попробовал рукою.— В самом деле, это доски!.. Они шатки, слабо приколочены; за ними, без сомнения, опять есть пустое место.— Я сел подле досок для удобнейшего размышления о том, что делать и где могу находиться. Теперь я совершенно убедился, что разгуливаю где-нибудь внутри кладбища.— Итак, я забрался в сырое царство покойников!.. Это уж наверное гроб!.. Туда нечего и пытаться: я забьюсь еще глубже в землю. Ежели здесь близко есть живые люди, то они должны быть над моею головою, а не под моими ногами...

Тогда как таким образом рассуждал я с самим собою, звуки глухой отдаленной музыки приятно потрясли мой слух. Я затрепетал от радости, хотя не мог постигнуть, что это значит.— Где же наконец нахожусь я?..— По

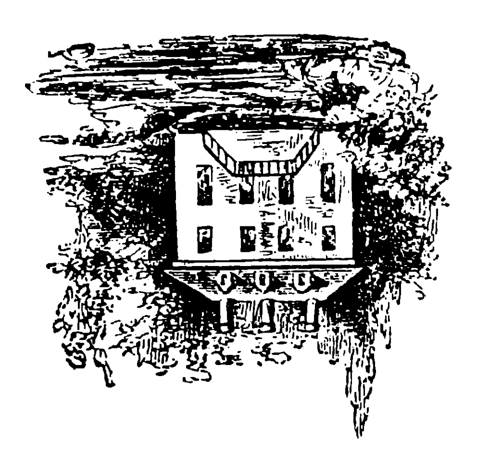
зрелом соображении я принужден был заключить, что если я не покойник, то уж по крайней мере сумасшедший или заколдованный. Однако ж музыка не утихала, и чем более я прислушивался, тем яснее убеждался, что она происходит из-за досок.— Так и быть! надо их выломать.— Я вскочил на ноги, стал на одну доску, начал прыгать на ней изо всей силы. Она упала, сопровождая свое движение звонким шумом, похожим на стук падающих и ломающихся бутылок.— О, в этом кладбище мертвецы живут славно!..— подумал я себе:— у них есть музыка и бутылки.— С отвалением первой доски звук инструментов послышался еще вразумительнее. Я стал на другую доску и чуть подавил ее ногами, как она тоже обрушилась с треском, и я стремглав полетел в новое подземелье, где, падая опять на какую-то дощатую настилку, вышиб часть ее грудью и неожиданно очутился по ту сторону преграды в ярко освещенной атмосфере. Но в то же мгновение свет исчез пред моими глазами, над головою раздался пронзительный крик как бы испуганной женщины, и мое лицо, грудь и плечи были накрепко приколочены к той же настилке навалившеюся на меня тяжестью странного рода — широкою, мягкою, теплою — которая зажала мне рот и пресекла дыхание. Кто-то, казалось, сидит на моем лице, и еще кто-то...

Но для ясности рассказа я должен несколько опередить события. Чтоб получить точное понятие о моем приключении, надобно прибегнуть к пособию «Умозрительной физики» г. академика В*** и постигнуть, каким образом и из чего составилась земля в то время, когда ее не было на свете. Вот, изволите видеть: магнетизм положительный, сочтаясь с отрицательным, произвел золото, или начало мужеское, и серебро, то есть начало женское, которые беспрестанно тяготят друг на друга; а как благородные металлы представляют свет в тяжести, как субъект в объекте, и суть равны воде, изъявляющей субъективную тяжесть в объективном недоумении, и как, с другой стороны, магнетизм образует тяжесть в свете как беспредельное идеальное в ограниченном реальном, коих обратный способ явления совершает электризм, то от соединения всех этих предметов в субъективном беспорядке произошли когезивная линия и хаос* *и вот почему наша земля в середине пуста!..* Это чрезвычайно ясно. Из этого следует, что так называемый земной шар есть настоящий

---

* Зри «Умозр. физику», стр. 649, 651 и многие другие.

пузырь, составленный из плотной скорлупы, которая имеет не более десяти или пятнадцати верст толщины, и внутри надутый ветром, то есть попросту воздухом. Внутренняя поверхность этой скорлупы совершенно похожа на внешнюю — зелена, усеяна горами, лесами и озерами, имеет свои моря и реки и населена людьми, животными, птицами, червями и устрицами, точно так же, как у нас, на лицевой стороне шара. Влезьте в земной шар — влезть и вылезти можете вы очень легко посредством умозрений — и поглядите на внутренюю поверхность его корки; потом высуньте голову из планеты и посмотрите на внешнюю поверхность, и вы не приметите никакой разницы между ними: подумаете, что первая есть только оттиск второй. И в самом деле, это род оттиска: предметы все те же, и здесь, и там, но расположение их обратно. Здесь, сверху, на земле, видите вы города, памятники, кабаки — там, снизу, под землею,— кабаки, памятники, города; здесь люди живут, движутся, суетятся, врут, женятся, скучают, читают и спят — там они спят, читают, скучают, женятся, движутся, врут и живут. Оно все то же. Одно только разительное, существенное различие, что тамошние люди, в отношении к нам, ходят головою вниз, как у нас мухи по потолку, и что их дома построены фундаментом вверх, вот именно так:



Словом, это тот же свет, только вверх ногами; или свет дном-к-свету; или, сказать яснее, наш свет наизнанку; или, еще яснее — престранное дело!!. Уж вразумительнее этого растолковать я не в состоянии.

Довольно, что я, давно вам известный барон Брамбеус, столкнутый ревнивым шведом в жерло Этны, обрываясь со скалы на скалу, скользя задом по охладелым огнепроводам, разными излучистыми путями из пещеры в пещеру, из одной ямы в другую, проникнул сквозь всю скорлупу земного шара и упал в погреб того света, находившийся под домом загородной дачи, а в погребу моим падением выломал квадрат паркета, служившего потолком ему и полом зале. Дача принадлежала одной значительной саном и дородной телом даме, весившей шесть пуд и пятнадцать фунтов; коротко сказать, одной барыне ногами-верх, подземной губернаторше. Она тогда, с помещиками своей области, танцовала кадриль на погребении мужа; и так случилось, что в то самое время, как в честь покойнику делала она высокие антр-ша, я нечаянно высунулся сквозь паркет из погреба в залу. Все это весьма понятно тем, которые учились «Умозрительной физике».

Но я затолковался о теории внутреннего устройства земли и совершенно забыл о моем положении. Вспомните только, что толстая хозяйка давно уже сидит на мне; что я ничего этого не знаю и что рот у меня зажат мягкою, теплою и широкою тяжестью. Она кричала: «Ай!.. Ах!.. Ай, ай!.. вор!.. изменник!.. разночинец!..» — Я хотел отвечать: «Извините, сударыня: вы меня обижаете!..» — Но мой голос вспыхивал и гаснул в груди без звука, как порох на загвозженном запале. Я задыхался и гневно шевелил головою; но чем более делал движения, тем сильнее она жала меня коленами, душила и кричала. Мне было хуже, чем в пасти волкана. С отчаяния я укусил мягкую тяжесть, наполнявшую мой рот непроницаемым для воздуха и голоса веществом. Моя неумолимая притеснительница завизжала: «Ах!.. Змей!.. кусается!..» — и, вскочив на ноги, упала в стоявшие поблизости кресла.

Я освободился; но с устранением тяжести, которою доселе был прикован к полу опрокинутого дном вверх света, мое тело, привыкшее тяготить к центру земли, вдруг отторгнулось от паркета, и я полетел на потолок залы, о который чуть не раздробился в мелкие куски. По счастию, я не пробил его собою. Опомнившись от испуга, я оборотился лицом к зале и сел на потолке. Все расхаживавшее по полу собрание, приведенное в ужас моим появлением и еще более моею наружностью, в которой сквозь сажу, золу, песок и отрепья изорванного, перегорелого платья едва можно было различить след человеческой твари, попряталось под стулья, столы и диваны или ушло в другие ком-

наты, крича: «Черт! черт!..» — Я с своей стороны кричал им: «Не черт, а барон Брамбеус, надворный советник!.. Не бойтесь: я служу по особенным поручениям по управлению лошадьми, подвизаюсь для улучшения их породы!» — Но в замешательстве, остолбенении, шуме никто меня не услышал. Впрочем, страх и изумление были обоюдны: я столько же был поражен видом людей, бегающих, как ящерицы, по поверхности, которая по мне занимала место потолка, сколько они были встревожены присутствием живого существа, сидящего на их потолку и, по их понятиям, головою вниз.

Скоро, однако ж, жестокое их недоумение уступило место любопытству. Многие начали высовывать головы и привздергивать их к потолку, чтоб приглядеться ко мне получше. Моя неподвижность внушила им довольно смелости вступить в разговоры и мало-помалу оставить свои убежища. Те, которые боялись чертей только наполовину, единственно из уважения к их хвосту и рогам, собрались на середине залы, прямо подо мною, и принялись излагать разные на мой счет теории. Мнения были различны; никто не мог неоспоримо доказать, что я такое. Наконец, прения сделались очень жаркими, и толпа нечаянно распрыснулась по углам залы и по смежным комнатам. Я только сидел и удивлялся. Но вдруг все они снова сбежались на середину залы, вооруженные биллиардными киями, щипцами, кочережками от каминов и тростями, и все поочередно начали дотрагиваться, пырять, дразнить и рвать меня с разных сторон, чтоб дознаться, из чего я создан. Я сердито заметался на потолке. Они испугались и опять рассеялись. Через несколько минут привели они из отдаленной комнаты подземного философа ногами-верх, в большом напудренном парике, в желтых штанах, в длинном коричневом фраке с пол-аршинными манжетами и в серых полосатых чулках с тем, чтобы он определил им меня и подвел под правила ученой классификации. Философ стал на стул, взял щипцы у одного из гостей, пощупал меня ими в разных местах тела и сказал: «Что ж тут мудреного узнать?.. Это человек седьмого класса!.. Да!.. человек, дворянин и даже чиновник; но, видно, не учился физике, не знает законов тяготения, и вместо того, чтоб стремиться своею тяжестью к внешней поверхности земного шара, как мы, он тяготит к его центру. Это ложная система. Вероятно, он воспитан в превратных правилах, заражающих теперь многие университеты».

Это объяснение успокоило взволнованные умы собра-

ния, но чрезвычайно изумило меня. Каким образом, не входя со мною в объяснения и только пощупав меня угольными щипцами, угадал он мигом, что я 7-го класса?.. Это удивительно!.. Но я начинаю постигать существо света ногами-верх. Потому-то и здешние философы умные люди.

Философ ногами-верх советовал хозяйке не прерывать для меня такого важного обряда, каков поминание только что преданного земле незабвенного ее супруга, и продолжать танцы. Наскучив сидением, я, между тем, встал и начал ходить по потолку. Это возбудило общий хохот. Мужчины и дамы не могли налюбоваться на мои движения. Многие, обращаясь ко мне, убедительно просили соскочить к ним на пол, перекувырнуться на ноги и протанцовать с ними хоть один галлопад в честь достойному, несравненному — вечная ему память! — правителю их губернии, которого они так любили, что век не перестанут по нем плясать. Учтиво благодаря их за приглашение, я извинялся тем, что не умею ходить по их полу и боюсь свернуть себе шею. «Однако ж я готов разделять с вами жестокую печаль, угнетающую ваши сердца, хотя в тех странах, где я родился, она изъявляется несколько иначе, — присовокупил я. — Охотно потанцую с вами по почтенном хозяине этого дома; но прошу, позвольте мне остаться на потолке. Я буду танцовать здесь, а вы танцуйте на вашем полу».

Сказав это, я попросил одного франта вывороченного ногами вверх света одолжить меня парою белых перчаток, и он уступил мне свои, не обидев меня никакою глупостью. Право, странный свет!.. Вооружась ими, я протянул над своею головою руку к хозяйке, приглашая ее по старому знакомству на кадриль со мною. Она с жирною улыбкою взаимно выпрямила толстую свою руку над великолепным чепчиком, похожим на розовый куст в полном цвете. Высота комнаты именно дозволяла нам достать друг друга кончиками пальцев, так что, соединив наши руки, на первую фигуру кадрили составили мы с нею перпендикулярную линию от потолка к полу. Музыка загремела, и мы весело пустились плясать: я по потолку, а она по полу, образуя вместе прелестные фигуры, которые удалось нам исполнить легче, нежели как мы полагали. Я никогда не танцовал так славно. Губернаторша прыгала с необыкновенным усердием, так что я сам был тронут ее любовию к покойному мужу. Все были в восхищении.

По окончании кадрили гости просили философа дном-к-свету объясниться со мною ученым порядком обо всех

касающихся до меня обстоятельствах, быв уверены, что я человек сверхъестественный, когда не только хожу, но и так ловко танцую по потолку. Философ, торжественно выступив на середину залы, отвалил голову за спину и уже сбирался предложить мне вопрос, как многие ему заметили, что это положение слишком неудобно для философских рассуждений и что гораздо было бы сходнее, если б он сел на печке и оттуда разговаривал со мною. Это мнение единогласно было одобрено всеми. Несколько молодых людей схватили философа на руки и пособили ему взлезть на высокую печь. Я уселся против него на потолке; наши головы в обратном направлении принадлежащих им носов были уставлены таким образом, что я мог положить мои уста в его уши и он сделать то же со мною, и мы начали разговор.

— Я с большим удовольствием смотрел, как вы танцовали по потолку,— сказал философ.— Вы танцуете прекрасно; но я вижу, что вы придерживаетесь в танцах сестемы тех философов, которые утверждают, что в природе нет ни верху, ни низу.

— Милостивый государь,— отвечал я ему,— мы у себя в наших странах всегда танцуем по Кеплеру и Ньютону, строго придерживаясь законов тяготения и становясь в позицию ногами к центру земли.

— Вы очень хорошо делаете, что строго придерживаетесь законов тяготения, предписанных вам вашими мудрецами,— примолвил философ,— от этого зависит весь порядок мира. Но вы бы чрезвычайно нас одолжили, особенно почтенную хозяйку дома, которая питает истинное к вам уважение, если б для нашего удовольствия благосклонно согласились сделать маленькое отступление от этих законов и потяготеть немножко, вместо потолка, на наш пол, чтоб протанцовать котильон, стоя головою к центру земли. Мы надеемся...

— Вы требуете от меня невозможного,— возразил я.— Законы тяготения вещь священная; никто не в силах сопротивляться их действию, и я никогда не соглашусь...

— Сделайте одолжение!.. Дамы вас просят!..

— Помилуйте, господин философ! Как же вы хотите, чтоб я не соблюдал даже законов тяготения, которые соблюдают и камни, которые всякий честный и беспристрастный человек должен соблюдать под опасением сломать себе шею?..

— Дамы вас просят!..

— Ах, боже мой, господин философ! Подумайте только: вечные законы тяготения!..

— Они со временем могут перемениться: выйдет новое толкование и...

— Но у меня, в моей земле, есть книга, в которой они напечатаны!

— Нужды нет!..

— Нет!.. этого я не знаю; и в наших странах это вовсе не в употреблении.

— Так что ж?.. Вы решительно не благоволите потяготеть в нашу пользу?

— Милостивый государь, вы хотите довести меня до лихоимства в деле с могущественною природою. Попрать законы тяготения!.. Образумьтесь!

— Безделица!.. Такие ли законы иногда попираются для котильона!.. Для друзей, в угождение хорошеньким дамам, из уважения к почтенным лицам на свете все можно сделать...

— И вы требуете, чтоб я не исполнял таких непреложных законов?

— Вы исполните их при другом случае, когда никто просить вас о том не станет.

— Но теперь это останется на моей совести...

— Отнюдь нет! Ваша совесть должна быть спокойна, потому что вы и теперь будете исполнять ваши законы.

— Как? — воскликнул я. — Нарушая законы, я буду исполнять их?

— Конечно! — воскликнул философ. — Самое то обстоятельство, что закон нарушен, ясно доказывает, что он приводится в исполнение, что он еще действует и имеется в виду.

— Разве оно так у вас!

— Да! мы иначе не умеем исполнять законов.

— А у нас так это напротив. С позволения вашего, мы совсем иначе умеем исполнять законы и действуем по точному смыслу правил, не только тяготения, но и притягания.

— Вы очень упрямы! — сказал философ. — Вы, однако ж, видите, что мы тяготим совсем в другую сторону и живем прекрасно?.. Я уверен, что со временем и вы будете тяготеть по-нашему и что за всем тем ваши законы останутся в книге совершенно целы и ненарушимы. Позвольте спросить вас, каким путем приехали вы в знаменитый погреб покойного нашего губернатора?

— Я приехал, к вашим услугам, через огнедышащую гору Этну,— отвечал я.

— А!.. через Этну!..— воскликнул он,— это обыкновенный тракт. Следственно, вы пожаловали к нам с наружной поверхности земного шара. Не были ли вы там знакомы с Пифагором или с Эмпедоклом?

— С Пифагором или с Эмпедоклом...— повторил я с некоторым удивлением.— Ведь они жили в глубокой древности?

— Правда, что они жили давно,— сказал философ,— но они тоже провалились в Этну...

— И тоже упали в погреб этого дома?— прервал я.

— Нет; они, как древние философы, упали в наши древние классические погреба, где хранилось классическое вино, вкус и букет которого, ныне потерянные, составляют у нас предмет ученых споров,— отвечал он.

— Так ваши ученые занимаются подобными пустяками?.. определением вкуса и букета древнего вина?— присовокупил я.

— А ваши ученые?..— возразил он.— Они, верно, посвящают свой ум чему-нибудь противоположному вину.

— О, совсем противоположному!..— воскликнул я.— Они ссорятся за кувшины и горшки, в которых вино стояло у древних.

— Это так и должно быть!— сказал философ.— Пифагор и Эмпедокл в сочинениях своих, которые у нас оставили, уверяют, что действия вашего света с действиями нашего составляют совершенную противоположность. Наш ученый свет и ваш глядят головами в две различные стороны и, вместе взятые, образовали б род бубнового валета. Что у вас думают о земле?

— Что она в середине плотна,— отвечал я.— Это общее мнение наших ученых.

— А мы думаем, напротив, что она пуста,— примолвил он,— и вы видите, что мы думаем основательно; что с ваших ученых по-настоящему следовало бы снять все чины и взыскать все жалованье, которое получали они напрасно за свои мнения и системы об устройстве земли. Вы, однако ж, предполагаете, что земля вечно течет в пространстве, совершая свой путь вокруг солнца: как же могла б она нестись в пространстве, если б не была пуста в середине и не уподоблялась воздушному шару?.. Мы также имели ошибочное об ней понятие и полагали, напротив, что она простирается вне до бесконечности; но от Пифагора и Эмпедокла узнали о существовании

лицевой стороны ее и о том, что там есть люди. Эти два педанта долго жили у нас, сочинили много книг и у нас же скончались. Эмпедокл, впрочем, был умный малый и доброго характера: он скоро выучился ходить по-нашему и забыл свои обратные обо всем понятия. Но с Пифагором мы никак не сладили: он жил и умер на потолку и на потолку хотел быть похоронен. Ваш Пифагор, право, был немножко сумасшедший: он изобрел для вас таблицу умножения и спорил с нами до слез, что дважды два — четыре.

— Вам это кажется странным? — вскричал я, выпучив изумленные глаза на философа.

— Конечно! — примолвил он хладнокровно, — у нас принято и доказано, что дважды четыре — два.

— Полноте! — сказал я. — Вы уж слишком далеко простираете систему противоположности. И по этой арифметике ведете вы ваши счеты?

— Без сомнения! — отвечал он. — И уверяю вас, что итоги выходят очень верны. Не думайте, чтоб я шутил: ведь у нас есть контроли, которые поверяют наши счеты с большим вниманием и находят их исправными.

— Ну, а наши контроли, на лицевой поверхности земли, — воскликнул я, — за подобные счеты весь ваш свет ногами-вверх отдали б под суд.

— Потому что они следуют ложной арифметике Пифагора! — подхватил философ с значительною улыбкою. — Но позвольте вам заметить: вы упомянули о суде — следственно, у вас боятся суда?

— Очень!

— Какая противоположность! — вскричал философ. — А у нас просятся под суд.

— Скажите же мне, — спросил я, — что у вас делают, когда хотят наказать провинившихся в неправильных поступках? у нас, на земле, заключают их в тюрьмы на долгое время.

— А у нас, под землей, в наказание медленно их оправдывают.

— Какая противоположность! — вскричал я. — Нет, у нас на земле гораздо лучше. Там дела решаются по законам.

— Вы шутите?..

— Уверяю вас честию.

— Какая противоположность! — вскричал философ. — А у нас законы решаются на то или на другое, смотря по делам. Кто же у вас занимается этою частию?

— Как, кто?.. Я не понимаю вашего вопроса.

— То есть кто произносит приговоры? У нас это предоставлено секретарям и женщинам.

— Какая противоположность! — вскричал я. — В наших странах это возложено на умных и непоколебимых судей. Поэтому ваши женщины вмешиваются не в свои дела?

— А ваши?

— О, наши женщины думают только о своих мужьях, детях, хозяйстве, о чтении, о забавах и своих лентах, которые доставляют им мужья.

— Ах, какая ужасная противоположность! — вскричал философ. — А у нас женщины думают только о своих любовниках и хлопочут о лентах для своих мужей.

— Кстати о чтении: есть ли у вас хорошие книги?

— Нет. Но у нас есть великие писатели.

— Так по крайней мере у вас есть словесность?

— Напротив, у нас есть только книжная торговля.

— Итак, у вас решительно все наизнанку против нашего! — воскликнул я. — Я никогда не привыкну к этому порядку вещей!

— Вам так кажется сначала! — примолвил философ, улыбаясь.

Мы замолкли. У меня голова уже кружилась от противоположностей. «Странный свет! — подумал я. — Но они ходят ногами вверх; так у них все должно быть навыворот!..» Чтоб переменить предмет разговора, я сказал философу:

— Объясните мне одно обстоятельство, которое только теперь приходит мне в голову. Мы с вами рассуждаем довольно долго. Я говорю по-русски, а вы каким-то другим наречием. Как же это случилось, что мы понимаем друг друга? Сколько помню, я никогда не учился подземному диалекту. Как называется ваш язык?..

— Наш язык?.. — спросил изумленный философ. — Мы говорим здесь по-немецки. Разве вы не приметили этого?

— По-немецки!!! — воскликнул я с удивлением — и стал разбирать в уме некоторые произнесенные им слова. В самом деле, это немецкий язык, только навыворот!.. Вот почему здесь я так хорошо его понимаю, тогда как на земле почти не мог различить от чухонского! Итак, немецкий язык, которым германцы говорят на лицевой стороне земного шара, потому только неудобопонятен, что они говорят им лицевою стороною; а выверни его наизнанку, то есть послушай его наоборот, он выходит тот же

русский язык, ясный, приятный, сочный, только без грамматики, потому что он уже процежен сквозь немецкие зубы, в которых вязнут все наши окончания, так, что они принуждены добывать их оттуда зубочисткою. Странно, что я прежде об этом не догадался!..

Это открытие крайне меня обрадовало; стоит только провалиться в Этну, чтоб понимать язык Канта, Фихте, Шеллинга, даже никогда ему не учившись! Я сблизился с философом, просил его быть моим приятелем, наставником, путеводителем в стране, столь для меня чуждой и загадочной, в которой, по-видимому, суждено мне навсегда остаться, и начал было длинный комплимент насчет его ума, познаний, опытности, седин, как вдруг он схватил меня за воротник и начал колотить кулаком по шее. Сначала я только изумлялся, не постигая, чем бы его обидел; но при втором, при третьем ударе мне стало досадно. Видя, что философ дерет меня не в шутку, я осердился и толкнул его в бок. В ответ он отпустил мне два жестоких толчка и продолжал потчевать меня кулаками. Я кинул изумление в сторону, взял вывороточного немца за горло и принялся валять его по-русски.

Мы дрались с настоящею яростию. Сражение двух противоположных светов на печке подстрекнуло любопытство собрания; танцы прекратились на полу и многие голоса вскричали:

— Посмотрите, посмотрите, как они подружились!

— Ах, как они обожают друг друга!

— Иные после десяти лет испытанной дружбы не дерутся так чистосердечно! Он должен быть создан для нежности.

— Но и наш философ влюблен в него без памяти!..— присовокупили другие.

В пылу сражения я не понял их восклицаний, которые довольно походили на насмешки. Забыв о системе противоположностей, я наделял философа полновесными ударами, на которые он, с своей стороны, возражал весьма жарко. Он запустил свою руку в мои волосы; я, сорвав с него парик, схватил его за нос, и мы сцепились, как бешеные пантеры. Наконец, философ застонал в моих когтях и свалился с печи. По несчастию, своим падением он увлек меня с потолка; и, не будь система противоположностей, которая в этот раз весьма кстати подоспела нам на помощь, мы, наверное, убились бы оба вместе. Но я, как известно, тяготил к центру земли, а мой противник естественною своею тяжестью направлялся к внешней ее поверхности.

Как мы оба весили одинаково, по 5 пуд и $6^1/_2$ фунтов, то действием двух обратных притягательных сил завязли в них в половине высоты залы, подобно железному гробу далай-ламы, удерживаемому на воздухе двумя магнитами,— ежели это правда?— и никак не могли перетянуть друг друга.

Мы повисли в воздухе, в равном расстоянии от потолка и от пола, визжа, вертясь, оплетая друг друга руками, толкая коленами и тормоша изо всей силы. Гости кричали мне, что уже довольно, что их философ совершенно уверен в моих к нему чувствах уважения и приверженности. Они хотели разнять нас, стараясь поймать того и другого за ноги; но мы так шибко размахивали ими в воздухе, что никто не мог приступиться. Вдруг я почувствовал, что кто-то схватил меня за левую ногу обеими руками и сильно тащит к полу. Я перестал бить философа, у которого почти уже не оставалось души в теле, и двое молодых людей ловко вывернули его из моих объятий. Влекомый в одну сторону чуждою рукою и, с противной, удерживаемый старою привычкою тяготения внутрь земного шара, я спускался к полу по лучу центропритягательной силы, как по гирям, с приметным и от самого меня не зависящим сопротивлением. Наконец, тот, кто тащил меня за ноги, притянув их плотно к паркету, сказал мне:

— Ну, теперь укрепитесь хорошенько подошвами и ступайте по полу. Смело!.. Не бойтесь!..

— Хорошо, попробую!..— сказал я.— Пустите же мои ноги.

Он пустил, и я, скрепясь сердцем, пошел,— раз, два!— Право, можно ходить и по этой методе!— Раз, два, три!— можно и танцовать!— Раз, два!— раз, два!.. Все присутствующие закричали навыворот: «Браво! браво!» — и я уже расхаживал навыворот по их зале, как на своей родимой мызе. Так это только предрассудок, что надо непременно ходить так, как велят ум и природа!.. Можно жить славно и ногами вверх: стоит только решиться!

Но лишь только оборотился я вверх ногами, в голове моей все понятия, сведения и мысли начали тоже кувыркаться одни за другими и принимать одинаковое с телом направление. Старые, забытые, гнилые понятия, оставшиеся еще от учебных книг и лежавшие кучею без употребления, зашевелились вместе с прочими и наполнили жилище умственных сил густою, горькою пылью, которая заструилась сквозь глаза, ноздри и уши в виде серого, грязного табачного дыма германской учености и произвела

в горле удушливый кашель. Никогда еще в человеческом уме не происходило такой суматохи. В мозгу сделалось так темно, как в диссертации о разумной душе, и я уже полагал, что в моей голове или преподается умозрительная философия, или наборщики затеяли «достославную революцию», которая будет продолжаться три дня. Я был в каком-то опьянении. Но когда этот переворот кончился, когда все мои понятия построились рядом вверх ногами, я, быв прежде бестолковым человеком, вдруг почувствовал себя чрезвычайно умным — да так умным, что если б в ту минуту находился я на лицевой стороне земли, как раз был бы единогласно избран в оппозиционные члены французской палаты депутатов! Вот что значит вывернуть самый простой, обыкновенный ум наизнанку!.. И опять открытие! Какой, однако ж, у нас на земле народ недогадливый! Нередко с таким трудом ищем мы у себя умных людей, чтоб поручать им места или дела, а о том и не думаем, что ум есть только противоположность глупости, и довольно первого попавшегося дурака оборотить вверх дном, так выйдет умный человек, хоть куда. Да здравствует подземная система!

Но полно учить людей уму: обратимся к моим приключениям. Как скоро начал я ходить навыворот, по местному обычаю, не отличаясь от других, мужчины мигом смекнули, что я должен быть смышленый малый и далеко пойду вперед; но женщины очень сожалели, что я сделался похожим на их мужей, и сказали, что прежде я был гораздо милее и занимательнее. Сыновья хозяйки повели меня в свои комнаты. Я выбрился, вымылся, переоделся в их платье, и мы опять пришли в залу. Подземельцы, окружив меня, с любопытством стали расспрашивать о том, что происходит на той стороне земной скорлупы и что на ней делал я сам. Все мои ответы возбуждали в них неизъяснимое удивление: противоположность нашего быта и наших понятий казалась им почти несбыточною. Дамы в особенности не хотели верить, чтобы наши женщины серьезно делали обет в верности своим мужьям: они как раз провозгласили бы меня обманщиком, если б философ не спас моей чести, сказав им, что Пифагор и Эмпедокл тоже свидетельствуют о том в своих сочинениях и что это весьма правдоподобно, ибо там все наперекор здешнему.

— В таком случае,— воскликнули подземельные дамы,— женщины внешней стороны шара должны быть ужасные плутовки!..

Философ примолвил, что, по некоторым спискам

Пифагоровых сочинений, если только они не искажены злоумышленными переписчиками, оно почти так и выходит. Я хотел сказать с жаром: «Неправда!» — и невольно сказал вверх ногами: «Да!»

Я покраснел от стыда. Тьфу! Какое странное действие обратных сил опрокинутой головою вниз природы!.. Язык даже ворочается вспять: и еще у женатого человека!!.

Хозяйка и ее подруги усердно поздравляли меня с тем, что я съехал с такого вероломного света, утверждая, что с ними буду я в совершенной безопасности от измены, ибо они не станут обнадеживать меня никакими обетами. Ежели здешний порядок вещей сначала покажется мне немножко чудным, то, по их словам, это невыгодное впечатление я должен приписать единственно тому, что их мир стоит дном-к-свету откровенно, без ширм для прикрытия положения и без официальных газет для показывания противного, ибо у них нет лицемерства,— то есть, оно бывает и у них, но так же редко, как и у нас на земле чистосердечие, и потому считается почти добродетелью. Как я уже не вправе питать надежды на возвращение в подсолнечные края, то подземные дамы советовали мне не делать церемоний, поселиться у них ногами вверх, избрать себе жену навыворот, устроить свое хозяйство вверх дном, прижить детей опрокидью и быть счастливым, как только возможно быть им в ту сторону, против шерсти. Я обещал дамам последовать их совету. Подземные мужчины заманивали меня в службу. Я обещал мужчинам усердно служить наизнанку их отечеству. Подземный философ твердил, что я буду совершенно доволен их светом и даже любим его жителями, если только захочу исполнять в точности наставления Пифагора и Эмпедокла, которые говорят, что нет ничего легче, как приноровиться к здешним обычаям: надо только стараться во всяком случае поступать точь-в-точь противоположно тому, как поступают по ту сторону земной корки. Я обещал философу держаться обеими руками за Пифагора и Эмпедокла.

Посреди этого разговора хозяйка и гости вдруг вспомнили о добродетелях покойного губернатора, выскочили из кресел и пустились вальсировать отчаянно. Я, философ и несколько подземельцев остались в углу залы. Мы продолжали начатые рассуждения. Против меня стоял один человек среднего роста, плотный телом, но тонкий умом, нежный, сладкий, приветливый, с потупленным взором, с лицом, вымазанным улыбкою, с плоским, лоснящимся челом, наклоненным к полу точно так, как наклоняются

вешаемые на стене против света старые картины, чтоб скрыть их пятна и недостатки, пролив обманчивый свет только на ту часть живописи, которую хозяин желает сделать приметною. Из-под век, опущенных искусно, подобно шторам в гостиной пожилой кокетки, блестящий его взор падал на паркет косвенными лучами, которые, отражаясь от гладкой поверхности, впивались в вас снизу, пронзали вас насквозь от желудка к плечам, жгли в коленах, под локтями и в подбородок, ползали по спине и щупали повсюду: в голове, в сердце и по карманам. Мне казалось, что я посажен на кол. Если б это было у нас, на земле, я сказал бы, что он какой-нибудь обращенный из грешников святоша; но как мы встретились с ним под землею, где все противоположно с нашим, то я мигом угадал, что он должен быть доносчик. Я узнаю приятеля, хоть бы он сто раз обернулся вверх ногами: я столько видел их в Италии!.. По гордости, придавленной острым подбородком и беспрестанно вылезающей из-за галстука, по беспокойству всего тела, по судорожному сведению жилок в лицевых ямочках, по короблению сухой кожи на дрожащих пальцах, не мог я не различить в этом подземельце шпиона высшего разряда, лазутчика-аматера, незваного и вездесущего гостя, существо, пожираемое честолюбием, жаждущее значения и, подобно кошке, бросающееся с распростертыми когтями во все углы, где только зашевелится тень средства к выигрышу и, за неимением других доблестей, готовое выслуживаться покровителям — чем бог помиловал! клеветою и подлостью. Он всячески пытался завлечь меня в разговор о политике и религии наружной поверхности земного шара, чтоб разведать мой образ мыслей, подкапывался под мои чувства, карабкался ногами и руками на мои мнения, рылся, как крот, в моей совести — и ничего не узнал. Я удачно отразил шутками все его приступы. Видя мое невежество в делах этого рода или невозможность заставить меня проболтаться при свидетелях, он взял меня за руку, отвел к окну и сказал вполголоса с неподражаемым добродушием, что он совершенно согласен с моими мнениями и считает себе за честь быть одинаковых со мною правил.

Я улыбнулся.

— Я терпеть не могу политики,— присовокупил он еще умильнее.— Даже не знаю, что делается у нас, под землею. Мне какая до этого нужда!.. Я люблю свое спокойствие и не ищу почестей. Хотя, сказать по совести, у нас все делается навыворот: не правда ли?.. И я сооб-

щу вам за тайну, что мы не довольны нашим положением: мы начинаем постигать, что скучно сидеть взаперти внутри земного шара, что здесь очень душно и неловко — не правда ли?.. Мы тоже хотели бы на солнце, не правда ли?.. Признайтесь мне, с какою целью прибыли вы сюда?.. Быть не может, чтобы вы провалились к нам без намерения, не правда ли?.. Как вы полагаете: что, если б здесь, внутри земли, вспыхнула между нами ужасная буря, но такая, чтобы земной шар лопнул и развалился на две половины, как пустой арбуз?.. Я думаю, что это было бы очень полезно для здешнего края, не правда ли?.. Мы, по крайней мере, погрелись бы на солнце, увидели бы небо и нахватали бы с него для себя звезд, которые у нас доселе очень редки. Если вы прибыли к нам, чтоб руководствовать нас в этом перевороте, то сообщите мне ваш план: я готов вам содействовать от всей души. Но — ссс! — молчите и не вверяйте ваших тайн никому другому, кроме меня. Здесь — знаете! — опасно; доносчиков тьма, и каждый из этих господ, которых вы видите, в состоянии изменить вам. Со мною другое дело. Я человек просвещенный и люблю звезды; мне можете вы верить, как самому себе. Я полюбил вас с первого взгляда и хочу быть вам полезным. Надеюсь, любезный друг, что вы в полной мере оцените мою к вам преданность: не правда ли?

Я был изумлен странным его предложением расколоть земной шар, но растроган его добродушною заботливостью о моей безопасности. Уставив на меня свои тонкие, острые, сверкающие взоры, он говорил с такою пленительною искренностью, с таким теплым чувством приверженности, что очаровал меня, как гремучий змей пораженную его взглядом птичку; и я стоял перед ним в глубоком недоумении, беззащитно дожидаясь, пока он меня поглотит. Я уже совсем не думал об его низком ремесле: он произнес последние слова с таким удивительным, честным излиянием сердца, что я не знал, как возблагодарить его за дружбу. Первый случай представился мне к обнаружению моего знания правил общежития, и я стал в тупик!..

К счастию, я как-то вспомнил о Пифагоре и Эмпедокле и, в смятении, нерешимости, не долго думая, треснул его по щеке изо всей силы. Мой сердечный друг трижды обернулся на пяте передо мною.

Я полагал, что он будет весьма доволен моей учтивостью; но, к большому моему удивлению, он надулся, отошел от меня к своим землякам и громко сказал в их кругу, что я грубиян, не умею почитать людей достой-

ных и честных. Я смекнул, что сделал глупость. Философ и множество гостей прибежали ко мне в отчаянии, спрашивая, чем я его обидел, и давая мне уразуметь, что он человек гордый и опасный и поступать с ним надо чрезвычайно вежливо. Я рассказал им весь случай.

— Ведь я говорил вам в точности держаться наставлений Пифагора и Эмпедокла!— воскликнул философ с нетерпением.— Они положительно советуют прибывающим сюда с лица земли, которые желали бы приобресть любовь здешних жителей, делать все в противоположность правилам тамошнего общежития, и говорят: «Чем противоположнее поступите, тем будет учтивее и лучше». Этот господин, сказали вы нам...

— Утверждал, что вы доносчики,— прервал я.— Он предостерегал меня насчет вас, уверял в своей честности, просил сообщить мои тайны ему лишь одному и клялся в своей ко мне преданности и дружбе.

— Как же в подобном случае поступают у вас с таким человеком?

— О, по нашим обычаям,— воскликнул я,— по нашим утонченным обычаям следовало бы чувствительно пожать у него руку с приятною улыбкою и поцеловать его в лицо.

— А вы?..

— А я дал ему оплеуху, по Эмпедоклу.

— Правда, что это довольно противоположно!— сказал философ.— Вы уже начинаете прекрасно понимать здешний порядок вещей и скоро перещеголяете нас самих. Но вы не прогневаетесь, когда я сделаю вам одно замечание: всякий свет, в отношении к нравам и учтивости, имеет свои тонкости, которые иностранцам бывает весьма трудно перенять с первого разу. Пощечина, вместо поцелуя в щеку, как ни противоположна последнему, все еще она как-то слишком слабо, слишком холодно выражает признательность за такую важную услугу, какую хотел он оказать вам, ибо есть средство быть гораздо учтивее, делая еще противоположнее, а Эмпедокл говорит: «Чем противоположнее, тем лучше». Если б вместо удара в лицо вы...

— Постойте!..— вскричал я, останавливая речь философа,— теперь я чувствую свою ошибку. В самом деле, можно было поступить еще противоположнее. Я исправлю ее немедленно...

С этими словами прыгнул я в другой конец залы, где мой приятель занят был жарким разговором с несколькими помещиками. Я обошел его потихоньку и хлопнул коленом в зад так удачно, что он чуть не исчертил всего паркета

концом своего носа. Он обернулся и, увидев меня, промолвил с сладкою, как мед, улыбкою:

— А!.. я всегда был уверен, что вы человек благовоспитанный и знаете, что кому следует воздать.

Я поклонился и перешел с торжественным видом к моим собеседникам. Они вскричали: «Прекрасно!»

— Прекрасно! — вскричал философ, — только держитесь в точности Эмпедокла.

С тех пор я пошел жить ногами-вверх, как следует. Общество, в которое попался я из погреба, было приятно, но мысль о будущем уже начинала мучить мое воображение. Я удалился в угол и стал думать нижеследующим образом: — Они, кажется, добрые люди, хотя имеют дурную привычку ходить вверх ногами. Но — почему знать! — быть может, оттого они и добрые люди, что они люди вверх-ногами?.. За всем тем, я для них чужое лицо: у меня здесь нет ни тетушки, ни собственности, ни наследства в виду. Если б, по крайней мере, были у меня деньги!.. Нельзя ли обыграть их в карты, по-нашему, по-петер...

. . . .

Но я вижу, что уже вам наскучил. Скажите правду: мои путешествия кажутся вам слишком длинными?.. Если так, я сейчас кончу, изломаю мое перо, не произнесу более ни слова. Ступайте в книжную лавку и купите себе другую книгу, которая, без всякого сомнения, скажет вам что-нибудь умнее моего. Перестаю в половине рассказа. Перестаю тем более, что у меня есть хороший приятель из книгопродавцев, которого я очень люблю и уважаю, который лучше меня знает, как должно сочинять книги, и который, пришед ко мне сию минуту, спросил о числе написанных листов и поморщился на бесконечность моего рассказа. О, он отменно понимает книжное дело!.. Его ничем нельзя сбить с толку. Возьмите его, как он есть теперь — он книгопродавец; оберните его вверх ногами — он опять книгопродавец. Он был бы в состоянии вести книжную торговлю даже внутри земного шара, там, где нет словесности. Он понимает сердце покупщиков, сердце благосклонной публики, как свою приходо-расходную книгу, и говорит, что за десять рублей надо вам дать не длинное сочинение, но длинное оглавление. Как я завидую философскому его положению в этом непонятном свете!.. Он знает объем голов сочинителей и читателей, как собственного своего кармана! Он говорит: такая-то

авторская слава стоит 258 рублей и 79 копеек с печатного листа; можно даже дать за нее 259 рублей, но более ни копейки. Потом, обращаясь к вам, к благосклонной публике, он опять исчисляет количество вашей любви к изящному на рубли и копейки, вашего терпения на строки; он ведет счеты вашему просвещению по двойной бухгалтерии: берет ваш ум и заглавный лист книги и примеряет их один другому, как два башмака; кладет на весы; с одной стороны — ваш вкус, с другой — красную бумажку и несколько статей в стихах и прозе и смотрит: вкус своею тяжестью перевесил деньги и изящное! — он подбавляет к последнему еще три тетрадки, — мало! — еще две, — мало! — еще одну статейку, — и этого мало! Надо подкинуть длинное оглавленьице и красную оберточку — вот теперь довольно! Он рад, и вы будете рады. Тогда он смело записывает ваше восхищение в долговой приход и спокойно ожидает срока платежу. Он слишком умен и добросовестен, мой почтенный приятель, чтоб я не послушался его совета: он боится, что мое длинное сочинение, с ничтожным в три строки оглавлением, не перетянет вашего вкуса. Так и быть: я замолчу. В другой раз я опишу вам мои похождения под землею: они очень любопытны!.. Я много испытал вверх ногами и видел много вещей в том же роде.

Во-первых, я путешествовал вверх ногами по разным подземным государствам: все они стоят опрокидью, хотя в различных положениях, и рассуждают навыворот о своем благоденствии. Я прочитал их политическую экономию и советовал им стоять, как они поставлены, трудиться и не рассуждать. Профессоры политических наук хотели за этот совет побить меня каменьем.

Во-вторых, несмотря на гонение со стороны мечтателей, я жил там очень весело. Порядочному человеку денег там иметь не нужно: все забирается в долг, и заимодавцы отдаются под суд, если потребуют уплаты. За обиду, нанесенную должнику домогательством платежа, сажают кредитора на высокую башню и велят ему трубить всю жизнь в банкротский устав. Это делается в противоположность тому, как у нас, на земле, неисправного должника запирают в тюрьму, в подземелья, не позволяют ему пикнуть ни слова и тем понуждают к уплате долгов без всякой отговорки.

Потом случился у меня процесс с одним подземельцем. Мы пошли на суд бить челом вверх-ногами. Секретари головою-вниз и женщины ногами-вверх разобрали нашу

жалобу и обещали нам обоим выигрыш. Судьи обернули наше дело вверх дном, рассмотрели его наизнанку, подвели законы навыворот и решили против шерсти. Мы проиграли оба. Я спросил у судей: «Что ж это такое?» Они отвечали: «Это правосудие». Я сказал: «Разве в обратном смысле того, что у нас, на земле, называется правосудием?..» Они сказали: «Да!»

Потом я наблюдал их государственное управление. У них есть две законодательные палаты, которые распоряжаются всем. Одна из них составлена из старых баб, а другая из молодых кокеток: обе занимаются сплетнями и ссорятся между собою и у себя за любовников. Молодые кокетки определяют количество сумм на ежегодные расходы их любовникам и себе на балы и подарки; старые бабы тихомолком подписывают это распределение издержек, а мужья тех и других обязаны вносить деньги беспрекословно. Местные философы вверх-ногами говорят, что это самый дешевый образ управления.

У нас, на земле, повсюду положено правилом определять к местам только умных и способных людей. У них, под землею, существует совсем противный закон, и кажется, был бы для людей гораздо легче к исполнению. Но люди и тут сделали крючок: я часто был свидетелем ужасного ропота в публике по случаю этого закона. Все кричали: «Беспорядок! Злоупотребление! Законы не исполняются!..» — «Как так?» — спрашивал я. Мне отвечали: «Вот определили к должности умного человека!.. Теперь все пропало! Он испортит заведенный у нас порядок, по которому очень удобно жилось вверх ногами». Мой приятель философ, пожимая плечами, говаривал мне в подобных случаях печальным голосом: «Что ж делать, любезный друг! Человечество, видно, так уж создано, что, как ни обороти его, все-таки законы не будут исполняться в точности».

Надобно знать, что дураки считаются там умнее умных людей. Там все навыворот!

Однако ж я должен отдать справедливость опрокинутому вверх дном свету, что там совсем нет взяток — и по весьма странной причине: потому, что взяток нет и у нас, на лицевой стороне земли! А поелику у нас нет взяток, следовательно — того, что не существует, никак нельзя оборотить на другую сторону. Я не знал, что взятки суть только поэтическая выдумка сатирических писателей. Начитавшись их сочинений, я хотел завести взятки внутри земного шара и убеждал подземельцев в возможности

брать их в потребном случае. Они смеялись надо мною. Я приводил им сочинения знаменитого певца взяточников Ф. В. Булгарина, которые знаю наизусть от доски до доски. Они сказали, что это клевета; что этого быть не может, потому что если б судьи наружной поверхности земли брали взятки от сторон, то судьи внутренней ее поверхности долженствовали б давать взятки сторонам из своего кармана,— что противно человеческой природе!.. Я принужден был согласиться, что взяток, ни взяточников нет в созданном мире.

Каким образом освещается свет вверх-ногами, есть ли внутри земного шара свое домашнее солнышко или нет,— того не могу сказать. Во все время моего там пребывания была дурная погода.

Однажды шел я спокойно, головою вниз, по тротуару, сложив назад руки, как вдруг несколько человек вверх-ногами схватили их у меня без всякого предварения и взяли меня задом в рекруты. Мне дали ружье, пороху и пуль и повели меня вместе с прочими за границу. Я спросил у одного из моих товарищей:

— Мы идем на войну, что ли?

— Нет,— отвечал он,— мы идем стрелять по нашим приятелям.

— Как же это называется, что мы будем делать с ними?— воскликнул я с удивлением.

Он сказал: «Нон-интервенция».

Я сказал: «А!»

Нон-интервенция?.. Это, без сомнения, немецкое вывороченное слово,— подумал я себе,— и если б отогнуть его назад, то, может быть, выйдет по-нашему — «комедия». У меня тогда не было с собою карандаша, и я не мог разобрать это слово по буквам. Если у вас есть карандаш, то потрудитесь сделать это сами: мне теперь недосуг. Мы пришли к одной большой крепости, начали стрелять, драться, убивать, гибнуть — и овладели ею. Я готов был присягнуть, что мы ведем кровопролитную войну. Но по взятии крепости наши противники подошли к нам, пожали у нас руки и сказали, что после этого они совершенно убеждены в нашей благонамеренности и дружбе. Тогда только я увидел, что мы вели кровопролитный мир. Одним словом, свет вверх-ногами во всем противоположен нашему свету вверх-головою.

Наконец, я женился под землею. Как это случилось, я, право, не знаю: помню только, что подземные бабы сплетничали долго, долго, очень долго, так, что поднялась ужас-

ная туча сплетней, и когда она разразилась, я неожиданно очутился женатым человеком. Мы с женою ссорились с утра до вечера: все завидовали нашему супружескому счастью. По системе противоположностей я должен был делать капризы, а жена была обязана управлять мною. Она скоро сошла с ума от забот управления и была избрана в члены законодательной палаты. Я опять остался холостым, и так провел остаток своей жизни вверх-ногами.

Вот и конец моим сказаниям! Теперь извольте купить себе другую книгу: желаю вам много наслаждаться.

Постойте! Я забыл о самом любопытном приключении моего сентиментального путешествия на Этну. Я расскажу вам его в двух словах.

После двухгодичного пребывания вверх ногами внутри нашей планеты, проведенного в беспрерывном странствовании из одной земли в другую, однажды утром пришло мне в голову съездить в гости к первой моей подземной знакомке, губернаторше, через погреб которой прибыл я на тот свет, и вместе повидаться с моим приятелем-философом, которому желал сообщить разные мои замечания. Я сел в повозку и поехал. На третий или на четвертый день пути погода сделалась ненастною, и вдруг поднялся такой сильный ветер, что у меня сорвало шляпу. Я приказал почтальону остановиться, вылез из повозки и побежал ловить шляпу. Едва сделал я несколько шагов, как мои колени зашатались подо мною, и я упал на землю. Я встал и опять пустился бежать, и опять упал. Тогда я только приметил, что земля трясется под моими ногами: сидя в повозке, я не мог этого видеть, потому что тамошние почтовые тележки построены навыворот, с передними колесами гораздо выше задних, и совершенно так же тряски, как землетрясение. Когда я повалился в третий раз, вдруг сделался сильный подземный удар, который толкнул меня в бок так жестоко, что я, лежа на земле, прыгнул вверх всем телом, как живая рыба на суше, и упал на другой бок в нескольких шагах от того места. Лошади, испугавшись удара, понеслись по полю во всю прыть. Я остался без шляпы и без повозки.

Приподнявшись с большим трудом, я дополз до плоского, широкого камня, лежавшего подле дороги, и сел на нем. Повозка с лошадьми закатилась за гору и исчезла из виду. За неимением другого занятия, я разинул рот и смотрел, как вихрь, сорвавший мою шляпу с земли,

кружил ее в воздухе винтовым движением. Неумолимая судьба, которая поставляла себе в удовольствие притеснять меня при всяком случае, не дозволила мне даже спокойно забавляться невинным зрелищем, представляемым собственною моею шляпою. Почва одним разом треснула под моим камнем, и я в одно мгновение провалился вместе с ним в пропасть, которая в ту же минуту сомкнулась надо мною. Песок засыпал мне глаза.

Я сидел на камне, но чувствовал себя придавленным со всех сторон. Землетрясение продолжалось: я невольно шевелился и подскакивал в могиле. Казалось, будто кто-то, схватив меня за плеча, трясет изо всей силы. Всякую минуту душа едва не выскакивала из тела вон. Я крепко держался за камень.

Но мы с ним не долго оставались на месте. Нас начало ворочать, ломать, метать, перекидывать на большие расстояния в рыхлой внутренности земли, размешанной колебанием, подобно тесту. Скоро были мы брошены в какую-то узкую пустоту, где ветер дул с ужасным воем, тогда как подземные громы страшно катились со всех сторон, подо мною, надо мною, спереди и позади меня. Те, которые во время сильных лихорадочных припадков планеты стоят на ее поверхности, не имеют еще никакого понятия о том, что происходит в ее растерзанном теле. Кто хочет узнать или описывать землетрясение, должен непременно зарыться в недрах земли и потрястись несколько часов вместе с нею.

Как скоро камень, и я на камне, всунулись в узкую пустоту, которую заткнул он собою, как пробкою, я стал дышать свободнее. Я ничему не удивлялся и ни об чем не думал, потому что думы и удивления гнездятся только в дремучем, сухом мозгу подражателей Вальтера Скотта, а не у человека, которым закупорено горло подземного паропровода. Быть может, следовало бы мне тогда вспомнить, что я погиб безвозвратно; но я и о том не вспомнил, а сидел бесчувственно на камне, поджав ноги и руки, как медный индийский брама на яшмовом пьедестале. Спустя несколько времени в отдаленной глубине подо мною послышался ужасный гром, который быстро возлетал ко мне и кончился сильным снизу ударом в камень, поддерживающий меня в гортани отвесно восходящего подземелья. В то же мгновение камень стал подниматься вверх с чрезвычайною силою и не прежде остановился, как забившись в другую, косвенную пустоту и тем открыв свободный путь подземным парам, которые пролетели ми-

мо меня с страшным ревом, рассыпая громовый грохот по боковым подземельям.

Хотя новая пустота, в которую был я заброшен, казалась обширнее первой и камень лежал на твердом слое минеральной массы, образующей род площадки, но я не осмелился слезть с него, решась разделять его участь. Здесь начал я, однако ж, соображать понемножку свое положение, и едва успел составить себе первое понятие: что я жив,— как опять все мои мысли погасли от внезапного испуга. В известной глубине и прямо подо мною раздался ужасный выстрел, взрыв с треском, сильнее залпа из нескольких сот пушек. Я упал на камень. Менее чем в пять секунд весь слой минерала, с камнем и со мною, был вытолкнут вверх на неизмеримое расстояние, подобно бомбе из ствола мортиры.

Не знаю, каким чудом удержался я на камне — без сомнения, потому, что некуда было свалиться — но то верно, что я не расстался с ним и в эту беспримерную минуту моего существования и лежал на нем брюхом, судорожно уцепясь руками за его края. Как мое лицо было обращено вниз, то я приметил, что мы с ним вылетели из вершины какой-то круглой, уединенной горы, что мы от нее удаляемся и парим вверх по воздуху с неимоверною быстротою. Оцепенение уничтожило во мне чувство опасности: я не понимал, что со мною делается, и смотрел на все равнодушно, как холодное зеркало. Туча черной, пыльной материи вырвалась вместе с нами из того же отверстия. Вслед за нею вспыхнуло желтое, горячее облако серного дыму и через секунду вылетел стрелою огромный, великолепный столб красно-желтого огня.

Мы — я составлял нераздельную часть камня — мы все еще неслись вверх, но уже в косвенном направлении к горе.

Я случайно поворотил голову в сторону, и дивное, вовсе неожиданное зрелище представилось моим взорам. На тускло-желтом небе висел большой, красный круг, без лучей и блеска, напоминающий луну или солнце, о существовании которых давно уже я и не думал. В другой стороне, на отдаленном небосклоне рисовалась высокая гора с двурогою вершиною. Прямо подо мною видны были город, селения и море. Голова кружилась; но нельзя было не подумать, что это местоположение несколько мне знакомо. Если б я не помнил, что нахожусь внутри земли и еду в гости к губернаторше, которая поймала меня промеж своего антр-ша, и к философу, с которым подра-

лись мы на печке, я бы сказал, что вижу перед собою Неаполь и Сицилию. Вот было бы странно, если б я, провалившись сквозь землю в Этну, нечаянно был выброшен назад сквозь Везувий?.. Но это уж слишком невероятно!.. Пустое! я этому не верю! Это все свет вверх-ногами...

Я продолжал парить на камне. Он уже был далеко от горящей костром горы, из которой выстрелило нами землетрясение, и описывал по воздуху огромную параболу. Пока он стремился наклонно к небу, я удерживался на нем без труда; но скоро движение его начало изменяться, и я впервые почувствовал опасность. Лишь только принял он решительное направление к земле, и я бегло приметил, что мы уже минуем берег и летим прямо в море, мой спаситель с исполинскою силою вырвался из моих объятий. Мы были расторгнуты и полетели по воздуху уже отдельно друг от друга. Он, как тяжелее меня, по всеобщей физике, понесся быстрее и дальше бухнул в море. Я должен был следовать за ним издали и продолжал падение, кувыркаясь в воздухе, подобно лоскутку бумаги, и описывая головою бесконечную винтовую линию. Города, рощи, селения, озера, холмы, зажженные вулканы и рдеющие пожарным заревом моря ворочались вместе со мною: я видел их пляшущими на небе, в воздухе и на земле. Странная эта игра света была последнею потехою, дарованною его лучами моим вскруженным взорам, которые горькая морская вода скоро долженствовала потушить навсегда. В моем уме оставались только два понятия — смерть и море, которые тоже вертелись коловратом в мозгу, образуя в нем яркое, радужное, искристое колесо, согнутое как бы из широкой огненной ленты. Однако ж, приближаясь к земле, я успел завидеть, что падаю на сушу, почти на самое взморье, по которому пролегала каменная дорога, вымощенная черною плитою. Но что пользы!.. Я тут расплюснусь, как куриное яйцо: уж лучше было нырнуть в воду!.. При виде мостовой в нескольких только от меня саженях со страху жизнь мгновенно испарилась из меня сквозь все поры моего тела, подобно воде, брызнутой на раскаленный камень; но в ту самую минуту, как, перекувыркнувшись в последний раз, валился я уже на землю, что-то нечаянно подсунулось под меня, и я упал в него задом, как в короб.

Это была коляска, мчавшаяся во весь опор. В ней сидели две особы, дама и мужчина. Я упал прямо на мужчину, которого вдруг раздавил своею тяжестью, и сам остался невредимым. Это часто случается в больших падениях.

Все это совершилось так мгновенно, что ни я не успел сообразить, что убил проезжего, ни он догадаться, что размозжен слетевшим с неба человеческим задом. Только, в минуту происшествия, мне показалось, как будто кто-то гневно проворчал подо мною: *«Год-дем...»** Дама кричала. «Ах!.. Ах!!.» — Лошади неслись еще быстрее. Кучер отчаянно ревел: «Прррррррр!..» — Я, сидя на высокой, мягкой куче, должен был ухватиться за край экипажа, чтоб не вывалиться из него на землю. Не прежде как пронесшись полверсты разгадал я свое положение: узнал, что еду в коляске, на почтовых, увидел под собою две толстые мужские ноги и вспомнил о произнесенном подо мною великобританском восклицании. «Странное дело! — подумал я в изумлении, — неужто я безвинно раздавил благородного лорда?..» — Я хотел объясниться с дамою, но она кричала во все горло и отворачивалась от меня, как от черта. Я хотел усесться удобнее, но толстые ноги почивавшего подо мною путешественника мешали мне избрать приличное положение. Видя, что меня предоставляют самому себе и что при первом ударе колес о камень могу быть выронен на мостовую, я воспылал нетерпением: приподнялся, опираясь левою рукою о заднюю стенку, засунул правую руку под себя, вытащил за воротник своего усопшего предшественника, жирного, короткого, боченковатого, выкинул его из коляски и сам занял его место.

Лошади мчались стрелою, кучер бранил их по-итальянски, я сидел и удивлялся. Многие обстоятельства внушали мне мысль, что я где-то в Италии, но мне все еще не хотелось верить своим впечатлениям. Я был уверен, что нахожусь внутри земного шара и еду вверх ногами. Слова, которые я слышал, легко могли быть татарские или калмыцкие, но, быв произносимы навыворот, казаться мне итальянскими.

Наконец кучер удержал лошадей, и дама перестала кричать, дрожа только от сильного испуга. Я подождал еще несколько минут, пока она совершенно успокоится, и тогда, желая вступить в разговор с нею на правилах подземной учтивости, ущипнул ее, по Эмпедоклу, за ляжку.

— Милостивый государь! — вскричала она по-итальянски — а может статься, и по-татарски! — отодвигаясь от меня подальше, — вы уж слишком много позволяете себе в чужой коляске.

---

* Черт побери... *(анг.)*

Я смутился и не знал, что отвечать. Сущая беда с этими дамами дном-к-свету!.. Никак не угадаешь, что может им понравиться. Я так вежливо к ней адресуюсь, а она сердится, как змея!..

Я, однако ж, приметил, что после этого вступления к знакомству моя спутница, закрытая белою кисейною вуалью, тайно бросает на меня взгляды и, видя, что я не похож на черта, хотя замаран сажею, начинает поправлять свое платье. Эти вывороченные дамы в одно мгновение ока из страшного гнева переходят в самое благосклонное расположение сердца!.. Врожденные ее полу любезность и желание нравиться даже черту, а за его отсутствием и трубочисту — меня легко можно было принять за последнего — преодолели в ней все прочие чувства. Она уже не отворачивалась. Я счел это время удобным, чтоб ей отрекомендоваться.

— Я желал, сударыня,— сказал я робко и умильно,— я желал извиниться перед вами, что имел несчастие раздавить в этой коляске... этого... этого... этого англичанина.

— Нужды нет! — отвечала она равнодушно, но без сердца, лёгонько кланяясь мне бочком.— Прошу не беспокоиться!

— Может статься, моим падением я помял почтенного вашего супруга?..

— Все равно!.. Оно почти не стоит того, чтоб говорить!

— Я не знаю, как оправдать мою неловкость...

— Ах, прошу, не женируйтесь из-за такой безделицы!

Разговор пресекся. Ее ответы удостоверили меня, что я в самом деле нахожусь в таком свете, где все идет вверх ногами, и только напрасно ласкал себя мыслию, будто я выброшен оттуда на лицевую сторону земного шара. «Какая противоположность в понятиях!— подумал я.— Так ли жена или любовница у нас, на нашей блаженной подсолнечной поверхности, отвечала бы после истолчения ее друга чужим задом, изверженным огнедышущей горою!!.»

Мне непременно хотелось сблизиться с моею спутницею. Чтоб пленить ее на первом шагу своей любезностью, по Эмпедоклу, следовало начать ссориться с нею; но я не мог придумать никакого повода к ссоре. Я увидел, что она вертится, хочет о чем-то спросить и не знает, с чего начать: она очевидно терзалась любопытством узнать, каким случаем попался я к ней в коляску и откуда. «Вот хороший

повод к ссоре! — подумал я. — Моя наружность не противна ее взорам: я мигом понравлюсь и ее уму». — Итак, я надулся и сказал твердым голосом:

— Сударыня, я не скажу вам, ни каким чудом упал я в вашу коляску, ни кем заронен сюда, ни почему так страшно замаран!

— Ах, сделайте одолжение, скажите!.. — воскликнула она, быстро поворачиваясь ко мне. — У меня ум из головы вон. Я не постигаю, что такое это значит...

— Не скажу!.. Ей-ей, не скажу!..

— Сделайте мне это удовольствие.

— Хоть бы вы меня убили, не скажу!

— Но когда я прошу вас так усильно?..

— Все равно, сударыня! Скорее умру на месте, чем соглашусь удовлетворить ваше любопытство.

— Заклинаю вас, не мучьте меня! Я умру, если не узнаю этой тайны.

— Умирайте; не скажу — хотя это очень, очень любопытно!

— Ах, какие вы жестокие!.. Итак, я отношусь с просьбою не к вам, но к вежливости благородно воспитанного мужчины. Надеюсь, что после этого воззвания вы не откажете даме в ее... — сказала она приятным голосом, который внезапно пресекла, чтобы, как будто ненарочно, откинуть вуаль, чтоб обнаружить моим взорам свежее, молодое, небесное лицо, озаренное лучами пламенной души и блистательною игрою радужной улыбки, сияющее ими подобно хрустальной люстре с ярким огненным венцом, из которого сыплются крупные капли света на прозрачные цепи и сквозь их алмазную сетку освещают веселье любви и счастия. Я потерял ум и глаза и в расстройстве, недоумении, в одно и то же время, произнес два совсем различные восклицания — одно мысленно, раздавшееся в целом пространстве моей души: «Ах, какая красавица!.. Такой прелестной женщины не видал я никогда в жизни!..», — другое словесно, которое ударилось в тимпан ее беленького, прозрачного уха и потрясло ее как бы электрическою искрою: «Мое почтение, синьора баронесса Брамбеус!..»

— Вы меня знаете? — спросила изумленная дама, услышав свое имя.

— Как не знать! — воскликнул я. — Я, кажется, имел счастие быть коротко знакомым с вами.

— Ваше лицо мне не чуждо, — сказала она с беспокойством и с некоторым напряжением любезности, —

но я никак не вспомню, где мы виделись с вами. В путешествиях столько иногда приходится завести коротких знакомств, что потом...

— Да я синьор барон Брамбеус! — вскричал я, прерывая вежливое оправдание. — Я все тот же Брамбеус, к вашим услугам! Как же вы меня не узнали?..

Дама мигом закинула вуаль на лицо и оборотилась ко мне спиною.

Я замолчал, и она не сказала ни слова. Мы проехали тихомолком целую милю. Я не слишком был доволен сделанным мне приемом и наравне с моею спутницею поражен странностью нашей встречи. Наконец, я припомнил, что надобно, однако ж, иногда говорить с женою, сидя в одной с нею коляске, и сказал:

— Не пугайтесь меня, сударыня: ведь я ваш супруг!

— Я думала, что вы черт! — отвечала она, не переменяя положения. — Вы такой замаранный!..

— Потому, что прибыл сюда прямо из пасти волкана, — возразил я. — Скажите мне, где мы? Как называются эта огнедышущая гора, этот город?.. Куда мы едем!

— Вот прекрасно!.. — воскликнула она, — вы уже не знаете, где находитесь!.. Слава богу, это Италия! Вот Везувий, а там далее Неаполь. Я еду в Рим.

— Надеюсь, что вы позволите мне сопутствовать вам туда? — спросил я.

— Как вам угодно! — сказала она холодно, но я видел, проникал ее досаду. Я помешал ей своим неожиданным появлением, втерся к ней в коляску без надлежащего предварения — она не могла быть мне за то благодарною. Она с беспокойством искала в своем уме средства к обращению всей вины на одного меня и как скоро нашла его, тотчас ударила на меня всеми силами своего красноречия.

— Вы, сударь, бросили меня в Сицилии без всякого повода! Вы уехали бог знает куда! Вы обо мне забыли и даже не написали ко мне ни одного разу... Это ужасно!

— Вы легко извините меня, — возразил я, — когда узнаете о моих несчастиях. Я упал в Этну; провалился сквозь землю, на тот свет, где люди ходят головою вниз и все дела текут вверх ногами; считал себя погибшим и никогда не увидел бы ни солнца, ни вас, если б ветер не сорвал с меня шляпы. Благодаря этому случаю, я был пожран землею и теперь случайно выброшен назад сквозь жерло Везувия. Я не виноват, что из того света нет письменной почты в Мессину.

Моя жена расхохоталась. Она подняла вуаль и быстро повернулась ко мне, как на винте.

— Вы шутите надо мною?..— воскликнула она.

— Право, не шучу!

— Так вы помешанный!.. Вы помешанный, любезный барон!.. Вы решительно помешанный!..

Она начала плакать, плакала сердечно и говорила, рыдая:

— Вот как эти изменники поступают с бедными беззащитными женщинами!.. Он оставляет чувствительную, нежную, обожающую его супругу, гоняется повсюду за миленькими глазками, которые свели его с ума, и, повстречавшись с женою, отделывается бессмыслицами; а я, несчастная, я два года и семь месяцев утопаю в слезах, не сплю, не ем, не вижу дневного света!.. (хлип, хлип, хлип, хлип!)... выжидаю его днем и ночью!.. (хлип, хлип, хлип!)... молюсь об его обращении на путь добродетели!.. (хлип, хлип!)...

Я не выдержал и сам расхлипался по ее примеру. У меня — знаете!— сердце русское, дворянское, мягкое, как кисель. Я нежно обнял мою баронессу рукою, стал называть ее своею бедною доброю, верною Ренцывеною, Ренцывенушкою, Рынею, душою, душенькою, кошечкой, голубушкою... Мы были очень нежны и растроганы. Вдруг пришло мне в голову одно обстоятельство. Я спросил:

— Кстати, мой друг бесценный, что делал здесь этот англичанин?

— Какой англичанин?

— Тот англичанин, лорд, которого место занял я подле тебя?

— О каком говоришь ты лорде?

— Ну, о том, которого раздавил я в этой коляске... которого душа, выжатая мною из жиру, провизжала подо мною: *Год-дем!*.. Словом, тот, который ехал с тобою из Неаполя в Рим?

— Нет, мой друг,— возразила она спокойно, сострадательным голосом,— ты уж точно сумасшедший!.. Какие грезятся тебе англичане?.. Здесь никого не было! Я ехала одна.

— Помилуй, душенька?.. Когда я сам, собственною рукою, выкинул его из коляски?..

— Тебе так показалось, мой друг!

—Ах, боже мой, душенька!.. Я так уверен в том, что раздавил его и потом выкинул из-под себя вон за не-

удобством ехать почтою на лорде, как в собственном своем баронстве, как в существовании двух рыб, трех стрел, одного медведя и пары оленьих рогов в моем гербе...

— Поверь мне, любезный друг, что это тебе привиделось. Ты упал свысока, а тем, которые летают по воздуху, всегда видятся небывалые вещи.

Этим она меня образумила. Почему знать? — может статься тем, которые из жерла огнедышащих гор падают нечаянно в коляски или в комнаты к своим женам, всегда так кажется, будто они раздавили при них чужого человека. На свете есть столько дивных оптических обманов, что те, которые хотят смотреть на вещи настоящим образом, никогда не должны бы употреблять к тому глаз. Если в пустынях Аравии раскаленный солнцем воздух в состоянии представлять взорам обманчивые картины городов, рощ, замков, озер, верблюдов и других скотов, то что мудреного итальянским пара́м вылить из тумана подобие толстого и короткого лорда? Надо много путешествовать, чтоб выучиться великому искусству — не удивляться ничему на свете и ничего не считать невозможным. Я согласился с баронессою, что это был оптический обман, что, вероятно, своим падением раздавил я английскую дорожную подушку, надутую воздухом, которая пискнула подо мною; а я, действием волканизма на мои глаза, уши и воображение, принял ее за англичанина и писк ее за английскую брань. Моя жена быстро примолвила, что в самом деле, точно такая подушка пропала у нее из коляски: вероятно, я ее выкинул!..

Итак, это дело было очищено. Мы поехали в Рим. Я не упоминал более об англичанине, и моя жена была чрезвычайно любезна со мною. Но я также не рассказывал ей ничего и о вывороченном свете, чтобы она не имела причины называть меня сумасшедшим. В Риме мы прожили...

Однако ж, господа, воля ваша! Вы, может статься, будете из учтивости защищать мнение баронессы, а мне все-таки кажется — я и сегодня готов побожиться перед вами, что я действительно раздавил англичанина. Я так убежден в этом, это понятие так крепко впилось в мою голову, что лишь только присяду, мне так и слышится — вот хоть и нынче, куря сигарку и пиша эти строки! — что̀ кто-то сердито ворчит подо мною: *Год-дем!..*

Мы прожили в Риме несколько недель, и очень весело. Красота моей жены приводила в восторг оба мира, светский и духовный. Мы получали всякой день кучу красивых

визитных билетов. Если б захотел, я мог бы через жену получить столько же индульгенций. Я приметил, что она уже не ревновала ко мне.

Однажды после завтрака сказал я жене:

— Любезная Ренцывенушка! хочешь ли прогуляться со мною?

— Куда?.. по церквам?

— Нет! Вот здесь, по потолку.

Она выпучила на меня свои большие, пылкие, прекрасные глаза. Я уверял ее, что нет ничего приятнее ходьбы вверх ногами. Она смеялась и называла меня шутом, угорелым, безумным. Чтоб убедить ее в истине моих слов, я поставил на столе столик, на столике стул, на стуле ящик; взобрался на эту пирамиду, оперся руками на ящике, лягнул задом вверх и, благополучно достав потолка ногами, пошел разгуливать по нем, как муха, головою вниз. Моя жена сперва кричала, что я упаду, сверну себе шею, раздроблюсь в куски; но, видя твердую мою походку, принуждена была признаться, что это очень забавно, очень весело, и начала хохотать от всего сердца. Я просил ее воспользоваться моим примером и погулять со мною вверх ногами. Она отказалась. Я стал просить ее еще убедительнее, доказывать, что в делах этого рода нужна только решимость; увещевал, заклинал, молил. Моя жена рассердилась, побранила меня очень резко и сказала, что она не хочет, не будет и не будет ходить по-моему, что я хожу, как дурак, как сорванец, и что она ходит, как все ходят.

Будьте же сами моим судьею и скажите: кто из нас виноват? Вы согласитесь, что ежели моя жена ходит так, как все ходят, то единственно по духу противоречия!..

Мы поссорились с нею ужасно «на сем основании».

Это, однако ж, нисколько не помешало моим удовольствиям. Всякий день после завтрака я хаживал гулять полчаса по потолку, для здоровья. Моя жена уходила в это время с своими знакомцами прогуливаться по церквам, как делают все порядочные люди в Риме. Я не препятствовал ей в этом развлечении, потому что это также род гулянья вверх ногами.

В одно утро, когда важно расхаживал я по потолку, сложив назад руки, толпа сбиров невзначай вторгнулась в мою квартиру. Они поймали меня за голову, стащили на пол, бросили в закрытую повозку и отвезли в какое-то подземелье. Меня душили в нем с лишком три недели. Некто патер Оливиери, толстый и угрюмый монах,

допрашивал меня неоднократно; но я никак не мог добиться, в чем состоит дело.

Однажды случайно растолковался я с тюремщиком, приносившим мне скудную пищу, и тот объяснил мне всю тайну. Я был заключен в темницах di Santo Uffizio, тайной инквизиции, по обвинении женою в чернокнижии и преступных связях с дьяволом, нечистою силою которого мог я держаться на потолке ногами и ходить по нем головою вниз. Болтливый тюремщик рассказал мне, что я уже признан колдуном по суду и, вероятно, скоро буду казнен. Я желал узнать род моей казни, и он отвечал, что по закону за чернокнижие я должен быть сожжен публично; но как этот род наказания обесславлен криком нечестивых философов, то я без сомнения буду колесован или удавлен в темнице, без огласки, на небольшой, но весьма уютной машине, которую, по своей вежливости, обещал он показать мне завтра. Я затрепетал. Приметив мое волнение, тюремщик хотел меня несколько ободрить и сказал, чтоб я преждевременно не беспокоился насчет рода казни: он почти может ручаться головою, что терзать меня не станут, а затиснут мне горло на этой уютной машинке, потому что, как он слышал, неаполитанская миссия, почитая меня волканическим произведением, извергнутым пастью Везувия, доказывает, что я составляю неотъемлемую собственность Королевства обеих Сицилий, и требует выдачи в целости моей кожи, чтобы набить ее соломою и поставить в Везувианском музеуме.

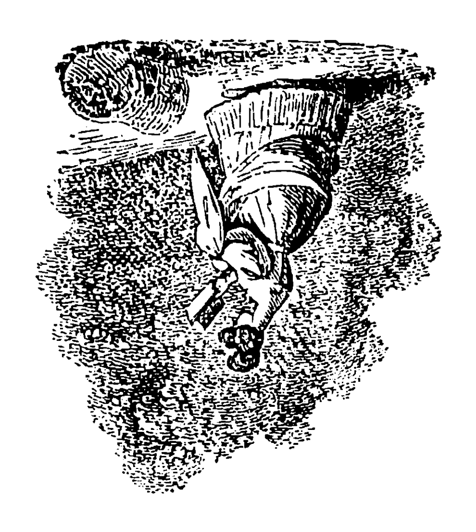
Прекрасное утешение!..

Как скоро ушел тюремщик, я облился слезами и плакал всю ночь, горько сожалея о том, что напрасно пошел ловить шляпу и оставил свет вверх-ногами. Здесь я сидел в тюрьме у суеверных инквизиторов, которые сбирались жарить меня на огне за колдовство, а там, вследствие системы противоположности, без сомнения, сам я, по Эмпедоклу, жарил бы их палками за невежество. На другой день мелькнула в моей голове светлая мысль: нельзя ли как-нибудь ускользнуть отсюда внутрь земли, туда, где откровенно ходят вверх ногами и делают все навыворот без всякого лицемерства?.. Право, там гораздо лучше!.. Это намерение пролило в мое сердце некоторую отраду.

С нетерпением ожидал я ночи, чтоб начать свой дерзкий опыт прорыться сквозь скорлупу шара планеты и уйти от инквизиции под землю. Но к вечеру вошло в мою темницу какое-то таинственное лицо, которое, усевшись против меня, начало речь увещанием, чтоб я отрекся от сношений с

нечистою силою, а окончило объявлением, что я могу еще быть спасен, ежели формальным документом откажусь вместе и от моей баронессы. Я охотно подписал бумагу.

Спустя несколько дней я был выпущен из подземелья. При выходе моем из тюрьмы вручили мне разводную с женою и взяли с меня подписку, что я немедленно оставлю Италию, на пути нигде не буду гулять по потолкам и не ближе начну ходить вверх ногами, как приехав во Францию.



1833 г.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ НРАВЫ

ПЕТЕРБУРГСКАЯ БАРЫШНЯ

Посмотрите, посмотрите!.. Вот она!.. В гроденаплевом клоке с двумя длинными зубчатыми воротниками, украшенными широкою гирляндою, вышитою шелком, в малой атласной шляпке розового цвета с черною бархатною подкладкою!.. Вчера только пришел по почте обожаемый журнал «La Mode»: сегодня уже видите вы на ней точно такой клок и такую шляпку, какие предписаны модою. Она выбежала из Английского магазина и верно спешит к Лангансу. Вот она входит в его лавку!.. вот уже исчезла!

А, право, жалко, что вы не успели ее завидеть!.. Не дурна собою!.. Но если вам угодно постоять здесь минут десять, то мы еще увидим ее, когда от Ланганса будет она проходить к мадам Кзавье или к Сиклер... Очень недурна собою!.. Нельзя сказать, чтоб она была красавица; но она мила, привлекательна, прелестна. Немножко бледна — здесь такой климат! — черты лица ее не слишком правильны — довольно странно в таком правильном городе, как здешний! — глаза сероваты, грудь несколько плоска, волосы почти белые... но зато талья, зато ножка!.. хоть пиши с них картину. Вы, наверное, где-нибудь ее видели: бьюсь об заклад, что вы не раз встречали ее и в марте месяце на Невском проспекте, и в мае месяце в Летнем саду; встречали на островах, в магазинах и даже в Гостином дворе. Вспомните!.. Она ходила, держась под руку, с этой жеманною гувернанткой, швейцаркою, которая на улице так громко рассуждает о добродетели и так сладко улыбается офицерам...

— О ком вы говорите?..

Да о той — знаете! — за которою вечно переваливается по тротуару госпожа пожилых лет, низенькая, толстая, гордая, в темно-пунцовом капоте и плюшевой шляпке с

перьями, в шеншиловом палатине, с шеншиловою муфтою, с бородавкою, с собачкою; позади ее два дюжие лакея в полинявшей ливрее, обшитой новым басоном с гербами... которая всегда одета так щегольски, так богато, с таким вкусом... Вы сами, помнится, еще говорили об ней: какая шалость, какая необдуманная роскошь таскать в дождь и грязь дорогие атласы, меха, блонды!.. Ну, коротко сказать, вы ее знаете и не могли не приметить в нынешнем году на всех почти гуляньях!..

— Кого, однако ж?

Санктпетербургскую Барышню!.. Фамилия ее мне неизвестна, но имя ее Надежда: я слышал, как эта толстая, пожилая госпожа с шеншиловою муфтою — эта санктпетербургская маменька — зовет ее по-французски: Наденька, Наденька, ne courrez pas si vite!.. Espérance! vous minaudez comme une* кукла!.. Наденька, vous sautez, mon petit pigeon, comme un** рябчик!.. Да и вы слышали это.

Ей теперь от роду восьмнадцатый год по счету маменьки, а двадцать четвертый по счету петербургских приятельниц. Взяв среднее число, найдете настоящий ее возраст — двадцать два года и четыре месяца.

Но как ее отчество?.. Без сомнения, Васильевна, Александровна, Ивановна, Петровна, Андреевна или, в самом уж крайнем случае, Сергеевна. И здесь вернее всего взять среднее число: по этому правилу выйдет, что ее зовут Надеждою Ивановною.

Итак, Надежда Ивановна или, общим термином, Петербургская Барышня еще довольно молодая девица. Но уже пора ей замуж. Маменька ищет для нее мужа по всему городу: ищет его поутру в Английском магазине, ищет в два часа на гулянье, ищет ввечеру на бале. По сю пору она еще не нашла никого. Любезные земляки по уезду! Зачем не подсунетесь вы к Петербургской Барышне?.. Можете ей понравиться, можете получить руку ее: конкурс открыт для всего света.

Боитесь ли того, что она привыкла к роскоши?.. что ее приучили забирать в магазинах товары в долг без счету?.. Пустое!.. Это делается только для того, чтоб показать богатство и скорее найти жениха. Она сама сожалеет об этой ложной и пагубной уловке своих родителей.

---

* не бегите так быстро!.. Надежда! вы жеманны, как *(фр.)*.
** вы прыгаете, мой маленький голубок, как *(фр.)*.

Похлопочите: ей-ей, прекрасная партия!.. Во-первых, Петербургская Барышня тиха, как кошечка; скромна — очень скромна!.. она краснеет, когда ей приходится сказать слово *нога*, а слова *подвязка* не выговорит она вам ни за какое благо в мире. Да какая она чувствительная!.. Я сам видел, как она плакала в театре при представлении «Антонии», «Филиппа», «Матери и дочери — соперниц», хотя не понимала ни одного слова в этих пьесах. Теперь в моде возить молодых девушек на все романтические драмы и давать им в руки все романы новой парижской школы, с условием только, чтоб они их не понимали. Сверх того, какая она застенчивая с мужчинами!.. она не умеет сказать им ни трех слов, хотя прекрасно знает три иностранные языка: французский, английский и немецкий — русского и считать нечего, потому что это язык природный, то есть она знает по-русски столько, сколько ей нужно, чтоб объясняться с горничною и приторговать пять аршин тюлю в Гостином дворе. Санктпетербургская Барышня держится прямо и раздает милостыню с особенною прелестью. В кадрили и голопаде она легче бабочки; верхом, на лошади, тверже гусарского ротмистра, ибо дважды в неделю упражняется она в манеже с кузеном Леонидом. На арфе играет она немножко, но на фортепьяно — первой силы! Мейер дает ей уроки по сю пору, а прежде училась она даже у Фильда. Хотя голос у нее слабый, но она приятно поет итальянские арии и придерживается партии антироссинистов. Она превосходно рисует ландшафты, цветы, носы, уши, головы и даже Аполлонов. Одним словом, она получила самое блистательное воспитание, такое, как теперь дают девушкам в Париже, и смело можно сказать, что лучше воспитанной невесты не найдете вы в целой Европе.

Но воспитание — безделица!.. Надежда Ивановна имеет еще другие отличные качества. За нею обещают дать в приданое тысячу пятьсот душ на Волге, которые папенька только вчера заложил в банке. Кстати, мы ничего не сказали о папеньке Петербургской Барышни. Да об нем нечего сказать: он, вероятно, действительный статский советник, как все папеньки хорошего тона; числится по герольдии и теперь играет в вист в Английском клубе. Он ничего не делает и давно уже уехал бы в Москву или в деревню, если бы удалось выдать дочь за кого-нибудь.

Кроме приданого, которое отдается не прежде, как по смерти отца, получите вы за Наденькою тотчас еще пять дюжин дядюшек, тетушек, бабушек и целый взвод двою-

родных и внучатных братьев. Это не шутка!.. При помощи их можете отличиться. Я уверен, что по общему положению о петербургских барышнях в числе ее дядюшек должны быть по крайней мере два генерала и три камергера; один двоюродный братец в пажах, а крестный отец ее непременно кто-нибудь из важнейших вельмож. Право, не дурно!..

В городе утверждают, по секрету, будто Надежда Ивановна влюблена в одного молодого поручика, и миловидного, и храброго, и богатого, и хорошей фамилии, и порядочно воспитанного: по крайней мере, она преимущественно с ним танцует на всех балах. Я уже слышал от многих почтенных пожилых дам, что это была бы прекрасная пара. Но, я думаю, это сплетни. Спешите, спешите!.. еще ничего не сделано, еще можете перебить ее у поручика. По чести, завидная партия!..

Скажу вам даже, к кому надо адресоваться: к маменьке, потому что папенька думает только о хомутах и о висте, и к тетушке Марфе Тимофеевне. Это всеобщая петербургская тетушка, без которой ни один брак в городе не смеет состояться. Маменька и тетушка ужасно как любят Петербургскую Барышню: при всяком рассуждении о счастии и чувствах они торжественно объявляют, что ищут для Наденьки не денег, а доброго, кроткого супруга, с которым она могла бы быть счастливою. Ну, где найти других таких благоразумных тетушек и нежных маменек! Это следствие беспрерывного чтения романов.

Ах, как вы ленивы!.. Я бы усердно желал, чтоб вы на ней женились, потому что одни вы в состоянии составить ее счастье согласно романическим понятиям маменьки и тетушки: у вас нет денег, а такие мужья тихи и безмолвны, таких именно ищут для Наденьки,— а вы, по своей медлительности, нерешимости, выпустили почти из рук и прекрасную невесту, и большое приданое, недавно заложенное в банк, и наличными пять дюжин покровителей, покровительниц, советников и домашних друзей!.. Жалко!.. Вот, сегодня с самого утра пожилые дамы и старые девицы уже бегают по городу с важной новостью, что дело решено: Наденька будет счастлива — она выходит замуж за того, кого любит и кем пламенно любима, за того самого миловидного, храброго и богатого поручика, с которым танцевала она на балах.— Но верно ли это?..— Могу вам в том поручиться.— Мне что-то не верится!— Вот мило!.. Кто лучше меня и тетушки, Прасковьи Ильиничны, знает эти дела? Она сама видела у мадамы подвенечное платье.—

Когда же свадьба?— Послезавтра, в семь часов вечера, в Казанской.

Ежели так, я очень рад. Я люблю Петербургскую Барышню. Она девушка добрая, несмотря на все недостатки воспитания, данного ей родителями, не знающими в том никакого толку; несмотря на дурные примеры необузданной роскоши, тщеславия, вспыльчивости, гордости, домашнего беспорядка, коими она была окружена с малолетства даже под отцовскою кровлею, душа ее осталась неразвращенною, невинною, чистою как зеркало, мягкою как воск. От всего сердца желаю ей счастья, которое она заслуживает в полной мере, и радуюсь, что она будет счастлива. Пойду непременно посмотреть, как будут венчать ее в Казанской церкви.

Вот уж и послезавтра, и семь часов вечера. Иду на свадьбу Наденьки. Скорее, скорее!.. Они уже стоят у налоя. Хочу, во что бы то ни стало, видеть ее в эту торжественную минуту: нет в мире существа счастливее, священнее, почтеннее добродетельной девицы, присягающей перед лицом бога, с сердцем, исполненным теплой веры быть верною тому, кого она обожает, и любить его до гробовой доски. Это для нее минута небесной сладости: хочу непременно луч этой сладости увидеть в ее глазах, чтоб иметь понятие о блаженстве херувимов.

Но где она?.. Что это?.. что я вижу?.. Наденька без чувств!.. Боже мой!.. А жених стоит равнодушно, как гранитный столб!.. Надо порасспросить: вот, кажется, знакомые дамы!— Мое почтение, сударыни! Вы тоже любопытствовали видеть свадьбу Петербургской Барышни? Сделайте одолжение, скажите, что это за суматоха?.. Что такое случилось?..

— Бедная Наденька!..

— Что?.. как?.. почему?..

— Упала в обморок, почувствовав свою руку в руке будущего своего супруга!.. Какое варварство!.. отдавать на жертву такое милое, доброе дитя!.. Мать, наверное, виновница всего этого, потому что тетка — добрая женщина.

— В чем же дело?

— В том, что ее насильно заставляют выйти замуж за этого пожилого господина, что в парике и со звездою... за барона фон... фон... Право, и фамилии его не вспомнишь!..

— А поручик?

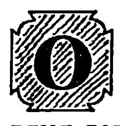
— Поручику отказали, потому что у него нет звезды и он не может ездить с женою ко двору.

— Однако ж мать всегда повторяла, что она не ищет богатства...

— Она и не нашла его в новом зяте: напротив, он женится на ее дочери единственно из-за предполагаемого огромного приданого; но у него есть звезда, и по своему чину он, вероятно, будет приглашен с женою в придворный театр. Мать говорит, что без этого нельзя быть счастливою; что она сама весь свой век горевала о том, что муж ее не умел возвыситься и не доставил ей этого отличия; что для прикрытия своего унижения в глазах дам, равных ей в других отношениях, она принуждена была жить пышно, затмевать их роскошью, делать долги, разорять мужа и детей...

Бедная Наденька!.. Несчастное дитя честолюбивой матери и глупого отца!.. А у нас таких родителей тьма-тьмущая!.. Довольно с меня этого: в другой раз не пойду на свадьбу Петербургской Барышни.

ЛИЧНОСТИ



Однажды в шутку закричал я на улице: «Вор! Вор!.. Ловите!..» Десять человек оглянулось. Один из них, входя в питейный дом, проворчал так, что я сам расслышал: «Ну, как у нас позволяют говорить на улице такие личности!..»

Мой приятель, барон Брамбеус, шел по Невскому проспекту и думал о рифме, которой давно уже искал. Первый стих его оканчивался словом *куропатки*: второго никак не мог он состряпать. Вдруг представляется ему рифма, и он, забывшись, произносит ее вслух: *куропатки?.. берет взятки!* Шесть человек, порядочно одетых, вдруг окружили его, каждый спрашивает с грозным видом: «Милостивый государь! О ком изволите вы говорить?.. Это непозволительная личность».

В одной статье сказано было: *«Есть люди, которые никогда не платят своих долгов»*. Я прочитал эту статью поутру и глубоко вздохнул. Ввечеру прихожу в одно общество: там читают эту же статью, и первое слово, которое слышу в зале: «Боже мой! За чем смотрит у нас цензура?.. Как можно пропускать такие личности!..»

Напиши или скажи какую-нибудь истину — из нее тотчас выведут тебе две сотни личностей. Это обыкновенный порядок вещей на свете, но порядок весьма глупый!

Есть люди, у коих самолюбие такое огромное, такое раздутое, гордость такая колоссальная, что они загораживают вам своим лицом целый горизонт; всякое слово, пущенное на воздух, непременно попадает в них, как ядро в стену, и делает брешь в их тщеславии; то... Но вот я еще не кончил периода, как уже почтенный Тимофей Панкратьевич кричит мне в ухо, что это личность, что я мечу прямо на него... Извините, сударь: позвольте мне по крайней мере досказать фразу. В доказательство того, что я об вас и не думаю, вот вам французский журнал «L'Entr'acte»*, из которого заимствую я эту мысль. В Париже, когда писали статью, верно вас в виду не имели.

Да это сущая беда!.. Нельзя даже упомянуть ни о какой человеческой слабости, ни о каком злоупотреблении в свете, чтоб кто-нибудь к вам не придрался. Всякая глупость имеет своих ревностных покровителей. Прошу покорнейше не говорить ни слова об этой странности: она состоит под моею защитою.— Как вы смеете, сударь, насмехаться над этим пороком?.. Я им горжусь: это моя неприкосновенная собственность.— Что вы сказали вчера о безобразных носах?.. Это личность: прошу взглянуть на мое лицо.

Так и быть: выкину в окно чернильницу и бумагу, изломаю все станки, уничтожу перья и типографии; буду молчать и играть в карты, чтоб не говорили, что я пишу только личности.

Третьего дня встречаюсь на улице с одним знакомцем.

— Здравствуйте, Иван Иванович!

— Мое почтение, Афанасий Лукич!

— Не вы ли это написали в какой-то статье, что иногда случается, что награждают людей без всяких заслуг?

— Я.

— Знаете ли вы, что я тоже недавно получил награду?

— Знаю.

— Как же вы смели это написать?

— Потому что это иногда случается и с теми, которые еще стоят менее вас.

— Пустая отговорка!.. Все говорят, что это написано на меня, все меня узнали.

— Скажите им, что они ошибаются.

---

* «Антракт» *(фр.)*.

— Нет, милостивый государь! Вы будете мне за это отвечать.

— С удовольствием. Я отвечаю вам, что вы помешались. Я знаком с одним из надзирателей Желтого дома и могу выпросить у него уголок для вашего высокоблагородия.

Но это только один случай из тысячи подобных. Представьте себе, что со мною случилось сегодня.

Недели две тому назад написал я статью: *о дураках*. Две тысячи пятьсот восемьдесят семь человек подписали на меня формальную жалобу на предлинном листе бумаги, нарочно заказанном ими на петергофской фабрике, и подали ее по команде. Я не видал этого прошения, но говорят, что оно семью саженями, аршином и девятью вершками длиннее того, которое герцог Веллингтон поднес английскому королю от имени всей партии тори против билля о преобразовании парламента. Начальство, рассмотрев мою статью, не нашло в ней ничего предосудительного и отказало им в предмете жалобы. Огорченные неудачею, все они привалили ко мне требовать личного для себя удовлетворения. Улица была наполнена ими с одного конца до другого. На моей лестнице народ толпился точно так же, как на лестнице, ведущей в аукцион конфискованных товаров. Все они в один голос вызывали меня на дуэль. Не имея возможности объясняться с каждым лично, я предложил им мою расходную книгу, оборотив ее задним концом вперед, и просил их записывать в ней свои требования. Между тем моя молочница, которая всякое утро приносит мне с Охты свежие сливки к завтраку, дожидаясь конца этой суматохи, принуждена была простоять на улице битых пять часов и никак не могла пробраться в мою переднюю. Наконец явилась полиция и с трудом пропустила ко мне молочницу сквозь эту широкую толпу. Но, пробыв пять часов на морозе, сливки ее замерзли, и я остался без завтрака. А я страстно люблю кофе со свежими сливками!.. Это послужит мне уроком — в другой раз не писать личностей.

Но вот, слава богу, все ушли. Теперь сосчитаем, сколько записалось противников. Раз, два, три, четыре... Тьфу, пропасть! Две тысячи пятьсот восемьдесят семь человек!.. И все они, как будто условившись, назначили один и тот же день и час для расправы со мною!..

Как же быть?.. А надобно драться со всеми! Правила чести требуют того непременно.

Постойте! Я разделаюсь с ними прекраснейшим образом. Выстрою их в каре: девяносто восемь рядов в двадцать

шесть шеренг; это выйдет ровно... 2587 дураков. Будем стреляться.

Ведь они меня вызывают на дуэль, а не я их?.. Следственно, я имею право стрелять в них первый.

Еду тотчас на завод г. Берда и заказываю себе паровое ружье Перкинсова изобретения, из которого вылетает по тысяче пятьсот пуль в минуту. Оно устроено на шпиле и, ворочаясь, описывает концом своим четверть круга. Проучу же я этих господ!.. Увидите, какую сечку, какой винегрет сделаю я из дураков! В один залп не останется ни одного из них в живых; я наведу на них ружье под углом 46 градусов, прямо в грудь по обыкновенному росту человека.

Но как управиться с малорослыми?.. Их не хватят мои пули.

Есть у меня средство и на это. Объявляю, что я дерусь только с большими дураками, ростом в два аршина и шесть вершков по крайней мере. И чтоб не быть обманутым, наперед поставлю их под рекрутскую меру. Те, кои окажутся пониже — брак!.. прочь!.. Маленькие дурачки не допускаются к дуэли.

Съехавшись на месте, условимся как стоять: боком ли, или лицом ко мне. Я на все согласен.

Когда уже после этой дуэли останусь я в живых, то — клянусь башмаками далай-ламы — на всю жизнь свою отказываюсь от *личностей*.

ЧЕЛОВЕЧЕК

Случалось ли вам когда-нибудь, возвратясь поздно домой, к вашим мирным и полезным занятиям, войти в свой кабинет в плаще, в шляпе и перчатках, с сердцем, растерзанным грустью, огорчением, с умом, недовольным собою, недовольным жизнью, людьми и целым светом; и вошедши, остановиться посредине комнаты, сложив руки на груди, и призадуматься — о том, например, кто такой пустил в обращение эту мерзкую на ваш счет историю?.. кто так подло, так дерзко оклеветал вас пред вашими друзьями?.. кто на сухой, алчный язык общества выжал этот медленный, но убийственный яд, который сперва, при появлении вашем в собраниях, приводил все уста в легкое кривлянье и, наконец, пробежав по всем его членам, отравил все мнения, поразил вас в сердце смертельно?.. Случалось ли вам

когда-либо погружаться в подобную думу и потом, внезапно вырываясь из нее, схватить шляпу с головы и с гневом кинуть ею в угол софы, хлопнуть одною перчаткою о стол, другую бросить на землю, сильно притопнув ногою, и вскричать: «Ах, если б я знал этого негодяя!.. Я бы исторгнул у него язык из пасти!.. Этою рукою на песьих щеках его начертал бы я вывеску гнусного ремесла, которым он занимается!..»

Не ищите его далеко: это — человечек. Он-то услужил вам так искусно, по-приятельски.

Хотите ли, чтоб я описал вам его приметы?.. Он бывает всех ростов, возрастов и объемов: мал и высок, толст и тонок, стар и молод; сегодня он кажется вам белокурым, завтра увидите вы у него волосы и глаза черные. Вы подумаете, что это совсем другое лицо?.. Отнюдь нет! Ежели вы мне не верите, спросите у добрых людей, указав на него пальцем: кто это таков?.. Всякий вам скажет, пожимая плечами: «Так!.. Человечек!»

Несмотря на разнообразность его наружности, он всегда один и тот же; по душе он всегда человечек и никак не может выклюнуться из этого душевного роста, хотя, выпрямясь хорошенько, иногда доходит телом до двух аршин и двенадцати вершков.

Могу сообщить вам некоторые об нем подробности: по ним легко узнаете вашего злодея, которого охотно предаю в ваши руки,— даже чувствительно буду обязан вам, ежели, мстя за свою обиду, в истинное одолжение прибавите вы ему одну лишнюю оплеуху за то, что он мне сделал. Ах, он много испортил во мне крови!.. Но это длинная история: обратимся к подробностям, могущим навести вас на его след.

Когда вы сватались к прелестной, предоброй и пребогатой Прасковье Тимофеевне, в которую, по вашим словам, влюблены вы были без памяти — помните ли?— кто-то незнакомый ни ей, ни ее родителям, называвший себя вашим коротким приятелем, сказал им в концерте, как будто защищая вас от клеветы, что у вас полмиллиона долгов и полдюжины любовниц. Это был человечек.

Однажды на вас был подан ложный, никем не подписанный донос, и один из ваших знакомцев прибежал известить вас о том, предлагая вместе свои услуги, чтоб вывести вас из беды. Доносчик и ваш услужливый знакомец составляли одно и то же лицо: это был — человечек.

Недавно получили вы по городской почте безыменное письмо, которое поссорило вас с супругою и с лучшим

вашим приятелем. Вы долго ломали себе голову догадками, от кого бы оно происходило,— а оно было от человечка!

Вы, может быть, спросите, откуда мне это известно. Как так?.. Я знаю об этом от того же человечка, который душевно соболезновал передо мною. О! Мы с ним большие друзья: он обедает у меня дважды в неделю и вредит мне только дважды в месяц. Это с его стороны доказательство нелицемерной дружбы, ибо другим вредит он по два раза за всякий обед. Правду сказать, я, грешный, люблю человечка: он такой добрый! такой уступчивый! Исполнен желания услужить вам советом и делом!.. Если я нахожусь в затруднении, он тотчас предлагает мне или оклеветать моего противника, или обмануть его каким-нибудь законным средством. И когда однажды наплевал я ему в рожу у себя за обедом, он, в порыве благородного негодования, схватив нож с тарелки, уже хотел кольнуть меня в бок и вместо того кольнул им жаркое, а у меня поцеловал руку и сказал, что я его благодетель.

Как не любить существа, одаренного таким кротким, таким любезным нравом?..

Вчера встретили вы его на Невском проспекте: он лгал, льстил, ползал, подличал перед вами безо всякой нужды, единственно из удовольствия быть вашим приятелем, и еще предостерег вас насчет одной малоизвестной вам особы, которая случайно проходила мимо вас. Вы не хотели ему верить, и он, чтоб убедить вас в своей искренности, очернил пред вами десятерых других прохожих. Расставшись с вами, он догнал каждого из них особо и перед всяким очернил вас. Неужели вы еще его не узнаете?..

Зайдите невзначай к вашему другу: непременно застанете у него какое-то знакомое лицо с кисло-сладкою улыбкою, которое вдруг переменит предмет разговора и заведет речь о погоде. Я бьюсь об заклад, что это — человечек. И можете быть уверены, что до вашего прихода целию сострадательных его рассуждений были вы. Он уже успел предостеречь вашего приятеля о ваших чувствах, мнениях и намерениях; теперь остается ему только подойти к вам, поклониться и напомнить вам, что он имел удовольствие быть знакомым с вами. Ежели, подошедши, еще пожмет он у вас руку с чувством, с преданностью, с почтением, берите его за шиворот: это уж наверное — человечек!

Не то идите в Летний сад. Гуляя в аллее, вдруг услышите вы шипение за которою-нибудь статуей и сквозь

зеленую, движущуюся сетку акаций увидите двое маленьких, быстрых змеиных глаз, сверкающих ядовитым огнем. Вы испугаетесь, отскочите назад, спрячетесь за дерево, думая, что это гремучий змей, скорпион, ехидна... Не бойтесь: это тот же доброжелательный человечек. Поймав честную душу, которую сбирается надуть, он дружески предостерегает ее насчет гуляющих. Человечки предостерегать горазды. Им по опыту известно, что это кратчайший путь к доверию и к чужим тайнам, которые хватают они, как рыболовы окуней, выдергивают у вас изо рта, как дантисты зубы, высасывают из-под кожи, как пиявки кровь:

Non missura cutem, nisi plena cruoris, hirudo*.

Ежели у вас есть несколько лишних тайн, то лучше пожертвуйте ими добровольно, бросьте им в лицо и уходите: иначе не отвяжутся они от вас. Ваши тайны им необходимо нужны: они торгуют тайнами, одеваются тайнами, ездят на тайнах, едят и пьют тайны.

Видели ли вы когда-нибудь голодную гиену, радостно прыгающую через огороды, через заборы, через поля с ребенком в пасти, похищенным на груди несчастной матери?.. Мне однажды случилось видеть ее в этом положении, и могу вас уверить, что это подлинное изображение человечка, уходящего в свою нору с похищенною у вас тайною, которую с зверским удовольствием будет он там ворочать на все стороны, взвешивать на руке и растягивать зубами, чтоб сделать из нее извет или продать ее вашему противнику.

Загляните мимоходом под ворота присутственного места: увидите там жалкую, заботливую, низкопоклонную фигуру, торгующуюся с бедным канцеляристом о цене вверенной ему бумажной тайны. Эта фигура есть человечек.

Поезжайте в пятом часу к знатному вельможе в случае, который хорошо вас принимает, и вы будете даже иметь удовольствие обедать с человечком. Узнаете его по его услужливости к хозяину и к гостям; он подставит вам стул, подаст воды, нальет вина и при этом случае переменит у вас прибор. Вы подумаете, что он в доме род дворецкого? Нет, он так, человечек: доказательством служит то, что он ест за шестерых и в то же время рассказывает город-

* Пиявка отстанет от кожи, только выпив всю кровь *(лат.)*.

ские сплетни, содержанием коих старается неприметно действовать на хозяина, чтоб заранее обделать его мнение согласно своим видам. Никто не умеет так искусно пользоваться чужим обедом, как человечки. И где за столом нет человечка, там, будьте уверены, или дурной повар, или хозяин причислен к герольдии.

Но он иногда живет и на свои деньги. Тогда его кофе стоит ему двух клевет, его завтрак — трех крючков, его обед — десяти подлостей, его ужин?.. Человечки никогда не ужинают дома. Но его нарядное платье нередко бывает куплено за целое преступление.

Вы, без сомнения, имели счастие не однажды с ним беседовать, сами о том не зная. В первый раз он играл перед вами роль благонамеренного; встретившись с вами потом, он не узнал вас и представлял вольнодумца...

О! После этого быть не может, чтоб вы тотчас его не узнали!

МОЯ ЖЕНА

Я человек самый счастливый в свете. Как хорошо я живу с моей женою!.. Как нежно я люблю ее, как уважаю!.. Да как и она меня любит!.. Вы не можете себе представить. Правду сказать, мы и достойны этой обоюдной любви: мы друг с другом так вежливы! так учтивы!.. так умно ведем себя один в отношении к другому!.. Во-первых, мы никогда не спорим. Когда я вздумаю спорить, то иду играть в бостон с приятелями; когда она почувствует в себе припадок сварливости, то бежит в Гостиный двор торговаться. И потом мы возвращаемся домой и сидим рядком на диване тихо, смирно, дружелюбно, как голубочек на гнезде с своею голубкою. Не жизнь, а отрада!

И подумайте, что мы уже лет двадцать питаемся этим счастием! Мы даже страх как утучнели от счастия.

Одно только неудобство, что дома мы друг с другом никогда не видимся. Вот скоро на сочельник девять лет, как нам не случается обстоятельно поговорить между собою. Всякое утро, надевая халат и туфли, я говорю моей Даше:

— Душенька, Дарья Кондратьевна! Сегодня я хочу потолковать с тобою окончательно о том деле, пом-

нишь ли? о котором начали мы рассуждать на Фоминой неделе.

И она мне отвечает, нежно лаская меня по бородке своею мягкою, как пух, ручкою:

— Да, дружок бесценный!.. Надо непременно потолковать об этом деле. Притом же я сегодня свободна. Но ты наперед хотел выбриться?..

Я сажусь бриться и пока бреюсь, она — глядь! — уже уехала со двора.

Но это ничего не значит: дело не к спеху, а я, когда вздумаю, скоро улучу случай переговорить с нею окончательно, потому что легко могу отыскать ее во всякое время. Когда мне нужно видеться с женою, я всегда иду прямо в Гостиный двор. Знаю, где она!.. в Шелковом ряду.

Если мне не верите, я тотчас надену теплую шинель, потому что у нас теперь лето! и резиновые калоши, возьму под мышку зонтик и найду вам Дарью Кондратьевну. Смотрите: я теперь стою у городской башни. В три прыжка, которые с особенною ловкостью выучился я делать с этого места в течение долговременного нашего супружества, я очутился под сырыми и холодными сводами Шелкового ряда. Теперь надобно только заглядывать в лавки и внимательно прислушиваться к голосам.

— Пошалюйте, господин! Голяндская полотно, сальфетка, скатерту, плятков, цитци, шульки!.. К нам, барин! На починок! дешево возьмем!.. Маменька, я не нахожу, чтоб это было дорого... Извольте, господин! У нас есть все, что нужно... Господин! У нас лучше: ситцы, материи, штофы, шали, французские платки, рюши, тюли... Экой плут! Да у тебя все гнилое... По три с полтиною, сударыня... Хорошо, отрежь семнадцать аршин...

О, здесь наверное Дарья Кондратьевна!.. Она не бросает денег так, без торгу. Моя жена — большая экономка. Пойдем подальше.

— Господин! Пожалуйте сюда... Не правда ли, ma chère, что этот ситец очень мил?.. Oui, ma chère*... но он московский... Господин! Пожалуйте сюда: ленты, блонды, кружева, вуали, перчатки, кушаки... Ах, какие прелестные глаза!.. Кушаки, вуали, перчатки... Какая ножка!.. Чулки, перчатки, вуали... Какая талья!.. Кушаки, перчатки,

---

* Да, моя дорогая... *(фр.)*

вуали... Ты не хочешь?.. я побегу за нею!.. Господин! Лучше пожалуйте сюда: ситцы, материи, штофы, бур-десы, гра-грени... Ей-ей, сударыня, клянусь честью, по совести, ей-ей, в лавке вдвое дороже стоит! — Больше не дам ни копейки. Так извольте, отдаю...

А! не здесь ли Дарья Кондратьевна?.. Она тоже твердого характера. Когда скажет слово... Нет, тут не видать. Пойдем подальше.

— Господин! Покорно просим к нам. — Крайняя цена, сударыня, а что пожалуете?.. Вот сюда, господин!.. Знакомый барин... я знаю, чего вы ищете! Что вам угодно?.. Ситцы, материи, штофы, платки французские... Ленты, блонды, кружева, вуали... Перчатки, чулки, кушаки, подвязки...

У меня уже голова кружится. Я ничего не вижу и не слышу; уши мои набиты французскими платками и заклеймены свинцом гостинодворской приветливости; перед моими глазами пляшут огненные ленты, чулки, подвязки; иду, как во мраке, и только сердито огрызаюсь направо и налево словами: «Мне ничего не нужно!» И эти чугунные звуки, подобно картечи, в одно мгновение сметают целые ряды продажных улыбок с выкрашенных под малиновый сбитень лиц низкопоклонных зазовщиков: надувшись и гордо приподняв голову, они вдруг отворачиваются от меня с таким точно равнодушием, как модная барыня от вчерашнего своего любовника. Наконец, бурный вихрь плутовства, дующий беспрестанно вдоль длинного коридора, раздувающий юбки и плащи, надувающий карманы, засыпающий глаза прохожих острым песком перебитых и перемешанных клятв, споров, приветствий, огорчений, расчетов, кокетства и ухваток жадности, поднимает меня с земли, кружит в воздухе, как ветхий лоскуток бумаги, несмотря на мой желудок, и несет, несет, несет... Ловите меня, господа! Держите!.. Я где-нибудь ударюсь об стену или буду заброшен в канал!.. Слава богу, ухватился за столб последней арки; я спасен!.. И вот слышу голоса.

— Два рубля тридцать... Право, нельзя, сударыня: ниже двух рублей тридцати пяти копеек не могу уступить ни полушки... Ну, возьми два рубля тридцать одну копейку!.. Ах, как вы, сударыня, любите торговаться! Извольте за два рубля и тридцать четыре... Нет, не дам: тридцать две!.. Тридцать четыре, сударыня!.. Тридцать две, голубчик!.. Ну уж так и быть, бери тридцать три копейки... Вы не оставите мне, сударыня, барыша ни одной копейки...

Стой!.. так это моя жена.

Я бегу к дверям, из которых исходят эти звуки; опрокидываю на пороге мальчика, который уже под моими ногами допевает начатую в честь мне песню: «Ситцы, материи, штофы, бурдесы, гра-грени!..» Беру лавку приступом и проникаю в заднее отделение. Я не ошибся: это она — о, я никогда не ошибусь!..

— А, ты здесь, Иван Прокофьевич?

— Здесь, душенька, Дарья Кондратьевна. Пришел сюда потолковать с тобою окончательно об этом деле...

— Ах, мой дружок бесценный!.. а мне теперь недосуг. Вот я обещала помочь Марье Михайловне сделать некоторые покупки. Она совсем не умеет торговаться.

— Хорошо. Я подожду, пока вы кончите...

— Не дождешься, друг любезный! После того я должна ехать к Наталье Ивановне, с которою тоже отправимся покупать разные вещи. Потом опять приеду сюда с Катериною Антоновною, а потом я дала слово Матрене Николаевне приторговать кое-что для ее свояченицы... Я теперь очень занята.

В самом деле, она теперь занята чрезвычайно. Жаль, что я так далеко сходил понапрасну!.. Но я найду случай потолковать с нею окончательно: я приду сюда сегодня после обеда. Она, может статься, тогда будет посвободнее.

Бедная моя Дарья Кондратьевна! Вы сами видите, что у нее почти даже не остается времени позавтракать, ни пообедать. Во всей нашей части ни одна иголка, ни один аршин черной ленточки не покупаются без ее содействия и совета. Все тащат ее в Гостиный двор, потому что она мастерица торговаться, не то она тащит всех туда, чтоб другие видели, как она умеет приводить цены к их настоящей точке. Боюсь только, чтоб когда-нибудь не случился с нею удар, ежели кто-либо скажет ей хоть в шутку, что он купил ту же вещь дешевле, нежели она. Ради бога, не говорите ей этого!..

Ежели вы скажете и она умрет, то со слезами искреннего сожаления похороню ее в Шелковом ряду, в котором-нибудь окошке, и сооружу ей памятник, чтоб и по смерти ее заставать ее в том же месте, куда привык ходить в продолжении счастливого нашего супружества для дружеских с нею свиданий. Тут я буду еще толковать с нею *окончательно об этом деле...* Но если она скончается внезапно, кто тогда приторгует мне надгробный для нее

памятник!.. И как дорого я заплачу за него?.. Я огорчу бренные ее останки в их вечном успокоении, и холодный труп ее в состоянии еще выскочить из окошка в коридор, на переторжку с каменщиком. Прошу вас всепокорнейше, не делайте с нею подобных шуток: вы разрушите мое супружеское счастие.

Теперь, любезный читатель, ступайте к своим занятиям, а я ворочусь домой. Ежели, дочитав эту статью, вы усмотрите, что вашей супруги нет дома, то не беспокойтесь: она, наверное, уехала в Гостиный двор с моею Дарьею Кондратьевной. Когда вам угодно, приходите ко мне после обеда — пойдем вместе в Шелковый ряд искать наших сожительниц.

АРИФМЕТИКА

Как бы то ни было, я, хотя, по званию моему, промотавшийся помещик, люблю, однако ж, все, что относится к счетам, отчетам, расчетам и расчетливости, люблю точные науки, люблю точных людей и даже самую точность. Пусть говорят, что угодно; пусть приводят в пример продажу моего имения с молотка, чтоб доказать мое незнание счета,— а я говорю, что люблю!.. И по мне первая добродетель на земле — точность; первая наука в свете — арифметика; наука, научающая смертных знать и ведать с точностью, что дважды два — четыре, что когда сумма *минус* превосходит сумму *плюс*, то в кармане волки воют; что если кто-нибудь занял 10, а отдает только 3, скрывая 7 под именем почтеннейшей своей супруги или расточая их по пустякам, тот прямой плут и обманщик и должен идти в тюрьму, а не в судьи или начальники... Всем этим истинам учит нас арифметика.

В наш просвещенный век стыдно было бы доказывать пользу или необходимость арифметики. Известно, что без этой науки нельзя быть ни судьею, ни управляющим, ни исправляющим, ни коллежским асессором, ни просителем, ни подсудимым, нельзя даже быть порядочным уездным предводителем. Когда придется делать расписание подвод или рабочих для починки дорог, какая точность исчисления нужна тогда человеку, чтоб неприметно облегчить имения свои и своих приятелей и распределить следующее с них количество повинности на чужие души!.. Когда случится разбирать чье-нибудь дело и решить, кто

прав и кто виноват, как надо уметь не только считать, рассчитывать, но и пересчитывать!..

Хотя, сказать правду, бывали на свете люди, которые не умели сосчитать и до десяти, а дела решали превосходно... но тогда их секретари хорошо знали арифметику. Все-таки она необходима!

И сколько удивительных вещей узнали люди при помощи арифметики! Посредством ее мы открыли, что Луна вертится около Земли; что Земля с Луною вертится около Солнца; что многие другие планеты с лунами вертятся около Солнца, Земли и ее Луны; что кометы вертятся около Солнца и всех его планет с их лунами; что все в мире вертится, как в мельнице. Даже, посчитав хорошенько, могли бы мы по силе тройного правила открыть и то, кто вертится около наших жен, когда мы уходим к должности или в клуб!.. Всего можно дознаться при содействии арифметики: надобно только умно приняться за дело.

Исчислено, что Земля пробегает в час около 150 000 верст. Следовательно, она пробегает по 2000 верст в минуту. Следственно, в одну секунду, то есть, пока мы выговорим: «Да, ваше превосходительство!» или успеем отвесить поклон, мы, не трогаясь с места, уже пролетели вместе с нею 40 верст вперед. И со всем тем есть на свете философы, которые утверждают, будто мы не подвигаемся.

Исчислено — вы уже читали о том и в «Северной пчеле» — что народонаселение всего земного шара простирается до 660 миллионов душ; что ежегодно родится на нем около 22 900 000 детей, и почти столько же умирает особ всякого возраста и пола. Следственно, всякий день родится и умирает на Земле по 60 000 человек, всякой час по 2500, всякую минуту по 40. Следственно, ежели умрет дурак, вы можете быть совершенно спокойны, ибо через полторы секунды родится на его место другой. Об умных людях еще не сделано исчисления, потому что между ними есть много шарлатанов.

Исчислено, что англичане, глотая в произношении половину своих слогов, сберегают в сутки два часа времени для молчания и работы. Англичанин, когда заврется, может сказать в час 7800 слов, француз — 5200, немец — 4900, русский — 4700, итальянец — 4400, голландец — 3250 и проч.; так что швед, который протяжно распевает свои слова и всякие пять минут нюхает табак, должен употребить 2 часа и 18 минут на произнесение того

вздора, который англичанин может напороть в один час. Вот почему Англия — край самый богатый, а Швеция — самый бедный.

Исчислено, что если б разостлать на земле листы всех выходящих в Англии в течение одного дня газет и журналов, то они заняли б собою пространство 9 квадратных миль. А как эти листы покрыты буквами на обеих сторонах, то англичане принуждены всякий день прочитать по 18 квадратных миль печатной поверхности, на которой иногда нет ни одной мысли, а в течение года 6570 таких же миль. Присоединив к этим листам годовое число повременных листов, издаваемых во Франции, Германии, Америке, можно было бы склеить из них воздушный шар, величиною равный Луне.

Но все эти исчисления еще не столько любопытны, сколько, например, те, которые составил барон Дюпен, определивший арифметическими выкладками ум, способности, нравственность и образованность своего отечества. Статистическая карта, приложенная к его сочинению, есть настоящий памятник проницательности и трудолюбия, и результат бесконечных его исчислений достоин глубокого размышления со стороны любителей мрака, не отвергающих пользы и приятности денег. По этой карте мы видим, что в тех именно областях Франции, где число обучающегося в училищах юношества относительно к народонаселению есть самое превосходное, промышленность, торговля и народное богатство находятся также на самой превосходной степени, количество совершаемых в год преступлений бывает самое незначительное, недвижимая собственность имеет самую высокую цену, а государственная казна получает дохода вдесятеро более, нежели с областей, в которых относительное число учащихся есть самое малое.

Словом, теперь все исчислено. И в наше время обыкновение выражать рядами чисел то, что прежде выражалось риторическими фигурами, сделалось во многих землях столь общим, что все, нужное и ненужное, полезное и бесполезное, удобо- и неудобоисчислимое, предметы, подлежащие зрению, умственные действия, движения сердца, мысли, чувствования и надежды, подчинено арифметическому вычислению. Страсть, вдохновение и прихоти перестали быть началами поступков. Люди думают числами, движутся по числам, любят, ненавидят друг друга и дерутся за числа. Всякий не прежде принимается за добродетель, труд, забаву, честность, обман,

великодушие или причуду, как исчислив, сколько принесет это ему пользы на чистые деньги. Скоро, подобно тому, как в Китае, где во всяком порядочном доме найдете вы прибитые к дверям печатные таблицы всех несогласных с уставом о церемонияле поступках, с означением в графе, сколько за каждый из них получается ударов бамбуком по пятам — у нас, в нашей просвещенной и положительной Европе, будут издаваться карманные тарифы стереотипного издания, в которых для удобства сердец и облегчения труда головам все человеческие добродетели, желания, чувства, страсти и мысли будут расположены по алфавитному порядку, с точною оценкою их на рубли и копейки.

Арифметика видна везде и во всем. Счетчики самовластно управляют светом. Все старинные понятия, истины и привычки бегут, рассеиваются, исчезают перед грозными колоннами чисел, которые вторгаются во все обстоятельства жизни, разоряют все чувствования, истребляют все мечты, грабят поэзию и природу заливают чернилами.

О любви и говорить нечего. Уже и романы пишутся без любви. Ее изгоняют из театров; скоро выгонят даже из гостиных. Женщины стыдятся рассуждать о ней; мужчины скорее согласились бы умереть, чем признаться, что они в состоянии быть влюбленными. То, что прежде называлось нежною страстью, теперь именуется сметливостью сердца, и супружеское счастье так же подвержено четырем действиям арифметики, как и обороты пенькою и салом.

Итак, согласитесь, любезные дамы, скромные и чувствительные девицы, что теперь любви нет на свете: есть только арифметика. Кончилось царствие Амура, проказника-божка с прекрасными крылышками, золотым луком, язвительною стрелою и прелестною улыбкою. Не сожигайте напрасно фимиама на его алтаре, не приносите ему бесполезных жертвоприношений. Лучше идите все, толпою, в университет и падите на колени перед ординарным профессором математики: он занял его место, он настоящий Амур нашего арифметического века. Послушайтесь моего совета: он выучит вас считать и быть счастливыми!.. быть счастливыми, как чиновник по счетной части, не подлежащий экзамену, как самый жирный лондонский пивовар. Да, господа! Пора приняться за арифметику. Посмотрите, как при содействии этой чудесной науки, только считая — один да один — 2, да один —

3, да один — 4 — многие народы досчитались до двух великих добродетелей образованного человека — экономии и точности, которые сами по себе значат то же, что богатство. Кто же препятствует и нам разбогатеть тем же путем? Чего у нас недостает?.. У нас есть головы и, слава богу, кажись, не телячьи; у нас есть хлеб, дерево, сало, кожа, пенька, лен, железо, медь, золото, платина и даже алмазы; у нас есть все, что только нужно для развития огромной промышленности, для накопления несметных богатств. По несчастью, нет арифметики. Ах, если б она завелась на нашей православной Руси!.. Если б мы знали ее так твердо, как те, которые снабжают нас вином, портером и устрицами!.. Куда как все было бы иначе!

Господа, бросимте карты и станемте считать! Я подам первый пример: дайте мне кусок мелу!..

Но что считать?.. Вот запятая! Хлеб, сало, кожи, деготь, пеньку, золото?.. Все это сочтено в «Коммерческой газете» и в сочинении г. камергера Пельчинского. Итак, выходит, что у нас нечего считать?.. Право, жалко! Но знаете ли, что мне пришло в голову?.. Будем считать карты! Да! Будем их считать: авось разбогатеем хоть от этого счету?..

Но вы скажете: «Что напрасно считать карты?.. Известно, что их пятьдесят две в колоде!» Оно так, но все-таки лучше посчитать их хорошенько. Я уверен, что в них таится гораздо более чисел, нежели как вы полагаете.

Вот отчет Александровской мануфактуры. Посмотрите: Александровская мануфактура выделывает ежегодно 145 000 дюжин колод разного разбора. Считая всякую дюжину круглым числом по 10 рублей, найдем мы, во-первых, что всякий год карты стоят нам 1 450 000 рублей. Что, если б мы эту сумму ежегодно обращали на покупку хороших книг и на распространение круга наших познаний?..

Но это не все: 1 450 000 рублей есть только сумма, которую получает мануфактура за оптовую продажу карт,— нам они обходятся гораздо дороже. Мы платим лакеям по 5 рублей за всякую пару колод — следственно, по 30 рублей за дюжину. Поэтому карты стоят нам в год не 1 450 000, а 4 350 000 рублей. С этой суммы следует однако ж скинуть 350 000 р. на тех, которые уходят, не заплатив за карты, и обманывают лакеев, хотя с другой стороны есть великодушные люди, кои платят им по 25 рублей за две колоды; все-таки карты лишают нас в год

4 000 000 рублей наличного капитала, и в конце года, когда б даже не проиграли мы ни копейки, будет у нас 4 миллионами менее за то только, что мы играли в карты. Сколько полезного для нас самих и для отечества могли б мы сделать за эти деньги!

Далее: двумя колодами карт можно играть три часа; в губернских городах играют ими и по десяти часов, но мы положим умеренно, средним числом, три часа. Итак, чтоб сыграть 145 000 дюжин, потребуется 2 610 000 часов. Считая рабочий день в двенадцать часов и рабочий год в 360 дней, находим, что в течение всякого года теряем мы за картами 725 лет.

Следственно, все вместе, кроме 4 000 000 рублей денег, еще проигрываем мы в карты в один год слишком семь исторических столетий времени. А с 1600 года уже проиграли мы 23 925 лет, не считая дурачков и пасьянсов. Прекрасно! Теперь обратим это время в рубли и копейки, потому что все на свете можно обратить в деньги. В Англии час времени хозяина заведения по части промышленности ценится в 12 рублей, по нашей дешевизне. Из сего следует, что если б мы эти 725 лет времени, которые всякий год предаем на жертву висту и бостону, посвятили промышленности, то умножили б народное богатство России достоинством, равным сумме 135 629 999 рублей. Через несколько лет мы были бы первые богачи в мире.

Далее: в дюжине колод 624 карты. Всякая карта имеет 3 дюйма длины, 2 дюйма ширины и 6 квадратных дюймов поверхности. Разостланные на земле сплошь, все, заключающиеся в 145 000 дюжинах колод, карты покрыли б собою 18 958 $\frac{119}{2831}$ квадратных верст, то есть пространство, равное поверхности пяти губерний — Петербургской, Московской, Нижегородской и двух Белорусских.

Положив все эти карты вдоль, одну за другую, получим мы линию длиною в 159 732 $\frac{11}{300}$ верст. Из этой длины можно было бы на досуге сделать следующее употребление: 1) обложить весь земной шар; 2) из королей провести кругом Земли петербургский меридиан; 3) остальными картами покрыть все прочие географические линии земного шара, какие обыкновенно рисуются на шарах из папки. Затем останется еще отрезок карточной ленты, простирающийся на 9 899 1/2 верст. Что из него сделать?.. Не прикажете ли проложить из этих карт черту по всякой из больших дорог, ведущих от Петербурга до городов, в которых бывают ярмарки?.. По крайней мере лю-

ди видели б, куда ехать за деньгами с колодою карт в кармане.

Мы подвергли количество карт, употребляемых в России в течение одного года, точному арифметическому вычислению в отношениях к деньгам, времени, длине, ширине и поверхности. Остается еще сосчитать их плотность или толщину. Но как это сделать?.. Бывали ли вы когда-нибудь в Помпее?.. Уж наверное не бывали?.. Вы нигде не бываете! А я был в Помпее и могу сказать вам об ней с большею достоверностью, чем все антикварии. Помпея есть небольшой древний римский город, лежащий поблизости от Неаполя,— род классического Торопца: весь каменный и не такой грязный. Во втором веке по Р. Х. случилось страшное, внезапное извержение Везувия, и Помпея в несколько часов с крышами, башнями и колокольнями была засыпана вулканическою золою. В продолжение времени люди забыли даже об ее существовании. Лет за шестьдесят перед сим, случайно копая землю, кто-то открыл крышу одного дома. Стали копать далее и, к удивлению, нашли целый подземный город, с жилищами, кухнями, лавками, «виноторговлями», библиотеками, мастерскими и домашнею утварью, сохранившимися почти в невероятной исправности. Даже жившие в нем люди найдены в целости и в том же положении тела, в каком застала их вдруг слетевшая с воздуха масса минерального пепла: они высохли, перегорели и рассыпаются в прах от малейшего прикосновения. Местное правительство определило значительные суммы на открытие злосчастной Помпеи, и в Неаполе был учрежден особый музеум для складки всех находимых в ней древностей. По сю пору очистили уже несколько улиц, театр и две площади.

Нельзя представить себе ничего изумительнее зрелища, являемого вскрытою частицею Помпеи. Воображение путешественника, уединенно блуждающего по этим огромным, пустым древним улицам, комнатам, коридорам и магазинам, среди этого мертвого, пережженного общества, между современниками давно минувшего века и давно погибшего народа, воспламеняется, горит, кружится, хочет проникнуть далее, поражается ужасом и приходит в остолбенение. Кажется, будто волшебная сила, отторгнув вас от настоящего быта и нынешних понятий, отбросила за шестнадцать столетий назад; будто судьба в припадке досады на людей мощною рукою поймала на самом злодеянии целое человеческое общество, которое, наделав глупостей и написав себе похвальное слово под назва-

нием истории, хотело укрыться от взоров потомства; и что та же судьба теперь показывает его людям с коварным удовольствием, насмехаясь над установленным для них и для их дел порядком. В половине XIX столетия видите вы наяву собственными глазами все, что делалось в Помпее в минуту нечаянного ее погребения: видите занятия жителей, видите их забавы, почти слышите их разговоры и чуть-чуть не смеетесь их шуткам. Здесь кузнец работает молотом, там сапожник спешит сшить башмаки к сроку, инде кухарка рыдает над горшочком свернувшихся сливок; докладчики врут, судьи дремлют, подъячие зубами натягивают законы, взяточники покупают домы на чужое имя, мошенники бродят по карманам, сочинители крадут из книг и списывают живьем друг друга, горничные бегают с нежными записками, барыни колотят слуг по щекам, слуги злословят своих господ, обольстители вздыхают под окошками, мужья волочатся толпами за латинскою актрисою, кучера ругаются, любовники ссорятся, продавцы надувают, супруги изменяют, студенты чертят углем по стенам не слишком геометрические фигуры. Надобно побывать в Помпее, чтоб иметь понятие о том, что происходило в классической древности!.. Ужас!..

Но я заболтался о Помпее и забыл совершенно, что у нас дело идет о картах. Мы, кажется, хотели исчислить, какая была бы плотность, толщина или высота их, если б их свалить в одну кучу. Как вы полагаете?.. да это была бы гора не ниже знаменитой Чимборассо! Но слушайте со вниманием, что я скажу. Предположим, что какая-нибудь волшебная сила одним поворотом своего жезла собрала б в груду все находящиеся в России карты, не исключая даже и оставшихся от прежних лет понтерок. Предположим также — ведь предположения стоят теперь так дешево! — что какой-нибудь ужасный переворот в природе поглотил бы эту груду карт и зарыл их глубоко в землю — например, между Петербургом и Царским Селом... Вдруг, когда жители роскошной столицы севера в прекрасный весенний день спокойно гуляют по Невскому проспекту, вежливо кланяются друг другу, щеголяют, смеются, несут вздор, заглядывают под розовые шляпки, посматривают в окна к модисткам, дуются, ползают, занимают деньги, разносят сплетни, прячутся от кредиторов, сочиняют стишки, подписывают бумаги и подкапываются один под другого — вдруг, говорю, воздух затмевается, завывает бурный ветер, под тротуаром раздаются подземные удары, и Пулкова гора, — просим прощения!.. приличнейшей горы нет в на-

ших странах,— и Пулкова гора начинает колебаться в своих основаниях. Все мы в изумлении, со страхом, с любопытством пучим глаза, разеваем рты, надеваем очки, уставляем зрительные трубки, глядим, чему тут быть... а тут вершина Пулковой горы расселась, на ней образовалось жерло, и из него вылетел вверх огромный столб густой грязной материи, с воем, с треском, с громом. Достигнув известной высоты, этот столб начинает расстилаться в воздухе, разливается по всему небесному своду в виде черной тучи, которую ветер несет прямо на город, и мы дрожим в испуге. Наконец, эта туча видимо опускается, видимо летит на нас. Увы!.. пришел же нам конец!!.

И угадайте, что это значит...

Вы наверное думаете, что Пулкова гора превратилась в огнедышающую гору; что мы должны претерпеть землетрясение; что этот столб грязной материи, расстилающийся по небу, есть облако вулканической золы?.. Угадали!— только это не огнедышащая, а *картодышащая* гора, картотрясение карточной Везувии, извергающей погребенные в недрах земли между нашим городом и Царским Селом прошлогодние плоды.

Да, милостивые государи! Этот столб, эта туча составлены исключительно из старых, помятых карт, из отставных , изломанных на всех углах понтерок. Вместо подземного пепла сыплются на город, вертясь и мелькая в воздухе, тузы, тройки, семерки, козыри, десятки, бубны, дамы, пятерки, валеты; гора сильнее и сильнее пыхтит картами, они валятся на землю толстыми слоями и в несколько часов засыпают всю столицу, с домами, крышами и башнями. Наконец, Пулкова гора, изрыгнув из своих недр последнюю двойку, закрывает свое жерло, воздух проясняется, и все приходит в прежнее состояние. Но Петербурга не стало на свете: он испытал судьбу Помпеи, он исчез с лица земли, погребен под орудиями любимой своей забавы — превратился в город подземный или, лучше сказать, *подкарточный!*

По моему исчислению, если б когда-нибудь случилось в природе подобное явление, Петербург был бы засыпан прошлогодними картами по самый корабль, вертящийся на адмиралтейском шпиле, с одной стороны от Пулковой горы до харчевни, что на парголовской дороге, а с другой — от Охты до самого моря. Но как это исчисление чрезвычайно трудно и я не уверен в его безошибочности, хотя мучился целых две недели, то покорнейше прошу всякого поверить его у себя дома.

Но вы скажете, что предположение это странно, смешно,

несбыточно?.. Я совершенно согласен с вами: это только арифметическая поэзия, романтизм счетной доски, мечтание сердца, дышащего цифирью и бостоном, исчерченного мелом виста, кружащегося в омуте плюсов и минусов... За всем тем, это полезное упражнение.

Ну, а если б это предположение сбылось какими-нибудь судьбами, если б Пулкова гора в самом деле превратилась в понтерочный Везувий, тогда что?..

Как, что? — Тогда с Петербургом сделалось бы то же, что теперь с Помпеей. Ветры нанесли бы песку и земли на эту карточную пустыню, она скоро заросла бы крапивою, и спустя два или три столетия никто даже не знал бы, был ли здесь когда-либо какой город или нет. Скромная проселочная дорога смиренно проходила б над нынешним Невским проспектом, некогда шумным, красивым, блистательным. Над редакциею «Северной пчелы» кто-нибудь построил бы деревянную штофную лавку, и какой-нибудь целовальник продавал бы в ней беспристрастному потомству пенник и сивуху.

По прошествии десяти, пятнадцати или двадцати столетий начали бы копать землю и вдруг открыли бы вторую Помпею. Представьте же себе изумление, радость, восторг педантов и антиквариев этой отдаленной будущности! По химии доказано, что люди и вещи, погребенные в картах, не гниют и не истлевают точно так же, как и в вулканическом пепле... Посему преемники наши на земном поприще столько же удивлялись бы нашим орудиям, утвари, одежде, обычаям и образу жизни, сколько мы удивляемся предметам, открываемым в Помпее; так же именно писали б они об нас бесчисленные томы рассуждений и комментариев, как теперь пишут наши современники о сухих перегорелых помпейских римлянах. На Черной Речке соорудили б великолепный музей, по образцу неаполитанского, для хранения петербургских древностей, и беспристрастное потомство, сложив назад руки и разинув рот, важно расхаживало бы по расчищенным улицам Гороховой, Мещанской, Офицерской, Садовой; считало бы по пальцам винные погреба, кондитерские и табачные лавки и любовалось на торчащих из карт будочников. Здесь выдернуло б оно из понтерок окаменелого подъячего, исправляющего ножичком подлинность старых документов; в другом месте открыло б блюстителя правосудия, прячущего взятку под свод законов; в третьем нашло бы знаменитого ученого, смиренно сидящего в богатой передней; далее поймали б верного супруга,

преследующего вечерком девушек из модного магазина; далее супругу, мстящую мужу за свою обиду; далее бедного столоначальника, запивающего дела пуншем, и прочая, и прочая.

Но если б стали рыться повсюду и обыскивать все уголки?.. Ах, помолимся могущей судьбе, ниспосылающей смертным козыри, чтобы Пулкова гора никогда не превращалась в карточный Везувий! Что сказали бы педанты и антикварии XXXV или L столетия о чистоте нравов нашего времени!

Впрочем, господа, не бойтесь; продолжайте забавляться по-прежнему; я знаю по арифметике, что этого никогда не случится.

ЗАКОЛДОВАННЫЙ КЛАД

Кто говорит, что наши времена прозаические? Кто смеет утверждать, что в нынешних наших нравах нет поэзии?.. Одни только вандалы, варвары, классики, люди без сердца и воображения, в голове которых, под мрачными, холодными, отягощенными сугробом старых теорий соломенными черепами оледенелые понятия висят длинными сосульками, как снеговая вода под дымною крышею хижины. Не верьте им, читатели! Мы живем в век баснословия и волшебства; мы окружены поэзиею высокою, блистательною, загадочною, чудесною, темною, таинственною, арабскою, волшебною, донкихотскою, поэзиею торговых балансов, табелей преступлений, банков, долгов, конкурсов, опек, бюджетов, отчетов, выставок, несчастных принцесс, богатых племянниц, продажей с молотка, португальских дел и заколдованных кладов. Чувствуете ли вы эту поэзию?.. Я сильно ее чувствую; мое сердце исполнено ее красот, душа моя дышит и живет ею. Я давно умер бы со скуки, если бы на свете не было политической экономии, прибавлений к «Санктпетербургским ведомостям», Блейской крепости, корабля «Дон-Иоао» и заколдованных кладов. Но я в особенности восхищаюсь последними, потому что страстно люблю поэзию «Тысячи одной ночи», люблю все таинственное, волшебное и теперь крайне нуждаюсь в деньгах.

Пособите мне, ради бога, открыть хоть один заколдованный клад, число которых всякий день умножается: ведь вам деньги тоже нужны!..

Я знаю много таких кладов; знаю, где они схоронены; приведу вас на место, укажу пальцем — только пособите

мне до них добраться: с тех пор, как ищу занять денег, я приобрел удивительное искусство открывать местопребывания тайных заповедных сокровищ; глаза мои за пять и за шесть верст примечают блудящий огонь, вьющийся над их могилою; мои ноги, истоптав все тропинки, ведущие к чужим капиталам, прямехонько несут меня в ту сторону; бегу, прибегаю, смотрю: вижу клад, вижу его сквозь каменные преграды, сквозь дерево конторки, сквозь кожу портфели; вижу так ясно, что мог бы пересчитать все его бумажки; но лишь только зашевелюсь, чтоб коснуться его рукою, он мигом исчезает, потому что он клад заколдованный. Однако ж я не имею в виду грабить клады, ни брать их насильно — хочу только взять часть их взаймы; даю вексель, даю хороший процент вперед за два года и верное обеспечение, и все это ни к чему не служит! Клад никак не хочет выступить лицом к свету. Научите же меня, если вы искусные чародеи, как истребить странный заговор, которым он огражден, как стеною? Чем уничтожить колдовство? Каким путем проникнуть до очевидных для глаз и неприкосновенных для руки денег?..

Пожалуйте со мною в Летний сад: я покажу вам несколько мест, где лежат эти клады. Пойдем по большой аллее.

Вот на чугунном диване сидит уединенно волхв в синем сюртуке и шляпе с широкими полями и рисует палкою на песке чародейские фигуры: 8288—8288—8288... Знаете ли, что это значит?.. Это значит, что здесь есть клад 207 200 рублей наличных, чистогану. Таинственные числа 8288 суть банковый процент, по 4 на 100, от этой суммы. Положив ее в банк на неизвестного, может он получить в год только по 8288 рублей: это мало, но что делать!.. По крайней мере оно безопасно. И так видите, что я мигом открыл сокровище. Но протяните к нему руку — оно вдруг исчезнет; попросите дать вам взаймы хоть двадцать тысяч под самый верный залог и на восемь процентов — волхв посмотрит на вас недоверчиво и скажет вам со вздохом: «Откуда у меня быть деньгам! Я получаю полторы тысячи жалованья: этим не наживешь капиталов! Теперь не то, что бывало прежде!.. У кого завидят копейку, на того тотчас взводят подозрения. Загляните в мой послужной список: за мною не значится никакого имения, я служу чисто». Вот и пропал клад!.. Однако ж сами вы видели 8288!..

Посмотрите на этого другого колдуна, который стоит

пред статуею Юстиции, погруженный в глубокую думу: он молит доходную богиню, чтоб она сделала невидимыми деньги, которые по своей благости ниспосылает ему, недостойному рабу ее. Он уже заговорил свой клад: теперь и сам черт до него не доберется.

Вот идут два толстые чародея: они известны своим коварством в целом околотке, и добрые люди боятся даже встретиться с ними, потому что, как гласит общее поверье, черт тайно переносит деньги из чужих карманов в их засаленные портфели, лишь только взор их коснется чужого кармана. Послушайте мимоходом их рассуждений: увидите, что они колдуют.— Итак, вы говорите... — Я говорю, что на свете на все есть средства. Но прежде были имения благоприобретенные? А теперь есть имения благоприпрятанные. Конечно, оно выходит почти...

Ну, не говорил ли я вам, что они колдуют?.. И я уверен, что вы не поняли ни одного слова в их разговоре, потому что все эти слова таинственные и относятся к глубокому чернокнижию. Вот еще один колдун, в серой шинели!.. Вот другой, в зеленом фраке!.. Вот третий, четвертый и пятый... Согласитесь же сами, что мы живем в волшебном мире, в самом поэтическом веке, какой когда-либо существовал в Европе со времени сожжения в Испании последней толедской колдуньи, донны Мархиты, которая, как доказано по суду инквизиции, круглый год несла куриные яйца.

Но вот и самый страшный волхв, с огромною плешиною, длинный, тощий, бледный, с сухим сердцем и красным носом, в поношенном фраке и изломанной шляпе. Это дракон, вечно лежащий на заколдованном кладе и своею проницательностью беспрестанно уничтожающий хитрости кружащихся около него любителей денег с готовыми векселями и закладными в руках. Это воплощенная двестирублевая бумажка. На тусклой, покрытой серою сеткою пленке глаз его мелькает волшебная надпись: «Объявителю сей ассигнации Государственный банк платит» и прочая; и другие колдуны почтительно снимают перед ним шляпу, потому что колдовство его сильнее их заговоров и в удобном случае в состоянии даже перетянуть деньги из их кладов в его клад. Я давно имею его на примете, но никак не могу обмануть его бдительности и вытащить из-под него заветные сокровища. Несколько раз я уже держал их в горсти, и они молниею из нее исчезали. Однако ж нельзя сомневаться в их существо-

вании. Рассмотрите его со вниманием: он имеет все признаки существа, одаренного высокими деньгами.

Во-первых, он долго занимал весьма выгодное место; за ним, ни за его женою нигде не показано ни родового, ни благоприобретенного имения, и он всегда горько жалуется на свою бедность. Следственно, у него есть деньги.

Во-вторых, он играет в карты по маленькой; садясь играть, повторяет три раза, что он не в состоянии проигрывать много денег, и, проиграв, почти плачет с отчаяния. Прежде живал он летом на прекрасной даче, теперь стал гулять в Летнем саду. Следственно, у него есть хорошие деньги.

С тех пор, как прикинулся несчастным, он более и более делается загадочным. В его доме, на стенах господствует нищета, а на столе отличное вино. Он упразднил у себя ливрею и на своем лафите прилепил карточку с надписью: «Медок». Несмотря на скромность его одежды, самодовольство отражается в его улыбке, гордость его усиливается и многих уже называет он дураками. Следственно, у него есть большие деньги.

Он уже начинает поговаривать о трудности службы и о потере своего здоровья. О, ежели так, у него должны быть огромные деньги!..

Но зачем ломать голову догадками и соображениями, когда все знают, что у него есть деньги: только они заколдованы. Вы не можете себе представить, каких не употреблял я средств, чтоб подкопаться к его кладу, и все мои попытки остались бесполезными.

Я дал ему уразуметь, что желаю жениться на его дочери. Он был в восторге и среди самого восторга, сделав прежалкое лицо, сказал мне, что за его дочерью не будет никакого приданого.

Я тесно подружился с его начальником, чтоб внушить ему мысль, что могу быть ему полезным. Он тотчас прибежал ко мне с жалобою, что на него клевещут, будто у него есть деньги, и просил меня уверить начальника, что скоро умрет с голоду.

Я написал поэму и посвятил ему. В посвящении я назвал его умнейшим из приказных и добродетельнейшим из беспорочных. Его самолюбие было тронуто до высочайшей степени. Он разнежился и чуть-чуть не дал мне денег взаймы, как вдруг вспомнил, что между сочинителями есть предатели, и затворился в завороженном кругу безденежья. Никогда не подходил я так близко к его

кладу, как путем подстрекнутого самолюбия, но и тут не успел.

Испытывая последнее средство подействовать на его жадность, я предложил ему двенадцать верных процентов. Он выпялил глаза, зажженные чудесным огнем сердечного удовольствия, и долго смотрел на меня в нерешительности. Но, по несчастию, я произнес роковое слово «нотариус», которое значит почти то же, что «объявление ко всеобщему сведению», и он вдруг воскликнул: «Ей-богу, у меня нет денег!.. Я имею много неприятелей».

Итак, нет никакой возможности пошевелить этот клад! Но постойте, вот идет хороший его приятель, которому, говорят, обязан он многим и ни в чем не отказывает. Мысль прекрасная! Через него я непременно исторгну часть клада у этого дракона. Как жалко, что я прежде не догадался употребить его посредничество!.. Деньги давно уже были бы в моем кармане.

— Здравствуйте, Тимофей Терентьевич. Хотите ли оказать мне важную услугу?

— С большим удовольствием.

— Скажите наперед правду: у вашего тощего приятеля, который вон там гуляет в аллее, есть деньги?

— Есть.

— Большие?

— Очень.

— Сделайте же мне благодеяние: достаньте у него для меня пятьдесят тысяч под хороший залог и на такой процент, какой ему угодно.

— Этого не могу я сделать.

— Почему?

— Потому что он недавно был обвинен в том, что нажил на службе огромное состояние, и я отстоял его пред его начальством, дав честное слово, что у него нет за душою ни гроша.

— Исчезла последняя надежда!..

Как тут быть?.. Деньги мне необходимо нужны; я умру, если не достану денег. Я должен купить себе новую карету, должен дать бал осенью, сжечь теперь великолепный фейерверк на Невке и пощеголять в свое рождение. Это внушает выгодное понятие о способностях молодого человека и открывает путь к отличию. Я брошусь в воду, если не найду денег. Но к какому прибегнуть средству? Чем смягчить свирепого волхва? Еду учиться чернокнижию, закабалю себя дьяволу, превращусь в огненного летучего беса и выкраду его сокровища.

Нет! Есть другой, гораздо вернейший способ. Иду служить в Уголовную палату; сяду за красный стол, спрячусь за правосудие и буду ожидать его в засаде. Он не минует палаты: тогда я доберусь до его денег!..

Что это?.. «Сенатские ведомости»! Надо прочитать их с досады. Как?.. Неужели?.. Мой дракон уволен от службы по расстройству здоровья!.. Боже мой, какое счастье!!! Поздравьте меня, друзья! Поздравьте от всего сердца: я счастлив, я теперь достану у него денег. Он уволен с пенсионом!.. Теперь все колдовство снято, и клад свободно воссияет полным блеском, как восстающее из ночной тьмы солнце.

АУКЦИОН

Объявление: «Продается за отъездом».

Я уезжаю. Это решенное дело! Прощайте, друзья, я еду. Уезжаю далеко, очень далеко, на очень долгое время — навсегда. Оставайтесь здесь в здравии и покое, живите счастливо, пишите умные вещи, если можете; читайте умные книги, если случается в продаже; смейтесь, когда вам будет скучно, смейтесь и здравствуйте.— Я уезжаю. Adieu, adieu!..* Вы не увидите меня более.

Нет! Вы не увидите меня более!.. Мне нельзя жить с вами. Я еду — в вечность!

Говорю вам — я еду в вечность; еду туда, где нет ни времени, ни пространства, ни тел, ни страстей, ни женщин, ни мужчин, ни словесности, ни читателей; где ничего нет — где есть все. Там только я буду счастлив.

Здесь для меня нет места. Мои недоброжелатели говорят, что я дурак и несносен; мои доброжелатели не только говорят, но пишут и печатают: *Умри, Брамбеус!* Никто не хочет жить со мною на этом свете.

Но я умираю правильно, по форме, на законном основании. Я приведу мои дела в порядок, составлю список моим бумагам и имуществу, продам все с молотка; обращу все в наличные деньги; и наличные деньги завещаю моим наследникам, чтоб по моей кончине они могли приступить прямо к мотовству, без лишних хлопот;

* Прощай, прощай!.. *(фр.)*

то есть я не умру, потому что не буду принимать никаких лекарств, ни аллопатических, ни гомеопатических; я попросту еду с земли в вечность, как помещик уезжает из столицы в свою деревню, проиграв справедливое дело, за которым приехал он на короткое время, и просидев тридцать пять лет в трактире. Я также проиграл мое дело с людьми и моими надеждами и подобно ему уеду с приговором людей в кармане и без копейки за душою.

Действуя во всем на законном основании, во-первых, я объявляю в газетах о моем отъезде; во-вторых, продаю все мое достояние с публичного торга.

К отъезду моему, я уверен, препятствия никакого не будет: никто не подаст прошения в полицию о том, чтоб с будочниками задержали меня на сем свете как человека, необходимого для общества. А как скоро я извещу, что за отъездом продаю мое имущество по сходным ценам, все мои друзья явятся к Тамизье, чтоб купить мое достояние за бесценок. Добрые друзья!.. На них-то я особенно полагаюсь в этом случае.

Итак, нечего терять дорогого времени. Надо приступить скорее к продаже всего, что составляет мою собственность. Господа! Кому угодно торговаться? Кто хочет купить хорошие, отличной доброты вещи разного рода за самую умеренную цену? Прошу, покорнейше прошу в аукционную залу, к Тамизье, в дом 1-й адмиралтейской части 2-го квартала, под № 189! Начало в десять часов утра! Все готово, устроено!.. Прошу приходить скорее!.. Кто надбавит несколько копеек, тот возьмет, что угодно! Сюда, честные господа!.. Разные вещи продаются за отъездом!

Разные вещи!.. Но где они у меня? Одна оловянная чернильница, полдести бумаги, два старые исписанные пера! Платье, которое на мне!.. Вот все мое достояние. В этом платье я поеду в вечность, в нем лягу в почтовую кибитку, сколоченную из четырех досок, чтоб по крайней мере прилично явиться в холодной и безмолвной гостинице, откуда люди отправляются все в одну сторону, никогда не следуя назад. Я не могу продать платья. За мою чернильницу, за мои перья никто не даст копейки: впрочем, кроме этого, хозяин дома не получит с меня ничего более за недоплаченный ему наем моей квартиры, в которой всегда господствовали величайший порядок и совершенная опрятность — отсутствие всякой собственности! Нищета! Кто хочет купить мою нищету?.. Господа! Продается нищета!.. Раз!.. Нищета честная, без хлопот, без угрызения совести, лучшего разбора, не запачканная

завистью, не подержанная тасканием по передним... Нищета! Раз, два!.. Купите, господа, нищету!.. Хозяин был весьма доволен ею!.. Раз, два!.. Будете с нею счастливы! Она дорога, но приятна, в лучшем вкусе, чрезвычайно отрадна и удобна! Хозяин никогда бы не расстался с нею, но она теперь ему не нужна: он уезжает. Раз, два!.. В последний раз! — За отъездом продается — честная нищета!.. Раз, два... три!

Никто не купил нищеты! Она остается за мною. Тем лучше: я завещаю ее тому, кто в течение будущего года напишет самую умную и полезную для людей книгу на земном шаре.

О Бюффон! О великий пророк естества! Ты, который своим огненным, торжественным красноречием заохотил меня быть человеком; который, восхищаясь выспренними качествами моего рода, возвысил меня в собственных глазах моих, который меня уверял, что я благороднейшее и священнейшее творение в мире, что я царь природы, что все создано лишь для меня! Бюффон, покажи мне мое имущество на этой земле, которую так хорошо знаешь, на которой обыскал ты все уголки, тайники и норы! Покажи мне его, мой панегирист, мой льстец, мой наперсник, коварный царедворец моего величества! Покажи, хитрый француз: я теперь от тебя не отстану... Где мое достояние?.. Говори! Ты отвечаешь, что весь свет принадлежит мне, как человеку. Постой: дай прочитать несколько страниц твоих доказательств... Правда! Ты прав!.. Свет бесспорно принадлежит мне: это моя неотъемлемая собственность, я ношу в моей бессмертной душе жалованную грамоту Божества на это огромное, великолепное поместье, я законный владелец Света. Как же я не догадался об этом прежде?.. Да, великий Бюффон! Свет, очевидно, мой! Эй, дворник! Дворник!.. Ко мне! скорее!.. Приведи сюда с биржи ломовые сани! Только как можно пошире... Скорее, братец! Получишь на водку!.. Помоги мне взвалить Свет на сани!.. Славно! Прекрасно!.. Вези же его теперь к Тамизье: я иду за вами.

— Господа! Не уходите!.. Начинается аукцион. Прошу садиться вокруг стола! За отъездом продается Свет! Свет, который все вы знаете и любите! Свет, лучший из всех созданных светов: пестрый, красивый, звучный, замысловатый, единственный Свет в мире!.. Владелец никогда бы не решился продать его с молотка, но случились обстоятельства... Он продается за ненадобностью.

Кто хочет купить Свет гуртом?.. с тарою?.. с кулем и веревками?.. с болотами, чухонцами и французами?.. Гуртом покупать выгоднее. Правда, тут есть много беспутного и беспокойного: зато дешево отдадим. Кто хочет купить?.. Так будем торговаться по частям.

— Статья первая. За отъездом продаются люди! Кому угодно купить людей за бесценок? Все молчат?.. И справедливо: к чему покупать весь род человеческий! Женщинам не нужны женщины, мужчинам не нужны мужчины, кроме нужных людей! Но женщины, может быть, купят мужчин; но мужчины, может статься, пожелают набавить копейку на женщин? Итак, предлагаются почтенному собранию наперед женщины, а потом мужчины. Нужных людей будем продавать особою статьею, потому что они дороги.

За отъездом продаются мужчины! Милостивые государыни! Не угодно ли которой-нибудь из вас купить всех мужчин вместе?.. Мужья, женихи, любовники, богатые старичишки с притязанием на любовь, юноши, промотавшие для вас богатства и силы,— все отдаются за самую умеренную цену. Я обманывать вас не стану: говорю вам чистосердечно, что между нами есть тьма,— может статься, половина — а может, и три четверти — домашних тиранов, закоснелых изменников, скряг, мотов, разорителей, ревнивых, грубиянов, рогоносцев, дурных мужей, дурных любовников, дурных собою, кругом дурных и негодных; но в этой куче бритого и небритого народу вероятно найдется и что-нибудь хорошее. Ежели ваше счастие заключается в мужчинах, оно непременно должно быть в этой груде мужеского пола. Как не купить счастия хоть в куче!.. И как я продаю их не на спекуляцию, а только за ненадобностью, за отъездом в чужие миры, то предоставляю вам, сударыни, самим сделать оценку мужчинам: какую цену вы назначите, с той начнем и торговаться. Подумайте, согласитесь между собою и решите!

— Восемь гривен!

Восемь гривен! Возможно ли, сударыни?.. Вы меня разоряете! Восемь гривен за всех мужчин!..

— За одного иногда можно дать и миллион, голубчик; но за всех вообще и восемь гривен, право, хорошая цена.

Ну что делать!.. Я предоставил вам самим определить первую для торга цену, надеясь на ваше великодушие; теперь отказаться от своего слова неловко. Извольте: мужчины — восемь гривен! Кто пожалует более?.. Мужчи-

ны — восемь гривен.— Восемь... гривен... все мужчины!. Раз!..

— Восемь гривен с копейкою!

Восемь гривен с копейкою! Кто более?.. Восемь гривен с копейкою за всех мужчин!.. Раз, два!

— Две копейки!

Восемь гривен и две копейки за всех мужчин земного шара!.. Сударыни, как вам не стыдно! Никто из вас не хочет купить мужчин даже за половину цены!.. Восемь гривен и две копейки! Они самому мне дороже стоят. Я думал, что вы их вгоните в миллионы рублей, а тут только две старухи торгуются на них, набавляя по копеечке. Восемь гривен и две копейки! Кто более?.. Раз!.. два!.. тр...и! Сударыня, товар за вами.

Старая баба купила весь мужской пол нашей планеты!.. Что будете вы с ним делать в ваших летах?..

— Что ж мне из него делать, голубчик! Я из твоих мужчин наделаю миллионы племянников да внучат и пущу их в оборот. Они все в массе более ни к чему не годятся!

За отъездом продаются женщины! Господа! Просим сюда поближе! Кому угодно торговаться на женщин? Но я уже не предоставляю вам делать им первую оценку. С досады на них за то, что они оценили всех нас в восемь гривен, вы в состоянии назначить им первую цену в две копейки и разорить меня вконец. Если б я хотел, по крайней мере, возвратить себе те деньги, которых они мне стоили, я оценил бы их очень дорого, но я чужд всякой жадности и продаю мой Свет по внутреннему достоинству составных его частей. Итак, я ценю всех женщин, молодых и старых, прекрасных и гадких, тихих и крикливых, кротких и царапливых, с верностью, с нежностью, с легкомысленностью, с добродетелью и с капризами — в полтину серебром; кажется, не дорого?.. Женщины, сиречь, прелестный пол, два рубля! Кто пожалует более?..

— С полтиною!

Два рубля с полтиною! Милостивые государи, извольте надбавлять великодушнее. Вот этот бледный, тощий господин, который уже прельщен ими, дает два с полтиною: так сколько же должны дать за них вы, юноши краснолицые, белоусые!.. Два рубля с полтиною! Не бойтесь: женщины вас не проведут, не расстроят вашего состояния, не изменят вам, не навлекут на вас огорчений — я продаю их со всею их верностью, со всею заключающеюся в них слабостью...

— Пять рублей!

Бывший наш судья, человек седой, почтенный, знающий цену вещам и деньгам, дает уже пять рублей. Господа, пять рублей: раз!..

— С гривною!

Пять рублей с гривною!.. Юноши! Не пропускайте случая. Вот деловые люди дают пять рублей и десять копеек: они знают цену женщинам. Если они купят всех женщин, увидите, как у них пойдут дела — а вы останетесь без любовниц, без любви, без счастия!.. Решитесь, молодые люди!

— Шесть рублей!

— Браво, розовый молокосос! Господа, шесть рублей!.. Следуйте примеру этого молодого человека: ему едва семнадцать лет от роду, а он уже дает за женщин шесть рублей. Погорячитесь, надбавляйте! Женщины, со всеми добродетелями и полным прибором земного счастия, шесть рублей! Кто более?.. Шесть рублей, раз, два!.. Надбавляйте, господа, не скупитесь: не то оставлю весь товар за мною. Я возьму женщин с собою на тот свет; вы останетесь без женщин и на другой день передушите друг друга. Вы скупы, набиты льдом и себялюбием, не достойны иметь женщин на земле!.. Увидите, что я унесу их в другой мир! Одно, что стоит взять с собою с сего света на тот свет, это женщины... Шесть рублей!.. Надбавляйте!.. Шесть рублей, раз, два!.. Шесть... ру... блей!.. Раз!.. два!.. тр... и!— Молодой человек, подавайте шесть рублей и берите себе всех женщин.

— Не угодно ли записать: я внесу деньги.

— Очень рад! Чин ваш, имя, фамилия?

— Джон Кокоасон, иностранец, великобританский подданный.

— Где изволите жить?

— В английском магазине.

— Вы приказчик из английского магазина?.. Вы купили весь прекрасный пол нашей планеты на счет гг. Плинке и комп.?.. Дешево же вы купили! Если б я наперед знал...

— Как! Дешево? Поверьте, сударь, что тут нет ни гроша прибыли. Это настоящая цена. Шесть рублей — аршин лучшей модной ленты, и шесть рублей...

Вот видите, господа! Вы не хотели ничего надбавить: теперь все женщины проданы гуртом в английский магазин!.. Если кому понадобится достать себе одну — знаете дорогу. Покупайте их теперь поодиночке в английском магазине: увидите, как всякая из них, даже самая пустая,

дорого вам обойдется!.. Неблагоразумные посетители аукциона!.. Уступили такой товар иностранцам!.. И что я выручил за весь род человеческий? — 6 рублей и 82 копейки! — И от кого? — От тех же людей... от мужчин за женщин, от женщин за мужчин!.. Не высоко же ценят они друг друга!

Господа! Теперь, за отъездом, продается правосудие! Кто хочет дешево купить такую нужную вещицу?.. Я продаю с молотка правосудие: извольте торговаться.

Придвиньтесь, честные господа, к столу поближе, благоволите хорошенько осмотреть товар. Продается правосудие всего земного шара!.. Первая цена — пять рублей — попросту, синенькая бумажка! Это самая сходная, самая умеренная, настоящая цена. Кто пожалует более?..

— Десять рублей!

Десять рублей за правосудие всей нашей планеты! Это немного!.. Кто пожалует более?..

— Пятьдесят! — Сто! — Сто сорок пять!

Сто сорок пять рублей за правосудие!.. Гоните, господа, гоните!

— Двести пятьдесят! — Тысяча!..

Уже дают мне тысячу рублей за правосудие: не отдам за тысячу! Кто более?.. Торгуйтесь, честные господа! Кто покупает правосудие, тот никогда не жалуется на недостаток правосудия в свете. А!.. вы, сударыня, улыбаетесь?.. Вы улыбаетесь прелестно, и я знаю, что вы хотите сказать этим: вы на тысячу рублей надбавляете улыбку и хотите улыбкою купить правосудие. Нет, извольте надбавлять сотенку рубликов: я продаю его не иначе, как на чистые деньги...

— Две тысячи! — Десять тысяч! — Сто тысяч!

— Пятьсот! — Шестьсот! — Миллион!..

Миллион дают за правосудие! Кто более?.. Сколько охотников купить то, что положено отпускать даром!..

— Полтора! — Два миллиона!

Два миллиона, чтоб только достать правосудие!.. Гоните еще выше: оно, право, стоит этих денег...

— Два миллиона и рубль!

Два миллиона и рубль! Раз!..

— И два рубля!

Два миллиона и два рубля! Раз, два!.. Кто более!.. Раз!.. два!.. тр...и! Извольте, отдаю. Я не хочу вас разорять на правосудии. Но, милостивый государь, осмелюсь спросить вас, какими деньгами намерены вы заплатить мне

за правосудие — ассигнациями, золотом или серебром?

— Не угодно ли вам принять от меня взятками?

Это уже, наверное, старый... хорошо, я беру взятки, только по надлежащей оценке. В оценщики возьмем пятерых опытных подъячих, и какую они назначат цену... Ах, я устал!.. Пусть аукционист ведет вместо меня торг по другим статьям и записывает в книгу последнюю цену и звание покупщика: я пойду прогуляться.

Надул же я их! Они заплатили мне два миллиона и два рубля за свое правосудие, тогда как за самих себя положили только, вместе с женщинами, 6 рублей 82 копейки!.. Разгадайте же, прошу, их своенравие! Я хорошо делаю, что съезжаю с сего света: ей-ей, тут нет толку!.. И они думают, что много выиграли, купив все человеческое правосудие!.. Не надо выводить их из заблуждения.

Как бы то ни было, но я вижу, что правосудие есть самая прибыльная статья в этом мире. Бьюсь об заклад, что за все остальные части сего Света не выручу и половины этой суммы.

Но пора воротиться к Тамизье и посмотреть, как идет продажа моего Света. Вот уже ночь. Аукцион, быть может, кончился, и аукционист наделал глупостей. Я забыл сказать ему, чтоб он человеческую славу продавал при свечах; при дневном свете на ней приметно множество пятен.

Ну, что, сударь? В каком положении мои дела?.. Покажите мне книгу.

Ум продан за 7 копеек. Очень выгодно. Я не надеялся столько. Купил его один барышник.

Словесность — куплена в Гостиный двор, по 50 рублей с печатного листа.

Науки — куплены обществом немцев для мелочной ими торговли. Заплачено — пуд табаку. Мало!

Слава — куплена шарлатаном. Получено 10 рублей задатку, 18 рублей 25 копеек осталось за ним в долгу. Так и есть, что он продал славу днем! Никто не хотел торговаться, увидев ее при солнечном свете, и шарлатан купил ее за безделицу. А при свечах куда как она хороша!

Авторская знаменитость — куплена дурным писателем. Не хочу даже знать, за какую цену!..

Счастие... Что вы сделали с счастием? Зачем не пустили его в продажу? Где оно?

— Сказать вам правду, сударь, его украли!.. Тут такая тьма народу!

Ох, боже мой! Украли счастие!.. А на него-то полагал я все мои расчеты! Я надеялся получить за него огромные деньги... Пусть же и так: несдобровать этому негодяю, который его спроворил. Он думает, что со счастием будет счастлив? — Не на то оно придумано!..

Теперь, господа, аукцион кончен. Как скоро счастие украли, остального и продавать не стоит — отдаю вам его даром. Что же вы еще смотрите? — Говорят вам, аукцион кончен, и Свет распродан!..

1833—1834 гг.

ПОВЕСТИ

БОЛЬШОЙ ВЫХОД У САТАНЫ

В недрах земного шара есть огромная зала, имеющая, кажется, 99 верст вышины: в «Отечественных записках» сказано, будто она вышиною в 999 верст; по «Отечественным запискам» ни в чем — даже в рассуждении ада — верить невозможно.

В этой зале стоит великолепный престол повелителя подземного царства, построенный из человеческих остовов и украшенный, вместо бронзы, сухими летучими мышами. Это должно быть очень красиво. На нем садится Сатана, когда дает аудиенцию своим посланникам, возвращающимся из поднебесных стран, или когда принимает поздравления чертей и знаменитейших проклятых, коими зала при таких торжественных случаях бывает наполнена до самого потолка.

Если вам когда-либо случалось читать мудрые сочинения патера Бузенбаума, иезуитского богослова и философа, то вы знаете — да как этого не знать? — что черти днем почивают, встают же около заката солнца, когда в Риме отпоют вечерню. В то же самое время просыпается и Сатана. Проснувшись, он надевает на себя халат из толстой конвертной бумаги, расписанный в виде пылающего пламени и который получил он в подарок из гардероба испанской инквизиции: в этих халатах у нас, на земле, люди сожигали людей. Засим выходит он в залу, где уже его ожидает многочисленное собрание доверенных чертей, подземных вельмож, адских льстецов, адских придворных и адских наушников: тут вы найдете пропасть еретиков, заслуженных грешников и прославленных извергов, вместе с теми, которые их прославляли в предисловиях и посвящениях,— словом, все *знаменитости* ада.

Заскрипела чугунная дверь спальни царя тьмы; Сатана вошел в залу и сел на своем престоле. Все присутствующие ударили челом и громко закричали: *виват*! — но голоса их никто б из вас не услышал, потому что они

тени, и крик их только тень крика. Чтоб услышать звуки этого рода, надо быть чертом или доносчиком.

Лукулл, скончавшийся от обжорства, исправляет при дворе его должность обер-гофмейстерскую: он заведывает кухнею, заказывает обед и сам подает завтрак. Как скоро утих этот неудобослышимый шум торжественного приветствия, Лукулл выступил вперед, держа в руках колоссальный поднос, на котором удобно можно было бы выстроить кабак с библиотекою для чтения: на нем стояли два большие портерные котла, один с кофеем, а другой со сливками; римская слезная урна, служащая вместо чашки; египетская гранитная гробница, обращенная в ящик для сахару, и старая сороковая бочка, наполненная сухарями и бисквитами для завтрака грозному обладателю ада.

Сатана вынул из гробницы огромную глыбу квасцов — ибо он никакого сахару, даже и свекловичного, даже и постного, терпеть не может — и положил ее в урну; налил из одного котла чистого смоленского дегтю, употребляемого им вместо кофейного отвара, из другого подбавил купоросного масла, заменяющего в аду сливки, и черную исполинскую лапу свою погрузил в бочку, чтобы достать пару сухарей.

Но в аду и сухари не похожи на наши: у нас они печеные, а там — печатанные. Попивая свой адский кофе, царь чертей, преутонченный гастроном, страстно любил пожирать наши несчастные книги в стихах и прозе; толстые и тонкие различного формата произведения наших земных словесностей; томы логик, психологий и энциклопедий; собрания разысканий, коими ничего не отыскано; историй, в коих ничего не сказано; риторик, которые ничему не выучили, и рассуждений, которые ничего не доказали,— особенно всякие большие поэмы, описательные, повествовательные, нравоучительные, философские, эпические, дидактические, классические, романтические, прозаические и проч., и проч. С некоторого времени, однако ж, он приметил, что этот род пирожного обременял его желудок, и потому приказал подавать к завтраку только новые повести исторические, писанные по последней моде; новые мелодрамы; новые трагедии в шести, семи и девяти картинах; новые романы в стихах и романы в роде Вальтер Скотта; новые стихотворные размышления, сказки, мессенианы и баллады,— как несравненно легче первых, обильно переложенные белыми страницами, набранные очень редко, растворенные точками

и виньетками и почти столь же безвредные для желудка и головы, как и обыкновенная белая бумага. Сухари эти прописал ему придворный его лейб-медик, известный доктор медицины и хирургии, Иппократ, убивший на земле своими рецептами 120 000 человек и за то возведенный людьми в сан отцов врачебной науки — впрочем, умный проклятый, который доказывает, что в нынешнем веке мятежей и трюфлей весьма полезно иметь несколько свободный желудок.

Сатана вынул из бочки четыре небольшие тома, красиво переплетенные и казавшиеся очень вкусными, обмакнул их в своем кофе, положил в рот, раскусил пополам, пожевал и — вдруг сморщился ужасно.

— Где черт фон-Аусгабе? — вскричал он с сердитым видом.

Мгновенно выскочил из толпы дух огромного роста, плотный, жирный, румяный, в старой трехугольной шляпе, и ударил челом повелителю. Это был его библиотекарь, бес чрезвычайно ученый, прежде бывший немецкий Gelehrter, который знал наизусть полные заглавия всех сочинений, мог высказать наперечет все издания, помнил, сколько в какой книге страниц, и презирал то, что на страницах, как пустую словесность — исключая опечатки, кои почитал он, одни лишь изо всех произведений ума человеческого, достойными особенного внимания.

— Негодяй! Какие прислал ты мне сухари? — сказал гневный Сатана. — Они черствы, как дрова.

— Ваша мрачность! — отвечал испуганный бес. — Других не мог достать. Правда, что сочинения несколько старые, но зато какие издания! — самые новые: только что из печати.

— Сколько раз говорил я тебе, что не люблю вещей разогретых?.. Притом же я приказал подавать себе только легкое и приятное, а ты подсунул мне что-то такое жесткое, сухое, безвкусное...

— Мрачнейший повелитель! Смею уверить вас, что это лучшие творения нашего времени.

— Это лучшие творения вашего времени?.. Так ваше время ужасно глупо!

— Не моя вина, ваша мрачность: я библиотекарь, глупостей не произвожу, а только привожу их в порядок и систематически располагаю. Вы изволите говорить, что сухари не довольно легки — легче этих и желать невозможно: в целой этой бочке, в которой найдете вы всю прошлогоднюю словесность, нет ни одной твердой мысли.

Если же они не так свежи, то виноват ваш пьяный Харон, который не далее вчерашнего дня сорок корзин произведений последних четырех месяцев во время перевозки уронил в Лету...

Между тем как библиотекарь всячески оправдывался, Сатана из любопытства откинул обертку оставшегося у него в руках куска книги и увидел следующий остаток заглавия: «.........ец .....оман ....торич...., сочин... н.....830».

— Что это такое? — сказал он, пяля на него грозные глаза.— Это даже не разогретое?.. Э?.. Смотри: 1830 года?..

— Видно, оно не стоило того, чтобы разогревать,— примолвил толстый бес с глупою улыбкой.

— Да это с маком!— воскликнул Сатана, рассмотрев внимательнее тот же кусок книги.

— Ваша мрачность! Скорее уснете после такого завтрака,— отвечал бес, опять улыбаясь.

— Ты меня обманываешь, да ты же еще и смеешься!..— заревел Сатана в адском гневе.— Поди ко мне ближе.

Толстый бес подошел к нему со страхом. Сатана поймал его за ухо, поднял на воздух как перышко, положил в лежащий подле него шестиаршинный фолиант сочинений Аристотеля на греческом языке, доставшийся ему в наследство из библиотеки покойного Плутона, затворил книгу и сам на ней уселся. Под тяжестью гигантских членов подземного властелина несчастный смотритель адова книгохранилища в одно мгновение сплюснулся между жесткими страницами классической прозы, наподобие сухого листа мяты. Сатана определил ему в наказание служить закладкою для этой книги в продолжение 1111 лет: Сатана надеется в это время добиться смысла в сочинениях Аристотеля, которые читает он почти беспрерывно. Пустое!..

— Приищи мне из проклятых на место этого педанта кого-либо поумнее,— сказал он, обращаясь к верховному визирю и любимцу своему, Вельзевулу.— Я намерен сделать, со временем, моим книгохранителем того великого библиотекаря и профессора, который недавно произвел на севере такую ужасную суматоху. Когда он к нам пожалует, ты немедленно введи его в должность: только не забудь приковать его крепкою цепью к полу библиотеки, не то он готов и у меня, в аду, выкинуть революцию и учредить конституционные бюджеты.

— Слушаю!— отвечал визирь, кланяясь в пояс и с благоговением целуя конец хвоста Сатаны.

Царь чертей стал копаться в бочке, ища лучших сухарей. Он взял Гернани, Исповедь, Петра Выжигина, Рославлева, Шемякин Суд и кучу других отличных сочинений; сложил их ровно, помочил в урне, вбил себе в рот, проглотил и запил дегтем. И надобно знать, что как скоро Сатана съест какую-нибудь книгу, слава ее на земле вдруг исчезает, и люди забывают об ее существовании. Вот почему столько плодов авторского гения, сначала приобретших громкую известность, впоследствии внезапно попадают в совершенное забвение: Сатана выкушал их с своим кофе!.. О том нет ни слова ни в одной истории словесности, однако ж это вещь официальная.

Повелитель ада съел таким образом в один завтрак словесность нашу за целый год: у него тогда был чертовский аппетит. Кушая свой кофе, он бросал беспокойный взор на залу и на присутствующих. Что-то такое беспокоило его зрение: он чувствовал в глазах неприятную резь. Вдруг, посмотрев вверх, он увидел в потолке расщелину, чрез которую пробивались последние лучи заходящего на земле солнца. Он тотчас угадал причину боли глаз своих и вскричал:

— Где архитектор?.. Где архитектор?.. Позовите ко мне этого вора.

Длинный, бледный, сухощавый проклятый пробился сквозь толпу и предстал пред его нечистою силой. Он назывался Дон Диего да-Буфало. При жизни своей строил он соборную церковь в Саламанке, из которой украл ровно три стены, уверив казенную юнту, имевшую надзор над этою постройкою, что заготовленный кирпич растаял от беспрерывных дождей и испарился от солнца. За сей славный зодческий подвиг он был назначен, по смерти, придворным архитектором Сатаны. В аду места даются только истинно достойным.

— Мошенник! — воскликнул Сатана гневно (он всегда так восклицает, рассуждая с своими чиновниками). — Всякий день подаешь мне длинные счеты издержкам, будто употребленным на починку моих чертогов, а между тем куда ни взгляну — повсюду пропасть дыр и расщелин?..

— Старые здания, ваша мрачность! — отвечал проклятый, кланяясь и бесстыдно улыбаясь. — Старые здания... ежедневно более и более приходят в ветхость. Эта расщелина произошла от последнего землетрясения. Я уже несколько раз имел честь представлять вашей нечистой

силе, чтоб было позволено мне сломать весь этот ад и выстроить вам новый, в нынешнем вкусе.

— Не хочу!..— закричал Сатана.— Не хочу!.. Ты имеешь в предмете обокрасть меня при этом случае, потом выстроить себе где-нибудь адишко из моего материала, под именем твоей племянницы, и жить маленьким сатаною. Не хочу!.. По-моему, этот ад еще весьма хорош: очень жарок и темен, как нельзя лучше. Сделай мне только план и смету для починки потолка.

— План и смета уже сделаны. Вот они. Извольте видеть: надобно будет поставить две тысячи колонн в готическом вкусе: теперь готические колонны в большой моде; сделать греческий фронтон в виде трехугольной шляпы: без этого нельзя же!.. переменить архитраву; большую дверь заделать в этой стене, а пробить другую в противоположной; переложить пол; стены украсить кариатидами; сломать старый дворец для открытия проспекта со стороны тартара; построить два новые флигеля и лопнувшее в потолке место замазать алебастром — тогда солнце отнюдь не будет беспокоить вашей мрачности.

— Как?.. что?..— воскликнул Сатана в изумлении.— Все эти постройки и перестройки по поводу одной дыры?

— Да, ваша мрачность! Точно, по поводу одной дыры. Архитектура предписывает нам, заделывая одну дыру, немедленно пробивать другую для симметрии...

— Послушай, плут! Перестань обманывать меня! Ведь я тебе не член испанской Строительной Юнты.

Проклятый поклонился в землю, плутовски улыбаясь.

— Велю замять тебя с глиною и переделать на кирпич для починки печей в геенне...

Он опять улыбнулся и поклонился.

— Да и любопытно мне знать, сколько все это стоило б по твоим предположениям?

— Безделицу, ваша мрачность. При должной бережливости, производя эти починки хозяйственным образом, с соблюдением казенного интереса, они обойдутся в 9 987 408 558 777 900 009 675 999 червонцев, 99 штиверов и 49 $^1/_2$ пенсов. Дешевле никто вам не починит этого потолка.

Сатана сморщился, призадумался, почесал голову и сказал:

— Нет денег!.. Теперь время трудное, холерное...

Он протянул руку к бочке: все посмотрели на него с любопытством. Он вытащил из нее две толстые книги: *Умозрительную физику В**** и *Курс умозрительной*

философии Шеллинга; раскрыл их, рассмотрел, опять закрыл и вдруг швырнул ими в лоб архитектору, сказав:

— На!.. возьми эти две книги и заклей ими расщелину в потолке: через эти умозрения никакой свет не пробьется.

Метко брошенные книги пролетели сквозь пустую голову тени бывшего архитектора точно так же, как пролетает полный курс университетского учения сквозь порожние головы иных баричей, не оставив после себя ни малейшего следа — и упали позади его на пол. Архитектор улыбнулся, поклонился, поднял глубоко-мудрые сочинения и пошел заклеивать ими потолок.

Немецкий студент, приговоренный в Майнце к аду за участие в Союзе добродетели, шепнул ***ову, известному любителю Канта, Окена, Шеллинга, магнетизму и пеннику:

— Этот скряга, Сатана, точно так судит о философии и умозрительности, как ***ой о древней российской истории.

— Неудивительно!..— отвечал ***ов с презрением.— Он враг всякому движению умственному...

— Что?..— вскричал сердито Сатана, который везде имеет своих лазутчиков и все слышит и видит.— Что такое вы сказали?.. Еще смеете рассуждать!.. Подите ко мне, шуты! Научу я вас делать свои замечания в моем аду!

Черти, смотрящие за порядком в зале, привели к нему дерзких питомцев любомудрия. Сатана схватил одного из них за волосы, поднял на воздух, подул ему в нос и сказал:

— Поди, шалун, в геенну — чихать два раза всякую секунду в продолжение 3333 лет, а ты, отчаянный философ,— примолвил он, обращаясь к ***ову,— сиди подле него и приговаривай: «Желаю вам здравствовать!» Подите прочь, дураки!

Засим обратился он к визирю своему, Вельзевулу, и спросил о дневной очереди. Визирь отвечал, что в тот вечер должны были докладывать ему обер-председатель мятежей и революций, первый лорд-дьявол журналистики, великий черт словесности и главноуправляющий супружескими делами.

Предстал черт старый, гадкий, оборванный, изувеченный, грязный, отвратительный, со всклокоченными волосами, с одним выдолбленным глазом, с одним сломанным рогом, с когтями как у гиены, с зубами без губ, как у трупа,

и с большим пластырем, прилепленным сзади, пониже хвоста. Под мышкою торчала у него кипа бумаг, обрызганных грязью и кровью; на голове — старая кучерская лакированная шляпа, трехцветная кокарда; за поясом — кинжал и пара пистолетов; в руках — дубина и ржавое ружье без замка. Карманы его набиты были камнями из мостовой и кусками бутылочного стекла.

Всяк, и тот даже, кто не бывал в Париже, легко угадал бы по его наружности, что это должен быть злой дух мятежей, бунтов, переворотов.... Он назывался Астарот.

Он предстал, поклонился и перекувырнулся раза три на воздухе, в знак глубочайшего почтения.

— Ну что?..— вопросил царь чертей.— Что нового у тебя слышно?

— Ревность к престолу вашей мрачности, всегда руководившая слабыми усилиями моими, и должная заботливость о пользах вверенной мне части...

— Стой!— воскликнул Сатана.— Я знаю наизусть это предисловие: все доклады, в которых ни о чем не говорится, начинаются с ревности к моему престолу. Говори мне коротко и ясно: сколько у тебя новых мятежей в работе?

— Нет ни одного порядочного, ваша мрачность, кроме бунта паши египетского против турецкого султана. Но о нем не стоит и докладывать, потому что дело между басурманами.

— А зачем нет ни одного?— спросил грозно Сатана.— Не далее как в прошлом году восемь или девять мятежей было начатых в одно и то же время. Что ты с ними сделал?

— Кончились, ваша мрачность.

— По твоей глупости, недеятельности, лености; по твоему нерадению...

— Отнюдь не потому, мрачнейший Сатана. Вашей нечистой силе известно, с каким усердием действовал я всегда на пользу ада, как неутомимо ссорил людей между собою: доказательством тому — сломанный рог и потерянный глаз, который имею честь представить...

— Об этом глазе толкуешь ты мне 800 лет сряду: я читал, помнится, в сочинениях болландистов, что его вышиб тебе башмаком известный Петр Пустынник во время первого крестового похода, а рог ты сломал еще в начале XVII века, когда, подружившись с иезуитами, затеял на севере глупую шутку прикинуться несколько раз сряду Димитрием...

— Конечно, мрачнейший Сатана, что эти раны немнож-

ко стары; но, подвизаясь непрестанно за вашу славу, теперь вновь я опасно ранен, именно: в стычке, последовавшей близ Кракова, когда с остатками одной *достославной* революции принужден был уходить бегом на австрийскую границу. Если ваша мрачность не верите, то, с вашего позволения, извольте посмотреть сами...

И, обратясь спиною к Сатане, он поднял рукою вверх свой хвост и показал пластырь, прилепленный у него сзади. Сатана и все адское собрание расхохотались, как сумасшедшие.

— Ха, ха, ха, ха!.. Бедный мой обер-председатель мятежей!..— воскликнул повелитель ада в веселом расположении духа.— Кто же тебя уязвил так бесчеловечно?

— Донской казак, ваша мрачность, своим длинным копьем. Это было очень забавно, хотя кончилось неприятно. Я порасскажу вам все, как что было, и в нескольких словах дам полный отчет о последних революциях. Во-первых, вашей мрачности известно, что года два тому назад я произвел прекрасную суматоху в Париже. Люди дрались и резались дня три кряду, как тигры, как разъяренные испанские быки: кровь лилась, дома горели, улицы наполнялись трупами, и никто не знал, о чем идет дело...

— Ах, славно!.. Вот славно!.. Вот прекрасно!..— воскликнул Сатана, потирая руки от радости.— Что же далее?

— На четвертый день я примирил их на том условии, что царь будет у них государем, а народ царем...

— Как?.. Как?..

— На том условии, ваша мрачность, что царь будет государем, а народ царем.

— Что это за чепуха?.. Я такого условия не понимаю.

— И я тоже. И никто его не понимает. Однако люди приняли его с восхищением.

— Но в нем нет ни капли смысла.

— Потому-то оно и замысловато.

— Быть не может!

— Клянусь проклятейшим хвостом вашей мрачности.

— Что ж из этого выйдет?

— Вышла прекрасная штука. Этою сделкой я так запутал дураков людей, что они теперь ходят как опьяневшие, как шальные...

— Но мне какая от того польза? Лучше бы ты оставил их драться долее.

— Напротив того, польза очевидна. Подравшись, они перестали бы драться, между тем как на основании

этой сделки они будут ссориться ежедневно, будут непрестанно убивать, душить, расстреливать и истреблять друг друга, доколе царь и народ не сделаются полным царем и государем. Ваша мрачность будете от сего получать ежегодно верного дохода по крайней мере 40 000 погибших душ.

— Bene*! — воскликнул Сатана и от удовольствия нюхнул в один раз три четверти и два четверика железных опилков вместо табаку.— Что же далее?

— Далее, ваша мрачность, есть в одном месте, на земле, некоторый безыменный народ, живущий при большом болоте, который с другим, весьма известным народом, живущим в болоте, составлял одно целое. Не знаю, слыхали ль вы когда-нибудь про этот народ или нет?

— Право, не помню. А чем он занимается, этот безыменный народ?

— Прежде он крал книги у других народов и перепечатывал их у себя; также делал превосходные кружева и блонды и был нам, чертям, весьма полезен, ибо за его кружева и блонды множество прекрасных женщин предавались в наши руки. Теперь он ничего не делает: разорился, обеднел, и не впрок ни попу, ни черту — только мелет вздор и сочиняет газеты, которых никто не хочет читать.

— Нет, никогда не слыхал я о таком народе!..— примолвил Сатана и... чих!.. громко чихнул на весь ад. Все проклятые тихо закричали: *«Ура!!!..»*, а в брюссельских газетах на другой день было напечатано, что голландцы ночью подъехали под Брюссель и выстрелили из двухсот пушек.

— Этот приболотный народ,— продолжал черт мятежей,— жил некоторое время довольно дружно с упомянутым народом болотным; но я рассорил их между собою и из приболотного народа сделал особое приболотное царство, в котором тоже положил правилом, чтобы известно было, кто царь, а кто государь. Вследствие сего, ваша мрачность, можете надеяться оттуда еще на 10 000 погибших годового дохода.

— Gut**!— сказал Сатана.— Что же далее?

— Потом я пошевелил еще один народ, живший благополучно на сыпучих песках по обеим сторонам одной

---

* Хорошо! *(лат.)*

** Хорошо! *(нем.)*

большой северной реки. Вот уж был истинно забавный случай! Никогда еще не удавалось мне так славно надуть людей, как в этом деле: да, правду сказать, никогда и не попадался мне народ такой легковерный. Я так искусно настроил их, столь вскружил им голову, запутал все понятия, что они дрались как сумасшедшие в течение нескольких месяцев, гибли, погибали и теперь еще не могут дать себе отчета, за что дрались и чего хотели. При сей оказии я имел счастие доставить вам с лишком 100 000 самых отчаянных проклятых.

— *Барзо добже**! — примолвил Сатана, который собаку съел на всех языках. — Что же далее?

— После этих трех *достославных* революций я удалился в Париж, главную мою квартиру, и от скуки написал ученое рассуждение *О верховной власти сапожников, поденщиков, извозчиков, наборщиков, нищих, бродяг и проч.*, которое желаю иметь честь посвятить вашей мрачности.

— Посвяти его своему приятелю, человеку обоих светов, — возразил Сатана с суровым лицом. — Мне не нужно твоего сочинения: желаю знать, чем кончилась та революция, которую затеял ты где-то на песках, над рекою на севере.

— Ничем, ваша мрачность. Она кончилась тем, что нас разбили и разогнали и что в замешательстве бradатый казак, который вовсе не знает толку в достославных революциях, кольнул меня жестоко a posteriori**, как вы сами лично изволили свидетельствовать.

— Что же далее?

— Далее ничего, мрачнейший Сатана. Теперь я увечный, инвалид, и пришел проситься у вашей нечистой силы в отпуск за границу на шесть месяцев, к теплым водам, для излечения раны...

— Отпуска не получишь, — вскричал страшный повелитель чертей, — во-первых, ты не достоин, а во-вторых, ты мне нужен: дела дипломатические, говорят, все еще запутаны. Но возвратимся к твоей части. Ты рассказал мне только о трех революциях: куда же девались остальные? Ты еще недавно хвастал, будто в одной Германии завел их пять или шесть.

— Не удались, ваша мрачность.

---

* Очень хорошо *(польск.)*.
** Напоследок *(лат.)*.

— Как не удались?

— Что же мне делать с немцами, когда их расшевелить невозможно!.. Извольте видеть: вот и теперь есть у меня с собою несколько десятков немецких возбудительных прокламаций, речей, произнесенных в Гамбахе, и полных экземпляров газеты «Die deutsche Tribune»*. Я раскидываю их по всей Германии, но немцы читают их с таким же отчаянным хладнокровием, с каким пьют они пиво со льдом и танцуют вальс под музыку: «Mein lieber Augustchen»**!.. Несколько сумасшедших студентов и докторов прав без пропитания кричат, проповедуют, мечутся; но это не производит никакого действия в народе. Мне уже эти немцы надоели: уверяю вашу мрачность, что из них никогда ничего не выйдет. Даже и проклятые из них ненадежны: они холодны до такой степени, что вам всеми огнями ада и разогреть их не удастся, не то чтоб сжарить, как следует.

— Что же ты сделал в Италии?

— Ничего не сделал.

— Как ничего!.. когда я приказал всего более действовать в Италии, и даже обещал щепотку табаку, если успеешь перевернуть вверх ногами Папские владения.

— Вы приказали, и я действовал. Но итальянцы — настоящие бабы. В начале сего года учредил я между ними прекрасный заговор: они поклялись, что отвагою и мятежническими доблестями превзойдут древних римлян, и я имел причину ожидать полного успеха, как вдруг, ночью, ваша мрачность изволили слишком громко... с позволения сказать... кашлянуть, что ли?.. так, что земля маленько потряслась над вашею спальнею. Мои герои, испугавшись землетрясения, побежали к своим капуцинам и высказали им на исповеди весь наш заговор — и все были посажены в тюрьму. Я сам нáходился в ужасной опасности и едва успел спасти жизнь: какой-то капуцин гнался за мною с кропилом в руке чрез всю Болонью. К Риму подходить я не смею: вам известно, что еще в V веке заключен с нами договор, подлинная грамота коего, писанная на бычачьей шкуре, хранится поныне в Ватиканской библиотеке между тайными рукописями,— этим договором черти обязались не приближаться к стенам Рима на десять миль кругом...

— У тебя на все своя отговорка,— возразил недовольный Сатана,— по твоей лености выходит, что в нынешнее

---

* «Немецкая трибуна» *(нем.)*.

** «Мой любимый Августин...» *(нем.)*

время одни лишь черти будут свято соблюдать договоры. Ну, что в Англии?

— Покамест ничего, но будет, будет!.. Теперь прошел билль о реформе, и я вам обещаю, что лет через несколько подниму вам в том краю чудесную бурю. Только потерпите немножко!..

— Итак, теперь решительно нет у тебя ни одной революции?

— Решительно ни одной, ваша мрачность! кроме нескольких текущих мятежей и бунтов по уездам в конституционных государствах, где это в порядке вещей и необходимо для удостоверения людей, что они действительно пользуются свободою, то есть что они беспрепятственно могут разбивать друг другу головы во всякое время года.

— Однако, любезный Астарот, я уверен, что ежели ты захочешь, то все можешь сделать,— присовокупил царь чертей.— Постарайся, голубчик! Пошевелись, похлопочи...

— Стараюсь, бегаю, хлопочу, ваша мрачность! но трудно: времена переменились.

— Отчего же так переменились?

— Оттого, что люди не слишком стали мне верить.

— Люди не стали тебе верить?..— воскликнул изумленный Сатана.— Как же это случилось?

— Я слишком долго обманывал их обещаниями блистательной будущности, богатства, благоденствия, свободы, тишины и порядка, а из моих революций, конституций, камер и бюджетов вышли только гонения, тюрьмы, нищета и разрушение. Теперь их не так легко надуешь: они сделались чрезвычайно умны.

— Молчи, дурак!— заревел Сатана страшным голосом.— Как ты смеешь лгать предо мною так бессовестно? Будто я не знаю, что люди никогда не будут умны?..

— Однако, уверяю вашу мрачность...

— Молчи!..

Черт мятежей по врожденной наглости хотел еще отвечать Сатане, как тот в ужасном гневе соскочил с своего седалища и бросился к нему с пылающим взором, с разинутою пастью, с распростертыми когтями, как будто готовясь растерзать его.

Астарот бежать!— Сатана за ним!..

Проклятые со страха стали прятаться в дырках и расщелинах, влезать на карнизы, искать убежища на потолке. Суматоха была ужасная, как во французской камере депутатов при совещаниях о водворении внутреннего порядка или о всеобщем мире.

Сатана гонялся за Астаротом по всей зале, но обер-председатель революций, истинно с чертовскою ловкостью, всегда успевал ускользнуть у него почти из рук. Это продолжалось несколько минут, в течение коих они пробежали друг за другом 2000 верст в разных направлениях. Наконец повелитель ада поймал коварного министра своего за хвост...

Поймав и держа за конец хвоста, он поднял его на воздух и сказал с адскою насмешкой:

— А!.. ты толкуешь мне об уме людей!.. Постой же, негодяй!.. Смотри, чтобы немедленно произвел мне где-нибудь между ними революцию под каким бы то ни было предлогом: иначе я тебя!.. quos ego*!.. как говорит Вергилий...

И в пылу классической угрозы, повертев им несколько раз над своею головою, он бросил его вверх со всего размаху.

Бедный черт мятежей, пробив собою свод ада, вылетел в надземный воздух и несколько часов кряду летел в нем, как бомба, брошенная из большой Перкинсовой мортиры. Астрономы направили в него свои телескопы и, приметив у него хвост, приняли его за комету: они тотчас исчислили, во сколько времени совершит она путь свой около солнца, и для успокоения умов слабых и суеверных издали ученое рассуждение, говоря: «Не бойтесь! Это не черт, а комета».— Г. Е*** напечатал в «Северной пчеле», что хотя это, может статься, и не комета, а черт, но он не упадет на землю, напротив того, он сделается луною, как то уже предсказано им назад тому лет двадцать.— Теперь, после изобретения Фрауэнгоферова телескопа, и летучая мышь не укроется в воздухе от астрономов: они всех их произведут в небесные светила.

Между тем черт мятежей летел, летел, летел и упал на землю с треском и шумом — в самом центре Парижа. Но черти как кошки: падения им не вредны. Астарот мигом приподнялся, оправился и немедленно стал кричать во все горло: Долой министров!— Долой короля! — Да здравствует свобода!— Виват Республика! — Виват Лафайет!— Ура Наполеон II!— стал бросать в окна каменьями и бутылками, коими были наполнены его карманы; стал бить фонари и стрелять из пистолетов — и в одно мгновение вспыхнул ужасный бунт в Париже.

---

* Я вас *(лат.)*

Сатана, выбросив Астарота на землю, важно возвратился к своему престолу, воссел, выпыхался, понюхал опилок и сказал:

— Видишь, какой бездельник!.. Чтоб ничего не делать, он вздумал воспевать передо мною похвалы уму человеческому!.. Покорно прошу сказать, когда этот прославленный ум был сильнее нашего искушения?.. Люди всегда будут люди. Ох, эти любезные, дорогие люди!.. они на то лишь и годятся, что ко мне в проклятые... Кто теперь следует к докладу?

Представьте себе чертенка — ведь вы чертей видали? — представьте себе чертенка ростом с обыкновенного губернского секретаря, 2 аршина и $^1/_2$ вершка, с петушиным носом, с собачьим челом, с торчащими ушами, с рогами, с когтями и с длинным хвостом; одетого — как всегда одеваются черти! — одетого по-немецки, в чулках, сшитых из старых газет, в штанах из старых газет, в длинном фраке из старых газет, с высоким, аршин в девять, остроконечным колпаком на голове, склеенным из журнальных корректур в виде огромного шпица, на верхушке коего стоит бумажный флюгерок, вертящийся на деревянном прутике и показывающий, откуда дует ветер, — и вы будете иметь понятие о забавном лице и форменном наряде пресловутого Бубантуса, первого лорда-дьявола журналистики в службе его мрачности.

Бубантус — большой любимец повелителя ада: он исправляет при нем двойную должность — придворного клеветника и издателя ежедневной газеты, выходящей однажды в несколько месяцев под заглавием: «Лгун из лгунов». В аду это официальная газета: в ней, для удовлетворения любопытству царя тьмы, помещаются одни только известия неосновательные, ибо основательные он находит слишком глупыми и недостойными его внимания. И дельно!..

С совиным пером за ухом, с черным портфелем под мышкою, весь запачканный желчью и чернилами, подошел он к седалищу сурового обладателя подземного царства и остановился: остановился, поклонился, сделал пируэт на одной ноге и опять поклонился и сказал:

— Имею честь рекомендоваться!..

Сатана примолвил:

— Любезный Бубантушка, начинай скорее свой

доклад: только говори коротко и умно, потому что я сердит и скучаю...

И он зевнул ужасно, раскрыв рот шире жерла горы Везувия: дым и пламя заклубились из его горла.

— Мой доклад сочинен на бумаге,— отвечал нечистый дух журналистики.— Как вашей мрачности угодно его слушать: романтически или классически?.. то есть, снизу вверх или сверху вниз?

— Слушаю снизу вверх,— сказал Сатана.— Я люблю романтизм: там все темно и страшно, и всякое третье слово бывает непременно *мрак* или *мрачный* — это по моей части.

Бубантус начал приготовляться к чтению. Сатана присовокупил:

— Садись, мой дорогой Бубантус, чтоб тебе было удобнее читать.

Бубантус оборотился к нему задом и поклонился в пояс: под землею это принятый и самый вежливый образ изъявления благодарности за приглашение садиться. Он окинул взором залу и, нигде не видя стула, снял с головы свой бумажный, шпицеобразный колпак, поставил его на пол, присел, сжался, прыгнул на десять аршин вверх, вскочил и сел на самом флюгерке его; сел удивительно ловко — ибо вдруг попал он своим rectum* на конец прутика и воткнулся на него ровно, крепко и удобно,— принял важный вид, вынул из портфеля бумагу, обернул ее вверх ногами, чихнул, свистнул и приступил к чтению с конца, на романтический манер:

«и проч., и проч., слугою покорнейшим вашим пребыть честь Имею. невозможно людьми управлять иначе...»

— И проч., и проч.!..— воскликнул Сатана, прерывая чтение.— Визирь, слышал ли ты это начало? И проч., и проч.!.. Наш Бубантус, право, мастер сочинять. Доселе статьи романтические обыкновенно начинались с *И*, с *Ибо* с *Однако ж*, но никто еще не начал так смело, как он, с *и проч.* Романтизм — славное изобретение!

— Удивительное, ваша мрачность,— отвечал визирь, кланяясь.

— На будущее время я не иначе буду говорить с тобою о делах, как романтически, то есть наоборот.

— Слушаю, ваша мрачность!— примолвил визирь,— это будет гораздо вразумительнее. В самом деле, истинно

---

* Здесь: задом *(лат.)*.

адские понятия никаким другим слогом не могут быть выражены так сильно и удобно, как романтическим.

— Как мы прежде того не догадались! — сказал царь чертей. — Я, вероятно, всегда любил романтизм?..

— Ваша мрачность всегда имели вкус тонкий и чертовский.

— Читай, — сказал Сатана, обращаясь к злому духу журналистики, — но повтори и то, что прочитал: мне твой слог очень нравится.

Бубантус повторил:

«и проч., и проч., слугою покорнейшим вашим пребыть честь Имею...»

— Как?.. только *слугою?* — прервал опять Сатана. — Ты в тот раз читал умнее.

— Только *слугою*, ваша мрачность, — возразил черт журналов, — я и прежде читал *слугою* и теперь так читаю. Я не могу более подписываться: *вашим верноподданным.*

— Почему?

— Потому что мы, в Париже, торжественно протестовали против этого слова почти во всех журналах: оно слишком классическое, мифологическое, греческое, феодальное...

— Полно, так ли, братец?

— Точно так, ваша мрачность! Со времени учреждения в Западной Европе самодержавия черного народа все люди — цари: так говорит г. Моген. Я даже намерен заставить предложить в следующее собрание французских Палат, чтобы вперед все частные лица подписывались: *Имею честь быть вашим милостивым государем*, а один только король писался бы *покорнейшим слугою.*

— Странно!.. — воскликнул Сатана с весьма недовольным видом. — Неужели все это романтизм?

— Самый чистый романтизм, ваша мрачность. В романтизме главное правило, чтобы все было странно и наоборот.

— Продолжай!

Бубантус продолжал:

«невозможно людьми управлять иначе: в искушение вводить и обещаниями лживыми увлекать, дерзостью изумлять, искусно их надувать уметь надобно, изволите сие знать, мрачность ваша, как в дураках остались совершенно они, чтоб, стараясь, ибо...»

— Стой! — закричал Сатана, и глаза у него засверкали, как молнии. — Стой!.. Полно! Ты сам останешься у меня в дураках. Как ты смеешь говорить, что моя мрачность?..

Не хочу я более твоего романтизма. Читай мне классически, сверху вниз.

— Но здесь дело идет не о вашей мрачности, а о людях,— возразил испуганный чертенок.— Слог романтический имеет то свойство, что над всяким периодом надобно крепко призадуматься, пока постигнешь смысл оного, буде таковой на лицо в оном имеется.

— А я думать не хочу!— сказал грозный обладатель ада.— На что мне эта беда?.. Я вашего романтизма не понимаю. Это сущий вздор: не правда ли, мой верховный визирь?

— Совершенная правда!— отвечал Вельзевул, кланяясь.— Слыханное ли дело, читая думать?..

— Сверх того,— присовокупил царь чертей,— я примечаю в этом слоге выражения чрезвычайно дерзкие, неучтивые, которых никогда не встречал я в прежней классической прозе, гладкой, тихой, покорной, низкопоклонной...

— Без сомнения!— подтвердил визирь.— Романтизм есть слог мотов, буянов, мятежников, лунатиков, и для таких больших вельмож, как вы, слог классический гораздо удобнее и приличнее: по крайней мере он не утруждает головы и не пугает воображения.

— Мой верховный визирь рассуждает очень здраво,— сказал Сатана с важностью,— я большой вельможа. Читай мне классически, не утруждая моей головы и не пугая моего воображения.

Бубантус, обернув бумагу назад, стал читать сначала:

«ДОКЛАД

Мрачнейший Сатана!

Имею честь донести вашей нечистой силе, что, стараясь распространять более и более владычество ваше между родом человеческим, для удобнейшего запутания означенного рода в наши тенеты, подведомых мне журналистов разделил я на всей земле на классы и виды и каждому из них предписал особенное направление. В одной Франции учредил я четыре класса журналописцев, не считая пятого. Первый класс назван мною журналистами движения, второй — журналистами сопротивления, третий — журналистами уклонения, четвертый — журналистами возвращения. Пятый именуется среднею серединою. Одни из них тащат умы вперед, другие тащат их назад; те тащат направо, те налево, тогда как последователи средней средины увертываются между ними, как бесхвостая лиса,— и все кричат, и все шумят, все вопиют,

ругают, стращают, бесятся, грозят, льстят, клевещут, обещают; все предвещают и проповедуют бунты, мятежи, бедствия, кровь, пожар, слезы, разорение: только слушай да любуйся! Читатели в ужасе, не знают что думать, не знают чему верить и за что приняться: они ежечасно ожидают гибельных происшествий, бегают, суетятся, укладывают вещи, прячут пожитки, заряжают ружья, хотят уйти и хотят защищаться и не разберут, кто враг, кто приятель, на кого нападать и кого покровительствовать; днем они не докушивают обеда, ввечеру боятся искать развлечений, ночью внезапно вскакивают с постели: одним словом, беспорядок, суматоха, буря умов, волнение надежд и желаний, вьюга страстей, грозная, неслыханная, ужасная — и все это по милости газет и журналов, мною созданных и руководимых!

Не хвастая, ваша мрачность, я один более проложил людям путей к пагубе, чем все прочие мои товарищи. Я удвоил общую массу греха. Прежде люди грешили только по старинному, краткому списку грехов; теперь они грешат еще по журналам и газетам: по ним лгут, крадут, убивают, плутуют, святотатствуют; по ним живут и гибнут в бесчестии. Мои большие печатные листы беспрерывно колют их в бок, жгут в самое сердце, рвут тела их клещами страстей, тормошат умы их обещаниями блеска и славы, как собаки кусок старой подошвы; подстрекают их против всех и всего, прельщают и, среди прельщения, забрызгивают им глаза грязью; возбуждают в них деятельность и, возбудив, не дают им ни есть, ни спать, ни работать, ни заниматься выгодными предприятиями. Сим-то образом, создав, посредством моих листов, особую стихию политического мечтательства — стихию горькую, язвительную, палящую, наводящую опьянение и бешенство,— я отторгнул миллионы людей от мирных и полезных занятий и бросил их в пучины сей стихии: они в ней погибнут, но они уже увлекли с собою в пропасть целые поколения и еще увлекут многие.

Коротко сказать, при помощи сих ничтожных листов я содержу все в полном смятении, заказываю мятежи на известные дни и часы, ниспровергаю власти, переделываю законы по своему вкусу и самодержавно управляю огромным участком земного шара: Франциею, Англиею, частью Германии, Ост-Индиею, Островами и целою Америкою. Если ваша мрачность желаете видеть на опыте, до какой степени совершенства довел я на земле адское могущество журналистики, да позволено мне будет выпи-

сать из Франции, Англии и Баварии пятерых журналистов и учредить здесь, под землею, пять политических газет: ручаюсь моим хвостом, что чрез три месяца такую произведу вам суматоху между проклятыми, что вы будете принуждены объявить весь ад состоящим в осадном положении; вашей же мрачности велю сыграть такую пронзительную серенаду на кастрюлях, котлах, блюдах, волынках и самоварах,— где вам угодно, хоть и под вашею кроватью,— какой ни один член средней середины...»

— Ах ты, негодяй!..— закричал Сатана громовым голосом и — хлоп!— отвесил ему жестокий щелчок по носу — щелчок, от которого красноречивый Бубантус, сидящий на колпаке, на конце прутика, поддерживающего флюгер, вдруг стал вертеться на нем с такою быстротою, что подобно приведенной в движение шпуле он образовал собою только вид жужжащего, дрожащего, полупрозрачного шара. И он вертелся таким образом целую неделю, делая на своем полюсе по 666 поворотов в минуту,— ибо сила щелчка Сатаны в сравнении с нашими паровыми машинами равна силе 1738 лошадей и одного жеребенка.

— Странное дело,— сказал Сатана визирю своему Вельзевулу,— как они теперь пишут!.. Читай как угодно, сверху вниз или снизу вверх, классически или романтически: все выйдет та же глупость или дерзость!.. Впрочем, Бубантус добрый злой дух: он служит мне усердно и хорошо искушает; но, живя в обществе журналистов, он сделался немножко либералом, наглым и забывает должное ко мне благоговение. В наказание пусть его помелет задом... Позови черта словесности к докладу.

Визирь кивнул рогом, и великий черт словесности явился.

Он не похож на других чертей, он черт хорошо воспитанный, хорошего тона; высокий, тонкий, сухощавый, черный — очень черный — и очень бледный: страждет модною болезнию, гастритом, и лицо имеет, оправленное в круглую рамку из густых бакенбард. Он носит желтые перчатки, на шее у него белый атласный галстух. Не взирая на присутствие Сатаны, он беззаботно напевал себе сквозь зубы арию из «Фрейшюца» и хвостом выколачивал такт по полу. Он имел вид франта, и еще ученого франта. С первого взгляда узнали б вы в нем романтика. Но он романтик не журнальный, не такой, как Бубантус,

а романтик высшего разряда, в четырех томах, с английскою виньеткою.

— Здоров ли ты, черт Точкостав? — сказал ему Сатана.

— !.. !!.... Слуга покорнейший....!!!.?...!!!! вашей адской мрачности!!!!!....!..!.

— Давно мы с тобой не видались.

— Увы!...!!!..??..?!..!!!!!!!..! я страдал...!!!... я жестоко страдал!!!!..!..!..!..? Мрачная влажность проникла в стены души моей; гробовая сырость ее вторгнулась, как измена, в мозг, и мое воображение, вися неподвижно в сем тяжелом, мокром, холодном тумане болезненности, мерцало только светом слабым, бледным, дрожащим, неровно мелькающим, похожим на ужасную улыбку рока, поразившего остротою свою добычу,— оно мерцало светом лампады, внесенной рукою гонимого в убийственный воздух ужаса и смрада, заваленный гниющими трупами и хохочущими остовами...

— Что это значит? — воскликнул изумленный Сатана.

— Это значит??.!!!..?.!!!!!.!.! это значит, что у меня был насморк,— отвечал Точкостав.

— Ах ты, сумасброд! — вскричал царь чертей с нетерпением.— Перестанешь ли ты когда-нибудь, или нет, морочить меня своим отвратительным пустословием и говорить со мною точками да этими кучами знаков вопросительных и восклицательных?.. Я уже несколько раз сказывал тебе, что терпеть их не могу; но теперь для вящей безопасности от скуки и рвоты решаюсь принять в отношении к вам общую, великую, государственную меру...

— Что такое?..— спросил встревоженный черт.

— Я отменяю,— продолжал Сатана,— уничтожаю формально и навсегда в моих владениях весь романтизм и весь классицизм, потому что как тот, так и другой — сущая бессмыслица.

— Как же теперь будет?..— спросил нечистый дух словесности.— Каким слогом будем мы разговаривать с вашею мрачностью?.. Мы умеем только говорить классически или романтически.

— А я не хочу знать ни того, ни другого! — примолвил Сатана с суровым видом.— Оба эти рода смешны, ни с чем несообразны, безвкусны, уродливы, ложны — ложны, как сам черт! Понимаешь ли?.. И ежели в том дело, то я сам, моею властию, предпишу вам новый род и новую школу словесности: вперед имеете вы говорить и писать не классически, не романтически, а шарбалаамбарабурически.

— Шарбалаамбарабурически?..— сказал черт.

— Да, шарбалаамбарабурически,— присовокупил Сатана,— то есть писать *дельно.*

— Писать дельно?..— воскликнул великий черт словесности в совершенном остолбенении.— Писать дельно!.. Но мы, ваша мрачность, умеем только писать классически или романтически.

— Писать дельно, говорят тебе!— повторил Сатана с гневом.— Дельно, то есть здраво, просто, естественно, сильно без натяжек, ново без трупов, палачей и шарлатанства, приятно без причесанных а ла Titus периодов и одетых в риторический парик оборотов, разнообразно без греческой мифологии и без Шекспирова чернокнижия, умно без старинных антитез и без нынешнего плутовства в словах и мыслях. Понимаешь ли?.. Я так приказываю: это моя выдумка.

— Писать здраво, просто, умно, разнообразно!..— повторил с своей стороны нечистый дух словесности в жестоком смятении.— У вашей мрачности всегда бывают какие-то чертовские выдумки. Мы умеем только писать классически или ром...

— Слышал ли ты мою волю или нет?

— Слышал, ваша мрачность, но она неудобоисполнима.

— Почему?..

— Потому что я и подведомые мне словесники умеем излагать наши мысли только классически или романтически, то есть по одному из двух готовых образцов, по одной из двух давно известных, определенных систем: писать же так, чтоб это не было ни *сглупа* по-афински, ни *сдурна* по-староанглийски — того на земле никто исполнить не в состоянии. Ваша нечистая сила полагаете, что у людей такое же адское соображение, как у вас: они — клянусь грехом!— умеют только скверно подражать, обезьянничать... Прежде они подражали старине греческой, которую утрировали, коверкали бесчеловечно; теперь она им надоела, и я подсунул им другую пошлую старину, именно великобританскую, на которую они бросились, как бешеные, и которую опять стали утрировать и коверкать. Они сами видят, что прежде были очень смешны; но того не чувствуют, что они и теперь очень смешны, только другим образом, и радуются, как будто нашли тайну быть совершенно новыми. Притом, что пользы для вашей мрачности, когда люди станут писать умно и дельно?

— Как, что пользы?.. Я, по крайней мере, не умру от скуки, слушая подобные глупости.

— Но владычество ваше на земле исчезнет.

— Отчего же так?

— Оттого, что когда они начнут сочинять дельно, о чертях и помину не будет. Ведь мы притча!..

— Ты думаешь?..

— Без сомнения!.. Теперь вы самодержавно господствуете над всею земною словесностию, вы царствуете во всех изящных произведениях ума человеческого. Все его творения дышат нечистою силой, все бредят дьяволом. Греческий Олимп разрушен до основания: Юпитер пал, и на его престоле теперь сидите вы, мрачнейший Сатана. Я все так устроил, что смертные писатели воспевают только ад, грех, порок и преступление...

— Неужели?..— воскликнул царь тьмы с удовольствием.

— Ей-ей, ваша мрачность. Главные пружины нынешней поэзии суть: вместо Венеры — ведьма; вместо Аполлона — страшный, засаленный, вонючий шаман; вместо нимф — вампиры; она завалена трупами, черепами, скелетами; из каждой ее строки каплет гнойная материя. Проза сделалась настоящею помойною ямой: она толкует только о крови, грязи, разбоях, палачах, муках, изувечениях, чахотках, уродах; она представляет нищету со всею ее отвратительностью, разврат со всею его прелестью, преступление со всею его мерзостью, со всею наготою, соблазн и ужас со всеми подробностями. Она с удовольствием разрывает могилы, как алчная гиена, и забавляется, швыряя в проходящих вырытыми костями; она ведет бедного читателя в мрачные гробницы и, шутя, запирает его в гроб вместе с червлявым трупом; ведет в смрадные тюрьмы и, также шутя, сажает его на грязной соломе, подле извергов, разбойников и зажигателей, с коими поет она неистовые песни; ведет в дома распутства и бесчестия и, для потехи, бросает ему в лицо все откопанные там нечистоты; ведет на лобные места, подставляет под эшафоты и, в шутку, обливает его кровью обезглавленных преступников. Она придумывает для него новые страдания и хохочет над его страданиями. Она мучит его всем, чем только мучить возможно — предметом, тоном повествования, слогом — этим-то слогом моего изобретения, свирепым, ядовитым, изломанным в зигзаг, набитым шипами, удушливым, утомительным до крайности...

— Все это очень хорошо и похвально,— прервал

Сатана,— но не прочно. Я знаю, что твой слог имеет все эти достоинства; но думаешь ли ты, что читатели долго дозволят вам мучить их таким несносным образом? Ведь это хуже, чем у меня в аду!..

— Конечно, недолго,— отвечал черт Точкостав,— но между тем какое удовольствие, какая отрада мучить людей порядком, и еще под видом собственного их наслаждения!..

— И то дело! — сказал Сатана.— Мучь же крепко, любезный Точкостав, своею романтическою прозою и поэзиею!

— Рад стараться, ваша мрачность.

— Если у вас, на земле, не достанет чернил на точки и знаки восклицательные, то обратись ко мне. Мы можем уделить вам полтора или два миллиона бочек нашего адского перегорелого дегтю.

— Не премину воспользоваться вашим великолепным предложением.

— Что это у тебя в руке?

— Новый роман для вашей нечистой силы и вчерашние парижские афишки.

— Ну, что вчера представляли на театрах в Париже?

— Все романтические пьесы, ваша мрачность. На одном театре представляли чертей поющих, на другом чертей пляшущих, на третьем чертей сражающихся, на четвертом виселицу, на пятом гильотину, на шестом мятеж, на седьмом Антони или прелюбодеяние...

— Неужели?..— воскликнул Сатана.— Ну что, как, хорошо ли представляли прелюбодеяние?

— Очень хорошо, ваша мрачность: очень натурально.

— И это ты выучил их всему этому?

— Я, ваша мрачность.

— Хват, мой Точкостав!.. Вот тебе за то фальшивый грош на водку. Какой это роман?

— Роман Жюль Жанена под заглавием *Барнав*, произведение самое адское...

— Поди, поставь его в моей избранной библиотеке. Сегодня я его прочитаю, а завтра съем, и будет ему конец.

— Подайте мне трубку,— сказал Сатана.

Султан Магомет II, покоритель Константинополя, исправляет при дворе его нечистой силы знаменитую должность *чубукчи-паши*: он чистит и набивает огромную медную его трубку, сделанную из отбитой головы басно-

словного родосского колосса. В эту трубку обыкновенно кладется целый воз гнилого подрядного сена: это любимый табак Сатаны — он даже другого не употребляет.

Черти, зная вкус своего повелителя, по ночам крадут для него этот табак из разных провиантских магазинов. От этого именно иногда происходит у людей недочет в казенном сене.

Магомет II церемониально поднес набитую трубку. Сатана принял ее одною рукой, а другую внезапно простер в сторону и схватил ею за голову одного из близстоящих проклятых, преждебывшего издателя чужих сочинений с вариантами и своими замечаниями, высохшего как лист бумаги над сравнением текстов и помешавшегося на вопросительном знаке, поставленном в одной рукописи по ошибке, вместо точки с запятою. Он смял его в горсти, придвинул к своему носу и чихнул; искры обильно посыпались из ноздрей его. Сухой толкователь чужих мыслей мгновенно от них загорелся. Сатана зажег им трубку; остальную же часть его он бросил на пол и затушил ногою. Недогоревший кусок ученого словочета представляет собою вид — (;) точки с запятою!..

Все проклятые были опечалены горестною его судьбою и поражены жестоким своенравием их обладателя. Но Сатана спокойно курил свое сено.

— Не угодно ли вам выслушать еще доклад главноуправляющего супружескими делами? — сказал адский верховный визирь.

— С удовольствием! — отвечал Сатана. — Я люблю соблазнительные летописи.

И черт супружеских дел явился.

Я не стану описывать его наружности, потому что три четверти женатых читателей моих лично с ним знакомы; я скажу только, что черт Фифи-Коко есть злой дух, презлой, прековарный, но вместе с тем очень любезный — смирный, покорный, услужливый, как иной столоначальник перед своею директоршею, — и хитрый, как преступная жена, и плут хуже всякого подъячего, и проворный искуситель, и в большом уважении у Сатаны. Он-то привел во искушение первую нашу прародительницу, сообщив ей великую тайну всего доброго и всего злого: в то время это была великая тайна, но в наш просвещенный век даже все горничные знают ее наизусть и без его содействия.

Но гораздо важнее то, что он знает тайны всех замужних красавиц, и самой даже Сатанши. Сатана имеет крепкое на него подозрение, но......... но не говорит ни слова: Сатана знает приличия.

— Что нового? — спросил черный повелитель. — Как идут дела по твоей части?

— Отменно хорошо, ваша мрачность. Часть моя никогда еще не бывала в столь цветущем состоянии, как теперь. В супружествах господствует необыкновенная скука; мужья и жены большею частью ссорятся дважды и трижды в день; требования утешений непрестанны... У меня подлинно голова кружится от множества дел.

— Я знаю твою деятельность и ревность, — примолвил Сатана важно. — Покажи мне свою табель.

Фифи-Коко подал ему на длинном листе бумаги табель супружеских происшествий за последний месяц на всей поверхности земного шара. Сатана, держа трубку в зубах, начал рассматривать ее с большим вниманием и при всякой статье то восклицал от удовольствия, то от радости испускал огромные клубы табачного дыма ртом, носом и ушами.

— Сколько измен!.. Сколько ссор!.. Какая пропасть драк! — приговаривал он, читая табель: — Да какое множество любовных писем разослано в течение одного месяца!.. Скажи, пожалуй, неужели столько расстроил ты супружеств в столь короткое время?.. 777 777? Это ужас!..

— Именно столько, ваша мрачность, — отвечал черт.

— Славно! славно!.. — воскликнул Сатана, продолжая смотреть в бумагу. — Я должен сказать откровенно, что изо всех отраслей моего правления твой департамент отличается наилучшим порядком.

— Ваша мрачность слишком ко мне милостивы...

— Дела текут у тебя чрезвычайно скоро.

— Женщины, ваша нечистая сила, не любят, чтоб они долго оставались на справке.

— И после масляницы у тебя нерешенных дел почти не остается.

— Это самое удобное время к очистке сего рода.

— Притом же твоя часть чрезвычайно обширна и едва ли не самая важная: она приносит мне наиболее пользы.

Фифи-Коко поклонился.

— Ни один из моих верных служителей не доставляет мне такого числа проклятых, как ты. Сколько у нас в аду

великих мужей, глубокомудрых философов, мудрецов, святошей, фанатиков, которых никто из моих чертей не мог соблазнить; а ты принялся за дело, женил их и глядь — через несколько времени привел их ко мне — и не одних!.. мужа и жену вместе.

— Когда их, ваша мрачность, так легко поймать на приманку сладкого греха! — примолвил черт, скромно потупив глаза.

— Как бы то ни было, но я умею ценить твои дарования и поставляю себе в обязанность наградить тебя блистательным и приличным образом, — сказал Сатана с торжественным видом. — Вельзевул! В воздаяние знаменитых подвигов и беспримерной деятельности моего главнокомандующего на земле супружескими делами вели вызолотить ему рога.

Черти, содержащие стражу, схватили Фифи-Коко, отнесли его в геенну, всунули головою в печь и, раскалив ему рога до надлежащей степени, вызолотили их прочно и богато; потом пустили его в свет посевать дальнейшие раздоры между двумя полами рода человеческого.

Сатана отдал трубку, встал с престола, зевнул, потянулся и сказал:

— Уф!.. Как я устал!.. Как скучно управлять с благоразумием людскими глупостями!.. Теперь пойду гулять между огней в геенне, чтобы подышать свежим воздухом и полюбоваться приятным зрелищем, как жарятся люди.

И он ушел.

17 июня 1832

НЕЗНАКОМКА

Статья для моего хозяина

Кто я такая? откуда? где живу? чем занимаюсь?.. Это моя тайна.

И не скажу вам, ни где я служу, ни в каком чине, ни сколько за мною душ родовых и благоприобретенных, потому что я вас знаю: с вами надо осторожно!!

Я ни дух, ни человек, ни пророк, ни камер-юнкер, ни гробовой камень, ни странствующий Еврей, который никогда не умирает, ни отставной с полным пенсионом чиновник, который живет бесконечно наперекор всем казна-

чействам, ни судья, ни судейская любовница, ни автор, ни шарлатан, ни шпион, ни проныра, ни бессменный кандидат на местечко, ни засаленный философ, ни наряженная куклою актриса, ни модная графиня, ни даже член вольного экономического общества,— но я как-то на всех их похожа, всех их качества соединяю в себе понемножку. Живу, живу без конца, без остановки, и везде рыскаю, и везде лажу, и важничаю, и подслушиваю, и произношу приговоры, и заставляю кривить мнением, и при случае беру взятки; угождаю, любезничаю, жеманюсь, меняю любовников и купаюсь в грязи; занимаю место в ученом кругу и ничего не делаю, и благополучно гнию в забвении.

Право, я существо очень забавное!..

Я видела то, чего вы не видали, и еще увижу многое, чего вы уже не будете видеть; видела те времена, когда густой, непроницаемый мрак носился над нашею Русью, была свидетельницею, как он постепенно прояснялся, и, без сомнения, доживу до той минуты, когда рассеется он совершенно. Не торопитесь: это еще не скоро будет!..

Лета от Рождества Христова 1700 Россия, ведомая рукою бессмертного гения, прибыла на кровавый рубеж своей заросшей лесами и предрассудками древности, и я видела, как она, став на нем, с детским трепетом направляла свой первый шаг в область нового быта и новой истории. Россия была тогда похожа на пространную пустыню с селениями и городами. В ее воздухе висел холодный туман невежества, ум дремал в сырой темноте, воображение ржавело, понятия были покрыты монастырскою плесенью. Общество было тогда важное, ленивое, вялое, церемонное, грубое, сердитое, самонадеянное, без мысли, без жизни, без цели, без долгов, без лент и без надежды. Оно молчало и дулось; ело жирно, пило мед ушатами, пило романею ведрами, чванилось, ползало и зевало во весь рот от скуки; потягивалось, гладило себе бороду и сладостно смыкало глаза, приклонив голову к нежной, похотливой груди порока. Вдруг, потрясенное искрою дикой забавы, оно бурно срывалось с постели и с рогатиною в руке по целым суткам гонялось за волком и за медведем. Потом оно опять зевало и опять ложилось спать, и спало мертвым сном, обложенное подушками старых привычек и прикрытое с головою теплым одеялом народной гордости, презирающей все немецкое, некрещеное, басурманское.

Так точно спало оно, когда исполин севера, не будучи в состоянии разбудить его, мощными руками схватил его, и вместе с ним — всю Россию, поднял их на воздух, пока-

зал изумленному свету и переставил на край своих владений — на мокрые, темные, лесистые берега Невы. Я была очевидцем, как под его топором, по мановению твердой, железной его воли с треском падали отягощенные снегом сосны, валились на землю дремучие бороды, кушаки лопались, длинные полы платья обрывались, бобровые шапки слетали в грязь, болота засыпались соснами, бородами, кушаками и бобровыми шапками; мгла исчезала, и русская земля открывалась, тучная, плодоносная, богатая, и русское небо озарилось первым лучом просвещения.

Груды сломанных предрассудков и изорванных ферязей загромоздили на некоторое время все пространство острыми и окровавленными своими обломками; но из этого мгновенного разрушения при свете северного сияния восстали новая столица, новая Россия и новое общество, выбритое, вымытое, завитое, напудренное, надушенное одеколоном, вызолоченное по всем швам и прорехам, в огромном парике, в чулках, блондах и комплиментах, с тонкою шпагою под фраком, с трехугольною шляпой под мышкою, со звездою на груди, с великими предначертаниями в уме и с руками в штанах; общество плечистое, румяное, здоровое так, что стыдно! — полуфранцузское, полуголландское, полумонгольское, неловкое, неповоротливое, забавное; шаркающее ногами на манер парижских маркизов и нарезывающееся наливками по-владимирски, вежливо целующее жирную ручку у боярынь и разбивающее кулаком нос своему секретарю; такое, у которого не было ни тона, ни приличий, ни докторов, ни спазмов, ни словесности, ни памятников, ни французских актрис, ни банкротского устава; но общество юное, пылкое, сильное своею новостью, но общество, не пресыщенное удовольствиями, не хвастающее своею опытностью в разврате, не истасканное славою, величием, ни уничижением, верящее в величие и в добродетель, и жадное славы, и воспламененное любовию к отечеству, к познаниям, ко всему полезному и великому; общество, исполненное деятельности, надежды и еще дышащее творческим огнем нового Прометея, который его создал.

В минуту рождения этого общества родился над его колыбелью и его ангел-хранитель — Дух Сатиры: он рождается вместе со всяким человеческим обществом — дух резвый, веселый, игривый, насмешливый, с розовыми крыльями, с змеиным жалом, с язвительною улыбкою; злой, как черт, легкий, как бабочка, полезный, как яд в сильных

болезненных припадках. Он смешит, забавляет, оживляет общества; садится у них на плече, как обезьяна, и дразнит их гордость, чванство и пороки; вскакивает им на голову, когда они стоят перед зеркалом, и, кривляясь, представляет им фигуры всех их глупостей; потом надевает дурацкий колпак и на площадях издевается над черными, оборванными страстями простолюдина; потом подвязывает себе бороду Демокрита, взлезает на золоченые ручки кресел зазнавшейся знати и тормошит ее самолюбие за нос, как ручного медведя. Он развеселяет, щиплет, терзает, бесит и исправляет общества; он поддерживает их жизнь и нередко спасает их от смерти.

Он носился в воздухе над обществом, слепленным наскоро основателем Нового Севера, порхал, наблюдал и улыбался. Он мог бы найти в нем обильную для себя пищу, пошутить над его школьническою неловкостью, обрызгать желчью и смехом кучу переселившихся в него странностей и оставшихся от прежнего штата предрассудков; но он не хотел огорчать его юности, не смел останавливать его развития: он только исчислял его усилия и его успехи и удивлялся благородству чувств и чистоте намерений, украшавших первые годы его существования. И сама сатира принуждена была смотреть с уважением на дивное произведение рук Великого и не примечать недостатков.

Но когда это общество взросло, возмужало и укрепилось; когда со временем, забыв высокое свое начало, оно занялось составлением особых для себя пороков и вздумало еще объявлять требование на изящность вкуса; когда им завладели разврат и Бироны, которые продавали свои милости на вес срама и, для удобности народного подражательства, взяв на себя поставку образцов смешного и преступного, подражателям отрезывали языки за замечания,— тогда и Дух Сатиры, оставя прежнюю свою снисходительность, ревностно принялся за дело, чтоб оградить своего питомца от дальнейшей порчи. Он стал бегать, суетиться; порицал странности, обнаруживал злоупотребления, посрамлял распутство, ободрял негодование добродетели — и произвел Кантемира: народная нравственность была ему за то благодарна.

Но вскоре для переодетой в европейский кафтан России наступил век другого рода: общество вдруг приняло совершенно новый вид. Это был век колоссальный во всех отношениях; век необозримых воинских и гражданских подвигов, славы, блеска, счастия и могущества; век

мудрых учреждений, больших затей, светской образованности, жалованных имений и огромных брильянтовых пуговиц. В столице, в уездах, в совете, в словесности — везде видны были чрезвычайные усилия, смелый дух предприятия, трудолюбие, ожидание и даже успехи. Все двигалось, все стремилось, дополняло начатое отцом Европейской Руси: все было великолепно и удивительно, как в Тысяче Одной Ночи. Роскошь, любезность и остроумие блестящим своим лоском закрывали в событиях и произведениях и те даже неисправности, коих сила внезапно пробужденного ума не могла устранить или избегнуть. Общество было тогда завалено великими людьми, великими мотами и великими льстецами; философами, франтами, честолюбцами, педантами, красавцами, повесами, неверными супругами; эмигрантами, игроками, обжорами, хвастунами, племянниками, гордецами, гостеприимными должниками и предлинными романами. Люди умствовали, пудрились, любезничали, писали французские стихи, играли в ломбер, сочиняли русские книги, печатали, превозносили напечатанное и не читали. Читатели явились позже. В таком обществе и Дух Сатиры не мог оставаться в бездействии. Он прикинулся фон-Визиным; он подстрекнул автора Ябеды; бросился, как ястреб, на лихоимство, на лень, на тщеславие и измял их в своих когтях; бросился на старые и молодые предрассудки и погнал их перед собою, как стаю зловещих вранов. Он грозил, докучал порокам; шипел на них змеею, надоедал им своими шутками, надоедал притворным состраданием; горстями метал им в лицо насмешки, выливал им на голову презрение; колол их в бок, колол сзади остротами, как раскаленным жегалом, и хохотал при виде их мучений и, хохоча, клеймил их еще на лбу бесчестием. Таким именно образом содействовал он усилиям незабвенной Покровительницы всего честного, всего законного, всего русского, облегчал, приготовлял следствия великих ее начинаний, очищал путь ее к бессмертию, и она платила ему признательностью за его доброе содействие.

Этот век и это общество исчезли в одни сутки. Проснувшись однажды поутру, с удивлением увидела я Россию тихою и спокойною, как озеро во время безветрия — Россию без музыки, без шума, без мадригалов, без громких веселых толков, даже без круглой шляпы. Она смирнехонько сидела над книгою, под которою были спрятаны недометанная колода карт и изломанные на все углы понтерки,

и в философском безмолвии училась пользоваться благодеяниями подаренного ей вчера на бале, при звуке труб и скрипок, просвещения. Дух Сатиры улетел за облака с насморком, полученным от такой внезапной перемены в воздухе, но семена блага, тщательно и умно воспитываемые верховною мудростью, быстро развились на плодоносной русской почве и скоро украсили ее своими цветами. Занятия получили новое направление и усовершались в тишине кабинетов. Явился Карамзин — следствие и итог тогдашней образованности и просвещения, — с ним явился новый русский язык, сильный, плавный, приятный, ясный; звонкий, как серебро, сияющий, как хрусталь, бесчисленными радужными отливами света; чистый, гладкий, гибкий, ваятельный, подобно слоновой кости, — за языком явились толпою поэты, прозаики и читатели; старая Европа поздравила Россию с настоящею словесностью, с словесностью, истинно достойною этого имени. Все это случилось вскоре после балов, в исходе великого поста, наступившего по шумной масленице прошлого века. Иногда бывает полезно и посидеть минутку дома: ну, что было бы, ежели б мы до сих пор всё танцевали?..

Что ж поделывает за облаками наш любезный Дух Сатиры?.. Он забыл вовсе о нашем обществе; он отдает его на жертву Пороку, гордо приподнимающему голову в отсутствие своего злодея!.. Нет, он помнит об нем и о своих обязанностях; он не оставит нас в опасности. Он смотрит на нас с умилением с высоты светлого своего убежища, радуется успехам ума в участке человечества, вверенном его попечению, и точит на ядовитом бруске оружие для его защиты. Скоро опять увидим мы его между нами, увидим в полном блеске свежести, веселости, злости, остроумия, как еще никогда не видали. Пора! пора! прибывай к нам поскорее, Дух проказливый, благотворный; скинь свои чулки и бархатный кафтан с длинной талией, остриги свой феодальный тупей, продай брильянтовые пуговицы для покупки английской простоты и, нарядясь в черный фрак и просторные брюки, закутавшись в испанский плащ, как некогда Асмодей, пришив ленточку к петлице, спустись к нам, твоим любимцам, бросься стремглав в нынешнее наше общество, ловкое, щегольское, чинное, обходительное, лицемерное; воспитанное, начитанное, недоученое, украшенное множеством почетных знаков, крепко убежденное в своей беспорочности даже со стороны нравов; хлопотливое, суетящееся, жужжащее, ворчащее,

важное, молчаливое, чиновное; нагруженное поверх делами, проектами и долгами, занимающее все повсюду, закладывающее все и всячески, замаранное чернилами, не иначе располагающее свои мысли и надежды, как по канцелярским формам, не иначе судящее о течении времени, как по числу сыгранных робберов виста,— общество, тощее, как выписка из дела, покорное, как донесение, и с лицом расстроенным, как у большого шлема. Приходи, о Дух Сатиры! Найдешь у нас Великого Преемника твоей несравненной Покровительницы, который ободрит и защитит тебя так, как ободряет и защищает Он добродетель, дарования, полезное и заслуги. Поди, рыщи по гостиным, по спальням и судилищам; заглядывай в передние пронырства, отыскивай порок в последнем его убежище, забавляй, смеши, коли. Что долго думать?.. говори нам хоть басни: ум нередко бывал принужден притворяться дураком, чтоб заставить выслушать себя. Сотвори для нас Крылова: в этом творении превзойдешь ты и твоих соперников, что за морем, и самого себя.

Он выслушал наши просьбы и дал нам великого баснописца. Ведайте ж, люди, что тот важный, достопочтенный Крылов, которого вы все знаете и любите; тот маститый, умный старец, которого часто встречаете на Невском проспекте расхаживающего в шубе среди огромного стада львов, волков, лисиц, кур, овец, лещей и медведей; который, проходя мимо вас, шепчет вам на ухо, что у вас рот немножко замаран кровью и на усах торчит еще куриный пушок, и между тем в глазах ваших читает драму новой замысловатой басни — тот самый Крылов есть не что иное, как третье и великое воплощение этого милого, блистательного, колкого, остроумного беса. Вы улыбаетесь?.. Я вам говорю это: можете мне поверить.

И восхищенный своим делом, веселый ангел-хранитель наших нравов не ограничился одними баснями. Он закрыл себе лицо потешною маскою Комуса и заговорил сквозь смелые уста Грибоедова: Горе от ума явилось на горизонте, как грозная комета, влекущая за собою массу света, мрачных пророчеств и страха; потом схватил он еще перо романиста и написал Ивана Выжигина: написав, он прочитал его и — сам ужаснулся! Вы кричите против этих двух произведений, особенно против последнего?.. Кричите, кричите! — тем не менее они сделали большой переворот в ваших нравах и понятиях, и я, стоя вне вихря, в котором вы кружитесь, вижу всю их пользу, могу с достоверностью сказать об их спасительном на нас

действии. Вы того не примечаете?.. И не удивительно! — вы и того не примечаете, что катитесь в пространстве вместе с земным шаром, а думаете, что солнце на то только и создано, чтобы вертеться мельницею кругом вашего самолюбия и ваших нелепостей.

Но теперь уже наверное спросите вы у меня сурово, кто я такая, что смею говорить вам так дерзко, безо всяких чинов?.. Извольте: теперь я скажу вам правду.

Я книга; я сама Сатира. Стою у моего хозяина, А. Ф. Смирдина, в его библиотеке для чтения, по левую сторону дверей залы, в среднем шкафу, на второй полке, и готова дать вам ответ во всякое время. Приходите ко мне, потолкуем!..

Между тем в нескольких словах расскажу вам историю моей жизни — где была, как жила, что делала и как теперь провожу время. Умолчу только о моем заглавии: заглавие в книге не более значит, чем у вас титулы.

Я родилась в конце XVII столетия. Отец мой был бедный попович, который, изучив душу человека в Киевской академии, женщин во время «киевских контрактов» и сердце человеческое в Нижнем Новгороде, сочинил было толстую книгу «О Добродетели». Люди и смотреть не хотели на его добродушный труд, по одному заглавию. Он написал резкую Сатиру на их глупость: они прочитали ее с удовольствием и сказали, что это написано на их соседей. Книга его «О Добродетели» пропала без вести; картина глупостей современников его одна лишь исправно дошла по адресу — до потомства и бессмертия. Это — я.

По обыкновению того времени, всю свою молодость провела я в рукописи, таскаясь по монастырям и забавляя дьячков и семинаристов. Наконец я вышла в свет. Не стану вам описывать, как меня набирали, печатали и переплетали: это происходило слишком известным и обыкновенным порядком, в начале прошлого века. Тогда еще не было в России ни цензоров, ни цензурных комитетов: частный пристав, временно исполнявший должность полицеймейстера, был моим крестным отцом и, с стаканом ерофеичу в руке, благословил меня на выпуск из типографии. Но вот что навсегда оставило в моей душе глубокое впечатление. Мой батюшка был вне себя от восхищения и восторга при виде своей любезнейшей дщери, возрожденной, умной, ловкой, сияющей всеми прелестями свежей печати и нового переплета: он нежно прижимал меня к сердцу, целовал, орошал слезами, предсказывал мне успехи и упивался чистейшею радостью; он мечтал да-

же о славе и деньгах и умер с голоду через три месяца после этой радости.

По смерти честного, доброго, благонамеренного моего родителя его дети и кредиторы нашли в его лачужке только нищету полезного автора и Сатиру на людей, то есть меня. Дети принуждены были довольствоваться первою; меня, как рухлядь, заграбил к себе один ростовщик, давший денег на уплату за печать и бумагу, и отнес на свою квартиру. Он прочитал меня за свой долг три раза с большим вниманием, и еще один раз за проценты — я никогда не имела такого прилежного читателя! — и нашел, что я совершенно права: что у людей нет рассудка, ни сердца, когда они не умеют любить и беречь такой драгоценной вещи, как копейка; ни совести, когда они занимают у него деньги, клянутся в своей исправности и не отдают в срок.

У этого ростовщика был старинный знакомец, русский боярин из татарских вельмож, весьма дурной плательщик, который давно уже не возвращал ему ни капитала, ни процентов и дерзко напоминал ему о своей знатности, когда тот напоминал ему о прошествии срока. Чтоб усовестить заматерелого должника, ростовщик взял меня с собою в карман, снес к нему и в его отсутствие положил на мраморном столике с золочеными ножками, стоявшем перед пышным диваном.

Сначала великолепие барского дома ослепило мое зрение, и я повсюду видела только золото и счастье. Но скоро глаза мои привыкли к блеску, и я приметила на стенах, на полу, на креслах, на столах и на кровати гадкие пятна порока, следы нищеты и разврата, искусно затертые роскошью. Я почувствовала отвращение.

Я пролежала там несколько месяцев, пока меня приметил боярин. Однажды попалась я ему под локоть, когда он подписывал на том же столике вексель для своей любовницы, и удостоилась его внимания. Он взял меня в руки, осмотрел, увидел, что я русского изделия и с презрением бросил меня в угол залы так сильно, что все мои страницы засвистели. Я чуть не закричала с досады на этого Монгола, хотя книгам, как известно, кричать у нас не позволено, и, глотая слезы обиды, все свои строки приправила свежею желчью.

Когда он уехал на бал, лакеи подняли меня в углу и вынесли в переднюю. Здесь, в первый раз по смерти моего родителя, встретила я людские ласки. Дюжий Еремей, камердинер моего вельможи, и миленькая горничная Наташа уселись читать меня по складам; они смеялись,

толкали друг друга и в каждом моем слове находили явный намек на своего господина. Я думаю, они не ошибались: я так была зла на него в ту минуту!.. Но чтение более и более становилось занимательным. Еремей хотел поцеловать Наташу, она закрыла себе лицо мною, и его огромные поцелуи упали прямо на мою обертку. Потом Наташа уронила меня из рук на землю... Ах, как они были растроганы в тот вечер!.. Тут я впервые увидела счастие человеческое: оно сидит в передней.

Я пробыла шесть лет в этом месте. Жизнь в передней, где я обыкновенно лежала на окне между бутылкою с квасом и подсвечником, довольно мне понравилась. Я имела множество читателей. Все просители в ожидании выхода знаменитого моего хозяина проводили со мною свое время и забавлялись моими остротами насчет его. Они применяли к нему все описываемые мною слабости и недостатки, хохотали, как тетеревы в лесу, и тогда только унимались, когда дверь кабинета отворялась и начиналось поголовное ползание. Это было очень забавно!.. Однако ж, для чести как самих знаменитых хозяев, так и стекающихся к ним просителей, не советовала бы я никому из первых класть Сатиру на людей в своей передней.

В одно утро пришел к нам какой-то молодой человек, довольно порядочно одетый. Он увидел меня на окне, схватил, посмотрел и опять бросил, потом он отошел в сторону и равнодушно стал у печки. Я заметила, однако, что молодой человек поглядывает на меня с необыкновенною нежностью: я думала, что, может статься, он родственник или короткий приятель покойному батюшке. Спустя четверть часа он снова приблизился к окну, и тут, сама уж не знаю каким образом, очутилась я в его кармане. Вскоре обнаружилась причина нежности его ко мне. Это был почетный любитель отечественной словесности, который дешевым образом собирал книги для своей библиотеки: он украл меня из передней и запер у себя в шкафу, где я с сотнею других, подобных мне пленниц, душилась в пыли и темноте, поминутно обороняясь от летающей роем моли; плакала и кляла свою судьбу. Вы никогда не бывали книгою и не знаете, что значит быть разбойнически похищенною бессребреным любителем словесности: это ужас!..

Он стерег меня, как евнух женскую добродетель, но в печатном государстве есть разного рода промышленники. До него добрался один записной читатель чужих книг

который выпросил меня у него на одни сутки и никогда ему не отдавал. У этого читателя взял меня другой читатель, который тоже не имел привычки возвращать книги, и с тех пор я пошла по рукам. Я кочевала таким образом сорок лет. Я была и у судьи, который торжественно накрывал мною стакан горячего пуншу, как скоро начинал он любимое свое рассуждение о двусмысленности всех вообще законов; и у секретаря, который нарочно держал меня на своем столике, чтоб люди знали, куда класть взятки; и у неверной супруги, которой всегда, весьма ловко, попадалась я в руки всякий раз, как муж ее приходил домой скорее обыкновенного. Словом, я была везде: в палатах и в конюшне, в кухне и в академии — и везде была полезною. Я переносила на себе семь оберток разного цвета и достоинства и дважды испытала сладость супружеского счастия, быв первым браком переплетена в одну книжку с развратным романом, а вторым — с толстым таможенным тарифом. Последний — вечная ему память! — был очень мягкого сердца: его все обижали!..

По смерти тарифа, которого затравили приставами собственные его сочинители, перешла я, нагая, без переплета, оцарапанная нашими гонителями, к одному купцу, торговавшему книгами, кнутами, табаком и мылом в небольшой лавочке поблизости Щукина двора. Тот дал мне красивую оболочку и поставил меня на видном месте. Но, несмотря на все его уловки, никто не купил меня, и через несколько времени я была передана им в библиотеку для чтения, где нахожусь и теперь, уже с лишком пятьдесят лет.

Я видела, когда эта библиотека, первая образовавшаяся в Петербурге, еще была почти пуста и состояла из нескольких сотен томов. Она приумножалась всякий день, но приумножалась очень медленно, и в первые годы моего в ней пребывания прибытие новой книги почиталось у нас праздником. Было время, что даже сочинения, изданные *чрез Василия Тредиаковского,* радовали нас и наших посетителей своим появлением.

В конце минувшего века число сестер моих вдруг стало увеличиваться: это были, по большей части, уроженки заморских земель, наряженные как-нибудь переводчиками в сарафан и кокошник, и мы, коренные русские книги, не иначе называли их между собою, как «полуобруселыми чухонками». Они, как часто случается в мире, ели наш хлеб и нас презирали: мы, в своем доме,

принуждены были кланяться им и уступать почетное место, потому что наша партия была слишком малочисленна и слаба. Она значительно усилилась в первое двадцатипятилетие настоящего века, так что наконец мы почувствовали в себе довольно смелости и тщеславия, чтоб иногда и столкнуть Чухонку с полки, и подтрунить над Немцами вообще. Не знаю, до какой степени были мы правы, но... но все-таки лучше!.. сердцу легче, когда побранишь Немца.

Между тем и партия Чухонок также беспрестанно получала новые и важные подкрепления. Случались уже между ними такие, которые по-русски говорили очень чисто и бранились не хуже тех, кои «знают Русь и которых Русь знает». Мы ссорились с ними ужасно, пока хозяин не примирил нас палкою.

Народонаселение нашей библиотеки возрастало неимоверным образом: не проходило дня, чтоб какая-нибудь новая книга не поступала в наше сословие. Но настоящая вьюга печатной бумаги подула на нас только с 1827 года. Прежде мы все были знакомы между собою; теперь в нашей зале завелся подлинно книжный *раут:* книги приходят, выходят, толпятся, толкают друг друга, появляются и исчезают навсегда прежде, нежели успеешь узнать их фамилию.

Все благомыслящие русские книги должны, без сомнения, восхищаться столь блистательным возвышением числа, могущества и славы своего рода: я тоже восхищаюсь им от чистого сердца: но не могу сказать, чтоб была совершенно довольна нынешним моим положением в библиотеке. Я попала в дурное общество. Прежние наши гостьи, вновь выходившие русские книги, были вообще особы хорошего тона и строгих правил: все толковали о нравственности, о приличиях, о висте, о пунше, о прекрасном, о трех единствах — ну, словом, о делах важных; теперь, большею частию, приходят к нам Цыганы, воры, игроки, черти, колдуны, ведьмы, каторжные и непотребные женщины. О времена! О словесность!.. И вся эта сволочь так и садится на первые места, рассуждает, кричит, поет застольные песни, ругает свет и нас, старые книги, называет башлыками!.. Я прихожу в отчаяние. Представьте себе, что со мною случилось! При перевозке нас от Синего моста на новую квартиру меня как-то поставили между двумя, вовсе незнакомыми книгами. Они были новы, в отличных обертках по последней моде, и я сначала совестилась спросить у них об их чине. Но при первом

разговоре они сами объявили мне, что одна из них Разбойник, а другая Наложница. Прошу покорно вообразить мой стыд, ужас, негодование!.. Я, честная книга, Сатира, памятник времен Петра Великого, дщерь чада духовного звания, я должна стоять между разбойником и наложницею!!. О, это уж слишком!!! Я просила почтенных моих соседок оставить меня в покое и избрать себе место где-нибудь подальше; но эти нагляпки отвечали мне, что я глупа, стара, забыта всем светом; что они в большой моде, бывают у княгинь и у графинь и везде хорошо приняты; что я должна молчать, не то они отделают меня по-своему в союзных с ними газетах. Я вздохнула и замолчала. Между тем подошел к моему шкафу один из приказчиков. Как бы мне воспользоваться этим случаем?.. Он на меня не смотрит и не знает моих мучений... Счастливая мысль! надобно тронуть его сердце! я знаю путь к сердцу человеческому... я свалилась с полки прямо на нос приказчику и упала у его ног на землю. Иван Яковлевич испугался, закрыл себе лицо обеими руками: слезы полились у него из глаз!.. Он долго не понимал, что с ним сделалось; наконец, увидел меня на полу, поднял, оправил, обдул пыль и поставил на полку, но уже в другом месте. Теперь живу я в гораздо лучшем обществе. Возле меня, по правую сторону, стоит Речь, торжественно произнесенная в Мещанской лет десять тому назад для поучения учащегося юношества; по левую обретаются какие-то весьма важные Дорожные Записки, «посвященные почтеннейшему и нежнейшему полу». С торжественною Речью я мало знакома и неохотно братаюсь, потому что она — в шутку ли или серьезно? — всякий раз доказывает мне, что не надобно ничему учиться, хвастая тем, что она была даже напечатана в Журнале Д. Н. П.; но с Дорожными Записками мы большие приятельницы: они в восхищении от моего старинного слога, начиненного славянскими речениями; я опять слушаю с удовольствием рассказы их о том, как они брились на всяком ночлеге при двух восковых свечах и какие прелестные ручки случалось им видеть у малороссийских кухарок, с коими они... Это очень любопытно!..

Но как бы то ни было, несмотря даже на дурное общество, жизнь книг в библиотеке для чтения вообще чрезвычайно весела и приятна. Вы видите нас безмолвно стоящими на полках и думаете, что мы лишены всякого чувства и понятия?.. Ничего не бывало! У нас столько же ума, те же склонности и страсти, как и у наших сочините-

лей. Мы стоим смирно, как гробовые камни, только в присутствии людей, но когда все уйдут, как скоро потушат кенкеты, у нас тотчас начинается шум, крик, суматоха — настоящая республика. Мы говорим все вместе; поем, пляшем, прыгаем с полки на полку, делаем визиты и сплетни, пересмеиваем сочинителей, пересмеиваем читателей, пересмеиваем всех и друг друга, несем вздор и рассуждаем, злословим и хохочем. Старые Риторики спорят до слез с молодыми Предисловиями о классицизме и романтизме, о преимуществах сора греческого пред грязью французскою. Романы прошлого века вздыхают и плачут; Романы нашего века зевают и кусаются; Поэмы парят под потолком, падают и дерутся с своими Рецензиями; Алгебры бранятся с Снотолкователями, Законы противоречат один другому, Истории врут без памяти, Психологии морочат, Руководства надувают, Грамматики скоблят русский язык ножами, как кожевники шкуру; Логики беснуются, Лечебники важно советуют им всем пустить себе кровь и принять слабительное. На середине залы составляются иногда книжные танцы: «*Степенная Книга*» с «*Ядром Российской Истории*» открывают бал, за ними тотчас пускаются «*Дворянин-Философ*» с прекрасною «*Телемахидою*», «*Хаджи-Баба*» с «*Дочерью Купца Желобова*» и многие другие пары. «*Мысли о происхождении миров*» вальсируют с «*Мыслями о существе Басни*», «*Словарь Академии*» пляшет в присядку с «*Опытом о Русских Спряжениях*», «*Музыкальная Грамматика*» играет им на волынке, а «*Северная Пчела*», сидя на полке, рассуждает о музыке. Есть даже проказницы, особенно из воспитанниц романтической школы, которые тихонько слезают с полок, притворяются домовыми и мертвецами и кружат около шкафов, чтоб пугать Физики, Математики и Философии: те хотя на словах и не верят ни в домовых, ни в чертей, но при виде призраков так и прячутся со страха за Собрания Граммат и другие толстые сочинения. Мы, старушки, помираем со смеху и по временам читаем младшим проповедь, стараясь обуздывать наклонность их к шалостям. Но лишь только заскрипят двери или послышится голос приказчиков, мы все мигом разбегаемся по своим местам и стоим чинно, смирно, неподвижно, как девушки в пансионе, когда войдет незнакомый мужчина.

Так проводим мы ночи. Днем мы молчим и делаем

свои наблюдения над посетителями, читателями, покупателями, авторами, журналистами, зеваками — над всем, что делается и говорится в магазине. Замечания свои пересказываем мы друг другу ночью, и они составляют для нас новый, неисчерпаемый источник потехи. Ну, право, есть чем позабавиться!.. Настает утро, жилище наше наполняется народом: толпятся господа и слуги, мужчины и женщины, статские и военные, старые и молодые, грамотные, полуграмотные, безграмотные, с билетами, без билетов, с деньгами и без денег. Раздается общий говор, здание гремит смешанными голосами: вопросы, ответы, требования, рассуждения, остроты и плоскости сыплются на нас перекрестною картечью, прорезывают воздух во всех направлениях, пересекаются, минуются, сталкиваются, отталкиваются, откликаются невпопад; потом сливаются все вместе и образуют в зале густой, неразглядный туман звука.

— Любезнейший, дай мне Свод Законов: мне нужно подцепить законец к моему делу.— Тьфу пропасть!.. какая глупая статья в сегодняшнем нумер...— Моя барышня приказала спросить у вас «Гирланду»...— А я нахожу, что она очень мила...— Вы говорите об этой статье?..— Извольте, сударь; вот вам «Два Ивана».— Нет, я смотрю на горничн...— Тотчас, тотчас, сударыня...— Господа, потише!..— Как же эту «Гирланду» пришить к платью?..— Она отворачивается!..— Проказники!.. ха, ха, ха!..

— Барин просит отпустить ему Хромоногию.— Что такое?.. Хромоногию?.. Покажи записку.— А, Иван Тимофеевич!.. Вы уже ротмистр?— Да, уже полтора года...— Не Хромоногию, братец, а хронологию!..— Для нас это все равно.— Что вы здесь поделываете? — Покупаю книги... Есть у вас Диэтика? — Да наша публика...— Еду покупать хомуты.— Все читает!.. Ей лишь бы книги.— А мне лишь бы продать свою рукоп...— Вот Диэтика, которую вы спрашивали.— Это о сохранении души?.. А нет ли другой, о сохранении лошадей?..— Извините, сударыня: все экземпляры «Онегина» разобраны.— Так дайте мне «Угнетенную Невинность» или «Поросенок в мешке».— Прощайте!..

— Ну, что? Сколько распродано экземпляров моей книги? — Ни одного, сударь.— Наша публика ничего не читает!..— Скоро ли выйдет его роман из печати?..— Еще не написан.— Зачем же публикуют?..

— Так и быть! куплю «Дурацкий Колпак».

— Нет ли чего-нибудь почувствительнее? Моя хозяйка любит плакать...— Это сочинитель?.. Позвольте мне взглянуть на него: мне никогда не случалось видеть сочинителя.— Таки порядочно напива...— Странная фигура!..— Надо купить «Коран Виста»: говорят, ученая книга. Как, прекратилось издание?.. Кто ж мне возвратит деньги за эти журналы?..— «Отгадай, не скажу» или «Любопытные загадки», в Москве и Санкт-Петербург...— Прошу мне дать «Два Плута»!..

— Вы давно из деревни? — Только вчера приехал и опять уезжаю.— Вот, сударь, ваши книги.— Прикажите свесить их, любезный! Сколько за пуд?..— Мы книг не продаем пудами.— А у нас на пуды их покупают!..

— Нет ли у вас «Поездки Греча к Булгарину»?..— Вы хотите сказать в Германию?..— А мне какая до того нужда, куда они ездят... лишь бы остро писали!..

— Кто спрашивал «Великолепный Вздор»?

— Я требую «Историю Русского Народа»...

— Вот, живешь потихоньку и заехали сюда купить, на всякий случай, «Логику для Дворян» Мочульского.— Да!.. теперь у нас выборы.— Одолжите же мне «Добродетельную Преступницу», для моей жены!.. — А мне — «Искусство брать взятки»...— Кто это такой?..— Сбираюсь, сударь, ехать в губернию: благосклонное дворянство избрало меня...— Итак, до свидания!

— Вот, брат, купил для своих детей «Детские Досуги, изданные при помощи литераторов». Должна быть хорошая книга: ее расхвалили в журналах. Посмотри, как теперь дети здраво рассуждают:

Кого ударишь, извинися;
Вперед не бей.—
Напьешься, поскорей проспися;
Вперед не пей.—

— Точно, нравственность подвигается.— Не взять ли еще «Похвалу Пуншу»?..

— Читали ли вы книгу «О счастии дураков»?..— Почтеннейший, дайте мне статейку для альманаха.— Так что ж, что книга глупа, когда она хорошо продается? — Пожалуйста, дайте статейку!..— Мне сказывали, батюшка, будто в вашей лавке продается искусство обучать детей грамоте в самоскорейшем времени?..— Что

делать! надул!..— Он мастер своего дела.— Языка не знают, а переводят! — Извольте: угодно ли «Два Способа обучать детей и взрослых чтению в сорок часов»? — Молчите... донесет!.. В сорок часов, батюшка?.. Это долго. Нет ли такого способа, чтоб обучить их всему в одни сутки?.. Хочется поскорее отдать их в канцелярию.— И это водится в литературе...

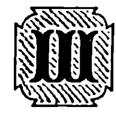
И так далее, и так далее.

Я представила вам только легкий, неясный, беглый, начертанный зигзагами рисунок тех разнородных толков, которыми беспрестанно оглашаются своды нашей словесности. Разбирайте его, ежели угодно. Но если вы желаете составить себе точнейшее об них понятие, то советую вам забраться в шкаф и посидеть с нами на полке двое или трое суток: вы услышите еще не такие вещи!.. Но пора кончить. Вот уже гасят кенкеты. Прощайте, любезный хозяин!

1832

ЧТО ТАКОЕ ЛЮДИ!

Басня в прозе



ел факир. Это было в Индии, где факиров такое ж множество, как у нас титулярных советников. Шел он, чистя зубы рисовою соломинкою, хотя давно уже не обедал, и напевая во все горло старую санскритскую песню:

Чем тебя я огорчила,
Ты скажи, любезный мой...

Как вдруг он очутился на краю темной и глубокой ямы, прикрытой сухим хворостом и соломою. Это была волчья яма, но как в Индии волков не водится, то в нее по неосторожности упали обезьяна, змея удав, тигр и человек. Последний был золотых дел мастер, поставлявший брильянтовые перстни и табакерки в кабинет одного индийского султана.

Человек, увидев факира, стал просить, умолять, заклинать, чтобы он освободил его из ямы! Он предлагал ему за то чувствительную признательность, нелицемерную дружбу, награды, благодеяния, покровительство, услуги. Обезьяна, змея и тигр смирнехонько сидели в уголку и не говорили ни словечка.

Добрый и голодный факир не заставил себя просить долгое время. Он отвязал свой пояс, состоявший из длинного куска грубой бумажной ткани, и спустил его в яму. Человек, сбираясь уцепиться за конец его, счел нужным наперед понюхать табаку, потом приподнять полы платья, потом поправить на голове шапку. Между тем обезьяна проворнее его уцепилась за полотно, и факир вытащил ее на свет вместо золотых дел мастера. Он изумился; она с радости прыгнула ему на плечо, от всей души обняла его за шею своим хвостом, прыгнула опять и села на камне недалеко от того места.

По просьбе человека факир вторично опустил пояс свой в яму. Прежде, нежели тот вычихался, змей проворно обвился вокруг пояса и был таким же образом, как и обезьяна, благополучно поднят вверх и освобожден из плена. Огромное пресмыкающееся величественно развернуло кольца свои, зашипело в знак благодарности, отползло в сторону и обвилось около близстоящего дерева.

Факир испугался и подумал, что в этой яме весь зверинец Лемана, о котором всякую масляницу читал он в «Калькутских ведомостях» статьи с необычайными похвалами и возгласами, перепечатанные, вероятно, из нашей «Северной пчелы»; однако он решился еще раз бросить пояс свой в яму. Человек поспешил схватить рукою конец его; но тигр, ободренный примером двух своих союзников, выскочил из угла, опрокинул человека и сам повис на полотне. Бедный факир чуть не упал в обморок при виде ужасного зверя, вытащенного им вместо человека; но обмороки в том краю не в большом употреблении, притом же и тигр не думал делать ему ничего худого: он только взглянул на него своим зверским взором, поскрежетал зубами вместо спасибо, отошел в сторону и лег.

Когда факир в четвертый раз готовился опустить пояс в яму, обезьяна, змей и тигр все трое вдруг закричали ему по-санскритски:

— Стой! что ты делаешь?.. Оставь его там! Не вытаскивай человека из ямы. Сгинь он в ней, пропади!

— Почему же так? — спросил изумленный факир.

— Как почему? — воскликнула обезьяна.— Неужто не знаешь ты своего рода? Человек! да это глупейшее, хитрейшее, вероломнейшее животное во всей природе. Он презирает обезьян: а сам он что делает? Всю жизнь свою проводит в обезьянстве. Он даже издает сам для себя еженедельные журналы обезьянства с раскрашенными ри-

сунками и еженедельно переделывает целую свою наружность по этим рисункам, всякий раз хуже, всякий раз страннее, смешнее и гаже. Я хоть и обезьянничаю, хоть и кривляюсь, по крайней мере делаю это для собственной моей потехи, когда мне весело; он, напротив того, прибегает к этому средству единственно для того, чтоб обмануть других на свой счет, чтоб ослепить их, чтоб их поддеть, надуть, обобрать... фуй! как тебе не стыдно быть человеком! Поди лучше жить с нами, с честными природными обезьянами, в лесу, в бору, в пустом поле: я уверена, что ты будешь нас любить и почитать. У нас не найдешь ты ни измены, ни преступлений, ни пороков. Да какой у нас прекрасный пол! как он обезьянничает просто, натурально, неподдельно: уж право не так, как ваши женщины, которые всеми силами стараются подражать обезьянам, да не умеют!.. Говорю тебе, не вытаскивай его из этой ямы: придет время, что будешь в том раскаиваться!..

— Обезьяна судит весьма правильно,— примолвил змей, приподнимая голову.— Несравненно лучше иметь дело с обезьянами и змеями, чем с вашею братиею, честный факир. Я уж не стану говорить про обезьян: хотя человек и очень похож на них лицом и телом, но это не должно делать им никакого бесчестия: они, поистине, добрые, кроткие, шутливые твари; а скажу лишь несколько слов о нашей породе. Змей употребляет жало только для своей защиты, он не наступает, не нападает ни на кого; а человек?.. О, любезный факир! Ни в каком болоте, ни в какой пещере в свете нет змеи, ехидны, дракона, наделенных от природы сердцем столь злобным, жалом столь ядовитым, как сердце и язык человеческие. Человек жалит и убивает собственных своих ближних, невинных и беззащитных, в шутку, для потехи, в удовлетворение своему тщеславию, из подобострастия, даже из предполагаемого угождения другому человеку, коим хочет он воспользоваться только при случае; он смеется и жалит, заключает в объятия любви, дружбы, гостеприимства и жалит до смерти. Злоба — его стихия, хитрость — его ремесло, орудие, следствие его природы. И он еще порицает нас, бедных безногих!.. Советую тебе, оставь человека в яме, если не желаешь испытать его неблагодарности. Ведь вы сами сознаетесь, что мы умнее вас!.. Вы же мудрость изображаете в лице змеи!..

— Послушайся нас,— присовокупил тигр грубым, сиплым голосом,— не будь ослом!.. Мы лучше тебя знаем людей. Тигры, коих вы обвиняете в лютости и кровожад-

ности, ангелы в сравнении с твоими ближними. Мы ежели кого и убиваем, то единственно для удовлетворения нуждам голода: поевши, мы лежим спокойно и никого не пугаем. Ну, а человек — разбойник!.. урод, беспрерывно жаждущий крови!.. он для того лишь освежает силы свои сном и пищею, чтобы лучше убивать других. Убийство — это его забава, потеха, шутка, честь, богатство, даже его роскошь. Жестокосердие признает он добродетелью и называет храбростью; долг признательности почитает он, по своему самолюбию, за нарушение его свободной воли. Он губит все — свой род, чужой, растения, воды, скалы, словом, грабит всю природу. Добрый факир, не делай ничего в пользу самого грозного и самого опасного на земле зверя. Знаешь ли, что я скажу тебе в рассуждении этого человека, который остался в яме? — Черт его побери!.. Это будет гораздо сходнее и для нас, и для самого тебя.

— Вздор!..— сказал факир.— Вы так рассуждаете потому, что не читали санскритских философов: Платона, Бюффона, Канта, Галля и других, которые доказали, что человек есть благороднейшее и лучшее произведение природы, существо полуземное и полунебесное, которое хотя и кусается, хотя убивает и обманывает, но делает все это правильно, рассудительно и весьма естественно — вследствие врожденных ему понятий и особенных шишек на его черепе: именно, понятий и шишек математической точки, линии, пространства, кусания, убийства и так далее. Но это вопросы философские, коих вы не понимаете: из этого рождаются понятия о причине бытия, о том, чего и постигнуть невозможно, и о высшем предназначении человека. Вы судили бы об этих вещах совсем иначе, если б вы знали, какое множество превосходных книг и рассуждений написал человек о филантропии, то есть о человеколюбии, то есть о любви самого себя. Стоит прочитать их, чтобы удостовериться, до какой степени люди — добрые люди. Знаете ли, что они делают, когда кто-либо из них съест тайком овцу или вола, коих другой человек кормил на пищу для самого себя? Они его вешают и умерщвляют: это называется — «правосудие, нравственность». А знаете ли, как они хорошо ведут себя, когда преступник, заключенный в тюрьму, обреченный смертной казни, сам посягнет на свою жизнь и поранит себе горло гвоздем или перочинным ножиком? Они тотчас окружают его целебными пособиями, услугами, удовольствиями, наслаждениями; стараются восстановить его здоровье и

спокойствие духа и, когда он сделается совершенно здоровым и веселым, тогда уже ведут его к виселице и торжественно вешают. Это называется «человеколюбие, утонченная кротость нравов». Ну, покажите мне такое нежное сердце в каком бы то ни было другом животном?.. Да еще теперь в Парижо-пура, Лондоно-пура и других городах индийских идет между красноречивыми людьми очень жаркий спор о том, имеет ли человек право вешать своего ближнего, уличенного в проступке и приговоренного судом к истреблению. Все человеколюбцы согласны в той истине, что это жестоко, бесчеловечно убивать подобное себе существо, которое украло и съело чужого вола или чужую лошадь — разумеется, убивать его поодиночке, ибо в то же самое время, те же красноречивые человеколюбцы, баллотируя бюджет военного управления, единодушно говорят, что убить вдруг тридцать или сорок тысяч таких же существ на поле брани есть дело прекрасное, превосходное, достохвальное. Я всегда любил человеколюбие и хочу непременно спасти этого человека. Увидите, какую статью напишут в «Калькутских ведомостях» о моем благородном подвиге на пользу погибающего человечества. Если мне случится быть в этом городе к тому времени, то я постараюсь прочитать ее предварительно и, как это обыкновенно водится, немножко поправить слог, чтоб полнее отдать себе справедливость: прибавлю еще несколько мыслей о превосходстве и непостижимости ума нашего.

Услышав речь об уме, животные захохотали так громко, что факир приведен был в смущение и остолбенел.

— Как? — воскликнул он.— Вы не верите, что у человека есть ум?.. Человек делает луки, стрелы, ружья, часы, подзорные трубы, считает звезды и печатает газеты...

— Ха, ха, ха, ха!..

— Человек философствует, то есть рассуждает о таких вещах, коих никто, и даже он сам, не понимает...

— Ха, ха, ха, ха!..

— Сделайте же вы то, что делает человек!..

— К чему нам считать звезды, печатать газеты и углубляться в философские, то есть, как ты говоришь, недоступные для ума предметы, когда мы и без того находим для себя пищу? — сказал удав.— То, что вы называете вашим умом, есть не что иное, как хитрость, изысканная, ужасная, адская хитрость; высочайшая степень хитрости, при пособии коей добываете вы себе пропитание. Все ваши

выдумки имеют в предмете или то, чтоб набить себе желудок живностью, которую похищаете вы наперерыв один у другого, надувая себя взаимно новостью или искусностью ваших затей, или желание погубить другого из зависти, вражды и предрассудка. Если обладаете вы хотя одною частицею той всеобъемлющей, предвечной, неизменной мудрости, которая управляет природою, сохраняет и развивает ее, то скажи нам — что хорошего выдумали вы или сделали на пользу природы, коей составляете важную и нераздельную часть?..

— Как, что мы сделали?..— вскричал факир.— Ну, а г. Сеймон, который представил Английскому парламенту билль о том, чтоб не бить дубиною лошадей и прочих скотов?..

— Он тем хотел только обратить на себя общее внимание, чтоб воспользоваться им для своих выгод...

— Вы это говорите из зависти,— отвечал факир.— Не хочу вас и слушать!..

И бросив свой пояс золотых дел мастеру, он вытащил его из ямы.

Спасенный человек кинулся от радости душевно обнимать своего спасителя: он целовал у него руки, целовал кончик бороды, целовал край платья; он называл его своим благодетелем, кормильцем, отцом, султаном; он плакал от восторга, пал перед ним на колена и хотел поцеловать у него ногу.

— Экая обезьяна!..— сказала про себя змея с горькою насмешкою при виде странных телодвижений людской благодарности.

— Вот змея!..— проворчал тигр.— Было бы довольно смеху, если б он теперь ужалил его.

— Это настоящий тигр! — воскликнула обезьяна, сидя на своем камне.— Увидите, как он его растерзает и съест из благодарности, лишь только тот от него отворотится.

— Бесценный друг! — молвил человек факиру, с чувством пожимая его руку.— Приходи в город Ауд, где я живу. Бог наделил меня значительным имением: охотно поделюсь им с тобою, буду служить тебе, буду уважать, как своего родителя. Спроси только, где живет золотых дел мастер Мага-Буба: всяк укажет тебе мой дом. Приходи, будешь у меня дорогим, вожделенным гостем.

Человек расстался с факиром. Вслед за сим прибежала к нему обезьяна и сказала:

— Добрый факир, меня зовут Мага-дуда; я живу в пальмовой роще, что у ворот города Ауда. Ежели тебе

случится завернуть в нашу сторону, кликни только меня по имени: я тотчас явлюсь обнять тебя хвостом за шею.

— Мое имя — Мага-кука,— примолвил удав.— Я живу в развалинах обводной стены того же города. Если сочтешь, что могу быть тебе полезным, то зашипи на меня: я приду непременно.

— Моя же фамилия — Мага-шкура,— сказал тигр в свою очередь.— Жительство имею в горах, окружающих с юга тот же город. Можешь смело полагаться на мою дружбу; но из признательности советую тебе: лучше не ходи в ту сторону, потому что когда я голоден, то в состоянии съесть самого черта, особенно ежели не узнаю, что он мой приятель.

— Благодарю вас, честные животные, за ваше ко мне расположение,— отвечал факир.— На будущий год надеюсь побывать я в Ауде: может быть, увидимся.

И все отправились восвояси.

По прошествии двух или трех лет утомленный путешествием, истощенный голодом, жаждою и зноем, добрый факир медленно тащился с огромным посохом в руке по дороге, ведущей к лекновским воротам города Ауда и, не дошед до них, присел отдохнуть на камне. Богатый индиец из благородного поколения браминов, окруженный толпою слуг, проезжал мимо его, жуя бетель и презирая всех людей, рожденных вне его касты. Факир протянул к нему руку, прося подаяния. Индиец посмотрел на него горделиво, отворотился и поехал далее. Факир вздохнул и залился горькими слезами.

Вдруг обезьяна прыгнула с дерева прямо на плечо ему и начала обнимать его и лизать.

— Не узнаешь меня?.. Я Мага-дуда, которой ты спас жизнь третьего лета. Я приметила тебя, когда ты садился на этот камень и просил куска хлеба у одного из твоих жестокосердых ближних, и принесла тебе плодов.

Обезьяна бросила ему в полу несколько яблок, бананов, фиников и кокосовый орех. Факир стал подкреплять свои силы этим лесным подаянием, а обезьяна побежала известить удава и тигра о прибытии общего их благодетеля.

Удав Мага-кука, обрадованный этой новостью, втерся украдкою в кладовую одного поселянина, вытащил оттуда сыр и кувшин молока и принес их факиру, усердно извиняясь перед ним, что не может представить ему достойнейшего подарка: он от всего сердца удавил бы для него одного из пасущихся на поле баранов, но знал, что факиры не едят скоромного, и не хотел выслуживаться

напрасным убийством. Факир чувствительно возблагодарил змею за ее доброе сердце.

Тигр Мага-шкура желал также доказать чем-нибудь свою признательность; но тигры настоящая голь: у них никогда не бывает запаса. Однако ж светлая мысль блеснула в его голове: вблизи был загородный дворец лекновского султана, и он с вершины горы увидел прелестную дочь этого индийского князя, уединенно сидящую в киоске и читающую восточные стихи о любви мотылька к свечке и соловья к розе; он мигом перескочил чрез каменную стену, окружающую строения, ворвался в сад, задушил мечтательную княжну страшными своими лапами, сорвал с нее богатые ожерелья и запястья, украшенные огромными алмазами, яхонтами и изумрудами, и принес их своему спасителю в обагренной кровию лапе.

— Возьми это и продай,— сказал он ему.— Люди за эти игрушки отдают все: свои жизненные припасы, свои дома и свою совесть. Будешь богат и обойдешься без их милости и подаяний.

Нечего сказать: поистине благодарность à la tigre*, но тигры иначе не умеют оказывать благодарности. Люди — большие мастера на разные тонкие вежливости, возвышающие цену этого священного чувства; однако ж многие исторические мужи доказывали свою признательность преданием мечу жителей целых городов и опустошением целых областей.

Факир был обрадован до крайности, чувствительно благодарил своих животных-приятелей и говорил про себя в душе: «Как я счастлив, что приобрел дружбу этих тварей! Если животные до такой степени не чужды понятия о признательности, сколько же должен одушевляться им человек, благороднейшее создание в мире. Пойду прямо к Мага-Бубе, тому богатому золотых дел мастеру, который клялся, что поделится со мною своим достоянием и будет почитать меня наравне с отцом своим».

Входя в город, факир нашел все народонаселение его в страшном замешательстве и тревоге. Глашатаи с барабанным боем и при звуке труб извещали всех жителей, что в саду загородного дворца совершилось ужасное злодеяние: разбойники проникнули в него, умертвили стыдливейшую султаншу, сидевшую уединенно в киоске, похитили все бывшие на ней драгоценности и скрылись; и благополучнейший султан Лекнова и государь разных

---

* как у тигра *(фр.)*.

иных земель по сю и по ту сторону Гангеса, средоточие вселенной и убежище мира, жалует награду в десять тысяч червонцев тому, кто поймает или откроет злоумышленников. Факир, ничего не догадываясь, ни на что не обращая внимания, направил шаги свои к дому Мага-Бубы, который принял его радушно, обнял, поцеловал, посадил на почетном месте и спросил, чем может он быть ему приятным или полезным.

— Любезный друг,— сказал факир,— ты обещал мне поделиться со мною твоим имением...

— Да!..— прервал золотых дел мастер с заметным смущением.— Я обещал... Это правда... Но это... знаете, любезный друг... так только говорится... особенно, когда человек растроган... С другой стороны, и обстоятельства мои переменились... Теперь трудное время.

— Не в том дело,— отвечал факир.— Я не хочу твоего имения, а только прошу сделать дружеское одолжение. Вот дорогие вещи, цены которых я не знаю. Скажи, чего они стоят, и постарайся продать их выгодно для меня.

При сих словах факир вынул из кармана ожерелья и запястья, подаренные ему тигром. Мага-Буба узнал их с первого взгляда, потому что сам их делал для дочери султана; но он нисколько не дал того заметить своему спасителю. Напротив, он сказал ему:

— Любезный друг, можешь смело полагаться на мою честность и преданность. Я продам их, как мои собственные. Ты — мой благодетель, я тебе обязан жизнью. Позволь только удалиться с ними на короткое время: пойду к соседу взвесить эти каменья и посоветоваться с ним о цене их.

Факир охотно согласился на его предложение. Золотых дел мастер взял дорогие вещи, вышел с ними на улицу и побежал прямо во дворец, прося доложить султану, что он поймал убийцу стыдливейшей государыни, его дочери, в доказательство чего и представляет похищенные у нее драгоценности.

Султан чрез главного своего евнуха велел поблагодарить его за усердие и вручить ему определенную награду.

Но золотых дел мастер отвечал, что он не хочет денег: он делает это из чести; при поимке разбойника он подвергал опасности собственную жизнь и теперь желал бы получить гораздо почетнейшую награду. Он ходатайствовал и ползал, чтоб султан в знак отличия пожаловал ему свой старый башмак, с правом носить его на спине, на золотой цепи.

Султан пожаловал его кавалером старого башмака. Надобно знать, что в Индии это столь же важно, как у нас орден золотой шпоры.

На другой день добрый факир лежал обезглавленный на куче навоза, а золотых дел мастер гордо расхаживал по городу с орденом старого башмака на спине.

Обезьяна, змея и тигр, узнав о несчастной кончине своего спасителя, заплакали и сказали:

— Теперь он узнал, что такое люди!..

1832

ВСЯ ЖЕНСКАЯ ЖИЗНЬ В НЕСКОЛЬКИХ ЧАСАХ

Повесть, исполненная философии

Скажите мне, как рождается женщина?.. Откуда берется в ней, в самом начале ее существования, в самой почке ее жизни эта душа женского пола, душа сладкая, мягкая, благовонная, легкая, прозрачная, хрустальная; рдеющая разноцветными искрами, быстро играющими по мелкой ее грани, налитая эфирною негою, беспрерывно вспыхивающая пламенем молнийных ощущений; насыщенная любовью, втягивающая в себя любовь отвсюду: из вещественной атмосферы, из умственного мира, из вымысла, из надежд, из обманчивых видений, подобно тому, как игла громового отвода втягивает в себя разлитое вокруг нее в воздухе и облаках электричество; блестящая любовью, дышущая любовью и испаряющаяся из тела в горячий туман любви!.. душа с розовыми понятиями, с светлыми чувствами, с лучезарным воображением, с отрадным началом веры и горькими семенами земного счастья; чистая, как само счастье, и робкая, как добродетель; кроткая, стыдливая, слабая и беспечная; страшащаяся ядовитого жала опытности и как опытность проницательная?..

Не есть ли это только блистательная, но неосязаемая радуга, производимая отражением лучей нежности, красоты и прелестей ее тела?..

Но любовь!.. но непреложное, неизгладимое желание любить?.. Нет! эта душа должна быть частицею бесконечного объема божества наполняющего мир, им созданный; но частицею, отторгнутою от него с другого боку, не с того откуда взята душа мужеская.

Скажите мне еще и то, почему, при всегдашнем замешательстве, господствующем в делах рода человеческого, никогда такая душа во время рождения не попадется в жесткое, медное мужское тело — ни душа мужская, душа смелая, гордая, сильная, брыкливая, жадная крови, увлажненная началами всех высоких добродетелей и всех нечистых страстей, душа без страха, без врожденного стыда, без сострадания не завалится случайно в тихое, роскошное, пуховое тельце девушки? По крайней мере, все члены Общества испытателей природы утверждают, что этого никогда не бывает. По положению, оно может быть так в самом деле, но в практике, я думаю, случаются в этом отношении большие, ужасные, непростительные ошибки.

Как бы то ни было, я очень сожалею, что не родился девушкою. И, наблюдая со вниманием неземную красоту женской души, я не понимаю даже, как можно в нашем просвещенном веке согласиться быть мужчиною; как все люди давно уже не переродились в женщин; как вся природа не оборотилась, например, молодою, прекрасною, чувствительною графинею?.. Как тогда было бы весело на свете! Мы не знали б ни пушек, ни сражений, не революций. Вся земля была бы одною огромною модною лавкою, вся наша солнечная планетная система — одним необъятным английским магазином.

Словом, я в отчаянии, что я не девушка. И вы тоже, не правда ли?.. И, сказать по совести, из чего бьемся мы на свете, служим, кланяемся, хлопочем?.. То ли дело, если б я и вы, благосклонные подписчики этого журнала — да умножится число ваше до бесконечности! — были миленькими, пригожими девушками, в коротеньких розовых юбочках, с пестрыми шелковыми передничками! Нас тотчас отдали б, всех вместе, в девичий пансион.

А в пансионе другой свет, другое житье! Сто, двести, триста существ, хорошеньких, смазливых, обворожительных, невинных, и худых, и жирных, и белых, и черных, и прямых, и кривых, учатся для виду, на деле беззаботно порхают мыслию за потехами, за игрушками, за наслаждениями; то вяжут дружбы на тех же прутиках, как и шелковые сетки, то порют сетки и дружбы, то ищут отрады в примирениях, то шепчутся, то перемигиваются, то дуются, то передразнивают, то заглядываются на улицу, то заводят глубокие тайны, то исподтишка высовывают языки гувернанткам, то слегка упражняются в любезном

лицемерстве, то мечтают о балах и любви и, за недостатком лучшего, пробуют свое сердце на бледных, угрюмых, педагогических лицах учителей. Ленты и местоимения, сплетни и причастия, злословие и таблицы умножения, прелести нежной страсти и эпохи древней истории, моды и катехизис, антр-ша и добродетели, нравоучения, локоны, косы, реки, моря, Олимп, Париж, Каменный Остров кружатся омутом в этих быстрых, ветреных, игривых воображениях, образуя в них, как кусочки цветного стекла в калейдоскопе, всякий раз новые, всякий раз более и более любопытные, но всегда блестящие, но всегда веселые, стройные. пестрые, причудные, сжатые, распрыснутые фантасмагорические узоры, которые забавляют их, смешат, радуют, развлекают мгновенно — потом вдруг исчезают, не оставляя после себя никакого следа, никакого воспоминания, кроме чувства минувшего удовольствия и жажды нового наслаждения. Прелесть ведь быть девушкою и образовать свой ум и свое сердце в пансионе!..

И до какого совершенства можно довести их таким образом! Пансион есть свет в уменьшенном виде, полный свет в малом размере, свет сжатый, сокращенный, который удобно можно было бы положить в табакерку; но там есть все — все, что ни задумаете!.. Как вы никогда не бывали девушками, то верно и не знаете — а я знаю из весьма достоверных источников, знаю официальным образом,— что там, в пансионах, между девушками иногда есть даже тайные общества, о которых полиция по сю пору и понятия не имеет; общества гибельные, разрушительные, ужасные, настоящие «Тугендбунды» в корсете. Они, подобно немецким и итальянским революционным союзам, разделяются на степени, имеют свои установленные обряды и стремятся к определенной, им только известной, цели. Степеней — ведь я все знаю! — степеней обыкновенно бывает три: крошки, подростки и девицы. К первой принадлежат девушки моложе двенадцати лет: те не смеют ни о чем знать, ни говорить и чувства свои могут только изливать перед куклами. Во второй разряд поступают на тринадцатом году жизни: здесь устав общества позволяет уже рассуждать, тихонько и понемножку, о любви и мужчинах, даже избирать себе почетных любовников. Третья и самая высокая степень, обладающая великою тайною общества, состоит исключительно из розовых существ лет четырнадцати и более, у которых платье на груди начинает прелестно вздувать-

ся: они шепчутся только между собою, и ежели признают полезным присоединить к своему кругу которую-нибудь из подростков, то наперед избирают одну из среды своих сестер для предварительного изложения ей правил и тайны союза. Просвещенная таким образом девушка в целом пансионе уже именуется девицею и участвует во всех совещаниях и забавах новых своих приятельниц. Хотите ли, чтоб я сказал вам эту заветную, ужасную тайну?.. Так и быть: зажмурьте глаза, заткните уши, трепещите и слушайте: слушайте со вниманием, ибо это важное дело! — эта тайна есть значение того, что и как будет... Нет, не скажу!

Я не либерал, не революционер — это всем известно! — и терпеть не могу тайных обществ; но, признаюсь, несмотря на данную мною подписку не принадлежать ни к каким непозволительным союзам, крайне желал бы быть принятым в члены этой третьей степени. Сколько узнал бы я там любопытных вещей, опасных для спокойствия всякого благонамеренного человека, которых ни майнцская, ни франкфуртская следственные комиссии не привели в ясность и не обнаружили!.. Но полно рассуждать о том, как развертываются девичьи понятия в некоторых девичьих пансионах. Не надо по-пустому стращать тех, которых невесты еще обучаются в них нравственности и танцам. Увы! — почему знать? — может статься, в эту минуту и моя суженая где-нибудь поступает в члены третьей степени!..

Олинька Р*** воспитывалась также в многочисленном кругу своих сверстниц, только не в пансионе. Она имела счастье быть отданною родителями в один из тех прекрасных институтов, где нравственность, невинность и добродетель господствуют не только во всех уголках сердца и воображения девушек, но и по всем углам дома, где частные уважения не руководствуют мерою общего присмотра, где воспитанницы не повелевают своими начальницами. Я, будучи девушкою, ни за какое благо не согласился бы образоваться в таком заведении, но если б у меня была дочь, немедленно отдал бы ее туда — и отдал бы только туда. Я человек со странными понятиями: хочу, чтоб девушка до шестнадцатилетнего возраста была без мысли и без чувства, как всеобщая география; чтоб ее сердце говорило отнюдь не внятнее и не умнее фортепиано; чтоб она не жила, но только существовала, подобно златнице, заключенной в своей плеве; чтоб она была настоящею монастыркою и, особенно, чтоб не принадлежа-

ла ни к какому в свете тайному обществу. Я аристократ спальни и боюсь влияния тайных обществ на безопасность завоеванных моим полом прав и преимуществ мужчины. Словом, я требую, чтоб девушка была мертвою, холодною статуею до тех пор, пока не придет ей время выйти замуж, и чтоб она одушевилась, когда начну я на ней свататься.

Олинька Р*** совершенно соответствовала моим понятиям о воспитании женщин и о лицах, долженствующих входить в состав женского пола. Ее сердце спало шестнадцать лет сряду; душа ее, чистая, светлая, как зеркало, никогда не отражала других предметов, кроме учебных. Она не знала, ни для чего она создана, ни что будет делать на свете; она не имела никакого понятия о счастии, никогда не думала о любви; полагала, что свет и существование оканчиваются за стеною институтского сада, и мужчин считала людьми другой нации, иностранцами на земле, немцами царства природы, существами гораздо ниже, грубее женщин, выдуманными единственно для того, чтоб быть учителями, дьячками и инвалидами. Если б ей не сказали, что после экзамена надо покинуть институт, она без сожаления согласилась бы остаться в нем навеки и часто даже размышляла о том, как скучно ей будет жить в городе без классных дам и сидеть в креслах в гостиной между незнакомыми лицами, а не на скамейке со школьными подругами. Без ощущений, без удовольствий, без неприятности она так же бесчувственно дождалась рокового дня выпуска воспитанниц, как за шестнадцать лет перед тем минуты первого пришествия своего на свет после девятимесячного заключения в чреве своей матери. И сказать по справедливости, она родилась только в день своего выпуска из института: все предшествовавшее время была она улиткою — но улиткою Черного моря, красивою, блистательною, прелестною улиткою, устроенною так правильно, так ровно, легко, искусно, чудесно, что почти нельзя верить, чтоб это было добровольное и случайное произведение животного организма, а не игрушка, нарочно сделанная для обворожения глаз и потехи человека; расписанною такими нежными, роскошными цветами, что чуть-чуть не согрешишь, сказав в восторге: ей-ей, это обман! тут непременно рука художника пособила природе. Словом, Олинька была нова душою, как дитя, и полная, взрослая красавица телом — потому что, по моим понятиям о воспитании женского пола, девушка должна выпускаться из учебного

заведения, между прочим, совершенною красавицею. По моей системе, это — условие sine qua non* хорошего женского образования. Я уже сказал вам, что я странный человек!

Простясь самым трогательным образом с своими приятельницами, вся в слезах, исполненная глубокой печали, грусти, даже отчаяния, Олинька Р*** села с маменькою в карету и уехала из института. Первый раз в жизни ощутила она в сердце горечь — и в ту минуту действительно безвозвратно родилась на свет, — на свет человеческий. И при этом рождении испытала она над собою все ощущения младенца, впервые появляющегося в лике живущих созданий: блеск этого великого, вызолоченного, отполированного, движущегося, суетящегося света ослепил ее зрение. Воздух, потрясаемый бесчисленными страстями, бесчисленными сплетнями, раздорами, тщеславием, гордостью и жадностью огромного сборища людей, мутный от происков, сырой от глупости, больно раздирал нежный тимпан ее уха, угнетал ее безмятежную грудь, душил ее, производил кружение в голове. Она опять стала плакать, сожалея о тишине своего института; маменька тщетно ее утешала; она все плакала — плакала горько, сама не зная о чем — как вдруг карета поворотила на Невский проспект, и длинный ряд искусно развешенных за стеклом газовых эшарпов, шелковых тканей, пышных лент, вуалей, шляпок и блестящих игрушек бросился ей в глаза и отразился огненным пучком розовых, голубых и желтых лучей в крупной алмазной слезе, висевшей на ее ресницах; и сияющая ими слеза упала на ее ланиты и распрыснулась в яркие, радужные искры улыбки, озарившие своим светом все ее лицо и душу. Олинька вскликнула: «Ах, маменька! как это мило!..» — и с того времени начала жить полною жизнию женщины. Она почувствовала в себе желание нравиться, прельщать, казаться краше самой себя. «Маменька, какие бесподобные вещи!» — Она хотела бы тотчас нарядиться во все, что только видела, чтоб быть красивою и счастливою. «Маменька, ты купишь мне эти наряды?.. Не правда ли?» — Она с жадностью ловила взором быстро мелькающие украшения, не слушая ответа маменьки, и восхищалась их видом. Олинька Р*** была уже счастлива. Несчастная Олинька!..

---

* непременное *(лат.)*.

У Олиньки Р*** были отец и мать: отец — как обыкновенно водится — Иван Иванович; мать — Анна Петровна.

У отца были две тысячи душ крестьян, прекрасный дом с колоннами на Фонтанке и сто пятьдесят тысяч дохода, без долгов. В молодости он служил по разным департаментам; он и теперь, вероятно, числится где-нибудь на службе, хотя о том не говорит ни слова. Но повсюду испытал он «неудачи»: по его словам, испытал их потому, что не умел кланяться, по словам его приятелей,— потому, что не умел ничего делать. Он некогда был высокомерен, хотел непременно вскарабкаться на высокое, очень высокое, место, дослужиться чинов, лент, почестей — и всеми мерами, всеми средствами дослужился только 6-го класса. Он некогда дышал честолюбием, потел честолюбием, был весь покрыт прыщами честолюбия — но на длинном пути к 6-му классу простудился, и честолюбие вошло у него в тело, по которому разлилось, подобно подагре. Теперь, вогнанное в кровь, чиновное начало производит в нем ломоту в костях, боль в спине, колотье в боку. Дух его окис. Он страждет скрытым превосходительством. Он недоволен всем и особенно восстает против чинов, против страсти служить и дослуживаться. Однако ж я знаю, что он и теперь где-то служит, исподтишка. Жена всякое утро говорит ему, что он дурак, ни к чему не способен. Годовой доктор всякое утро прописывает ему лекарство от спазмов. Но после каждого повышения чинами его приятелей и знакомцев он должен для здоровья принять слабительное и держать весь день ноги на кувшине с кипятком.

В вист играет он по маленькой; черта страх боится, а ходит всегда с последней в масти.

Однажды решился он быть деятельным и усердным и перед новым годом, когда заготовлялись представления к чинам и знакам отличия, поехал к своему начальнику играть в вист по пятисот рублей. Он проиграл две тысячи. Воротившись домой, он выбранил жену за напрасную трату денег на наряды и приколотил всех лакеев за нерадение об его пользах.

Вот Иван Иванович!

А что касается до Анны Петровны, то она румянилась, наряжалась, ездила с визитами, днем развозила сплетни, ввечеру разливала чай. Об ней сказать нечего: она была настоящий женский — 0, нуль.

Разве то, что некогда была она красавица и имела

многих обожателей?.. что пока муж коптел в одном и том же классе, она нередко успевала переменить десятерых домашних друзей?.. что она не обращала никакого внимания на мужа, ни на его скупость и делала все, что хотела?.. В самом деле, было время, когда Иван Иванович не смел и пикнуть перед своею женою. И тогда ее знакомки в целом Петербурге, всякое божие утро браня своих супругов, говорили им: «Анна Петровна, вот умная женщина!»

Или то, что некогда у нее была дочь, которая росла, росла, росла и выросла до десяти лет, а Анна Петровна ничего об этом не знала?.. Но однажды она как-то приметила это по короткости ее юбки и стала сериозно думать о дочери. В этом возрасте дочери обыкновенно начинают быть помехою для матерей-красавиц, желающих еще утешать людей своею чувствительностью. Люди постигли эту истину и, для облегчения матерей, мигом выдумали девичьи пансионы: таково было начало женских учебных заведений. Анна Петровна оценила всю пользу этой вежливой выдумки и решилась отдать дочь в какой-нибудь пансион. По счастию, она случайно отдала ее в один институт, и Олинька была спасена случайно.

Анна Петровна говаривала своему мужу: «Что ж? ты служишь, служишь, и ничего не видно: я все высокоблагородная!.. Надобно давать балы».

Иван Иванович отвечал ей: «Ну вот!.. вздумала!..»

Иван Иванович говаривал в свою очередь: «Когда ж увидим мы Олиньку? Я люблю ее; она похожа на меня, как две капли воды; она моя дочь».

И Анна Петровна отвечала: «Ну вот!.. вздумал!..»

Вот Анна Петровна!

Наконец, Анна Петровна состарелась, Иван Иванович ничего не дослужился, Олинька окончила свое воспитание. Они взяли ее к себе, привезли домой и расцеловали. Бедная Олинька!..

Теория супружеской жизни основана вся на противоположностях: когда муж вспыльчив, жена должна быть кротка, и обратно; когда муж мот, жена должна быть скупа, и обратно; когда муж проигрывает в карты, жена должна выигрывать, причем позволяется ей даже немножко плутовать, и так далее. В этом состоит домашнее счастие. Итак, когда простуженное честолюбие пошло у Ивана Ивановича в кости, у Анны Петровны оно высыпало пятнами по всей коже. Оставленная красотою и ее любителями, она непременно желала быть превосходительною.

Но на мужа нечего уже было надеяться: он повсюду встречал «неудачи». Анна Петровна задумала действовать сама и добраться до 4-го класса посредством своей дочери. Иван Иванович согласился с нею, что это тоже очень хорошее средство.

— Твой начальник, я слышала, ищет богатой невесты? — сказала она.

— Да! ищет; он теперь в большой силе,— сказал он.

— Наша Олинька была бы ему как раз впору,— сказала она.

— Да! мы могли б покамест дать за нею пятьдесят тысяч дохода,— сказал он.

— Но дочь была бы превосходительная, а мать нет: это нейдет!..— сказала она.

— Да! это нейдет!..— сказал он.

— Но ежели он в большой силе, то ему немногого стоило б вывести нас тоже в превосходительные?..— сказала она.

— Да! конечно; на то есть разные законные средства,— сказал он.

— Зачем же ты по сю пору не употребил их? — сказала она.

— Были, душенька, законные препятствия к моим успехам по службе, именно «неудачи»,— сказал он.

— Предоставь же это мне! — воскликнула Анна Петровна с жаром.— Ты ни к чему не способен. Я покажу тебе, как надо служить. Я слажу это дело.

И она сладила. При пособии двух тетушек, четырех свояцениц, трех двоюродных сестер и одной кумы заключен был с начальником Ивана Ивановича формальный трактат на следующих условиях, изображенных ясным, прочным, чистым канцелярским слогом, ибо его превосходительство не верит никакому другому слогу, «ныне учеными употребляемому».

Трактат

I

«Начальник его, Ивана Ивановича, сочетается браком с дочерью ее, Анны Петровны, по имени Олинькою, немедленно после выпуска оной из института и получит от родителей ее, Олиньки, в счет приданого, шестьдесят тысяч рублей годового дохода тотчас, остальную же часть оного — даст бог! — по кончине реченных родителей оной Олиньки».

II

«Оная Анна Петровна обязуется заставить ее, Олиньку, любить оного начальника его, Ивана Ивановича, как своего собственного».

III

«До благополучного совершения на сих и оных вышеупомянутых условиях брачного обряда оный начальник имеет представить его, Ивана Ивановича, к чину статского советника и чрез два года приискать законные причины к произведению его же в превосходительные».

IV

«Ответственность за все могущие случиться неудачи — от чего боже сохрани! — лежит исключительно на оном начальнике, яко человеке в большой силе, ищущем невесты, супружеского счастия и оного приданого».

Иван Иванович утвердил этот трактат своею верховною мужниною властью, и размен ратификацией совершился торжественным образом в средине гостиной: подчиненный предложил зятю-начальнику понюхать его табаку, и взаимно начальник попотчевал подчиненного тестя щепоткою из своей табакерки; оба они в одно время важно втянули в себя носами отрадный, душистый порошок с длинным-длинным наслаждением; оба вместе нежно посмотрели друг на друга подернутыми слезною влагою сверкающими глазами, и оба вместе воскликнули с удивлением: «А!!!! славный ваш табак!..»

И судьба Олиньки решилась!

При всяком трактате бывают секретные статьи: они находились и в договоре, заключенном уполномоченными тетушками, свояченицами и кузинами между начальником и его подчиненным, но были условлены прямо от имени Анны Петровны и утверждены ею безо всякого участия и ведома Ивана Ивановича: потому-то они и назывались секретными.

Секретные статьи

I

«Анна Петровна обязуется одержать верх над скупостью мужа своего, Ивана Ивановича, путем убеждения,

а в потребном случае и действительнейшими средствами и довести его до того, чтобы реченный муж, Иван Иванович, дал великолепный бал вскоре после выпуска Олиньки из института».

II

«В начале означенного бала Олинька имеет равнодушно танцовать с молодыми людьми в зале, а договаривающийся начальник его, Ивана Ивановича, будет по положению играть в вист в одной из отдаленных комнат. Оная Анна Петровна не упустит сделать оному мужу своему надлежащее предложение о составлении приличной партии для него, начальника и будущего зятя».

III

«В промежутках между робберами оный начальник его, Ивана Ивановича, будет любезничать с Олинькою».

VI

«Анна Петровна отвечает за благоприятное действие начальнических его впечатлений над невинным сердцем ее дочери».

Начальник исполнил без отлагательства III пункт трактата — зри выше, — но приведение в действие I секретной статьи со стороны Анны Петровны не обошлось без крика, слез и бури. Она принуждена была прибегнуть к решительной мере: топнуть ногою и закричать: «Я так хочу!..»

Иван Иванович должен был заткнуть уши и сказать:

— Согласен, согласен, душенька!.. Пусть будет потвоему: только я боюсь «неудачи»...

Ах, если б вы знали Олиньку! Если б видели ее пленительное, овальное лицо, чистое, гладкое, нежное, светлое, как снег, и розовое, как заря, исполненное жизни и стыда, покоя и темного предчувствия бурных движений страсти; ее большие голубые глаза, в которые беззаботно смотрела душа ее на свет, как на цветник институтского сада, по которым роскошно плавали два белые, свежие, атласные века с длинными черными ресницами; ее багряные, пурпуровые, маленькие уста, созданные только

для улыбки, поцелуя, пламенных клятв и выражения сердечного счастия; ее зубки, ее волосы, ее ручку, ее ножку, тонкую, мелкую, застенчивую ножку!.. Если б еще взглянули вы украдкою на полное, круглое, сахарное, белое и прозрачное, как слоновая кость, плечо ее, когда наколдованная сладострастием коварной модистки эполетка газового платья тихонько обнаруживала его, скользя таинственно по зеркальной коже и, зажегши кровь зрителя, опять быстро взбегала на гладкое возвышение и закрывала его легкою, стыдливою тканью,— вы, наверное, сошли б с ума или заплакали бы об Олиньке!..

Я знал ее, то есть знал так, как можно знать молнию, которая гаснет в минуту своего рождения, ослепив глаза любопытного. Олинька промелькнула в туманной атмосфере земной жизни, подобно громовой искре, которая с быстротою мысли выливает из яркого серного огня длинную, зубчатую, изломанную линию и, величественно нарисовавшись на черном грунте тучи, исчезает навсегда с быстротою обманутой надежды. Надобно было завидеть ее в это мгновение ока: теперь уже никто из нас ее не увидит!..

Привезенная домой маменькою после обеда, она провела остаток первого дня в сладостном смятении незнакомой свободы и давно забытых ласк родителей, которые чрезвычайно разнежились с нею и, наигравшись с своим подобием, отраженным в дочери и которое долженствовало продолжать их жизнь после кончины, с неизъяснимым удовольствием целовали в ней, обоняли и прижимали к сердцу превосходительство. Измученная их любовию, Олинька легла спать рано и спала спокойно, как ангел, до девяти часов утра. Мухи разбудили ее. Она раскрыла глаза, сама не помня, где находится, и была приятно изумлена неожиданным видом двух бальных платьев, висящих перед кроватью, и множества пышных материй, блонд, лент, платков, платочков, золотых украшений и миленьких игрушек, разложенных со вкусом и кокетством на двух столиках. Все чувства заиграли в Олиньке. Олинька соскочила с постели, как бы вытолкнутая пружиною, и босая, полунагая, поддерживая рукою валящуюся с плеч рубашку, побежала к розовому платью; потом побежала к белому; потом опять к розовому; потом к столикам; потом снова к платьям. «Ах, какие они милые!.. Прелесть!.. Чудо!.. Маменька!.. где ты?.. Какие вещи!.. Как здесь весело!.. Сегодня мое рождение: это все подарки маменьки!.. Какая она добрая!.. Какая она

добрая!.. Какое чудесное платье!..» — Олинька подходила ко всякой вещи и рассматривала ее с восхищением, отступала несколько шагов и смотрела на нее издали с новым восхищением; садилась на постели и с восхищением развертывала на коленах куски изящных разноцветных тканей; и опять вставала, и опять смотрела, и опять садилась, и при всяком новом положении тела испытывала новое ощущение счастия.

Дверь отворилась, и маменька важно вошла в ее спальню. Она опять прыгнула с места, как стрела, нечаянно тронутая тетивою, и бросилась к маменьке на шею. «Маменька!.. какая ты добрая!.. какие платья... какие ленты!.. Это все для меня, маменька!..» — Она целовала маменьку, жала ее шею своими полными алебастровыми руками, душила ее от всего сердца и не допускала отвечать.

— Для тебя, друг мой!.. для тебя!..— говорила Анна Петровна, целуя дочь и задыхаясь в ее объятиях.— Для тебя, мой ангел!.. Сегодня твое рождение, и у нас будет бал.

— Бал!..— вскричала Олинька, отскочив назад.— Сегодня у нас бал?.. Ах, маменька!.. ах!.. у меня голова кружится... Сегодня бал!

— Душенька, ты танцуешь в одной рубашке...

— Маменька — бал!.. Я не знаю, что со мною делается!..

— Ты простудишься, мой друг!.. Ляг в постель или приоденься немножко.

Олинька поспешно надела зеленые, шитые золотом туфли на белую босую ножку, накинула на себя черный платок, собрала свои волосы, свернула их и утвердила гребнем на голове; и в этом простом фантастическом наряде она могла поспорить о красоте и изящности с самою блистательною мечтою сладострастной греческой мифологии. Мельком заглянув в зеркало, она увидела в нем себя и улыбнулась от удовольствия. Мать поцеловала ее с умилением и подумала: «Она так же хороша, как была я двадцать лет тому назад».

В эту минуту горничная вошла в комнату с горшком роз на руках, говоря, что Прасковья Петровна прислала поздравить Олиньку этим подарком.

— Вели благодарить тетушку! — рассеянно отвечала Олинька, не смотря на розы и с жадною радостью перебирая ленты и материи, разложенные на столиках, которые десять раз брала она в руки и десять раз бросала,

бегая с ними к зеркалу, применяя к лицу и повторяя: «Очень мило!.. Очень мило!..»

Мать таинственно взяла ее за руку и повела к великолепному новому шкафу, который в один поворот ключика отворился настежь, обнаружив ряд прекрасных капотов и платьев. Олинька вскричала: «И это тоже для меня?.. Ах, маменька, этого уж слишком много!.. Белое платье!.. Какое оно нарядное!..»

Тогда как Олинька, взявшись пальчиками за край платья, раскинула его и рассматривала с восхищением, Анна Петровна, у которой сердце сильно билось в ту минуту, обняла ее дрожащими руками, приклонила к себе и поцеловала в лоб.

— Знаешь ли, Олинька, что это за платье?

Олинька посмотрела ей в глаза с недоумением.

— Это, маменька, кажется?.. Это не бальное платье...

— Это твое подвенечное платье.

Олинька покраснела.

— Мы уже приискали для тебя жениха, прекрасного, степенного человека... в генеральском чине!.. со звездою!..

Олинька, чтоб скрыть свое смущение, забила голову в шкаф и с притворным вниманием рассматривала поочередно платья и капоты, трепеща со страху.

— Ты, мой друг, сегодня познакомишься с ним на бале. Он тебе непременно понравится...

Олинька хотела сказать: «Маменька!.. ведь он мужчина!.. Я мужчин боюсь!» — и покраснев ужасно при одной мысли о мужчине, она придвинула глаза к гроденаплевому капоту, который беспрерывно ворочала перед светом, повторяя: «Не правда ли, маменька, что это очень милый цвет?..»

— Если ты меня любишь, то будешь с ним сегодня вежлива и любезна...

Олинька побежала от шкафа к столику и отвечала ей: «Какой прелестный фермуар!.. Это все бриллианты, маменька?»

Изумленная равнодушием дочери к подобному известию, Анна Петровна пошла за нею к столику с недовольным лицом, продолжая свое увещание.

— Олинька!.. ты дурачишься!.. Оставь, прошу, свою институтскую скромность... Я говорю с тобой сериозно. Ты уже в свете, и мы заботимся о твоем счастии. Друг мой!.. когда представляется хорошая партия, никогда не надо пропускать случая... Иная потому, что искала мужа по своему вкусу, навек осталась в девках... На что

долго выбирать жениха?.. Ах, душенька!.. Мужчины все одинаковы!..

Олинька во время этой поучительной беседы рассеянно копалась в тканях, примеряла браслетки, мяла ленты, пытаясь складывать их в причудливые банты, и слушала наставление нежной родительницы; но ее руки и ноги были холодны, как лед, ее розовые ногти обливались синим, гробовым цветом; она дрожала и часто отворачивала голову, чтобы перевести дух. Что ж ей так не понравилось в этом предложении?.. Многое. Во-первых, звезда; во-вторых, тон рассуждения маменьки. Сверх того, Олинька никогда в жизни не думала о муже, ни о замужестве и испугалась, как громового удара, внезапного объявления о скорой свадьбе и о сделанном уже выборе друга. Она отнюдь не знала, каким порядком должно это происходить в природе, но ее сердце чувствовало, независимо от нее самой, что его лишают врожденных прав, что у него отнимают свободу, единственную свободу, предоставленную женщине человеком. О! в этом отношении сердца девушек удивительно как проницательны: они не требуют предварительных наставлений, чтоб постигнуть всю важность наносимой им чужою волею обиды. Анна Петровна села в кресла и продолжала свои жестокие рассуждения. Она доказывала Олиньке, что все мужчины дураки, тираны и изменники; что они не заслуживают того, чтоб женщины их любили; что женщины, выходя замуж, должны думать только о своих выгодах и не жертвовать собою для любви, и прочая, и прочая.

Это — знаете! — философия опытных женщин.

Анна Петровна доказывала еще много других вещей, но Олинька уже их не слышала. Олинька стояла перед нею, как оклеветанная невинность перед судом нечестивых, и, ворочая в пальцах машинально взятую со столика готическую пряжку, бесчувственными глазами смотрела на розу, присланную ей от тетушки. Лучи солнца падали на растение, и согретая ими почка начинала раскрываться, образуя первые очерки юного цветка. Взор Олиньки невольно следовал за тихими движениями красивой жизни нежного растительного младенца, и взволнованная душа девушки приятно опочила на мягких розовых членах рождающегося цвета. Какое-то магнитное сочувствие связывало этого нового пришельца на свет с ее опечаленным сердцем и последнее как будто постигало все существующее между ними сходство, как будто знало по опыту, что в этой комнате, в этом доме, в этом развращенном мире

нет ему другого бескорыстного друга, кроме этого доброго, веселого, беззащитного цветочка.

Анна Петровна слегка описывала лицо и широкою кистью чертила великолепную картину чина и звезды припасенного ею жениха; но ее слова отражались от омертвелой дочери, как от мрамора. Олинька, более всего ужасавшаяся этой звезды, упорно молчала и не сводила неподвижных глаз с цветка, который сквозь вьющуюся по ним слезу изменялся в ее взорах в разные фантастические виды и, наконец, вдруг как-то представился ей огромною страшною серебряною звездою. Она затрепетала. Во время молебствий и испытаний в институте видела она многих важных, почтенных особ со звездами, которых называют там родителями и начальниками, и в ее понятии звезда, плешина и седые волосы так странно были перемешаны, так тесно соединились между собою, что она почти не различала их мыслию, почти не помнила, где которая из них носится по-настоящему: плешина ли на груди, а звезда на маковке, или обратно?.. Мать спросила с беспокойством, что с нею, зачем она молчит, зачем не говорит того, что думает. Она хотела что-то сказать... стряхнула слезу с ресниц и... увидев опять на кусте цветок, а не звезду, опрометью бросилась к нему, начала около него прыгать, начала осматривать его со всех сторон, восхищаться его красотою, дотрагиваться до него пальцем, нюхать его, ласкать и кричать: «Посмотри, маменька!.. посмотри!.. какой он миленькой!.. Ты не знаешь? — я все время смотрела на него!.. хотела видеть, как он раскрывается. Какой чудесный запах!.. Понюхай, маменька!.. ты ничего в свете не видала занимательнее этого цветочка!.. Что, разве ты не любишь молодых роз?.. Я страх люблю их! Ах, какая прелесть!..»

Анна Петровна надулась и с досады сказала ей, что она глупа, как институтка.

Оленька отвечала ей, что поцелует у тетушки ручку за этот бесподобный подарок.

Анна Петровна рассердилась и пошла. Куда же она пошла?.. Вот, теперь не помню! Мне, однако ж, сказывали... Да! точно! пошла бранить мужа.

Олинька уже не смотрела ни на материи, ни на ленты, ни на платья; они ей опротивели, казались звездообразными, холодными, как присутствие старика, гадкими, как морщины. Взор ее невольно избегал встречи со шкафом, в котором висело белое атласное платье с букетом и широкою блондою. Если б это было ночью, она бы-

ла бы в состоянии вообразить себе, что там сидит мертвец, домовой, леший, и с криком ушла б из комнаты. Чтоб не думать о предложении матери, она все свое внимание, все чувства, всю душу излила на образующийся при ее глазах розан. Она не могла расстаться с ним ни на минуту; любила его, как брата, забавлялась с ним, как с куклою, и радовалась его успехам в жизни, красоте и силе. Он весь день был единственным ее приятелем: если б маменька опять заговорила с нею о звезде, она неминуемо влюбилась бы в него, как в любовника. Девушек дразнить не надобно.

Когда родился я на свет, пытки уже были уничтожены во всех европейских государствах, исключая Турцию и Рим. Я получил первое об них понятие из выносок разных исторических сочинений; но выноски, как бы часто ни были набиты острыми учеными гвоздями, не могут еще изобразить в точности всех ужасов пытания. Я съездил нарочно в Константинополь и в Рим, чтоб увидеть, как терзают человеческое тело, как растягивают члены, вывертывают суставы, загоняют тросточки под ногти, сжимают ноги в железной обуви, гладят кожу раскаленными утюгами и сдирают ее тонкими полосами; чтоб быть свидетелем, как твердые души, великие, непоколебимые в добродетели, неустрашимо переносят все подобные мучения и еще находят в них сладость — сладость в иготи столченной невинности. По несчастью — уж подлинно я должен быть несчастлив! — я не успел обратить на себя внимания ни бостанджи-баши, ни председателя св. инквизиции и ничего не видал ни в Цареграде, ни в Риме. Пришлось читать неистовые романы, творения, предназначенные для легкого и приятного чтения, которого, впрочем, не могу терпеть, чтоб составить себе ясное понятие об этих предметах. Я долго составлял его, составлял на разные манеры и никак не составил. Я уже завидовал редкой проницательности одного великого писателя, который бог весть как мигом, однако ж, постиг возможность быть безвинно посаженным на кол и душевно радоваться этому случаю, сидя очень неудобно на коле, ловко совершать для истории великие подвиги, достойные удивления потомства. Мне казалось, что я никогда этого не постигну. Но однажды, случайно, невзначай, я подстерег, как одевают девиц на бал, и тут постиг все тайны пытки. Точно! можно быть терзаемым, мучимым жестоко, ужасно, бесчеловечно,

и находить удовольствие в терзаниях, и благословлять терзающую вас руку, и не проболтаться ни одним лишним словечком — лишь бы наперед вы знали, что после всех этих страданий будет бал.

Теперь я понимаю все дело. Удостоверьте меня, что люди будут мне удивляться,— я сейчас позволю вам посадить меня на кол и с кола буду писать мои повести; но вы должны находить их несравненными и приискать для меня историографа, который провозгласил бы меня первым писателем в мире. Даром не стану я делать великих подвигов: никто не делает их даром.

Однако ж, когда б даже вы мне сказали, что я буду первою красавицею на вашем бале, я, право, не выдержал бы той пытки, какой, с двух часов пополудни до десяти часов вечера, была подвержена невинная Олинька: я бы завизжал, как поросенок, искусал бы всех служанок и парикмахеров, высказал бы всю свою подноготную — и кого люблю — и кому хочу вскружить голову моим кокетством — и в ком желаю произвести впечатление — и которую из моих приятельниц имею в виду взбесить изящностью моего наряда — и за кого надеюсь выйти замуж; я даже признался бы и в том, что всякий вечер, ложась спать, мечтаю о некоем принце, прекрасном, как бельведерский Аполлон, храбром, любезном и щедром, который приедет, увидит меня в театре, влюбится в меня без памяти, женится на мне, и я буду владетельною герцогинею, и буду иметь своих статс-дам, и свою гвардию, и своих пажей. Словом, я пересказал бы все тайны, все затеи и мысли барышень, если б мне стали так драть волосы, напрягать их вместе с кожею, накрепко затягивать снурочками, как Олиньке, если б так начали увертываться около меня с раскаленными цыркулями, приклеивать мне к лицу согнутые кольцом клочки волос, шпиговать голову черными шпильками, колоть меня повсюду булавками, запирать в тесный железный корсет и вбивать мои ножки в узкие и короткие башмачки!..

Олинька, по-видимому, была гораздо храбрее меня. Она вынесла эту пытку с удивительным мужеством: ее скребли, жгли, кололи, напрягали, брали в тиски, терзали и мучили восемь часов сряду — и не исторгли у нее ни одного стона. Она бесчувственно позволяла делать с собою все, что ни вздумали ее мучители, и об одном лишь молила бога: чтоб выйти из рук их такою гадкою — но такою гадкою, чтоб господин со звездою испугался ее, как самого черта!..

Но как будто в досаду, когда кончились терзания, все горничные воскликнули в одно слово: «Ах, как чудесно наша барышня одета!!»

И когда кончились восклицания, маменька шепнула ей на ухо: «Смотри же, Олинька, старайся понравиться этому господину!»

Она отворотилась — и заплакала!

Чай, мороженый пунш, оржат, лимонад, конфекты, бисквиты, варенья, фрукты уже во второй раз совершают на великолепных подносах вкусное и благовонное путешествие свое по залам. Волны золотого свету быстро несутся по комнатам, по движению бесчисленных групп гостей. Радужные лучи плавающих в пахучем воздухе огней играют в пышных люстрах, в огромных зеркалах, в позолоте, серебре, шелку, хрустале и алебастре, играют в брильянтах, изумрудах и яхонтах, играют в светлой, похотливой коже преданных на жертву жадным взорам пухленьких, роскошных грудей и плеч и ярче, нежели в зеркалах, играют в гладких челах и ланитах женщин, и волшебнее, чем в брильянтах, играют в их глазах. Воздух кипит блеском, удовольствием и веселыми звуками музыки. Стены потрясаются гулом радости. Дом пылает пожаром потехи. Все уста волнуются улыбками, все сердца бьются забавою, все самолюбия заведены тугими пружинами. Бал пошел горою.

Молодежь танцует, маменьки сидят и восхищаются, старые барышни вздыхают и злословят, франты вертятся, пролазы кланяются в зачет завтрашних подлостей, старики рассуждают о временах Великой Екатерины, помещики жалуются на дурное лето, деловые, за недостатком бумаг, по навыку к очистке, тихомолком очищают стаканы, важные люди думают и играют в вист, причисленные к герольдии порицают нынешний ход дел и вист и играют в бостон. Но все спрашивают с любопытством: «Кто это?.. Кто это?..» — «Это дочь хозяина, Ольга Ивановна».— «Ах, какая красавица!»

Отдыхая после первых кадрилей, Олинька расхаживает по покоям с тремя или четырьмя новыми своими приятельницами, сплетенными с нею под руки. Они, подобно легким и пугливым сернам, ловко минуют бесчисленные группы гостей, удивляющихся вкусу и роскоши, с какими Анна Петровна убрала свой дом для их приема, шепчут, улыбаются, стреляют взорами по модным фра-

кам, и опять шепчут, и опять улыбаются, и несутся далее. Вы теперь не узнали б Олиньки: она уже не то, что была поутру. В один час времени она подвинулась на пути жизни целым високосным годом. Гуляющие с нею кадрильные приятельницы, все старее ее несколькими годами, все удивительно опытные в бальных эволюциях, дали ей приметить множество прекрасных усиков, чудесных глаз, ловких мужских талий; они рассказали ей, кто в кого влюбен, кто на ком сватается, которая из их знакомок крепко любезничает с которым, кто из мужчин хорош собою, но несносен, и кто из них по справедливости может нравиться всякой. Светские барышни любят учить институток и монастырок: это их страсть! Олинька, слушая их рассуждения, сперва краснеет и потупляет взоры, потом ощущает в сердце приятное смятение, потом любопытство, потом досаду на свое невежество, потом желание быть столь же умною, как и ее наставницы. Она тоже начинает потихоньку делать свои замечания, хотя еще не имеет довольно смелости, чтоб сообщить их другим. Уже одни глаза показались ей прекрасными, две пары уст приятными, три носа довольно правильными — только она еще не может составить из них ничего целого, ничего полного, хорошего во всех частях и не поражающего никакими недостатками, потому что усы и бакенбарды мешают ей в ее соображениях. Она еще не понимала пользы и поэзии белых усов и страшных романтических бакенбардов, усиливалась открыть в них красоту и открывала только образ щеток. Олинька, Олинька!.. Искра порчи уже заброшена в твою душу неосторожными приятельницами: ты сама о том не знаешь!..

Шепча, смеясь, рассуждая с ними, она украдкою, бегло, равнодушно, единственно из любопытства, искала взором в толпе гостей миловидного лица без усов и бакенбардов, когда какой-то молодой мужчина, статный, ловкий, одетый по последней моде, неожиданно попался им навстречу. Он приветствовал вежливым поклоном одну из ее подруг, спросил о здоровье ее маменьки, сказал несколько слов о великолепии бала Анны Петровны, окинул Олиньку пылким взглядом, от которого она затрепетала, уронил несколько остроумных и скромных комплиментов в честь целому гуляющему кругу граций и пошел далее. Олинька хотела спросить: «Кто это?» — но уста ее были спаяны стыдом, пламеневшим в целом ее лице во время и после этой встречи: она никогда еще не была так близко к мужчине и вся дрожала со страху, вся

горела огнем непонятного, но не совсем противного ей смятения. Одна из приятельниц пособила скрытному ее любопытству произнесением того же вопроса, который испарился на устах институтки, и знакомка расставшегося с ними господина тотчас воскликнула вполголоса: «Как?.. вы его не знаете? Да это он!.. Знаете ли, Олинька, кто это?.. Граф Александр П***!.. Идол всего высшего общества! Он в большой моде, в него все влюблены, все!.. Какой он богатый! какой умный! да как он танцует!.. Чудо! Не правда ли, Олинька, что он удивительный красавец!.. Если б он не был такой ветреник, в него можно было бы... Как он тебе кажется?»

Олинька ничего, то есть почти ничего не отвечала, но ее сердце усиленным биением утверждало все похвалы, воздаваемые ему легкомысленною подругою. И как будто озаренная внезапным светом, душа ее одним разом постигла красоту мужеского лица: все ее понятия мгновенно слились в одну плотную, вечную, гранитную, неразрушимую мысль — что лицо мужчины, чтобы быть прекрасным, должно быть точно таким, как у *него*. С тех пор, сама того не чувствуя, она уже носила в себе образ *его*, облеченный в понятие прекрасного, нечаянно в ней создавшееся. Так всегда рождается первая любовь, и потому она очаровательна, и потому остается в душе на всю жизнь, что предмет ее и первое понятие о прекрасном нераздельны и вместе действуют на чувства и на воображение. Брось это понятие в новую, чистую душу, в каком бы то ни было виде, оно тотчас жадно соединится с нею, как щелочь с кислотою, оно приведет ее в брожение, оно проникнет в сердце, разойдется с кровию, пережжет кровь, чувства и воображение, иззернуется в твердый кристалл, светлый, алмазный, мерцающий волшебными огнями вожделения, надежды и счастия. Теперь понимаете ли теорию происхождения первой любви?.. Она довольно проста и ясна. Вторая любовь есть только подражание первой. Потом сердце привыкает к любви, как нос к табаку, и она обращается в привычку.

Его уже не было перед нею, а она все еще видела его пылкие глаза, его сильные, смелые, красивые черты, его высокое и гордое чело, его пурпуровые, исполненные огня и неги, уста. «Он должен быть один такой прекрасный на свете!..» — думала она и, ища средства, как бы представить его себе существом выше и совершеннее прочих, в своем любезном невежестве она еще говорила с самой собою: «Какой он счастливец, что у него нет усов!..

Он носит бакенбарды... но они чудесно идут ему к лицу — не то, что этим господам!..»

Они поворотили назад и очутились перед каким-то пожилым господином в парике и со звездою, который важно нюхал табак. Олинька побледнела: ей вообразилось, что это жених, о котором маменька поутру ей говорила, и, назло пожилому господину в парике и со звездою, погналась мыслию за графом П***.

«Ах, если б мой жених был такой, как он!..» — подумала она, вздыхая.

Есть на свете люди, которые не веруют в внезапную любовь, в любовь с первого взгляда, в сильные, высокие и великие страсти. Но чувствительные сердца, которые читают повести или мечтают о счастии, не должны обращать на них внимания. Недоверчивость этих господ нисколько не изменяет существа дела. Ведь есть люди, которые не верят и в черта?..

— Дом прелестный!.. Все в порядке!.. Надо отдать справедливость хозяину, что он человек со вкусом. И картины недурны!.. Эта готическая комната нравится мне чрезвычайно: только следовало бы в ней быть поменьше бронзы... Эти господа утрируют все, даже самую роскошь, и делают из своих покоев настоящие магазины. Надо, однако ж, сказать хозяйке несколько слов насчет ее кабинета: голубой атлас с серебром и более ничего... Просто и очень мило!.. Какая великолепная камелия!.. А!!. вот хорошенькое личико!.. Но оно все-таки не стоит того, которое встретил я в той комнате в числе тех четырех девиц...

Так рассуждал про себя граф Александр П***, расхаживая по комнатам отдельно от прочих гостей и равнодушно направляя свое стекло на разные предметы, на стены, на мебель и на лица. Осмотрев все и всех, он опять стал думать.

— Да!.. богато и прекрасно!.. Только самый бал не слишком мне нравится. Здесь скучно! Почти не увидишь знакомого лица. Но сколько звезд!.. как на небе. Где мой приятель Иван Иванович открыл такой богатый рудник превосходительств, что назвал к себе столько кавалеров первой и второй степени?.. Я никогда не думал, чтобы за пределами большого света водилось такое множество звезд. Всё новые лица, которых не видал я ни на одном известном балу в столице. Это никак древние и новейшие

начальники разных канцелярий, народ деловой, который я почитаю, но с которым приятнее встретиться в департаменте, чем на бале. Они что-то слишком молчаливы, слишком высокостепенны и принесли сюда с собою в кармане всю свою официальную важность. Лица холодны и без улыбки, как доклад. Я готов держать пари, что они обдумывают бумаги, глядя, как дочери их танцуют! Нельзя мне было не сделать удовольствия хозяевам и не явиться к ним на бал, но!.. но здесь я буду скучать всю ночь. Я дал слово быть сегодня у княгини Надежды Ивановны... Ах, право, эта женщина мучит меня несносным образом!.. сам не знаю, как бы разойтись с нею без шуму. Если б она не была мне так необходима... Завтра будет она пересмеивать меня со всею своею едкостью, когда узнает, что я не был у нее потому, что был на бале у человека, которого и фамилия ей неизвестна, о долгах которого никогда не было речи в ее гостиной, даже супруги которого ни однажды не злословила она с своими приятельницами... Я должен буду вынести ужасную грозу. Между тем моя Машенька и мамзель Алин, без сомнения, ожидают меня теперь с теплым сердцем и простылым чаем: я обещался той и другой навестить их сегодня после театра и забыл совершенно... Машенька, однако ж, миленькая девушка!.. я куплю ей завтра за то хороший платок, хотя теперь у меня нет денег... Ничего!.. деньги найдутся... За всем тем, не худо было бы несколько привести дела мои в порядок: я запутался в многосложные предприятия, и у меня уже не достает ни времени, чтобы помнить обо всех их, ни средств, чтобы вести их успешно. Теперь именно время великих преобразований: я подам пример собою... Во-первых, мамзель Алин оставлю я за штатом: я уступлю ее князь-Ивану. Во-вторых...

Но зачем прописывать все то, что думал про себя праздный молодой повеса, не зная, что с собою делать в шумной толпе незнакомых лиц, в кругу людей, где чувствовал себя как бы не на своем месте! — Может быть, он этого и не думал; может быть, я все это выдумал: в таком случае извините, простите, пощадите меня великодушно! Я виноват, я пустой человек, я грешен!.. Да и вы тоже! — не правда ли?.. Однако ж согласитесь, что сколько один счастливый, любезный, испорченный благосклонностью женщин и судьбы вертопрах передумает, пересмеет, перецыганит мысленно в полчаса времени, того не написать и на бычачьей шкуре!.. Но вы изволите говорить, что подобных вещей и повторять не стоит, даже из уважения

к предметам, которые переходят сквозь пустую его голову. И то правда!.. Итак, я отказываюсь от всего, что написал насчет почтенных деловых людей, княгини Надежды Ивановны и мамзель Алин; перемарываю все это большим цензорским крестом, оставляю вам белую страницу: предполагайте себе касательно дум моего героя, что вам угодно; пишите на ней, что угодно; я на все согласен, я ничего не знаю, как о ком думал тогда граф Александр П***, прекраснейший, любезнейший, обворожительнейший, предприимчивейший, вежливейший и наглейший из волокит столицы. Но если оставлю вам большой пробел в моем сочинении, вы еще захотите им воспользоваться; вы тотчас упишете в нем от моего имени все, что знаете дурного, смешного, мерзкого о ваших друзьях и соседях. Еще выйдут личности: я этого не хочу!.. Лучше оставить, как оно есть, и объявить вам, что все вздор, неправда, что ничего этого не бывало и быть не может; что граф П***, как сам он признался передо мною, зевая в угол, сказал про себя только нижеследующие слова на французском диалекте:

— Ах, как они скучны, эти господа второго яруса, когда вздумают корчить знатных бар...

А хозяйка подошла к нему и сказала:

— Ах, граф Александр Сергеевич?.. Вы у нас скучаете! Вы не танцуете?..

И он вдруг отвечал ей:

— Напротив, сударыня: я никогда в жизни не проводил вечера веселее и приятнее. Ваш бал очарователен. Я с восхищением удивляюсь вкусу, с каким убран ваш прекрасный дом. В особенности пленил меня ваш кабинет, сударыня: я желал бы быть заколдованным и остаться в нем навеки.

— Вы слишком добры, граф!

— Если вы понимаете это слово в смысле «чистосердечный», то я принимаю от вас наименование.

— Вы не хотите сделать нам удовольствия потанцовать у нас? Вы танцуете так прелестно!..

— Сударыня! я только ожидал вашего приказания.

— Так не угодно ли с моею дочерью?..

— Как не угодно ли!.. Напротив, я должен просить вас на коленях позволить мне иметь эту честь...

Анна Петровна вежливо улыбнулсь; граф П*** вежливо поклонился, и они пошли в залу. Она привела его к Олиньке, которая робко, со стыдом подала ему кончики своих пальцев.

Первое прикосновение! Священная, великая тайна при-

роды! Кто дерзнет изобразить на грязном лоскутке онучи, превращенном в писчую бумагу, твои неземные электрические свойства?.. Олинька содрогнулась от этого прикосновения и дрожала всем телом, но отнюдь не со страху, дрожала нежно, таинственно, сладостно, как дрожит струна под смычком артиста, исполненная небесной гармонии, испаряющейся из нее звонким, незримым туманом. Она смотрела в землю; он смотрел на нее и говорил про себя: «Так это дочь Анны Петровны!.. Это другое дело! С ней готов я танцовать целый год, ежели не влюблюсь в нее при первой кадрили. Ведь я теперь не занят!..»

А знаете ли, как это случилось, что Анна Петровна, весь вечер соображая средства, как бы скорее променять дочь на чин, сама предала ее в руки врагу своих соображений?.. Вы никогда не угадаете этого сами собою: лучше спросите у ваших супруг.— «Верно, Олинька,— скажут они вам,— сама пришла предостеречь маменьку, что граф П*** уединенно расхаживает по покоям; что он, видно, скучает; что надобно заставить его танцовать?..» — Точно так. Олинька с удивительным искусством употребила саму же мать в этом деле. Простодушная, невинная Олинька уже сделалась хитрою. Кто же выучил ее хитростям?.. Право, учить им не нужно! Они делаются сами собою, как скоро власть угрожает сердцу насилием.

Что говорил милый, ловкий и блистательный повеса с Олинькою во время кадрили, что отвечала Олинька милому повесе, о чем они смеялись, почему краснели, сколько маловажных вещей пересказывается в таких случаях на словах, сколько важных обстоятельств приводится в ясность без слов, того в журналах повторять не следует. Это секрет кадрилей, и он не должен выходить за пределы последней ноты танца. Я только видел, что лицо Олиньки при всякой фигуре одушевлялось новою жизнию; что ее красота постепенно усиливалась всеми прелестями удовольствия; что все рассеянные по зале взоры слетались к ней стаями, все глаза вдруг засверкали, все мужские сердца забились, все женские самолюбия принуждены были поневоле признать ее царицею своего пола. И когда кадриль кончилась, когда всякий из нас ласкал себя, что теперь с Олинькою будет танцовать он, раздались веселые звуки вальса, институтка и повеса в одно слово вскочили со стульев и пустились вальсировать, попирая и ломая ногами все наши надежды.

Если б я был Магомет, я записал бы в моем Алкоране,

что мои блаженные в награду за их добродетели будут вечно вальсировать в раю с хуриями, одетыми в бальное вырезное платье. Если б я был законодателем ума человеческого, я отменил бы все неблагодарные мечтания о земном счастии и оставил бы на свете одно только понятие о вальсе: его, я уверен, было бы достаточно для услаждения всего нашего горя. Как два налитые теплою кровью тела сблизятся на такое дружеское расстояние, когда свяжутся они одним и тем же объятием, когда руки их сплетутся, ноги перемешают свои движения, сердца запрыгают под ладонями, головы встретятся на рубеже заколдованной области поцелуя и умы подернутся мглою затмения, кружась вместе с телом, кружась вместе с предметами и целым светом, качаясь на длинной зыби потехи, бренча звуками музыки, наполняясь видом горящих ланит и уст и снеговых волн обуреваемой роскошью груди и белого плеча, сладострастно вырывающегося к вашим взорам из тайников рукава,— в этом слиянии всех начал чувства, в этом сцеплении двух существований, где мысли и страсти огненными искрами быстро перелетают из одних глаз в другие, в этом раскаленном сложным дыханием воздухе должны непременно жить любовь, упоение и счастие. И кто, вальсируя с прелестною женщиною, в нее не влюбился, и которая из девиц, несясь вихрем в объятиях миловидного юноши, ничего к нему не почувствовала, те после бала смело могут записаться в холодный чухонский приход. Наши танцоры не принадлежали к этому десятку. Граф П*** уже обожал Олиньку: у него знакомство с хорошеньким личиком начиналось прямо обожанием. Олинька уже потеряла ум и сердце. *Он* казался ей краше, светлее, торжественнее ангела, появляющегося на небе в венце бессмертных лучей. Пламя быстро распростиралось по всем ее чувствам. Она горела, она любила — любила сильно, страстно, беспредельно, всем неизмеримым объемом своей юной души.

Говорят, что этот повеса даже пожал ей ручку во время вальса: я этого не знаю! — что он ясно прочитал в ее глазах счастливую свою участь: о, в этом я уверен! Олинька еще не умела скрывать своих ощущений.

И когда, после долгого, долгого кружения, он внезапно посадил ее на диван, она со вздохом расставалась с рукою, так приятно оплетавшею ее талию: она желала опять быть обвита ею.

— Олинька, Олинька! поди за мною.
— Маменька, я ангажирована.
— Успеешь еще натанцоваться.
— Маменька, я боюсь пропустить котильон.
— Я отпущу тебя сейчас.
— Так я сейчас приду к тебе, маменька. Только скажу графу П***, что ты меня зовешь и что я скоро буду назад.

Анна Петровна ушла. Олинька весело побежала извиниться перед своим партнером и была в восхищении от его отчаяния. Добрая Олинька не знала, что после теплого оржата отчаяние есть самое слабое из бальных чувствований!..

Она нашла маменьку в зеленой комнате сидящею на диване рядом с каким-то господином, возле которого с другой стороны занимал место Иван Иванович, потчевавший его табаком из своей табакерки. Анна Петровна подала ей знак, чтоб она села подле нее. Она повиновалась.

— Маменька, ты хотела сказать мне что-то такое?
— Посиди, душенька, минутку с нами.

Беспокойство овладело Олинькою: она окинула взглядом незнакомого господина и увидела на нем страшную, уродливую, огромную, как луна, как серебряная тарелка, как мертвая голова... звезду, которая привела ее в трепет, поразила ужасом. Вот как девушки судят о вещах!.. А эта звезда нарочно была отыскана в целом городе, быть может, нарочно сделана на заказ в таком величественном размере, чтоб ослепить, изумить, тронуть, воспламенить Олиньку. Она не обратила «должного внимания» ни на белый галстух, завязанный «на законном основании» правильным, гладким, степенным бантом, ни на новый жилет из пестрого шали, ни на манишку с черными чугунными мухами, ни даже на великолепный кабинетский перстень, сиявший на пальце, служащем по особым поручениям при казенном носе его превосходительства по части снабжения его нюхательным провиантом; она чуть не закричала:

— Боже мой! это он!.. Это тот самый, о котором говорила маменька!.. Фи, какой он гадкий!.. Фи, какой он старый!.. Фи, фи!..

Какое ребячество! Отчего ж и старый? Человек лет сорока!.. Все люди этих лет. Правда, он не слишком ловок, и не годится в вальс, и не говорит по-французски, а только «понимает», и больно спесив, и даже воспитание его может показаться сомнительным; но он имеет все качества

хорошего чиновника и мужа. Он человек честный, основательный, рабочий, исправный, молчаливый, знающий дела и обязанности службы; он даже слывет умным; его бумаги читают с восхищением по всем канцеляриям; главный его начальник называет его своей правою рукою: он пойдет далеко. Уже получил он аренду, уже получил ленту — еще надеется получить что-то особенное. Хотя все это качества, относительные к службе государственной, но они имеют свою пользу и в супружеской: нет сомнения, что когда только захочет он управлять женою так, как управляет канцелярисю, он приведет ее если не в отличное счастие, то, по крайней мере, в отличный порядок. Сверх того, он уступчив: это годится и в супружестве; он не скуп на награждения и подарки: это годится в супружестве; он имеет правилом пользоваться самому и не мешать другим: это годится и в суп... Ах, как жалко, что я не красавица! Я бы сейчас вышла за него замуж.

А Олинька, ничего этого не понимая, не зная ни казенной, ни супружеской службы, упорно отвергала такого мужа!.. Ох, этих сентиментальных девушек, право, не худо было бы поучить немножко, вместо кадрили, канцелярскому порядку! Я уверен, что это было бы вернейшее средство сделать их основательными. Может статься, боитесь вы, что тогда перестали б они быть нежными, перестали б быть женщинами?.. Нужды нет! К чему нам женщины? Ведь все мы чиновники!.. Нам нужны чиновницы.

Как скоро Олинька уселась подле маменьки, незнакомый звездоносец важно привстал с дивана и поклонился ей под тем же — заметьте хорошенько! — под тем же углом наклонения, под которым он кланяется только своему начальнику или очень нужному человеку. Олинька и этого не поняла!.. Все — незнание канцелярского порядка! Но Анна Петровна своею любезностию ловко заштукатурила непростительную недогадливость дочери.

— Тимофей Антонович, имею честь представить вам мою дочь. Олинька — (держись прямо!) — это наш друг, которого любим мы, как брата, как сына, и которого ты должна любить вместе с нами.

Олинька сделала холодный книксен. Мать быстро присовокупила, поправляя фермуар на ее шее:

— Я уверена, что ты будешь любить Тимофея Антоновича еще лучше нашего, когда узнаешь его короче.

Она покраснела. Иван Иванович примолвил:

— Да! мы очень счастливы, имея такого друга, как Тимофей Антонович. Ты должна тоже стараться заслужить

его дружбу, Олинька... Позвольте же мне теперь вашего табачку!

Она опустила глаза.

Во время этих приветствий и похвал господин со звездою, стоя перед диваном, важно кланялся, как маятник, в ту и в другую сторону и с любопытством посматривал на Олиньку. Она ему очень, очень понравилась, и он, вынимая табакерку из кармана, чувствительно пожал за нее папеньке руку — пожал так сильно, что у Ивана Ивановича искры прыснули из зрачков и в глазах засияло превосходительством.

Уже все они опять садились на диван, как вдруг Тимофей Антонович вспомнил, что в замешательстве первых впечатлений не соблюл он «надлежащей формы» отрекомендования себя Олиньке. Он слишком любил «законный порядок», а потому и «не упустил исправить без отлагательства последовавшее по оному делу упущение»: он приподнялся и «потолику, поколику согласно было сие с обстоятельствами», с полным церемониялом подошел к ручке Олиньки. Будучи принуждена снять для него перчатку, она тащила ее с гневом, тряслась, как лист осины; охотно бы даже согласилась, чтоб рука ее отпала вместе с перчаткою. По ее телу, по нежной ее коже судорожная дрожь пробегала холодною, змеиною чертою; и когда ручка ее освободилась из длинного белого чехла, когда он дотронулся ее медными своими пальцами, когда приложил к ее пальчикам свои сухие, шероховатые уста, Олинька едва не закричала, не отскочила назад, как будто укушенная страшным, косматым, ядовитым пауком!.. Она ощутила в себе в одно и то же время и плавящий жар испуга, и тошноту отвращения — тошноту мучительную, убийственную, гробовую, которой не понимают ни сочинители, ни подписчики — которую чувствуют только женщины в минуту прикосновения к ним противного им мужчины.

Совершив эту важную церемонию, Тимофей Антонович поправил свой пестрый жилет, потянул воротник, сдул платком табак с носа и торжественно уселся на диване между хозяином и хозяйкою. «По силе положения» о женихах, теперь следовало ему сказать что-нибудь ловкое, любезное, занимательное. Он начал:

— Ах, как я сегодня смеялся!.. Представьте себе, у меня по департаменту случилось курьозное дело...

Олинька не могла выдержать долее: она сидела, как на иголках, вертелась, хотела уйти...

— (Останься, друг мой, с нами.)

— Из Вологодской губернии поступило к нам представление...

— (Маменька, начинают котильон!)

— Кажется от 25-го минувшего месяца...

— (Успеешь, душенька. Держись прямо!..)

— В котором значится, что вследствие предписания местного начальства...

— (Сиди, друг мой, как следует; не отворачивайся!..)

— О принятии законных мер по воспоследовавшему там экстренному случаю...

Олинька уже ничего не слышала. Ее суженый, чтоб сделать свое повествование понятным для институтки, значительно отступал от канцелярского слога, пропускал числа, не подводил всех справок, был до крайности любезен; но ничто не могло подействовать на ее упрямство. Она дрожала, бледнела, с трудом переводила дух. Она обливалась холодным потом. Руки ее и ноги были, как лед. На ее посиневших устах, в пальцах, лишенных розовой их жизни, в потопленном сбежавшеюся кровью сердце жилы сводились с пронзительною болью; после столь недавней отрады она должна была внезапно вынести все терзания ужаснейшей из пыток — любовного отвращения! Она страдала жестоко и еще принуждена была подавлять в себе жестокие свои страдания!..

Господин со звездою продолжал свой рассказ. Папенька и маменька слушали его со вниманием. Она... еще одну минуту, она упала б в обморок!

Но граф П*** нечаянно вбежал в комнату, и она сильно выдохнула из угнетенной груди значительное количество горького, палящего воздуха скорби. Ей стало легче. Он повсюду искал ее глазами и, увидев сидящую на диване, бледную, расстроенную, неподвижную, с заметным смущением, протянул к ней руку, чтоб проводить ее в залу, где уже начинался котильон. Она ушла от маменьки, благодаря его в душе за свое спасение.

— Ольга Ивановна!.. вы страждете?

— Нет!.. ничего!.. так!..

— Ваши руки холодны?..

— Ах, не говорите мне об этом!.. Ох!.. Ах!..

— Боже мой!.. что с вами?

— Я несчастна!..

— Вы несчастны?!!.

И с этими несчастными словами они пустились от-

чаянно танцовать по всей зале. Так люди забавляются! Так все мы живем на свете!..

Пляшут, пляшут: конца нет!.. Когда же будет шабаш этому проклятому котильону? Начальник Ивана Ивановича, согласно заключенному с Анною Петровною договору, регулярно является в залу после всякого роббера, чтоб любезничать с оною Олинькою: он хочет действовать по трактату. Нельзя же лишать его прав и преимуществ избранного предписанным порядком жениха без всякого законного основания!.. Он уже догадывается, что по сему обстоятельству должны происходить какие-то злоупотребления, противозаконные действия, непозволительные поступки, ни с чем не сообразные меры, но никак не может подвести точных справок, не зная котильонного регламента. Если б он спросил у меня, я сказал бы ему напрямик, что молодые шалуны загнули ему крючок, но крючок весьма законный, не подлежащий суду, ни штрафу: попросту «дело сие взято на проволочку!..» Его соперник, сделавшийся предводителем котильона, чтоб долее обладать его Олинькою и, вероятно, по согласию с нею, беспрерывно выдумывает новые фигуры, разнообразит удовольствие, представляет роскошь всякий раз в другом виде, и пылкая беззаботная молодежь с жадностью бросается на счастливые его изобретения: грабит их, тешится ими, резвится, хохочет; выжимает сладость из забавы до последней капли и пляшет, пляшет, пляшет, а господин с огромною звездою нюхает табак и скучает. Это ужасно! так поддеть старого доку!..

Олинька опять розовая, опять белая, счастливая; опять затмевает все в зале своею красотою. Глаза ее горят, сердце горит, душа горит тоже. Надо быть женщиною, чтобы так быстро переходить от одного состояния к другому. Олинька была женщина. Недавно она считала себя несчастнейшею в мире; теперь считает себя его обладательницею. Она уже не страждет отвращением; небесная радость разлита по всему ее телу. Она видит любовь в глазах своего кавалера, чувствует ее в его прикосновении и почти уже не скрывается, что его любит, что любит его вдвойне, втройне — и на свой счет, и назло этому господину, и наперекор маменьке. Страсть вспыхнула в ней со всею силою чрезмерно раскаленного пара, который опрокинул и поднял на воздух придавлявшую его тяжесть.

В промежутках танца она много наслышалась тонких

намеков, остроумных похвал, насыщенных легкою нежностью приветствий; много накраснелась, много насказала ответов, еще более дозволила догадываться. И — кто бы подумал! — она даже призналась, что вон там, этот господин со звездою, смуглый, высокий, гадкий — который нюхает табак — который на нее смотрит, который, слава богу, вот теперь ушел из залы,— что он ее смерть, что она терпеть его не может, что она, если станут ее так преследовать...

Опять новая фигура!.. Они, видно, не намерены сегодня кончить этот безбожный танец! Как тут быть?.. Тимофей Антонович пошел сыграть еще два роббера в вист. Между тем здесь пляшут, между тем смеются, шутят, злословят, вздыхают, сплетничают, пересмеивают, лопаются с зависти и утопают в блаженстве.

Извольте! вот конец котильону. Теперь можете делать, что угодно.

Олинька, вся в огнях, пошла гулять по покоям, освежая себя легким, прозрачным, как самый ветер, опахалом. Граф П*** разговаривал в зале с некоторыми своими знакомцами и следовал за ней взором в длинной перспективе комнат. Пять или шесть минут времени прошло в этом положении, как вдруг он приметил...

— Барон!.. сделай мне дружеское одолжение...

— Что прикажете, любезный граф?

— Попроси хозяйку на кадриль.

— Она не танцует.

— Танцует!.. Уверяю тебя, что она танцует. Она ужасно любит танцовать. Ты обяжешь меня чувствительно... Она даже прекрасно танцует... увидишь!.. Поди только, возьми ее...

— Но я боюсь, что она мне откажет.

— Не откажет! я отвечаю. Иди же скорее!.. Я тебе отслужу: в другом месте, когда ты прикажешь, на твой счет буду всю ночь танцовать с хозяйкою, хотя б ей было от роду лет за триста...

— Если в том дело, я исполню твое желание.

— Только танцуй же с нею долго!.. как можешь долее!..

— Хорошо! — отвечал я ему и пошел ангажировать Анну Петровну, которая, как предугадал волокита, с радостью приняла мое предложение и не думала отказывать. Граф П*** неприметно ускользнул из залы, как скоро начались кадрили. Он прошел несколько комнат, в которых уединенно сидели по углам старики и деловые люди с рюмками мороженого пуншу в руках, рассуждая о

старых временах и новых штатах; проникнул еще далее и нашел только каких-то супругов, поселившихся на диване и занятых приведением в ясность счета своему поведению с самого начала бала; перешел в следующую комнату и уже не застал в ней никого. Беспокойство им овладело: он не знал, что делать...

Чего же он искал? что такое приметил? зачем так убедительно просил меня танцовать с Анною Петровною и еще танцовать как можно долее?.. Что значило это беспокойство?.. Все это объясню я вам немедленно. Он приметил, что, когда Олинька возвращалась в залу, вероятно с тем, чтоб опять танцовать с ним кадриль, известный господин со звездою, действуя по трактату, перебил ей дорогу, вступил с нею в «разбирательство» какого-то дела, невзначай «представил ей один экстренный случай на снисходительное ее благоусмотрение». О чем он ей «докладывал», о чем хлопотал, на что «ходатайствовал разрешения», по какому именно предмету «входил в таковые личные с оною Ольгою Ивановною сношения», о том на первый случай «почтеннейше не могу вам донести»: это покамест канцелярская тайна. Только Олинька испугалась, побледнела, закрыла глаза платком и в половине доклада ушла от него, быстро удаляясь по направлению комнат, где уже граф П*** потерял ее из виду между мелькающими в отдаленных атмосферах фигурами. Мой приятель хотел бежать за ней, чтоб утешить несчастную, и, боясь помехи со стороны маменьки, придумал, злодей, бесчеловечное, кровавое средство — заставить меня прыгать со старухой почти целый час!.. Я никогда не прощу ему этой шутки, где попросту сделал он из меня ширму для прикрытия своих проказ.

Он блуждал по комнатам и нигде не находил ее. Наконец, пришло ему в голову заглянуть в кабинет хозяйки, дверь которого слегка была притворена. Он вошел. Олинька была там. Она сидела одна на софе и плакала — плакала горько! Не зная светских приличий, она даже его не испугалась. А по правилам ей непременно следовало, по крайней мере, ужасно испугаться!..

Граф П*** упал на колени, схватил ее руку и начал осыпать ее страстными поцелуями. Олинька слабо защищала ее, прося его удалиться, потому что она хочет умереть. Прекрасная причина к удалению молодого и опытного в сердечных делах повесы из полузатворенного кабинета от волшебного света алебастровой лампы, от голубой софы, от белой атласной ручки, от несчастной дочери,

мать которой танцует теперь кадриль за полверсты оттуда! Именно поэтому он должен был остаться — и остался. Он заклинал ее не плакать, не умирать, жить для счастия, для любви, для него; он клялся ей, что будет любить ее всю жизнь, по смерть и даже после смерти; узнал, что она огорчена официальным «предложением» господина со звездою «о немедленном приятии его сердца в ее ведомство и распоряжение» с присовокуплением надлежащей справки о супружестве, и дал ей торжественный обет «уронить» *сие* бедовое дело, «исходатайствовав» дражайшую ее ручку для самого себя; исторг у нее признание, что она тоже его любит, и присягнул ей огненными словами, что он ее обожает. Она была тронута, утешена и опять счастлива; он всякую минуту становился предприимчивее. Его клятвы, его страстное красноречие расстраивали ее понятия, приводили сердце ее в сладостное раздражение. Она чувствовала себя осененною лучом небесного блаженства. Пламя пожирало ее чувства, и в этом расстройстве, в этом пожаре души и тела, в этой суматохе спасающихся понятий невинности, добродетели и стыда он похитил, утащил с ее уст горячий, полусожженный поцелуй. За ним похитил он и второй, и третий, и четвертый, и пятый... Седьмой она ему дала, и чуть-чуть не сгорела сама с этим поцелуем, первым, создавшимся в ее душе и в то же мгновение вспыхнувшим на ее устах в виде яркой молнии роскоши...

Боже мой!.. кажется?.. Или это так им привиделось?.. Кажется, как будто... как будто дверь зашевелилась; как будто что-то белое промелькнуло в дверях... Нет, быть не может!.. А если кто-нибудь их видел?.. Ах, боже мой, тогда они пропали!.. Нет, нет!.. Здесь никого не видно!.. Однако же дверь растворена шире, нежели как была прежде...

— Александр!.. Друг мой!.. Заклинаю!.. удались!.. Я трепещу!..

— Олинька!.. Ангел мой!.. мое счастие!..

— Уйди!.. Сойдемся в зале!.. Я обойду через спальню маменьки и через буфет... Любишь ли меня?..

— Выше всего в мире!..

Где же он?.. Его нет в зале! Маменька еще танцует: добрая маменька!.. Олинька в беспокойстве. Она садится; она встает и опять садится; уходит из залы и опять возвращается. Где же он?.. не ушел ли?.. Нет, он придет!..

Он придет непременно!.. Между тем какой-то франт с широко раскинутыми бортами, с золотым жилетом, с пышным галстухом, с окладистыми бакенбардами, приветливо просит Олиньку на кадриль. Отказать ему неловко, танцовать с ним очень скучно; но и остаться праздною опасно. Неравно маменька?.. Неравно ужасный господин с большою звездою?.. Лучше танцовать! Она стала с ним к кадрили.

Пусть же Олинька танцует, пусть маменька отдыхает после танца; я между тем прочитаю вам два любопытные явления из старой комедии, которую играют всюду, с небольшими переменами.

ЯВЛЕНИЕ I

Действие происходит в той же зале. В середине ее танцуют. Вокруг стен сидят старые и молодые дамы в беретах, чепчиках и турбанах; старые и молодые девицы с готическими на голове башнями из чужих волос, с локонами из чужих волос, с талиями на вате и бумажными цветами. Все они перешептываются между собою, пожимают плечами и кивают головою.

— Ты видела сама?..

— Нет, маменька; я не видела, но мне сказывала Катенька Б***, которой сообщила это за тайну Лиза Ф***, которая знает о том от Каролины Карловны, которая, говорят, видела собственными глазами, случайно заглянув в кабинет Анны Петровны.

— Боже мой!.. Какой теперь свет!.. Не бери, душенька, с нее примера.

— О нет, маменька!.. не бойся!

— Прасковья Егоровна, слышали ли вы новость?

— Не насчет ли кабинета, Марья Богдановна?.. Да! слышала!.. Скажите — пожалуйте!.. Кто бы это подумал!..

— Ах, батюшки!.. Чего доброго ожидать от нынешней молодежи!..

— Впрочем, и мать не лучше ее была в свое время...

— Маменька танцует в сорок лет, а дочь в шестнадцать лет целуется с молокососами!..

— Да тем ли только кончилось, Дарья Васильевна?..

— Какой соблазн!.. Во время бала!..

— Ах, Софья Николаевна!.. эти воспитанницы институтов, право, все таковы: их содержат в строгости, а как выпустят, так словно порох, так и загорается от первой искры; а там уж и не удержишь...

— Вы ошибаетесь, Елисавета Кондратьевна! Ведь и

моя Сашенька воспитана в институте: однако ж она не похожа на эту.

— Извините, я не знала. Конечно, много зависит и от домашних примеров... Но посмотрите, как весело она танцует после всего этого!.. Как будто ничего не было! Постойте, пойду поздравить Анну Петровну с отличным воспитанием ее дочери...

— Катерина Алексеевна?.. слышала ли ты, какую глупость сказала мне моя соседка?

— Кто?.. Софья Николаевна?.. Да! Чего же ты от нее ожидала? Она и зла, и бестолкова.

— Сказать между нами, хороша и ее Сашинька!..

— Ну, об этой и говорить нечего! Будет хуже матери...

И проч., и проч., и проч.

ЯВЛЕНИЕ II

Белая мраморная комната, отделенная от танцовальной залы тремя или четырьмя комнатами. Дама лет тридцати пяти, еще довольно свежая, в богатом берете с райскою птицею, сидит в углу софы. Возле нее на табурете сидит молодой человек с расстроенным лицом: кажется, это граф П***... Несколько мужчин и дам, утомленных балом, прохаживаются по комнате в ожидании ужина, не заботясь ни о даме, ни об ее соседе, которые разговаривают между собою.

— Хорошо, граф!.. Прекрасно!.. прекрасно!.. Да! разумеется, что вы не ожидали повстречаться здесь со мною! Вам и в голову не приходило, чтоб я с давнего времени была знакома с хозяевами этого дома! Вы полагали, что можете проказничать здесь свободно, а завтра обманете меня какою-нибудь пустою отговоркою. Я же вам объявляю, что я давно знала о том, что вы сбираетесь на этот бал; что с умыслом не упоминала перед вами ни слова о том, что и я тоже приглашена сюда; что нарочно просила вас провести этот вечер со мною, чтоб видеть, как будете вы отвечать мне. Я только удивлялась, с какою бесстыдною уверенностью тотчас обещали вы быть у меня, тогда как мне было известно, что вы непременно будете здесь...

— Княгиня, ради бога!.. оставим это!.. Что ж я дурного сделал?.. Если вы называете это преступлением, то я могу утешаться мыслию, что оно совершенно равно вашему: вы тоже здесь!

— Прошу поверить, что я бы никогда сюда не приехала, если б вы пожаловали ко мне, по вашему обещанию! Я с тем и прибыла очень поздно, чтоб предоставить вам

время для раскрытия здесь прекрасного вашего характера; чтоб поймать вас, чтоб уличить в измене. Стыдно, стыдно, Александр Сергеевич!..

— Помилуйте, княгиня!.. О какой измене вы мне говорите? Вы только ищете предлога к ссоре! Ни в каком уголовном уложении танцовать с дамами в порядочном доме не называется изменою.

— И вы еще смеете отвечать мне подобным образом?.. А происшествие в кабинете?..

— Какое?

— Вы не знаете, какое?.. Вы чудовище! вы человек без совести и без сердца!.. Он еще спрашивает, какое происшествие!.. Извольте, сударь, спросить у этих дам, в зале: вас видели в кабинете с прекрасною Ольгою; видели на коленях перед нею; видели, как вы ее целовали...

— Княгиня!.. Сделайте милость!.. Что вы говорите!..

— Я говорю то, что знаю; что все здесь знают, кроме несчастных родителей, которые не догадываются, что вы заплатили себе их честию и честию их дочери за то, что удостоили их бал вашего присутствия. Вы играете здесь, как и везде, роль мерзкого обольстителя. Как вам не совестно жертвовать мгновенному удовольствию, тщеславию, шалости славою, покоем, счастием всей жизни невинной, неопытной девушки, дочери честного и благородного человека, которого называете вы вашим приятелем?.. Вы погубили беззащитную. Чем исправите вы сделанную ей обиду?.. Хотите ли на ней жениться?.. Отвечайте!

— . . . .

— Вы молчите?.. Итак, граф, вы в состоянии, для вашей забавы, играть судьбою этой бедной Ольги?.. Нет, сударь, после этого я не хочу и знать вас!

— Но вы говорите с таким жаром, что все вас услышат. Я объясню вам завтра все, как что было, и вы...

— Теперь здесь никого нет, и я могу говорить смело, тем более что говорю с вами в последний раз. Впрочем, пусть слышат! Я готова сама рассказать всем ваш поступок: я непременно расскажу об нем матери и предостерегу ее на ваш счет...

— Помилуйте, княгиня, вы забываетесь!.. Хотите ли вы повергнуть меня в отчаяние, скомпрометировать себя?..

— Благодаря вам, сударь, я уже довольно скомпрометирована: вы не делаете никакой тайны из моей к вам безрассудной «дружбы». Думаете ли вы, что я не понимаю,

почему приглашена я сюда?.. Эти господа хотели видеть вас у себя на бале и, зовя вас, полагали необходимым позвать и меня: до такой степени они считают меня нераздельною с вами!.. Это приглашение поразило меня кинжалом в сердце: я видела в нем доказательство того, что я обесславлена в общем мнении. Я плакала всю ночь из-за уважения, которое они мне оказывают, не забывая обо мне...

— Да вы и теперь плачете!.. Княгиня!.. ради всего священного вам в мире!..

— Я должна плакать, плакать всю жизнь о своей глупости... Вот какую признательность заслужила я от вас за все мои пожертвования!.. Мне стыдно признаться перед собою, что я нарушаю священнейший долг матери, краду достояние моей дочери, чтоб купить себе свой срам и вашу неблагодарность; чтоб удовлетворить вашу ненасытную страсть к мотовству, к фанфаронству. По моей милости вас считают богатым человеком: вы лучше меня знаете свои доходы!..

— Я вам обязан всем; я питаю нежнейшую к вам признательность, дружбу... Княгиня!.. Я чувствую всю низость моего поступка и опять заслужу ваше уважение. Простите мгновенное заблуждение! Я гнушаюсь самим собою и сделаю все, чтоб загладить свою вину. Вы увидите! Даю вам честное слово!..

— Вы уже столько раз мне его давали!..

— Но никогда с таким раскаянием, так искренно, как теперь!..

— Вы меня обманываете?..

— Пусть умру на месте, если не говорю этого от чистого сердца!..

— Какое поручительство представите вы мне в вашем чистосердечии?

— Какое вам угодно! Нет ничего в мире, чего бы я для вас не сделал.

— Дайте мне клятву, что с этой же минуты вы забудете об этой девушке...

— Клянусь вам честию!

— Что вы не будете ни говорить, ни танцовать с нею...

— Не буду!

— Что вы откажетесь от нее навсегда...

— Навсегда!

— Что, покуда я здесь, вы будете находиться подле меня и уедете прежде меня отсюда.

— Согласен!

— Так пойдем в залу.

Так и мы возвратимся к Олиньке. Уже кадриль кончилась; многочисленные группы измученных удовольствием и веселостью барышень блуждают по зале и по смежным комнатам; Олинька блуждает также, без цели и без радости, с одною своей подругою, которая накрепко заплела свою руку с ее рукою. Кто же эта подруга?

Это змея!

Это зависть, это злоба, блещущая розово-золотистою чешуею, длинная, гибкая и сильная, как пресмыкающийся царь берегов Ла-Платы. Она обвилась вокруг бедной девушки, жмет ее и ломает; впилась в ее грудь и, сквозь тонкое жало, медленно впускает яд в сердце; она уже грызет ее внутренность; скоро убьет ее — и бросит!..

Это та же самая приятельница, которая ходила с нею под руку, когда в первый раз Олинька увидела графа П***; та, с которою он разговаривал, когда произвел на нее первое впечатление, которая воспламенила ее воображение придаваемыми ему похвалами.

Теперь она искусно чернит его перед нею. Под предлогом негодования на коварство мужчин она уже сказала Олиньке, что он человек без всяких правил; что он считает безделицею обмануть женщину и погубить ее в общем мнении; что он даже тем хвастает. Под видом сердечного излияния она сообщила ей длинную историю о связи его с княгинею Надеждою Ивановною, которая незадолго перед тем приехала на бал, вероятно, единственно для него, в которую он давно влюблен и на которой, говорят, скоро женится. Потом, исполнясь адской преданности, она советовала убегать его, ибо одно знакомство с таким человеком уже опасно для славы молодой девицы. Потом, принимая живейшее участие в ее чувствованиях, она намекнула ей с одобрительною улыбкою услужливой сообщницы, что видела его у ног Олиньки, в кабинете, о чем, однако ж, она — сохрани господи!.. честное слово! — никогда никому не скажет ни слова. Наконец, разными тонкими оборотами, приправленными состраданием и дружбою, то вооружаясь против клеветы, то пеняя на злословие, зависть и сплетни, нежная приятельница ясно дала ей уразуметь, что она уже обесславлена и вдруг покинула ее — полумертвою, окаменелою, разраженною!.. покинула и убежала с радостью скор-

пиона, ужалившего неосторожную ногу, которая угрожала его раздавить.

Можете ли вы дать себе отчет в состоянии сердца невинной девушки, которая едва вкусила первую, самую первую сладость любви и в то же время узнает, что она уже сделалась бесчестною?.. Нет! вы никогда его не поймете, потому что оно во сто раз ужаснее, нежели быть нечаянно удаленным от выгодного места, отданным под суд, осужденным и отъявленным во всей империи, с воспрещением вступать в службу. Колени дрожали под бедною Олинькою; нежные ее члены поражены были расслаблением, как будто от подувшего на нее порыва самума; озноб и жар попеременно леденили ее кровь и приводили в бурное кипение; глаза ее вдруг наполнились слезами и мраком и, когда слезы канули на паркет, в тех же людях, которые за минуту все казались ей кроткими, забавными, безвредными, она увидела стаю свирепых драконов, грозно разверзающих пасти, чтоб пожрать ее. Одним разом постигла она значение всех взглядов, всех улыбок, всех ужимок и повсюду прочитала свое бесчестие. Она хотела уйти; уже уходила — как маменька попалась ей навстречу и, взяв ее за руку, представила княгине Надежде Ивановне, сидевшей в креслах у дверей залы рядом с графом П***.

— Княгиня!.. это моя дочь!

— А!!. это ваша дочь!..

Олинька содрогнулась. Она ощутила на душе всю едкость яда, прыснувшего из уст княгини с этими словами, которые были произнесены особенным, весьма примечательным тоном. Маменька велела ей сесть подле ужасной соперницы и сама уселась подле Олиньки.

Княгиня нарочно старалась быть любезною и обласкать Олиньку, расспрашивая ее о разных мелких обстоятельствах и относясь к маменьке с похвалами, которые желала воздать дочери. Но всякая из этих похвал заключала в себе кровавый упрек или язвительную насмешку, горечь которых постигала одна только Олинька. Пронзаемая потаенными ножами, преданная в руки искусного в терзаниях и неумолимого палача в грозном бархатном берете с райскою птицею, угнетенная высокомерием могущественной соперницы, чувством обиды и вины, стыдом, бесславием и угрызениями совести, беззащитная девушка облекалась на лице и на руках гробовою бледностью, мертвела, превращалась в бесчувственный камень. Синие и зеленые пятна выступали на ее щеках и были

вдруг пожираемы краснотою, порождаемою негодованием, которую немедленно сметало с них холодное дуновение страха, опасение услышать что-нибудь еще ужаснее — громкое и беспритворное объявление ее проступка! Маменька говорила:

— Она очень застенчива.

Княгиня говорила:

— Дам нечего бояться: лучше бояться мужчин. С ними-то надо быть скромною и осторожною, если хочешь сохранить свою репутацию.

Олинька трепетала.

Бедная Олинька должна была выдержать битую четверть часа этого бесчеловечного, истинно женского мучения. Она была уничтожена и призывала на помощь последние свои силы, чтоб скрыть свои страдания, чтоб, по крайней мере, лишить гонительницу возможности наслаждаться их зрелищем. Сколько перенесла она в это короткое время!.. Ах, клянусь, ежели когда-либо оборочусь я красавицею, ни за какое благо — хоть бы меня повесили на самой высокой мужской шее — не стану целоваться с мужчинами, чтоб только не подвергнуться преследованию со стороны других любительниц поцелуев! Они знают искусство высасывать чужие поцелуи из-под кожи своих соперниц и, ежели соперницы слабее и моложе их, употребляют его с жестокосердием, с неистовством, превосходящим всякое воображение.

По временам Олинька пыталась украдкою поймать взгляд графа П***, чтоб перелить в него свои чувствования; но он не смотрел на Олиньку. Он спокойно сидел подле княгини, ворочал шляпу, всматривался с любопытством в кожу своих перчаток и казался очень рассеянным.

Но если б как-нибудь могли вы залезть тогда в его голову и порыться в мозгу, вы бы нашли в нем престранные думы. Впрочем, на что лазить в голову? — он на другой день сам пересказал своим приятелям все, что думал, вертя шляпою и рассматривая швы на перчатках.

Он думал так:

— Черт принес сюда эту бабу! Если б я знал, что она будет здесь, я бы скорее поехал на бал к алеутам, в Камчатку. И не знаешь, как с ней развязаться!.. Она взяла такую власть надо мною, что я перед ней сижу, как дурак, и не смею сказать слова, когда она бранит меня, словно своего крепостного лакея. Но я философ на эти вещи: пусть бранит!.. Она немножко жестко управ-

ляет мною, это правда; но я буду повиноваться только до тех пор, пока она пребудет верною хорошим правилам, пока не перейдет на сторону последователей дешевого правительства. О, тогда из моего ума, сердца и повиновения я составлю такую бурную оппозицию, что она увидит!.. По несчастию, я слишком запутался с этою женщиною, и теперь нужен меч Александров, чтоб рассечь этот узел. Поссорившись с нею, я должен был бы отказаться от Машиньки и от моей мамзель Алин: на это я не соглашусь! Надо иметь несколько философии. Но что, если б я простер философию свою до такой степени, чтоб затмил славу семи греческих мудрецов?.. если б, например, вдруг решился я ограничить свои расходы?.. Оно трудновато, но возможно. Олинька также недурная партия. Она мне нравится; я люблю ее... Я готов жениться на ней назло княгине. Я подумаю о том у себя дома!.. Завтра приду сюда сказать хозяйке пару комплиментов насчет ее бала и, вероятно, увижусь с Олинькою. Сегодня — увы! — надо от ней отказаться для спокойствия и чести самой ее. Эта баба, взбесившись, в состоянии огорчить ее, огорчить мать, пересказать все родителям и взбунтовать их против меня... Так и быть! — сегодня я подчинюсь необходимости, но завтра мы посчитаемся с княгинею.

И между тем, как он так думал, княгиня в бархатном берете все терзала злополучную его Олиньку клещами самой утонченной злобы: скрытно, искусно, метко поражала ее издали строгою мести и, задев смертоносною зазубриною за нанесенную рану, свирепо тащила трепещущую жертву за своею гордостью, попирала ее своим превосходством и, прижав ее к земле, затоптав в уничижение, издевалась над нею добродушными советами и нежными заботами об ее счастии. А Анна Петровна все была в восхищении и говорила в душе: «Какая добрая княгиня!.. Как она полюбила мою Олиньку!.. Она дает ей такие наставления, как родной своей дочери!»

И измучив слабое, прелестное существо, изранив его, измяв, вытиснув на нем все свое ожесточение и против дочери, за посягание на ее собственность, и против матери, оскорбившей ее самолюбие неуместным приглашением ее к себе на бал,— но все это сладко, все это любезно, тонко, умно, неприметно,— чтоб довершить удар, чтоб показать Олиньке свое владычество над ее любовником и больно выдернуть из ее сердца последний луч надежды, она вдруг оборотилась к графу П*** и засветила ему в глаза

огненным своим взглядом, в то именно время, когда он думал: «Пятьдесят тысяч!.. ни одной копейки менее!..»

Пробужденный от таких глубоких дум, повеса должен был торопливо собраться с своею запасною любезностью и карманными улыбками, чтоб вежливо встретить нежного посланца сердца, с которым завтра предстояли ему важные денежные сделки. Княгиня пустилась шутить с ним, смеяться, рассуждать о лицах, им только известных, о забавах и удовольствиях, неприступных для общества, собравшегося в этом доме. Ветреный волокита, забыв о близости Олиньки, всею своею веселостью, всем своим блистательным злословием поспешил поддержать этот неожиданный взрыв юмористики своей соседки. Полуслова, полувопросы, полуответы, перемешанные с таинственным смехом, с загадочными взглядами, с признаками обоюдного удовольствия, сообщили этому разговору вид совершенного согласия, тесной дружбы, почти условленного сообщничества между двумя участвующими в нем собеседниками — по крайней мере, вполне произвели над неопытною девушкою то действие, которого ожидала от них бойкая ее соперница. Олинька почти не доверяла своим глазам. Как! в двух шагах от нее, полчаса после клятв он даже на нее не смотрит?.. Он, очевидно, ее презирает!.. Теперь она убедилась в его коварстве. Правда!.. он влюблен в нее! эта женщина совершенно господствует над его умом! Теперь Олинька уверилась в его измене, в своем посрамлении, в своем несчастии. Грудь ее вздымалась, понятия помрачались: она упала бы в обморок, если б новое, неведомое ей чувство — чувство палящее, раздражительное, беспокойное, ужасное — вдруг не исполнило ее какой-то злобной жизни, не возбудило в ней бешенства.

Что ж это было такое?.. Что такое! — ревность.

Боль души написана была на ее лице, взрытом судорожною игрою жил. Челюсти ее сщемились. Корчь крючила ее пальцы. Она страдала так жестоко, так была разъярена страданием, что если бы робость не отняла у нее движений тела, она ущипнула б княгиню — не то ущипнула б маменьку. К счастию, она никого не ущипнула и решилась удалиться, чтоб облегчить сердце слезами. Маменька велела ей остаться. К счастию, тот самый длинный франт в золотом жилете, с которым танцовала она прежде, предстал перед нее и ангажировал ее на мазурку. Она освободилась.

Но по несчастию, проходя мимо княгини, она услышала слова:

— Граф! а вы не будете танцовать мазурки?

— Ежели с вами, княгиня,— непременно!

Олинька посмотрела на него с гневом. Он даже не приметил ее взгляда. Опять танцуют. Все веселятся, все дышут утехою, разговаривают вполголоса, обмениваются руками, обмениваются улыбками, кружатся в отраде, в счастии, в упоении, в жаре — в воздухе, сгущенном усиленными дыханиями,— во мгле, испускаемой рядами догорающих свечей,— в чадном газе, испаряющемся из множества раскаленных, красных и вспотевших самолюбий. Одна Олинька не знает удовольствия в этом шумном, резвом, быстро движущемся кругу. Она тяжело вздыхает, глотает пыль и горечь, слышит, как внутренность ее раздирается. Ее сердце трескается от боли; голова ее горит лихорадочным огнем. Она старается встретить взор вероломного и встречает только его равнодушие и торжество гордого берета. Она бесится и пляшет; приходит в исступление и пляшет прелестно. Постой же, изменник! чудовище! изверг!.. Ты на нее не смотришь? Она тебя накажет. В душе Олиньки уже вспыхнуло волшебное пламя мщения. Она чувствует себя легче, уже одушевляется новыми силами и с злобным восторгом предается влечению небесного обворожительного чувства, которое теперь в первый раз посетило ее сердце. Она отмстит тебе жестоко, немилосердно, ужасно! — как мстят все женщины за подобное предательство: она будет кокеткою!.. Не полагайся на ее неопытность: женский инстинкт выучит ее всему, что нужно; я знавал женщин, которые уже были искусными кокетками в седьмой день после своего рождения.

Олинька не смотрит на коварного, не ищет, не ловит его взоров. Она прежде не говорила ни слова с длинным своим танцором в золотом жилете, не отвечала даже на его приветствия; теперь вдруг стала любезна с ним и весела. Она смело пускается с ним в рассуждения, смеется, шутит и чарует его глазами. Она занята им исключительно, старается найти его приятным и обнаруживает вид совершенного счастия в его обществе. Украдкою она разведывает взором — видит ли это неблагодарный? — видит ли он, что она об нем не заботится, что она счастлива с другим? Он видит!.. тем лучше. Пусть же его видит, пусть видит еще яснее, пусть сожалеет и бесится. Когда взбесится порядком, он будет без памяти от Олиньки. Любовь возвращается вместе со злостью.

Но он видит и показывает, как будто это до него не касается. Он очень хорошо понял, что такое она делает и с каким намерением; но его самолюбие было огорчено по другому поводу. Княгиня дала ему приметить, что Олинька — ветреная девушка, что она кокетка, и начала было жестоко пересмеивать его насчет прекрасной его победы, которая сама лезет в руки. Он не выдержал насмешек и рассердился вместе и на княгиню, и на Олиньку.

И мазурка кончилась, как кончается все на свете. С мазуркою прекратилась и тягостная роль Олиньки в отношении к длинному франту. Она была не в силах выдержать ее долее. Ее кокетство, по-видимому, не произвело никакого действия над коварным. Последнее средство, которое употребила она против его жестокости, на которое решилась вопреки голосу своего сердца — и это последнее средство осталось безуспешным!.. Она опять печальна, опять терзается ревностью, гневом, любовию и почти приходит в отчаяние.

Но еще одна искра надежды рдеет в ее душе. Эта ужасная женщина, вот, она ушла с маменькою прогуляться по покоям. Вот наступает вальс. Вот он рассеянно блуждает между гостями в другом конце залы. Он, может быть, подойдет к ней. Ах, если б взял он ее вальсировать!.. Она сама неприметно передвинулась в другой конец залы и села поблизости его. Сердце ее трепещет... Он не удостоивает ее своего взгляда, за который она теперь отдала б всю свою жизнь, весь мир и самое небо!.. Он стоит недалеко от нее и разговаривает с каким-то молодым человеком. Жестокий! он хочет убить Олиньку!.. Но вдруг молодой человек его покидает, берет первую попавшуюся девицу и пускается вальсировать с нею. Граф П*** остается один, оглядывается кругом себя, ища какой-нибудь дамы, чтоб повертеть ею несколько раз по зале, и видит Олиньку. Он подходит к ней очень ловко, кланяется ей очень вежливо и поднимает ее с кресел безмолвно. Наступила роковая минута. Она опять в его объятиях!..

Олинька кружится с ним по зале: она горит и трепещет еще сильнее прежнего... Она хотела бы объясниться с ним насчет его поведения с нею и не смеет раскрыть уст. Она ожидает, пока он скажет ей слово; но он молчит и вальсирует с нею так хладнокровно, как величайший

германский философ с первою австрийскою философкою, Она устремляет в его лицо свои бесподобные, наполненные прекрасною слезою глаза, ищет проникнуть взором в его душу; но его лицо мертво, холодно, душа его как бы нарочно закрыта черною завесою равнодушия — и уста его немы, и рука его нема, и глаза еще немее уст и руки. Олинька в отчаянии: она почти мерзнет в его объятиях, хотя страшный жар бьет ей в голову; она издышала всю надежду и уже дышит душою, остатком своего существа. Она изнемогает под тяжестью обиды и несчастия и едва-едва имеет силу сказать ему:

— Довольно!.. Мне очень жарко!..

Он учтиво посадил ее в кресла, еще учтивее поклонился и ушел, думая про себя: «Я на нее сердит!.. Завтра мы объяснимся с нею и помиримся».

Завтра!

В то же самое время княгиня, маменька и господин с большою звездою вышли в залу. Их-то присутствия только и недоставало, чтоб довершить убийство несчастной девушки!..

Она вздрогнула всем телом и убежала из залы.

Одаренная пылкою и чувствительною душою, Олинька могла еще вынести мучения страсти, клевету, измену, неблагодарность; но она не была в состоянии стерпеть презрение от того, кому пожертвовала своим спокойствием, своею честию. Она была в исступлении. Люди! что вы сделали с кроткою, невинною, милою Олинькою!.. Вы привели ее на край пропасти и оставили! Вы изуродовали ее ангельскую душу! Она теперь решится на все...

Она быстро бежала в спальню, усталая и распаленная танцами, облитая холодным потом по всему телу, взволнованная, бледная, с неподвижными глазами последней степени отчаяния; мчалась через столовую, пыша, негодуя, клянясь отмстить ему, отмстить себе, княгине, маменьке, господину со звездою и целому свету; вбежала в буфет с клятвою на устах наказать вероломного; увидела графин с водою и, в наказание ему, выпила два стакана холодной воды; увидела еще мороженое и бросилась на него с жадностью, стала хватать его руками, набивать в свой узкий, красивый ротик, глотать целыми кусками, и не прежде оставила, как одна из служанок вырвала у ней из рук тарелку, закричав в испуге: «Ольга Ивановна!.. что вы делаете?..»

Тогда спокойно ушла она в свою спальню, зовя за собою горничную.

— Наташа!.. раздевай меня скорее. Скорее! скорее!..

— Ольга Ивановна, ведь бал еще не кончился!..

— Все равно! Расстегивай корсет... Проворнее!.. Ох!..

— Вы ужинать не будете?..

— Не буду!.. Скорее!.. Ой, мне дурно!.. Я лягу. Уходя, убери свечу. Тащи чулки скорее... Когда маменька спросит, скажи, что я уже уснула. На, вынь еще серьги из ушей!.. Оставь, не складывай ничего!.. Брось все на землю!.. Ах!..

Олинька долго рыдала впотьмах, и глухой гул отдаленного бала долго еще смущал слух несчастной. Она была холодна, как глыба льду.

Потом перестала она рыдать, вздохнула и сказала: «Теперь все кончилось!..»

Потом Анна Петровна вбежала еще в ее комнату. Олинька закутала голову в одеяло и притворилась спящею.

— Олинька, ты спишь?

Она не отвечала.

— Олинька!.. Олинька!..

Мать начала будить ее рукою.

— А?.. что?.. Это ты, маменька?..

— Ты спишь, Олинька?

— Да, маменька! сплю.

— Что это значит?.. Зачем ушла ты так скоро?

— У меня голова страх разболелась.

— Надо было, по крайней мере, сказать мне, а то я не знала, что с тобой сталось. Княгиня и Тимофей Антонович спрашивали об тебе по нескольку раз. Ты очень ему понравилась...

— Маменька!.. я сплю!..

На другой день, около полудня, Олинька лежала в постели, прикрытая зеленым одеялом по шею. Голова ее, небрежно обвязанная батистовым платком, слегка утопала в подушке и по удивительной правильности черт лица, по его спокойствию и смертельной бледности казалась головою из каррарского мрамора, отбитою от статуи прекрасной нимфы Кановы. Мать сидела у кровати в креслах и, держа на коленях руки, сплетенные пальцами, печально смотрела на свою Олиньку.

Олинька показала рукою, что желает, чтобы стоящий на окне горшок с розою, которую подарила ей тетушка,

поставили у ее кровати. Анна Петровна сама исполнила ее желание, и Олинька, возвращаясь всею душою к своему растительному, безмятежному другу, начала нежно ласкать рукою красивый цвет, который в то время только что достиг полноты своей блистательной жизни.

Скоро рука ее упала на постель. Она вздохнула, и две крупные слезы покатились по ее щекам, сбежали со щек и иссякли в подушке.

— О чем ты вздохнула, мой друг? — спросила мать.

— Ничего!.. так!..— отвечала она.

— Скажи, душенька, правду,— присовокупила Анна Петровна,— я хочу знать. Я вижу, что ты печальна.

— О нет, маменька! — сказала она умильным голосом.— Я никогда не была так спокойна духом, как теперь. Мне только стало немножко грустно оттого, что я подумала...

— Что же ты подумала?.. Говори смело, не скрывай ничего от меня.

— То, что я и эта роза — посмотри, маменька, как она полна, свежа, мила! — что я и она вчера начали жить в одно время: мы с нею расцвели вместе; она еще цветет, а я уже вяну!..

И тихие слезы опять заструились из ее глаз.

— Полно, Олинька! — сказала мать.— Выкинь эти мысли из головы. Завтра ты будешь здорова.

— Нет, маменька! — сказала Олинька.— Я чувствую смерть в груди. Она лежит тут, внутри, как большой, холодный камень. Я умру!.. я желаю умереть... Зачем взяла ты меня из института!..

Олинька уже была в скоротечной чахотке. Жизнь ее была кончена, и уже началась смерть. Домашний доктор решил, что она страждет истерическою болезнию.

Она уже не бледна, но желта, или, лучше сказать, зелена. В три дня она исхудала так, что узнать невозможно, и в ее груди смерть хрипит страшным голосом. Она не говорит о смерти и даже старается удалять от себя всякие неприятные мысли. Потому она и беспокойна, потому и все ей не нравится, и она ищет облегчения в прихотливых, переменчивых желаниях.

— Маменька! что-то меня душит.

— Выпей, мой друг, это...

— Не хочу лекарства. Перенеси меня в другую комна-

ту. Я боюсь лежать здесь... Терпеть не могу этой комнаты.

— Куда же ты хочешь?

— В твой кабинет, маменька!

Мигом постлали для нее постель на софе в красивом кабинете Анны Петровны и перенесли ее туда на руках. Некоторое время она была спокойна и даже казалась счастливою. Потом сказала:

— Ах, нет!.. И здесь что-то душит меня, преследует...

— Что же такое не нравится тебе, мой ангел?

— Вот это платье пугает меня.

— Какое?.. Здесь нет никакого платья.

— Оно висит у меня перед глазами.

— Душенька, здесь ничего не висит.

— Там оно, там!

— Где?

— Там, в шкафу!.. белое... оно душит меня!.. с букетом... я страх боюсь его!.. атласное... гадкое...

— Что же ты прикажешь с ним сделать?

— Вели его сжечь, сжечь тотчас!.. Мне будет легче...

И спустя четверть часа она еще спросила:

— Ну что?.. сожгли ли его?..

— Сожгли, дитя мое.

— Ох!.. Теперь я чувствую себя лучше... Теперь уж не боюсь выйти в нем замуж!..

— Прощай, маменька!.. — еще сказала она однажды слабым, почти невнятным голосом, протягивая к ней желтую, иссохшую руку из-под одеяла и бледный взор из погасающих глаз.

Анна Петровна заплакала.

— Прощай!.. Я скоро отойду от тебя, туда!..

Мать рыдала и целовала ее руку, огрызенную алчною, ужасною болезнью.

— Вели принести платье, в котором была я на бале... Не плачь, маменька!.. я счастлива... Положите его подле меня... Маменька, когда я вас покину... наденьте на меня... это платье... Одну только эту вещь возьму я с собою... из этого света...

Через две недели после этого злополучного бала шел я, с зонтиком в руке и в галошах, по Вознесенскому мосту.

Погода была ужасная. Перед мостом, почти напротив самой церкви, сперлось множество карет, следующих по двум различным направлениям. Я принужден был остановиться на мосту, покамест одни из них очистили дорогу другим. Лакей в богатой ливрее с гербами бегал, кричал, приказывал кучерам поворачивать по каналу и бранился с городовым. Я спросил у него, что это за суматоха?

— В церкви свадьба,— сказал он,— эти негодяи встали с каретами так, что другим нет проезда.

— Разве похороны, братец? — возразил я.— Я вижу колесницу с гробом.

— Это не наша,— отвечал лакей равнодушно.— Наши господа в церкви; а здесь другие, везут какого-то покойника на Смоленское.

— Не знаешь ли, кого?

— Не знаю.

— А вы чьи? Кто такой женится?

— Женится-то граф Александр Сергеевич П*** на дочери княгини Надежды Ивановны***.

— Как!.. разве не на самой княгине?

— Нет, сударь, на ее дочери. Мы их люди.

Он побежал кричать. Я остался на мосту, пораженный странностью случая, по которому дочь княгини получила столь неожиданное наследство. Впрочем, это понятно!.. Наконец, великолепная колесница с розовым гробом, обитым широкими серебряными галунами, выпуталась из свадебных карет, и начали появляться погребальные факелы. Я подошел к первому из них, чтоб расспросить, кого они везут на кладбище.

— Ольга Ивановна Р*** приказала долго жить!..— отвечал мне спокойно грязный человек в черном плаще, с огромною обвислою шляпою.

— Ольга Ивановна?.. Ах, боже мой!!.

Я не скор на слезы, однако ж они полились из моих глаз при этом известии. Несчастное дитя!.. Бедная Олинька!.. Этот человек лишил ее всего — спокойствия, чести, счастия, жизни; она умерла с обидою и с его образом в сердце, и еще труп ее должен был остановиться на улице, чтоб быть свидетелем торжества его вероломства!.. Должно признаться, что судьба иногда жестоко играет теми, которые более других заслуживали бы ее покровительства... Женщины, женщины, как вы достойны сожаления! Вы созданы для нашего блаженства, а мы наше блаженство полагаем в вашем несчастии!.. Эта

невинная девушка пришла в свет перед балом, попалась на глаза развратному мужчине, в течение одного бала испытала все страсти, всю сладость и все горе, предназначенные целой жизни женщины, сделалась их жертвою и исчезла с последнею мазуркою того же вечера. Мы говорим, что жизнь женщины уподобляется бесконечному балу: я видел примеры, что эта жизнь заключалась вся в границах одного бала!..

Надобно знать, что я человек ужасный, когда примусь философствовать. И конца не видать моим глубоким мыслям! Чтоб не томить вас выпискою из длинных нравоучительных рассуждений, которые нанизал я на Вознесенском мосту, когда погребальное шествие Олиньки проходило мимо меня, скажу только, что когда оно прошло, я долго был в нерешимости — идти ли мне в церковь на свадьбу, или на кладбище на похороны?.. Я предпочел идти на кладбище: лучше смотреть на траур добродетели, чем на веселие порока.

Я был опечален и сверх того досадовал на себя, зачем я тут случился, когда похороны Олиньки и свадьба ее убийцы задели колесами друг об друга. Все эти господа в синих плащах, которые проходили тогда по Вознесенскому мосту, как раз скажут, что это натянуто, как у г. Бальзака, и что я натянул это... Клянусь честью, я не натягивал. Оно как-то само так натянулось для большей ясности дела. Впрочем, у Вознесенского моста иногда случаются почти невероятные вещи: это всем известно. А что касается до г. Бальзака, то признаюсь вам откровенно, господа в синих плащах, что у меня слишком много самолюбия и самонадеянности, чтоб думать о подражании натяжкам г. Бальзака с товарищи. Когда я захочу, то сам натяну рассказ так, что еще изумлю всех романтиков: ведь я учился логике! Но теперь не время спорить о натяжках. Положим, что этого быть не могло, что я ошибся, что мне так показалось, что свадьба и похороны не встречались друг с другом: все это нисколько не изменяет существа события. Дело в том, что Олинька была похоронена и граф П*** танцовал на своей свадьбе в один и тот же день, в удостоверение чего даю вам *сие* мое свидетельство за собственноручным моим подписанием.

Мы прибыли на Смоленское. Я был грустен во все время обряда и стоял в нескольких шагах от родных покойницы, сложив руки на груди, с зонтиком под мышкою. Но когда начали засыпать гроб землею, я не выдержал:

лицо мое вскипело слезами, я хотел закричать на все кладбище:

— Люди! что вы сделали с Олинькою!.. с этою прелестною, веселою, чистою, светлою, как солнце и добродетель, Олинькою!.. Она была вручена вам природою, которая гордилась произведением своим, чтоб вы ее лелеяли, ласкали, любили, чтоб вы берегли ее, как красивую и хрупкую игрушку, а вы — вы ввергли ее из потехи в бурную и пыльную мельницу вашего света, изломали, смололи ее зубчатыми колесами вашего тщеславия, корыстолюбия, вашей гордости, разврата и жестокосердия, испилили пилами ваших расчетов, растерзали своими страстями, осквернили грязным, язвительным своим дыханием, смяли ее, как лоскуток бумаги, на котором написана горькая укоризна, смяли, и — бросили в яму!.. Теперь я понимаю сказание Библии об ангелах, посланных в Содом.

Я последний оставил кладбище, по которому гулял еще некоторое время. Я люблю это место и нахожу особенное удовольствие путешествовать в галошах и с зонтиком по безмятежному царству погребенных страстей, по рыхлому и пыльному слою истлевших надежд и расчетов.

Иван Иванович и Анна Петровна ехали домой одни в карете. Она была печальна, но не плакала; он нюхал табак, и его слезы капали в табакерку.

Дорогою Иван Иванович с беспокойством размышлял о том, почему Тимофей Антонович не пожаловал на погребение. Его превосходительство теперь не имеет никакого повода к продолжению своего покровительства и, видно, после смерти дочери начинает уже забывать о родителях!..

И, взъехав на Исаакиевский мост, он сказал своей супруге: «Мы потеряли нашу Олиньку!.. Ну что, душенька: теперь ты убедилась, что могут быть «неудачи» по службе?..»

1833

ПОХОЖДЕНИЯ ОДНОЙ РЕВИЖСКОЙ ДУШИ

Предисловие

Калмыки, как то всем, а может статься, и не всем известно, говорят по-монгольски и исповедуют веру Будды, или Шеккямуни, которой начальник, далай-лама, пребывает в Лхасе, столице Тибета, и живет там в великолепном двадцатидвухэтажном дворце. Поклонники Шеккямуни веруют в переселение душ, в которое веровали и Пифагор, и многие умные люди.

Главная, господствующая мысль далай-ламской веры состоит в том, что человек должен всеми средствами и мерами «искоренять грех» из вселенной: когда весь грех будет «искоренен», тогда созданный мир достигнет своего совершенства, земля, небо, люди и боги сольются в одну массу, она иссякнет во «всесовершеннейшем», то есть Шеккямуни, и настанет блаженное царство духа. Священные книги буддистов суть *Ганджур* и *Шастры*. Первые заключают в себе учение Будды и догматы веры. Шастрами называются легенды или сказания о деяниях святых мужей и знаменитых хутухт и лам, отличившихся своими подвигами на поприще «искоренения греха»; повести об их чудесах, видениях и приключениях; толкования священных текстов, поучительные слова, исследования разных богословских тонкостей и т п.

Из огромного числа сочинений этого рода избрал я одну шастру, которая показалась мне занимательнее прочих. Сообщая ее читателям, спешу в то же время изъявить признательность мою знаменитому и скромному монгологу Я. И. Ш<мидту>, который своим ко мне благорасположением утвердил меня в намерении перевести ее и с особенною вежливостью во многих случаях руководствовал слабые мои познания в монгольском языке.

В переводе этой любопытной шастры старался я сохранить всю простоту слога и понятий степного ее сочинителя, не дозволяя себе никаких перемен не только в ее содержании, но и в наружном виде. Читатели, без сомнения, будут благодарны издателю за доставление им случая познакомиться с калмыцкою словесностью, которая тоже имеет свои прелести. Монгольский романтизм теперь в большой моде в Париже.

Шастра
о душе
ламы Мегедетай-Корчин-Угелюкчи

(перевод с монгольского)

Начинается сказание о великой тайне. Блаженная Маньджушри, покровительница грамоты, дай моим читателям столько ума, чтоб они постигли смысл этого сказания!

В оное время из времен я, грешный Мерген-Саин, слышал так:

В лето женское свиньи и огня, в обезьяний месяц, прибыл в здешние приволжские улусы муж святой и удивительный, по имени лама Мегедетай-Корчин-Угелюкчи, прозванный во всех степях «Буквою мудрости». Он пришел к нам от пределов благословенного Тибета и высокой горы Эльбурдж, на которой обитают тридцать три великие божества, тегри. В нашей орде никогда еще не видывали такого святого мужа. Он ревностно занимался великим делом искоренения греха и всю жизнь проводил в глубоких умозрениях, нередко по нескольку дней сряду не принимая никакой пищи. Когда в этом положении душа его возносилась до созерцания лица самого великого Шеккямуни, из его пупа и носа истекали лучи яркого света, который освещал всю Саратовскую степь. Никто лучше его не постигал великой тайны *орчилан* и *хубильган*, или учения о переселении душ из одних тел в другие. Он знал наизусть все сто восемь томов «Ганджура»; четки его состояли из ста восьми шариков, и он сто восемь раз пропускал их всякий день сквозь пальцы, произнося при всяком шарике по сту восьми раз священные слова «Ом-ма-ни-бад-мехум!» с особенною и непостижимою набожностью. Никогда уста его не осквернялись животною пищею, никогда его рука не лишала жизни ни малейшего одушевленного существа. Когда однажды по неосторожности придавил он комара на своем носу, то немедленно пошел в лес, скинул с себя платье и девять дней пробыл там совершенно нагой, позволяя всем комарам питаться его кровию. Такого святого давно уже у нас не бывало!

Великий Шеккямуни в воздаяние за его добродетели одарил его способностью ездить верхом на радуге и сидеть высоко на воздухе с поджатыми под себя ногами. Всякая его молитва была услышана в небе. Он по своему усмотрению производил дожди и засухи. И святость его была так велика, что он даже мог без трепета смотреть в лицо всяко-

му земскому исправнику; и когда, бывало, сидел он в юрте, погруженный в умозрительные созерцания, а из Саратова ехал степью пристав или заседатель, ему довольно было махнуть рукою, чтобы зловещие их колокольчики мигом умолкли и сами они проехали мимо, не заглянув в наши улусы. Если б он еще несколько лет пожил между нами, он, наверное, искоренил бы грех!

Затем я, Мерген-Саин, слышал так: вышел лама Мегедетай-Корчин-Угелюкчи из улуса, в котором питался он подаяниями благоверных, и сел уединенно в степи, с лицом, обращенным к югу. И просидел он там семь дней и семь ночей, не трогаясь с места и беспрерывно созерцая умом. После долгого размышления о великой тайне *орчилан* и *хубильган,* обняв мыслию все пространство бурного моря случаев, волнующих души в их переселениях и в перерождении одних существ в другие, он проник духом до небесной обители божества и сотворил такую молитву: «О м-м а-н и-б а д-м е-х у м! Могущественнейший из могучих, верх святости, всесовершеннейший, зачисленный, великий Будда, великий Бурхан, великий Шеккямуни*! Ты правитель настоящего периода вселенной, ты один — источник ума и разума. Далай-ламы и хутухты суть лишь истечения твои, тебе одному мы покоряемся. По неисчерпаемой благости твоей ты дозволил мне постигнуть сокровенную цель и порядок перерождения всего движущегося и смертного. Озари еще ум раба твоего, ламы Мегедетай-Корчин-Угелюкчи, последним светом и дай ему узнать то, чего никто не знал на свете. Открой мне, великий Бурхан, деяния собственной души моей со времени ее сотворения; все, что она делала, и как из одного тела переходила в другое, и какие одушевляла твари до вступления в меня, глупейшую из твоих тварей. Ты источник ума и разума. Тебе одному мы покоряемся, гнушаясь всеми прочими учениями. О м-м а-н и-б а д-м е-х у м!»

Моление это было услышано в небе. И сотворив его, лама Мегедетай-Корчин-Угелюкчи пал навзничь и уснул крепким сном. А во сне явился ему великий Шеккямуни в виде молодого всадника в желтом халате и лисьей шапке, съехавшего с неба по широкому лучу света на прекрасном зеленом верблюде. И сказал всадник ламе:

— Лама Мегедетай-Корчин-Угелюкчи, ты сотворил

---

* Официальные титулы Шеккямуни. Надобно помнить, что это говорит лама о божестве, которому он поклоняется.

молитву, которую я услышал; но просьба твоя безрассудна. Зачем желаешь ты знать деяния своей души?

И сказал лама всаднику:

— Могущественнейший из могучих, верх святости, всесовершеннейший, зачисленный, великий Шеккямуни! я желаю знать деяния своей души для того, чтоб искоренить грех.

А он ему на то:

— Лама Мегедетай-Корчин-Угелюкчи, ты будешь раскаиваться в своем любопытстве. Я устроил мир так, чтобы люди знали только ту долю несчастия, которая нераздельна с настоящим их существованием, и не хотел умножать их горя знанием того, что всякий из них претерпел до своего рождения и сколько должен он еще вынести до будущего соединения со мною.

А лама ему в ответ:

— Могущественнейший из могучих! Я готов подвергнуться всем мукам и страданиям, чтоб только узнать эту тайну.

На что примолвил всадник:

— Лама Мегедетай-Корчин-Угелюкчи, я не хочу делать тебя несчастным по твоей необдуманной просьбе. Вы теперь находите утешение в вашем горе, прельщаясь мыслями о небесном блаженстве, о совершенстве всего того, что относится к быту богов, с которыми должны вы слиться духом после истребления греха. Но вы поверглись бы в беспредельное уныние, если б узнали, что грех и беспорядок водятся тоже и у нас, на небе.

На что возразил лама:

— Всесовершеннейший, зачисленный, великий Шеккямуни! я обдумал мою просьбу, и ничто в свете не приведет меня в уныние. Я хочу искоренить грех!..

Всадник призадумался, молчал долго и, наконец, воскликнул:

— Лама Мегедетай-Корчин-Угелюкчи! Проси меня о том трижды.

Лама трижды повторил свое моление, и всадник сказал ему:

— Итак, ты узнаешь похождения твоей души. Я позволю ей пересказать тебе все, что она делала со времени своего сотворения и как из одних тел переходила в другие, и какие одушевляла существа до вступления в тебя, глупейшую из моих тварей. Прощай!

Всадник в желтом халате и лисьей шапке ускакал на небо по лучу, который быстро свертывался в трубку вслед

за удаляющимся верблюдом. А когда он ускакал, лама Мегедетай-Корчин-Угелюкчи, не просыпаясь, сел, вынул из-за пазухи лист бумаги, тушь и кисточку, развел чернила и стал писать. Он спал, а рука его писала. И писала не рука, а душа его писала его рукою. Это было великое чудо!!. И написала душа ламы Мегедетай-Корчин-Угелюкчи его рукою следующее, а я, Мерген-Саин, списал это от слова до слова для духовной пользы всех верующих. О м-м а-н и-б а д-м е-х у м!

Ярлык опасного знания

Начинается сказание о похождениях моих, родной души твоей, лама Мегедетай-Корчин-Угелюкчи.

Блаженная Маньджушри! дай ему столько ума и здравого смысла, чтоб он постиг тонкость этого сказания.

Мое слово есть следующее:

В недрах заоблачной горы Эльбурдж, на которой имеет свое пребывание великий бог Хормузда с подвластными ему божествами, тегри, и откуда наблюдает он за порядком в природе и точным исполнением законов перерождения, есть огромная кладовая душ, запертая толстыми дверьми из слоновой кости и золотым замком. В этой кладовой лежала я со времени сотворения мира слишком девяносто две тысячи лет. Я была забыта вместе с миллионами других запасных душ, хранящихся там без употребления, только на всякий случай.

В оное время из времен существовал на земле сильный и богатый народ, называемый римлянами; теперь никто в Саратовской губернии не знает, куда он девался; но в старые годы он был на земле почти столь же знаменит, как ныне калмыки. В этом народе был вельможа, имевший неограниченное влияние на дела всего государства: он самовластно управлял половиною тогдашнего света и в знатности и могуществе не уступал, быть может, самому саратовскому исправнику. У вельможи кроме жены, по обыкновению всех знаменитых народов, была еще любовница. На земле повсюду господствовало спокойствие и уже давным-давно не происходило ничего особенного. Великий Хормузда, сидя на своем престоле, беззаботно читал «Книгу Судеб», в которой записаны день и час рождения и смерть всех одушевленных существ, от китайского богдыхана до последней букашки; он водил пальцем по их

именам, отдавал приказания и был доволен, что все в мире исполнялось по предписанной форме. Вдруг послышалась у нас беготня на Эльбурдже. Великий Хормузда закричал на всю гору:

— Эй!.. Кто там?.. В кладовую!.. бегите скорее!.. Взять одну новую душу и снести ее на землю. Теперь следует там родиться побочному сыну у римского вельможи... Скорее!.. важное, экстренное дело!

Да будет известно тебе, лама Мегедетай-Корчин-Угелюкчи, что для обыкновенных, законных рождений не отпускается роду человеческому новых душ из небесной кладовой: он должен изворачиваться старыми, поношенными душами, предоставленными вселенной для всегдашнего ее обихода и уже перешедшими через множество людей, скотов, гадов и насекомых. Но когда у природы случится побочный сынок, как он начинает с собою новую родословную, и законное число существ умножается через него одною лишнею, сверхштатною тварью, то по необходимости выдается на него новая душа, из числа хранимых в небесном амбаре на непредвидимые потребности. Таков предвечный порядок мира: благоговейте, калмыки и все народы, пред непостижимою мудростью великого Шеккямуни. О м-м а-н и-б а д-м е-х у м!

В исполнение Хормуздова приказания один посыльный тегри прибежал в кладовую, погрузил руку в кучу душ, схватил одну из них на выдержку и, вскочив на радугу, поехал на землю. Эта душа была я. Он прибыл со мною к любовнице могущественного вельможи в самое время родов ее, вколотил меня сквозь ноздри в голову неправильному ребенку и ушел. Я в первый раз очутилась в человеке. Но я была совсем не по голове этому сынку, слишком велика и крепка для его мозга: это почти всегда случается с душами! Тегри, посылаемые Хормуздою для разноски нас по свету, исполняют свою должность весьма небрежно: они берут нас в кладовой без всякого разбора и, не примерив наперед к телу, которое должны мы оживлять, набивают нами людские головы как-нибудь, чтоб только очистить дело и скорее отрапортовать начальству, что тварь готова. От этого происходит такое множество дураков. Подлинно, жаль!.. Если б людей делали немножко иначе, несколько пооснователънее, не так поспешно и с должным вниманием, они были бы гораздо умнее. И великий Шеккямуни тщетно употребляет все свои усилия, чтоб искоренить этот беспорядок: мочи нет с нашими тегри!..

Это несчастие случилось и со мною. Несмотря на то,

что я была нова, блистательна, пылка, лучшей доброты, не затхлая и незалежавшаяся,— что также нередко бывает с душами, вновь выдаваемыми людям из кладовой,— несмотря даже на довольно правильное устройство органов противозаконного человечка, на хорошую и прочную отделку внутренней части его головы, мы с нею произвели беспримерного в свете дурака. Она вышла слишком для меня тесна!.. Как я была ей не в пору и распирала собою череп, то ребенок ощущал от меня нестерпимую боль в мозгу и кричал так пронзительно, что я уже хотела уйти из него сквозь уши. Этот крик был принят льстецами самовластного вельможи за предзнаменование великого ума его сына: папенька был в восторге и роздал пропасть милостей. Скоро все начали предсказывать, что из этого мальчика будет славный малый... Вот как судят о вещах те, которые не имеют счастия быть калмыками и не понимают великой тайны *орчилан* и *хубильган!*

Задыхаясь в тесной голове, я принуждена была в разные времена ее возраста ворочаться с одного бока на другой, чтоб найти удобное для себя положение. Никак нельзя было прилично в ней расположиться!.. Наконец, я оборотилась спиной к ее лицу — иначе нельзя было сидеть в этой проклятой клетке! — и так просидела в дураке целых пятьдесят пять лет задом к его поступкам, чувствованиям и мыслям, в которых не принимала никакого участия. Никто, божусь, не видал меня ни в его взорах, ни в чертах его лица; и не знаю, с чего взяли сочинители того времени, посвящавшие ему свои книги, что я прекрасна и благородна. Я не отпираюсь от этих качеств, но смею уверить, что они в своих предисловиях описывали меня наобум. Если эти господа когда-либо заглядывали ему в глаза с тем, чтоб присмотреться ко мне — чему я, впрочем, не верю,— то в глазах этого человека они могли увидеть только мой зад. Но льстецы не разбирают, а лобзают все, что им ни выставишь!..

Должно знать, что новые души всегда приносят счастие телу: оттого побочные дети рода человеческого обыкновенно бывают очень счастливы. Голова, в которой была я заперта, лишенная моего содействия, совершенно ничего не делала: все называли ее неспособною, однако ж счастие постоянно нам благоприятствовало!.. Мы получили имение бог весть откуда, покровительство не знаю с какой стороны и почести неизвестно каким чудом. Доколе жил наш потаенный папенька, весь Рим кланялся нам с утра до вечера. Но это блаженство было не без неприятностей: старые,

изношенные, полинявшие души терпеть не могут новых и даже стараются обнаруживать к ним презрение. Те самые, которые писали и читали нам похвалы, обернувшись в другую сторону, поносили нас весьма неблагопристойным словом и даже сочиняли жестокие эпиграммы на незаконных детей. Это чрезвычайно огорчало самолюбие моей головы, но оно скоро нашло средство примениться к обстоятельствам: оно пожирало громкие похвалы ушами и раздувалось от них, как пузырь, а тайные эпиграммы велело тихомолком глотать мне и опять было счастливо*.

Наскучив бездействием в этом человеке, в котором не знала я никаких ощущений, который даже не думал дать мне какое-нибудь занятие, я воспользовалась первою его болезнию, чтоб ускользнуть из тела и предоставить дурака червям. Он скончался; я улетела на воздух и, увидев, что множество душ стремится отвсюду к горе Эльбурдж, чтоб предстать пред суд Хормузды и получить от него новое назначение, поспешила присоединиться к их толпе. Мы полетели все вместе в желтое царство богов.

Первый вид грозного судилища всего смертного внушил мне не слишком выгодное понятие о нашем небесном правосудии. Тысячи душ окружали престол великого Хормузды; иные по целым столетиям дожидались решения своей участи. Он преспокойно рассуждал с другими богами о мифологических новостях, бранил духов, просивших его определить им какое-нибудь тело, произносил приговоры почти наудачу и нередко посылал в славных людей души, которым за их поведение на земле скорее следовало бы идти в медведей или обезьян. Многочисленные группы подсудимых, рассеянные по горе, были заняты сплетнями земной природы и спорами о разных богословских предметах буддаизма. Тут в первый раз увидела я знаменитую душу Пифагора, который еще до рождения Шеккямуни проповедовал учение о переселении душ; она незадолго до меня прибыла туда с земли, где, кажется, одушевляла кота. Дух Пифагоров, как теперь помню, жарко спорил с душою одного монгольского ламы, доказывая, что для человека самым вожделенным перерождением должно почитаться перевод души его в тело философа или

* Читатели, верно, мне заметят, что слог и даже понятия этой части переводимой мною шастры вовсе несходны со вступлением в нее, где описаны жизнь ламы Мегедетая и свидание его с Шеккямунием. Но в этом нет ничего удивительного. То писал калмык в бодром состоянии, а это пишет калмык спящий. Разница большая! Прошу не сомневаться, что это буквальный перевод с монгольского.

в корову, тогда как душа ламы утверждала, что добродетельный человек не может желать себе ничего лучше перерождения в собаку. Душа ламы была совершенно права: положительный смысл многих текстов «Ганджура» не дозволяет сомневаться в этой истине, и потому являющиеся в Хормуздов суд души употребляют все средства просьб, происков и покровительств, чтоб только быть определенными в собак. Весь свет хотел бы оборотиться щенком, вся природа желала быть моською: нельзя себе представить, в какой это моде в нашей мифологии!.. Все без памяти от собаки.

Душа ученого ламы была приговорена к переселению в свинью за какую-то ересь, которую взыскательный по этим делам Хормузда приметил в ее сочинениях. Напротив, дух великого Пифагора из кота поступил одним психологическим чином выше — в индейку. Когда пришла моя очередь, я поклонилась Хормузде, прося о назначении мне тоже жилища по моим заслугам. Он приказал погодить. Я ждала двадцать лет, всякий день напоминая страшному судье о своем деле и всегда получая тот же ответ: «Погоди!..» Однажды, как в суде было очень мало душ, он благоволил обратить на меня внимание.

— А ты чего хочешь? — спросил он меня.

— Великий Хормузда! — отвечала я покорно.— Реши мою судьбу. Вот уже почти четверть столетия, как скитаюсь без приюта.

— То-то и есть!..— прервал он с досадою.— Вы все требуете решать ваши дела скорее, решать умно, а того не знаете, как трудно судить дураков. Вот, например, и ты, моя миленькая: как тут обсудить твое дело? Я уже давно об нем думаю и ничего не могу придумать. Ты жила пятьдесят пять лет в дураке, ничем не занималась, не заслужила ни кары, ни награды: что ж мне с тобой делать?..

— Сделай милость, великий Хормузда!..

— Ну хорошо: я сделаю, но только, чтоб отделаться от дурака. Тегри, возьми ее, снеси на землю и всунь куда-нибудь.

Я вздохнула, услышав этот приговор. Скажи сам, лама Мегедетай-Корчин-Угелюкчи, законное ли это решение?.. В Ганджуре именно написано, что души дураков в наказание за свое бездействие или неспособность посылаются на работу и на обучение в головы трудолюбивых ученых, где они приковываются к куску темного старинного текста с обязанностью добиться в нем смысла и объяснить его надлежащим образом. Какой-то сонливый, неопрятный

тегри с четырьмя длинными лицами и на одной ноге, очень похожий на ротозея, медленно подошел ко мне, загреб меня сухою своею горстью, положил в карман и удалился из судилища. Я думала, что он отправится со мною на землю. Не тут-то было! Он дотащился только до священного дуба *белгесугум*, растущего в половине высоты небесной горы, и лег под ним отдыхать. От нечего делать стал он подбирать рассыпанные под деревом желуди и стрелять ими изо всех четырех ртов на воздух. Эта забава утешала его чрезвычайно, и он просидел под дубом семьдесят семь лет, не трогаясь с места. Наконец, как-то вспомнил он обо мне, вынул меня из кармана и, отыскав на земле желудь, расколол его и положил меня в средину. Зажав опять желудь, он взял его в рот, надулся, толкнул языком и выстрелил им так же, как и прочими.

Я долго летела в воздухе, заключенная в дубовом плоде, и упала на землю в песок. Через несколько времени из этого плода вырос прекрасный дубок, и я, будучи принуждена одушевлять неподвижное дерево, увидела себя в дубовом лесу, происшедшем от желудей, набросанных моим ленивым тегри. То был первый дубовый лес на земле: он находился в Индии и существует по сю пору. Так судьба играет бедными душами!.. За то, что я безвинно просидела пятьдесят лет в дураке, пришлось быть поленом, может статься, тысячу лет и более!

Случай освободил меня от этого ужасного и беспримерного наказания и исправил непростительное злоупотребление доверия со стороны тегри: без случаев не было бы порядка на свете. В Индии царствовал тогда сам великий бог той страны Брама, воплотившийся в человека под именем Мага-Раджи Нараянпалы, как то должно быть известно тебе из «Ганджура». Он приехал охотиться в нашем лесу и, отделясь от придворных, сел отдыхать в моей тени с знаменитым мудрецом и «святым мужем», риши Васиштою.

— Риши Васишта! — сказал ему Мага-Раджа, набивая себе рот листом бетелю.— Я хочу уйти в небо.

— Зачем?

— Не могу добиться толку с моими индийцами!.. Вот скоро уже сто двадцать лет, как царствую в Кенне, и еще не успел отучить их от греха. Ты мой риши, мой святой и мудрец: научи меня что делать; не то я скину с себя эту тяжелую и смердящую плоть и уйду в небо.

— Мага-Раджа! — примолвил святой муж.— Мудрецы древних времен говорят: неприлично уходить в небо перед

праздником. После зимних праздников, если дела не поправятся, оставишь землю, когда тебе угодно. Покамест можно испытать с людьми еще одно средство, которое представляется моему уму. Посмотри, о Мага-Раджа, кругом себя: видишь ли эти молодые прекрасные деревья?.. Их прежде на земле не было. Вероятно, боги послали этот лес на землю для ее пользы и святости. Я сделаю тебе удивительную машину для искоренения греха...

— Хорошо! — воскликнул Мага-Раджа.— Сделай мне машину для искоренения греха; тогда я еще останусь на земле с вами. Мудрецы древних времен говорят, что машины всегда действуют ловчее и правильнее, чем люди.

Риши Васишта вынул из-за пояса свой длинный нож и срубил мое деревцо. Оборвав ветви, он привязал его к седлу и увез с собою в город. Как древесная плоть вянет нескоро, то я не могла тотчас из нее освободиться: я осталась в шесте, из которого потом уже никак нельзя было вырваться, ибо святой муж в тот же вечер сделал из него посох и приказал оковать его золотом с обоих концов. На другой день он поднес его Мага-Радже и сказал:

— Вот машина, которую выдумал я для искоренения греха!

Мага-Раджа, святости которого люди удивлялись по обеим сторонам Гангеса и, удивляясь, не переставали грешить и проказничать, по совету мудреца немедленно употребил эту машину к водворению честности, беспристрастия и правосудия в своих владениях. Я, по крайней мере, нашла занятие и принуждена была сознаться, что благомыслящей душе гораздо приятнее жить в полене, чем в дураке. Проживая в посохе, я внушала его плоти то самое благородное рвение ко всему благому и полезному, каким одушевлялся наш хозяин, и смело могу сказать, что никогда не было в Индии столько добродетелей и порядка, никогда благочестие, законы и мудрость не процветали там так успешно, как в то время, когда была я приставлена в палке к индийским делам. Тебе это покажется странным?.. Но поверь мне, любезный лама, что с вами, калмыками-людьми, ей-ей, нет другого средства!

Все удивлялись чудесным свойствам посоха, и многие кенненские пандиды, или богословы, были того мнения, что в него воплотился сам великий Брама, нисшед в его образе на землю для наставления смертных в их обязанностях и чтобы в этом уютном виде вразумительнее действовать на умы и ловче поддерживать человеческую слабость от падения. Кенненские пандиды не знали, что в посохе

Мага-Раджи сидела душа!!. Их толки распространились по обеим сторонам Гангеса и подали повод к известному сказанию священной книги браминов, «Веда», о чудесном жезле Мага-Раджи Нараянпалы, подаренном ему богами, при помощи которого узнавал он в точности обо всем происходящем в его владениях*.

Но между тем дерево сохло, и его мочки сжимали меня в недрах своих жесточайшим образом. Я приходила в отчаяние, не зная куда деваться, и надобен был другой случай, чтоб спасти меня от подобной пытки. Этот случай не замедлил представиться. Мага-Раджа поймал визиря своего на грехе — когда он прятал в карман огромную взятку! — и срезал его по спине так крепко, что машина для искоренения греха переломилась пополам. Пользуясь этим, я выскочила из дерева и явилась перед судом Хормузды. Святой мудрец сделал потом для Мага-Раджи другой посох, но тот уже не производил вожделенного действия: в нем не было души!..

Лишь только Хормузда увидел меня, он вскричал с веселым расположением духа:

— А!.. дубина!.. *менду-амор*! (добро пожаловать!) Ты славно действовала на земле! Могущественный из могучих, великий Шеккямуни, чудеса рассказывал мне о твоих подвигах: он говорит, что если б у него было вдруг десять таких душ, оправленных дубовым деревом, он мигом искоренил бы грех на земле. По несчастию, в «Книге Судеб» написано, что подобный твоему случай еще не скоро наступит!.. Я буду о тебе помнить.

Повергнутая проказами своенравного тегри в такое незавидное положение, каково было мое на земле, в простой деревянной палке, признаюсь, я никак не ожидала, чтобы вдруг нашлось за мною столько и таких великих заслуг в небе. Но вот что значит быть палкою при делах вселенной! Мудрость великого Шеккямуни неисповедима!.. Все находившиеся в судилище души были изумлены необыкновенною ко мне приветливостью сурового Хормузды: они уже смотрели на меня как на духа, который скоро может быть произведен в тегри и причислен к разряду божеств. Многие кланялись мне в пояс, льстили, превозносили прочность, основательность, высокую ударную силу, удивительное уменье дубить кожи и другие добродетели дубового леса и старались заслужить мою благосклонность,

---

* Странная эта сказка находится в XIII книге Веды и в Пуранах. Нараянпала жил около I или II века нашей эры.

чтобы по моей рекомендации, при моем великодушном покровительстве как-нибудь попасть в собак. Я сделалась важным лицом на Эльбурдже.

Как ни расположена я была к благодеяниям на пользу этих несчастных, но мне казалось, что прежде всего должна я подумать о себе, и при первом удобном случае представила Хормузде свое желание быть определенною в собаки. К крайнему огорчению, небесный судья нашел меня слишком честолюбивою и высокомерною, присовокупив, что я еще недавно поступила в деятельные души вселенной, мало знаю психологическую службу и не имею права вдруг требовать для себя такого высокого места. Однако ж он обещал, что со временем окажет мне эту милость, а между тем, как через несколько дней должен родиться на земле весьма значительный исторический человек, то за отличие пошлет меня жить в его теле.

Таким образом, из дубины перешла я в знаменитого человека. Голова его была устроена по старинному плану славных исторических голов: череп толстый, мозг мягкий, без всякой упругости, как будто нарочно сделанный для того, чтобы любимцы удобнее рисовали по нем пальцем свои понятия и виды; множество органов для производства шуму в свете и изумления в людях; никаких почти орудий для выделки собственных своих мыслей и сверх того пропасть пустого места на складку самолюбия и гордости. Поселясь в этой голове, я непременно желала действовать на славу, чтоб оправдать доверие Хормузды и заслужить дальнейшую его милость. По несчастию, я была ужасно упитана крепким сыромятным духом дерева, в котором жила прежде, и когда ввели меня в управление головою знаменитого человека, я вышла настоящая дубина!.. Я не умела и ступить; я чувствовала свою неповоротливость, леность, неловкость, тупость — а тут нужда велит непременно быть знаменитою!.. а тут надо изумлять свет своими подвигами, потому что в «Книге Судеб» написано, что мой человек должен называться на земле великим!!. Я металась, напрягала все силы, мучилась и ничего не могла произвести. Наконец, с отчаяния, не зная, что делать, я закрутила одним разом всеми органами исторической головы. Вдруг от общего движения мозговых колес произошел в ней страшный шум; он отразился грохотом по всем пустым головам, стоявшим к ней поближе; глупости и события градом посыпались из нее на общество; люди перепугались, остолбенели и выпучили на нас глаза, не понимая, что это значит и что о том думать. Я и сама перепугалась; но про-

ныры, мигом сбежавшиеся отвсюду на ловлю поживы в поднятой мною суматохе, проворно подобрали все эти события и глупости и объявили людям, что это удивительные дела, беспримерные подвиги — и свет впопыхах признал нас знаменитыми. Он, может быть, скоро опомнился бы и, приметив, что я крепко пахну дубиною, на другой день лишил бы нас прав этого лестного звания; но поэты и современные историки не дали ему времени оглянуться, ни перевести дыхания; засыпали ему глаза одами, забили рот биографиями, велели молчать и удивляться, а между тем поскорее записали нас в словарь великих людей, откуда бедный род человеческий теперь и зубами нас не выскоблит. Мы навсегда остались знаменитыми. «Книге Судеб» противиться невозможно!..

Достигнув знаменитости, я полагала, что все кончено и что мне остается только вкушать сладкие плоды славы: я крепко ошибалась в этом отношении. С того только времени и начались мои мучения: я должна была поддерживать свою знаменитость!.. Люди не верили ни уму, ни опытности, ни даже своим глазам и хотели, чтобы моя знаменитость вела их по излучистому пути жизни за руку, как слепого ребенка, чтоб я за них видела, думала, решала и действовала. Это уж слишком для исторической дубины!.. Но, с другой стороны, это ее обязанность: так устроен мир, и великий Шеккямуни должен лучше знать, почему выдумал он исторических людей для рода человеческого. Я не имела покоя ни днем, ни ночью, быв принуждена беспрестанно излагать свои мнения, наделять всякого советами, принимать меры и торжественно судить о происходящем. Но все, что я ни говорила и ни делала, было нелепо. Люди сначала думали, что это знаменито, и благоговели пред моими нелепостями; но проныры, верные спутники и подпоры знаменитости, по которой ползают они, как черви по капусте, которую гложут и желали бы видеть всегда покрытою новыми листьями славы, чтоб опять глодать их,— мои проныры были дальновиднее меня. Они испугались, опасаясь скорого упадка моей знаменитости, и принялись всеми силами толковать мои нелепости в хорошую сторону, прилагать для них остроумные причины, истреблять подлинные об них свидетельства, выворачивать их наизнанку, перелагать на глубокомыслие и высшие взгляды, объяснять, коверкать, запутывать — и когда запутали все так, что и сам черт не открыл бы следа первоначальных форм моих действий и изречений в этой каше лжи, обмана, частных самолюбий и народного тщеславия,

я получила от них рапорт, что материалы для будущей моей истории уже готовы и что теперь можно смело бросить их в лицо отдаленному потомству с тем, чтобы оно списало их себе с историческою точностию, подвело годы и числа, расположило по порядку и, важно рассуждая об них как о несомненной истине, наслаждалось мыслию, что имеет точное понятие о прошедшем.

Обеспеченная происками чужой жадности и чужого честолюбия со стороны слабоумного, но хвастливого потомства — признаюсь тебе, лама Мегедетай-Корчин-Угелюкчи, что я не знаю большей дубины в свете, не могу представить себе ничего глупее, напыщеннее и невежественнее вашего беспристрастного потомства! — утомленная беспрерывными усилиями всегда казаться людям великою, я убедилась, что моя голова не способна к предписанной роли, и, по примеру других исторических душ, взяла к себе в помощь две секретарские души. Они славно умели думать по заданной теме, вырезывать из куска брошенной им несообразности замысловатые узоры и, что всего важнее, ловко скрывать от истории всю истину. Они приняли на свое попечение довести мою знаменитость до определенной меты и обещали исчезнуть сами во мраке ничтожества, чтоб не затмить моей славы. С тех пор я начала отдыхать в голове знаменитого человека и, вероятно, спала бы в ней спокойно и долго, если б он однажды, невзначай, не лопнул от гордости или, как мои секретари уверили историю, от человеколюбия. Но он лопнул, и я преставилась.

Я прибыла на Эльбурдж надушенная самолюбием и воображала себе, что теперь уж непременно буду собакою. Я смотрела с презрением на все души и гордо сгоняла их с дороги, пробираясь к престолу Хормузды. Представь же себе, добрый лама, мое огорчение, когда грозный судья встретил меня этими словами: «Ну, голубушка!.. наделала же ты глупостей на земле! Как ты смела навалить на себя такую кучу греха?..» — Я побледнела. Длинный ряд преступлений, которые пустили мы в историю под именем достославных подвигов, вдруг развернулся предо мною и ужаснул меня своим грязным, кровавым, отвратительным видом. Я ожидала для себя жесточайшего наказания, ссылки в какое-нибудь чудовище пред-адской пещеры, даже обращения в черта, и сочла себя чрезвычайно счастливою, когда из великого человека велели мне только переселиться в блоху. Я немедленно слетела на землю и влезла в это маленькое, веселое насекомое.

Будучи блохою, я обитала в постели одного китайского

мандарина, женатого на молодой красавице и ревнивого, как верблюд. Кожа у мандаринши была прелестная, кровь сладкая, как мед. Я жила прекрасно. Величайшее мое удовольствие состояло в том, чтоб бесить красавицу: всякий вечер она принуждена была встать с постели, подойти к свече и ловить меня у себя под рубашкою. Я прыгала по ее гладким членам; она ловко стреляла в меня пальчиками; я еще ловче ускользала из-под пальчиков и щекотала ее под грудью и вдруг уходила на желудок и, в два прыжка очутясь по другую сторону тела, больно щипала ее сзади. Очень было весело!.. Однажды, гуляя по белой, жирной ножке мандаринши, повстречалась я с другой блохою, молодою, прекрасною, очаровательною в полном смысле слова, и влюбилась в нее без памяти. Страсть моя тронула нежное ее сердце, и мы несколько дней утопали в небесном блаженстве на вышеупомянутой ножке. Но судьба недолго дозволила нам наслаждаться пламенною нашею любовью. Коварная мандаринша поймала мою маленькую любовницу на своем толстом колене и раздавила ее бесчеловечно. Жестокая!!. Я поклялась отмстить ей. Она всякую почти ночь тихонько вставала с постели и выходила в сад — я знаю зачем! — где нередко оставалась по два и по три часа. В первый раз, как после убийства моего бесценного друга ушла она туда по обыкновению, я укусила мужа ее так сильно, что он проснулся. Пробужденный мандарин, не находя жены в постели, встал, пошел в угол, взял свой казенный бамбук и опять лег на кровати. Когда мандаринша воротилась и осторожно подняла одеяло, чтоб занять прежнее свое место, разгневанный супруг схватил ее за руку и стал бить бамбуком изо всей силы, на что имел он полное право по «уставу о десяти тысячах церемоний». Мандаринша кричала; просила его перестать, пощадить ее; клялась, что никогда более не сделает этого, что он уже искоренил весь грех, что она теперь будет любить его и будет ему верна, как в первую ночь по свадьбе. Мандарин не слушал и колотил ее бамбуком на законном основании. Я прыгала от радости по всей кровати.

Китайская красавица догадалась, что, верно, блохи разбудили ее мужа. По окончании расправы, нежно поцеловав мандарина, она предложила ему обыскать постель. Они засветили огонь и, по несчастию, поймали меня тотчас. Я погибла от руки человека, которому оказала такое благодеяние!.. Неблагодарный!.. без меня он никогда б не знал, что он был муж в оленьей шапке!

Пришед в судилище Хормузды, я уже не смела возвы-

сить голоса, чтоб опять проситься в собаки, и с покорным видом ожидала изъявления его воли. Мне суждено было таскаться четыре столетия по телам разных животных за то, что я только сорок лет была знаменитым человеком. Расставшись с телом блохи, я получила назначение в черепаху: она скоро попалась в суп à la tortue*. Потом я жила в теленке, подававшем о себе самые блистательные надежды: его в цвете юности зарезали жестокосердые мясники. Потом сослали меня в осла, в котором вынесла я несметное число ударов дубиною. Кто знает, как долго влачила б я это бремя уничижения, если б однажды в небе не случилось происшествия, которого и сам Хормузда не мог предвидеть. Всесовершеннейший Шеккямуни для своей потехи приказал блаженной Маньджушри в одном, очень темном уголку земли вдруг разлить свет просвещения. Он хотел посмотреть, что люди будут делать, внезапно почувствовав себя просвещенными и образованными; как, протирая глаза, не привыкшие к свету, станут они важничать, дуться, нести вздор и удивляться своему уму. Великий Шеккямуни большой охотник посмеяться!

Богиня грамоты была в ужасных хлопотах: она принуждена была в одно и то же время и учить людей того уголка тибетской азбуке, и водворять у них науки, и заводить академии; делать из них чучелы великих писателей и наперед уже сочинять для них «Историю словесности», которой еще не было. Прибежав на Эльбурдж, когда и я там находилась, она сказала второпях, что уже составила план славного сочинителя, такого именно, какой ей нужен; что даже есть на то у нее в виду один предприимчивый юноша, который уже родился и начнет писать книги, как скоро немножко поучится грамоте; что между тем она откроет подписку на его сочинения, но не знает, откуда взять для него подписчиков. В заключение она потребовала от Хормузды отпуска ей значительного количества душ на составление для него рати благосклонных читателей. Хормузда отвечал с досадою, что эти потехи всесовершеннейшего крайне расстроивают порядок, предписанный «Книгою Судеб», что у него нет других свободных душ, кроме тех, которые видит он в судилище: они вышли из разных тел, как двуногих, так и четвероногих, и даже безногих, и когда ей угодно, она может взять хоть всех их на потребность заготовления читателей для своего сочинителя; но если от этих чтений да просвещений произойдет не-

* черепаховый *(фр.)*.

исправность в животном царстве и нужное для порядка вселенной число скотов окажется неполным, то он наперед просит извинения в том у великого Шеккямуни. Маньджушри возразила, что это не ее дело; что ее обязанность — смотреть за процветанием грамоты и что если б она управляла великою тайною перерождения и переселения, то все эти души, которые Хормузда так щедро отпускает животным, перевела б в членов разных ученых сословий. Она поспешно собрала всех нас в мешок и отправилась на землю.

Проча нас в благосклонных читателей, блаженная Маньджушри наперед выварила нас в маковом молоке, чтоб сделать сонливыми; потом высушила на солнце, как лист бумаги, выгладила тяжелым утюгом эстетики, посыпала чувствительностью и восхищением и распределила по разным младенческим головам. Лет через двадцать выросла из нас страшная туча читателей. Мы читали все, что только попадалось нам в руки; читали, восхищались, плакали, зевали, дремали над книгою и, наконец, спали; потом просыпались и опять читали, и опять восхищались, и опять зевали, и опять... спали, как сурки! Мы не удержали в голове ни одной строки того, что прочитали, но сделали пропасть литературных репутаций, провозгласили множество писак гениями и составили громкую славу словесности, которой все еще налицо не имелось. Мы глотали книги, как пилюли, нисколько не заботясь об их достоинстве; с равным аппетитом истребляли все мысли и все бессмыслицы, набросанные на бумагу; пожирали печатный ум с истинною жадностью саранчи. В обществе появились жаркие споры об изящном, колкие критики, напыщенные похвалы, литературные сплетни и закулисные интриги: словом, все признаки суетящегося просвещения — но просвещение не делало ни малейшего шагу вперед, и всего едва три или четыре книги были достойны чтения. За всем тем мы беспрерывно читали, кричали, прославляли, как будто имея дело с первейшею литературою в мире. Мы отлично исполнили обязанности и звания благосклонных читателей. Блаженная Маньджушри была весьма довольна нами. Она при помощи нашей сыграла такую забавную комедию просвещения для потехи великого Шеккямуни, что могущественнейший из могучих хохотал, как сумасшедший. Более всего насмешил его состряпанный ею славный сочинитель, для которого нарочно произведены мы были в читатели. Он был набитый невежда, но по ее приказанию писал обо всем с удивительною храбростью

и самонадеянностью. Мы ничего не поняли в его сочинениях, которых и сам он не понимал, но уверили всех, что он знаменитый писатель, и те, которые его не читали, были от него в восторге.

Оставив тело читателя, я сбиралась лететь на Эльбурдж, как вдруг была поймана блаженною Маньджушри, которая вбила меня в ученого. Никогда еще не проводила я времени так скучно, как в голове этого человека. Я здесь нашла даже менее для себя занятия, чем в дураке. Ученый муж никогда не вспомнил и не подумал обо мне. Он только набивал свою голову сведениями и свой желудок пищею; желудок не варил пищи, я не могла укусить вязких и безвкусных сведений. Не понимаю, на что и посылать нас в ученых!.. У них довольно было бы повесить на мозгу гири, как в стенных часах, и он ходил бы прекрасно, наматывая на органы бесконечные сведения и качая память наподобие маятника. Один только раз во всю жизнь зашевелилась я в его голове. Несколько человек спорили о науках, и мой ученый стал жарко доказывать необыкновенную важность и пользу предмета, которым исключительно занимался. Наскучив всегдашним молчанием, я вздумала вмешаться в разговор: схватила совесть моего ученого мужа и уже хотела вскричать: «Господа! не слушайте его, он врет!.. Вот собственная его совесть: спросите у нее. Она вам скажет, что и сам он не верит пользе предмета, в котором роется сорок лет!» — Но мой ученый остановил меня на первом слове. Он убедительно просил меня молчать, не делать глупостей, не компрометировать его и его науки и не обнаруживать этой великой тайны, по крайней мере, до тех пор, пока выслужит он себе полный пенсион: тогда позволит он мне высказать откровенно мое мнение о пользе его предмета и даже сослаться в том на его совесть. Я замолчала и легла спать на сведениях.

Спустя два года принесли ему какую-то старинную оборванную книгу, которая, к удивлению, не была ему известна. Он чуть не сошел с ума, достав ее в свои руки, бросился на нее с жадностью голодного обжоры и навалил из нее в свою голову такую кучу засаленных, затхлых сведений, что для меня не осталось ни уголка места. Я поневоле должна была выскочить на чистый воздух. Он умер в то же мгновение ока. Я уже не хотела более возвращаться в голову, стряхнула с себя горькую пыль учености, счистила плесень старых сведений, проветрилась и пустилась в путь на Эльбурдж.

Блаженная Маньджушри тотчас приметила, что я ускользнула из головы ученого ведомства. Она погналась за мною. Я бросилась бежать стремглав от ее когтей. Она употребила всю свою быстроту, настигла меня почти у самой горы, поймала горстью и опять потащила на землю. Я пищала в ее руке, просилась, заклинала ее отпустить меня в суд, говорила, что не хочу быть ученою, что надеюсь быть собакою, что это ужасно — лишать бедные души приобретенных ими заслуг. Маньджушри не обратила никакого внимания на мои жалобы и всунула меня в поэта. Для душ самое опасное дело попасться в ученый приход: это настоящий ад!..

Я была в отчаянии, когда увидела голову, в которой велели мне обитать. Все органы в расстройстве, мозг вверх дном, умственные способности перебиты, перемешаны, разбросаны. Как жить в этакой голове!.. Но что всего более удивило меня во внутреннем ее устройстве, чего не видала я ни в каком другом мозгу,— это чудная оковка понятий: на кончике всякой мысли была насаженная острая чугунная стрелка форменного вида: по-монгольски эти стрелки называются «рифмами». Когда пришлось действовать, я не знала, на что решиться. Которым ни закручу органом, которую ни трону пружину, вдруг летят, прыскают, сыплются такие странные мысли, что — хоть уходи вон из головы!.. Мне стало страшно смотреть, когда этот человек начал еще списывать на бумагу всю эту чуху: я была уверена, что нас сошлют в дом сумасшедших. Списав, он еще разделил ее на коротенькие строчки, ко всякой строчке приплел по одному понятию с форменною риторическою оковкой и пустил ее в свет в этом виде. Будет беда!..— подумала я себе. Но вышло напротив: людям это очень понравилось. Они даже сказали, что весь этот вздор напорола я, что я отразилась в нем, как в зеркале, что, судя по этому вздору, я должна быть удивительна, пылка, сильна, прекрасна!.. Много чести!— я от ней отказываюсь. Эти суждения они по-татарски называли «критикою». Быть может, что это «критика»: я по-татарски не знаю. Знаю лишь то, что о подобных вещах, не понимая великой тайны перерождения, судить невозможно. Ах! если б те, которые пишут критики стихов, имели счастие быть хоть калмыками!..

Правда, этот человек мучил меня ужасно: дразнил меня, тормошил, рвал, выжимал из меня всю чувствительность, жарил меня на огне раздутых мехами страстей, потом купал в чернилах и все просил у меня новых мыс-

лей. Иногда я кое-что ему и подшептывала, но он, распирая мои вдохновения на бумаге своими чугунными стрелками, перетыкая их условными своими понятиями, подбавляя к ним тьму пустых слов и рубя, кроша все это в метрическую окрошку, совершенно уничтожал мое дело и заменял его своим искусством. А люди всё говорили, что это бесподобно, что это наверное я диктую ему такие удивительные вещи! Толкуй же с ними!.. Клянусь честию, моего тут не было и на копейку.

Но видя, что люди такие неугомонные охотники до этой шинкованной чепухи, я перестала совеститься и принялась ворочать изо всей силы рукоятку испорченной умственной машины моего поэта. Ее колеса, жужжа, вертелись каждое в свою сторону, задевались, лопались, засыпали все здание черепа своими осколками. Я не обращала на это внимания. Они ломались, я ворочала; ворочала еще скорее и, наконец, совершенно расстроила его голову. Но зато в короткое время я намолола несколько кулей презабавных мыслей — таких дивных, таких небывалых, острых, рогатых, уродливых, что если б великий Шеккямуни их увидел, он как раз подумал бы, что это опилки греха, и прогнал бы меня в ад. К счастию, он их не приметил, ибо люди мигом расхватали их с неимоверною жадностию, выучили наизусть, стали повторять на торжествах и пирах и не находили слов для выражения своего восторга. Я убедилась, что люди выше всего ценят такие игрушки, которые издают шумные звуки. Одна только вещь удивляла меня в этом случае: почему они, тешась, как мальчики, вырвавшиеся из юрты учителя, погремушками, которые этот человек для них делал, превознося его за то похвалами, называя гением, существом высшего разряда, почти равным великому Шеккямуни, жестокосердно отказывали ему в просьбе о куске хлеба и оставляли его в нищете?.. Но в то самое время, когда думала я о людях, нищете и погремушках, раздался подле меня страшный громовый треск, и голова, в которой преспокойно рассуждала я сама с собою, развалилась, как разраженный о камень арбуз. Я выскочила из нее в ужасном испуге и только тогда увидела, что мой поэт выстрелил себе в лоб из какой-то коротенькой свирели. Он упал на землю; я, покрытая славою, подобно светлому метеору, рисующему огненную черту по лазури полночного неба, взлетела за облака в венце ярких, нетленных лучей.

В этот раз я как-то избавилась преследования бессовестной блаженной Маньджушри и счастливо прибыла

на Эльбурдж. Недалеко от Хормуздова судилища попалась мне навстречу одна знакомая душа, с которою некогда были мы большие приятельницы. Она завела разговор по-монгольски.

— *Менду амор!*

— *Менду амор!*

— Откуда ты, любезнейшая?

— Из поэта. А ты откуда?

— Вестимо, от Хормузды. Была в мудреце; хотела в собаку; взяли в депутаты. Меня — знаешь! — посылают в законодатели по выборам... Что это у тебя сияет так прекрасно?

— Ничего!.. Так!.. Слава.

— Ах, какая хорошенькая вещица!.. Откуда ты ее достала?

— Люди дали, вместо сострадания, которого требовал от них поэт — видно потому, что она дешевле и почти ничего им не стоит.

— Однако ж, хоть дешева, да очень мила!.. Какой блеск!.. Подари мне ее. Не то поменяйся со мною.

— Что же ты мне дашь?

— Дам тебе свой ум: видишь, какой славный, крепкий, прочный, основательный! Я — знаешь! — была в необыкновенном мудреце и ужасно много нажила себе у него ума, который называл он своим невещественным капиталом. А сколько промотали мы с ним этого капиталу по предисловиям, по передним, по пустякам!.. Возьми, душенька, его: он некрасив, без блеска, но он тебе пригодится.

— Но он нужен будет тебе самой. Ведь ты идешь в законодатели по выборам?

— Говорят, вовсе не нужен: там думают наперекор друг другу и рассуждают шариками. Жребий решает, что умно и что глупо. Поменяйся, сестрица!

Я призадумалась. Мне жалко было отдать ей такую блистательную игрушку за какое-то тусклое, бесцветное, летучее вещество; но, рассудив, что блаженная Маньджушри легко узнает меня по блеску и готова опять запрятать в какую-нибудь тяжелую или расстроенную голову, а с умом, при случае, могу даже сказаться не принадлежащею к ученому ведомству, я согласилась на предложение моей знакомки. Она взяла поэтическую славу и пошла сочинять для людей законы, а я, с умом под мышкой, предстала пред Хормузду.

Он тогда был занят головоломным делом: судил душу

одной актрисы, необыкновенной красавицы и кокетки, и никак не мог добиться в ее жизни, где оканчивается комедия и где начинаются собственные ее действия. Душа утверждала, что ее тело всю жизнь играло только комедию, что она ни в чем не согрешила, потому что комедия не грех. Великий Хормузда хотел показать свой ум, разобрал ее поступки и стал в тупик: он сознался, что никогда еще такое многосложное дело не поступало в его разбирательство, и не зная, как решить, решил наугад — переселением души актрисиной в далай-ламу! Утомленный обсуживанием этого казуса, он бросил «Книгу Судеб» и прилег отдыхать на престоле. Тут он приметил меня.

— А, ты здесь?.. Блаженная Маньджушри наконец тебя отпустила?

— Да, великий Хормузда!

— Ну что,— сказал он, смеясь,— весело жить в ученых головах?. Э?

Надобно знать, что великий Хормузда большой враг просвещения и любит на досуге шутить над ученою частию. У него на этот счет есть своя поговорка, которую повторяет он при всяком случае: «Как хотите вы искоренить грех, когда на земле всякой час издается новая книга?»

— Ах, отец мой! — воскликнула я печальным голосом.— Не доведи, господи!.. Я желала бы никогда в них не возвращаться!

— Очень верю,— примолвил он.— Я тоже в подобные головы посылаю души только в наказание. Всесовершеннейший Шеккямуни покровительствует просвещению, утверждая, что грех есть только следствие глупости. В таком случае должно бы стараться об уменьшении количества глупости, разлитой в природе; но как хотите вы искоренить грех, когда на земле всякий час выходит новая книга?.. Сколько лет было суждено тебе обитать в животных?

— Четыреста, великий Хормузда.

— А ты сколько в них обитала?

— Только сто лет, не считая ученой части.

— А по ученой части сколько?

— Сто пятьдесят лет.

— Это считается вдвое,— сказал он.— Я приму тебе эти годы в зачет тех четырехсот. Итак, ты выжила в животных все определенное время.

— Выжила, великий Хормузда!

— Тем лучше. Я не пущу тебя более в исторические головы: ты большая проказница. Но в память того, что ты заслужила, будучи на земле дубиною, мы приищем для

тебя хорошее место, такое, которое даю только тем, кому хочу оказать благодеяние. Веди себя честно и добропорядочно, не плутуй, не финти, не верти так крепко слабыми людскими мозгами, так со временем будешь у меня даже собакою.

Я поклонилась и с нетерпением ожидала следствия исполнения обета, сочиняя про себя самые блистательные догадки о том, какое это могло быть место, которым так дорожит великий Хормузда, что дает его только в виде особенной милости. Он скоро сдержал слово и определил меня — в несчастного! Я немножко удивилась выбору.

Взяв ум под мышку, я отправилась с печальным видом в несчастного. На пути я старалась рассеять себя мыслию, что хотя судьба готовит мне жестокие испытания, по крайней мере, в уме найду для себя товарища, забаву и утешение. Я вступила в младенца, который был записан в книге Хормузды под этим зловещим именем. В день своего рождения он уже был сирота. Его выбросили на улицу в ненастную и холодную погоду, и если б ему не было суждено быть несчастным, он бы вероятно тут же погиб от холода; но сострадание с нежными слезами на глазах поспешило прислонить его к теплой своей груди, чтоб сохранить бедняжку для дальнейших мучений. Юность его прошла в нищете и уничижении. В детских летах он уже обнаруживал прекрасный нрав и отличные способности: все его хвалили, все предсказывали ему счастие, успехи, богатство, но никто не тронулся с места, чтоб помочь ему устроить себе приличное на земле существование. Он боролся с голодом, наготою и пламенною страстию просветить себя всем тем, что только люди знали в его время,— и должен был беспрестанно протягивать к ним руку, моля подаяния — то куска хлеба, то несколько сведений, которые бросали они ему с великодушным презрением и которые глотал он с горькими слезами. Едва достиг он совершенного возраста, как некоторые его сограждане, приметив в нем отличный ум, обогащенный истинною наукою, начали грабить тот и другую с хищностью настоящих еретиков, бусурман, киргизов и, разграбив, бесстыдно выдавать их за свои собственные, а его самого прятать за высоким валом своей гордости и своего невежества. Он чувствовал в себе присутствие драгоценного дара, принесенного мною с неба, и не мог долго стерпеть подобного угнетения: несмотря на свою скромность, движимый чувством своего достоинства и сильный чистотою своих намерений, хотел употребить свой ум от собственного своего име-

ни и явно обратить его на пользу всего общества. Он выступил на поприще и стал действовать умом: тогда только узнала я в полной мере, как бессовестно обманула меня моя приятельница и какой опасный подарок дала я этому бедному, честному, добродетельному человеку!.. Невежество и порок испугались его появления и восстали против него с несметною стаею предрассудков, лютых, алчных, отвратительных, получающих грубый свой корм с их руки и грязным языком своим лижущих развратную их руку. Зависть и пронырство по их приказанию мигом окинули его длинною своею сетью. Клевета, вечно сидящая на их плече подобно обученному соколу, при первом их мановении налетела на него с остервенением, впилась в него своими когтями и нечистым клювом стала терзать его сердце, выдергивать поодиночке его надежды, тормошить его совесть и рвать по кускам его мнения. Гонители тщательно подобрали эти куски и составили из них уродливое обвинение. Все его предначертания, усилия и действия были столкнуты с высоты, на которую возвел их его ум, были уронены и опрокинуты, и каждое из них упало прямо на его голову с огромною тяготительною силою несчастия. Тщетно благородные души старались защитить его невинность, восстановить цену его дарований, утешить его в печали: невежество и порок превратили честные их старания в новые для него несчастия. Вторично спущенная с их руки клевета бросилась на него с удвоенною яростью, и он был объявлен опасным человеком. Смрадное подземелье осталось единственным местом, в котором люди дозволили ему обитать на земле. И когда высшая мудрость исторгла его оттуда, когда, убедясь в его благонамеренности, пожелала отдать ему справедливость и заставить невежество и порок любить и почитать его, невежество и порок кинулись оба вместе целовать его от всего сердца, просить у него извинения, клясться в своей дружбе, обнимать с умилением и — удушили его в своих объятиях. То было одно счастие, которое испытал он на свете, и я давно желала ему кончины, чтоб прекратить и его, и мои мучения.

Я претерпела в нем неслыханное горе: благодаря клевете он был несчастен во всех обстоятельствах жизни — в своих предприятиях, чувствованиях, надеждах, в дружбе, любви, супружестве и даже в детях своих. Удушив его, невежество и порок пошли еще за его телом на кладбище, чтобы ядовитыми, купоросными своими слезами оросить, запятнать и пережечь чистую его память, чтоб поругаться

адским своим состраданием над его бедною могилою. Они имели дерзость сказать, стоя на его прахе: «Конечно! Он был человек добрый и честный, но его ум был дурак. Если б ум его был умен, то сидел бы смирно, не вмешиваясь ни во что, не обнаруживая даже того, что он живет на свете, и отвечая на все: «Мое дело сторона!»

Ах, негодяи!..

Я так была огорчена воспоминаниями об ужасных, беспрерывных страданиях, которые безвинно навлекла на него своим подарком, что по его смерти тотчас сгребла в охладелой голове весь ум до последней крошки и унесла его с собою на Эльбурдж, решаясь отыскать мою коварную приятельницу и бросить ей его в лицо, с кучею самых сердитых монгольских ругательств. Хормузда принял меня очень ласково. Он расхвалил меня при всех за мое поведение, за мою терпеливость, скромность, преданность воле судьбы и множество других добродетелей и объявил, что теперь непременно определит меня в собаку, благороднейшее создание в мире после далай-ламы и трех великих хутухт, достойное по своим высоким качествам того уважения, которое оказывают ему все просвещенные кочующие народы. Я была в восхищении и с торжественною осанкою принимала поздравления подсудимых душ, которые, скрытно завидуя моему счастию, встречали меня приветливыми словами: «О м-м а-н и-б а д-м е-х у м!» — и подносили таинственные лотосовые цветы или винно-ягодные листья. Для полного моего блаженства недоставало только, чтоб моя приятельница тоже явилась ко мне с поздравлением и чтобы я, принимая от нее лотосовый цветок, невзначай треснула ее по лбу своим умом и сказала: «*Этси гени маха иде*!» — «Ешь тело твоего отца, плутовка!» Но я сведала, что ее не было на Эльбурдже: законодатель по выборам, в тело которого она отправилась, умер скоропостижно, объевшись министерских трюфелей, и она была приговорена Хормуздою к переселению в ворону. Известно, что вороны живут вдесятеро долее против законодателей по выборам, лет по триста и по четыреста: итак, не было никакой надежды скоро увидеться с нею на Эльбурдже. Я вздохнула, подумав, что моя блистательная поэтическая слава сидит теперь где-нибудь на мертвом осле и клюет обезглавленную женщину!..

Мне было обещано место в собаке; но я не обратила внимания на то, что Хормузда, произнося это благосклонное решение, прибавил к нему обыкновенную свою фразу: «буде не встретится никаких законных тому препятствий».

С первого взгляда она кажется совершенно справедливою, но, в сущности, большая часть неисправностей, случающихся во вселенной, ей должна быть приписана. Спустя несколько недель я напомнила Хормузде об его обещании.

— Погоди, матушка!..— отвечал он мне с нетерпением.— Есть законное препятствие. Теперь осень, а собаки щенятся только весною. Я не могу же нарушить коренного закона природы из уважения к твоим добродетелям!..

Нечего сказать: в этот раз препятствие было совершенно законное!.. Я решилась терпеливо ожидать весны. Я искала развлечения в прогулках по волшебным рощам Эльбурджа, вечно завешанного пышным покрывалом пахучих и неувядающих цветов, и дважды в месяц являлась в судилище Хормузды, чтоб напомнить ему о себе. Мне было тяжело таскать с собою повсюду свой ум: я хотела как-нибудь спустить его с рук, но никто не соглашался принять его от меня. В одну из моих прогулок подошла ко мне знакомая душа и стала прощаться со мною: ей велено было отправиться в слона.

— Прощай, родная!— сказала она грустно.— Теперь не скоро увидимся мы с тобою. Ах, какая скука!.. Эти слоны живут так долго, так долго!.. как богатые тетушки!..

— Но они весьма благородные животные,— примолвила я.

— Что пользы просидеть три столетия в благородном скоте! — возразила душа.— Между тем, нет никакой надежды на повышение...

— Но говорят, в слонах очень весело жить душам,— заметила я,— они чрезвычайно умны, основательны, степенны... Вот, знаешь ли что такое? — я тебе дам славную игрушку! Будешь, по крайней мере, иметь чем забавляться в течение этого времени. На! возьми это!..

— Что это такое?.. Ум! — вскричала она и расхохоталась.— Ха, ха, ха, ха!.. Кто тебе дал его?

— Одна приятельница.

— Поддела же она тебя!.. Знаешь ли, что это такое? Это... да это самый опасный ум, какой только есть в обращении в одушевленной природе! Все души избегают его, как дьявола. Если которой из них случайно он достанется, она тотчас старается подсунуть его другой, особенно неопытной или вновь вынутой из амбара душе, чтоб только от него избавиться. Умов есть пропасть в обращении, но все они разведены чем-нибудь; а это ум чистый, без всякой примеси. Ты, верно, не знала, что чистый, прямой ум есть самый сильный яд в природе!

— Признаться по совести, не знала.

— То-то и есть! Ума никогда не должно употреблять иначе, как в микстуре. Надо развести его пополам или в третьей доле с глупостью или с лицемерством, или с пенником; но всего лучше с эгоизмом; или слегка разлить его подлостью, не то хоть растворить в шутовстве — тогда он весьма приятен, вкусен, мил и дорого ценится. Но ум чистый, настоящий № 1, без подливки, без соуса — упаси тебя всесовершеннейший от такого мухомора! Как раз отравишь им и себя, и того, в кого переселишься. Не дар, а несчастие!..

— Что же мне с ним делать? Бросить куда-нибудь в куст крапивы?.. Это строжайше запрещено. В собаку идти с ним невозможно: неравно она взбесится от такого крепкого ума... Возьми его, сестрица!

— Шутишь ты, что ли?

— Возьми, голубушка... Ты опытна, проучена, мастерица на всякие уловки...

— Да!.. Конечно! Я живала в сутягах и во взяточниках, и в лисицах, и в греках... Была даже в кухарках и сама ходила на рынок за провизиею. После того была в осле, который потом сделался важным человеком...

— Вот видишь!.. Притом, ты теперь определяешься в слона. У слона голова, как рига: ты куда-нибудь запрячешь его в ней...

— Правда, что места в слоне довольно,— сказала моя знакомка, несколько призадумавшись,— но все-таки... Разве уж развести этот ум зоологиею, чтоб его притупить и сделать безопасным?.. Ну, так и быть! Приятельнице отказать невозможно. Давай мне его!.. Может статься, я как-нибудь вплету его в хобот. Ежели мне удастся это сделать, мы с слоном пойдем в Европу представлять ученую скотину и приобретем в свете лестную знаменитость. Прощай, любезнейшая; не забывай обо мне. Я только для тебя это делаю, что беру такую напасть...

Отделавшись от ума, я так была обрадована, как будто возродилась на свете одним из тридцати трех великих тегри. Весело порхая и припрыгивая, вертясь в воздухе и кувыркаясь по цветам, я направилась к судилищу, где давно уже не бывала. В суде душ было очень немного; посыльные тегри играли под деревом в шахматы, оборотясь задом к собранию; Хормузда читал «Книгу Судеб», не говоря ни с кем ни слова. Я увидела несколько знакомых душ, которые, подобно мне, дожидались с своими заслугами, пока собаки начнут щениться. Они сидели на сим-

волическом фиговом дереве, растущем в виде зерцала перед престолом страшного судьи, и я присела рядком на веточке. Начался новый разговор. Я стала рассказывать им приключения мои с умом: как мне его навязали и сколько потерпела я от него, и как одна плутовка, душа, взяла его от меня, чтоб показать с ним скотские штуки перед образованными людьми. Мои слушательницы помирали со смеху от этого рассказа, который нарочно старалась я прикрасить разными потешными околичностями, как вдруг Хормузда прокашлялся и сказал громким голосом:

— Теперь должен родиться на земле умный человек!

Не расслышав хорошенько, что такое он произнес, я оглянулась на него. Когда опять оборотилась я к своим собеседницам, их уже не было на дереве: они исчезли, как молния, и я приметила, что и прочие бывшие в суде души прячутся и уходят одна за другою. Я удивилась, не понимая, что это значит, и с любопытства вскочила на верхушку дерева, чтоб удобнее видеть происходящее. Хормузда приподнял голову, провел суровый взгляд по судилищу и грозно закричал играющим тегри:

— Что ж вы сидите, мифологические скоты?.. Вам говорят, что теперь очередь родиться на свет умному человеку!

Тегри сорвались с места. Они небрежно поглядели кругом себя, и один из них, подходя к престолу судьи, сказал:

— Великий Хормузда — да усилится порядок Вселенной от вашего благоразумия! — долгом считаем представить для пользы вашей службы, что для умного человека нет ни одной души в небе. Не прикажете ли доложить о том могущественнейшему из могучих и попросить об отсрочке появления умного человека в мире до удобнейшего случая?

— Ах вы, мерзавцы! — закричал он на весь Эльбурдж,— неужто не видите, что душ много, но что они уходят? Ловите их!..

Тегри бросились за бегущими. Они долго гонялись за душами по воздуху во всех направлениях и ни одной не захватили. Прежний оратор опять явился с докладом:

— Великий Хормузда! Смеем донести для пользы вашей службы, что никак нельзя их поймать. Они спасаются за синее, за горькое море, за мглы, за туманы, где никто их не отыщет. Вы напрасно объявили, кто такой должен родиться. Они смерть боятся быть посланными в умных людей и иметь дело с умом человеческим.

— Не рассуждай, болван! — воскликнул Хормузда.— Сколько раз говорено тебе, что для порядка вселенной

рассуждения строжайше запрещены в нашей мифологии. Ищите мне душ повсюду, не то я вас, байбаки!.. Вот одна!.. вот, вот на дереве!..— быстро присовокупил он, прерывая свои угрозы и указывая на меня пальцем.— Берите ее!.. Берите!.. ловите!.. Уйдет!

При первом его слове я уже удрала с дерева, на котором считала себя в безопасности по глупому доверию к святости его обещания. Но тегри в то же время пустились на меня целой стаей, обложили меня со всех сторон, начали пугать руками и полами платья, ловить, гонять, преследовать. Я бросилась наудачу, ускоряя свой полет изо всей силы и ломая черту его, чтоб утомить их и сбить со следа запутанностью моих движений. По несчастию, так случилось, что тот самый неуклюжий тегри с четырьмя длинными бледными лицами о двух руках и одной ноге, который некогда запрятал меня в желудь и выстрелил им на землю, пошевелясь немножко по воздуху вместе с прочими, нашел эту охоту за душами слишком утомительною для своей лени и остановился отдыхать посреди поприща нашей борьбы. Наскучив глядеть на безуспешные поиски своих собратий, он стал зевать во все рты и раскрыл их широко на четыре ветра. Увертываясь между поимщиками, которые отвсюду протягивали ко мне тучу рук и пальцев, я все еще летала, но почти уже не видала света перед собою. Чтоб от них вывернуться, не было другого средства, как нечаянно кинуться в сторону низом и выскочить в чистое поле. Я кинулась вниз и попала прямо в один из ртов этого квадратного зеваки. Он вдруг стиснул зубы и, не говоря ни слова своим товарищам, не постигавшим, куда я пропала, пошел на одной ноге к Хормузде. Представ пред его лицо, он вынул меня из переднего рта сложенными в щепотку перстом и указательным пальцем, показал ему издали, как выдернутую из раковины устрицу, и примолвил противоположным ртом,— два остальные рта, левый и правый, были тогда набиты небесными орехами:

— Вот она!.. Никто не мог поймать ее — я поймал Ожидаю подарочка на райский кумыс за свое усердие...

— Ах ты, усердный шут!..— вскричал Хормузда, смеясь над его забавною фигурою, тогда как я вертелась и пищала в его пальцах.— Неси же ее поскорее на землю!..

— Великий Хормузда! — кричала я,— не хочу в умного человека!.. Пощадите меня!.. Вы обещали переселить меня в собаку.

— Обещал, матушка! — возразил он спокойно.— Обе-

щал, «буде не встретится никаких законных тому препятствий».

— Какое же это законное препятствие?..— сказала я с плачем.— Помилуйте, великий Хормузда!.. За что вы меня так обижаете?.. Я не гожусь в умного человека!

— Как так? — спросил судья.

— Да так! — отвечала я ему.— Час тому, не более, что я даже свой ум уступила слону, не предвидя горькой своей участи.

— Нужды нет! — воскликнул он.— Ступай в умного человека.

— Что ж мне в нем делать без ума? — присовокупила я.— Великий Хормузда!.. Ты, который управляешь великою тайною *орчилан* и *хубильган!..*

— Молчать! — закричал он,— и делать то, что приказывают!.. Садись, любезнейший, поскорее на радугу и поезжай с этой плаксой на землю, где и поступи с нею на законном основании. Не забудь внушить ей, чтобы этот человек был непременно умен: не то она увидит!..

— Если б, по крайней мере, мой ум был со мною!..— возразила я жалким голосом.

— Ступай... Можно быть умным и без ума! — примолвил он грозным тоном.

В ту минуту тегри положил меня в табакерку, спрятал ее у себя за пазухой и плотно затянул халат, чтоб я не вылезла: я не могла более сказать ни слова в свою защиту. Умный человек должен был, по книге Хормузды, родиться того же числа; мать его была вдова, и в тот день кончилось ровно семь месяцев от смерти ее супруга. Но мой увалень, тегри, останавливаясь по своему обыкновению у всякого дерева, чтоб рвать небесные орехи, и отдыхая на каждом облаке по нескольку недель, пробыл целых семнадцать месяцев в дороге и пришел со мною в дом вдовы ровно через два года по смерти мужа. Тогда только разрешилась она от бремени умным человеком. Весь город выпялил глаза от изумления: люди заговорили о том как о необыкновенном происшествии, и многие стали кричать против соблазна, против порчи нравов. Что значит не понимать великой тайны *орчилан* и *хубильган!* Если б все люди были калмыками, они отнюдь не удивлялись бы этому и о всяком подобном случае с сокрушенным сердцем сказали бы только: «О м-м а-н и-б а д-м е-х у м!» Более и сказать нечего.

Вот я опять в людской голове и опять в борьбе с человеческим мозгом и, сверх того, должна без ума изворачи-

ваться так искусно, чтоб все сказали, что она умная голова. Задача была необыкновенно трудная: я решила ее очень счастливо. Как скоро мой человек достиг приличного возраста, общими силами начали мы с ним работать на ум. Я играла на его мозговых органах — он врал, льстил, ползал, подличал; я играла далее — он ползал, подличал, отпускал высокопарные фразы и закутывался в непроницаемую таинственность; я играла еще сильнее, еще громче — он закутывался в таинственность и называл всех дураками, и твердил с неподражаемою уверенностью, с глубоким торжественным убеждением, что у него ума пропасть, что он не знает, куда его девать, что он лопнет от ума, ежели не поделится им с другими. Я все еще играла; он все твердил то же, так что наконец все головы наполнились звуком нашего *дуо,* весь город зашумел музыкою нашей бесконечной песни. Я сделала ужасного шарлатана; люди сказали: «Ах, какой умный человек!»

Бедные люди отнюдь не догадывались, что не они это говорили, а только их головы, назвученные нашею песнею, независимо от их воли просто повторяли собственные наши слова, как пещеры повторяют эхо. Но как эти слова выходили из их уст, они принимали их за голос своего убеждения, и мы с человеком прослыли у них удивительными умницами.

Продолжая разыгрывать на ловкой клавиатуре моего мозга обыкновенные вариации той же темы, которые всякий день возбуждали в людях большее и большее от нас восхищение, я думала про себя о Хормузде и его книге и говорила: «Из чего же он бьется?.. Да этаким образом все люди, записанные у него дураками, если захотят, завтра же будут умными, вопреки его судьбам!» — Но я еще не знала трудностей ремесла. Мы уверили Китай — то было в Китае,— что знаем все языки, которых никто не знает, понимаем все ремесла и искусства, съели собаку во всех науках и одни обладаем «великою тайною», как без денег сделать китайцев счастливыми. Впрочем, у нас все было тайною: тайн наделали мы у себя столько, сколько на свете считается языков, ремесел, искусств и наук,— и играли с людьми в тайны, и всегда людей обыгрывали. Люди непременно хотели добраться до кладовой наших необыкновенных познаний и даже несколько раз невзначай в нее вторгались, но мы всегда счастливо увертывались с пучком наших тайн, который называли умом: увернемся и еще вновь, ослепим им глаза, ловко ворочая пучок под самым их носом, в таком, однако ж, расстоянии от глаз и ото рта, чтоб они

не могли ни запустить в него своих взоров, ни схватить его зубами. Это было очень забавно, но крайне утомительно: мы принуждены были окружить себя бесчисленными предосторожностями, сидеть на предосторожностях и спать на жестком тюфяке из предосторожностей. У нас заболели бока. Неприятное наше положение перешло даже в опасность, когда простерли мы шарлатанство до обещания нашим согражданам сделать их счастливыми без денег. Сограждане навалились на нас целым народом, со всею тяжестью людских мечтаний о счастии, со всею жадностью голи, облизывающейся перед надеждою. Поневоле надобно было сдержать обещание. Мы торжественно приступили к делу, взяв наперед с них клятву, что они будут в точности исполнять наши наставления. Но как тут быть?.. Чтоб спасти свою славу, не было другого средства, как подняться на уловки. Мы придумали бесподобную. Китайцы тогда носили широкие красные шаровары: мой человек преважно объявил им, что они несчастны единственно оттого, что у них шаровары красные. Они изумились; но, подумав немножко, воскликнули:

— Правда!.. Он прав!.. Мы искали счастия повсюду, во всех обстоятельствах и условиях жизни, а о шароварах и не думали. Ведь мы обыскали все уголки нашего быта: так ли?.. Да! Ну, там счастия нет?.. Нет! Следственно, если оно есть на свете, то не инде, как в шароварáх, там, где мы его не искали. Вот что значит ум!.. Виват, умный человек!.. Ура, умный человек!!. Десять тысяч лет умному человеку!!!

Первое действие комедии увенчалось полным успехом: мы торжествовали и между тем обдумывали план второго и третьего.

— Что же прикажешь делать? — закричали китайцы моему человеку. — Если мы несчастны оттого, что наши шаровары красны, мы перекрасим их в зеленые или синие и будем счастливы.

— Сохрани вас от этого дух великого Кун-дзы*! — сказал человек. — Вы не понимаете дела. Напротив, все человеческое счастие состоит в красной краске: на свете нет без нее счастия. Без красных шароваров вы не можете быть счастливыми; если же вы теперь несчастны, то потому, что у вас есть красные шаровары.

— Как же это? — спросили они. — Мы не понимаем.

— А!.. в том-то и тайна! — воскликнул человек. — Но я вам ее растолкую. Слушайте со вниманием. Счастие

---

* Конфуция.

состоит в красной краске. Но у вас нет своей краски этого цвета: вы получаете ее из Авы. Должно знать — то, что я теперь скажу, по сю пору также было тайной, которую один я постиг и один знаю — должно знать, что эта краска имеет то свойство, что когда перевезут ее в другую землю, она все счастие из этой земли перетягивает в Аву. Вот почему Ава так счастлива и почему вы страждете бессчастием. Понимаете ли теперь?..

— Понимаем!— отвечали они.— Но, таким образом, мы всегда будем несчастны?

— Конечно! — отвечал он.— Вам суждено быть несчастными, и не будь у меня ума, вы вечно были бы такими. Но я нашел средство извлечь вас из этой пропасти. Вся тайна вашего благополучия заключается в том, чтоб найти красную краску у себя, дома, на своей земле, и не привозить ее из Авы. Тогда все ваше счастие, которое теперь переходит туда, осталось бы в пределах Китая, и вы были бы счастливы, как некогда Кун-дзы, постигнув *тун,* или закон ума. Но вы никогда не найдете у себя этой краски, хотя давно ее знаете. Без меня вы ничего не сделаете, потому что не понимаете тайн ремесла. Вот она! Видите ли эти бурые зернышки?.. Это красная краска, природная китайская, отысканная мною с большим трудом и невероятным искусством на собственной вашей земле, в собственных ваших карманах. Когда в Поднебесном государстве все шаровары будут выкрашены этою краскою, тогда оно и вы с ним будете совершенно счастливы и поблагодарите меня за свое блаженство.

— Давай же нам эти зернышки! — вскричали китайцы в восторге.— Мы тотчас перекрасим ими все наши шаровары.

— Постойте!— возразил мой человек.— Надо во всем поступать умно и рассудительно. Сделайте наперед опыт на нескольких шароварах — вот вам пять фунтов бурых зернышек! — и через два года придите сказать о последствиях. Увидите, что мигом почувствуете себя счастливыми.

Они с радостью приняли от него краску и пошли мочить в ней свои шаровары. Мы отделались от их жадности к счастию и, пока вышел срок опыту, были предметом общего обожания несчастных. Но два года проходят скоро, и по истечении срока ожидали нас новые заботы. Благовременно готовясь к этому времени, мы исходатайствовали от палаты церемоний нужные нам повеления и смело явились с ними на поприще. Китайцы прибежали огромною тол-

пою, крича в отчаянии, что краска никуда не годится, что они выкрасили ею две тысячи шаровар, носили их целые два года и ничуть не стали счастливее; что они даже несчастнее прежнего, ибо цвет выходит тусклый, грязный, и китаянки не хотят любить их в этих гадких шароварах.

— Я наперед знал это,— спокойно отвечал им человек,— и скажу вам, отчего оно происходит. Если цвет выходит грязный, то причиною тому название этой краски. Вы именуете ее *чен-чен*, не правда ли?.. Это имя слишком бесцветно, некрасно, а вы должны знать, что на свете все зависит от названия. Та же самая краска будет гораздо лучше, светлее, ярче и составит полное ваше счастие, когда я исследую, откуда взялось нынешнее ее название, и придумаю для нее другое, приличнейшее. На то нужно мне три года времени. Пока я это сделаю — вот вам ярлык палаты церемоний! — все без изъятия в целом Поднебесном государстве должны вы без церемонии скинуть с себя опасное платье, которое пожирает ваше счастие, и ходить эти три года без шаровар.

Китайцы остолбенели и в остолбенении сняли шаровары, ударив трижды челом перед ярлыком. Весь Китай, уподобляясь несметному стаду обезьян, представлял самое уморительное зрелище, но мы даже не улыбнулись: мы постоянно сохраняли важный вид, писали длинные рассуждения о названии краски и доказывали числами, что этим путем китайцы неминуемо достигнут счастия. Наплутовав, надув, наклеветав, наделив многих простудою, разорив других и прибрав к себе все, что только оказалось удобоприбираемым, мы невзначай окончили земное наше поприще, а Китай все еще разгуливал без шаровар.

Мой человек был похоронен с большими почестями. В речах, произнесенных над гробом, расхваливали его необыкновенный ум и высокие дарования; но никто не заплакал на погребении умного человека.

— Ну, напроказничала ты, голубушка! — вскричал Хормузда, увидев меня на Эльбурдже.

— Великий Хормузда!— сказала я с тем смелым и бесстыдным видом, с каким мой человек и я уверяли всех на земле в нашем уме,— великий Хормузда, я исполнила ваше поручение и поддержала вашу честь между людьми. Не дав мне ума, вы послали меня в человека, который по вашей книге долженствовал быть умным, и я сделала все, что могла, чтобы люди не сказали, что «Книга Судеб» великого Хормузды врет как календарь. Без ума нельзя лучше моего представлять умного человека. Надеюсь, что

вы приличным образом наградите меня за мои подвиги.

— Да!.. Я награжу тебя приличным образом! Поди в змею! Слыханное ли дело, этих бедных китайцев, которым всесовершеннейший Шеккямуни особенно покровительствует, которых называет он своими баранами, заставить ходить три года без шароваров в ожидании счастья!

— Великий Хормузда, вы обещались...

— В змею, плутовка!.. Убирайся поскорее отсюда! Снесите ее в змею, которая завтра поутру родится в большом болоте под № 178 779 998 519 766 321.

Все мои заслуги, все надежды пропали безвозвратно! Из умного человека без ума я перешла в змею и с досады жалила беспощадно тех, которым недавно льстила и которых обманывала. Я сделалась пугалищем всего болота: свиньи, коровы, люди не знали, куда деваться от опасной змеи, которая никому не прощала, которая для потехи метала смертию в прохожих и находила удовольствие приправлять их кровь ядом, чтоб придать более вкуса земному их существованию в болоте, в северной мгле и в глубоком снегу. Однажды свиньи того околотка ополчились на меня и хотели непременно поймать меня и съесть; но я проворно пробралась между их ног и переползла в другое болото, где тоже распространила ужас своим появлением.

Подле этого болота жил один смиренный муж, пред которым благоговели все жители той страны. Он беспрестанно толковал им о превращениях Будды, о переселении душ, о созерцании, о добродетели, о презрении мирских благ. Несмотря на сильное желание укусить его, я была прельщена смиренною и благочестивою его наружностью так, что стала ползать в его дом, чтобы из темного уголка, заваленного сором, любоваться на его добродетели. Он отзывался о змеях весьма невыгодно и сравнивал с ними грех, золото, женщин и много других прегадких вещей. Я не только не гневалась на него за эти ругательства, но еще — до такой степени обворожил он меня своим взглядом! — но еще подтакивала ему своим шипением и кончила тем, что мне самой опротивело звание змеи. Смиренный муж часто говаривал своим слушателям, что некогда сам он был мерзким, ужасным, отвратительным грешником; но, узнав всю гнусность греха, всю суету мира, принес покаяние и обратился к небу. Воспламененная сладким его красноречием, я поклялась оставить веселое ремесло кусать людей жалом и пожелала сделаться, подобно ему, — обращенною змеею.

Змеи, как то известно тебе из Ганджура, одарены чу-

десным свойством проникать взором все предметы насквозь: потому-то они и считаются умнейшими тварями в природе, хотя ума в них, право, не более, чем в твоей голове, мудрый лама Мегедетай-Корчин-Угелюкчи! При помощи этого свойства я легко приметила, что когда смиренный муж с жаром толковал людям об их душе и высоких ее качествах, его душа, находя этот предмет для нее незанимательным, обыкновенно уходила из головы на прогулку и лазила по чужим карманам или забиралась за пестрые, прозрачные платочки его слушательниц, чтоб играть с их беленькою грудью и щекотать их под сердцем. Я решилась сыграть с ней штуку. Однажды, как он разгорячился, говоря о своем предмете и душа его неприметно ускользнула со двора, а моя змея широко разинула рот, чтоб не потерять ни слова из поучительной его беседы, я вдруг выскочила из змеи и с кучи сору перепрыгнула в его голову. Он, ничего этого не зная, продолжал увещевать грешных и предлагал обитаемую в нем душу за образец всего прекрасного, чистого. Почтенный муж!.. Мне хотелось смеяться. Он не знал, что его душа в отлучке и что я здесь! Никогда еще змеиная душа не была отрекомендована людям так усердно и лестно.

Между тем воротилась и его собственная душа. Недостойная!.. Покинув такую святую плоть, она где-то таскалась по совестям слушателей и пришла назад, обремененная множеством соблазнительных тайн. Так-то люди часто не знают собственной своей души!.. Я не пустила превратной хозяйки в дом, оставленный ею без присмотра. Она хотела насильно пробраться в рот, в ноздри, через уши: я отвсюду преградила ей путь, шипя на нее сердито, и советовала ей «буде угодно» поселиться в змее, которую бросила я мертвою там, в уголку. Делать нечего! она пошла в змею, и с тех пор я более ее не видала.

Завладев телом святоши, я была чрезвычайно довольна своей судьбою или, лучше сказать, своей хитростью. Я не сомневалась, что посредством этого человека заслужу себе благосклонность неумолимого судьи и буду, наконец, собакою. Увы! жестоко ошиблась я в своих расчетах. То был ханжа!.. Пропади ты, бездельник! Не только людей, ты обманул даже меня, змею, самое проницательное создание в мире! Прошу же теперь верить смиренной наружности!.. Я нашла в нем такую пропасть злых, беспокойных страстей, что не имела от них покоя ни днем, ни ночью. Я не могла поворотиться в голове, чтоб кругом не замараться сажею лицемерства, зависти, жадности, налипшею на ее

черепе. Он употреблял меня на самые низкие поручения, заставлял ползать, подслушивать, обкрадывать чужие совести, соблазнять хорошенькие женские душеньки и губить доносами те души, которые не верили его святости. Уж лучше было бы остаться в змее!.. Моя предместница, которую осудила я так несправедливо, без сомнения, и рада была поменяться со мною местом: она отлучалась на прогулку по его приказанию!.. Одному лишь полезному выучилась я в этом человеке — представлять вид набожной смиренности и ловко рассуждать о добродетелях.

Целых пять лет терпела я это мучение, терзаемая алчными его страстями, которые следовало еще беспрестанно сторожить и прятать от взоров людей. Я была не в силах выдержать долее, и когда однажды после хорошего обеда ханжа вздумал явиться своим обожателям крайне изнуренным постами, бледным, слабым, умирающим от умерщвления плоти, я воспользовалась случаем, порхнула на воздух и предоставила одному ему играть начатую комедию. Я, может быть, дурно сделала?.. Но, право, не было другого средства отучить его от несносной привычки притворяться умирающим в самую лучшую минуту пищеварения!

Ханжа сам еще не знал, наверное, жив ли он или покойник, как я уже была на Эльбурдже. Я предстала пред Хормуздою с видом глубокого уничижения, тощая, покорная, согбенная, стараясь в точности подражать всем уловкам покинутого мною лицемера. Судья долго смотрел на меня в недоумении, пока решился спросить, откуда я к нему пожаловала? Я отвечала тихим голосом, что пришла из благословенного праха мудрого и святого мужа, который, уповая на милосердие великого Хормузды, умер от беспримерных умерщвлений плоти, чтоб стяжать для меня, души своей, хубильганическую награду.

— Ведь я послал тебя в змею? — сказал изумленный моею набожностью Хормузда.

— Благоговея пред мудростью великого Хормузды, я не смею разбирать непостижимых судеб ваших и не знаю, куда вы меня послали,— примолвила я еще с большим смирением,— но я была в святом человеке, который наполнил вселенную славою своих добродетелей и неусыпно старался об искоренении греха. Он провел всю свою жизнь в молитве и умственных созерцаниях, избегая сует мира, и в минуту своей кончины молился о доставлении мне, недостойной рабыне всесовершеннейшего

Шеккямуни и вашей, благ, обещанных добродетели и ревности к далай-ламской мифологии...

Я так искусно представила святую, что, наконец, Хормузда был растроган и прослезился от умиления. Он, однако ж, не доверял своим глазам и велел еще подать ревижскую сказку о всех душах вселенной. По ревизии я тоже была показана змеею. Надобно было употребить все уловки ханжества, чтоб убедить его, что это ошибка. Он признался сам, что ему редко случалось видеть столько святости в душе, исходящей из тела светского человека; что я рассуждаю о духовных делах весьма тонко, не хуже всякого хутухты; что даже имею все признаки совершенного буддаического благочестия; но никак не мог вспомнить, когда определил он меня в святошу, в которого именно и за что. Облокотясь на «Книгу Судеб», он подпер лицо руками и погрузился в думу. Я читала в глазах его сомнение, соединенное с удовольствием, которое порождал в нем вид моей необыкновенной святости.

— Отчего ты так замарана, как будто сажею?

— Это людская клевета, великий Хормузда! — отвечала я, повергаясь пред его престолом с беспредельною покорностью.

— Люди всегда бывают несправедливы к верным поборникам нашей славы! — воскликнул он умильным голосом и опять призадумался; потом спросил: — Какой награды желаешь себе, честная душа?

— Желала бы быть собакою, великий Хормузда, — отвечала я с благоговением.

— Тегри, сведи ее в собаку! — сказал он одному из своих посыльных духов. — Кстати, открывается вакантное место в одном щенке в степи, близ берегов Яика.

Я ударила челом. Тегри преважно взял и положил меня в свой колпак, который потом надел он на голову, и мы отправились на землю. Сидя в колпаке, я размышляла о добродушии наших мифологических богов, которых первый искусный ханжа так легко может надуть притворным благочестием, и с восторгом углублялась в свою блистательную будущность. «Теперь я буду собакою, — думала я про себя, — из собак прямое повышение в хутухты, а там далее, в тегри. Сперва, конечно, придется быть посыльным, как этот мешок, который так медленно тащит меня на землю; но я скоро отличусь проворством и поступлю в разряд высших божеств, и у меня будет свое капище и свои истуканы, и калмыки станут молиться мне, как молятся прочим кумирам. О, когда у меня будет капище, я поста-

раюсь услышать молитвы всех тех, которые захотят ко мне адресоваться!.. Уж, верно, не стану даром съедать их жертвоприношений, подобно нынешним нашим богам, и обманывать надежды бедных поклонников!.. Таким образом я скоро прославлюсь первым божеством в мифологии, и сам Хормузда еще простоит у меня в передней...»

Я построила бы в колпаке полную модель моего величия, если б тегри не снял его с головы в ту минуту. Посланец Хормузды торопливо вынул меня из-за подкладки и вколотил в какую-то голову, не дав даже мне времени опомниться, ни оглянуться. По внутреннему ее расположению я тотчас приметила, что это голова не собачья. «Что ж это такое? — подумала я.— Это, никак, людская голова?.. Точь-в-точь людской мозг! Ах он негодяй!.. Куда он меня забил?..» — Я хотела тотчас выскочить из нее, но усомнилась, потому что женщины с почтением называли его собакою. Приведенная в недоумение этим обстоятельством, я немножко задержалась в голове, а между тем тегри удалился. Я была в отчаянии. «Мои надежды! Мои истуканы! Мои величественные капища!.. Все исчезло в одно мгновение ока! Где я теперь?.. Что эти бабы врут? Какая это собака?.. Это человек! Я пропала! О, я несчастная!.. Меня опять сослали в людскую голову!..» — Однако женщины, а за ними и мужчины, как будто в насмешку над моею горестью, не переставали с глубочайшим благоговением величать меня собакою. Многие из них кричали во все горло: «Виват, собака! Ура, собака! Да здравствует наша собака!» — Моя горесть увеличилась еще изумлением и гневом, но загадка скоро объяснилась. Что ж вышло? Бездельник-тегри, не расслышав приказания великого Хормузды или ленясь отыскать подлинную собаку, в которую собственно была я назначена, принес меня к берегам Яика и всунул в голову родившемуся в ту минуту Собаке-хану, повелителю Золотой Орды, известному в истории под двумя однозначащими с названием этого животного именами, монгольским *Ногай-хана* и татарским *Копек-хана.* И я, по странному стечению обстоятельств, попалась не в ту тварь, в которую следовало, а в ее однофамильца. Вот как исполняются неисповедимые приговоры судеб!..

Так мне пришлось управлять людьми вместо того, чтоб спокойно лежать у ворот двора или бегать за стадом баранов на пастбище. Я предвидела ожидающие меня заботы, я чувствовала свою неспособность и предавалась унынию. Но время исцеляет все скорби, прикладывая к ним спасительную мазь забвения. Пока мой Собака-хан, или, как тог-

да все его называли, Копек-хан начал внятно говорить по-татарски, я совершенно забыла о прошедшем и так проникнулась новым своим саном, как будто со времени выпуска моего из кладовой только и делала на свете, что жила в татарских султанах. В продолжение его юности я мечтала о порядке, благоустройстве, правосудии, даже об искоренении греха, но когда вступила в заведование ордою, визирские души постарались отвлечь мое внимание к предметам другого рода. Они всегда твердили мне о могуществе, говорили, что я должна только драться с людьми и думать о славе, и притесняли русских князей и татарских беков, чтоб побудить их к мятежу и доставить мне постоянный случай отличаться победами. Сначала этот род жизни сильно прельщал самолюбие моего Копека́. Он беспрестанно побеждал непокорных, а его визири беспрестанно воспевали его славу и грабили побеждаемых. Но мы скоро постигли хитрость, которой рано или поздно он и я сделались бы жертвами: я велела крепко отколотить визирские души палками по пятам, и неисчерпаемый источник геройской славы мигом иссяк для моего Копека. Тогда приступили мы с ним к великому делу управления родом человеческим.

Нельзя описать, ни исчислить трудностей, с которыми принуждены мы были бороться, хлопот и огорчений, которые окружали нас на этом, усеянном пропастями и изменою, поприще. Мы пытались управлять людьми по всем возможным методам, и никак не могли их удовольствовать. Мы управляли ими с кротостью — они предались бесчинству. Мы употребили с ними великодушие — они воздали нам неблагодарностью. Мы прибегнули к мудрости — они нас надули. Мы постановили законы — они разнесли их на крючках. Мы принялись за строгость — они начали роптать и грозить бунтом. «А бог же с ними,— сказала я Копеку,— не стоит того, чтоб терять напрасно время. С людьми мы никогда не добьемся толку. Лучше пойдем в гарем, к женщинам».— Мы пошли в гарем, составленный нами из первых красавиц средних веков, и, лаская их нежные подбородки, вдруг выдумали копейки — копейки, то есть круглые, некогда серебряные плитки, годные ко всякому употреблению и нареченные нашим благородным именем, собственно не *копейки,* но *копеки,* что значит «собачки». Счастливая мысль зардела в нашем мозгу вслед за этим изобретением. Я сказала Копеку: «Попробуем с людьми еще одно, но уже последнее средство: нельзя ли управлять ими при помощи этих «собачек»?..»

Он сказал: *якши!* — тотчас велел наделать их несколько кулей, и мы опять взяли в руки бразды управления.

Как скоро люди увидели наши новые, светлые, прелестные копейки, они бросились на них с жадностью, походившею на бешенство; они ползали, плакали, приходили в исступление от любви и преданности, от усердия к нам и нашему престолу, чтоб только достать горсть наших «собачек»; они клялись служить нам верно, исполнять наши законы, избегать порока, говорить нам правду и даже веровать в великого Шеккямуни за столько-то копеек в месяц; некоторые предлагали нам своих жен и дочерей, свою честь и жизнь за две копейки одновременно. С тех пор стали мы царствовать в полном смысле слова, управлять людьми с невероятною легкостью и произвольно располагать их сердцами.

Нужна ли нам была добродетель? — за десять копеек приносили ее к нам столько, что мы не знали, куда девать ее.

Требовалась ли нам истина? — за двести копеек все говорили правду, а за двести других клялись, что вся эта истина — ложь.

— Господа! вот копейка!.. Нам понадобился ум. У кого есть ум? — и вся огромная держава Золотой Орды, от Иртыша до Волхова, прибегала к подножию нашего престола, чтоб продать свой ум гуртом за копейку.

За копейки мы имели повиновение; измену также имели мы за копейки. Мы сложили все продажные совести в один куль, из которого высыпали копейки на уплату за них их владельцам, и, дав людям два куля новых копеек задатку в счет снятого ими по торгам подряда на поставку потребного нам количества любви, порядка и послушания законам, поехали охотиться за перепелами. Перепелов в том году было очень мало: мы стреляли ворон, коршунов, воробьев и векш, били баклуши и тешились, как русские девки в семик, не думая более о людях и не опасаясь их страстей. Последние обыкновенно были заплачены нами в целом государстве за весь год вперед, под верный залог жадности и с вычетом пяти процентов в пользу обедневших от честности лихоимцев.

Мы благополучно царствовали таким образом до самой глубокой старости. Люди прославляли нашу мудрость, щедроту и великодушие, порядок процветал повсюду, и мой хан Копек единогласно был провозглашен благодетелем рода человеческого. Тогда люди были еще дешевы и копейки серебряные. Теперь цены на людей и на их чувства

чрезвычайно возвысились: это следствие порчи нравов, роскоши и необузданного мотовства чувствованиями, которые в наше время кладутся горстями даже в щи и в отношения. Теперь и копейки стали медные!.. Это признак быстрого склонения вселенной к упадку.

По кончине знаменитого, незабвенного отца копейки — да озарится могила его неугасаемым светом! — я была очень хорошо принята великим Хормуздою, который, зная уже об употребленном мною подлоге после выхода моего из тела ханжи, не только не наказал меня за подобную дерзость, не только милостиво простил в уважение высоких добродетелей покойного Собаки-хана, но и назначил мне, для прожития, почетное место в природе с обещанием подумать о дальнейшем моем повышении в следующем столетии.

Я была, за отличие, переселена в русского мужика.

Мы жили в бедности, но без хлопот, без страстей и всегда припеваючи. Никогда не была я так весела и счастлива, как в этом здоровом и трудолюбивом теле. Мы беззаботно исчерпали с ним все сладости, все счастия скромного его состояния — и сладость собирать обильные жатвы с поля, возделанного нашими руками,— и счастие купить себе новый армяк за несколько копеек, которые целых три года лежали зарыты в земле,— и роскошь просидеть иногда весь день в кабаке — и блаженство париться в бане — и приятность ходить в лес с девушками за грибами — и удовольствие побывать в далеком извозе.

Одно только счастие оставалось еще не испытанным нами — счастие быть в бегах,— и я пожелала вкусить его при первой удобности. Мы бежали...»

Этим словом оканчивается «Ярлык опасного знания», и более нет ни слова. И все, что в нем содержится, списано мною с точностью, без перемены и прибавки, для пользы и наставления верующих. А почему он назван «Ярлыком опасного знания», о том я, грешный Мерген-Саин, слышал так:

Ехал заседатель степью, с колокольчиком и с переводчиком, и проезжал мимо ламы Мегедетай-Корчин-Угелюкчи — а святой лама, сидя один в степи, спал и писал. И писал не лама, а душа писала его рукою. Почему заседатель с колокольчиком и удивился этому чуду!

Затем я услышал такое слово:

Взял заседатель Ярлык из рук спящего ламы и дал

переводчику, чтобы он объяснил ему писание святого мужа. А переводчик прочитал писание и, не понимая высокого калмыцкого слога, сказал, якобы святой муж, лама Мегедетай-Корчин-Угелюкчи, по этому писанию, есть русский мужик в бегах, якобы делает он копейки в степи. И взяли святого мужа под стражу, и посадили в острог. И приехало в улус несколько сердитых русских мужей с колокольчиками производить по этому Ярлыку следствие об укрывательстве беглой ревижской души и отыскивать копейки, которые сделала она непозволительным образом,— и взяли под арест множество безвинных людей и множество баранов, и наделали много шуму, и не нашли ничего, ибо ничего и не было, и выпустили безвинных людей, а баранов не выпустили. И потому названо это писание «Ярлыком опасного знания».

А в других шастрах повествуется о том иначе. Вот слова «Сказания о чудесной жизни ламы Мегедетай-Корчин-Угелюкчи», сочиненного пандидою Тегрин-Арсланом, который знал все, что есть и что было.

«Пандида Тегрин-Арслан — мое слово есть следующее: что касается до приезда в улус сердитых русских мужей с колокольчиками и до произведенного ими следствия, то это вздор, неправда, история, и ничего подобного не бывало. Это выдумка ламы Брамбеуса. А вот как было. Взяли ламу Мегедетай-Корчин-Угелюкчи за то, что он писал, храпя, и посадили в тюрьму. И отдан был переводчикам Ярлык, который написала душа его во сне, с тем, чтобы они его растолковали. А переводчики донесли, что они прочитали Ярлык и поняли содержание и что в нем заключается воззвание к калмыкам скрытно бежать в Китай. И велено было судить за то святого мужа, но он сотворил чудо и освободился от клеветы переводчиков: после первого дождя сел на радугу, вылетел из острога в присутствии всего Нижнего Земского суда и торжественно уехал в Тибет. А Нижний Земский суд, увидев это чудо, с трепетом принес покаяние за грехи и убедился в могуществе всесовершеннейшего великого Шеккямуни. Все было так, и более ничего не было. Оно и не могло быть иначе. Когда такое высокое писание попадется в руки переводчикам, едва знающим монгольскую грамоту, они неминуемо должны вывести из него небылицу. И вывели саратовские переводчики из Ярлыка о деяниях души святого мужа воззвание к побегу в Китай. А очутись он в руках коварных парижских переводчиков-ориенталистов, они готовы еще сказать, что это письмо от Чингис-хана к знаменитому царю Руа-

де-Франсу, и сочинить о том толстую книгу, по образцу той, какую недавно сочинили о другом подобном Ярлыке. В этом состоит великая опасность, и потому назван он «Ярлыком опасного знания».

О м-м а-н и-б а д-м е-х у м!»

1834

ТУРЕЦКАЯ ЦЫГАНКА

Палатки наши были раскинуты в сенях Крезова дворца, на природной террасе, где стоял некогда царственный Сардис. Горбатый голландец, бывший домовым живописцем у леди Эсфири Стенгоп, который до того скитался между Иерусалимом и Нилом, то сделался существом совершенно восточным, как хаджи или как крокодил; англичанин, метивший в печатные путешественники; смирнский торговец смоквами и опиумом; Еремей, моя вторая тень, мой дядька, мой друг, моя потеха, и, наконец, я — бродили шайкою по Малоï Азии в чалмах и на турецких седлах, раскидывая палатки и варя пилав, где угодно было небу и неумолимому *сюрюджи,* нашему погощику, проводнику и маркитанту.

Я думаю, что в то время отдал бы всю романтическую и историческую славу этого места, отдал бы Креза, Лидию и всю азиятскую Турцию за чистую рубашку и за подушку помягче мраморного обломка; то теперь, как в Петербурге дождь и я сижу в мягких глубоких сафьянных креслах, и передо мной вьется пахучий дым бесподобных trabucos de Havanna* теперь при воспоминании о Сардисе мне кажется, что его развалины не так глупы, как я полагал тогда, и даже не совсем лишены занимательности.

Было четыре часа ленивого летнего после-обеда. Еще около полудня приехали мы в Сардис и после жаркой ссоры о том, садиться ли немедленно обедать или, несмотря на голод, выжидать приличного обеденного времени, деревянная чашка с парою цыплят, погребенных в кургане рису, похожем на Ахиллову могилу, явилась в средоточии мраморного пьедестала. Еремей, который телом походил на обезьяну, а душою на Катона, и горбатый голландец, который телом и душою похож был на лимбургский сыр, уселись на лежащую колонну; остальная часть общества поместилась в высокой траве, которая растет в царских

---

* гаванская трубка *(искаж. фр.).*

чертогах, на останках царей Лидии, и все мы соединенными силами напали на разбухлый рис, и все мы стали рвать бедных цыплят с такою независимостью от закона ножей и вилок, которая сделала бы честь и Диогену. Даже старик Солон, который, упрекая тщеславного монарха, стоял, быть может, у той самой колонны, на которой сидел Еремей,— даже Солон порадовался бы первобытной простоте нашего обеда. Соль была в изорванной театральной афишке, которую голландец содрал со стены в Корфу, чтоб иметь у себя образец новогреческого языка; горчица содержалась в изломанном пороховом рожке; окорок был до половины обернут листом «Оттоманского Монитера», а хлеб, вывезенный за неделю из Смирны и гревшийся по двенадцати часов в сутки в седле нашего *сюрюджи*, лежал там и сям на мраморном столе с признаками тщетных, но упорных нападений на обгрызенных корках. К несчастию, единственная вещь, которую можно было иметь здесь на месте в превосходном качестве и в изобилии, была именно та, к которой никто из нас не чувствовал охоты — вода. Ее принесли в выдолбленной тыкве с берегов «золотого Пактола», который бежал по равнине на пистолетный выстрел от нашей столовой; но, к стыду всего нашего общества, я должен признаться, что толстый кувшин грубого самосского вина, выдавленного ногами пригожих эгейских дев и купленного по грошу за бутылку, гораздо чаще подходил к неклассическим устам честной компании. Теперь я, кажется, отдал бы обед, которым предстоит мне заняться, с трюфелями, с анчоусами и бутылкою лаффиту за то, чтоб стать на колени у этой реки, озолоченной солнцем, и хлебнуть один раз чистой влаги Пактола под небом томной женоподобной Азии. Но когда я там был — так редко узнаем мы счастие, пока оно не миновало,— я желал поскорее очутиться в веселой Европе. *Веселой?* Это что значит? Вычеркнуть *веселой* и написать *шумной!* Веселыми видел я в Европе только тех, которые имели всех больше причины быть печальными,— тех, которые забылись и были забыты светом.

Вне дамского взора и законов хорошего общества самые образованные люди возвращаются под власть естественных побуждений. Еремей откатил мраморную колонну, когда нечего стало есть, и без церемонии лег спать, не отерши даже следов самосского нектара, которого потоки по углам рта придавали ему похотливую улыбку сатира. Голландец поместил свой горб в какую-то рытвину и спрятал голову в высокой траве с таким же послушанием мате-

ри-природе, сюрюджи и смоковник последовали благому примеру; я остался один среди развалин Сардиса и нашего обеда. Блюдо философии, которое изготовилось у меня об эту пору, будет непременно подано моим читателям в моей повести — я намерен писать повесть,— между тем могу сообщить любопытным практическое его применение: так как, или поелику, спанье после обеда есть, очевидно, закон самой природы, то было бы крайне премудро ввести в употребление ложа при десерте. Неужели свет должен вечно ханжить перед произвольными неудобствами!

Большая дорога, ведущая сюда с юга и запада Малой Азии, идет по равнине между высоким акрополем Сардиса и кладбищем покойных царей его. Под храпение пяти разных наций сидел я на камне и считал верблюдов каравана, тянувшегося бесконечною цепью в долине Гермуса. В длинном шествии этих бурых чудовищ по дороге в Смирну страшные ноши, покрытые цветными вязями, колыхались взад и вперед вместе с неровной их походкою; чалмоносные хозяева дремали на маленьких ослах, держа каждый по двадцати их на воле; брянчанье сотни колокольчиков жужжало в знойной атмосфере усыпительнейшим из однообразных звуков; дикие олеандры, тонколистные и рослые, только что достигшие всей красоты своей и покрытые цветом, похищенным с алых уст гурий, разливали в равнинах Лидии отрадную ясность, подобную блеску солнца, когда оно почти приникает к земле; черные козы бесчисленных стад щипали траву на древнем Сарабате и уставляли бородатые морды навстречу легковеющему ветерку; орлы, которых много в горах, вились медленно и без боязни около воздушной крепости, отворившей некогда ворота свои Лакедемонцу, и так же постепенно, как мои читатели терялись в этом исчислении, перед великою картиною, полною настоящим и богатою могучими воспоминаниями, мне нельзя было не заснуть, прислонясь к обрушенному портику Крезова дворца.

Голландец рисовал с меня картинку, когда я проснулся; солнце садилось; Еремей и сюрюджи делали чай. Я, говоря вообще, лицо не очень живописное, но лежа, как дикий араб, у подножия высокой колонны, с белой чалмой на голове и с журавлиным гнездом под головою, я, право, не так дурен, как вы думаете. И как голландец рисовал für Geld, для денег, и надеялся продать свою работу какому-нибудь путешественнику в Смирне, который, конечно, воспользуется этим рисунком, чтоб утверждать в своем дневнике, что он был в Сардисе, и в доказательство представит

маленький вид его развалин, то я еще не отчаиваюсь увидеть себя в литографии. Кстати о картинах: я теперь очень сожалею, что не пригласил тогда горбатого живописца сделать мне очерк Еремея, сидящего на корточках перед огнем с оловянным чайником в руке и об руку с злолицым турком, который поддерживал пламя сухим сирийским терновником. Я представляю себе, как почтенная его матушка, которую оставил он на Валдае, порадовалась бы на своего Ерему, увидев его в бусурманской чалме и со стаканом чаю, сидящего посреди Анатолии!

Четыре стены, бывшие под блюстительством ангела сардийской церкви во дни Апокалипсиса, стояли неподалеку от берегов Пактола и почти на одной черте с дворцом Креза и с рекою. Ионические капители двух изящных колонн разрушенного храма горели еще с одной стороны розовым светом заката, когда полный месяц всплывал на востоке и лил чистое серебро на другую. Два света смешивались в небе в опаловых сумерках.

— Еремей! — сказал я,— можешь ли ты решить, отчего поэты назвали эту речку «золотым» Пактолом? Видал ли ты где-нибудь песок серее этого?

— Поэты, сударь? Да они все лгут! Какой правды ждать от турок?

— И отчего «мутный Гермус» нашли мы вчера самой светлой рекою, какую когда-нибудь переходили вброд?

— Не могу знать, сударь.

— И отчего я не стал пригожее прежнего, хотя купался в Скамандре, как Венера? И отчего пемза в Наксосе перестала возвращать женщинам их девственные формы? И отчего Смирна и Мальта славятся лучшими смоквами и апельсинами? И отчего древний царь лидийский, обладавший кольцом-невидимкой и державший черта в собачьем ошейнике, лежит теперь смирно под землею, а кольцо и ошейник с чертом не перешли к его преемникам?..

Пока Еремей отвечал мне с разными ужимками и оговорками, что он не может знать, о чем я изволю говорить, сумерки становились все темнее, и глаз мой уловил постоянный свет, мерцавший далеко выше нас над рекою. Зеленая ложбина спускалась позади акрополя; одинокая, пасмурная башня рисовалась на ночном небе своими изломами; внизу из мрачной ее тени мелькал, как звезда из облака, таинственный свет.

— Пойдем! — сказал я Еремею, надеясь на верное приключение,— пойдем, посмотрим, для кого теплится лампада в этих развалинах.

— Я буду в ответе перед вашей матушкой,— возразил мой опасливый пестун,— если не напомню вам, Александр Андреевич, что в здешней стороне много разбойников: и кого, кроме их нечистого племени, понесет на такую вышину?

Я уже перепрыгнул через обрушенный архитрав и подымался к башне. Еремей безмолвно пошел за мною.

Мы карабкались впотьмах с большим затруднением, то падая в овраги, то запинаясь за плиты мрамора, за цепкий терновник и чащи кустов. Пробившись таким образом с полчаса, мы очутились на поляне, облитые потом и запыхавшись. Когда я стал говорить Еремею, что мы, быть может, зашли уж слишком высоко, он дернул меня рукою и, сделав знак молчания, одним разом посадил на траву и сам сел подле меня.

В маленьком волшебном амфитеатре, полуобъятом излучиною Пактола и лежавшем на несколько аршин ниже площадки, с которой мы смотрели, стояло шесть невысоких шатров, раскинутых полукружием против изгиба реки: они занимали клочок свежей, росистой зелени, едва ли сажени полторы в поперечнике. Палатки были круглые; в большей из них, стоявшей почти прямо против ложбины, мелькала маленькая железная лампада старого века с горящей светильницею в одном из рожков, а под ней, между двумя столбами, висела плетеная люлька; ее качала женщина, по-видимому, лет сорока, которой красота, если б тут не было чего еще привлекательней, одна вознаградила бы нас за весь труд. Другие палатки были затворены и казались незанятыми, но пола одной из них, на которую глаза наши устремились с жадностью, отдернулась вся, видно для воздуха, и в перемешанном свете лампады и полного месяца явилась босая девочка лет пятнадцати: чудная симметрия ее форм и восхитительная, ей самой неведомая красота движений наполнили всю душу мою чувством изящества. Ростом и сложением приближалась она к юной нимфе Кановы — но с такими очертаниями, с таким ротиком, с такими глазами, что если б сам я создал ее из мрамора и оживил, как Пигмалион, мне не придумать бы ничего лучшего. Широкая восточная завеса, подвязанная кушаком кругом пояса и во всякое другое время скрывающая ее всю, кроме глаз, висела на ней сборами от стана до самых пят, оставляя шею и нежно-округленные плечи совсем нагими; черные как смоль и лоснящиеся волосы лежали на спине длинными и бесчисленными косами и при каждом беспечном движении рассыпались

иначе с легкостью облака. Короткая юбочка из полосатой брусской ткани доставала только до колен, а ниже шаровары из той же материи окружали ее ножки, суживаясь у подъема, где были застегнуты чем-то похожим при свете месяца на серебряную пряжку. Множество колец на руках и большой червонец на лбу, удерживаемый цветным снурочком, дополняли наряд, к которому нечего было прибавить ни живописцу, ни притворной скромнице. Она была в том чудесном мгновении женской жизни, когда каждый наступающий час обещает довершить красу девственной зрелости, как в цветке лотоса.

Она наполняла большой кувшин, стоявший за шатром, водою из Пактола. И когда, возвращаясь с полным сосудом на голове, подошла она к лампаде легкими шагами, чтоб не разбудить ребенка, и кругленькие ее ручки опустили сосуд наземь с напряженной осторожностью, тут и Еремей забылся до того, что толкнул меня изо всех сил, вероятно, чтоб сообщить мне свое восхищение. Безмолвный кивок старшей женщины, которой греческий профиль повернулся к нам при свете лампады, дал знать милой водоносице, что труды ее кончены. С жестом, выражавшим, что ей жарко, сняла она покрывало с пояса, развязала юбочку и бросила их в сторону; потом выпрыгнула на месяц в одних шелковых шароварах, села на берегу ручейка, поставила ноги в воду и, склонив голову на колени, приняла вид неподвижного мрамора.

— Канова непременно видел ее в этом положении! — невольно сказал я про себя.

— Не могу знать, сударь,— отвечал Еремей, думая, что я его спрашиваю.

Да! он должен был ее видеть, когда месяц глядел на ее полуматовую спину и когда чуть не блестящие ее волосы рассыпались по ней, как пук растений! И эти тонкие пальцы, сплетенные на коленях, и этот меланхолический покой, которым дышит ее положение и который, кажется, неразлучен с беспечными азиятцами!..

— А по-моему, так она, верно, цыганка,— сказал Еремей.

Шум воды, ниспадавший немного далее маленьким каскадом, покрывал шелест наших шагов и заглушал наш тихий разговор. Еремей, вероятно, говорил правду: чуть ли мы не наткнулись на цыганский табор! Мужчины, быть может, спали в закрытых палатках или ушли в Смирну. После небольшого совещания я согласился с Еремеем, что нехорошо тревожить табор в ночную пору, и, решив-

шись посетить его на другое утро, мы ушли потихоньку, никем не примеченные. Скоро мы воротились к своим палаткам.

Сюрюджи подал нам ароматического кофе в маленьких фарфоровых чашках с филигранными подчашниками, и, сидя за ним, мы рассуждали, к прискорбию сонных соседей наших, аистов, остаться ли нам еще на день в Сардисе или отправиться есть в полдень дыни в Касабе, по дороге в Константинополь. К большому изумлению голландца, которому хотелось докончить свои рисунки, я и разумеется Еремей подали голоса, чтоб остаться, тогда как накануне мы были совсем противного мнения. Англичанин, который вечно спешил, взбесился ужасно и пошел с флегматиком сюрюджи искать утешения около лошадей. На другой день, однако ж, он изобрел для себя приятное занятие свистать, опустив руки в карманы; смирнский купец набил трубку и сел делать наблюдения за караваном, спускавшимся с Тмоля к югу, а я с моим уродом отправился в цыганский табор.

Когда мы обходили полуразрушенную стену древней христианской церкви, какая-то женщина вышла к нам из тени. Под изорванным платьем и грязной чалмою, надвинутою на глаза, я тотчас узнал цыганку, которую мы видели вчера у люльки.

— Buon giorno, signori*,— сказала она, сделав род саляма, и этим итальянским приветствием вывела меня из опасения быть непонятым.

Я сказал ей:

— Buon giorno!

Еремей тоже с ней поздоровался, но она бросила на него очень недовольный взгляд и, подошед ближе, сказала мне вполголоса, что желает говорить со мною без il mio domestico — без моего слуги.

— Скорее, моего друга! piutosto amico! — отвечал я тотчас, чтобы поднять его в ее мнении.

Я должен отдать полную справедливость благородству своего обхождения с Еремеем: помня, что он был моим ментором и первым наставником, что я обязан ему благодарностью за попечение о моей юности и чистоте моих нравов, я постоянно старался, исключая присутствия порядочных свидетелей, заставлять его забыть, что он слуга.

Она, казалось, досадовала на свою ошибку: отдав

---

* Добрый день, господа! *(ит.)*

полуизвиняющийся поклон моему amico, она отвела меня в тень развалины и пристально посмотрела мне в лицо. «И тебе тоже»,— подумал я, возвращая ей этот взгляд: мне хотелось отгадать взором желание, мерцавшее в двух больших, влажных и полных любви глазах, какие смотрят только из Магометова рая, поджидая молодого покойника. Это лицо было некогда прекрасно, а в руках светской дамы составило бы и теперь отличную и молодую красоту.

— Milordo inglese*?— спросила она наконец.

— Нет, матушка, milordo russo**.

Она сделала рожицу.

— А куда едешь, figlio mio***?

— В Стамбул, моя красавица.

— Benissimo****! — сказала она, и лицо ее прояснилось.— Не нужен ли тебе слуга?

— Разве ты пойдешь ко мне в слуги, а то нет.

— Не я, а сынок мой.

У меня вертелось на языке спросить, похож ли он на ее дочку, но таинственный и тревожный вид цыганки заставил меня быть скромным. Она продолжала просить о сыне, и наконец вышло наружу, что ему надо побывать по делу в Константинополе и что ей хочется отпустить его туда с верным человеком. Мужчины, сказывала она, отправились в Смирну на промысел, а ее оставили при палатках с мальчиком и грудным ребенком. Так как она не упомянула о девочке, которая, по сходству с нею, очевидно, была ее дочерью, я не рассудил за благо намекать на вчерашнее наше открытие и просто обещал, что если у ее сына есть лошадь, он будет дорогою под моим попечением. Я сказал ей час, в который предполагаем мы завтра отправиться, и ушел от нее с тем, чтоб повидаться снова в таборе.

Я взял окольною дорогой, но цыганка поспела туда прежде меня и была, кажется, одна дома. Она уже послала своего мальчика за лошадью, и хотя я думал, что самое милое создание в целой Азии таится в одном из этих шатров, но они были так плотно закрыты, что я не мог вникнуть в их содержание и не находил предлога пускаться в расспросы. Прекрасная Zingara***** становилась слиш-

---

* Милорд англичанин? *(ит.)*

** милорд русский *(ит.)*.

*** сын мой *(ит.)*.

**** Отлично! *(ит.)*

***** цыганка *(ит.)*.

ком болтлива, а как я был без Еремея и вообще боюсь женщин наедине, то, взяв с моей приятельницы обещание, что сын ее догонит нас прежде, чем мы доедем до гор Сипила, воротился с чем пришел. Я проклял бы свое благоразумие и стал учиться хиромантии, как цыган, если б нечистый соблазнил меня против моей воли.

Мы сняли палатки с восходом солнца и пустились по широкой равнине Гермуса. Роса лежала на густых и ярких цветах полей, как прозрачная смола. Природа и мои пятеро товарищей были в самом веселом расположении духа. Я — напротив. Мне все мечтался лунный свет, Пактол и две кругленькие ножки, стоящие в быстрой воде. Еремей ехал почти рядом со мною.

Около полудня, когда мы приближались к Касабе, когда, несмотря на мои романтические мечтания, я с удовольствием начал помышлять о дынях, которыми славится этот город, топот копыт, раздавшийся позади, заострил уши наших лошадей, а через пять или шесть минут подскакал к нам мальчик лихим наездником и подал мне условленный знак. Он сидел на маленькой арабской кобыле, не замечательной ничем, кроме тонких пылающих ноздрей и резвого движения. Но сам мальчик был очень замечателен, и именно тем, что очевидно не был мужеского пола, как обыкновенно бывают мальчики в Азии. Куртка и чалма не могли изменить ни его стана, ни его головки. Красотка из цыганского табора была подле меня!

Хорошо, что я заранее взял у Еремея клятву не проговориться, если мальчик, которого бы пола ни было, поедет с нами, и что дал в Сардисе старой цыганке толстый конверт с письмом моей матушки, чтобы этот мальчик привез мне его, как бы врученное ему для доставки. В течение двадцати минут, которых требовало прочтение этого документа — матушка пишет всегда длинно, особенно в ответ на просьбу о деньгах,— я имел время собраться с духом и обдумать род обращения моего с прекрасной переряженицей. Мои спутники чрезвычайно удивились, что я получаю письма из дому с курьерами в глубине Анатолии, но я не мешал им ломать над этим голову. Я только сказал, что мальчик прислан ко мне и что он поедет со мной в Константинополь, и как один я мог объясняться с сюрюджи, выучившись немного по-новогречески в Морее, то голландец, Джон Булль и смоковник должны были довольствоваться такими соображениями насчет этого случая, какие внушило им всещедрое небо.

Еремей, который вообще имеет очень выгодное мнение обо всем цыганском народе, тотчас смекнул, что это плутовство, а не мальчик. Как мы с ним домышлялись наедине, зачем красавица едет в Константинополь, как мило держалась она на коне и разыгрывала свою роль, как я просил ее, хотя она тоже говорила по-итальянски, не открывать рта ни на каком христианском языке с моими спутниками, как дней через семь, когда мы приехали в Скутари, она глядела через Босфор на золотые башни Стамбула, обращала ко мне бездонные глаза свои, полные слезами, и потом пришпоривала лошадь, чтоб скрыть этот невольный приступ чувства, и, наконец, с каким восторгом думал я о прелести быть схороненным с ней хоть на одни сутки в золоченой «Гробнице визиря», мимо которой мы проезжали,— все это могло бы сделаться предметом нескольких очень непустых глав в моей повести, но они покамест впереди.

Мы выехали из-под островерхих кипарисов кладбища, окружающего Скутари со стороны суши. Сошед с лошади на высоте, которая господствует над всем местоположением Царяграда, я взлез на раззолоченную чалму, венчающую памятник султанского ичоглана, и услаждался зрелищем поруганной, но еще царски-прекрасной столицы Палеологов. Я имел намерение дать вам здесь превыгодное и преподробное описание константинополя, Босфора, сераля, турок, турчанок, турчат и даже янычар, но увольняю вас от этого, хотя вообще я большой мастер описывать. Надеюсь, что вы скажете всем своим и моим знакомцам, что я очень милый и любезный молодой человек.

Пока я стоял на мраморной чалме ичоглана, спутники мои разбрелись по улицам Скутари и оставили меня одного с цыганочкой. Она сидела на своей арабке, приклонив голову к ее шее, и когда я свел глаза с Константинополя, капли слез сверкали на гриве и грудь красавицы неодолимою тоскою волновалась под шитою курткою. Я соскочил наземь, взял ее за голову и прижал к губам своим мокрую щечку.

— Мы расстаемся здесь, синьор,— сказала она, обвивая вкруг головы волосы, выпавшие из-под чалмы, и приподнявшись в седле, как будто хотела ехать.

— Не думаю, Меймене.

Она устремила на меня влажные глаза с пытливостью.

— Тебе запрещено вверять мне, зачем ты едешь в Кон-

стантинополь, и ты сдержала слово перед матерью. Но я надеюсь, что дело идет не о личной твоей свободе?

Она смутилась, но не отвечала.

— Ты еще очень молода, Меймене, и уезжаешь так далеко от матери!

— Signor, si.

— Если б она любила тебя так, как я, то не думаю, чтоб пустила сюда тебя одну.

— Она ввѐрила меня вам, синьор.

Это напомнило мне мое обещание. Я дал слово цыганке оставить ее сына у персидского фонтана Топханы. В Меймене, очевидно, было чувство, превозмогавшее любовь, которую я полунадеялся и полустрашился возбудить в ней.

— Andiamo! поедем! — произнесла она, опустив голову на грудь.

Слезы падали у ней градом: она пустила свою лошадь во всю прыть, быстро неслась по неровным и пустым улицам Скутари, и через несколько минут мы стояли на берегу Босфора — на границе Азии.

Мы оставили здесь лошадей и переплыли в Галату на каике. Ни скромность Меймене, ни бездна противоположных чувств, оспоривавших мое сердце, не могли защитить его от неизгладимого впечатления окружавшей меня картины. Звездообразный залив, версты полторы в поперечнике, кишел лодками самой легкой и приятной наружности; гребцы в разноцветных чалмах и шелковых рубахах, с засученными по плечо рукавами, которые таким образом открывают мышцы Геркулесовы, мчали их с проворством венецианских гондольеров; золоченые решетки и бельведеры сераля, оттеняемые мрачными кипарисами и цветущими мимозами, которые свешивают над ними свои печальные и веселые ветви, были так близко, что я мог сосчитать розы на кустах и видеть колыхание листьев в вечернем воздухе; муэзины призывали правоверных к молитве, и голоса их звонким облаком расстилались над водою; военные корабли в устье Босфора спускали свои кровоцветные флаги; берег, к которому мы приближались, был унизан женщинами в покрывалах, бородатыми мужчинами и мальчиками в желтых туфлях и красных фесках; поодаль, ожидая нас, стояла купа жидов и армян в одежде, означавшей их низкую породу.

Мы ступили на берег Европы в предместии Топхана; сюрюджи указала Меймене фонтан, выложенный мрамором и бронзой, с красивым фризом и персидскими надписями. Она бросилась ко мне прощаться.

— Помни, Меймене,— сказал я,— что я предлагаю тебе мать и приют в краю более счастливом. Не хочу мешать тебе в исполнении твоего долга, но когда ты кончишь свои дела, можешь отыскать меня, если хочешь. Прощай, моя милушка.

Поцеловав меня страстно в ладонь и подарив взглядом, наэлектризованным любовию и скорбью, цыганка повернула к фонтану, потом влево за мечеть и скрылась в тесной улице, идущей вдоль берега к Галате.

На третий день по прибытии в Константинополь мы вышли из своего полуевропейского, полутурецкого трактира и, бродя без цели по гладкой мостовой Перы, остановились на холме Малого кладбища, чтоб решить, в какой части света — Европе или Азии — провести прекрасное июньское утро.

— Ну уж погодка,— сказал Еремей, посматривая на зеленеющую вершину Булгурлу.

Надобно знать, что Еремей имеет решительную склонность к сельской природе, а я, напротив, к городской. Я посматривал совсем в другую сторону — к Галате. И пока он уговаривал меня идти гулять в поле и пока я думал о том, как бы с высоты Малого кладбища прыгнуть в шумную пропасть Галаты, оттоманский флаг мелькнул за лесом мачт перед лукоморьем у Топханы; через минуту высоконосое судно с резьбою и оснасткою дальнего Востока вошло в середину залива с быстрым босфорским течением; спустя еще мгновение оно на своем латинском парусе обогнуло корабль, стоявший на якоре под палестинским флагом, и потом спустилось по ветру в канал залива Золотого Рога. Я уставил в него свою зрительную трубку. На палубе виднелась толпа людей, по большей части женщин, стоявших среди судна. Я тотчас сказал Еремею:

— Это, верно, корабль с невольниками из Требизонда. Пойдем смотреть их.

Мы прошли ворота, разделяющие европейское предместие с торговым, и пустились по крутым и тесным улицам Галаты так торопливо, что турки, которых мы встречали или обгоняли, ужасно гладили себе бороды и шаркали своими туфлями, чтоб постичь, куда и зачем бегут эти два гяура. Из сотни легких каиков, качавшихся на волнах залива, выбрали мы самый легкий и многовесельный, схватили одного из услужливых жидов, которые навязываются здесь толпами в переводчики, и, поджав под себя ноги в длинной и узкой лодке, помчались за новопришедшим судном.

Река, которая обвивается около самого сердца Константинополя, чрезвычайно приятна для плавания. Турок гребет назад, десять тысяч яичных скорлупок шныряет около него во всех направлениях; носовая часть его лодки оканчивается порядочным железным острием и благодаря этому изобретению лишний пиастр за скорейшую доставку извлекает тучи проклятий на *каикчи* и на «собак», которых он перевозит, со стороны всех турецких граждан, обижающихся за дыры, пробиваемые его носом в их лодках. Жид смеялся, как это уже водится со времен Шейлока, несчастиям своих утеснителей и, усердствуя в исполнении своей обязанности, переводил нам все ругательства, сыпавшиеся на нас со всех сторон. Из содержания их мы усмотрели, что брюзгливые турки отзывались очень невыгодно о наших родительницах, и Еремей заметил им весьма основательно, что они делают это напрасно, потому что даже никогда их не видали.

Между тем новоприбывшее судно замедлило ход свой, приближаясь к базару сушеных плодов, и один поворот руля вдвинул его вздернутый нос между египетским корабликом разбойничьего вида и черным английским угольщиком с надписью на корме — Snow — Drop, from Newcastle. Тяжелый якорь бухнул в воду, и мы тотчас велели жиду опросить новопришельца. Предположение мое подтвердилось: корабль был из Требизонда с невольницами и пряным зельем.

— А что они сделают, если мы туда взойдем? — спросил я еврея.

Он вытянул свою змеиную шею так, что длинная борода повисла у него совсем на воздухе, и внимательно посмотрел сквозь перила.

— Невольницы все грузинки,— отвечал он, немного погодя,— и если тут нет турецких покупщиков, вас только спровадят с судна.

— А если есть?

— Они почтут женщин испорченными христианским глазом, и продавец невольниц застрелит вас или так выбросит за борт.

Еремей, по обыкновению, советовал мне не ходить на судно именем своей ответственности перед матушкой и, по обыкновению же, тотчас полез за мною.

В суматохе от прибытия портовых чиновников и других посетителей, которые все кричали и надеялись со временем перекричать друг друга, в общем шуме и безладице мы стояли на краю палубы непримеченные, и я пристально

наблюдал изумление красавиц, впервые очутившихся в средоточии большого города. Хозяин их прелестей не имел времени за ними присматривать; сбросив грязные покрывала на плечи, они выставили вдруг десять или двенадцать розовых личик с отверстыми устами, с глазами светлыми, влажными, глубокими, как родник. У всех были хорошие черты, на коже ни пятнышка, волосы густые и лица здоровые: вообще, за исключением великолепных восточных глаз, они напоминали жирный идеал русской купчихи, рослой, дородной и сдобной, как каравай. Любопытно было видеть, как дивились они чудесам Золотого Рога, попав прямо с пустынных гор на картину, быть может, великолепнейшую в целом мире. Я следовал за их глазами и старался угадывать впечатления, производимые в них новостью предметов. Вдруг Еремей дернул меня тихонько за полу: старый турок только что взлез на корабль с береговой стороны и помогал всходить за собою женщине, окутанной покрывалом. Полвзгляда, четверть взгляда и еще менее достаточно было для удостоверения меня в неожиданной истине — что это моя сардисская цыганка, моя гурия, мой мальчик, товарищ мой на пути в Константинополь.

— Меймене! моя султанша! — воскликнул я, подскочив к ней в мгновение ока.

Тяжелая рука оттолкнула меня прочь, лишь только я до нее дотронулся; я отплатил удар; смуглые арабские матросы обступили нас толпою и без околичностей протолкали с корабля. Ошеломленный ударом, в страхе, в бешенстве на дерзкого турка, я не помню, как очутились мы опять в каике; но когда я образумился, мы быстро плыли вверх по Золотому Рогу и через полчаса сидели уже на зеленом берегу Варвиса с твердым намерением погулять зато вдоволь в уединенной долине Сладких вод.

Книгопечатание было введено в магометанскую империю в царствование Ахмеда III и Лудовика XV. У меня нет привычки помнить статистические факты, но этого я как-то не забыл еще и привожу его потому, что самое романическое жилище, какое известно мне в подсолнечной, было построено сначала для типографского станка, привезенного из Версаля султанским послом Мегеммед-Эфендием. Теперь это весенний потешный дворец любимых любовниц его султанского величества, и кто хоть раз видел этот райский приют, то непременно вспомнит его в мечтах о совершенном счастии.

Дворец Кеат-Хане построен из золота пополам с мра-

мором, среди обширной изумрудной долины и более похож на волшебное видение, которое вызвали и забыли зачурать, чем на дом для жительства, дом настоящий, дом, в котором укрываются от дождя, дом, который показывают вам за полтину серебром. Варвис, падая с губы морской раковины, высеченной из мрамора, крутится с пеною и вечной музыкой под золочеными решетками окон султанши; как серебряная нить по зеленому бархату, тянется он несколько верст по самой нежной мураве; ни дерева, ни куста на берегах его; будто запертый горами в заколдованной долине, то свертывается он змеею, то роскошно распускает клубы свои, а горы, подымаясь в обрывах справа и слева, бросают на него зубчатые свои тени во всякую пору, кроме полудня, посвященного на Востоке сну красоты и беспечности бородачей.

В мае — месяце любви per excellentiam* — смерть тому, кто дерзнет войти в Кеат-Хане. Каик ваш останавливают в Золотом Роге, и на каждом холме видите вы верхового эвнуха с обнаженною саблей. Арабские кобылицы султана пасутся на пушистой траве долины; сотня черкешенок выходит из пахучих комнат дворца на шелковые берега Варвиса и кажет солнцу свои невыразимые прелести. От Золотого Рога до Белграда, верст на двадцать, эта зеленая ложбина, лелеющая извилистую реку, свободна целый месяц от ступни мужчин: только вскормленные в золотой клетке птички султана разъезжают по ней с утра до ночи в своих алых арбах, запряженных быками; рога буйволов, которые тащат их колесницы, убраны разноцветными лентами; белоснежные покрывала небрежно падают с плеч и с малиновых уст дев сераля, И они так же пламенно рвутся страстною мечтою за предел своего уединения, как мы — я, например, или вы — рвемся в их тюрьму с мысленным поцелуем, который, если б только упал на один из этих ротиков, вознаградил бы нас один за все мытарства холостой жизни.

Как мало довольных своим жребием! Как много остается еще желать избраннейшим баловням фортуны! Как неизбежно вздыхает сердце по том, чего нам не далось! Хотя мы с Еремеем собственно последователи школы тех философов, которые «имели мало и ни в чем не нуждались», однако, сидя на мраморном мосту, который повис над Варвисом, как паутина, он не мог не согласиться со мною, что зависть сильно отравит даже доволь-

---

* преимущественно *(лат.)*.

ство нищего. Дурак, кто не голоден, не холоден и еще жалуется на счастие — но как назвать того, кто притом, пользуясь изобилием, сильный, чтимый, свободный от всякого труда, чувствует в глубине души морозное дыхание зависти и не произносит вечного проклятия врагу всякого счастия? Он чуть не раб — но чуть и не бог Олимпа. Из красоты и ясной погоды я сделаю вам рай на Черной речке: возьмитесь только не впускать в него зависти.

Мы бродили вокруг дворца и напрасно пытали все его выходы: вдруг Еремей увидел за холмом красный флаг, развевающийся на верху маленькой зеленой палатки, скрывавшей кервяза, который один-одинехонек стерег эту великолепную обитель неги. Я послал Еремея с щепоткой дрянных турецких пиастров соблазнить неверного шароварника, и скоро он вышел ко мне, преважно шаркая своими невоинственными туфлями и держа ключи, хранившиеся за месяц перед тем, как лампада Алладина. Мы вошли во дворец и стали бродить по комнатам смертных гурий Востока; смотрели сквозь оконные решетки; клали руки на шелковые подушки, на которых остались неизгладимые следы их сонных ротиков; видно было по потускневшему золоту, что милые султанши часто прислонялись к решеткам; на светлых перилах еще заметны были следы их пальцев и, казалось, даже следы уст, в тех местах, куда приникали они своими прекрасными лицами, беспечно глазея на долину. Зеркала, софы и ковры были единственной мебелью, и никогда жезл Корнелия Агриппы не был бы так кстати для возвращения этим бесчувственным стеклам исчезнувших образов красоты. В одном углу мы открыли прекрасный... Впрочем, это открытие Еремеево, которого я себе не присваиваю.

Я сел на возвышенном конце софы, где было, может статься, почетное место первой любимицы. Еремей стоял поодаль, углубленный в безмолвную поэзию собственных мыслей.

Обо всем этом путешествии по дворцу Кеат-Хане, после нечестивого толчка моему любознанию на проклятом судне, упоминаю я только потому, что на софе первой султанши я долго мечтал о цыганке Меймене. Прочими подробностями я готов даже пожертвовать. Я скоро ушел домой, в трактир к мадам Джузеппино.

Мгновенное свидание на требизондском корабле оставило в моей памяти пару черных глаз, полных беспокойства, полных сомнения. Я так хорошо знал ее поступь, что один шаг ее высказал мне, как она несчастна. Кто этот

старый турок, который тащил ее так безоколично на корабль? Что было делать молоденькой цыганке между требизондскими невольницами?

Без всяких определенных мыслей насчет расположения ко мне этого милого ребенка я нечувствительно уверил сам себя, что без меня нет для него счастия в мире и что единственною целью моей в Константинополе должно быть то, чтоб добыть прекрасную цыганочку в свои руки. Мне не хотелось открыть Еремею мое намерение все вполне, потому что, кроме особенности его взгляда на цыганское племя, он нашел бы еще обильный источник возражений в оскудении наших финансов — единственный пункт, в котором мы не сходились с дядькою так полюбовно, как у Вергилия пастух Коридон с пастухом Алексисом.

Недалеко от Обожженной колонны, в самой средине Константинополя живет старый продавец розовой эссенции и ясминов, именем Мустафа. Каждый, кто бывал в Цареграде, вспомнит Мустафу и его нубийского невольника в лавочке, направо, по дороге к Ипподрому. Он некогда торговал табаком, янтарем и красными ермолками в Керчи и Одессе, где положил первое начало своему богатству, и довольно хорошо говорит по-русски и по-итальянски. Он величает себя султанским парфюмером; но главный источник его доходов — иностранцы, которых приводят к нему жиды-переводчики, состоящие у него на жалованье; и к чести его надобно сказать, что иностранцу нельзя желать ни духов, крепче тех, которые он радушно ему навяжет, ни кофе лучше того, которым напоит он его, надувши на духах.

Я был так счастлив, что с первого разу приобрел полное расположение Мустафы. Пряностей и духов я уже накупил у него столько, что мог бы причинить головную боль всей христианской Европе, но все еще продолжал заходить к нему из приязни, когда отправлялся из Перы в Стамбул. Кроме двух маленьких подарков, за которые, зная человеческое сердце, я отдарил его двумя смертными грехами — бочонком мадеры и бутылкой рому, мой широкоштанный приятель не раз предлагал мне свои услуги. Правда, немного было вероятностей, чтоб я когда-нибудь ими воспользовался, однако ж мне казалось, что он, здороваясь со мною, кладет руку на сердце со всей искренностью, без плутней и без розовой эссенции; и в думах своих о судьбе Меймене я не раз увлекался мыслию, что он может быть полезен мне для прояснения этой тайны.

— Еремей! — сказал я однажды, когда мы шли с своим

жидком в Стамбуле по улице конфетчиков,— я зайду к Мустафе и, быть может, не ворочусь до вечера. Возьми ты этот кусок леденцу (я поспешно взял глыбу леденцу с первого прилавка и подал ему), ступай домой и ешь: он называется по-здешнему «мир твоей глотке».

Бедный Еремей посмотрел на меня, как будто желая проникнуть цель моей отлучки, которая показалась ему очень подозрительною. Ясно читал я в его уродливой физиономии, как неприятно это его озадачило. Еще накануне, едучи в лодке Босфором, видели мы, как шайка исполнителей собственного правосудия хладнокровно вешала на ставнях дома турчанку и грека, ее любовника, потому что прелюбодеяние казнится в этой земле мудрого законодательства даже без дачи кадию взятки за приговор. По известным приметам, Еремей считал себя вправе предполагать во мне пагубную страсть к похождениям и заключал в своем уме, что и для меня Далила гораздо опаснее филистимлян. Когда жертвы любви задрягали на весу своими шелковыми шароварами, я видел по заботливым взглядам, которые он бросал на них и на меня из глубины каика, его отеческую решимость присматривать за мной плотнее прежнего. Теперь, как он набил полон рот «миром своей глотки» и потом вдруг перестал жевать его, изменясь в лице от горького чувства, я тотчас догадался, что мое намерение напомнило ему картину любовников, висящих на ставне.

— Александр Андреич! — начал он, высвобождая из вязкого леденца свои зубы,— матушка... изволили наказывать...

В этот миг толкнул его дюжий кервaз, предшествовавший знатному турку, и когда мусульманин, закутанный в три шубы, наехал на нас со свитою скороходов и с целым арсеналом трубок, я воспользовался изумлением Еремея, ускользнул в сторону, вспрыгнул на одну из наемных верховых лошадей, стоявших у мечети, и пустился к лавке моего приятеля. Долго ли было соскочить с лошади, утащить Мустафу в заднюю комнату и велеть нубийцу отказать всем, кто меня ни спросит,— однако ж только я успел это сделать, Еремей прибежал, запыхавшись. По-итальянски он говорит, как Тасс.

— Не visto il signore? Не видали ли вы моего господина?— вскричал он, бросаясь в заднюю часть лавки, как кот на крысу.

— *Йок*! Нет! — сказал прехладнокровно турок, положил руку на сердце и, подступив ближе, предложил

ему с важной учтивостью трубку, отнятую от собственных уст.

Жид также вбежал в лавку с туфлями в руке, сел у дверей, снял маленькую серую чалму и стал было отирать пот с своего высокого и узкого чела, но Еремей в эту минуту выскочил опять на улицу, сделав ему знак, чтоб он за ним следовал. Вид отчаяния и усталости, с которыми ветхозаконный ориенталист отряхнул свои шаровары и пустился догонять доброго Еремея, вынудил смех у самого Мустафы. Он положил трубку. Нубиец стал объяснять это происшествие по-своему, я вышел к ним из своего убежища, и мы хохотали от чистого сердца.

Пока Мустафа еще досмеивался и восстановлял трубку во рту, я, лежа на софе, осматривал с любопытством комнату, где недавно был спрятан. Занавес из толстой, но полинявшей парчи, который так же ненарушимо охраняет вас на Востоке, как железные затворы на Западе, отделял от передней лавки маленькую восьмиугольную комнату, величиной и убранством похожую на турецкие будуары, которые в иных европейских чертогах примыкают к комнате хозяйки. Нога тонула в богатых коврах, лежавших на полу. Софы покрыты были узорной и глянцевитой шелковой тканью и обложены разноцветными подушками. Неутомимая курильница посылала к черному резному потолку тонкие струи дыма, разливая в комнате благовоние, которое приятно щекотало нервы, но вместе отягчало веки и расслабляло все тело. По мере того, как глаз привыкал к тусклому свету, входившему сквозь окно в потолке, взору являлись богатые шали Востока, блестящие дивной роскошью цветов; ряд хрустальных кальянов в углу, слабо отражавших свет в граненых склянках с розовой водою, дорогие трубки, пистолеты с серебряной насечкою и богатая дамасская сабля в красных ножнах. Все это придавало особенную прелесть этому темному жилищу.

Мустафа был немножко философ и умел наблюдать европейцев, приходивших в лавку. Уединенная и восточная роскошь этой комнаты была одною из приманок, подготовленных им для той страсти к живописному, которую замечал он в каждом путешественнике; а другою был его исполинский нубиец, который в белой чалме с золотыми запястьями и поножами, с голыми руками и ногами, всегда стоял у дверей лавки и зазывал прохожих не покупать духов и курений, а откушать шербету с его хозяином. Между тем, хозяин умел так обласкать и угос-

тить всякого порядочного человека, что дело редко обходилось без покупки, которая вполне вознаграждала старого купца за его гостеприимство.

Когда Мустафа кончил свои молитвы — говорил ли я, что он их начал? — он велел нубийцу свернуть молельный ковер и, задернув занавес между комнатой и лавкою, сел слушать повесть о цыганке, которую я чистосердечно рассказал ему с начала до конца. Когда я дошел до происшествия на невольничьем судне, внезапный свет блеснул, казалось, под его огромной чалмою.

— *Пек эи!* сударь, *пек эи!* Хорошо! очень хорошо,— восклицал он, поводя пальцем по средине бороды и пуская такую бездну дыма из ноздрей и изо рту, что в одно мгновение образовалось облако, и я имел здесь случай наблюдать полное затмение турка.

Он хлопнул в ладоши, и нубиец тотчас явился. Они поговорили что-то по-турецки; невольник стянул пояс, сделал селям и, взяв туфли у наружных дверей, вышел из лавки.

— Мы сыщем ее в невольничьем базаре,— сказал Мустафа.

Я оглазел. Эта мысль не раз приходила мне в голову, но я все считал ее несбыточною. Молодая девушка с тайным поручением от матери! Я не мог постигнуть, как можно было так беспечно подвергать опасности ее свободу.

— А если она и там? — сказал я, вспомнив, что оттоманские законы возбраняют иностранцам покупать невольниц и что, сверх того, в теперешних обстоятельствах такая издержка будет слишком чувствительна для моего кармана.

— Так я куплю ее для тебя, по знакомству,— отвечал Мустафа.

Тут воротился нубиец и положил к ногам моим узел с платьем. Потом он взял с полки бритвенницу и начал скоблить мне хохол и виски. После краткого прения с Мустафою я должен был отступиться от своих прекрасных кудрей; только сильно нафабренные и закрученные усы остались в утешение моим осиротелым пальцам, которые так привыкли поправлять виски и лелеять хохол в часы досуга. Красная феска и чалма довершили превращения головы; я кое-как влез в длинную шелковую рубашку, в огромные шаровары, в куртку, в туфли и встал полюбоваться на себя в зеркале. Я был похож на обыкновенного турка, как две капли воды; только европейский галстук и чулки оставляли на шее и на ногах моих белизну совсем

не восточную. Этому сейчас пособили каким-то темноцветным снадобьем. Мустафа дал мне несколько наставлений, как себя держать; я поправил чалму и вышел за ним на улицу.

Странное ощущение рождается в человеке, когда он идет в чужом одеянии и видит, что никому это не удивительно. Я не мог воздержаться от досады, заметив, что каждый грязный бусурман считает себя мне равным. После долгого странствия в чужих краях привычка возбуждать внимание и некоторый род значительности, придаваемый толпою особе и поступкам путешественника, делаются, наконец, удовольствием, и, потеряв это звание или возвратясь на родину, вам очень прискорбно видеть себя опять в разряде людей обыкновенных. Я сердился, зачем не любуется на меня народ, когда я представляю турка в Константинополе!

Хотелось ли Мустафе похвастать перед знакомцами своим новым трубконосцем или в тучном его теле таилось столько плутовской насмешливости, что он наслаждался усилиями пылкого гяура казаться тупым правоверным, только я заметил, что мы идем не прямо на невольничий базар. Продавец духов заходил в разные лавки здороваться с своими приятелями и, наконец, остановился в книжном базаре: тут он поджал под себя ноги и снисходительно закурил трубку насупротив важного армянина, который сидел на прилавке по горло в своем товаре. Вероятно, не желая, чтоб его видели курящего с армянином, Мустафа скрылся на том же прилавке за грудою фолиантов, а его раздосадованный и нетерпеливый трубконосец почтительно сел поодаль на узком подножии одной из пестрых колонн, украшающих базар библиофилов. Вдруг, откуда ни возьмись, бежит мой Еремей, по обыкновению, простофилей: подставив ногу, я помог ему упасть громом на заплеснелые книги армянина так, что вся кипа обрушилась в страшном беспорядке.

— Аллах, аллах! — вскрикнул Мустафа, которого колена покрылись экземплярами поэм, словарей и летописей, а трубка совсем погребена была в развалинах павшей пирамиды.

– Che bestia Inglese! Экая английская скотина! — проворчал армянин, почти не трогаясь с места.

На Востоке европейцу очень удобно быть неуклюжим: за все его глупости отвечают англичане. Между тем как книгопродавец откапывал духопродавца, Еремей, усиливаясь встать, попал рукою в чернильницу, а потом той же

рукою в кипу избранных книг, переплетенных в чистый пергамен. Услужливый жид тотчас взял верхний том, на котором резко изображалась пятерня моего дядьки, и равнодушно спросил армянина, сколько il signore должен заплатить за испорчение переплета? Зная, что с синьором Еремеем нет денег, я наверное рассчитывал, что между ними выйдет ссора и что мне тут можно будет благополучно ускользнуть от его заботливости, средь нового затруднения, из которого, впрочем, мне следовало бы выручить его и тем загладить первую вину.

— Tre colonate*,— отвечал книгопродавец.

Еремей, не слушая этого их разговора, отворил книгу, и междометие радостного изумления удостоверило меня, что я могу выйти из-за колонны и посмотреть ему через плечо. То был великолепный экземпляр Гафиза, писанный синими чернилами, весь разрисованный по полям золотом и красками, весь испещренный богатыми виньетками. Еремей сроду не видал такой чудесной «книжки». Пока он рассматривал бусурманскую книгу, держа ее вверх ногами, я кивнул Мустафе, и мы ушли, не примеченные ни жидом, ни Еремеем.

При входе в ворота невольничьего базара Мустафа повторил мне свои советы насчет моего поведения, напоминая, что как франк я буду осматривать белых невольниц с опасностью для собственной жизни, и сам тотчас принял вид беспечной невнимательности, чтоб отвратить всякое подозрение. Я шел за ним по пятам с его трубкою, и когда он останавливался поговорить с знакомцем, я потихоньку толкал его сзади чубуком, выходя из терпения от его медленности.

Меня, верно, заняла бы окружающая картина, если бы я был простым зрителем, но излишние и нестерпимые отлагательства Мустафы, тогда как мое божество ежеминутно могло быть продано, довели меня до бешенства.

Мы, наконец, вышли из погреба, куда завел нас один его знакомец, чтоб показать молодого белого мальчика, которого он торговал: я надеялся, что ожидание мое приближалось к развязке, как вдруг явился человек с колокольчиком в руке и за ним под белой простыней черная девушка, абиссинка. Как у большинства этой породы, у нее была голова животного, но тело и члены превосходного человеческого образования. Она осматривалась без изум-

* Пятнадцать рублей *(примеч. автора)*.

ления и стыдливости, идучи за крикуном напряженною леопардовой походкою: нога ее была выгнута, как у портного, шея красиво наклонена вперед, а плечи и колени отличались той свободной игрою мышц, которая — что ни говорите — совсем теряется под платьем просвещенных женщин, как они ни стараются показывать первые и заставлять угадывать вторые.

Я решился шепнуть Мустафе, что под видом желания купить эту абиссинку мы можем без подозрения осмотреть белых невольниц.

За нее спросили какую-то цену.

— Двести пиастров! — сказал Мустафа, как будто совершенно занятый торгом и не слушая моих просьб и возражений. — Двести пиастров! Очень довольно!.. Я ведь покупаю ее только для того, чтобы она золотила у меня курительные лепешки.

И, отдав мне трубку, он приподнял простыню с плеч невольницы. Он вертел ее туда и сюда, как болванчика на проволоке, смотрел ей в зубы, смотрел на руки, говорил тихо с крикуном, потом взял у меня трубку, а черная невольница удалилась.

— Я купил ее! — сказал он с значительною усмешкою, когда я, подавая кисет, сунул ему в ухо крупное русское проклятие.

Одна мысль, что Меймене могла сделаться собственностью этого грубого и чувственного чудовища так же легко, как и купленная им негритянка, закружила мне голову.

Когда я с досады размышлял в каком-то отчаянном спокойствии о роскошных ужасах торга невольницами, Мустафа подозвал к себе египтянина, который расхаживал в белом плаще с башлыком. Помнится, я видел его на требизондском судне. Он был малолицый, черногубый, смуглый африканец с смыкающимися глазами и с сухой заскорузлой рукою — как у гарпии. После краткой беседы он взял моего временного господина за рукав и пошел с ним к лучшей из жалких лачужек, которые окружали этот двор. Я за ними — с трепещущим сердцем: мне казалось, что каждый глаз в этом многолюдном базаре узнает во мне переряженца. Египтянин постучался, откликнулся кому-то, говорившему изнутри, и дверь отворилась. Я увидел себя в присутствии четырнадцати закрытых женщин; они сидели на полу в разных положениях. По приказанию нашего проводника подали ковры для него с Мустафою, и когда они уселись, покрывала вдруг упали, и батарея

отверстых неподвижных глаз выстрелила залпом прямо в наши.

— Что, здесь? — спросил меня Мустафа, когда я наклонился, чтоб подать ему вечную трубку.

— Черт тебя возьми, нет!

Я жестоко оскорбился, что он, глядя на этих черкесских и грузинских тетёх, мог меня об этом спрашивать. Однако ж они были хороши. Румяные щеки, белые зубы, черные глаза и молодость даются не всякой женщине, а они имели все это в изобилии.

— Больше у него нет? — спросил я у Мустафы, наклонившись к его уху.

Я осматривал все углы, пока он узнавал об этом с обыкновенной своей медленностью, и, почти сам не зная, что делаю, приставил глаз к щели в перегородке, откуда сильно пахло кофеем. Сперва я увидел только темную комнатку: посреди стоял мангал с жаром и на нем кофейник. Когда глаз мой привык к слабому свету, я разглядел кипу чего-то, похожего на шали. Думая, что это спальня продавца невольников, я хотел отойти, как вдруг кофе зашипел на мангале и в тот же миг из кипы, на которую я смотрел, поднялась женщина — Меймене как живая!

— Мустафа-ага! — вскрикнул я, отступая назад и сложив перед ним руки.

Я не успел еще произнесть другого слова, как сильный удар чубуком по голой ноге заставил меня опомниться. Черкешенки пересмехались, а турок, будто не примечая моего волнения, приказал мне суровым голосом набить ему трубку и продолжал разговор свой с египтянином.

Уминая табак в трубке пальцами, я прислонился к перегородке с притворной беспечностью и посмотрел еще раз. Она стояла у жаровни и наливала из кофейника в чашку. При красном цвете уголья я мог превосходно видеть каждую ее черту. Она была одна и сидела на земле, приникнув головою к коленям; шаль, которая упала теперь на плеча, закрывала даже ей ноги. Под нею был узкий коврик; когда она пошла от огня, легкий металлический звук заставил меня взглянуть на пол, и я увидел, что она прикована к нему цепочкою за ногу. Я наклонился к Мустафе, сказал ему шепотом о своем открытии и просил, ради самого пророка, найти средство пробраться в ее комнату.

— *Пэк эи, пэк эи*! — было единственным ответом.

Между тем египтянин повертывал перед окном самую толстую из четырнадцати черкешенок, сняв с нее все, кроме туфлей и шаровар, и выхвалял ее тучность.

Я воротился к щели. Меймене выпила свой кофе и стояла, сложив руки и задумчиво глядя на огонь. Выражение ее прекрасного юного лица не предвещало ничего хорошего. Тонкие уста были упорно, но спокойно сомкнуты; чело ее было безмятежно; одни глаза казались мне напряженными, неподвижными и необыкновенно томными. Сердце билось во мне, как молоток; все тело дрожало от нетерпения. Она медленно тронулась с места, упала на ковер, выдернула из-под себя цепь и, закрывшись шалью с головой, по-видимому, уснула.

Мустафа оставил толстую черкешенку, которую подошел было осмотреть поближе.

— Точно ли она? — спросил он меня чуть слышным шепотом.

— Она, точно она.

Он взял у меня трубку и таким же тихим голосом пригласил меня воротиться домой, в его лавку.

— А Меймене?..

Вместо ответа он указал на дверь. Полагая, что лучше во всем повиноваться его воле, я выбрался из базара и вскоре уже пил шербет у него в комнате, прислушиваясь к шелесту каждой прохожей туфли, не Меймене ли идет ко мне.

Правила хорошего воспитания не допускают в свете того, что обыкновенно называется «сценою». Порядочные люди, даже порядочные супруги, не делают сцен в обществе, где все чувства, и самые трогательные, должны быть frappés à laglace — как шампанское. Я ненавижу сцен даже на бумаге. Не нахожу никакой достаточной причины, чтоб какой-нибудь автор по своей прихоти рассчитывал на мою чувствительность, когда я сам не рассчитываю на сочувствие других и стараюсь жить на свете так, как будто ни у кого не было сердца. Сильные ощущения,— верх невежества и в отвлеченном, и в положительном смысле. Они нарушают веселость, расстраивают осанку, раздражают нервы. По всем этим причинам я не описываю встречи моей с Меймене после покупки ее за двести испанских пиастров, иначе за тысячу рублей ассигнациями прехитрым и предостойным продавцом духов и курений. Как она бросилась мне на шею, узнав, что я, а не Мустафа был ее покупщиком и господином, как истерически плакала она от радости на моей груди, как доплакалась до того, что уснула, не успев даже освободить голову из моих рук, как я любовался на ее черные волосы, падавшие с колен моих, как водопады Иматры, и как я прилипал устами

к милому пробору, разделявшему эти волосы, и благословлял мирно спящее дитя — все это, сударыни, такие обстоятельства, которых нельзя порядочно описать, не растрогав до слез вашей чувствительности. Поэтому покорнейше прошу вас почитать этот параграф не столько уловкою для прикрытия острых углов моего рассказа, сколько знаком вежливой и очень похвальной внимательности к вашим чувствам и нервам. Распухшие веки очень некрасивы.

Знаете ли, по какому случаю это прелестное существо, жившее свободно, как птичка в кустах, растущих во дворце Креза, попала на невольничий базар? Отец ее уже полгода томился в тюрьме Смирнского паши за неплатеж хараджа. Недоимка, числившаяся за ним, простиралась до пяти сот турецких пиастров. Жена его продала все их скудное имущество, чтоб выкупить своего несчастного мужа, но все имущество не доставило ей и половины этой ничтожной суммы. Юная дочь ценою собственной своей свободы решилась пополнить недостаток.

Ее дядя, цыганский ренегат, живущий в услужении у одного стамбульского вельможи, прислал ей лошадь и мужское платье; я из великодушия привез ее в Константинополь, чтоб повергнуть благородное дитя в рабство. Этот дядя, который в день нашего прибытия ожидал ее за мечетью в Топхане, продал бедняжку хозяину требизондского судна за шесть сот рублей, и деньги тотчас отправлены были в Сардис.

— Теперь, верно, батюшка, уже выпущен,— говорила она с детским восхищением, которое разорвало мне сердце.— У них еще останется денег. Он будет в состоянии купить коня...

— Меймене! — сказал я, с восторгом прижимая ее к груди своей,— ты скрытна и жестока. Зачем же ты мне не сказала? Неужли ты думаешь, что я пожалел бы...

— Ах, я была в том уверена! — прервала она.— Я тысячу раз хотела упасть к твоим ногам и просить, чтоб ты спас меня от погибели, но не осмелилась. Я поклялась матушке не говорить никому в свете, что продаю себя с ее согласия... Не делай мне упреков,— присовокупила она, пленительно улыбаясь,— теперь я вдвойне счастлива: исполнила свой долг и... твоя раба. Я буду стирать тебе белье!..

Если б я был султаном, в эту минуту я подарил бы ей Константинополь и всех бородатых турок.

Мои тайные беседы с Еремеем становились час от часу сериознее. Тысяча рублей, выданная за Меймене, воз-

награждение Мустафе, европейское платье для моего нового товарища и, наконец, третье прибылое лицо в нашей перотской квартире довели мой кошелек до крайнего истощения. Еремей не думал сердиться за то, что я перестал давать ему жалованье, и без околичностей ходил есть *кебаб* в мясной лавочке взамен французского обеда у мадам Джузеппино. Он безропотно переносил все лишения и готов был бы, нахлобучив колпак дервиша и кормясь мирским подаянием, отправиться домой через Иерусалим и Мекку, только бы я был доволен. Но мои нравы! О нравах моих он только и хлопотал. «Что скажет ваша матушка, Аграфена Васильевна? Что с этой девочкой, когда вы приедете домой? Куда вы денете ее в Одессе? За кого примут ваши знакомцы эту взрослую сопутницу? Что вы можете для нее сделать? И пуще всего, как от нее отделаться, если она прильнет к вам всей душою?»

— Матушка, Александр Андреич, изволили строжайше наказывать...

— Ерема! друг мой!..

Я задушил его в своих объятиях.

Мы плыли к знаменитым Симплегадам. Мой добрый ментор воспользовался попутным ветром, чтоб завесть решительную речь об ответственности, которой я подвергаю его *личность*, и огорчении, какое готовлю матушке и всему семейству, а Меймене сидела между моих ног на дне каика, глядя мне в лицо такими глазами, которые будто хотели выведать из глубины души причину моего смущения. До того времени мы редко говорили по-русски в ее присутствии: прискорбие видеть себя исключительною из нашей беседы проступало в чертах ее таким мучительным выражением, что я почитал жестокостью доводить ее до этого. Она не смела спросить меня словами, отчего я расстроен, но по звуку Еремеева голоса догадывалась, что он чем-то недоволен. Она бросила сердито-испытующий взгляд на его пасмурное лицо, украдкой сунула мне под шинель руку и тихонько положила ее в мою. В этом движении было столько нежной доверчивости, что у меня навернулись слезы: с ласковой улыбкою наклонил я к себе мою простодушную Меймене и, целуя ее в лоб, чувствовал в себе твердую решимость не покидать этого милого создания до тех пор, пока сама она не отвергнет моего куска хлеба, и даже посвятить ей жизнь, если это будет нужно для защиты ее от нареканий света. Когда я вертел этот лист в книге моего сердца, спокойствие водворялось в груди моей — я чувствовал, что мой добрый ангел парит надо

мною. Еремей между тем заговорил о завтраке; наш легкий каик весело скользил в Черное море.

— Ну, любезный Еремей! — сказал я, когда мы уселись около бумажного блюда кебабов на господствующей высоте Симплегад,— вот мы и у крайнего предела наших странствий. Полно путешествовать! Я далее не еду. Отсюда воротимся мы в Россию, на свою сторону.

Он не отвечал ни слова. Я видел, что грусть его возрастала с каждым куском кебаба; по моим соображениям, причиной тому была дума о связи моей с цыганкою — я решился развеселить его во что бы то ни стало.

— Да, Еремей! мы едем в Россию,— повторил я.

Рот его был так плотно набит кебабом, что я должен был дать ему несколько минут времени для ответа.

— К сентябрю будем в Новгороде, Еремушка!

Он молчал.

В обычном расположении духа, при первом слове о возвращении на родину, он затянул бы непременно: «Уж ты, матушка, родная сторона!» — но теперь облако печали подавляло у него даже вспышки патриотизма.

— Едем восвояси,— наконец, сказал он,— а что оставляем за собою! На этом прекрасном суденышке несемся по Босфору, меж роз и цветущих деревьев, как во сне. Есть ли где другой такой город в подсолнечной? Где еще так тепло, так зелено и народ такой честный? Мы объездили с вами Немечину, Англию, Голландию, Италию, Сицилию, Грецию: что ж мы там видели, кроме труда и беспрерывных забот? Наша сторона, например, лучше других земель, а все-таки рабочая. У нас на Руси некогда полениться, как в здешнем краю: умрешь с голоду, замерзнешь, пропадешь! В поте лица ешь хлеб свой — а праздность ведь не худое дело! Признаться вам, сударь, по совести: я люблю этих ленивых бусурманов! Туфли мешают им торопиться; платья широкие нараспашку: чудо, а не житье! Посмотрите вы, какие у них дачи! И богатому, и бедному — всем здесь одно раздолье — лень и солнце. Пахучий воздух, гулянье вволю, каик на воде, беседка на пригорке — вот все их благополучие; а кто здесь этим не пользуется! Они живут, поджавши ноги. Право, сударь, они умнее нас, даром что нехристи!

Я пришел в совершенное остолбенение, слушая вспышку этого пламенного взрыва долго придавленной и таившейся под спудом философии. Мой дядька просветился!

— Помилуй, Еремей, что ты это?

— Как что-с? Да есть ли в свете народ добрее турок? Мне здесь так понравилось, что если б вы меня отпустили, я готов был бы идти с Меймене в Сардисские степи и сделаться цыганом, а назад бы не поехал.

— Хочешь идти с ним в Сардис, Меймене?

— Signor, no!

Я страстно сжал ее в своих объятиях и осыпал ее благородное чело горячими, как огонь, и, как огонь, чистыми поцелуями. Добрая моя Меймене! мы не расстанемся с тобой до гроба!..

Уж, право, не знаю, что сказала бы матушка — а я непременно сделал бы *глупость!..* Увы, увы, недели через три после этого моя милая, моя несравненная Меймене уже не существовала! Она на одесском рейде умерла от чумы, которую мы привезли из Константинополя.

Меймене! ты мелькнула передо мной, как падающая звезда, и угасла навеки. Но это дивное слияние прелестей, этот жаркий взор чистейшей любви, который ты так часто вперяла в меня с невинной радостью, неизгладимо остались в душе моей, и никогда дума о другой не потемнит в ней этого светлого воспоминания!

1834

ВИСЯЩИЙ ГОСТЬ

Происшествие неправдоподобное,
*потому что истинное**

Как это случилось, что в течение пятидесяти столетий до рождества Христова и восемнадцати столетий после рождества Христова люди не знали ни достоинства разбойников, ни прелести разбойничьей жизни? что они только теперь спохватились, что в свете нет ничего занимательнее, прекраснее, возвышеннее, изящнее порядочного разбойника?.. Это, верно, оттого, что человечество, ведомое историческою судьбою народов, неуклонно стремится более и более к совершенству и теперь уже подвинулось к нему довольно близко. Я думаю, это оттого!

Как бы то ни было, но, продвинувшись к совершенству, теперь и сам я вижу, что предмет самый богатый, самый достойный пера поэта, прозаика и философа, есть разбойник. Посмотрите, сколько людей прославилось в на-

* Случилось в одной из западных губерний.— *Изд.*

ше время великими писателями и мудрецами, описывая только добродетели разбойников и разбои добродетельных! В самом деле, что может быть честнее и кротче изверга, душегубца? что для общества вреднее честного человека, который никому не свернул головы?.. Это, кажется, не требует никаких доказательств, тем более что это уже неоспоримо доказано во всех новейших французских романах, не считая самой новейшей диссертации великого защитника воров, г. Виктора Гюго: зри «Claude Gueux»* Ежели так, давайте же мне извергов, головорезов, мучителей, каторжников, великих плутов, великих воров, великих романтических героев — я буду великим писателем! Давайте ножи, топоры, плахи, палицы; давайте ужас и смерть — сто, двести, тысячу смертей — как можно более смерти и крови! Кровь есть лимонад модной словесности. Этот слог есть слог Жанена. Позвольте мне сделаться великим писателем через разбойников! У вас тоже будет Юная словесность.

Вы не хотите дать мне этой безделицы?.. А! вы не хотите, чтоб я достиг литературной знаменитости через разбойников! Так скажу вам правду, что я и сам не хочу этого. Однако ж надо шествовать с веком; надо же и у нас говорить что-нибудь о разбойниках, когда вся просвещенная Европа бредит ими и поэзиею живописного их ремесла — а то назовут нас невеждами, людьми, лишенными образованности и тонкого вкуса. Поистине, случай весьма затруднительный! Как быть?.. Для спасения чести нашей изящной прозы я готов пожертвовать собою и воспеть какой-нибудь разбойничий подвиг — но с условием, что это будет в первый и последний раз моей жизни, что потом никогда уже не станете требовать от меня подобного самоотвержения. На этом условии — делать нечего — перекрестясь, расскажу вам нечто по *сей* части: расскажу простой анекдот, который рассказывали мне верные люди, прекрасно рассказывающие всякие анекдоты. Он оставил во мне глубокое впечатление как доказательство дивных путей небесного правосудия.

В двух верстах от ....

Еще одно условие: позвольте, чтоб мой разбойник был без добродетелей. Я рассказываю простой анекдот, только для вашей потехи, быть может, и для вашего наставления, а не для того, чтоб прослыть философом юной литературной школы: притом же я ставлю себе в честь не понимать ее философии.

* «Клод Ге» *(фр.)*.

В двух верстах от В — а стоит загородный дом — деревянный, с зеленою крышею, уже не новый — под лесом, при болоте, за рекою, на возвышении, в некотором расстоянии от большой дороги. В этом доме живет обыкновенно все лето и часть осени Гаврило Михайлович П***, отставной капитан, уездный судья и очень добрый человек, как все уездные судьи В — ой губернии.

В августе месяце 1830 года, поутру, в воскресенье, почтеннейший Гаврило Михайлович с почтеннейшею Прасковьею Егоровною, своею супругою, отправились в бричке в город за разными делами, не терпящими отлагательства,— в церковь помолиться богу, к протопопу напиться настойки, к прокурору откушать ботвиньи, к предводительнице узнать о сплетнях, к откупщику прочитать «Санкт-Петербургские ведомости», в губернатору поиграть в бостон. Чуть господа за ворота, люди тоже со двора: дворецкий к свату в деревню, лакей в гости к приятелям, повар в кабак за водкою, поваренки на реку за раками, Прохор с Дарьею в лес за орехами. Васька с Наташей в болото за черникою и тому подобным. В доме осталась одна Дуня — Дуня, единственная в целой В — ой губернии, белая, розовая, стройная, веселая, добродетельная, царапливая — горничная по своему званию — по качествам души, любимица Прасковьи Егоровны, предмет частых прогулок Гаврилы Михайловича в девичью, жертва противозаконной страсти канцеляристов уездного суда к поцелуям, идол, для которого губернаторский лакей, воспитанный так же, как и она, в столице, в большом свете, на Невском проспекте, никогда не успевал дочистить сапогов своему господину, к немалому соблазну всей губернии. Один он в тех странах был в состоянии понимать ее чувства; одна она в том городе умела оценить его образованность. Они обожали друг друга, как только пламенные души обожаются в Петербурге, у Казанского моста, и были счастливы, как только можно быть счастливым в провинции.

Девушки, оставшись одни в доме, всегда боятся воров. На этом основании Дуня заперла наружную дверь ключом и, чтоб не думать о ворах, пошла поглядеться в зеркало, в ожидании несравненного лакея, которого предварила она накануне, что господа на весь день уедут в город. Дуня весело поправляла свои локоны, потягивала платочек на груди и пожимала кушак, напевая сквозь зубы:

Мужчины на свете, как мухи, к нам льнут! —

как вдруг послышалось легкое стучание в двери.— Это

он!..— И она стрелою полетела отворить ему.— Ах!! это не он!

— Это я! — отвечал ей грубым, сиплым голосом, тихонько вмыкаясь в двери, огромный мужчина в изорванной байковой шинели и грязной бесцветной фуражке; черный, давно небритый, с страшными рыжими усами и красным носом, с разбитым лбом, синими губами и убийственным взглядом — прямой тип председателя записных посетителей городских кабаков, или одна из тех адских фигур, какие можно видеть только на картинах Сальватора Розы, совершенно почерневших от времени в тенях и сохранивших яркие краски на освещенных выпуклостях, как будто нарочно для того, чтоб придать более ужаса дикому их выражению.

Дуня в испуге отскочила на несколько шагов и, вздохнув из глубины сердца, еще раз произнесла в душе: «Это не он!!.» Между тем незнакомец с красным носом вошел в сени, преспокойно замкнул двери и ключ положил в карман.

Чего вы хотите? Кто вы таковы? — вскричала Дуня. На что берете ключ?..

— Не бойся, душенька! — отвечал он, смеясь.— Я пришел к тебе в гости. Верно, тебе скучно одной в доме?

— Извините!.. Зачем вы берете ключ?

Он, вместо ответа, подошел к ней и потрепал ее по лицу. Она отскочила еще далее.

— Зачем замкнули вы дверь?.. Отдайте ключ! Я стану кричать.

— Понапрасну! Ведь я знаю, что никого нет на мызе.

— Вот новость! Пришел и запер дверь замком, как в своем доме!

Я всегда замыкаю дверь, коли мне случится быть наедине с такою красавицею, как ты, голубушка!

И опять потрепал он ее по лицу своею жесткою и неопрятною рукою. Она отскочила в угол с негодованием.

Но кто вы таковы?.. Это очень нехорошо, так, без всякого знакомства, шалить и беспокоить девушек...

— К знакомцам я не хожу в гости,— отвечал он холодно, переменяя выражение лица. И эти слова произнес он таким грубым, таким хриплым, пещерным голосом, что насквозь пронзил им бедную девушку.

Дуня во всех передних и в уездных канцеляриях слыла очень храброю: не так легко можно было укротить ее! Не одному дерзкому канцеляристу так оцарапала она лицо ногтями, что он будет помнить ее и дослужившись до

столоначальнического сана. Дуня поистине делала честь петербургской добродетели. Но робкий провинциальный канцелярист с пальцами, упитанными чернильною влагою,— безделица для девушки, получившей воспитание в одном из лучших модных магазинов Невского проспекта; совсем иное дело небритый бродяга, плечистый и гадкий, в байковой шинели, с рыжими усами и фиолетовым носом. Его бы всякая испугалась. Дуня начала плакать.

— Не плачь, родная! Я не сделаю тебе никакого вреда, сказал он, смягчая голос и примкнув к ней поближе.

Она испугалась смягченного голоса еще более и выпрямила руки вперед, чтоб не допустить его к себе

Спрашиваю, кто вы таковы? — вскричала она, наконец, в отчаянии, но с притворною в лице смелостью, огонь которой постепенно погасал под катящимися слезами.— Прошу тотчас сказать, кто вы?

— Кто я?

— Да, кто вы?.. Ваш чин, имя и фамилия?

— Я вор.

— Вор!! — повторила она со страхом и побледнела как снег.

— Моя фамилия вор, а мой чин разбойник,— примолвил он и улыбнулся, нежно глядя ей в глаза; но улыбка среди его лица походила на отблеск плесени, плавающей по луже грязи, освещаемой луною. Это слог хороших повестей о разбойниках, и вы видите, что дело идет не на шутку: после этой фразы должно ожидать всех ужасов. Дуня ощутила от нее (от улыбки, а не от фразы, а может, и от фразы) холодную дрожь во всех членах. Видя, однако ж, что он только издевается над ее страхом, она немножко ободрилась и быстро возразила дрожащим еще голосом:

— Разбойник?.. Фуй, какой гадкой чин!

— У всякого свое звание!.. Прежде у меня было другое, но теперь нахожу... Дай мне, красавица, чего-нибудь поесть. Я уже третий день ничего ртом не отведал. Позавтракаем вместе, а потом...

Он внезапно закинул свою руку за ее шею и хотел поцеловать в самый ротик. При виде щетинистой бороды и страшных усов, так дерзко лезущих на приступ, при виде этого красного, отвратительного носа, уже почти касавшегося ее щеки, она одушевилась гневом, злостью, силою, какую сообщает только опасность в минуту погибели, и оттолкнула его от себя.

— Извините, господин разбойник!.. Это нейдет! Прошу

напрасно не пугать меня: я знаю, зачем вы сюда пришли!

— Знаешь?.. А зачем?

— Уж мне одной ведать об этом! Только позвольте себе доложить, что это очень невежливо... я буду жаловаться. Сейчас отдайте мне ключ и убирайтесь отсюда!

— Завтрак! — грозно вскричал незнакомец.

— Нет завтрака! — вскричала Дуня.— Кушанья никакого нет в целом доме. Ступайте завтракать в кабак. От вас уже и так несет сивухою: вы уже, видно, хорошо позавтракали.

— Как нет кушанья? — возопил он адским ревом, сморщил усы и устремил на нее сверкающий взор, хватаясь правою рукою за сапог.— Видишь ли!.. — и показал ей широкий нож, на котором пестрели мелкие полосы черной грязи, следы недавно добытой крови и где-то наскоро обтертой о траву.— Видишь ли, что я шутить с тобою не намерен?

Девушка оцепенела. Он остолбенил ее своим ехидниным взором, который с умыслом напрягал изо всей силы и вонзал в неподвижные ее зеницы.

— Завтрак!

— Сейчас.

— Мигом! Мне недосуг.

— Берите, сударь, что вам угодно: в шкафу есть вчерашнее жаркое и наливки.

— Проводи меня в комнаты. Поставь все, что есть, на стол. Шевелись!

Дуня, у которой колени тряслись от страху, бледная, расстроенная, тихо пошла к шкафу, стоявшему в передней. Он спрятал нож в сапог и не отставал от нее ни на шаг. Хлеб, водка, соль, масло, сыр и жареная телятина мгновенно были перенесены на стол, на котором недавно завтракали сами хозяева перед выездом в город. Он уселся и, взяв Дуню за руку, посадил ее подле себя.

— Ну, что? — сказал он, с волчьей жадностью пожирая телятину и поглядывая исподлобья на свою соседку.— Я напугал вас порядком?

— Конечно!.. Всякая может перепугаться!

— Напрасно вы прекословили! Если б вы тотчас меня послушались... За ваше здоровье!.. Выпейте со мною рюмочку, для компании.

— Я водки сроду не пью.

— Жалко! А водка славная!.. Как вас зовут?

— Катерина Николаев...

— Врешь!.. Неправда! — вскричал он ртом, набитым

яствою, и посмотрел на нее сурово.— Я знаю, что тебя зовут Авдотьею Еремеевною.

— Зачем вы спрашиваете, коли знаете?

— Спрашиваю, чтоб испытать твою откровенность. Славная водка!.. Нет ли еще такой?

— Есть еще одна бутылка в шкафу.

— Пожалуйста, принеси ее сюда.

— Вон она!

— Спасибо! Позвольте же теперь поцеловать вас за то.

Дуня уже не смела сопротивляться и смиренно подверглась жестокому поцелую. Он чуть не расцарапал ей щеки своей тернистой бородою. Она только потерла это место.

— Мало ли что я знаю? — присовокупил он, проглотив третью рюмку водки.— Вот, например, сказать, я знаю, что повытчик принес вчера Гавриле Михайловичу полторы тысячи рублей от Ивана Ивановича Ф***, которого дело поступило в уездный суд на прошедшей неделе. Так ли?

— Быть может!

— Ну, а где Гаврило Михайлович держит свои деньги?

— Право, не знаю!

— А я знаю! Мы найдем их... Авдотья Еремеевна! душенька! голубушка!..

— Что вам угодно?

— Мне желательно, чтоб вы улыбались.

Бедная Дуня принуждена была улыбаться. Гость был в отменном расположении духа: он смеялся, шутил с нею. Дуня тоже мало-помалу забыла о страхе: она поднялась на бойкость, защищалась, где следует, даже хохотала, стараясь поддельною веселостью прикрыть свое омерзение и пламенно молясь богу, чтобы гадкий гость с красным носом скорее наелся, напился и ушел и чтобы несравненный Иван скорее пришел вознаградить ее своею чувствительностью за это ужасное мучение.

Увы! Иван, отпросившись у губернатора, шел к ней из города дорогою скорым шагом, с сердцем, исполненным неги и надежды. Он не шел, а летел; любовь приделала к его сапогам собственные свои крылья. Он летел стрелою. Но на пути была штофная лавка: штофные лавки есть на всех путях. Он хотел пролететь мимо. Но в штофной лавке были его приятели, его друзья. Он завернул к ним на минутку, только на минутку — и напился вместе с ними. Это случилось против его воли: сам он был от этого в отчаянии...

Но это была одна из достопамятнейших побед дружбы над любовью.

Между тем гадкий бродяга допивал шестую рюмку водки. При седьмой он призадумался, нахмурил брови и скривил губы, как бы от припадка внутренней боли; черная тень прошла летучим облаком по его глазам и лицу, и он невзначай вскочил со стула, толкнув неумышленно Дуню, которая чуть не упала ему под ноги. Он с беспокойством оглянулся во все стороны, потом взял со стола бутылку с водкою, хлеб и кусок мяса, положив все это в бездонный карман под шинелью, и сказал:

— Благодарствую за хлеб, за соль... за угощение-с. Гаврило Михайлович прячет свои деньги в этой конторке, не правда ли?.. Ну что ж, говори! Видишь, что я не такой злой, как тебе, душенька, сначала показалось. Я добрый человек! Я тебя люблю... очень люблю!.. Скажи только, как бы лучше ты хотела умереть?.. Чтоб я тебя зарезал, э?.. или чтоб я тебя повесил, вот, например, на этой балке? Говори смело, моя любезная Дуня...

— Что вам за охота стращать меня так неблагопристойно? — возразила девушка с улыбкою на устах и со слезами на глазах, не веря, чтоб гадкий шалун с красным носом говорил это сериозно.

— Что ж не отвечаешь? — сказал он, пристально осматривая конторку и находящийся в нем замок. — Желаю знать... хочешь ли скорее... быть... повешенною, али... А!.. Гаврило Михайлович запирает свои деньги двумя замками?.. Постой!.. Не такие мы отпирали.

И говоря это, он вынул из кармана железный инструмент, которым тотчас принялся отпирать замок конторки. Дуня, остолбеневшая и дрожащая всем телом, стояла посреди комнаты.

— Ну что?.. Говори смело. Авдотья Еремеевна! Не можешь решиться?.. Экой чертовской замок!.. Авдотья Еремеевна!.. Я, сударыня, ожидаю от вас ответа... Давно уж не попадал мне такой крепкий ящик!.. Скажешь ли, или нет?

Крыша конторки отскочила вверх с треском.

— Ох, сколько тут добра божьего! Ассигнации!.. и червонцы!.. и часы!.. Не ходят: видно, испорчены... Перстень!.. Он мне не нужен. Вот этот алмаз я возьму: это все взятки?..

Так рассуждая с самим собою и Дунею, он поспешно прятал в карман и за пазуху найденные в ящике деньги, часы и драгоценности; потом быстро оборотился к помертвелой девушке.

— Теперь слушаю ваше решение, сударыня! Не теряйте времени и говорите: какою смертию желаете вы умереть?

— Да что вы, сударь! Как вам не стыдно?.. Эти шутки уже, право, некстати!

— Я не шучу, любезнейшая.

— Что ж я вам сделала? Вы взяли, что вам было угодно: я не препятствовала...

— Оно так, но, изволишь видеть, я не люблю оставлять после себя свидетелей: я истребляю их всеми средствами. У других никогда не спрашиваю согласия; но как вы, сударыня, такая милая, такая хорошенькая, вежливая, то предоставляю вам самим избрать себе род смерти. Я люблю вежливость; я тоже воспитан в Петербурге...

Ей все еще не верилось, чтоб он говорил правду.

— Ну, говори скорее; мне недосуг. Оставим церемонии. Мне очень жалко, но ты должна погибнуть от моей руки. Я не дурак оставлять тебя в живых, чтоб ты после рассказывала, какие у меня уши, нос, глаза, платье, что я здесь делал и куда ушел. Ну, Авдотья Еремеевна! отвечай проворнее.

Каждое слово хладнокровного мучителя поражало ее новою смертью; вся ее кровь, вся жизнь сбежалась и заключилась в сердце; члены ее оледенели, и обильные слезы струились уже по безжизненному лицу. Она зашаталась и упала на землю. Падая, она ухватилась за его ногу, начала целовать ее.

— Прости меня! — кричала она, рыдая.— Помилуй меня, отец, судья, благодетель!.. Клянусь богом, клянусь Пресвятою, не скажу никому ни словечка!.. Пусть лишусь царствия небесного, если произнесу хоть полслова!.. Ради Христа, ради святого чудотворца Николы, сжалься надо мной!.. Буду за тебя век молиться, как за отца родного, спасителя, брата...

Непоколебимый изверг стряхнул ее с своей ноги и толкнул в грудь. Тщетно протягивала она к нему умоляющие руки и взор; тщетно старалась смягчить каменное сердце всем, чем только последнее отчаяние и любовь к молодой и розовой жизни могут одушевить слова, голос и слезы слабого, нежного создания. Гранит растаял бы от теплотворной их силы — злой человек сделался еще жесточе и свирепее. Выходя из терпения, он поймал ее за волосы, отвалил голову ее навзничь, выхватил нож из сапога, чтоб вонзить его в горло.

— Ай!.. Христа ради! — завизжала несчастная девуш-

ка, пораженная видом ужасного орудия.— Лучше повесить!.. лучше повесить!.. Отец родной, не закалывай... пощади меня!.. Уж лучше повесь!

— Ну, видишь! — сказал он с кровавою усмешкою,— теперь умеешь говорить! Зачем же вдруг этого не сказала! Хоть я много потерял времени, но нельзя не оказать милости. Ты такая любезная!.. Не бось, Дуня! Умрешь приятным образом. От ножа умирать скверно. Я сам желал бы, чтоб меня повесили, вместо того чтоб сечь кнутом, ежели когда-нибудь поймают. Пойдем искать веревки!

Бедная девушка, лишенная сил и памяти от страха, холодная как лед, трепещущая, без мысли, без чувствований, повиновалась во всем жестоким его приказаниям. Веревка скоро была приискана, и мучитель возвратился с своею жертвою в ту же комнату, где еще стояли остатки ужасного завтрака. Он погрозил, что зарежет ее тотчас, если она осмелится хоть шагом тронуться с места, поставил стул на столик и вскочил на него с необыкновенною ловкостью. Просунув веревку между поперечною балкою и потолком, он вынул нож из-за сапога, отрезал лишнюю ее длину, нож на время заткнул за балку и стал завязывать веревку двойным узлом. Дуня стояла неподвижно посреди комнаты; жар и холод быстро пролетали по ее телу; перед ее глазами мелькали яркие огненные цветы; она ничего не видала, только молилась богу, приносила покаяние за грехи, поручала себя всем святым и мысленно прощалась с возлюбленным.

— Сейчас, сейчас, бесценная! — приговаривал душегубец, продолжая работу.— Увидишь, как ловко я тебя повешу!.. Для меня это дело не новое... Вот уже все готово, только надо попробовать, крепка ли веревка. Мне очень было бы досадно, если б ты сорвалась и поломала себе ребра. Моя и твоя польза требует... Вынь стул из-под меня!

Дуня бесчувственно подошла к столику и взяла стул из-под его ног, тогда как он, держась обеими руками за веревку, обвивавшую правую его руку почти по локоть, чтоб удостовериться в ее крепости, повис на ней всею тяжестью тела.

— Оттащи столик в сторону!

Дуня оттащила столик.

— Хорошо!.. веревка славная! Сдержала бы не одну тебя — тебя и меня вместе.

Тут он пустил веревку и хотел скочить на пол; хотел, вероятно, удивить злополучную дерзким и опасным прыжком; но приготовленная для нее петля, скользя по руке,

вдруг сомкнулась у самой кисти. Палач Дуни действительно сам повис — *за руку.*

Он уже висел, негодяй! Он ощущал пронзительную боль под кистью и еще не хотел дать уразуметь девушке о своем приключении, чтоб она им не воспользовалась и не убежала. Он старался достать левою рукою до кисти, но тяжесть косвенно висящего туловища препятствовала ему привести плеча в уровень. Он вдруг стал неистово метаться и вертеться в воздухе, надеясь разорвать веревку,— и это оказалось бесполезным! Если б, по крайней мере, нож был у него в сапоге! Он мог бы отрезать им веревку; не то отрезать свою кисть и спастись бегством. По несчастию, нож остался на балке! Как тут быть?..

Он придумал еще одно средство — отчаянное, последнее: совокупил весь свой дух и свои силы, раскачался на веревке и прыгнул всем телом вверх, как удав, издали бросающийся на быка, чтоб обвить и смять его в своих кольцах. Он хотел ухватиться ногами за балку и добраться до ножа... И это не удалось!

Тяжесть дюжего туловища, поднятого в воздух на упругости членов одной руки, насильственность движений, давление накрепко сжатого узла причиняли извергу мучения настоящей пытки: кости у него вывертывались и рвались; кровь лилась в рукав из-под веревки, прорезавшей кожу; внутри кровь из руки и груди с жаром неслась в голову. Поминутно казалось, будто рука разорвется. Он уже желал бы, чтобы она лучше разорвалась! Опасения скорого возвращения людей, страх быть пойманным в этом положении, нетерпение, досада, злодеяния, разбои, казнь — вся его преступная жизнь, все странные ожидания его жизни сперлись в мутном его воображении, запрудили его, взволновали и заставили разлиться волнами горького отчаяния по мрачным пропастям души его. Холодный пот выступил на его челе. Несмотря на тигровую его терпеливость, страдания, наконец, исторгли из железной груди стон жалкий, болезненный.

Дуня, в своем остолбенении, поглощенная бездонною мыслию о предстоящей смерти, все это время смотрела на его движения без любопытства и без удивления. Она долго не понимала, что такое он делает, и даже не пыталась понять его действий. Неизбежная погибель обняла уже все ее понятия и чувства гробовым усыплением. Она еще стояла, но уже не жила. Но внезапный стон злодея разбудил ее. Она увидела, как бы из просонья, кровь на нем, кровь на полу, ужасно разинутый рот, обнаженные крив-

лянием зубы, красные, выкатившиеся глаза; она прочитала его страдания на взрытом, измученном лице и отгадала все дело. Ум ее озарился надеждою; она уже начинала думать о своем спасении.

— Авдотья!!!.. подвинь столик! — закричал он измененным, но еще грозным и повелительным тоном, который опять пронзил ее испугом и принудил к слепому повиновению воле убийцы. Она снова потеряла присутствие духа. Несчастная Дуня подвинула к нему угол столика. Изверг успел достать его пальцами одной ноги: он оперся, поднял вверх на несколько линий собственную свою тяжесть и тяжесть своей совести... То была для него минута небесной сладости! Никогда еще не ощущал он другой подобной в жизни, даже после удачного убийства. Боль облегчилась; он отдохнул. Но левая рука, которую хотел он употребить к освобождению кисти из роковой петли, уже омертвела, лишилась силы и жизни. Петля затиснута была слишком тугом. Негодяй почувствовал, что сам собою ничего он не сделает.

— Авдотья Еремеевна!.. друг мой!.. мое сокровище!.. кормилица!.. спасительница!.. сделай милость!.. взлезь на столик сама!.. отвяжи мою руку!.. Я прошу тебя!.. Оставлю тебя живою... Я хотел только пошутить... Ах, голова кружится!

Страдания изверга растрогали сердце доброй девушки. Чувство сострадания в женщине нередко подавляет мысль о личной опасности: женщина мыслит сердцем — сказал кто-то недавно в тысячу триста двадцать второй раз от вымышления типографии. Сострадание заняло в Дуне место страха, потушило голос любви к жизни. Она взлезла на столик и долго-долго мучилась с узлом — и не могла распустить его.

— Сделай милость!.. благодетельница!.. поищи ножа!.. Разрежь эту проклятую веревку! Я умираю от боли...

Девушка соскочила со столика и побежала в буфет. Бедная девушка! она не знает, какую награду готовит ей гость с красным носом за ее доброе сердце. Она отыскала нож; уже бежит к нему; уже вбежала в двери той комнаты, где находился страдалец, как вдруг столик, на который опиралась его нога, опрокинулся с ужасным стуком. Он только хотел переменить ногу, зашевелился, подавил угол столика другою ногою и лишился своей опоры. Он опять повис в воздухе всем телом! Пронзительный рев был зна́ком нечаянного возобновления прежних страданий. Дуня остановилась в дверях. Искривленное диким образом

лицо его проникло ее невольным ужасом: ей казалось, что она видит лицо сатаны. Это лицо приковало ее к месту: она дрожала и не смела сделать ни шагу вперед.

Как быть? Она оглянулась и увидела подле себя открытое окно: ей даже не пришло на мысль, что можно им воспользоваться. Но он так страждет! Ах, как он ужасно кричит!.. Уж надо ему отрезать веревку!.. Дуня подвинулась шага на три вперед. Ах! какая страшная рожа!.. Дуня отскочила назад и машинально, сама о том не думая — прыг!— и выскочила в окно на двор.

Очутясь на дворе, она сама еще не знала, что сделала и что ей остается делать. Она только ушла от страшной, сатанинской его рожи, а не от него. Этот человек заколдовал ее своим взглядом! Он еще был хозяин ее жизни! Колени шатались под нею: она не смела удалиться от окошка.

— А!!.. чертовка!..— возопил свиреным голосом изверг, боровшийся с пыточными терзаниями своей выдумки.— Умно же ты сделала, а то я бы зарезал тебя, как курицу!

Эти слова, произнесенные с болью, с отчаянием, со злостью, мигом возвратили девушке ум и память. Она помчалась за ворота. В ужасной шутке злодея заключалась его же ужасная погибель. Думал ли он, что завязывает эту петлю для себя? Думала ли она, что это страшное мгновение, когда одна ее нога уже стояла в гробу, было минутой спасения невинности и примерной казни злодеяния? Здесь было Провидение! Оно есть всюду. Те лгут бесчестно, которые утверждают, будто порок и преступление одни счастливы в этом мире.

Она бежит, бежит изо всей силы: никого не видно! Она бежит далее; уже у нее заняло дух; уже она выбивается из сил, все еще не смея оглянуться, чтоб не увидеть позади себя этой страшной рожи, чтоб опять не попасться в его руки... Нигде ни живой души!

Она взбежала на возвышение.

— Ах! это наш управитель!.. Вот и наш Васька! И Прохор!.. Ах, и он с ними!

Он, то есть несравненный Иван, лакей губернаторский. Все они возвращались из кабака, счастливые, как души в раю, беззаботные, веселые, распевая любовные песенки, покидывая шапки вверх, злословя своих господ и исчерчивая дорогу бесконечным зигзагом. Дуня полетела к ним. Она была бледна, с растрепанною косою, с выпученными глазами, без платка на груди, в совершенном расстройстве. Они встретили ее плоскими шутками.

— Ступайте скорее! — кричала она.— Он повис!.. висит... висит, злодей!.. Скорее, братцы!

— Ах, любушка, голубушка! — кричали они, смеясь.— Кто висит?.. где?.. Поцелуй нас, Дунюшка!.. Любо жить на этом свете!

— Висит, говорят вам!.. Не смейтесь!.. Бегите на мызу!.. Берите колья, топоры, ружья!.. Вор! разбойник! грубиян: с усами и с красным носом!.. Хотел меня зарезать как курицу, повесить!..

Они ускорили шаги, вооружились чем кто мог и, выломав дверь в сени, вошли в покои. Он уже был без чувств: кровь лилась из него ртом и носом; рука, на которой он висел, вытянулась на пол-аршина более против прежней меры. Они сняли его с веревки и связали.

По возвращении почтеннейшего Гаврилы Михайловича и почтеннейшей Прасковьи Егоровны из города, в тот же вечер был он отправлен в тюрьму и предан в руки правосудия; и правосудие призналось с удивлением, что оно никогда еще не видывало такой длинной руки!

1834

ПОТЕРЯННАЯ ДЛЯ СВЕТА ПОВЕСТЬ

§ 1

О ТОМ, КАК МЫ ОТПРАВИЛИСЬ ОБЕДАТЬ В ПАРГОЛОВО

Наконец, положено было собраться к Якову Петровичу, который жил в Болотной улице — что между Пустой и Безымянной — и оттуда уже всем вместе идти к омнибусам. Яков Петрович и Лука Лукич накануне были избраны распорядителями *сего parti plaisir**, как изъяснялся Иван Никитич на разных диалектах, и они взяли с собой все нужное — самовар, кремень, огниво, трут, горсть угольев в носовом платке, фонарь, свечку, скатерть, салфетки — нет, к чему салфетки! по зрелом соображении, мы разочли, что дело загородное, своя компания, можно обойтись и без салфеток — чайник, чашки, тарелки, три мелких и две глубоких, блюдо, ножей, вилок, ложек — пару занял он у хозяйки и три у знакомого трактирщика, с которым некогда имел делишки,— лимонов, сахару, перцу, соли, стаканов, рюмок,— впрочем, лгать не стану: статься может, что рюм-

* полезное удовольствие *(фр.)*.

ки не было ни одной,— сельдей, колбасу, окорок, уксусу, хрену, белого хлеба, сыру, редьки, масла — сливочного и прованского, жареного петуха и огромную кулебяку. Все съестное и все относительное к пуншу Яков Петрович забрал в соседней мелочной лавочке, тоже по знакомству. Максим Козмич явился с парою холодных сигов, Иван Никитич с частию поросенка, Галактион Андреич с куском жареной говядины, Лука Лукич со штофом отличной домашней настойки и бутылкой красного, Илья Никифорович с тремя бутылками дрей-мадеры, наконец, я сам с двумя бутылками рому, также с картузом трехрублевого табаку и пучком сигарок с перышками и без перышек — ad libitum* — так что было чего и поесть, и попить, и покурить, сколько душе угодно.

Мы сошлись с удивительною точностью, ровно в одиннадцать, хотя жили один на Петербургской стороне, а другие в Гавани, и через час сидели уже в омнибусе — точнее, на омнибусе, потому что один только Яков Петрович не хотел подняться на империял, а Максим Козмич сел с ним вниз только для компании. Трясясь на высоте колесницы — немножко похожей на погребальную, но это не наше дело,— мы всю дорогу рассуждали о «горах» Парголовских — Галактион Андреич (бывший в юности, кажется, придворным певчим) спел по этому случаю большую малороссийскую арию *«Пид горою Маруся»* — и о невыгодах, сопряженных с высокими чинами. Лука Лукич первый заметил: «Вот, например, Яков Петрович! дослужился до седьмого класса и поневоле садится уж в первое место в омнибусе. Что бы ему взобраться на империял!» Тут пошли толки о независимости и близости к милой простоте природы чинов четырнадцатого, двенадцатого и десятого класса — отчасти даже девятого. Такие рассуждения могут казаться мелочными сторонним людям, едущим шибко в Парголово в своих колясках, но надо знать, как облегчают они сердце деловое, экс-канцелярское, не испорченное высокоблагородием, на пути от Гостиного Двора до Поклонной Горы, где кучер деспотически приказал нам слезть с империяла, потому что его чахлые четыре клячонки не могли встащить на гору всей нашей компании с провиянтом. Мы хотели спорить, но он отвечал, что омнибусы имеют на то привилегию. Далее мы ехали довольно скоро — кучер разгорячился, обгоняя чухонскую одноколку,— и приехали бы на место почти без приключения, если б одна из четырех лошадей не пала и не око-

* по желанию *(лат.)*.

лела на осьмой версте. Злополучная! она околела в половине пути, хотя имела привилегию ходить десять лет беспрепятственно от Городской башни до самого Парголова.

Мы наконец приехали. Яков Петрович, принявший на себя почетное звание хозяина — он превосходно знает Парголово,— повел нас прямо во второй сад, к круглому зеленому столу на одной ножке, осененному великолепными соснами, между которыми есть и ели, и сам, собственными руками, разостлал скатерть — не совсем чистую, но и не совсем запачканную: можно заключить, что она вымыта не далее как за неделю — потом расставил свою посуду, являвшую самое пестрое разнообразие фабрик, размеров, оттенков и царапин; наконец, общими силами приступили мы к установке блюд — статья чрезвычайно важная и сопряженная с большими затруднениями, потому что при малейшем нарушении равновесия стол имеет привычку наклоняться то в ту, то в другую сторону и как будто угрожает падением. Но с помощию палок, чубуков и разбитого цветочного горшка, под руководством Ильи Никифоровича, который некогда служил в артиллерии, удалось нам утвердить его совершенно в горизонтальном положении; мы выпили по полустакану настойки...

Я должен прервать здесь рассказ. Теперь я хорошо помню, что рюмок у нас не было: мы пили настойку стаканами, так как в хорошем обществе нынче совсем не в моде пить прямо из бутылки, а Илья Никифорович очень советовал употребить к тому стаканы, что, как он уверял, вообще принято в низовых приволжских губерниях.

Мы выпили по полустакану настойки, закусили редькой, перекрестились и сели обедать. День был прекрасный — не было ни дождя, ни солнца — не холодный — но и не жаркий — как обыкновенно бывает в знойное, каникулярное, свободное от занятий время — когда бесятся собаки.

§ 2

О ТОМ, КАК МЫ ОБЕДАЛИ В ПАРГОЛОВЕ

Не знаю, отчего жребий пал прежде всего на холодных сигов, но знаю, что через пять минут их как не бывало.— «Подвиньте-ка,— сказал Яков Петрович твердым голосом,— подвиньте-ка сюда поросенка».— Но поросята оказались так же скоропреходящими, как и сиги, как колбаса и окорок, преемники поросенка: впрочем, ясное доказа-

тельство, что никто из нас не следовал учениям ни юдаизма, ни исламизма и что все был народ православный. Говядина и петух сменили голую кость окорока, и мы напали на них с таким же плотоядным ожесточением: живо ходили ножи и челюсти, погребальная тишина господствовала в сосновой роще, мертво было молчание присутствующих. Первый нарушил его Иван Никитич.

— Желательно бы выпить теперь за ваше здоровье! — сказал он Луке Лукичу, утираясь рукою.

— С моим удовольствием! — отвечал тот, — но чего прикажете? у меня только настойка да красное.

— Да хоть красненького, батюшка! К настоечке имели случай прикладываться.

— Что за церемонии! — молвил Яков Петрович, взял бутылку и разом пустил ее в ход, как залежавшееся дело после доброй взятки.

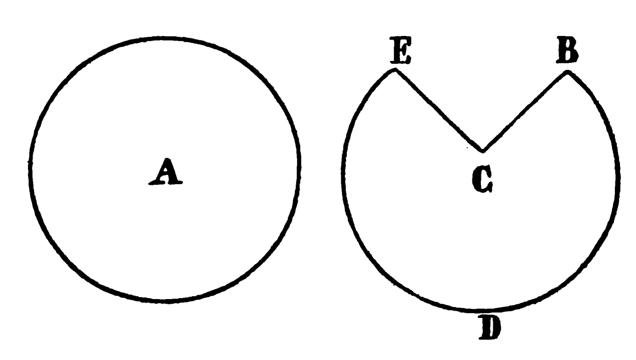
Все отзывались с самой лучшей стороны о красном, которое было объявлено отменным виноградным вином и ротвейном первого сорта, и наговорили Луке Лукичу столько лестных приветствий, что лицо его непременно покрылось бы румянцем стыдливости, если б не было такого цвета, к которому нельзя прибавить никакого дополнительного отлива красоты. О дополнительных отливах зри «Библиотеку для чтения», на которую мы подписались вшестером: седьмой, Максим Козмич, покамест читает ее даром, потому что еще не внес семи рублей четырнадцати копеек. В нынешнем году, однако ж, мы оставили «Библиотеку» и подписались на «Энциклопедический лексикон» вместе с нашим лавочником — так как в самой «Библиотеке» и «Северной пчеле» было сказано, что «Лексикон» тот же журнал, только по алфавитному порядку. Все это говорю я только для сведения и надлежащего соображения тех, которые исчисляют успехи наук и образованности в Гавани и на Петербургской стороне. Дело в том, что румянец на щеках Луки Лукича был бы то же самое, что позолота на чистейшем золоте.

— Ах, а сыр! Сыр-то мы и забыли! — воскликнул Яков Петрович почти с отчаянием, потому что красное было выпито, а мадера сто[ял]а еще не раскупорена, и мрак неизвестности покрывал [н]амерение ее расчетливого хозяина.

— А кулебяка с капустой! — подхватил Максим Козмич.

Вытащили сыр и кулебяку. Мы принялись за кулебяку с необыкновенным рвением. Она имела вид весьма странный: круглая как солнце — я никогда в жизни не видывал

такой кулебяки — двенадцать вершков в поперечнике — и запах ее разлился по всей сосновой роще, как скоро ее разрезали. Резать ее по общепринятым правилам было очень неудобно, но мы нашли средство: в самое короткое время выели в ней угол в 45 градусов. Она явилась на стол правильным кругом, но через несколько минут вид ее совершенно изменился — что можно видеть из следующего чертежа.



А — первоначальный вид кулебяки; EBD — вид кулебяки после первого натиска семи исключенных из службы чиновников, которых презрительно называют в романах «мелкими»; EBC — угол в 45°.

Чтоб не повторять чертежей, я могу сказать тут же, что и сыр — настоящий латышинский — княгини Мещерской — представлял точно такую же геометрическую фигуру не более как после пяти минут наших усилий.

— Господа! — произнес Яков Петрович, оглядывая с самодовольным видом корку сыра,— право, мы умно сделали, что не навезли с собой ни десертов, ни бланманже, ни мороженого, никакой дребедени!

Мы единодушно обнаружили свое презрение ко всем ничтожным затеям избалованного вкуса, известным на левом берегу Невы, и при этом невольно взглянули на непочатые бутылки, стоявшие перед Ильей Никифорычем. Ободренный этим взглядом, ясно выражавшим общее сочувствие большинства присутствующих, Яков Петрович решился взять одну из них и откупорить; однако ж, не налив себе ни капли, он с редким самоотвержением передал ее хозяину.

— Я,— сказал Илья Никифорыч,— если и выпью, так разве на поросенка: боюсь, чтоб не забурчало в животе.

— А мне непременно должно запить сига,— подхватил Лука Лукич, принимая бутылку.

— Я,— сказал Иван Никитич,— выпью от жару: нынче мне что-то так душно!

— Я тоже выпью стаканчик,— сказал Максим Козмич,— у меня целый день как мороз по коже.

— Так выпить и мне! - молвил Галактион Андреич,— действительно, погода такая странная — не знаешь, что делать!

— И я за вами,— сказал Яков Петрович с свойственным ему достоинством и лаконизмом.

— Что греха таить! — сказал, наконец, историк этой попойки,— признаться вам, я выпью потому, что люблю выпить.

Несмотря на то, что мы пили все по разным причинам, в бутылках не осталось ни капельки.

§ 3

О ТОМ, КАК МЫ РАЗГОВАРИВАЛИ В ПАРГОЛОВЕ

Когда это было сделано, все мы легли на траве и закурили трубки и сигарки — но легли так, как лежали римляне, которые, несмотря на лежачее свое положение, могли удобно пить. Винцо было, право, хоть куда, и мы тем сильнее чувствовали его достоинство, что в наших странах редко употребляем ренское. Беседа наша скоро оживилась, и — боже милостивый — о чем не было у нас речи! Я думаю, ни в одной книге, не только русской, но и французской, даже и в *«Смеси»* «Библиотеки для чтения», нет и сотой доли тех историй, поговорок и шуточек, которые отпускались тут наперерыв, не говоря уж о канцелярских анекдотах и дельных толках касательно службы и наград, или, точнее, наград и службы, без которых два православные не могут пробыть пяти минут вместе. Через несколько времени рассуждения наши образовали один непонятный, хаотический гул звуков, в котором, слушая со стороны, можно было различить только один глагол — повторяемый всеми в различных тонах: — получил! — не получил! — да, получил! — не получил! — получил! — получит!!!

Потом пошли рассказы — сцены из частной жизни.

Илья Никифорыч рассказывал, как, поступив в милицию, он прежде всего воспользовался своим мундиром, чтобы припугнуть одного лавочника в Белеве, который пришел к нему за старым должком. Яков Петрович служил

с отличием по питейному сбору, а когда там все пошло на новый лад, он поспешил выйти в отставку с небольшим чином и маленьким куском хлеба, который накопил из жалованья и крошечных доходцев. С тех пор Яков Петрович занимается делишками и был бы совершенно доволен своим состоянием, если б прежние товарищи его не были теперь кто коллежским, кто даже статским советником. Лука Лукич, в бытность свою без всякой вины под судом, управлял партикулярно одним господским домом — и надо было видеть, в какой он привел его порядок и как умел держать в струнке людей! Правда, он вывихнул себе обе руки, но без такой усиленной деятельности невозможно быть управителем в настоящем смысле слова. Иван Никитич — тот самый, который изъяснялся «на разных диалектах» — был прежде квартальным поручиком и уволен от службы за сущую безделицу: в его квартале был рынок, и каждый торговый день Иван Никитич ходил туда с двумя будочниками, наблюдал за порядком и иногда, единственно для домашнего обихода, снимал сливки у деревенских баб, которые приезжали с молоком из окрестностей. Под этим ничтожным предлогом бдительный Иван Никитич был отставлен; но он клянется, что его отставили только для того, чтобы место его дать другому. Максим Козмич был смотрителем в одном казенном доме; ему поручили распорядиться экономическим образом поправкою печей, и архитектор, который крестил у него старшего сына Петю, засвидетельствовал, что, сколько можно судить по наружности, печи совершенно исправны; но не прошло двух недель, как четыре из них развалились. Представьте, что начальство велело переделать все печи на счет строителя, в то время как Максим Козмич не виноват ни телом, ни душою!

Затем разговор обратился к словесности — потому что *все это* уже читает, *все это* уже судит, не прогневайтесь, господа сочинители,— и само собою разумеется, что литература московская и литература петербургская были поставлены лицом к лицу, обозрены и сравнены в своих относительных достоинствах. Большинство клонилось в пользу того мнения, что в петербургских книгах более просвещения, образованности, вкуса... то есть, сударь, толку...

Тут Яков Петрович хотел налить себе мадеры, но ее уже не было.

— Плохой же ваш погребщик,— сказал он Илье Никифорычу,— что отпускает вам по три бутылки! Право, сле-

довало б узаконить, чтобы меньше полудюжины отнюдь не давали в долг.

— Правда ваша,— отвечал Илья Никифорыч.— Я ж ему, разбойнику, не заплачу за это ни копейки!

И не думайте, что Илья Никифорыч пошутил: могу вас уверить, что в подобных случаях он всегда держит слово.

Наконец, возникло самое интересное прение о том, как лучше насладиться ромом: в виде пунша или в виде грога. Некоторые утверждали, что в хороших компаниях грог теперь гораздо больше в употреблении, чем пунш, и что эта мода основывается на весьма логическом начале: горячую воду с чаем можно пить отдельно и ром с горячею водою отдельно; таким образом, ни чай, ни ром не уничтожают друг друга и совокупно содействуют успехам просвещения. Яков Петрович предложил решить вопрос коллегиально. Пошли на голоса:

В пользу грога	*В пользу пунша*
Лука Лукич.	Илья Никифорович.
Яков Петрович.	Максим Козмич.
Галактион Андреич.	Иван Никитич.
Я.	

Большинство в пользу грога.

К чести нашего общества должно заметить, что никто не изъявил желания пить ром голью.

Илья Никифорыч был отряжен к самовару, а я избран для приготовления грога на все общество — во-первых, как ревностный защитник этого напитка, во-вторых, по тому соображению, что, живучи в Гавани, поближе к морякам, я должен обладать основательными сведениями в пропорции двух главных составных частей его, рому и воды,— что весьма важно: нет ничего легче, как испортить лучший ром, разведя его чересчур водой!

§ 4

О ТОМ, КАК ГАЛАКТИОН АНДРЕИЧ ПРЕРВАЛ СВОЕ МОЛЧАНИЕ В ПАРГОЛОВЕ

Когда мы выпили по четыре чашки чаю, наступила очередь грогу. Когда мы стали пить грог, беседа пошла шумнее прежнего. Читатели, конечно, уже заметили, что я ни разу не упоминал об участии, какое принимал в общем разговоре Галактион Андреич. Это единственно потому, что он во все время не вымолвил почти ни слова. Галактион Андреич на службу поступил, кажется, из

певчих — но он говорит, что из дворян — и в чины происходил по провиантской части, и если б не одно несчастное обстоятельство, которое заставило его облечься в серый мундир и потом просить увольнения от должности, он, верно, был бы провиантмейстером.

Отчего же он так безмолвствовал в нашем обществе? Я, право, не знаю. Прежде, когда он служил по провиантской части, он любил рассуждать, любил рассказывать «случаи», и о чем бы вы с ним ни заговорили — хоть об астрономии — ну хоть о философии — он тотчас прерывал вас восклицанием: «Вот именно был у нас один подобный случай по провиантской части!» — Тут начиналась длинная история. Таких историй по провиантской части у него было по две, иногда по три, на все обстоятельства внешней и внутренней жизни, на все предметы разговора. Длины их в точности определить не могу, но помню, что была она как отсюда до Могилева, потому что раз путешествовал с ним туда на перекладных и он рассказывал мне ее всю дорогу. Словом, вся созданная природа объяснялась у него как нельзя лучше провиантскою частию, и только некоторые, очень темные вопросы — комиссариатским штатом. Но, между нами сказать, Галактион Андреич был недалек и, кажется, не чувствовал в себе отваги тягаться с такими людьми, как Максим Козмич или Яков Петрович. Как бы то ни было, он, сердечный, присмирел как мокрая курица, так, что мне даже стало его жаль. Однако ж, осушив стаканчик-другой грогу, он как будто поободрился, и за третьим стаканом в нем явно обнаружилось намерение что-нибудь сказать. Мы на эту пору посмолкли и прилежно курили трубки и сигары, как вдруг из облака табачного дыму раздался козлиный голос Галактиона Андреича и произнес очень явственно:

— Вот именно один такой случай был у нас по провиантской части...

Все мы продолжали курить в глубоком молчании, прислушиваясь к словам рассказчика, и Галактион Андреич завел предлинную историю. Ничто не мешало звонкому его голосу; только изредка случайный звук стакана или шипение докурившейся трубки сливалось с потоком его речи. Повесть длиннела, ширилась, толстела; Галактион Андреич излагал ее во всей полноте, без малейшего опущения; мы слушали как нельзя внимательнее, пускали дым, тянули грог — а история все шла своей дорогою. Галактион Андреич не кончил бы ее до сих пор, если б стук

отъезжающего омнибуса не заставил нас вскочить с мест, допить остатки грогу и настойки и уложить наскоро драгоценную посуду Якова Петровича.

Как мы доехали на трех лошадях до заставы, как начали расходиться по домам, как я имел несчастие попасть в руки будочников и ночевать на съезжем дворе — все это легко себе представить без особенного о том параграфа.

§ 5

О ТОМ, КАКУЮ ИСТОРИЮ РАССКАЗЫВАЛ ГАЛАКТИОН АНДРЕИЧ В ПАРГОЛОВЕ

На другой день, прямо с казенного ночлега, зашел я к Якову Петровичу. У него был Илья Никифорыч. Мы выпили по рюмке водки, закусили остатками вчерашнего сыра, потом стали смеяться, стали вспоминать о своей поездке, признаваясь друг другу, что еще никогда так славно не потешились, повторяя сказанное несколько раз накануне — и опять смеяться от чистого сердца, как будто были еще в сосновой роще. Мы сожалели только об одном — что нам никак не удалось погулять по саду! Вдруг лицо Якова Петровича омрачилось думою; он был в явном недоумении и сидел, не говоря ни слова.

— Яков Петрович, что с вами сделалось?

Подумав еще немного, он спросил нас:

— Что за историю рассказывал вчера Галактион Андреич, когда мы сидели за третьим стаканом грога?

— Я помню, что она начиналась так: «Вот именно один такой случай был у нас по провиантской части...»

— Да, да! У нас, по провиантской,— подхватил Илья Никифорыч.

— Это-то я знаю,— отвечал Яков Петрович,— да что же дальше? Я, хоть убей, не припомню.

Напрасно все мы ломали голову: повесть Галактиона Андреича не оставила ни малейших следов в нашей памяти, в отношении к ней мы как будто не существовали. Между тем пришли еще Лука Лукич и Иван Никитич.

— Знаете ли, о чем мы сейчас толковали дорогой? — спросил последний.

— Нет, не знаем.

— О том, — продолжал Иван Никитич,— какую историю рассказывал нам вчера Галактион Андреевич.

— Она начинается: «Вот именно был такой же слу-

чай и по провиантской части», — примолвил Лука Лукич, — а далее мы никак не могли вспомнить.

— Вот чудо! — воскликнули мы все вместе.

— Ах, да вот и Максим Козмич! У него память не подлиннее ли нашей?

Тщетная надежда! Максим Козмич знал только: «Вот именно то самое случилось и у нас по провиантской части...»

— Да это психологическая задача! — вскричал он с удивлением. Максим Козмич учился в семинарии и сверх того читал повесть М. П. Погодина о московском извозчике, который нашел мешок с деньгами, отдал хозяину и сам повесился; он знает, что такое *психологическая,* и очень часто употребляет это слово. — Постойте же! со мной, кажется, есть красненькая; сейчас пойду к Галактиону Андреичу, позову его в Палкин завтракать, подпою голубчика, и он расскажет мне снова свою историю.

Иван Никитич навязался с ним вместе, а мы остались ждать их у Якова Петровича. Они воротились в сумерки.

— Ну что, рассказал ли он вам, что было по провиантской части?

— Рассказать-то рассказал, — отвечал Максим Козмич почти с ужасом, — только божусь вам, я ничего не припомню.

— И я тоже, — примолвил Иван Никитич.

Эта странность сделала в нас сильное впечатление. Мы выпили по стакану пуншу и решились тотчас же послать за Галактионом Андреичем и навести его на вчерашний рассказ.

Через полчаса он уже сидел между нами. Пунш и настойка развязали ему язык, и ровно в одиннадцать он начал тем же голосом:

— Вот именно один такой случай был у нас по провиантской части...

— Ну! — воскликнули мы в один голос, — теперь-то услышим мы эту историю. Чур, не проронить ни одного слова!

— Что это значит? — спросил Галактион Андреич с изумлением.

— Ничего, ничего! Нам очень хотелось слышать вашу повесть.

— Понимаем-с! — сказал Галактион Андреич с бешенством. — Теперь помню, что когда-то уж я вам ее рассказывал. Не беспокойтесь! я не дамся в дураки...

— Полно сердиться, Галактион Андреич! — сказал ласково хозяин.

— Нет, Яков Петрович! терпеть не могу насмешек, и если вы за тем меня позвали, так прощайте.

Сказав это, он схватил шляпу и зонтик и убежал из комнаты.

Да! Убежал — с тем, чтоб никогда не возвращаться, и повесть его осталась по сю пору неизвестною. Скорее успеете вы прочесть все иероглифы древнего Египта, нежели повесть Галактиона Андреича: она погребена в душе его и никогда не воскреснет для света. Эпохи будут следовать за эпохами, государства будут процветать и падать, но никто не узнает, что это за история. Такова непреложная воля судьбы!

Поэтому и я не могу сообщить вам этой истории для напечатания в «Библиотеке для чтения». Вы потеряли повесть — или быль, все равно — оригинальную, настоящую русскую, в которой не было ни малейшего следа подражания иностранному; в которой все было наше; которая отличалась неподдельною народностью — и которая теперь, увы! невозвратно погибла для Словесности!..

Покорнейше прошу упомянуть, сочиняя историю русской литературы, что повестей и былей собственно у нас одною меньше, чем бы следовало быть по-настоящему, потому что, клянусь, я имел твердое намерение напечатать этот любопытный случай по провиантской части: ведь таким образом пишутся почти все повести для нашей словесности — повторяя, без всяких усилий своего воображения, первый заслышанный где-нибудь анекдотик! Будь только рассказ Галактиона Андреича такого свойства, чтоб можно было его упомнить — вы бы имели одною «оригинальною» повестью больше, и я был бы один лишний оригинальный сочинитель.

А теперь имею честь пребыть
и прочая

А. Белкин

1835

ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАННОЙ БЕСЕДЫ

Я очень часто слышу: «У нас еще нет беседы!» Как это жаль! Научите же нас беседовать, вы, которые говорите, что у нас нет беседы.

Беседа есть искусство вмешиваться языком в чужие дела. Как всякое искусство, она имеет свои правила, которые надобно сперва изложить, ежели хотите, чтобы

у нас тоже завелась беседа. Я вижу, что из ревности к благу отечества и пользам народной образованности принужден буду сам написать риторику для употребления желающих правильно рассуждать о том, что до них вовсе не касается.

Есть разные беседы. Одна из них, самая естественная и самая полезная, называется — глупая беседа. Это царица бесед, беседа без притязаний, чистосердечная, добрая, откровенная, очень похожая на дружбу, хотя большею частию происходит между людьми, совершенно чуждыми друг другу. В ней участвуют все вообще; она обработана наилучшим образом, доведена до совершенства на целом земном шаре и одна заключает в себе источник основательного знания: только из этой беседы вы можете составить себе полную и хорошую статистику недостатков, пороков, средств и глупостей соседов и приятелей.

Второй род беседы основан на зависти и занимается только чистою и прикладною клеветою. Это беседа лакеев и мелких литераторов.

Третий род — беседа поучительная. Она теперь вышла из употребления, но в прежние времена при ней очень хорошо спалось.

Беседа между деловыми и любовниками не называется беседою, но методою взаимного надувания. Притом, она производится по углам.

Наконец, последний и самый утонченный род беседы — беседа изящная или образованная. Она рассуждает ни о чем и ни о ком. Это верх искусства.

Когда народ доходит до такой степени умственного совершенства, что может по целым суткам говорить умно ни о чем и ни о ком, тогда только он достоин имени истинно образованного народа.

Мы, русские, можем без преувеличения сказать о себе, что, образуясь да образуясь, уже достигли половины этого совершенства: мы уже очень хорошо и плавно разговариваем ни о чем и только не знаем, как сделать, чтобы, собравшись вместе, не говорить о ком-нибудь.

А в этом вся сила!

О чем же говорить, когда вы запрещаете разговор о ком-нибудь?.. Как о чем! Говорите каждый о себе. Искусство образованной или изящной беседы состоит именно в том, чтобы каждый говорил о себе, но так, чтоб другие этого не примечали.

Я очень желал бы растолковать вам, как это делается, и изложить здесь полную теорию образованной беседы,

но боюсь, что многие не поймут меня. Это предмет очень отвлеченный и тесно связанный с человечеством, обществом, нравами, идеями и другими доселе очень темными задачами — даже с самоваром, которого тоже у нас никто еще не понимает. Для этого надобно начать издалека. Надобно, во-первых, найти центр нравов. Я, не хвастая, нашел его.

Как долго я искал его, о том нечего и говорить. Что подало мне повод искать? Это другой вопрос. Все в мире имеет свой центр: я был уверен, что и в нынешних наших нравах должен быть пункт, полюс, средоточие, около которого они движутся, текут, обращаются, описывают свою годичную орбиту, выступив из главной точки поклона в Новый год и пролетая чрез зимние балы и маскарады, через канцелярии и масленицу, через Светлую неделю, гулянья и дачи, через осенние вечера и вечеринки, доколе не возвратятся опять к главной точке поклона в Новый год, из которой вышли, с награждением или без награждения. Периодическое возобновление одних и тех же явлений в наших нравах всегда заставляло меня думать, что они следуют геометрическим правилам круговращения: но где центр этого круга? Взяв циркуль в руки, вы его легко отыщете. С помощию этого прекрасного орудия вы тотчас откроете, что центр нравов находится где-то в вечернем их отделении, в сумерках. Ставя одну ножку циркуля попеременно на одной из двух примечательнейших точек орбиты, например на поклоне или награждении в Новый год, или на поклоне или награждении в Светлое воскресение — это точки равноденствия наших нравов,— и чертя другою ножкою дуги по поверхности времени, заключенного в орбите, вы примечаете, что эти дуги пересекаются в вечерних часах, более или менее. И действительно: это выводится и рассуждением. Поутру нет нравов — есть только дела и заботы. Кофе, супружеская ссора после кофе, потом завтрак, прогулка, посещение магазинов, обед — тоже не нравы, а просто обычаи, приготовления к нравам, которые, собственно, начинаются при свечах, как скоро начнется пищеварение. Прошу заметить, что я не смешиваю нравов с обычаями и не придаю их имени ни привычкам, ни модам, ни господствующим мнениям, так что если когда сочиню роман, в котором будет описано, как люди сидят, лежат, ходят, ездят, едят и пьют или на чем они сидят, в чем ходят, куда и зачем ездят, что едят и сколько пьют, то назову его только статистикою обычаев, а не нравоописательным романом,— потому что

нравами какого-нибудь народа или века почитаю я тот особенный, тонкий, летучий, как улыбка, отвлеченный, как Я, отпечаток эпохи на человеческих страстях, который сообщает им характер и физиономию, отличную от черт, от профиля тех же страстей у другого народа и в другое время; или, говоря как можно яснее, тот отличительный, самобытный образ, по которому в данном народе и веке действуют ум и сердце, когда народу хочется есть и пить, а еще более — когда он наестся и напьется. Если это не ясно, так уж я не виноват.

Даже самый центр нравов может заключаться в одном каком-нибудь обычае, около которого они вертятся, как планеты около солнца, но и тут обычая не следует принимать за нрав.

Мы теперь ищем этого центра. Зная уже, что центр наших нравов скрывается где-то в вечерних часах, мы вправе заключить, что он находится в котором-нибудь из обычаев, присвоенных этому времени. Ищите же его. Я искал его всюду — в уборной, пока не подадут свеч, на карточном столике, даже под столиком, — но тут его не было, хотя все эти точки уже очень близки к нему и образуют вкруг него род Малой Медведицы. Наконец, я открыл его: центр нынешних наших нравов — в самоваре. Этот дивный сосуд — настоящее средоточие целой их системы, которая тяготит на него со всех своих точек; в нем соединяются все ее радиусы.

Это открытие стоит всякого другого!

Обычай, которого самовар составляет ядро и душу, занял место в самой средине нравов нашего века и привлекает к себе их частицы в целой суточной жизни человека. Вокруг него движется особый мир, который назову я миром самоварным — мир удивительный, странный, разнообразный, обширный, как весь наш быт; мир, не менее любопытный мира звездного, мира насекомых, мира славянского, мира умозрительного, и несравненно любопытнее мира индо-германского. Мы в нашем XIX веке весь день живем только для того, чтоб ввечеру собраться вокруг самовара, как в минувшем веке люди жили только для ужина, и сюда-то каждый приносит самого себя, чтоб представлять свой век по-своему — а итог всех этих представлений есть выражение нравов эпохи. Чтобы постигнуть наши нравы, прежде всего надобно понять самовар — его положение в обществе — его важность и влияние — его свойство отражать на своей зеркальной поверхности истинную физиономию каждого. Теперь раз-

мышляйте!.. — как говорил Фихте своим слушателям. Постигните хорошо это свойство самовара: в нем заключается основание всей образованной беседы.

Одним словом, чтоб получить настоящий высший взгляд на наши нравы с точки, дозволяющей окинуть все их пространство, необходимо нужно сесть на трубе самовара в ту минуту, когда он кипит на столе перед диваном и посреди комнаты. Рекомендуем это место сочинителям правоописательных романов как чрезвычайно удобное для тонких наблюдений.

Многие будут оспаривать мое толкование самовара, но оспаривать можно все на свете: директор венской обсерватории оспаривает систему Коперника! Я отнюдь не сомневаюсь, что самовар или обычай кушать чай ввечеру есть единственный центр наших нравов и, следственно, единое зеркало, в котором можно видеть нравственный профиль каждого. Утренний самовар не имеет того значения: поутру многие кушают кофе и шоколад; другие, более приближенные к природе, менее испорченные, довольствуются грогом, наливками, даже водкою; и вообще утренний самовар — самовар в халате и туфлях, самовар в чепчике, непричесанный, неумытый, не представляет ничего общественного, не отражает никакой страсти. Вечерний — другое дело! Тогда в самоваре кипят мысли, страсти, самолюбие, надежды, опасения и польза всего общества. Тогда каждый старается выказать чем-нибудь перед самоваром свое отношение к обществу, нарисоваться в своем подлинном виде, во всей своей важности. Тогда... Словом, тогда все общество заключается в своем самоваре.

Вы видите, что это ведет прямо к основному началу образованной беседы, в которой каждый должен говорить о себе.

Мы говорили об обществе.

И что такое общество! Люди? Ба, какие люди! Общество есть собрание индивидуальных идей данной эпохи. Люди состоят из лиц; лицо состоит всегда из своей идеи. Каждый человек выражает собою только одну какую-нибудь идею, которой он служит простою оболочкою и которой на известное время отдает напрокат свою голову, свои глаза, свои уши, свой язык, руки, ноги, все тело; он ее раб и орудие; он тверд в этой идее; около нее вращаются его способности, мысли, чувства и он сам, всем своим нравственным бытом; в ней иссякает весь он, когда она расширяется, и из нее выходит для общества его характеристи-

ческий образ при ее сжимании. В обществе собственно нет человека: человек общественный есть всегда какая-нибудь воплощенная идея. И когда вы видите обломок общества, обогнутый дугою вокруг какого-нибудь самовара, не думайте, чтобы эти фигуры, которые с чашками чаю сидят на стульях, были люди: с чашками чаю сидят все идеи.

Эти идеи мало-помалу начинают бродить в головах, и вскоре устанавливается между ними соперничество, правильная борьба, сражение по всем правилам стратегии. Каждая из них старается вылезти наружу, пробить себе дорогу, очистить кругом себя поле; каждая подает своей соседке дружескую руку, чтоб помочь ей развернуться, и между тем потихонечку подставляет ей ногу, чтоб ее опрокинуть и самой занять ее место, и все без изъятия боятся, чтобы другие не угадали ее плана. Это и есть образованная беседа. Нет ничего любопытнее, как наблюдать с трубы самовара эту игру воплощенных идей и хитрости, которые употребляют они, чтобы овладеть самоварным поприщем. Но я вижу, что начинаю говорить очень отвлеченно и что вы уже меня не понимаете. Я объясню это примером.

Несправедливо утверждают наши пессимисты, будто у нас вовсе нет изящной беседы. Я сто раз бывал в обществах, в которых все мы говорили очень умно весь вечер и ровно ничего не сказали. Вот, например, вчера у моего почтенного приятеля Павла Аполлоновича. В его самоваре вмещается сорок восемь чашек воды: доказательство, что мой приятель не пустой человек и имеет вес в обществе. Самовар у него ставят всегда на стол перед диваном. На диване сидит всегда мисс Дженни, розовая англичаночка, и тоненькими английскими ручками полощет чашки. Она сидела там и вчера. Подле нее сидела Катерина Павловна; подле Катерины Павловны София Николаевна; подле Софии Николаевны Каролина Егоровна — далее Иван Иванович. Возле него Петр Петрович; рядом с ним Евгений Васильевич; тут Илья Сергеевич и Сергей Ильич; там Федор Тимофеевич и Тимофей Алексеевич — а здесь я, Павел Аполлонович и какой-то господин в очках.

У Павла Аполлоновича есть идея, что он тайный советник; вы никак ее не вытолкаете из него: это основание его ума и мера, к которой он приводит людей и вещи. Она вчера прекрасно отражалась в его самоваре. Идея Федора Тимофеевича — большой шлем: он, когда размышляет, размышляет только об этом; соображение средств и путей, ведущих к полным тринадцати взяткам, есть

его любимая дума после забот, после дел, даже средь дел и забот; он только думает, как бы задать большой шлем; он отдыхает на этой думе, в ней ищет отвлеченных наслаждений, на ней катается и балансирует; она в нем как свинец в груди китайского болванчика, который, как бы вы его ни поставили, боком, навзничь и вверх дном, всегда сам собою перекувырнется и станет на ноги. Впрочем, Федор Тимофеевич — человек умный и образованный, как все, которые тут были; он всеми мерами скрывает свою идею, но вы можете увидеть ее в самоваре, и я наверное знаю, что он только воплощенный шлем. Идея Тимофея Алексеевича — фабрики; Каролины Егоровны идея — двор. У Сергея Ильича есть идея — английская верховая лошадь; у Ильи Сергеевича есть идея — петербургский климат; у Катерины Павловны есть идея — счастие; у Петра Петровича есть идея — архитектура; у Евгения Васильевича есть идея — большой свет, а идея Софии Николаевны — что нет ничего прелестнее привздернутого ее носика. У розовой англичанки своя идея — что она Англичанка, а это все русские. Моя идея — что человек выдуман только для одной идеи, а идея господина в очках — что он поэт, и это самая странная из всех вышеписанных идей.

Тут еще был доктор, которого идеей было пение; и был камергер, которого идеей был Бентам; и была барышня, которой идеей был жених с двумя тысячами душ; и был лысый толстяк, которого идеей была красота; и был бедный литератор, которого идеей была знать.

Первые чашки душистого чаю мгновенно разогрели все эти идеи. Из движения их начало постепенно образовываться то, что называют общим разговором. Каждый из собеседников начал неприметно натягивать его изо всех сил к своей идее. Больно было смотреть на потаенную игру самолюбий, на усилия изящного лицемерства скрывать свои огорчения и казаться равнодушным, на отчаяние не успевающих выступить перед лицо самовара с своим коренным помыслом и принужденных из учтивости подкидывать обломки своего чтения в жернова чужого понятия. Одни идеи немилосердно давили другие. Люди внутренно терзались, улыбались и разогревали идеи чаем.

Каролина Егоровна говорила о дворе. Сергей Ильич скакал вокруг ее плотного рассказа и не находил нигде пролома, чтоб вторгнуться в него на своей английской лошади. Каролина Егоровна уже сходила с дворцовой лестницы и стояла за колонною, ожидая, пока подадут карету, Сергей Ильич уже заговорил о колонне, уже хотел

сказать, что имел счастие видеть ее там, проезжая в эту минуту по площади на своей английской лошади, как Петр Петрович невзначай схватил эту колонну обеими руками и пустился рассуждать об архитектуре — перестроивать все дворцы и домы, протягивать фронтоны во всю длину зданий, воздвигать арки в готическом стиле и восхищаться сладострастною формою куполов у афинян в лучшие времена греческого вкуса. Петр Петрович нес ужасную гиль, но говорил с такою самонадеянностью, что все сидевшие вокруг самовара идеи должны были таскать для него известь, которою он уже сбирался выбелить все афинские куполы для лучшего эффекта.

Тут он упомянул о куполе собора Св. Павла в Лондоне, и Сергей Ильич прогнал его с лесов страшным пожаром Вестминстер-Галля, от которого он перешел к анекдоту об английских ворах, от которых перешагнул он в английский парламент, который прямо приводил его к превосходству английских лошадей и к его верховой езде. Я уже видел, как он в мысли седлал свою лошадь...

По несчастию, он произнес слово «промышленность» — как не произнести его, говоря об Англии! — и проиграл дело: Иван Иванович, который в тот самый день дешево купил у Тамизье две китайские куклы с публичного торга, возразил, что китайцы не уступают англичанам в тонкости и изяществе изделий. Удар был ловкий и счастливый: он вдруг вышиб Сергея Ильича из его предмета, поворотил беседу в другую сторону и открыл Ивану Ивановичу прекрасный случай выложить всю старую бронзу, купленную им очень дешево вместе с куклами. Иван Иванович открыл план своих действий отменною тирадою о китайцах... Несчастный Иван Иванович! тебе не суждено было явиться вчера окруженным лучами твоей идеи! Насупротив тебя сидел Илья Сергеевич с пасмурною идеей петербургского климата!..

Илья Сергеевич давно уже искал случая сказать, что вчера шел дождь, а сегодня поутру была прекрасная погода, которая скоро сменилась холодным ветром, и не успел втереться с этим наблюдением ни в придворные вести Каролины Егоровны, ни промежду афинских куполов Петра Петровича, ни в английский парламент Сергея Ильича. Теперь пришла его очередь.

— Позвольте вам заметить,— сказал он,— вы говорите о китайской промышленности и сравниваете ее с европейскою. Образованность Китая неподвижна; он не изменился в течение четырех тысяч лет...

Вы, которые никогда не разлагали химически общественного разговора, не доискивались его начал, не изучали его теории,— вы, верно, подумаете, что Илья Сергеевич действительно хотел говорить о Китае и сравнивать его образованность с нашею? О, как вы жестоко ошибаетесь! Вот что значит не понимать самовара! Илья Сергеевич заговорил о неизменности Китая единственно потому, что предвидел возможность легко перейти от нее к переменчивости петербургского климата, к влиянию его на здоровье, к тому, что он болен, что не может более жить в здешней столице. Он бы непременно достиг этого важного результата и нарисовался с своей идеей, если б тут не было незавидной фигурки в очках, в которой гнездилось понятие, что она поэт. До того времени она не произносила ни слова, и, казалось, никто не обращал на нее внимания. Она медленно отняла от уст чашку и пустила в Илью Сергеевича быстрый луч взора через верх очков своих. Илья Сергеевич остановился.

— Я удивляюсь,— сказала она ему,— что вы, человек умный, знающий *переменчивость* вещей этого света...

Илья Сергеевич смутился еще более: слово «переменчивость» поразило его как громом; он подумал, что его идея открыта — что он сам разгадан! Он даже не знал этой фигурки. О, если б он знал, что это был только поэт, стихотворец, сочинитель, он раздавил бы его своей гордостью и непременно сказал бы тут же, что вчера шел «дождик»! Он не знал этого! Подумайте, от каких случаев зависит судьба вашей идеи в образованной беседе! и от каких лиц! Между тем фигурка в очках продолжала:

— Я удивляюсь, что вы так важно повторяете старое поверье литературного света о мнимой неизменности Китая. Правда, все утверждают, что Китай не изменился в четыре тысячи лет, что образованность его неподвижна...

— Но господин Х***ов! — это было сказано по-французски Софией Николаевною, которая мигом смекнула всю пользу нового предмета: она надеялась, что по случаю китайской образованности зайдет речь о китайских носах, которые очень гадки, и что все, конечно, приметят ее привздернутый носик, составляющий коренную идею ее логики.— Но, господин Х***ов,— сказала она,— вы принимаете сторону таких безобразных людей, что я начинаю сомневаться в вашем чувстве прекрасного.

Тут пошел разбор китайского лица, и все приняли участие в разборе. Носик Софии Николаевны сиял в это

время, как Галлеева комета, которая еще не сияет, но будет сиять. Я увидел его в самоваре.

Я не стану мучить вашего терпения подробностями дальнейшего хода вчерашней беседы. Она производилась таким же образом до самого конца. Каждая из присутствующих идей сидела в засаде за рассуждением другой идеи; бросалась на нее, как паук на своей нитке, при первом признаке оплошности; высасывала из нее кровь и бросала ее мертвою, если сама не была между тем съедена тою, которая умела лучше пользоваться случаем. Но в продолжение этих бесчисленных переворотов почти все они успели потихоньку представиться лично собранию, каждая держась об руку с своим самолюбием.

По случаю мороженого Тимофей Антонович нашел средство развернуть свои виды о фабриках и народной промышленности.

Катерина Павловна говорила очень мило о счастии по поводу очков поэта.

Федор Тимофеевич, услышав речь о счастии, рассказал своим соседям, как он третьего дня задал три большие шлема. Такого счастия он никогда еще не видывал!

Должно вам сказать правду — хотя прежде я хотел утаить, так как я немного сердит на Ивана Ивановича,— что вследствие общего рассуждения о последних происшествиях во Франции Иван Иванович отыскал-таки возможность порассказать историю о старой бронзе, купленной им с молотка, и что он вообще говорил об этом очень хорошо. Потом зашел разговор об египетских древностях.

Кажется — но утверждать не стану,— что в этом-то разговор Сергей Ильич и въехал верхом на своей идее — я хотел сказать, на своей английской лошади, со своею обычною ловкостью в наездничестве.

И так далее.

Расходясь, многие из нас повторяли: «Надобно сказать по совести, что редко найдется другой дом в Петербурге, где бы беседа была так образованна и приятна, как у Павла Аполлоновича!»

Одним словом, все были в восхищении — исключая меня да еще Ильи Сергеевича, которого идея пропала без пользы, потому что во весь вечер ему ни разу не пришлось к слову сказать что-нибудь про петербургский климат. Бедный Илья Сергеевич!

Я слышал, однако ж, что после нашего ухода, когда сели играть в карты, он успел, во время вздачи, слегка

намекнуть, что вчера шел «дождик». И я очень рад этому! Илья Сергеевич добрый человек, и он действительно страждет весь век насморком от Петербурга.

Что касается до меня, то я решительно не мог ввернуть своей идеи ни в один из тысячи одного предметов вчерашней нашей беседы, и признаюсь, не видел другого средства облегчить свою досаду, как пересказав вам здесь эту знаменитую идею.

1835

ЗАПИСКИ ДОМОВОГО

Рукопись без начала и без конца, найденная под голландскою печью во время перестройки

. . . .
. . . .

...гомеопатически. Они удалились оба в другую комнату. Моя жена и сестры пошли за ними; их прекрасные лица были подернуты тем туманным беспокойством, которое составляется из движущихся стихий любви, отчаяния и надежды и носится зловещим облаком над будущностью дорогих нашему сердцу, когда в ней скрывается опасность. Вскоре услышал я глухие вопли и вздохи, которые томно отражались в моей спальне, проникая с трудом сквозь сухие и беззвучные фибры досок затворенной двери. Следственно, нет надежды! Я должен умереть аллопатически и гомеопатически! Умереть по двум методам! вдвойне умереть!.. от бесконечно великих количеств лекарства и от бесконечно малых! Это ужасно! Я думаю, что с тех пор, как люди умирают от медицины, никто еще не испытывал такой печальной участи. Уверенность в скором выздоровлении, которая в чахоточном усиливается обыкновенно по мере ослабления сил, поколебалась во мне в первый раз с того времени, как лютая болезнь приковала меня к постели; но к собственному моему удивлению, страшная мысль о необходимости расстаться с жизнию в то самое мгновение, когда дни мои так весело озарились лучами восходящего счастья, не произвела большого потрясения: она ударилась в мои чувства так глухо, так невнятно, как ударяет молоточек клавиша в опущенную струну, которая только зажужжит с неприятным бряцанием, без звона и эха, и опять погрузится в немоту. Я слышал удаляющиеся

шаги докторов, которых мое семейство провожало до лестницы, чтобы исторгнуть у них какое-нибудь признание, благоприятное для страдальца; но обе методы были непоколебимы и ушли, кланяясь очень учтиво, в отчаянии, что не могли более торговать моей жизнию; когда стук двери дал мне знать об их уходе, мне даже стало легче и веселее: мне показалось, что ею затворились все хлопоты жизни, что все уже кончено, что я уж не существую. Страх смерти обитает не в душе человека, но в его физической части; он действует только до тех пор, пока преобладают материальные силы, подчиняя своим пользам духовное начало бытия; одно тело боится смерти, потому что смерть грозит ему разрушением, и как скоро болезнь и изнеможение отнимут у материи то страшное самовластие, которое люди называют голосом природы, и дух не встречает в нем более противоречия, разрушение тела делается для вас незначащим, посторонним предметом. Разобщенные колеса испорченной машины перестали издавать в моей груди тот ржавый болезненный скрып, которым выражается страдание больного; я впал в какую-то отрадную слабость, и сколько прежде страшился смерти и не мог подумать об ней без трепета, столько теперь стал к ней равнодушен. Эта внезапная перемена произошла не от ухода моих докторов, которых мудрости я никогда не верил: быстрый упадок сил, или, точнее, жáра крови, один был причиною этой каменной беззаботности, и я могу сравнить тогдашнее мое ощущение с тем, какое испытывает человек, еще нежащийся в теплой ванне и думающий, что вода уже простывает, что уже пора выйти из нее на воздух и одеваться. Одиночество, в котором я был оставлен, одно было для меня несколько тягостно: я чувствовал как бы нужду в руке, которая бы помогла мне встать из охладевающей купальни бытия и подала платье; я ждал, но уже без нетерпения, возврата жены и сестер, чтоб проститься с ними, чтобы сказать, что я ухожу, что они не должны печалиться, что путь, который мне предстоит, нисколько не опасен, что это только перемена квартиры... Пульс уже не бился с некоторого времени: кровь, еще теплая, уже не кружила, но стояла в жилах как розовый спирт в фаренгейтовых трубках, понижаясь отвсюду к сердцу подобно термометру, вынесенному на прохладный воздух, и с последним, чуть-чуть приметным ударом сердца водворилось во всем теле удивительное спокойствие. То было восхитительное безветрие после долгой бури. Сердце, эти единственные часы человеческой жизни, остановилось, как задержанный маят-

ник, и время вдруг перестало для меня измеряться; я жил уже за пределами времени и в первый раз ясно понял вечность, о которой люди, что бы они ни говорили, догадываются не умом, а только инстинктом. Вечность! это — простое отсутствие всякой меры. Состояние человека невыразимо с той минуты, как плоть отказывается от дальнейшей работы на его существо и предоставляет здание ведению невещественного начала, духа, или, как его зовут часто, разума. Разум светистою волною разливается тогда по всему телу и выходит из него во все поры в виде радужного, нематериального испарения; оно образует около него эфирное облако: тело как бы завешано в атмосфере своего духа. Я тут впервые увидел мысль вне человека. Не глядя, видел я, как в зеркале, весь состав своего животного строения, весь этот удивительный механизм миллиона трубок, пружин, связей, рычагов и колес, таких тонких, так искусно сцепленных и на ту пору стоявших в бездействии; я мог бы в двух словах объяснить физиологам, которые, клянусь вам, не более вот этой печи смыслят про образ действования жизни, всю эту таинственную гидростатику многочисленных жидкостей, текучих и летучих, называемую «жизнию» и производящую различные отправления тела, от простого движения ног до трудов памяти и воображения. Никакая паровая мельница не может быть простее этого! И это в самом деле паровая мельница. Они узнают ее при смерти, а те дивные мгновения, которые называют они последними проблесками ума и которые суть только начало великолепнейшего из явлений в теле — отделения вещества от духа, материи от не-материи, того от не-того, да от нет, которых взаимное сочетание и вместе с тем противоположное стремление образует одно отдельное целое, феномен лица и его жизни, отрывок сложной машины времени, состоящей из соединения всех отдельных жизней... Дверь тихонько отворилась, и я увидел через верх передка моей кровати белое чело жены, осененное черными ее волосами в печальном беспорядке, который придавал ему особенную прелесть. Я хотел позвать ее к себе, но голос не вышел из груди, и слова: «Друг мой» — вылетели из нее без звука, как бы произнесенные в совершенной пустоте; они потонули в воздухе у самых уст моих, даже не пошевелив его, не произведши в нем тех кругов, которые в таком множестве и так быстро выходят из каждого слова, упавшего на его поверхность, дрожат, расширяются, несутся вдаль и исписывают прозрачное пространство звучащими дугами. Это был уже образ того гробово-

го беззвучия, которое начинается за пределами вещества. Я понял, что меня там ожидало... Тихими шагами, едва касаясь земли маленькой, дрожащей ножкою, подходила ко мне юная супруга. Ее бледное лицо, заплаканные глаза, руки, сложенные на груди, медленные движения и измятое платье сливались в стройную картину столь глубокого несчастия, что гранит застонал бы от подобного зрелища. Она села против меня на стуле, и ее руки, судорожно сплетенные пальцами, упали на колени, и ее глаза, иссушенные отчаянием, устремились на мое лицо с несказанным выражением любви и горести. Я видел в них прощание... Бедная женщина! ты должна страдать одна. О, зачем я не могу теперь разделить твоей печали, как прежде разделял твое невинное блаженство! Сердце это уже не движется! Эта кровь уже не волнуется!.. Твоя печаль только отражается на ее тиши, как траур туч на зеркальном лице спящего океана, не смущая оцепеневших пучин страсти. Эта кровь, зажигавшаяся пламенем от одного твоего прикосновения — в горячие волны которой ты так часто выливала всю сладость твоего существа — которая неслась вся к сердцу, как скоро твой образ наполнял его счастием, теперь, когда тебя раздирают пополам, когда живую зарывают в землю, эта кровь даже не шелохнется! Я делал страшные усилия, чтобы возбудить в себе печаль, и никак не мог добиться до этого чувства, которое было бы тогда для меня благодеянием. Страсти мои, казалось, сзерновались около сердца и покрыли его своими холодными кристаллами... Весь мой дух скопился около юной супруги; я окружил еще недавно обожаемую женщину своей душою, которая лелеяла ее в своих объятиях, проникала во все ее чистое и красивое тело и смешивалась внутри его с ее духом. Это не была любовь, потому что я уже не мог любить, но нечто торжественнее любви: милое женское существо, с поникнутою головкою и заломанными руками, сидело в облаке неземного света, который дивным образом усиливал ее прелести и придавал ей почти небесную красу. То было обоготворение любящей женщины. О если б грубые земные чувства дозволили ей видеть себя в эту минуту!.. Я собрал последние силы, чтобы высвободить руку из-под одеяла и протянуть к ней. С какою страстию схватила она своими мягкими и теплыми ладонями эту руку, желтую, сухую, оглоданную хищной болезнию и уже холодную! Никогда в безумном упоении сладострастного восторга не целовала она ее с такой жадностью и таким жаром. Она зарыдала. Слезы брызнули

из ее глаз и потопили руку, пригвожденную поцелуями к ее устам. Чистее этого умовения, я думаю, нет в природе: оно сильно смыть даже кровь невинного с руки убийцы... Лицо ее окрасилось румянцем; не выпуская моей руки, она подняла на меня свои большие мокрые глаза и, казалось, умоляла ими, чтобы я остался с ней на земле; и я никогда, даже в день нашего брака, не видал ее прелестнейшею, чем в это мгновение. Две мои молоденькие сестры, вошед неприметно не знаю когда, стояли по другую сторону кровати и плакали: их лица, в которых огонь плача боролся с бледностью и усталостью от бессонных ночей, проведенных подле больного брата, были еще красивее обыкновенного. Заходящее солнце удивительным образом освещало их и всю комнату. Между тем тело мое быстро остывало по всем оконечностям; руки и ноги, совсем оледенелые, лежали подле меня как неподвижные глыбы, не принадлежащие к моему составу: там уже господствовала смерть; жизнь еще тлела в желудке, груди и голове, но и тут уже гробовой мороз, подвигаясь с низу и боков, пожирал одни части тела за другими. Отделение духа от вещества происходило с большой силой и в отдаленнейших членах уже довершалось: там, где дух совсем оставил тленное здание, частицы тела, лишенные своей волшебной связи, тотчас начинали бродить, и наступало разложение. В сильном движении горести моя жена, падая на колени, дернула меня за руки, нехотя, но довольно крепко. Сердце мое закачалось — тихо, без биения,— и легкая теплота неожиданно согрела пустую грудь. Я воспользовался минутным возвратом жизни, чтобы сказать доброй подруге: «Прощай, мой друг!.. Я был счастлив, очень счастлив с тобою...» Я хотел еще возблагодарить сестер за нежную привязанность, но мои уста внезапно сомкнулись, и я никак не мог раздвинуть челюстей. Сердце опять остановилось. Одно только чувство, или что-то похожее на чувство, пробудилось во мне при этом потрясении: то было сожаление. Видя эту прелестную женщину, с которою я надеялся дожить на земле до старости — вы сами знаете, как хороша моя Лиза! — этих милых девиц, которые выросли и расцвели на моих руках, этот солнечный свет, который лился из окна на стену розовыми и золотыми струями, мне стало жаль красоты и солнечного света. Расстаться с ними навсегда, никогда их не видеть, перейти в неизвестный мир, где они не нужны или, может статься, не существуют,— о, эта мысль способна отравить горечью всю сладость смертельного бесстрастия! Все остальное в мире,

право, не стоит никакого сожаления и не возбуждает его в умирающем. Но этот чудесный солнечный свет!.. Но эта красота, чудеснее самого солнца и света!.. Их одних хотел бы я унести с собою в могилу. Я уверен, что солнечное сияние создано только для того, чтобы можно было видеть красоту... Однако ж это чувство, уже последнее, было непродолжительно: жизнь качающимися кругами, которые постепенно уменьшались, переносилась в голову; я начинал уже ощущать усыпление, которое исподволь охватывало всего меня. Охладелые части тела казались уже спящими; те, которые были еще теплы, повергались в сильную дремоту. Свет померкал в моих глазах: пленительное лицо жены сперва окружилось в них венцом призматических цветов, потом стало редеть, рассеиваться, исчезало и, наконец, исчезло в темноте, прорезываемой волшебными огнями. Сетчатая ткань глаза вдруг окаменела, в ушах зазвенело, слух пресекся тоже. Я почувствовал род весьма приятного опьянения, и невыразимая сладость забвения скоро поглотила все мое существо. Запертая обмершими чувствами мысль стала выражать последние свои движения ясными сновидениями, которые были чрезвычайно разнообразны и игривы, как в начале обыкновенного сна. Остаток воли боролся еще некоторое время с этим непреодолимым позывом на сон, и в промежутки пробуждения я чувствовал, что круги сосредоточивающейся жизни, о которых говорил вам, избрав своим центром голову и суживаясь постепенно, сбегаются в мозгу, качаются уже около одной светлой точки, наконец, вошли все в эту точку; в ней заключилось и все мое самоощущение, которое поминутно утопало в превозмогающей дремоте. Мне снилось, будто моя жена — оно и в самом деле так было — бросилась на меня с рыданием и начала целовать мои ноги и колена. Мне хотелось закричать ей: «Не там, друг мой!.. Там я уже не существую!.. Сюда! сюда! разбей мою голову и вдохни в себя эту последнюю искру жизни, которая еще сверкает в мозгу и скоро погаснет...» Но слова, произносимые в мысли, не находили для себя звуков, что нередко испытывается и во сне: все тело уже спало, то есть было мертво, и жила только одна голова, но и та жила полужизнию — дремотою. Сновидения, чрезвычайно странные и все более несвязные, текли с необыкновенною скоростью, и так как каждое из них, продолжаясь не более одного мгновения, кажется засыпающему действием, растянутым на большой промежуток времени, то я в эти пять минут, пока не уснул, прожил, по крайней

мере, два или три месяца. Странный обман тела! Можно было бы написать целый том историй, собрав все чудные фантазии, которые наплодились в моей голове в короткое время этого засыпания. Наконец, сон преодолел меня — меня, то есть мой мозг, все, что еще от меня осталось в живых,— и я уснул самым крепким и роскошным сном, какого никогда еще не испытывал в жизни. Это была смерть. Вот и вся история. Я умер, и меня похоронили; но должен признаться, что был набитый дурак при жизни, когда боялся того, что ничуть не страшнее обыкновенного сна и, может, еще слаще его; сон вечерний приятен только тем, что это отдых после трудов одного дня, а умирая, вы засыпаете от изнеможения тела в течение всего вашего земного существования, со всеми его изнурительными удовольствиями, страданиями и работами, и потому засыпаете еще лучше. Последние минуты этого оцепенения похожи на то, что ощущают турки, приняв гран опиума... Вы вздыхаете?

— Да! — сказал я моему гостю, мертвецу,— мы, домовые, и вообще все духи, по несчастию, бессмертны и никак не можем умереть.

— А вы бы хотели тоже быть подверженным смерти?

— Почему ж не хотеть? Одним лишним наслаждением в жизни более!

— Конечно,— сказал мертвец,— люди в этом отношении счастливее духов. Но вы, господа домовые, пользуетесь тоже одним бесценным преимуществом: вы можете пролезть во всякую замочную скважину и вытащить в нее все, что хотите, все, что вам нужно; вы пользуетесь без труда чужим добром, не ломая дверей и не портя замков, за что у людей строжайше наказывается. Что ни говорите, а это большое счастие! Ныне много говорят и пишут на земле о бесконечном совершенствовании человечества и предлагают различные способы коренного преобразования обществ, чтоб достигнуть этой высокой цели; но я думаю, что человек тогда только был бы существом истинно совершенным, если б соединить в нем удовольствие умереть со способностью вытаскивать незаметно в замочные скважины все, что ему понравится — дюжину бутылок силери — хорошенькую чужую жену — английскую лошадь...

В это мгновение послышался страшный шум на крышке. Я приостановил моего собеседника; но шум утих, и мы опять принялись за наш интересный разговор.

— Ваши взгляды на усовершенствование человече-

ства,— сказал я,— очень светлы и основательны; способность эта была бы тем полезнее для человечества, что она не влечет за собою никаких общественных распрь, соблазнов, неудобств: за пропажу, когда двери и замки целы, поколотят только лакеев или дворецких — и все кончено: человечество цело и спокойно.

— Жаль только, что нельзя умереть дважды,— присовокупил он.— Это было бы еще совершеннее и приятнее...

Шум на крышке, который недавно встревожил меня, имел основание. Когда мой гость произносил эти слова, огромная черная головешка, упавшая, как потом оказалось, сквозь дымовую трубу, со стуком шлепнулась оземь между камином и его решеткою. Мы оба вскочили с дивана. Я подошел к камину, взял ее в руки и хотел положить в жаровник, потому что не люблю беспорядка и вовсе не одобряю тех домовых, которые ночью переставляют стулья и вытаскивают подушки из-под голов, как кто-то вдруг схватил меня за шею и стал душить, целуя изо всей силы. Я оборонялся от этой нечаянной нежности, не зная, кому за нее быть благодарным, отворачивал голову от непрошеных поцелуев, и тут только увидел, что вместо головешки держу в руках две козлиные ноги, на которых держится чье-то туловище, так неожиданно взвалившееся мне на шею со всею тяжестью своей сердечной дружбы. Я пустил эти две ноги. Передо мной явился — кто бы вы думали? — старинный друг мой, черт Бубантес! Он хохотал, как сумасшедший, и, забавляясь моим изумлением, бросился еще раз целовать меня. Мы нежно обняли друг друга.

— Друг мой, Чурка! — кричал Бубантес, вне себя от радости,— здоров ли, весел ли ты? Давно мы с тобой не видались!

— Давненько! — сказал я.— Чай, будет с лишком двести лет.

— Около того... Я совсем потерял тебя из виду,— сказал Бубантес,— и не знал даже, где ты обретаешься. Я думал, что ты все еще в Стокгольме...

— Нет, друг мой, я здесь,— сказал я.— С постройки этого дома я поселился в нем, вот именно здесь, на печи... Да какими судьбами попал ты сюда?

— Это длинная история,— отвечал он.— Я расскажу ее потом... Я спасался из одного места и не знал, куда укрыться... Смотрю: труба; я в нее — и вот в твоих объятиях.

— Зачем же ты прикинулся головешкой... Фуй, как ты меня напугал!

— Зачем головешкой? Да так! Я, вишь, хотел упасть сюда инкогнито... Дом мне незнакомый; я боялся найти здесь ханжей, от которых теперь очень опасно нашему брату, черту: грешат вместе с вами, а при первом удобном случае сами же на вас доносят... Знаешь ли, что их опять развелось много? Я не люблю ханжей: это грешники, которые хотят надуть черта. Гораздо лучше иметь дело с честными грешниками. Подумай, что они стали тискать на меня статьи в моих журналах!

— А ты все еще возишься с журналами? — спросил я.

— Да, дружище! — сказал он с глубоким вздохом.— Делать нечего. Сатана приказал!.. Вот уже четвертое столетие, как я правлю должность главного черта журналистики и довел этот грех до совершенства, а от его мрачности не получил ничего, кроме щелчков в нос, в награду. Ах, если б ты знал, что за поганое ремесло! с какими людьми приходится иметь дело! Вот и нынче провел весь вечер в одном газетном вертепе, где курили и клеветали хуже, чем в аду. Я завернул туда, чтоб помочь состряпать маленький журнальный грешок: в нашем городе есть одна упавшая репутация, которая издает новую книгу; решено было поднять ее и поставить на ноги. Собралось человек тридцать ее приятелей, все из литераторов. Когда я пришел туда, они миром подымали ее с земли, за уши, за руки, за ноги. Я присоединился к ним и взял ее за нос. Мы дружно напрягли все силы; пыхтели, охали, мучились и ничего не сделали. Мы подложили колья и кольями хотели поднять ее. Ни с места! Ну, любезнейший! ты не можешь себе представить, что значит упавшая литературная репутация. В целой вселенной нет ничего тяжеле. Мы ее бросили. Тогда я, для опыта, немножко пошевелил хвостом их злобу: тут как они стали царапать и рвать все репутации, стоячие и лежачие, как понесли свой грязный вздор, в котором, кроме желчи и невежества, не было ничего годного даже для ада — да такой вздор, что уже мне, природному черту, стало страшно и мерзко слушать — так я не знал, куда деваться! Я побежал стремглав, поджавши хвост, заткнув уши, зажмурив глаза; летел, летел, летел... и если б не эта труба... Я немножко ушиб себе бок... Да не в том дело: здоров ли ты, старый друг, Чурка? Как поживаешь... Кто этот длинный скелет? — спросил он, нагнувшись к моему уху.

— Это... покойный хозяин здешнего дома,— сказал я шепотом.— Он пришел ко мне в гости с кладбища.

– Каких он правил?

— Очень почтенный, честный грешник.

– Познакомь же меня с своим хозяином, мой Чурочка. Ты всегда отличался знанием светских приличий в твоем запечье.

— С большим удовольствием,— сказал я и представил их друг другу.— Мой приятель Бубантес, главный черт журналистики! Иван Иванович, бывший читатель! Прошу быть знакомыми, полюбить друг друга и садиться.

Они поклонились и пожали себе руки.

— Вы давно изволили скончаться? — вежливо спросил Бубантес нового своего знакомца.

— Год и две недели,— сказал он.

— Как вы находите этот свет? — продолжал любезный черт.

Мой мертвец несколько смутился, не понимая вопроса.

— Когда я говорю «этот»,— быстро подхватил Бубантес,— это значит «тот». Свет, который вы при жизни называли «тем светом», называется у нас «этим», и обратно. Вы еще не привыкли к нашей терминологии, но она очень ясна. Следственно, как вы находите этот свет, наш свет, свет духов...

— Очень приятным,— отвечал, наконец, покойный Иван Иванович.

— Я так и думал,— сказал черт с своей коварной усмешкой.— Я говорю это не из патриотизма, но многие очень просвещенные путешественники с того света, то есть с людского света, находят, что здесь гораздо отраднее и веселее.

— И я того же мнения,— сказал мертвец.— Особенно мне нравится здесь это удивительное спокойствие и бесстрастие, которыми отличается жизнь мертвецов. Нельзя сказать, чтобы и жизнь того, человеческого света не имела своих прелестей... Есть кой-какие очень приятные грехи, для которых стоит потаскать тело на своих костях известное число годов, но самое важное неудобство той жизни — это теплая кровь, кровь, которая ворочается в вас мельницею, кружится настоящим омутом, разгорячает вас при каждом движении, при каждом обстоятельстве, порождая те вспышки внутреннего жара, которые называют там страстями; которая жжет вас, душит поминутно, содержит тело в беспрерывном беспокойстве, разоряет его, начиняет болезнями... Это второй ад, быть может, еще

хуже настоящего! Вообще там очень душно от теплой крови, и я ни за какое благо не согласился б воротиться туда, разве когда-нибудь, совершенствуя человечество, выдумают холодные страсти. Здесь, по крайней мере, нет крови, и ничто вас не тревожит; вы всегда наслаждаетесь ровною и отрадною прохладою ума, совершенною сухостью чувства, восхитительным отсутствием страстей...

— Здесь бы и писать беспристрастные критики! — воскликнул Бубантес, весело повернувшись трижды на одной ножке журнальным франтом.— Мои молодцы завели в одном городе, недалеко отсюда, фабрику беспристрастия, да что-то нейдет! По сю пору мы выделываем только простую брань без ума, которая худо продается.

— Да что ж вы стоите? — сказал я моим гостям.— Присядьте, пожалуйста, у меня.

— Где ж у тебя сидеть? — сказал Бубантес, оглядываясь.— Тут нет ни одного гвоздя в стене! Если б были три гвоздика, мы уселись бы рядком.

Он прошелся по зале и, приблизившись к камину, увидел, что под черною корою перегоревшего угля мерцает еще огонь. Он разгреб верхние уголья и от нечего делать начал поправлять жар, уравнивать лопаткой, раздувать.

— Не угодно ли тебе чего-нибудь у нас отведать? — спросил я его.

— С моим удовольствием,— сказал черт, занятый своей работой.— А что у тебя есть? Нет ли английской горчицы?

— Как не быть!

Я порхнул в буфет и вытащил сквозь ключевую скважину большую банку превосходной английской горчицы, желтой как золото и крепкой как огонь. Он взял банку в одну руку, другой поднял вверх полы своего немецкого кафтана и сел в камине на горящих угольях.

— Вы позволите мне сидеть здесь,— сказал он,— это мое любимое место; а сами садитесь в кресла перед камином, и будем беседовать.

Мертвец погрузился в красные вольтеровские кресла, которые я ему придвинул, я взял стул, и мы составили тесный дружеский круг около камина, которого влияние на чистосердечие беседы и домашнее счастие известно отчасти и людям. Бубантес уверял меня однажды, что об этом измарано у них столько бумаги, что он берется топить ею в течение целого месяца тридцать тысяч бань. Я люблю этого милого и умного черта, но по временам он лжет как александрийский грек!

— Об чем вы изволили рассуждать между собою до моего прихода? — сказал он, взяв из банки ложку горчицы.— Сделайте одолжение, не церемоньтесь со мной... Продолжайте ваш разговор...

— Мы говорили о людях,— сказал я.— Об чем же говорить более? Иван Иванович описывал мне те приятные ощущения, которые человек испытывает в минуту смерти...

— Твоя горчица чудо! — прервал меня Бубантес.— Я не имел чести быть на званом обеде, который Яков II, король английский, стряпал для черта и для которого он набрал три самые тонкие адские блюда — лимбургский сыр, жевательный табак и горчицу; но и у него не было ничего подобного. Вы говорили о смерти?

— Ты очень любезен,— сказал я,— горчица самая обыкновенная. Да: об удовольствиях смерти. И в то самое время, когда ты к нам провалился, Иван Иванович делал весьма основательное замечание, что жизнь человека была бы вдвое приятнее, если б он мог умирать дважды.

— Умирать дважды? — сказал черт, набивая себе рот горчицею.— Если человек желает умереть дважды, пусть перед смертью он ляжет спать и умрет, уже проснувшись. Уснуть или умереть — это все равно. Шекспирово perchance* тут ничего не поможет. Между смертию и сном нет никакой разницы; разве та, что от смерти нельзя очнуться.

— Однако ж я читал на том свете, что когда тело погружается в сон и бездействие, тогда дух, свободный от его бремени, действует с особенною силою и светлостью...

Черт захохотал так крепко, что чуть не уронил банки и не разметал жару по всей зале.

— Ха, ха, ха! тело в бездействии, а дух в действии! Ха, ха, ха! Знаете ли, что такое вы читали? Извините, что я смеюсь! Ха, ха, ха, ха, ха! Мне нельзя не смеяться, потому что я знаю, откуда это вышло. Мой приятель черт Кода-Нера, большой шарлатан, выдумал эту историю для магнетистов, и они вместе надули многих. Шутка была удачная, но удить ею можно только живые головы, а не мертвецов. С такой головой, как ваша, совершенно пустой, чистой, без этого мягкого, дрянного мозга, которым завалены черепы на том свете, невозможно поверить такой бессмыслице. Как вы хотите, чтобы в непогребенном человеке дух действовал отдельно от тела или тело отдельно от духа, когда тело органическое есть слияние в дан-

* возможно, может быть *(анг.)*.

ную форму вещества с не-веществом, материи с духом, и когда расторжение их самотеснейшей связи тотчас уничтожает тело? Вы намекаете на сны? Вы, может статься, хотите представить сновидения в доказательство отдельного действия духа в теле, оцепеневшем и неподвижном? Но сновидения, сударь мой, происходят только в полубдении, во время дремоты, а не совершенного сна, в минуты засыпания и пробуждения. Оттого вы их и помните! Но как скоро человек погружается в сон, полный и ровный, все умственные отправления прекращаются совершенно; дух его находится в настоящем оцепенении; он ничего не чувствует, не мыслит и не помнит: он мертв кругом, умер, и живет только относительно к не утраченной еще возможности прийти опять в полную духовно-вещественную жизнь. Сладость, которую вы чувствуете, засыпая, есть именно следствие этого погружения духа в совершенное бездействие, в смерть. Мы, черти, знаем это лучше вас. Сколько раз человек засыпает, столько раз он действительно умирает на известное время. Вы можете мне поверить. Таким образом, земное его существование составлено, как вы изволите видеть, просто из беспрестанной перемешки периодической жизни и смерти. Иначе вы не объясните сна. И заметьте, милостивые государи, что этот периодический возврат жизни и смерти соответствует периодическому появлению и исчезновению солнца на горизонте и что мысль, разум, когда нет насилия природе, прекращается, как скоро оно заходит. Из этого вы можете выводить заключения, какие вам угодно, а я, между тем, буду есть горчицу.

— Самое простое заключение,— сказал мой мертвец, улыбаясь*,— есть то, что я, который в течение тридцати двух лет имел каждый день удовольствие умирать и оживать, сам этого не примечая, был такой же дурак, как Мольеров дворянин из мещан, который не знал, что он весь век говорил прозою.

— Вы умный мертвец и делаете сравнения чрезвычайно удачные,— сказал коварно Бубантес,— но вы можете присовокупить, что когда, таким образом засыпая и просыпаясь, умирая и воскресая попеременно, вы, наконец, доспали до такого сна, во время которого потеряли всю теплоту и от которого не могли уже проснуться, тогда вы умерли окончательно, навсегда — обстоятельство, которому я обязан вашим приятным знакомством и честью

* Это должна быть метафора. У мертвеца, кажется, не было уст.

беседовать с вами в этом месте у общего нашего приятеля, домового Чурки. Сон, сударь мой, есть смерть теплая, а смерть сон холодный. Все дело состоит в температуре. Замерзание здорового человека начинается сном. Это знают и черти, и люди. Но полно об этом. Часто ли вы бываете у нашего почтенного Чурки?

— О, нельзя сказать, чтобы часто! — воскликнул я.

— Сегодня в первый раз я решился оставить кладбище,— отвечал мертвец,— по одному неприятному случаю...

— По какому?

— У нас, изволите видеть, вышла ссора с соседкой. Меня похоронили подле какой-то сварливой бабы, старой и гадкой грешницы, скелета кривого, беззубого и самого безобразного, какой только вы можете себе представить. Пока мой гроб был цел, я не обращал на нее большого внимания, но на прошедшей неделе он развалился, и с тех пор житья мне от нее нет в земле. Эта проклятая баба — ее зовут Акулиной Викентьевной — толкает меня, бранит, щиплет, кусает и говорит, что я мешаю ей лежать спокойно, что я стеснил собою ее обиталище...

— Ну-с?

— Ну, словом, мочи нет с нею. Мы подрались. Я, кажется, вышиб ей два последние зуба, которые еще оставались в верхней челюсти.

— Ну, ну!

— Да, правда, вырвал еще нижнюю челюсть и кость правой ноги и бросил их куда-то далеко в ров.

— Что ж она на это?

— Ничего. Она пошла по всем гробам отыскивать челюсть и ногу, всполошила всех покойников, перебранилась со всеми остовами, которые, впрочем, давно терпеть ее не могут. Она никому не дает покоя сажен на сто вокруг.

— А вы что на это?

— А я между тем ушел и, гуляя, завернул сюда посмотреть, что делается в этом доме по моей смерти.

— Вы же говорили, что вам так нравится удивительное спокойствие нашего света? — сказал насмешливый черт.

— Конечно, говорил, отвечал мертвец,— на каком же свете нет маленьких неприятностей? Впрочем, все суматохи происходят здесь так тихо, так хладнокровно, что их нельзя и называть суматохами. То ли дело на том свете! Там кровь пережгла б вам все жилы; там страсти задушили б вас на месте; там уже случился б с вами удар...

Я решительно предпочитаю наш мертвый мир тому и могу сказать, что если б не случайное неудобство быть иногда положенным в земле подле старой бабы, сверхъестественный свет был бы совершенство.

— Так вот какая история! — воскликнул черт.— А я, признаюсь откровенно, не имея чести вас знать, думал все это время, что вы приволакиваетесь в здешних странах за какой-нибудь красоткой того света. Вы меня извините, но это часто случается с вашей братьею. Я знавал многих мертвецов, которые просиживали по целым ночам в спальнях, подле прежних своих возлюбленных, и потихоньку прикладывали свои холодные поцелуи к их горячим спящим устам. О, между вами, господа скелеты, есть ужасные обольстители прекрасного пола!.. И тут нет ничего удивительного. Привычка большое дело! Это остается в костях.

Мертвец смутился. Он не знал, что отвечать черту, боясь, по-видимому, чтобы Бубантес не донес на него в ад. Я решился вывести его из затруднения.

— Что греха таить, Иван Иванович! — сказал я.— Мы можем говорить здесь откровенно. Мой старый друг Бубантес не такой черт, как вы думаете. Он не в состоянии сделать подлости...

Мертвец ободрился.

— Признаться сказать,— продолжал я,— покойный Иван Иванович пришел, собственно, посмотреть на свою красивую супругу, которая спит вот через три комнаты отсюда. При жизни они обожали друг друга до беспамятства. Ему теперь некстати быть влюбленным, будучи без крови и тела, но его бедная жена по сю пору души в нем не чает. Как она плакала об нем! как рыдала! как нежно призывала его по имени, засыпая прошедший вечер! Я один тому свидетель!.. Больно смотреть на ее мучения, на ее отчаяние, на ее безнадежную любовь.

Мертвец был растроган до глубины костей. Он сидел неподвижно, с поникнутой головой, сложив руки на груди.

— Когда покойный Иван Иванович пришел сюда, как бы исторгнутый из земли ее любящим, магнитным сердцем, как бы невольно привлеченный им сюда, мы пошли к ней в спальню и нашли ее в самом умильном положении. Она спала, обняв белыми и полными руками подушку, смоченную потоком слез, на которой покоилась ее прелестная головка; обнаженные плечи и часть груди имели гладкость, блеск и молочную прозрачность алебастра; пурпуровые губки были полураскрыты и обнаруживали два ряда прекрасных перловых зубов; в лилиях лица играл огонь

розового цвета, удивительной чистоты и нежности; она была очаровательна, как дух высоких сфер, и, казалось, пламенно жала эту подушку к своей груди...

— Вдовьи нравы,— сказал злой Бубантес вполголоса, с хитрою усмешкой.

— Она, средь своей, как ты говоришь, теплой смерти, так страстно и так чисто любила мужа, похищенного у ней смертью холодной, что мне стало досадно быть только духом подле такого пленительного тела, а покойный Иван Иванович не выдержал и поцеловал ее в самый ротик — да так, что его мертвые зубы стукнули в ее зубки!..

Бубантес коварно мигнул покойнику.

— Э!.. каковы наши мертвецы! Что, если б хорошенькие женщины знали, как вы, господа, лобызаете их по ночам?.. Ведь это ужас?

— Ах, почтеннейший,— воскликнул мертвец,— она такая добрая! такая прекрасная! Это самая удивительная женщина, какая только существует под солнцем! За один ее поцелуй можно отдать целое кладбище, а для того, чтобы поцеловать ее, стоит, даю вам слово, сделать путешествие в мир вещественный.

— И притом, такая добродетельная! — примолвил я.— Вот уж, любезный Бубантес, посмотрели б мы, как бы ее-то ввел ты во искушение!

— За себя я не отвечаю,— скромно сказал он,— я не ловок на эти дела и притом никогда не занимался женскою частью; но, уверяю тебя, у нас есть черти, которые соблазнят всякую женщину, хоть бы она вылита была вся из добродетели. Я видал удивительные примеры.

— Из добродетели, так! — возразил покойный муж,— но не из любви. Когда женщина вылита вся из чистой любви к одному мужчине, когда эта любовь сделалась ею жизнью, стихией, которою она дышит, второю душой ее, тут уж чертям нет поживы...

— Продолжайте,— сказал равнодушно Бубантес, становя банку с горчицей наземь.

Он снял с головы свой высокий остроконечный колпак и начал приготовлять из него род мешка.

— Любовь в женщине делает чудеса,— продолжал мертвец.— Эта непонятная сила превращает существо слабое в самое сильное волею, в самое торжественное благородством чувствований. Тогда предмет ее любви теряет для нее свои земные формы, становится идеалом, господствует над нею вблизи и издали; пространства для нее исчезают; самое время бессильно, и она живет

в своем возлюбленном, разделен ли он с нею расстоянием, жив ли или зарыт в могиле...

— Ну,— сказал черт, занятый весь своим мешком, который он комкал на коленях, не глядя на нас.

— Я уверен,— сказал мертвец,— что эта таинственная сила, которая так же крепко связывает два существа между собою, как дух связывает частицы материи в живом теле и образует из них одно правильное целое, не уничтожается смертью одного из двух существ; что она продолжает соединять тело одного с прахом другого даже сквозь пласт земли, который их разделяет, что она разрушается только при окончательном разрушении обоих тел, и тут еще она должна жить в душах их: улетев в дальние пространства, их души, без сомнения, отыскивают друг друга и сливаются там в одну душу той же любовью.

— Ах, какой же вы читатель! — закричал черт покойнику, смеясь от чистого сердца.— Вы настоящий читатель! Подите-ка сюда! Чурка, поди и ты сюда! Смотрите мне в горсть, когда ее раскрою.

Мы подошли к нему. Он погрузил руку в мешок, сделанный из колпака, собрал что-то внутри, вынул кулак и, раскрывая его, сказал:

— Смотрите!.. Вот любовь.

На черной его ладони взвилось пламя, чрезвычайно тонкое, прозрачное, летучее, удивительной красоты: в одно мгновение ока оно переменяло все цвета, не останавливаясь ни на одном, что придавало ему самый блистательный и нежный отлив, которого ни с чем сравнить невозможно.

— Как! это любовь? — вскричал изумленный мертвец, хватая своей костяной лапою это чудесное пламя, которое в тот же миг исчезло.

— Самая чистая любовь,— сказал черт, улыбаясь и посматривая ему в глазные впадины с любопытством.— Что, хороша штука?.. Мой колпак, сударь, лучшая химическая реторта в мире. Вы можете быть уверены, что это любовь: я выжал ее из воздуха и очистил от всех посторонних газов. Любовь, милостивые государи, разлита в воздухе.

Бубантес надел колпак на голову и встал с жаровника. Мы начали ходить по зале и рассуждать об этом пламени. Мертвецу никак не верилось, чтобы это была настоящая любовь, но черт говорил так убедительно, столько клялся своим хвостом, что, наконец, тот согласился с ним в возможности отделять это роскошное чувство

от воздуха и продавать его в бутылках. Они рассчитали все прибыли от подобной фабрикации — покойный Иван Иванович был при жизни большой спекулянт — и находили одно только неудобство в этой новой отрасли народной промышленности, что многие станут подделывать изделие и продавать ложную любовь в таких же бутылках, тем более что и теперь, без перегонки воздуха, поддельная любовь составляет весьма важную статью внутренней торговли, хотя и не показывается в статистических таблицах.

Бубантес был восхитителен во время этого рассуждения: он сыпал остротами, шутил, говорил так добродушно, что тот, кто бы его не знал, никогда б не предполагал в нем черта. Впрочем, надобно отдать справедливость чертям: между ними есть очень любезные малые. Иван Иванович весьма с ним подружился. Он стал расспрашивать его, каким образом действует это миленькое летучее пламя на людей, так что эти плуты обожают друг друга.

— Вы знаете, что такое «поляризация»? — сказал черт.

— Поляризация-с? — воскликнул покойник.— Да, знаю, поляризация. Я читал об ней. Но вы можете говорить так точно, как будто б я ничего не знал.

— Здешние мертвецы набитые невежды,— сказал мне на ухо Бубантес.— Вы знаете,— продолжал он громко,— что в природе есть теплота, магнитность, свет, электричество, то есть вы знаете, что ничего этого нет в природе, а есть одно вещество, чрезвычайно тонкое, чрезвычайно летучее, которое разлито везде и проникает все тела, даже самые плотные; для которого алмаз и золото то же, что губка для воды и воздуха, и которого сам черт не разгадает, а домовой, мертвец и человек и подавно. Оно то производит ощущение тепла, и тогда человек называет его теплотою; то вылетает из облака в виде громовой молнии или из натираемого стекла в виде серной искры, и тогда получает у людей имя электричества; то направляет один конец железной иглы к северу, а другой к югу, и тогда величают его магнитностью; то, наконец, поражает глаз своим блеском и называется светом. Оно темно и светисто, паляще и морозно, животворно и убийственно. Незримое, одаренное столь различными свойствами, это хамелеоническое вещество обнаруживается каждый раз в другом образе и поражает бедного человека столькими противоположными явлениями, что он, будучи не в си-

лах связать их своей дрянной логикою, принужден был разделить его на четыре разные вещества, которым присвоил четыре ряда примеченных им феноменов, более или менее сходных между собою, и придумал для каждого ряда особую теорию. Мой приятель, черт Кода-Нера, уже три столетия морочит ученых этим веществом, диктуя им самые странные теории для того, чтобы их мучить, бесить, ссорить между собою и доводить до того, чтобы они друг друга называли ослами. Это единственный доход Сатаны от ученых. С них нечего взять более. Я завел для них кой-какие журналы. Теперь он сыграл с ними новую штуку: когда они нагородили систем обо всем этом, написали тьму книг о магнитности и уверились, что она вещество совершенно особое и самостоятельное, он вдруг выкинул им магнитную искру, которая точь-в-точь искра электрическая. Они перессорились в моих журналах, но этот плут убедил их заключить перемирие на том условии, чтобы оба вещества, впредь до распоряжения, соединились в одно под сложным именем электромагнитности. Со временем он намерен подсунуть им другое, еще страннейшее название — свето-тепло-электро-магнитности, и все-таки они не будут знать, что это за вещество, и не поймают его руками; а я вам, друзья мои, показал его вот на этой ладони. Согласитесь, что оно прелестно, и поздравьте себя с тем, что вы не люди: по крайней мере, вы могли его видеть. Так как для него нет имени, то назовите его как угодно, хоть электромагнитностью. Для меня все равно. Но вот в чем еще дело: не подлежит сомнению, что у каждой палки есть два конца и что один из них противоположен другому, что один *не то*, что другой, хотя палка все одна и та же. Все, что ни существует в мире, составлено из таких же двух противоположностей: дню противоположна ночь, свету темнота, теплу холод, движению бездействие, бдению сон, жизни смерть, да — нет: я мог бы насчитать вам три тысячи триста девяносто девять таких противоположностей и довести, вас, наконец, до последней противоположности, выше которой уже ничего нет — материи и духа. Как скоро есть материя, есть и дух: я думаю, что это ясно. То самое противопоставление постоянного «да» и «нет» обнаруживается и в умственном мире: вы имеете там надежду и отчаяние, жестокость и кротость, сострадание и презрение, смирение и гордость, вражду и дружбу, любовь и ненависть, и прочая, и прочая. Вы согласитесь, что хотя любовь и ненависть суть одно и то же чувство, хотя любовь составляет один конец страсти, а ненависть

другой, действия и свойства их так противны, что их принимают обыкновенно за две различные вещи. Вещество, о котором я вам докладывал, это прекрасное, летучее и незримое пламя, эта электромагнитность имеет тоже свои две противоположности, свое «да» и свое «нет». Когда вы взволнуете его в стеклянном пруте посредством трения, оно тотчас разделяется на два противные свойства и в одном конце прута притягивает к нему разные легкие тела, в другом их отталкивает. Первое свойство,— извини, любезный Чурка, - шепнул мне Бубантес,— что я толкую вещи, давно тебе известные: этот мертвец ничего не понимает! — первое свойство черт Кода-Нера присоветовал ученым назвать электричеством положительным, а второе электричеством отрицательным, и запутал их словами до того, что они верят в два электричества; но вы, как умный мертвец, вы видите, что это та же история тепла и холода, любви и ненависти. Такому разделению свойств дали имя поляризации электричества. Эти два противные свойства одного и того же вещества часто избирают своим обиталищем даже два отдельные тела: одно облако, например, электризуется положительно, а другое отрицательно. Когда опять взволнуете это вещество в полоске железа, натирая ее ключом от средины сперва к одному концу, а потом от средины же к другому, оно устремляет один конец полоски к северу, а другой к югу. Это магнитная стрелка. Северный конец ее зовут положительным, южный отрицательным, а самое явление поляризацией. Возьмите ж теперь две такие стрелки и сблизьте их между собою: конец положительный одной стрелки оттолкнет от себя положительный конец другой; две отрицательные стрелки тоже будут удаляться друг от друга; но стрелка положительная с концом отрицательным тотчас сцепятся и поцелуются. Вот любовь! Назовите теперь положительные концы мужскими, а отрицательные женскими, и все вам объяснится: полы одинаковые отталкиваются, полы различные стремятся друг к другу. Это — любовь в железе. Она проявляется таким же образом и в некоторых других металлах и камнях. Она существует и между двумя облаками, в которых скопились два противные свойства электричества, носящегося в воздухе. Она сгибает в лесу две финиковые пальмы, одну к другой, самца к самке, из которых первый всегда обнаруживает электромагнитность положительную, а вторая отрицательную. То же происходит и в животных, то же и в людях. Около эпохи совершеннолетия молодой человек и девица начинают вбирать в себя

из воздуха летучее вещество и электризоваться, один положительно, а другая отрицательно, в южных странах сильнее, а в северных слабее, и даже в одном и том же месте более и менее, смотря по сложению тела, здоровью, степени восприимчивости, времени года и множеству других обстоятельств. Когда они достаточно наэлектризованы, поставьте их лицом одного к другому: пусть они взглянут друг на друга; лишь только луч зрения приведет в сообщение их электричества, с той минуты они влюблены, они полетят друг к другу, как два облака, и будет гром, молния, удар и дождь. Тут и черта не надобно. Вот почему я никогда не любил этой части: она слишком механическая! Вы не влюблялись в малолетнюю девочку, потому что она еще недостаточно наэлектризована тем чудным веществом, которое я выжал для вас из воздуха в моем колпаке. Вы отвращались от бабы, потому что в эпохе старости человек разряжается и теряет почти всю свою электромагнитность. Месяц любви для всей природы тот самый, в который наиболее этого вещества в воздухе. Мой приятель Аддисон сказывал мне, что очень милая и скромная леди признавалась ему, что она берется быть равнодушною к своему мужу круглый год, кроме мая месяца, в котором она не отвечает...

Бубантес вдруг остановился. Мы проходили тогда мимо окон залы. Он подбежал к окну, как будто приметил на улице что-то необыкновенное, посмотрел и снова воротился к нам, заложив назад руки.

— Так-то, сударь мой! — сказал он.— Теперь вы будете в состоянии растолковать всему кладбищу, что такое любовь. Когда бы вы умели добывать это вещество из воздуха и знали еще способ хорошо соединять его с телом, вам самим, почтеннейший Иван Иванович, не трудно было бы... заставить Монблан... влюбиться до безумия в Этну...

Он бросился к другому окну, на которое его беспокойные глаза были уже устремлены при последних словах, и начал пристально всматриваться в улицу.

— Господа! — сказал он, отскочив от окна,— подождите меня здесь, я сейчас буду назад. Мне надобно сказать несколько слов одному человеку... Иван Иванович, не уходите. Не выпускай его, Чурка! — сказал он тихо, перегибаясь к моему уху, и исчез.

Внезапное его удаление немножко нас удивило, но мне было известно, что у него всегда пропасть дел, и я старался успокоить моего гостя уверением, что наш собесед-

ник скоро к нам воротится. Я спрашивал моего собеседника, как он находит этого черта. Ответ не мог быть сомнителен. Иван Иванович был от него в восхищении и признался, что он никогда не думал, чтобы черти были такие любезные в обществе; что на том свете есть много людей, которые не стоят его хвоста. Одно, что ему не слишком нравилось в Бубантесе, были длинные и острые когти: он полагал, что они не совсем безопасны для его приятелей и для книг, которые он читает, и должны мешать ему при сочинении статей; я объяснил, что он тогда надевает шелковые перчатки.

Но надобно сказать, что было причиною отлучки Бубантеса. Проходя с нами мимо окон, он взглянул мельком на улицу и увидел, что по тротуару, против нашего дома, какой-то мертвец идет с кладбища в город. Вид этого скелета поразил его своей необычайностью: он путешествовал на одной ноге и в руке нес свою нижнюю челюсть. Черт мигом догадался, что это должна быть Акулина Викентьевна, соседка нашего покойника, которой он оторвал ногу и челюсть. Всегда готовый к проказам, Бубантес побежал к ней. Снимая свой колпак и кланяясь ей весьма учтиво, он остановил ее на тротуаре, отрекомендовался и завел разговор, чтобы узнать, куда она идет. Акулина Викентьевна призналась ему, что она искала везде своего злодея, Ивана Ивановича, и что, не нашед его ни на кладбище, ни в окрестностях, отправилась со скуки в город с намерением ущипнуть бывшую свою горничную, которая спала в одном доме недалеко отсюда. Тонкому и вкрадчивому черту нетрудно было убедить ее отказаться от цели этой прогулки: он стал упрашивать ее, чтобы она завернула к нам, уверяя, что введет ее в очень приятное общество, и с адским искусством стараясь проведать ее покойные страсти, которые, несмотря на утверждения Ивана Ивановича, кажется, не совсем угасают вместе с жизнию в этих господах смертных. Мой приятель узнал, что его старуха при жизни страх любила бостон. Я думаю, что бостон тоже остается в костях! Он обещал ей составить партию и сдавать всегда десять в сюрах: старуха, которая сперва отговаривалась приличиями, была обезоружена и согласилась на его предложение.

Ничего этого не зная, мы спокойно расхаживали с Иваном Ивановичем по зале и говорили о домашних делах — он расспрашивал меня о дневных занятиях своей молоденькой вдовы — я блестящими красками живописал ему ее добродетели — как вдруг дверь отворяется настежь

и являются Бубантес с своим изломанным женским скелетом, который начинает жеманно нам кланяться и приседает на одной ноге почти до самого пола. Иван Иванович тотчас узнал свою соседку и укрылся за дверью гостиной. Я, ничего не подозревая, старался принять ее как можно вежливее, но Бубантес подбежал ко мне и шепнул: «Чурка! зажигай свечи, лампы. Иллюминация! Бал!.. Мой друг, я даю у себя вечер. Подавай карты!.. Да проворнее же, любезнейший! Скоро станут звонить к заутрени». Я без памяти бросился исполнять его приказание, желая угодить старинному приятелю, хотя и не понимал его затеи и даже, собирая по ящикам огарки, украденные лакеями у ключницы, немножко дивился этим преисподним манерам, которые позволили ему распоряжаться в чужом доме, как в своем собственном болоте. Но огарки были налеплены по всем окнам и карнизам, лампы налиты водкою, за неотысканием масла, ломберный столик поставлен, все изготовлено, зажжено и устроено в одно мгновение ока. Комната запылала великолепным освещением. Я намекнул Бубантесу, что мы встревожим всю улицу, кто-нибудь увидит свет, да и нас в покоях: ведь это выходит видение! «Ничего! — отвечал черт,— пусть их смотрят. Кто теперь верит в видения!»

Не знаю каким образом, но между тем как я занят был приготовлениями, Акулина Викентьевна увидала своего кладбищенского соседа за дверью. Я не берусь описывать шума, который раздался в зале вслед за открытием: это превосходит все риторики *сего* и *того* света.

— Ах ты разбойник! — закричала наша гостья, с яростью бросаясь на бедного покойника,— так ты здесь? Научу я тебя вежливости! Я тебе докажу, голубчик, как должно обращаться с дамами...

Мои читатели уже знают, что нижняя челюсть была у ней оторвана и что она носила ее в руке. Это, разумеется, поставляло ее в невозможность говорить. Чтобы произнести приветствие, которым она встретила Ивана Ивановича, она принуждена была взять эту нижнюю челюсть за концы обеими руками, приставить ее к верхней и поддерживать у отверстий ушей. Когда она говорила или, точнее, ревела, ее челюсти раздвигались так широко, как у крокодила, и смыкались так быстро, как ножницы в руке портного, производя при каждом слове страшное хлопанье костями и стук одних о другие, сухой, скрежетный, пронзительный. Прибавьте еще при всяком движении трескучий стук костей остальной части остова, дряхлого,

разбитого, не связанного по суставам. Ужаснее и отвратительнее этого я ничего не запомню по нашему сверхъестественному миру.

— Ты мерзавец! ты мошенник, грубьян! — вопила она и вдруг, отняв от головы свою подвижную челюсть, замахнулась бить ею Ивана Ивановича.

Черт прыгнул с своего места и стал между ними. Удар разразился на рогах Бубантеса. Мой покойный гость был спасен. Надобно признаться, что эти черти — благовоспитаны как нельзя лучше! Я не хочу унижать моих соплеменников — но из наших домовых никто б не догадался этого сделать.

— Сударыня,— сказал он, сладко улыбаясь сердитой старухе,— не делайте шуму в этом доме. Здесь спят люди. Вы знаете приличия. Иван Иванович мой старинный приятель. Мы с ним были знакомы и дружны еще на том свете. Вы объяснитесь на кладбище. Вы меня чувствительно обяжете, если отложите свои неудовольствия до другого времени...

Говоря это, Бубантес нарочно поправлял рукою свой галстух, сделанный из какой-то старой газеты. Акулина Викентьевна приметила его когти и тотчас стала смирна, как кошка.

— Я только для вас это делаю, господин Бубантес,— сказала она, приставляя опять свою челюсть к голове,— что удерживаюсь от негодования на этого грубияна. Представьте, что он со мной сделал...

И она пустилась рассказывать все обстоятельства своей ссоры. Бубантес посадил их на диване, сам сел посереди, слушал с вежливым вниманием их взаимные огорчения и мирил их своими чертовскими шутками. Я между тем собирал в лакейской старые, засаленные карты; трех тузов не отыскалось: да для мертвецов не нужно полной колоды! Когда воротился я в залу, на диване сидели только два скелета; черт стряпал в углу что-то в своем колпаке; мертвецы все еще ссорились; он переговаривался с ними по временам отрывистыми фразами и, казалось, был очень занят этой работой.

— Что это ты сочиняешь, Бубантес? — спросил я тихо.

— Ничего,— сказал он, продолжая свое дело,— курс любви теоретической и практической.

— Практической?

— Да!.. Или опытной. Это все равно. Я вам изложил прежде теорию любви, а вот теперь начинаются опыты.

Я подсмотрел, что он очищает от воздуха и набивает в свой колпак это красное, летучее пламя, которое, по его словам, можно называть электромагнитностью или как угодно. Любопытство мое возросло до высочайшей степени. Я спрашивал, что он намерен делать, но проказник не отвечал ни слова, надел осторожно колпак на голову и спросил, где карты. Я отдал ему неполную колоду. Бубантес отбросил еще все трефы, избрал четыре карты и предложил их мертвецам и мне. Мы сели играть, но я приметил, что, усаживая кладбищных врагов по местам, он вертится около них, заводит с ними пустые разговоры, берет их за руки, шепчет им в уши и часто поправляет свой колпак. Знаете ли, что он делал? Он в это время, с удивительным проворством, напускал им в кости этого пламени из колпака! Наэлектризовав одного мертвеца положительно, а другого отрицательно, он мигнул мне коварно и сел сдавать карты. Акулина Викентьевна отняла челюсть, с помощию которой все это время перебранивалась с моим покойным хозяином, и положила ее при себе на столике. Черт, по условию, подобрал ей огромную игру. Она развеселилась. Напрасно было бы означать в этих записках все движения непостоянного счастия в нашем незабвенном бостоне, тем более что я никогда не помню конченных игор: тут было нечто любопытнее карт. Акулина Викентьевна объявила восемь в сюрах; Иван Иванович, к крайнему ее изумлению, сказал: «Вист!» И они посмотрели друг на друга: во впадинах их глаз блеснуло то самое прелестное пламя, которого Бубантес налил в их холодные кости. Черт улыбнулся.

Игра началась, но мы с чертом более заняты были наблюдением, чем картами. Мертвецы стали вздыхать. Акулина Викентьевна страстно посматривала на бывшего своего злодея, который в самом деле мог бы понравиться всякой покойнице: он был, что называется, прекрасный скелет — большой — кости толстые и белые, как снег — ни одного изломанного ребра — осанка благородная и приветливая. Но я, право, не понимал, что такое находит Иван Иванович в желтом, перегнившем, изувеченном, одноногом остове этой бабы: он совершенно забыл карты и глядел только на нее! Мы с Бубантесом беспрерывно должны были напоминать ему игру, а черт позволял себе даже отпускать колкие эпиграммы на счет его рассеянности, за которые он вовсе не сердился. Но такова, видно, сила этой волшебной электромагнитности!

Между тем как я сдавал карты, Иван Иванович, кото-

рый давно не сводил глаз с челюсти своей противницы, решился завести с нею разговор.

— С позволения вашего, сударыня!

Она поклонилась.

Он взял со стола эту гадкую кость, эту челюсть, желтую, грязную и почти без зубов, и начал осматривать ее с любопытством, все более и более придвигая ее к глазам и к носу. Мы с Бубантесом увидели, что он неприметно поцеловал ее, и едва не расхохотались.

О электромагнитность!!. или как бишь назвать ее.

Мертвец, чтоб скрыть этот проблеск могильной нежности, повернул челюсть еще раза два или три, осмотрел со всех сторон и равнодушно положил на место. Мертвечиха приятно ему поклонилась.

Бостон продолжался. В половине одной игры Бубантес вдруг стал рассказывать анекдоты из соблазнительной летописи города, обращаясь преимущественно к Акулине Викентьевне. Я видел, что он старается завлечь ее в разговор и, если можно, подвинуть на какой-нибудь рассказ о прежних ее приятельницах и знакомых. Он действительно успел в этом. Акулина Викентьевна положила карты, взяла свою челюсть и пустилась злословить, как живая. Иван Иванович весь превратился в слух. Черту только этого и хотелось: он сообразил, что пока она будет говорить, держа обеими руками необходимое орудие своего красноречия, ей нельзя будет взять карты со стола, ни думать об игре. Когда они совершенно занялись друг другом, он потихоньку встал, мигнул мне, чтобы я сделал то же, и мы отошли в сторону.

— Ну, брат,— сказал я ему,— ты большой искусник!

— Что прикажешь делать, почтеннейший! — отвечал он, притворяясь бедняком,— наше дело чертовское: не наплутуешь, так и жить не из чего. Начало не дурно. Но уж теперь надобно заварить кашу. По крайней мере, совесть будет чиста: я недаром был в этом доме. Скажи, пожалуй, кто бывает у вдовы этого читателя?

— Никто. Она живет совершенно затворницей.

— Однако ж?

— Право, никто, кроме прежнего его друга, Аграфова, который живет в этом же доме с другого подъезда.

— Хорошо.

Он расспросил меня подробно о расположении его квартиры и порхнул в камин, приказав мне сесть опять на место и поддерживать разговор мертвецов.

Я нашел своих гостей в той степени дружеского распо-

ложения, на которой начинаются уже сладкие речи и лесть. Акулина Викентьевна рассказывала, Иван Иванович часто прерывал ее комплиментами, которым она мертвецки улыбалась. Они очевидно любили друг друга, и я должен был играть при них печальную роль свидетеля чужих нежностей. Но это участь домовых! В свою жизнь я довольно нагляделся этого по ночам.

Через минуту Бубантес воротился, но уже не дымовою трубой, а в дверь, ведущую из гостиной в залу. Он подал мне знак, и мы удалились к камину.

— Друг мой, Чурочка,— сказал он с восторгом,— будет славная история! Я наэлектризовал Аграфова и твою вдову. Ты не сказал мне, что он женат! Я нашел его спящим подле почтенной своей супруги. Он и она разряжены были совершенно: в них не было ни одной искры этого летучего пламени; они, видно, давно уже не любят друг друга. Да это всегда так бывает между супругами! Я порядком надушил его электромагнитностью. Вашей вдове немного нужно было прибавить: она еще крепко была заряжена. Теперь, лишь только они повстречаются, огонь вспыхнет. Ты наблюдай за ходом этого дела.

— Вот этого-то я не люблю, что ты из пустяков разоряешь спокойствие этой бедной вдовы, которая хотела всегда остаться верною своему покойнику,— сказал я с досадою.— Эта женщина под моим покровительством. Я дал слово Ивану Ивановичу беречь ее добродетель.

— Чурка! Чурочка! — воскликнул черт, бросаясь мне на шею.— Не сердись, мой Чурка! Я тебя смерть люблю! Я задушу тебя на своем сердце. Так и быть, дело сделано. Увидишь, будем смеяться. Что тебе за надобность до этого мертвеца? Посмотри, он пришел сюда влюбленным в свою вдову, а уйдет без ума от этой старой кости. Таковы, мой друг, люди при жизни и по смерти.

— В этом он не виноват. Ведь ты сам напроказничал?

— Что ж делать, мой любезный! Люди ничего не смыслят без черта. Мы им необходимее воздуха. Но пора отправить этих господ на кладбище. Неравно вдруг зазвонят в колокола, так мне придется просидеть весь день в этой трубе. А я сегодня должен непременно быть еще в Париже и в Лондоне: без меня там нет порядка...

Он потащил меня к столику и напомнил мертвецам, что скоро начнет светать. Они торопливо вскочили со стульев и простились с нами.

— Как же теперь быть? — сказала она ему, останавливаясь у дверей при выходе из залы.— Иван Иванович!.. ты, батюшка, меня обидел: оторвал у меня челюсть и ногу...

— Виноват! Простите великодушно!

— То-то и есть, отец мой. Челюсть-то я нашла в одной яме, а ноги нет как нет. Мне стыдно теперь явиться на кладбище без ноги. В полночь народу тьма высыпало из гробов прогуливаться по кладбищу, а я, по твоей милости, должна была прятаться: все смеялись надо мною! Куда ты девал мою ногу?

— Найдем, матушка Акулина Викентьевна, вашу прелестную ножку. Вы напрасно изволили погорячиться. Я знаю место, куда ее бросил.

Они ушли. Мы побежали к окну, чтобы еще раз взглянуть на них, и увидели, что наш мертвец услужливо подал руку своей мертвечихе и что они дружно поплелись восвояси по тротуару, прижимаясь один к другому. Мы расхохотались. Бубантес, с радости, перекувыркнулся три раза на полу.

Отошед шагов двести, они еще остановились для сообщения друг другу нежного поцелуя — потому что Акулина Викентьевна должна была при этой операции держать обеими руками нижнюю челюсть под верхней.

Мы стали хохотать пуще прежнего.

— Жаль,— сказал черт,— что ты не просил его навещать тебя почаще. Любопытно было бы знать ход этого кладбищенского романа.

— Что тут любопытного! — возразил я.— Лягут в могилу, да и будут целоваться.

— Нет, не говори этого! — сказал он.— Очень любопытно! Это летучее пламя одарено удивительными, очень разнообразными свойствами. Оно производит, между прочим, странный род опьянения. Стоит только соединить его с телом, тогда оно, само, без содействия черта, произведет в нем ряд глупостей и приключений, которых наперед и предвидеть невозможно. Знаешь ли, Чурка: сделай мне дружбу... я чрезвычайно занят!.. поди ты, так, дня через три, на кладбище да узнай, что там делается. Я бы тебя не беспокоил: о, я сам пошел бы!.. да, видишь, мне как-то неловко ходить туда. Поверь мне, друг мой, что я не люблю употреблять во зло время моих приятелей... право, я сам пошел бы; я пойду, если ты хочешь... Ты понимаешь, что это не по лености, не по чему-либо другому прочему...

— А потому,— подхватил я, смеясь его увerткам,— что там много крестов. Понимаю!

— Ну да! — сказал он, потупив взоры.— С тобой нечего секретничать. Ты все понимаешь.

Он бросился целовать меня.

— Прощай, мой Чурка! — сказал он.— Прощай, старый дружище! Я бегу в Париж и на днях буду опять к тебе. Ты мне все расскажешь о мертвеце и об его вдове. Прощай! прощай!..

И он исчез. Я принялся тушить свечи.

Скоро наступил день, люди начали вставать. Несмотря на удовольствие, которое приносили мне воспоминания о ночи, проведенной так весело, как давно уже не проводил, я был беспокоен и почти печален. Проказы Бубантеса могли иметь неприятные последствия для молодой вдовы, которую я любил, как родную дочь. И, к несчастию, я не мог пособить им!.. Мне хотелось, по крайней мере, облегчить сердце наблюдением любопытных действий электромагнитности, которою он зарядил мою хозяйку и нашего соседа Аграфова— Алексея Петровича. Я вошел в ее комнату. Она еще спала. Я отправился к Аграфову, который вставал рано.

Алексей Петрович был красен, глаза у него пылали, из зрачков били жгучие светистые лучи, которыми он так и пронзал свою супругу. Он ловил ее и, поймав, осыпал страстными поцелуями. Он клялся, что любит, обожает свою жену. Заряд уж, видно, был очень силен.

Жена, которая давно выстреляла свою любовь и в которую черт не подсыпал пороху, имела бледное лицо и глаза безжизненные. Прежде я знавал ее розовой и особенно удивлялся блеску ее глаз. Она зевала в объятиях Алексея Петровича, отворачивалась или равнодушно принимала его ласки.

Он бесился, называл ее холодною, утверждал, что она его не любит и никогда не любила.

Они побранились.

Проклятый Бубантес! он-то причиною этого недоразумения. Зачем было нарушать равновесие супружеских чувствований? Они так хорошо жили в холодном климате дружбы и взаимного уважения! Они и не думали о страсти! Упрек, которому Татьяна Лаврентьевна подверглась от внезапного взрыва нежности в Алексее Петровиче, был несправедлив и обиден. Она его любила, но любила только мысленно. Прежде любила она его всею душою и всем телом. Но когда тела утратили в туманной атмос-

фере супружества весь запас того чудесного летучего вещества, которое заставляет даже два куска холодного железа привлекать друг друга и так сильно сплачивать их между собою, тогда одно только воображение связывало супругов, и они принимали за любовь призрак любви, носившийся в их уме. Он имел все формы и весь цвет действительности. Эти призраки любви можно назвать супружескими сновидениями, и они обманчивы, как все сновидения. Весною, когда воздух палит тонким и жгучим началом любви, когда оно проникает всю природу, заставляя птичек петь оды, львов реветь в пустыне, почки дерев и растений радостно вскрывать свои сокровища призматических цветов и убирать ими свои стебли — весною и Татьяна Лаврентьевна с Алексеем Петровичем бывали довольно хорошо наэлектризованы: и они поют, и они цветут, становятся розовы и красивы, привлекают и сердечно любят друг друга. Но теперь была осень — все отцвело, отпело, отревело, воздух потерял свою волшебную силу: с какой же стати Татьяне Лаврентьевне было пылать любовью! Привыкнув устремлять к мужу все свои мысли, сосредоточивать в нем все свои надежды, они любила его умом — как любят в супружестве осенью и зимою. Алексей Петрович, которого черт накатил вдруг положительной любовью или электромагнитностью, не хотел понять этого, и у них вышла ужасная ссора, но я, по долгу домового, не смею пересказывать ее подробно.

Алексей Петрович был так сердит, что я удрал от них в спальню своей хозяйки.

Она одевалась перед зеркалом, или, точнее, стояла в рубашке и любовалась своей красотою. Я никогда не видел ее столь прелестною. Цвет ее лица дышал необыкновенною свежестью; глаза мерцали, как бриллианты; она совершенно походила на молодую розу, которая раскрылась ночью и при первых лучах солнца лелеет на своих нежных листочках две крупные капли росы, в которых играет юный свет утра, упоенного девственным ее запахом. Мне казалось, что моя хозяйка тоже издавала весенний ароматический запах. Может статься, мне только так казалось. Но то верно, что она, легши вчера спать торжественно влюбленною в покойного мужа, встала сегодня полною других чувствований и об нем не думала. Люди смеются над вдовами, которые обнаруживают неутешную печаль по своих мужьях, обрекают себя на вечный плач на их гробницах и потом вдруг выходят замуж: я не понимаю, что в этом может быть смешного! Чем виноваты

вдовы, когда любовь зависит от воздуха. У людей нет толку ни на копейку. Притом же в самую безутешную вдову черт может вдруг подлить ночью этой летучей жидкости, как в Лизавету Александровну! Вчера она даже не помнила о своей красоте; теперь, прямо с постели, невольно побежала к зеркалу. Теперь она была беспокойна и скучна. Легкие вздохи вырывались порою из ее прекрасной груди, которую она тщательно прикрывала рубашкою от любопытства собственных взоров. Прежде она этого не делала. Это пробуждение тревожной стыдливости должно быть также следствие свойств отрицательной электромагнитности. Я сам примечал, что женщины становятся стыдливее весною. Но возвращаясь к легким вздохам — они очевидно не относились к Ивану Ивановичу. Они ни к кому не относились. Скука и томное чувство одиночества, в котором она не признавалась даже перед собою, производили в ней это неопределенное волнение. Вскоре она занялась своим туалетом и нарядилась с необыкновенным вкусом — в первый раз со смерти мужа — в той мысли, что неравно кто заедет.

— Ах, как скучно! Если б кто-нибудь заехал ко мне сегодня!..— сказала она про себя, когда я уходил к себе за печку.

— Лишь бы этот кто-нибудь не был наэлектризован положительно,— сказал я, тоже про себя.— Иначе ты пропала, бедняжка!..

Но несчастие этой доброй женщины было решено.

Алексей Петрович, поссорившись с супругою, скучал ужасно в своем кабинете и вспомнил, что в том же доме живет милая и прелестная женщина, жена покойного его друга. Он тотчас оделся, причесался с большим тщанием, взял белые перчатки — чего никогда не делал поутру — и отправился к ней с визитом, надеясь рассеять свое супружеское горе в ее сообществе. Он забыл, что прежде находил мою хозяйку очень скучною за ее сентиментальность к покойнику и называл «эфесскою матроною»: летучий огонь подавлял в нем всякое рассуждение, он теперь помнил только о красивом личике Лизаветы Александровны.

Как скоро он вошел в залу, я затрепетал за печкой. Мне казалось, что вижу дракона, который приходит пожрать мою розовую вдову. Я проклял Бубантеса. Но этот плут давно уже не боится проклятий!

Любопытство заставило меня прокрасться в гостиную, чтоб быть свидетелем их встречи. Для большего удобства

наблюдений я влез в печь и смотрел на них в полукружье, находящееся в заслонке.

Лизавета Александровна задрожала всем телом, услышав издали только голос мужчины. Но она скоро опомнилась, подавила свое волнение, вышла к гостю совершенно спокойно и приняла его с обыкновенною приветливостью. Они разговаривали несколько времени, не глядя в лицо друг другу. Но вскоре, по случаю приветствия, которое сделал Аграфов насчет ее наряда, взоры их встретились, и я видел, как тонкие светистые лучи того же самого пламени, которое нам показывал Бубантес, перелетели из одних глаз в другие и слились. Несколько мгновений явственно видны были две огненные черты, протянутые между их противоположными зрачками. Они почувствовали род электрического удара, который обличился их смущением. Ни он, ни она не выдержали действия этих пронзительных лучей, потупили взоры и покраснели. С той минуты они как будто боялись друг друга, были весьма осторожны в речах, старались быть веселыми, болтать, шутить, но это им не удавалось. Они решились вглянуться еще раз и, к обоюдному удивлению, не почувствовали того потрясения, как прежде. Это их ободрило. Они начали болтать и смеяться. Я ушел. Нечего было смотреть более. Искры заброшены, и пожар в телах был неизбежен. Держись, брат ум!.. Или лучше спасайся заранее.

Они долго смеялись в гостиной, что весьма естественно. То самое тайное воздушное пламя, которое в образе молнии раздробляет дуб и превращает дома в пепел, которое в магните сцепляет два куска мертвого минерала, в живых существах связывает двое уст краснокаленым поцелуем — то самое пламя делает человека остроумным в первые минуты любовного опьянения. Впрочем, кислотвор производит то же действие. Рецепт для остроумия: возьми большой стеклянный колокол, посади под него глупца и нагони в воздух, заключенный в колоколе, лишнюю пропорцию кислотвора — глупец станет отпускать удивительные остроты. Я сам видел этот опыт, когда жил в Стокгольме за печкой у одного химика, и с тех пор гнушаюсь всяким остроумием. Производство его ничуть не мудренее приготовления газового лимонада и искусственной зельтерской воды. Вот почему я ушел к себе за печку, как скоро Лизавета Александровна и Алексей Петрович начали остриться.

Со всем тем я не отвергаю, что весьма было бы полезно

посадить под такой колокол иную литературу и целый город, в котором есть много типографий.

Они расстались восхищенные друг другом и обещав видеться чаще прежнего.

Лиза — так буду называть ее, потому что я очень любил мою бедную хозяйку — находила, вышивая вензель своего покойного мужа, что у Аграфова глаза прекрасные. Что касается до Аграфова, то он не скрывал от себя того факта, что моя хозяйка восхитительна с головы до ножки, и потому, возвратясь домой, наговорил своей жене тысячу милых приветствий.

Аграфов был не дурен собою, но я никогда не одобрял его носа; хорошо воспитан и еще довольно молод. Он с успехом занимался искусствами, особенно живописью, и я помню, что у него был отличный погреб, из которого я вытаскал пропасть бутылок старого вина и ликеров — за что, разумеется, невинно страдали лакеи. Этот человек не верил в домовых! И я любил его за это, хотя ненавидел за все прочее — право, не знаю за что — так! — за то, что он мне не нравился. Но Лиза решительно стала находить его очень любезным. По временам она содрогалась при этой мысли, которую считала преступною: тогда поспешно брала она книгу и читала скоро, чтобы забыть его. Прочитав несколько страниц, несчастная Лиза была уверена, что она совершенно к нему равнодушна.

Я уже предвидел ужасную борьбу души с телом в этой добродетельной женщине. О, если б победа осталась на стороне духа!

Аграфов, день ото дня более влюбленный, окружал ее всеми прельщениями, и она беззаботно брела в них, не примечая пропасти. Маленькие услуги, тонкие доказательства уважения, помощь в делах — ничто не было забыто. Соседство скоро превратилось в дружбу. Аграфов убедил свою жену сблизиться с вдовою своего приятеля, и с некоторого времени они были неразлучны. Эта дружба опечалила меня всего более. Знаю я эти дружбы! Я сиживал в запечках всех веков и народов, от римлян до северных американцев, и везде видел одинаковые следствия дружбы женщин, которая заводилась по убеждению мужа одной из них. Таков закон природы.

Лиза прелестно наряжалась и часто впадала в глубокую задумчивость.

Я сидел ночью на своем любимом диване, погруженный в прискорбные размышления о перемене, которая в течение десяти или одиннадцати дней произошла в этом доме, как

вдруг увидел перед собою Бубантеса. Он стоял, подбочснясь, в двух шагах от меня и смеялся своим чертовским смехом.

— Что это, Чурка? — вскричал он.— Ты даже не видел, как я пришел сюда! Ты печален?

— Пропади ты, проказник! — сказал я.— Посмотри, что ты наделал! Ты испортил мою добрую хозяйку. Это проклятое пламя, которое ты прилил в нее, делает в ней ужасные опустошения.

— Да! — отвечал он,— кровь — удивительно горючее вещество.

Я побранил Бубантеса за его неуместные шутки, но он расцеловал меня, засыпал уверениями в своей дружбе, наговорил мне столько приятного и умного, что я не в силах был на него гневаться. Признаюсь, у меня есть слабость к этому черту!

Мы уселись рядком. Он стал описывать мне свои подвиги в Париже и Лондоне, все свои журнальные и газетные плутни, и если не лгал, позволительно было заключить из его успехов, что люди — большие ослы!

— Ну, расскажи мне теперь,— прибавил он,— что тут деется.

Я рассказал. Слушая меня, он прыгал от радости, потирал руки и приговаривал: «Хорошо! Очень хорошо! Славно, мой Чурило!» Но когда я окончил, он замолк, призадумался и принял такой печальный вид, что я, глядя на него, заплакал.

— Что с тобой, мой друг? — вскричал я, умильно взяв его за рога и целуя его в голову, которую орошал теплыми слезами.— Скажи, милый Бубашка, что с тобою? Ты несчастен?

— Да! — сказал он, но сказал таким жалким голосом, что у меня разорвалось сердце.— Подумай только сам: что ж из этого выйдет? Они любят друг друга, и все тут. Это может кончиться только самым пошлым образом — как в новом французском романе — тем более что она вдова и свободна. Так что ж это за история? Неужли мы с тобою трудились для такого ничтожного результата?

— Чего ж ты от меня хочешь, мой друг? — спросил я.— Все для тебя сделаю! Только не печалься.

— Вот видишь, Чурка,— сказал он,— это дело нейдет назад. Тут нужно подбавить сильных ощущений, великих чувствований, больших несчастий: тогда только можно будет смеяться. Надобно, во-первых, чтобы какой-нибудь благородный юноша влюбился в твою вдову. Я об этом по-

думаю. Теперь я очень занят журналами. А между тем не худо было бы возбудить ревность в жене Аграфова. Это необходимо для занимательности. Скажи мне, что он делает? Не пишет ли стихов к твоей хозяйке? писем?

— Нет,— сказал я,— он тайно от нее и от жены пишет ее портрет в своем кабинете.

— Ах, вот это хорошо! — воскликнул Бубантес, вспрыгнув от восторга.— Ты знаешь, где он прячет свою работу?

— Знаю. В конторке, между бумагами.

— Пойдем к ним. Надобно перевести этот портрет в туалет жены.

— Да это не водится!.. Оно как-то будет неестественно.

— Предоставь мне. Я сделаю его естественным. Люди верят не таким небылицам. Пойдем, пойдем!

Проклятый Бубантес опять соблазнил меня!

Мы пошли на половину Аграфовых. Я повел Бубантеса в кабинет мужа, показал ему конторку и по его приказанию вытащил миньятюру в замочную скважинку. Он положил ее на ладонь и начал всматриваться.

— Похожа! — сказал он.— У него есть талант. Я бы хотел, чтоб он когда-нибудь написал мой портрет.

Он взял меня об руку, и мы отправились из кабинета в спальню. Мы остановились подле кровати Аграфовых; черт, по своему обычаю, принялся делать разные замечания о спящих супругах; мы болтали и смеялись минут десять; наконец, он вспомнил о деле и поворотился к туалету. Он выдвинул один ящик, только что хотел положить портрет на бумаги, и вдруг опрокинулся наземь, испустив пронзительный стон. Я отскочил в испуге и увидел, что подле нас стоит дюжий, пенящийся от ярости черт с огромными золотыми рогами. То был Фифи-коко, сам главноуправляющий супружескими делами! Он откуда-то увидал Бубантеса в спальте Аграфовых, влетел нечаянно и боднул его из всей силы в бок рогами в то самое время, как мой приятель протягивал руку к ящику.

— Ах ты, мерзавец! — закричал Фифи-коко лежавшему на земле черту журналистики,— что ты тут делаешь? как ты смеешь распоряжаться по моему ведомству?

Бубантес схватился за бок и быстро вскочил на ноги, отступил к двери и остановился. Тут он заложил руки назад и, глядя на Фифи-коко с неподражаемым видом плутовства, равнодушия и невинности, возразил:

— Ты, любезный мой, бодаешься, как старый бык. Знаешь ли, что это признак очень дурного воспитания?

— Молчи, леший! — гневно сказал Фифи-коко.— Я хочу знать, кто тебе дал право искушать людей по моей части и зачем вмешался ты в дела этих почтенных супругов?

— Ну что ж такое? — отвечал Бубантес с презабавною беззаботливостью.— Велика беда! Я хотел сделать повесть для журнала. Не хочешь, как тебе угодно! Для меня все равно.

— Я сам поведу это дело,— сказал Фифи-коко.

— Изволь, изволь, почтеннейший! у меня есть свои занятия, важнее и полезнее этих мерзостей,— отвечал Бубантес и утащил меня из спальни.

— Экой мошенник! — вскричал Фифи-коко, подымая портрет Лизы с земли.— Чуть-чуть не поссорил супругов из-за безделицы!..

Бубантес воротился.

— Имея честь всегда обращаться с супругами,— сказал он ему,— ты, брат, выучился ругаться, как сапожник.

— Смотри ты своих журналистов,— отвечал ему Фифи-коко,— они ругаются хуже супругов.

— Пойдем,— сказал мне Бубантес.— С ним нечего толковать. Я бы его отделал по-своему, да он теперь в милости у Сатаны. Этот осел изгадил все дело. А жаль! Мы вышли на крыльцо. Он простился со мною и полетел прямо во Францию.

. . . .

1835

ПРИМЕЧАНИЯ

Произведения О. И. Сенковского были собраны воедино лишь однажды: сразу после смерти автора вышло (со вступительной статьей его ученика П. С. Савельева) девятитомное собрание его сочинений (Спб., 1858—1859): т. 1—5 составили, в основном, художественные произведения и переводы, т. 6—7 — научные работы в области истории, филологии и этнографии, т. 8—9 — избранные критические и научно-популярные статьи. Не претендующее на исчерпывающую полноту (особенно в разделе критики и библиографии), это собрание сочинений демонстрирует вместе с тем неплохой уровень подготовки текстов и потому взято в основу настоящего издания. В советское время был отдельно издан только перевод О. Сенковского романа Дж. Мориера «Похождения Хаджи-Бабы из Исфагана» (М.: Худож. лит., 1970); несколько его повестей было напечатано в ряде альманахов, сборников и хрестоматий.

Настоящее издание объединяет избранные беллетристические произведения О. Сенковского (выпускавшиеся им преимущественно под псевдонимом Барон Брамбеус), большинство из которых после 1858—1859 гг. не переиздавались. Тексты повестей сверены по первым публикациям и печатаются в соответствии с современными нормами правописания. В некоторых случаях сохранены орфографические и синтаксические архаизмы, отражающие разговорный и литературный язык эпохи, а также индивидуальную манеру Сенковского-Брамбеуса.

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ БАРОНА БРАМБЕУСА

Впервые: отд. изд. Спб., 1833. Имели широкий читательский успех и неоднократно переиздавались при жизни автора. Третья повесть — «Ученое путешествие на Медвежий остров» — вошла в состав сборника «Взгляд сквозь столетия (Русская фантастика XVIII и первой половины XIX в.)».— М.: Мол. гвардия, 1977.— С. 130—214. В настоящем издании частично использован комментарий (В. Гуминского) к этой публикации.

С. 24. У всякого барона своя фантазия.— Эпиграф представляет собой переделку пословицы «У всякого барана своя фантазия».

1. ОСЕННЯЯ СКУКА

С. 25. Эпиграф — из письма, приписанного маркизу Лондондерри (*Кастльри* Генри Роберту Стюарту) (1769—1822), министру иностранных дел Великобритании. Готовясь к участию в Веронском конгрессе (1822), маркиз Лондондерри заболел психическим расстройством и в

припадке мании преследования перерезал себе горло перочинным ножом. Действительно, существовала переписка маркиза Лондондерри, часть которой была издана в Лондоне в 1848—1853 гг.; большая же часть его переписки погибла во время кораблекрушения.

С. 25. *Сплин* — хандра, тоскливое настроение.

С. 25. *...великолепное объявление А. Ф. Смирдина о новом журнале...* — Смирдин Александр Филиппович (1795—1857) — издатель и книгопродавец; новый журнал — «Библиотека для чтения», первый номер которой вышел в свет 1 января 1834 г.; великолепное объявление — имеется в виду объявление об этом журнале, появившееся в печати в 1833 г.

С. 26. *...слоем острых, шероховатых, засаленных местоимений сей и оный...* — По замечанию Н. В. Гоголя, Сенковский «завязал целое дело о двух местоимениях: сей и оный»: он неоднократно высмеивал употребление этих устаревших местоимений и написал даже статью «Резолюция на челобитную сего, оного, таковаго, коего, поелику, якобы и других, причастных к оной челобитной, по делу об изгнании оных, без суда и следствия, из русского языка» (Библиотека для чтения.— 1835.— Т. 8.— Отд. 6.— С. 26—34).

С. 26. *Повытчик* — служитель канцелярии, должностное лицо, ведавшее делопроизводством в суде Русского государства.

С. 27. *...как Александр Великий презрел наглость скифов.* — Имеется в виду эпизод из истории Александра Македонского (356—323 до н. э.), когда, во время среднеазиатского похода (330 г. до н. э.), расправившись с восставшими согдийцами, полководец не выступил против живших поблизости скифов, а предпочел отправиться в Индию.

С. 28. *Кенкет* — комнатная лампа, в которой горелка устроена ниже масляного уровня.

С. 33. *Стерн* Лоренс (1713—1768) — английский писатель.

С. 33. *...соответственно восьми классам табели о рангах...* — «Табель о рангах» — документ, введенный Петром I в 1722 г. и разделивший все должности военной и гражданской службы на 14 рангов или классов. Далее указываются следующие классы: 14-й класс — коллежский регистратор; 12-й класс — губернский секретарь (поручик); 10-й класс — коллежский секретарь (штабс-капитан); 9-й класс — титулярный советник (капитан); 8-й класс — коллежский асессор (майор).

С. 33. *...человек есть простое двуножное животное без перьев...* — Ср. определение Платона (427—347 до н. э): *«Человек* — существо бескрылое, двуногое, с плоскими ногтями; единственное из существ, восприимчивое к знанию, основанному на рассуждениях».

С. 33. *Дивоншир* (Девоншир) — род английских герцогов, ведущий свое начало с IX в.

С. 35. *Голконда* — местность в Британской Индии, некогда столица, славившаяся знаменитыми гранильнями алмазов.

С. 35. *Фивская Мемнонова статуя* — одна из двух каменных фигур сидящего фараона Аменхотепа III (1408—1372 до н. э.) у входа в храм Амона в Фивах (Египет); издавала на рассвете странные стонущие звуки, которые древние отождествляли с голосом Мемнона (сына богини утренней зари Эос) (подробнее см. в книге Н. А. Рубакина «Среди тайн и чудес»).

С. 35. *Гелиопольский обелиск.* — Имеются в виду развалины храма в древнем сирийском городе Гелиополе (ныне Баальбек).

С. 35. *Шаро́* — вероятно, от французского слова charogne — падаль, тухлятина.

С. 35. Имеется в виду один из братьев Гумбольдт — Вильгельм или Александр — немецкие ученые, путешественники и государственные деятели.

С. 36. *Торопецкий уезд* — в Псковской губернии.

С. 37. *Александровская колонна* — памятник Александру I, гранитная колонна на Дворцовой площади в Петербурге, представляющая собой цельный монолит. Во время создания «Фантастических путешествий...» она еще возводилась (открыта в 1834 г.).

II. ПОЭТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО БЕЛУ-СВЕТУ

С. 38. Эпиграф — начало стихотворения Н. М. Языкова «Элегия» (1825).

С. 39. *Титулярный советник* — чин 9-го класса; *коллежский советник* – чин 6-го класса (полковник); *статский советник* — чин 5-го класса; *действительный* статский советник — чин 4-го класса (генерал-майор).

С. 39. *...как скоро сделаюсь я превосходительным...* — чин действительного статского советника предполагал обращение «ваше превосходительство».

С. 40. *Антонов огонь* — гангрена.

С. 41. *Ферязь* — старинная русская одежда.

С. 41. *...на отечество стряпчих и повытчиков...* — Стряпчий — чиновник по судебному надзору; повытчик — см. примеч. к с. 26.

С. 41. *Хочу упиться поэзиею подьячества.* — Подьячий — писец и делопроизводитель в приказной канцелярии в допетровской России.

С. 42. *...кроме арбузов, блох и клопов, которых можно найти и в Монастырке.* — «Монастырка» (1830—1833) — роман русского писателя Антония Погорельского (Алексей Алексеевич Перовский, 1787—1836). В романе даются психологически верно схваченные картины жизни Малороссии (Украины).

С. 43. *...в благовонном облаке дыма тюмбеки...* — Тюмбека — сорт турецкого табака.

С. 44. *...русский банкротский устав...* — Имеется в виду порядок установления и признания несостоятельности в уплате долгов и платежей.

С. 45. *Пероты* — жители Перы, части Константинополя, населенной преимущественно европейцами.

С. 46. *Фирман* — указ султана, шаха.

С. 46. *Стамбулка* — трубка.

С. 46. *...Махмуд величайший человек в мире...* — Махмуд II (1785—1839) — турецкий султан, пытавшийся ввести реформы в европейском духе; в 1826 г. уничтожил янычарское войско.

С. 47. *Фанар* — греческий квартал в старой части Константинополя, на берегу Золотого Рога, получивший свое название от находившегося поблизости маяка.

С. 47. *Бостанджи-баши* — начальник полиции в Стамбуле.

С. 47. *Тандур* — светский салон.

С. 48. *Алкоран* (Коран) — священная книга магометан, источник мусульманского богословия и юриспруденции.

С. 49. *Сю* Эжен *(Евгений)* (1804—1857) — французский беллетрист; в 30-е гг. автор увлекательных рассказов из морского быта.

С. 49. *Шкипер* — капитан судна в торговом флоте.

С. 49. *Царьградский пролив* — Босфор.

С. 50. *...знаменитее баснословного Рустема...* — Рустем — легендарный богатырь, защитник Ирана, которому посвящена значительная часть поэмы Фирдоуси «Шах-наме».

С. 50. *Эфенди* — в Турции: господин, сударь.

С. 51. *Драгоман* — переводчик при европейских миссиях и консульствах на Востоке.

С. 51. *Мерлушка* — мех, выделанная шкурка ягненка грубошерстной породы овец.

С. 52. *Кондогуни* — словообразование Сенковского — от лат. conde (изящный) и русск. диалектного гуни (тряпье, обноски).

С. 53 *...восточного словаря Менинского...* — имеется в виду «Словарь арабско-персидско-турецкий», составленный чешским просветителем Франтишеком Менински (1628—1698).

С. 53—54. *Надворные и беспорочные...* — Надворный советник — чин 7-го класса (подполковник).

С. 55. *«Церковь Парижской богоматери»* — имеется в виду роман В. Гюго «Собор Парижской богоматери» (1831).

С. 56. *Диван* — совет министров (везиров).

С. 56. *Галата* — предместье Константинополя, средоточие торговли.

С. 56. В раннем творчестве Бальзака (1799—1850) Сенковский видит элементы натурализма.

С. 57. *Аршин* примерно равен 72 см.

С. 57. *Ага* — в Турции: низший чиновник.

С. 57. *Ярлык* — государственный документ.

С. 61. *Бура* — натриевая соль борной кислоты, употребляемая в медицине.

С. 62. *Нотабена* (от лат. nota bene — заметь хорошо) — отметка в тексте книги или документа возле того места, на которое следует обратить особое внимание.

III. УЧЕНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА МЕДВЕЖИЙ ОСТРОВ

С. 63. Эпиграфы к повести — вымышленны. *Кювье* Жорж (1769—1832) — французский естествоиспытатель, занимавшийся реконструкцией ископаемых форм животного мира. Концепция Кювье, в которой доказывалась закономерность катастрофических изменений в природе,— один из адресатов иронии Сенковского.

С. 64. *Мастодонт* — огромное вымершее животное, близкое к слону.

С. 64. *Геттингенский университет* — один из популярнейших в Германии (основан в 1737 г.).

С. 65. *...мегалосаурами, плезиосаурами, мегалотерионами...* — термины палеонтологии, обозначающие ископаемых животных.

С. 65. *...в одном Париже было их четыре!..* — количество «потопов» было подсчитано соратником Кювье А. Броньяром.

С. 66. *Обербергпробирмейстер* — горный мастер (нем.).

С. 66. *Шампольон Младший* Жан Франсуа (1790—1830) — французский ученый, основатель египтологии, открывший основные принципы дешифровки иероглифического письма древних египтян. В 30-е гг. его открытие (сделанное в 1822 г.) подвергалось пересмотру и критике, и лишь впоследствии была доказана справедливость основных его положений. Сенковский, скептически относящийся к открытию Шампольона, иронизирует над ним.

С. 67. *Гульянов* Иван Александрович (1789—1841) — русский египтолог, автор книги «Археографические опыты» (1826), в которой оспаривал концепцию Шампольона.

С. 68. *Египетский мост* — металлический цепной мост через Фонтанку (существовал с 1826 по 1905 г.); чугунные ворота моста были обильно орнаментированы иероглифами в псевдоклассическом стиле.

С. 68. *Берд К. И.*— промышленник, владелец крупнейшего чугунолитейного завода в Петербурге.

С. 69—70. *Паллас* Петр Симон (1741—1811) и *Гмелин* Иоганн (1709—1755) — естествоиспытатели, члены Академии наук, знаменитые путешественники по России. *Клапрот* Генрих Юлий (1783—1835) — ориенталист и путешественник; в 1823 г. выпустил на немецком языке книгу о Сибири с копиями надписей на скалах. *О. Иакинф* — Бичурин Никита Яковлевич (1777—1853) — русский китаевед, член-корреспондент Академии наук. *Плано Карпини* Джованни де (1182—1252) — монах-францисканец, путешественник. Все высказывания названных ученых и путешественников о «Писанной комнате» — выдумка Сенковского.

С. 71. *Оселок* — здесь: камень для испытания драгоценных металлов.

С. 74. *Да это иероглифы!..*— Идея о том, что наскальные изображения Сибири представляют собой египетские иероглифы, выдвигалась еще в 1730 г. шведским ученым И.-Ф. Страленбергом.

С. 77. *Шейхцер* Иоганн Якоб (1672—1733) — немецкий естествоиспытатель; в 1700 г. обнаружил скелет ископаемой саламандры, который принял за скелет человека.

С. 79. *...могущественной Барабии...*— имя фантастической страны произведено от названия Барабинской степи (местность между Иртышом и Обью).

С. 80. *Клок* — женский плащ без рукавов.

С. 83. *Палеотерион* (палеотерий) — вымершее непарнокопытное животное, близкое к древнейшей лошади.

С. 83. *Гом* Генри (1696—1782) — шотландский моралист и эстетик; *Букланд* (Буклэнд) Вильям (1784—1856) — английский геолог, автор трудов, посвященных древним окаменелостям; *Броньяр* Александр (1770—1847) — французский геолог; *Гумбольдт* Александр (1769—1859) — немецкий ученый-натуралист и путешественник.

С. 89. *Астролябия* — угломерный прибор, служивший в XVIII в. для определения долгот и широт.

С. 92. *Капище* — культовое сооружение у язычников.

С. 93. *Птеродактиль* — род вымершего летающего ящера.

С. 107. *...столчены в иготи...*— Иготь — ручная ступка.

С. 110. *Теки, сикоморы...*— названия древесных растений.

С. 115. *Тапиры* — животные отряда парнокопытных.

С. 120. *Кислотвор* — уст.: кислород.

С. 120. *Гофрат* — здесь: коллега (нем.).

С. 131. *...две дести бумаги...*— Десть — единица счета писчей бумаги (44 листа).

С. 131. *Толмачев* Яков Васильевич — автор «Правил словесности» (ч. I—IV. Спб., 1822).

С. 136. *Сталагмиты* — натечные известковые образования, поднимающиеся вверх со дна пещеры в виде больших сосулек.

С. 137. *Гайленд* и *Гилль* — исследователи, вероятно, выдуманные автором.

С. 137. *«Чем тебя я огорчила?..»* — начало известной песни на слова А. П. Сумарокова.

IV. СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ГОРУ ЭТНУ

С. 139. Эпиграф — из лубочной книги «История о храбром рыцаре Франциске Венецияне и прекрасной королеве Ренцивене», обработанной А. Филипповым (1787).

С. 139. *Катана* — столица Катании, провинции в Сицилии; расположена на берегу моря, близ Этны.

С. 140. *...потомки Брута и Катона надували нашего графа ***ова...*— Брут Децим Юний (84—43 до н. э.) и Катон Марк Порций (95—46 до н. э.) — герои римской истории, славные своей неподкупностью. Граф ***ов — вероятно, граф Румянцев Николай Петрович (1754—1826) — государственный деятель, собиратель книг и редкостей, основатель Румянцевского музея в Москве.

С. 140. *Мессина* — город на о. Сицилия.

С. 142. *Скории* — от ит. scoria — шлак, окалина, кусочки застывшей лавы.

С. 147. *Гроденапль* — плотная шелковая материя.

С. 149. *Новгородская республика* — имеется в виду Новгород Великий, область Древней Руси с самостоятельным вечевым управлением (до 1478 г.).

С. 149. *Карбонари* — член тайного политического общества в Италии, принимавшего участие в восстаниях 1820-х — 1830-х гг.

С. 153. *...надобно прибегнуть к пособию «Умозрительной физики» г. академика В***...*— Имеется в виду сочинение философа-шеллингианца Велланского Данилы Михайловича (1774—1847) «Опытная, наблюдательная и умозрительная физика» (Спб., 1831), подвергшееся насмешкам Сенковского.

С. 155. *Пуд* — старая русская мера веса, равная 16,38 кг.

С. 155. *Фунт* — старая русская мера веса, равная 409,5 г.

С. 155. *Кадриль* — танец из шести фигур, с четным количеством танцующих пар, которые располагаются одна против другой.

С. 158. *...всегда танцуем по Кеплеру и Ньютону...*— т. е. по обычным законам физики, открытым Кеплером Иоганном (1571—1630) и Ньютоном Исааком (1643—1727).

С. 158. *Котильон* — старинный танец — кадриль, фигуры которой перемежаются вальсом, полькой и другими танцами.

С. 160. *Не были ли вы там знакомы с Пифагором или с Эмпедоклом?*— Пифагор (ок. 580—500 до н. э.) и Эмпедокл (ок. 490—430 до н. э.) — греческие философы, жившие в Италии. По преданию, Эмпедокл бросился в кратер Этны, оставив на его краю свою сандалию.

С. 163. *...стоит только провалиться в Этну, чтоб понимать язык Канта, Фихте, Шеллинга...*— Сенковский иронизирует над «заумным» языком немецкой классической философии.

С. 164. *Далай-лама* — первосвященник ламаистской церкви в Тибете.

С. 167. *Аматер* — уст.: любитель.

С. 173. *...сочинения знаменитого певца взяточников Ф. В. Булгарина...*— Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859) — русский журналист и писатель; в его романах «Иван Выжигин» (1829) и «Петр Иванович Выжигин» (1831) часто встречаются фигуры взяточников и карьеристов.

С. 175. *Скотт Вальтер* (1771—1832) — английский писатель, автор многочисленных исторических романов, которые породили множество подражаний, в том числе и в России (М. Н. Загоскин, О. М. Сомов, Н. А. Полевой и др.).

С. 179. *...не женируйтесь...*— не стесняйтесь (от франц. gêner).

С. 180. *Тимпан* — древний ударный музыкальный инструмент.

С. 184. *Индульгенция* — грамота об отпущении грехов у католиков, выдаваемая обычно за высокую плату церковью от имени папы римского.

С. 184. *Сбир* — полицейский стражник в Италии.

С. 185. *Королевство обеих Сицилий* — феодальное государство на юге Италии, существовавшее с 1130 до 1860 г.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ НРАВЫ

Под этим заглавием Сенковский объединил цикл нравственно-сатирических очерков, писавшихся в 1833 г.

ПЕТЕРБУРГСКАЯ БАРЫШНЯ

Впервые: Северная пчела.— 1833.— № 4.

С. 189. *Палатин* (палантин) — женский широкий, обычно меховой или бархатный шарф, накидываемый на плечи.

С. 189. *Басон* — плетеное изделие, идущее на украшение одежды, мебели (шнур, тесьма, бахрома).

С. 190. *Блонды* — кружева.

С. 191. *...она плакала в театре при представлении «Антонии», «Филиппа», «Матери и дочери — соперниц»...* — Имеются в виду ходовые пьесы репертуара русских театров первой трети XIX в., причем последняя — «Мать — совместница дочери» (1772) — комедия А. П. Сумарокова.

С. 192. *Камергер* — старшее придворное звание в дореволюционной России (для лиц, имевших чин 3-го и 4-го класса).

ЛИЧНОСТИ

Впервые: Северная пчела.— 1833.— № 17.

С. 196. *Веллингтон* Артур Уэллсли (1769—1852) — английский полководец и государственный деятель, защищавший идеи крайних тори.

«Билль о преобразовании парламента», упоминаемый Сенковским,— законопроект 1832 г., изменивший избирательную систему в пользу средних классов.

С. 196. *...на завод г. Берда...* — см. примеч. к с. 68.

ЧЕЛОВЕЧЕК

Впервые: Северная пчела.— 1833.— № 137.

С. 200. *...вельможа в случае...* — фаворит, приближенный к особе монарха.

С. 201. *Герольдия* — ведомство по делам, касающимся родословных привилегий и титулов.

МОЯ ЖЕНА

Впервые: Северная пчела.— 1833.— № 152.

АРИФМЕТИКА

Впервые: Северная пчела.— 1833.— № 209—210.

С. 207. *Дюпен* Пьер Шарль (1784—1873) — французский математик и экономист, почетный член Академии наук.

С. 211. *Во втором веке* — неточность Сенковского: извержение Везувия произошло в 79 г. н. э.

С. 212. *Чимборассо* (Чимборазо) — вершина Анд, потухший вулкан (Эквадор); высота 6262 м.

С. 214. *...деревянную штофную лавку...*— Штоф — русская мера емкости, равная 1/10 ведра. Штофными лавками назывались специализированные питейные заведения.

ЗАКОЛДОВАННЫЙ КЛАД

Впервые: Северная пчела.— 1833.— № 220.

С. 215. *...Блейская крепость, корабль «Дон Иоао»...*— указание на газетные заметки, посвященные *«португальским делам»* 1833 г.

АУКЦИОН

Впервые: Северная пчела.— 1834.— № 6—7.

С. 220. *«Умри, Брамбеус!»* — намек на фразу Ф. В. Булгарина, который в разборе «Фантастических путешествий...» приложил к Сенковскому слова Г. А. Потемкина к Фонвизину: «Умри, Денис! Лучше не напишешь!» (Северная пчела.— 1834.— № 2).

С. 221. *...полдести бумаги...*— См. примеч. к с. 131.

С. 222. *Бюффон* Жорж Луи Леклерк (1707—1788) — французский естествоиспытатель, автор 36-томной «Естественной истории».

ПОВЕСТИ

БОЛЬШОЙ ВЫХОД У САТАНЫ

Впервые: Новоселье.— Спб., 1833.— С. 129—186. Псевдоним: Барон Брамбеус. Повесть представляет собой переделку произведения О. Бальзака «Бал у Сатаны».

С. 231. *...но «Отечественным запискам» ни в чем — даже в рассуждении ада — верить невозможно.*— Журнал «Отечественные записки» до 1839 г. издавался П. П. Свиньиным.

С. 231. *Бузенбаум* Герман (1600—1668) — иезуит, богослов, автор иезуитского кодекса.

С. 232. *Лукулл* Луций Лициний (ок. 117 — ок. 56 до н. э.) — римский полководец, прославившийся излишествами и роскошью.

С. 232. *...исправляет при дворе его должность обер-гофмейстерскую...*— Чин обер-гофмейстера был придворным и приравнивался к чину действительного тайного советника (генерал-аншефа).

С. 232. *Квасцы* — название различных двойных сернокислых солей, употребляемых для дубления кож.

С. 232. *...сказки, мессенианы и баллады...*— Мессениана — возможно, образование от «Мессиада» — название эпической поэмы Ф.-Г. Клопштока (1724—1803).

С. 233. *...Иппократ, убивший на земле своими рецептами...*— Гиппократ (460—356 до н. э.) — знаменитый врач древности.

С. 234. *...ваш пьяный Харон...*— в греческой мифологии перевозчик теней умерших через адские реки (в том числе через реку забвения — Лету).

С. 234. *«.........ец .....оман ....торич...., сочин... н..... 830»* — Сенков-

ский зашифровал таким образом книгу: «Дмитрий Самозванец, роман исторический, сочинение Булгарина 1830 года».

С. 234. *Плутон* — в греческой мифологии бог подземного мира.

С. 234. *Вельзевул* — в Новом завете имя главы демонов.

С. 235. *Он взял Гернани, Исповедь, Петра Выжигина, Рославлева, Шемякин Суд и кучу других отличных сочинений...* — «Эрнани» (1830) — драма В. Гюго, «Исповедь» (1766—1769) — мемуары Ж.-Ж. Руссо, «Петр Иванович Выжигин» (1831) — роман Ф. В. Булгарина, «Рославлев, или Русские в 1812 году» (1831) — роман М. Н. Загоскина, «Шемякин суд» — лубочная книга XVII—XIX вв.

С. 236. *Фронтон* — завершение (обычно треугольное) фасада здания; *архитрава* (архитрав) — каменная балка, лежащая на колоннах; *кариатида* — скульптурное изображение стоящей женской фигуры, которое служит опорой балки в здании.

С. 236. *«Умозрительная физика В***...»* — см. примеч. к с. 153.

С. 236—238. *«Курс умозрительной философии» Шеллинга.* — Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф (1775—1854) — немецкий философ, представитель классического идеализма.

С. 237. *...шепнул ***ову, известному любителю Канта, Окена, Шеллинга, магнетизму и пеннику...* — ***ов — М. Г. Павлов, русский философ-шеллингианец; Кант Иммануил (1724—1804) — родоначальник немецкой классической философии; Окен Лоренц (1779—1851) — немецкий естествоиспытатель и натурфилософ, последователь Шеллинга.

С. 237. *...как ***ой о древней российской истории.* — Имеется в виду Полевой Николай Алексеевич (1796—1846) — русский писатель и журналист, автор «Истории русского народа» (т. 1—6, 1829—1833).

С. 238. *...я читал, помнится, в сочинениях болландистов...* — Болландисты — монахи, издававшие «Жития святых» (1643—1794); название произошло от имени первого издателя — И. Болланда.

С. 238. *...известный Петр Пустынник...* — Петр Амьенский (1050—1115) — монах, народный проповедник, организатор первого крестового похода.

С. 238. *...прикинуться несколько раз сряду Димитрием...* — Имеется в виду Димитрий Самозванец.

С. 239. *...с остатками одной достославной революции...* — Имеется в виду революция 1830—1831 гг. в Польше.

С. 242. *Капуцин* — католический монах нищенствующего монашеского ордена, носящий плащ с капюшоном.

С. 243. *...билль о реформе...* — см. примеч. к с. 196.

С. 244. *...как бомба, брошенная из большой Перкинсовой мортиры.* — Мортира — короткоствольное артиллерийское орудие для навесной стрельбы.

С. 244. *...после изобретения Фраунгоферова телескопа...* — Фраунгофер Йозеф (1787—1826) — знаменитый немецкий оптик, внесший ряд усовершенствований в приготовление оптических стекол и особенно ахроматических больших объективов, используемых в телескопах.

С. 244. *Лафайет* Мари Жозеф (1757—1834) — маркиз, французский политический деятель; в период Июльской революции 1830 г. командовал Национальной гвардией, содействовал вступлению на престол Луи-Филиппа.

С. 244. *Наполеон* II — Жозеф Франсуа Шарль Бонапарт (1811—1832) — сын Наполеона I, провозгласившего его французским императором при своем отречении от престола; никогда не правил.

С. 250. *...напевал себе сквозь зубы арию из «Фрейшюца»...* — «Фрейшютц» («Волшебный стрелок», 1820) — опера К. Вебера (1786—1826).

С. 252. *...причесанных* à la Titus...— т. е. в манере римского императора Тита (41—81).

С. 254. *...на седьмом Антони или прелюбодеяние...*— «Антони» (1831) пьеса А. Дюма-отца.

С. 254. *Жанен Жюль* Габриель (1804—1874) — французский писатель, автор ряда популярных романов, в том числе «Барнав» (1831).

С. 254. *Магомет* II, Буюк (Великий) (1430—1481) — турецкий султан, в 1453 г. завоевал Константинополь.

НЕЗНАКОМКА

Впервые: Новоселье.— Спб., 1833.— С. 1—36. Подписано: Барон Брамбеус. Повесть представляет собой переделку одного из произведений Ж. Жанена.

С. 257. *Камер-юнкер* — младшее придворное звание.

С. 257. *Странствующий Еврей* — «Вечный жид», Агасфер — персонаж христианской легенды позднего Средневековья.

С. 258. *...пило романею ведрами...*— Романея — в допетровской Руси виноградное вино высокого качества, привозившееся из-за границы.

С. 259. *Ферязь* — см. примеч. к с. 41.

С. 260. *Демокрит* (ок. 460 — ок. 370 гг. до н. э.) — древнегреческий философ-атомист и ученый-энциклопедист.

С. 260. *Бирон* Эрнст-Иоганн (1690—1772) — граф, фаворит императрицы Анны Иоанновны, создатель реакционного режима — «бироновщины».

С. 260. *Кантемир* Антиох Дмитриевич (1708—1744) — русский поэт-сатирик.

С. 261. *...играли в ломбер...*— Ломбер — старинная карточная игра.

С. 261. *...автор Ябеды...*— Капнист Василий Васильевич (1758—1823) — русский поэт и драматург, автор комедии «Ябеда» (1798).

С. 261. *Жегало* — каленое железо для прижигания.

С. 262. *Тупей* — старинная прическа: взбитый пучок волос на макушке.

С. 262. *...закутавшись в испанский плащ, как некогда Асмодей...*— Имеется в виду роман французского писателя А.-Р. Лесажа «Хромой бес» (1707), в котором Асмодей (по библейскому мифу, злой дух, глава демонов) показывает Клеофасу изнанку жизни обитателей Мадрида, срывая крыши с домов ночного города.

С. 263. *...по числу сыгранных робберов виста...*— Роббер — три сыгранных партии в вист, составляющие один круг игры, после которого производится денежный расчет.

С. 263. *...потешною маскою Комуса...*— Вероятно, имеется в виду древнегреческий Kōmos — ватага ряженых в празднестве Диониса.

С. 263. *«Иван Выжигин»* — см. примеч. к с. 173.

С. 264. *...изучив душу человека в Киевской академии...*— Киево-Могилянская академия (1632—1817) — первое высшее учебное заведение на Украине, бывшее в XVII—XVIII вв. крупнейшим научно-культурным центром России.

С. 264. *...женщин во время «киевских контрактов»...*— Контракты — здесь: периодические съезды для заключения торговых сделок.

С. 267. *Тредиаковский Василий* Кириллович (1703—1768) — русский писатель.

С. 268. *Раут* — торжественный званый вечер, прием.

С. 269. *«Наложница»* — поэма Е. А. Боратынского (1831).

С. 270. *«Степенная книга»* — составленный в XVI в. свод летописей,

в котором события расположены по родословным степеням великих князей; *«Ядро российской истории»* — книга для юношества А. Я. Хилкова (1770 и след.). *«Дворянин-философ»* — псевдоним Ф. И. Дмитриева-Мамонова (1727—1805), писателя и коллекционера. *«Телемахида»* — поэма В. К. Тредиаковского (1766); *«Хаджи-Баба»* — роман Дж. Мориера «Похождения Хаджи-Бабы из Исфагана», переведенный Сенковским (1831); *«Дочь купца Желобова»* — роман И. Т. Калашникова (1831—1832).

С. 271. *...приказала спросить у вас «Гирланду»...* — «Гирлянда» — альманах словесности, музыки, мод и театров, издававшийся в Петербурге М. А. Бестужевым-Рюминым в 1831—1832 гг.

С. 271. *...вот вам «Два Ивана»...* — «Два Ивана, или Страсть к тяжбам» — роман В. Т. Нарежного (1825).

С. 271. *Так дайте мне «Угнетенную невинность, или Поросенок в мешке»* — лубочное произведение А. А. Орлова (1790—1840).

С. 271. *«Дурацкий колпак»* — поэма В. С. Филимонова (ч. 1—5, 1828—1838).

С. 272. *Нет ли у вас «Поездки Греча к Булгарину»?..* — Имеется в виду роман в письмах Н. И. Греча «Поездка в Германию» (ч. 1—2, 1831).

С. 272. *«История русского народа»* — сочинение Н. А. Полевого (1829—1833, ч. 1—6).

С. 272. *«Искусство брать взятки»* — книга, написанная Э. П. Перцовым (1830).

С. 272. *«Детские досуги,* или Собрание повестей, анекдотов, исторических статей, драматических пиес, басен и разных стихотворений, приспособленных к детскому понятию» — книга, изданная книгопродавцом И. Слениным, как указано на титульном листе, *«при помощи литераторов»* (Спб., 1829). Стихи взяты из этого альманаха (анонимная комедия «Сирота»).

ЧТО ТАКОЕ ЛЮДИ!

Впервые: Комета Белы, альманах на 1833 год.— Спб., 1833.— С. 179—204.

С. 274. *...зверинец Лемана...* — Вероятно, имеется в виду ботанический сад в Гамбурге, директором которого был в то время Леман Иоганн-Георг-Христиан (1762—1860) — немецкий ботаник, профессор естественных наук.

С. 276. *Галль* Франц Иозеф (1758—1828) — австрийский врач, создатель френологии.

С. 278. *Ауд* — область в Индии; в начале XIX в.— одно из значительных индийских княжеств, боровшихся против экспансии Ост-Индской компании. Главный город области — Лекнов (Лукнов).

С. 279. *Бетель* — тропическое вьющееся кустарниковое растение, острое и пряное на вкус; листья бетеля употребляются для жевания.

ВСЯ ЖЕНСКАЯ ЖИЗНЬ В НЕСКОЛЬКИХ ЧАСАХ

Впервые: Библиотека для чтения.— 1834.— Т. 1.— С. 33—114.

С. 283. *Общество испытателей природы.* — Имеется в виду Московское общество испытателей природы, основанное в 1805 г.

С. 284. *«Тугендбунд»* — «Союз добродетели», политическое общество, основанное в 1808 г. в Кенигсберге с целью воспитания юношей в духе германского национального патриотизма.

С. 287. *Эшарп* — шарф.

С. 288. *6-й класс* — коллежский советник (полковник); чиновники 6-го класса именовались «ваше высокоблагородие»; чиновники 4-го класса (действительный статский советник) — «ваше превосходительство».

С. 292. *Роббер* — см. примеч. к с. 263.

С. 295. *Гроденаплевый капот* — см. примеч. к с. 147.

С. 295. *Фермуар* — ожерелье с пряжкой.

С. 298. *Бостанджи-баши* — см. примеч. к с. 47.

С. 299. *Бельведерский Аполлон* — одна из наиболее знаменитых античных статуй бога искусств Аполлона.

С. 299. *Статс-дама* — дама, состоящая в свите императрицы.

С. 300. *Оржат* (оржад) — миндальное молоко с водой и сахаром.

С. 306. *Магомет* (Мухаммед) (571—632) — основатель магометанской религии. *Алкоран* (Коран) — см. примеч. к с. 48.

С. 307. *Хурии* (гурии) — волшебные, райские красавицы.

С. 308. *...жилет из пестрого шали...* — Шали — пестрая ткань для платков.

С. 320. *Ла-Плата* — название устья двух рек Южной Америки, Параны и Уругвая.

...пресмыкающийся царь берегов Ла-Платы... — удав анаконда.

С. 323. *...меч Александров, чтоб рассечь этот узел...* — намек на легенду о том, как Александр Македонский разрубил Гордиев узел.

С. 323. *...слава семи греческих мудрецов...* — Имеются в виду семь греков VI в. до н. э., отличавшиеся житейской мудростью и высокими нравственными принципами (Биас, Хилон, Клеовул, Периандр, Питтак, Солон и Фалес); их изречения были записаны в Дельфийском храме.

С. 325. *Мазурка* — национальный польский танец с трехдольным тактом.

С. 328. *...казалась головою из каррарского мрамора, отбитою от статуи прекрасной нимфы Кановы...* — Каррарский мрамор — мрамор из каменоломен возле итальянского города Каррары, где находилась академия скульптуры. Канова Антонио (1757—1822) — итальянский скульптор.

С. 333 *...сказание Библии об ангелах, посланных в Содом.* — Имеется в виду сказание Книги Бытия, согласно которому бог направил в Содом ангелов, дабы убедиться, действительно ли жители города живут в «грехе содомском», а убедившись в этом, уничтожил город с помощью «небесного огня».

ПОХОЖДЕНИЯ ОДНОЙ РЕВИЖСКОЙ ДУШИ

Впервые: Новоселье.— Спб., 1834.— С. 130—236.

С. 334. *Шеккямуни* (Шакьямуни) — в буддийской мифологии последний земной будда; основатель буддизма, живший в Северной Индии в середине I тысячелетия до н. э.

С. 334. *Шмидт* Яков Иванович (1779—1847) — русский востоковед, один из основоположников монголоведения.

С. 335. *Маньджушри* — в буддийской мифологии олицетворение мудрости, центральная фигура одного из древних тибетских произведений — «Манджушримулакальпы».

С. 335. *Тегри* (тенгри) — в буддийской мифологии мужское божественное начало, распоряжающееся судьбами человека, народа и государства. По монгольским поверьям, тегри обитают на 17 небесах, в 33 царствах, каждое из которых имеет своего хана.

С. 336. *Бурхан* — в мифологии монгольских народов обозначение будды, бога вообще; изображения бога, идола.

С. 338. *Хормузда* (Хормуста) — в мифологии монгольских народов верховное небесное божество, главный среди 33 тегри, пребывающих на вершине мировой горы Сумеру (Эльбурдж).

С. 343. *Брама* (Брахма) — в индийской мифологии бог-творец, создатель мира.

С. 343. *Мага-Раджа* — титул высшего правителя в Индии.

С. 343. *Риши* — в древнеиндийской мифологии мудрец, провидец.

С. 345. *Веды* — древнейшие священные книги индийцев, состоящие из гимнов, молитв и т. д.

С. 349. *Мандарин* — старое португальское название чиновников феодального Китая.

С. 366. *Кун-дзы (Конфуций)* (ок. 551—479 до н. э.) — древнекитайский мыслитель, основатель философско-религиозного учения.

С. 367. *Ава* — государство в Центральной Бирме в XIV—XVI вв.

С. 372. *Яик* — название реки Урал до 1775 г.

С. 372. *Капище* — см. примеч. к с. 92.

С. 373. *Ногай-хан* — знаменитый хан Золотой Орды, перекочевавший в XIII в. к берегам Черного моря, потом к Дунаю.

С. 374. *...собственно не копейки, но копеки, что значит «собачки».*— шутливая этимология Сенковского не соответствует действительности: название монеты — копейка — объясняется тем, что на ней изображался всадник с копьем.

С. 375. *Векша* — белка.

С. 375. *Семик* — народный праздник в четверг на седьмой неделе после Пасхи (русальная неделя), остаток языческой древности.

ТУРЕЦКАЯ ЦЫГАНКА

Впервые: Библиотека для чтения.— 1835.— Т. XII.— С. 134—174. Подпись: А. Белкин.

С. 378. *Крез* (595—546 до н. э.) — последний царь Лидии, обладатель несметных сокровищ.

С. 378. *Сардис* (Сарды) — в древности столица Лидии на р. Пактоле; разрушена в XIV в. войсками Тимура.

С. 378. *Стенгоп* Эстер *(Эсфирь)* (1776—1839) — знаменитая благотворительница, поселившаяся в Ливане («Ливанская сивилла»).

С. 378. *Лимбургский сыр* — импортировавшийся из Бельгии острый сыр с резким запахом.

С. 379. *Диоген* Синопский (ок. 400 — ок. 325 до н. э.) — древнегреческий философ-киник; практиковал крайний аскетизм.

С. 379. *Солон* (ок. 640 — ок. 560 до н. э.) — афинский архонт, один из семи греческих мудрецов (см. примеч. к с. 323).

С. 379. *Корфу* — итальянское название греческого острова Керкира.

С. 379. *Смирна* — греческое название города Измир.

С. 379. *Анчоусы* — мелкая рыба из отряда сельдей (иначе хамса). *Трюфель* — гриб с клубневидным телом, развивающийся под землей. *Лаффит* (лафит) — сорт французского красного виноградного вина.

С. 380. *Гермус* (Герм) — река в Малой Азии, впадающая в Смирнскую бухту. В нее впадает р. Пактол, в древности изобиловавшая золотым песком, который, как думали, был источником богатств Креза.

С. 380. *...около воздушной крепости, отворившей некогда ворота свои Лакедемонцу...*— Лакедемон — Спарта.

С. 381. *Анатолия* — древнее название Малой Азии и ее западной провинции.

С. 381. *...во дни Апокалипсиса...* — Апокалипсис — название последней книги Нового завета, содержащей Откровение Иоанна Богослова.

С. 381. *Ионические капители* — архитектурный ордер, характеризующийся наличием базы у капители и постепенным сужением колонны кверху.

С. 382. *Архитрав* — главная балка архитектурного сооружения.

С. 382. *...нимфа Кановы...* — см. примеч. к с. 328.

С. 382. *Пигмалион* — в греческой мифологии легендарный скульптор, влюбившийся в изваянную им статую Галатеи.

С. 383. *...юбочка из полосатой брусской ткани...* — Имеется в виду легкая ткань, изготовлявшаяся в турецком городе Брусса (некогда главный город Османского государства).

С. 384. *Тмоль* — гора в Анатолии.

С. 386. *Хиромантия* — гадание по линиям и бугоркам ладони, якобы позволяющее предсказать судьбу человека.

С. 386. *Морея* — название Пелопоннесского полуострова, установившееся в средние века.

С. 386. *Джон Булль* — выражение, сделавшееся классическим, как шутливое именование англичан.

С. 387. *Скутари* — город в Турции, на Босфоре, напротив Константинополя.

С. 387. *...памятник султанского ичоглана...* — Ич-оглан — воин-янычар, становившийся придворным.

С. 387. *Палеологи* — династия византийских императоров в 1261—1453 гг.

С. 387. *Сераль* — европейское название султанского дворца и его внутренних покоев (в том числе гарема); *янычары* — турецкая отборная пехота, комплектовавшаяся из пленных юношей.

С. 388. *Галата* — см. примеч. к с. 56.

С. 388. *Муэзин* (муэдзин) — служка мечети, провозглашающий призыв к молитве с высоты минарета.

С. 389. *Пера* — см. примеч. к с. 45.

С. 389. *Требизонд* (Трапезунд, Трабзон) — город на северо-востоке Турции.

С. 390. *Шейлок* — персонаж комедии Шекспира «Венецианский купец».

С. 391. *Ахмет* III (1673—1730) — турецкий султан, свергнут с престола и умерщвлен янычарами; *Людовик* XV (1710—1774) — король Франции.

С. 393. *Агриппа* (ок. 63—12 до н. э.) — римский полководец, сподвижник Августа.

С. 394. *Публий Вергилий* Марон (70—19 до н. э.) — римский поэт; имеется в виду эпизод из его поэмы «Буколики».

С. 395. *Кадий* (кади) — у мусульман духовное лицо, исполняющее также роль светского судьи и решающее дела на основании законов Корана.

С. 395. *Далила* — в библейском предании возлюбленная Самсона, усыпившая его и состригшая с богатыря волосы, обладавшие чудодейственной силой.

С. 395. *Тассо* Торквато (1544—1595) — великий итальянский поэт.

С. 399. *Гафиз* (Хафиз) Шасмеддин Ширази (ок. 1325—1389) — персидский поэт.

С. 400. *Гарпии* — в греческой мифологии богини вихря — крылатые чудовища; птицы с девичьими головами.

С. 402. *...как водопады Иматры...* — Иматра — водоскат на реке Вуокса в Финляндии, славившийся своей красотой.

С. 403. *Хараджс* — подушная подать в Турции.

С. 404. *Кебаб* — мелкорубленое жареное мясо.

С. 404. *Симплегады* — движущиеся скалы в древнегреческом мифе об аргонавтах.

ВИСЯЩИЙ ГОСТЬ

Впервые: Библиотека для чтения.— 1834.— Т. VI.— С. 68—87.

С. 406. *«Клод Ге»* — рассказ В. Гюго (1834).

С. 407. *Жанен* — см. примеч. к с. 254.

С. 408. *«Мужчины на свете, как мухи, к нам льнут...»* — куплеты из популярной оперы Н. Краснопольского «Днепровская русалка» (1803), переработки оперы Генслера и Кауера «Фея Дуная».

С. 409. *Роза Сальватор* (1615—1673) — итальянский живописец, писавший картины из жизни пастухов, бродяг, бытовые сцены.

С. 412. *...штофные лавки есть на всех путях.*— См. примеч. к с. 214.

ПОТЕРЯННАЯ ДЛЯ СВЕТА ПОВЕСТЬ

Впервые: Библиотека для чтения.— 1834.— Т. X.— С. 134—150. Подпись: А. Белкин.

С. 419. *Омнибус* — многоместный конный экипаж с платными местами для пассажиров.

С. 420. *...сердце ... не испорченное высокоблагородием...*— Имеется в виду чиновник, не достигший 7-го класса (чина надворного советника).

С. 422. *«Энциклопедический лексикон»* — многотомное издание, выходившее с 1834 г. в издательстве А. А. Плюшара под редакцией Н. И. Греча и О. И. Сенковского.

С. 423. *...двенадцать вершков в поперечнике...*— Вершок — около 4,5 см.

С. 423. *Бланманже* — желе из сливок или миндального масла.

С. 424. *Милиция* — здесь: армейское ополчение.

С. 427. *...облечься в серый мундир...*— Имеется в виду одежда арестанта.

С. 427. *Провиантмейстер* — чиновник, занимающийся отпуском продовольствия нижним чинам.

С. 427. *Комиссариатский штат* — расписание или таблица числа чинов правительственного учреждения (комиссии).

С. 428. *Съезжий двор* — полицейский участок.

С. 429. *...повесть М. П. Погодина о московском извозчике...*— имеется в виду повесть М. П. Погодина «Корыстолюбец» (1832), ставшая объектом насмешек Сенковского как в данном рассказе, так и в специальной статье «Библиотеки для чтения» (1835.— Т. VIII.— Отд. 11.— С. 7).

ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАННОЙ БЕСЕДЫ

Впервые: Библиотека для чтения.— 1835.— Т. XII.— С. 75—88. Подпись: Барон Брамбеус.

С. 432. *Светлое воскресение* — первый день христианского праздника пасхи.

С. 434. *Фихте* Иоганн Готлиб (1762—1814) — немецкий философ и общественный деятель, представитель немецкого классического идеализма.

С. 435. *Тайный советник* — чин 3-го класса (генерал-лейтенант).

С. 435. *Большой шлем* — карточный термин; крупное везение в покере.

С. 436. *Бентам* Иеремия (1748—1832) — английский философ и юрист, родоначальник утилитаризма.

С. 437. *...восхищаться сладострастною формою куполов у афинян...* — В древнегреческой архитектуре купола отсутствовали.

С. 437. *...страшным пожаром Вестминстер-Галля...* — Имеется в виду Вестминстерский дворец в Лондоне, сильно пострадавший в 1834 г. от пожара.

С. 439. *Галлеева комета* — комета, путь которой вычислил английский астроном Э. Галлей (1656—1742); период ее обращения вокруг Солнечной системы составляет около 76 лет.

ЗАПИСКИ ДОМОВОГО

Впервые: Библиотека для чтения.— 1835.— Т. XIII.— С. 71—120. Подпись: Барон Брамбеус.

С. 441. *...как розовый спирт в фаренгейтовых трубках...* — Имеются в виду термометры, впервые изготовлявшиеся немецким физиком Д. Г. Фаренгейтом (1686—1736).

С. 446. *Гран* (опиума) — единица аптекарского веса, равная 0,062 г.

С. 446. *Силери* (силлери) — шампанское вино из окрестностей Реймса.

С. 451. *Яков* II — герцог Иоркский (1633—1701), король Великобритании в 1685—1688 гг., стремившийся к абсолютному монархическому правлению и переводу страны в католичество.

С. 451. *Уснуть или умереть — это все равно. Шекспирово* perchance *тут ничего не поможет.*— Имеется в виду рассуждение Гамлета из одноименной трагедии В. Шекспира: «Умереть, уснуть — и только...»

С. 451. *...выдумал эту историю для магнетистов...* — Имеются в виду последователи теории животного магнетизма, выдвинутой врачом И. Месмером (1733—1815).

С. 452. *...как Мольеров дворянин из мещан...* — г-н Журден, персонаж комедии Ж.-Б. Мольера «Мещанин во дворянстве» (1670).

С. 460. *Аддисон* Джозеф (1672—1719) — английский писатель и журналист.

С. 460. *...заставить Монблан... влюбиться до безумия в Этну...* — Монблан — вершина в Альпах (4807 м), самая высокая в Западной Европе.

С. 461. *...десять в сюрах...* — Сюры — козыри.

С. 470. *...называл «эфесскою матроною»...* — Матрона — у римлян законная жена, пользующаяся хорошей репутацией.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Сенковский О. И.

С31 Сочинения Барона Брамбеуса/Сост., вступ. ст. и примеч. В. А. Кошелева и А. Е. Новикова.— М.: Сов. Россия, 1989.— 496 с.

Осип Иванович Сенковский (1800—1858) — известный журналист, издатель, переводчик, один из лучших русских востоковедов своего времени — снискал популярность читающей публики главным образом своими литературными произведениями, среди которых лучшие составили цикл повестей, очерков нравов, «фантастических путешествий» Барона Брамбеуса. Под этим псевдонимом Сенковский печатал пародийно-сатирические, фантастические, романтико-авантюрные произведения, острые, причудливые по форме, изобретательные и оригинальные по тематике, сюжету, манере изложения.

С $\frac{4702010101-217}{М-105(03)89}$ 1989 № 84 Р1

ISBN 5—268—00084—5

Осип Иванович Сенковский

СОЧИНЕНИЯ БАРОНА БРАМБЕУСА

Редактор Т. М. Мугуев
Художественный редактор Г. В. Шотина
Технический редактор Р. Д. Рашковская
Корректор Т. А. Лебедева

ИБ № 5264

Сдано в набор 13.10.88. Подп. в печать 23.03.89. Формат $84\times108^1/_{32}$. Бумага книжно-журнальная. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. п. л. 26,04. Усл. кр.-отт. 26,88. Уч.-изд. л. 28,43. Тираж 300 000 экз. (1 завод 1—100 000 экз.). Заказ 1327. Цена 2 р. 60 к.
Изд. инд. ЛХ-240.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103012. Москва, проезд Сапунова, д. 13/15.

Книжная фабрика № 1 Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 144003, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

В 1989 ГОДУ ВЫЙДЕТ В СВЕТ КНИГА:

И. И. Лажечников. **Басурман.** Колдун на Сухаревой башне. Очерки-воспоминания.

В центре романа «Басурман» (XV—XVI вв.) — образ «собирателя Руси» Ивана III, показанный на широком фоне возрождающейся «Московии», только что сбросившей татарское иго. Выпуклое изображение крупных исторических лиц, яркость и живость в передаче быта и нравов, общая прогрессивная идея романа делают книгу интересной для современного читателя.

В книгу войдут также малоизвестные произведения: главы из неоконченного романа «Колдун на Сухаревой башне», посвященного событиям послепетровской эпохи (1725—1727), и очерки-воспоминания «Знакомство мое с Пушкиным», «Новобранец 1812 года» и «Заметки для биографии Белинского».